ПРОЗА
СТАТЬИ
ПИСЬМА



АЛЕКСАНДР
ТВАРДОВСКИЙ

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

проза
статьи
письма


БИБЛИОТЕКА
ДН
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

проза
статьи
письма

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» • МОСКВА • 1974

Р2
Т 26

Художник А. ГАРАНИН

С $\frac{70302—008}{074(02)—74}$ 36—74 подписное



Александр Трифонович ТВАРДОВСКИЙ (1910—1971 гг.) родился в крестьянской семье на Смоленщине. Отец А. Твардовского был человеком грамотным, и книга в доме не была редкостью. Часто в долгие зимние вечера вся семья собиралась за столом, вслух читались книги. Первое знакомство с «Полтавой» и «Дубровским» Пушкина, «Тарасом Бульбой» Гоголя, популярнейшими стихотворениями Лермонтова, Некрасова, Никитина и других поэтов произошло именно таким образом.

В своей автобиографии А. Твардовский вспоминает, что начал писать стихи, еще не овладев как следует первоначальной грамотой. С 1924 года Твардовский посылает небольшие заметки в редакции смоленских газет. Писал о комсомольских субботниках, о неисправных мостах, о злоупотреблениях местных властей и т. д. Изредка заметки печатались. А летом 1925 года в газете «Смоленская деревня» появилось первое его стихотворение «Новая изба».

Отобрав несколько стихотворений, А. Твардовский отправился в Смоленск к М. В. Исаковскому, работавшему в редакции газеты «Рабочий путь». М. Исаковский тепло принял начинающего поэта, и вскоре в деревню пришла газета со стихами и портретом «селькора» А. Твардовского.

Обучение А. Твардовского прервалось с окончанием сельской школы. Продолжить образование он смог только после переезда в Смоленск. В 1932 году он поступает на литературное отделение Смоленского педагогического института, но уходит с третьего курса, сказалась настоятельная внутренняя необходимость работать над поэмой «Страна Муравия». Уже в Москве, в 1936 году, А. Твардовский становится студентом Московского института философии, литературы и истории (МИФЛИ).

Годы пребывания в Смоленске навсегда остались в памяти А. Твардовского. Он ездил в колхозы в качестве корреспондента областных газет, вникал со страстью во все, что составляло впервые складывающийся колхозный строй сельской жизни, писал статьи, корреспонденции, вел записи, отмечая то новое, что открылось в сложном процессе перестройки старой деревенской жизни. Его поэмы «Путь к социализму» и «Вступление» были итогом раздумий и наблюдений того времени и предварили появление широко известной читателю «Страны Муравии».

«Со «Страны Муравии», встретившей одобрительный прием у читателей и критики, я начинаю счет писаниям, кото-

рые могут характеризовать меня как литератора»,— пишет А. Твардовский в своей автобиографии.

В 1939 году А. Твардовский окончил МИФЛИ и в этом же году был призван в армию. Участие в освободительном походе в Западную Белоруссию, а затем работа военным корреспондентом в газете «На страже Родины» во время советско-финской войны обозначили новый период в жизни и творчестве писателя, период освоения темы Советской Армии. Эта тема получила дальнейшее развитие в годы Великой Отечественной войны и после нее. Главной книгой военного времени была «Книга про бойца» — «Василий Теркин».

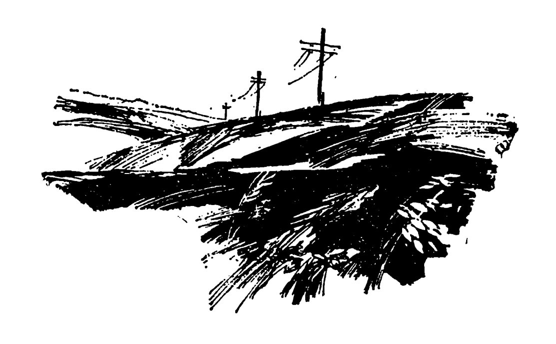
Почти одновременно с «Теркиным» А. Твардовский начал писать поэму «Дом у дороги», которую закончил уже после войны. Работе во фронтовой газете, ее потребности в очерке, зарисовке обязана своим происхождением книга прозы А. Твардовского — «Родина и чужбина».

В 50-х годах стали появляться главы из будущей поэмы «За далью — даль», завершенной и изданной в 1960 году. «За далью — даль» — результат поездок писателя на восток страны — Урал, Сибирь и Приморье — края, «приобретенные» им, связь с которыми он развивал и укреплял.

Поэмы А. Твардовского «Страна Муравия», «Василий Теркин», «Дом у дороги» и книга «Из лирики последних лет» были отмечены в свое время Государственными премиями СССР, поэма «За далью — даль» удостоена Ленинской премии.

А. Т. Твардовский был человеком ярко выраженного общественного характера. Это сказалось в журналистской работе (редактор журнала «Новый мир» на протяжении пятнадцати лет), в депутатской деятельности (депутат Верховного Совета РСФСР нескольких созывов), участии в многообразных общественных организациях, съездах и конференциях внутри страны и за рубежом. Особо следует выделить корреспондентскую деятельность — переписку с читателем, чья поддержка в работе, по признанию самого Александра Трифоновича, имела огромное значение в его творческом самочувствии.

Литературное наследие, оставленное А. Т. Твардовским, велико. Оно еще не учтено полностью. Но и в этой книге читатель найдет неизвестные ему страницы. Речь идет в первую очередь о цикле очерков периода коллективизации — «Рассказы о колхозе «Память Ленина» и цикле портретных зарисовок первых месяцев Отечественной войны — «С Юго-Западного». Очерки эти дополняют известный читателю литературный портрет А. Т. Твардовского новыми штрихами.



смоленщина

●

● ДНЕВНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА

ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ

3 марта 1931 года

Сортировка стоит под навесом, пристроенным к амбару. Зерно шевелится в дырках завязанных мешков. Они не были починены заранее. Гришечка подхватывает и подносит мешок на животе к весам. Зерно течет,— дырки даже ничем не заткнуты. Андрей Кузьмич сидит под рукавом сортировки и насмешливо смотрит на дурачка: «Таскай, таскай...»

Отсортированное зерно в этих мешках еще придется возить на поле, потом принимать урожай, потом возить на пункт и т. д.

В куче зерна много снегу: возьмешь горсть — ладонь делается мокрой.

— А ничего это, что снегу в нем много? — спрашиваю я.

— Ничего! — заверяет меня Андрей Кузьмич.

— Гришечка,— кричит от водопоя конюх,— иди коней загонять!

Гришечка, красный, запыхавшийся, с грязным от хлебной пыли носом, срывается с места. Один на один со мною Кузьмич чувствует себя неловко. Крякая, встает и подходит к завязанному мешку, дергает за хохолок,— мешок развязывается.

— Та-ак...— говорю я и, видя, как Андрей Кузьмич небрежно и как бы неумело возится с хохолком, вызываюсь: — Дай-ка я тебе соломой завяжу.

Вытаскиваю пучок соломы из крыши навеса и начинаю крутить жгут. Но солома какая-то мерзлая, да и давно дело было, когда я крутил такие завязки,— не получается. Не успел я жгутик обвернуть вокруг хохолка, как он раскрутился и рассыпался.

Кузьмич снисходительно отнимает у меня пучок соломы, сплевывает на него, как на пеньку, и начинает крутить. Жгутик сам так и обвился вокруг хохолка,— Кузьмич только пальцем обвел.

— Понял? — молодцевато спрашивает он меня.

— Понял,— отвечаю я.— Но почему ты раньше так не завязывал? Ты умел и не завязывал. Ты скрывал, что умеешь,— а это симуляция.

Андрей Кузьмич растерянно поправляет на себе полушубок, пытается улыбнуться, чтобы все это под конец обратить в шутку. Но я смотрю серьезно. Нужно, чтоб ему было стыдно.

Для памяти: мешки.

Гришечка бежит к нам напрямик, по сугробам и издали кричит что-то. Не скоро делается понятно, в чем дело. Пруд вымерз, воды нет. Сейчас лошадям не хватило затхлой, грязной воды со дна. На остальных конюх тягал воду из колодца с валом.

* * *

На конюшне стоят тридцать восемь лошадей. Из них тридцать рабочих, которые сейчас подкармливаются и готовятся в плуг. Лошади стоят с высоко поднятыми задами. Навоз не вычищается. Так у всех лошадей, и у Магомета. Конюх говорит, что это ничего, но это не ничего, а никуда не годится. Неправильное кровообращение, тяжесть живота напирает на дыхательные органы, неравномерно напрягаются мышцы. Вообще — вредно.

Для памяти: нагоняй конюху.

4 марта

Скот поили весь день. Скотник Тарас Кузьмич, брат Андрея Кузьмича, вручную вытащил сто сорок ведер.

Лошадей гоняли на речку, за три версты.

Пруд расположен на околице. Под снегом его впадина занимает около га площади. Спрашиваю, когда чистили пруд?

Чистили летом 1914 года. Лето было сухое. Не дочистили потому, что мужчин забрали на войну.

Для памяти: пруд.

5 марта

Полдня сидели с кузнецом, определяя ему норму выработки. Седой и грязный, поминутно сморкающийся и утирающий слезы, кузнец все время представлялся самоучкой, стариком, слабосильным, больным.

— Сколько станов ты за день окуешь?

— Какие станы,— неопределенно говорит он.

— Обыкновенные, под крестьянскую телегу.

— Уголь каменный или кора?

— Каменный.

— Ну, так сколько ж? — спрашивает он меня, готовый замахать руками, если я скажу, сколько он может.

— Да я не знаю сколько, говори ты.

— Что ж говорить,— опять начинает он сморкаться, чтобы только помедлить несколько до того, как ему все же придется что-нибудь сказать. Кузнец не верит, что в колхозе можно что-нибудь заработать. Он бездетен, лет ему за пятьдесят. Ему кажется, что в колхоз он вступил от страха остаться одному на белом свете, без дров, без горячей пищи и своего угла. Поработаю, думает он, и останусь при колхозе со старухой, на обеспечении.

— Пару колес ты все-таки за день с подмастерком окуешь? — спрашиваю я, нарочно предлагая ему самую минимальную норму.

— Пару колес? — переспрашивает он и чуть-чуть не соглашается, но опасаясь, что над ним смеются, говорит с раздражением и упреком: — Пару колес подмастерок и без меня окует. А я, какой ни старик, а сказать, что не могу, когда могу,— не могу. Я какой ни старик,— еще выше взял он,— но в день, если хороший уголь, два стана подпояшу.

Он сказал и насупился, как человек, который на обиду отвечает сдержанно и с достоинством. Но он указал больше, чем может. Мы остановились на полутора станах.

— А если ты окуешь два — тебе будет записан трудодень с третью; а если два с половиной — трудодень с двумя третями.

Одна и две трети до него не доходят. Тогда я говорю,

что два стана колес — трудодень с четвертью, а два с половиной — полтора трудодня, даже немного больше.

— Ага,— кивает он головой, но растерянность непонимающего еще видна в этом кивке.

— Допустим,— опять начинаю я,— ты за полтора стана, за норму — получишь рубль. Теперь, если ты окуешь два стана — ты получишь рубль двадцать пять, а если два с половиной — полтора рубля, и так далее.

— Ага,— радостно разевает он рот,— понял, понял, понял! Значит, мне положен рубль в день?

— Нет, нет! Ничего тебе не положено. И потом, если ты окуешь один стан, то получишь три четверти трудодня, то есть если трудодень будет оценен в рубль, то ты получишь семьдесят пять копеек.

— Во-во-во! — захлебывается кузнец.

Он понял. А главное — он знает теперь, как считать.

6 марта

Люди, всю жизнь умевшие считать «до ста», теперь должны разбираться в дробях. Не будем говорить о рядовом колхознике, о Степане и Марфе Кравченковых, но бригадиру, например Андрею Кузьмичу Дворецкому, нужно знать и дроби.

Я не умею считать на счетах. Всякий раз мне приходится обращаться к Ерофееву. И хотя он затем и сидит, чтобы считать, хотя я и могу ему, как говорится, предложить считать, он это делает весьма снисходительно и, как мне кажется, несколько злорадно. Он знает, что я не могу его проверить.

— Возьмите счеты,— обращаюсь сегодня к нему. А он вздумал пошутить:

— Возьмите сами.

— Возьмите счеты,— повторяю я, не меняя тона.

— Эх,— опять шутливо морщится он, протягивая руку за ними.

Вообще он ведет себя как-то уж очень независимо. Бывший «культурный хозяин», «интенсивник» и «опытник», имевший популярность (о нем писали в газетах, и сам он писал о своих корнеплодах), он и сейчас, ведя счетное дело, воображает, что построение социализма в Лысковском сельсовете всецело зависит от него.

Правда, умри он сейчас или заболей, я не знаю, что было бы. Выработка рабочей программы — это такое дело, что нужно считать и подсчитывать, считать и под-

считывать. Впрочем, нельзя же с точки зрения личной неприязни смотреть на человека. Он член колхоза. Мы его используем по специальности.

А откуда у него эта специальность?

* * *

Производственное совещание длилось до двенадцати часов ночи.

Отнесенные к легкой группе, узнав, что им за рабочий день будет засчитываться полтрудодня, недоумевали:

— Как же это так? Будешь работать день, а написано будет полдня.

— Товарищи,— поднимаюсь я, глядя на кузнеца,— может, кто-нибудь объяснит?

— Я могу пояснить,— лениво поднимает руку Ерофеев, как успевающий, избалованный ученик.

— Нет, зачем же,— отвожу я его,— вот товарищ Григорьев объяснит...

Польщенный кузнец встает, вынимает из кармана грязную тряпочку, сморкается и, обращаясь к пареньку, который недоумевал, строго вычитывает его, то передразнивая, то грозя:

— Чего тебе непонятно? Работай — вот и будет понятно. А то ты, я вижу, работать-ки не хочешь. «Как же это так?» «Будешь работать день — запишут полдня». А вот как это: ты, предположим, за день не сделаешь и четверти того, что я, а тебе все-таки запишут полдня. А выработаешь пол того, что я,— тебе день запишут. Понял? Вас драть надо! — с сожалением протянул он, садясь на место.

— Своих дери,— буркнул малец, намекая на бездетность кузнеца, но успокоился.

Гляжу я на этого мальца. Ему лет восемнадцать. Работать он, говоря по совести, не хочет, его, как говорится, «не пошлешь»... В колхозе он только до весны, а там уедет. Это хорошо. Пооботрется. И не важно, что он из кузнецовой проповеди ничего не понял, важно, что взрослым колхозникам, отцам и матерям, эта проповедь понравилась.

Но когда я начинаю говорить о соревновании, возникают новые недоумения. Соревнование понимается как какая-то особая нагрузка сверх норм. Один счетовод, заложив ногу в валенке с блестящей глубокой калошей на другую такую же ногу, отзывается:

— Соцсоревнование и ударничество!

Это он поправляет меня: я сказал просто соревнование и не прибавил ударничество.

— Соревнование лошадям вредит,— заявляет вдруг Матвей Корнюхов. Он, видимо, долго терпел и боялся сказать это, но решился наконец. Дескать, если я захочу вспахать или там заборонить больше, то уж буду кнутить и кнутить. А за взгрехом следить не буду.

На это даже бабушка Фрося, сидевшая прямо на полу, как и все, кому не хватило места, сказала:

— И хватит же у тебя совести?

Эта бабка взялась починить пятнадцать мешков своими нитками. И ни одна женщина после этого не взяла на себя меньше, и крику насчет ниток не было.

А сидевший с правой руки от меня Андрей Кузьмич откашлянулся и попросил слова. Он сказал по существу вот что:

— Как это можно оставить взгрех, раз ты видишь, что взгрех получился? Раз ты видишь, что взгрех получился, значит, нужно плуг потянуть назад и захватить взгрех. А раз ты видишь, что взгрехи получаются часто, значит, не нужно гнать, нужно тише вести плуг. Обманывать ни самого себя, ни колхоз не следует.

— Если я на пахоте,— говорил к примеру Андрей Кузьмич,— не чувствую в руках плуга, как он идет, насколько забирает вглубь и вширь, значит, я пахать не умею. А если я все это чувствую и не делаю, как лучше,— значит, я сам себя обманываю. Это уже будет симуляция! — с ударением произнес он последнее слово, которое на всех особенно подействовало.

— Ясно, симуляция...

— Это уж симуляция...

— Симуляция!..

Собрание возмущенно гудело, как будто симулянт был налицо.

7 марта

Есть у Ленина одно место. Буква в букву я его привести не могу, но хорошо помню его смысл. Социализм начинается там, где проявляется самоотверженная забота рядового рабочего о поднятии производительности труда...

Это место очень часто приводится, но это только по-

ловина. А дальше идет как-то так: когда продукты этого труда идут не обязательно на потребление самого рабочего или его ближнего, но на потребление «дальнего», то есть на нужды всей страны.

Сегодня мы беседовали с учителем на эту тему. Я ему рассказывал о вчерашнем совещании. Мы сидели в пустом классе на скамеечке парты, повернутой сиденьем к печке, и смотрели в огонь.

— Хм!.. Симуляция. Хорошо сказано,— отозвался учитель о выступлении Дворецкого.

— Ты приходи к нам на собрания,— сказал я.— Бывай! А то ты сидишь да семь с полтиной платишь колхозу за себя, и только...

Потом мы пили чай в его комнате. Жена его, тоже учительница, правила детские тетради. Ребенок катал по полу, как тележку, большие, в желтой полированной раме, счеты.

* * *

Бабушка Фрося принесла мешки. Она потребовала, чтобы я осмотрел каждую заплатку. Бахромки подвернуты, заплаточки аккуратные и даже под цвет. Одним словом, починены мешки, как брюки...

Для памяти: бабке — платок.

8 марта

Стенгазету делали школьники. Они принесли мне сегодня «согласовать» готовый номер.

В номере:

1) Передовая учительницы — «8 марта — день работниц и крестьянок» — написана, как уже писалось в печатных газетах три-четыре года тому назад. Так же общими словами доказывается, что курица — птица, женщина — человек и что Советская власть раскрепостила женщину. Кончается так: «Недооценка работы с женщинами, отсутствие работы с ними — есть оппортунизм, прямое пособничество кулаку. О работе с женщинами нужно вспоминать не только 8 марта, а вести ее изо дня в день, повседневно...»

А выходит, что опять-таки только 8 марта это говорится. И насколько это трогает Марфу Кравченкову, которая отказалась стелить лен по снегу: «Я, говорит, беднячка, у меня руки позябнут».

— Ну, а у середнячки не позябнут?

— Она гусиным салом смажет.
— А у кого гусей нет?
— Свиное сало есть.
— Но свиное не помогает.
— Помогает, только его надо есть, а не мазать... и т. д.

2) Заметка о том, что «у нас в колхозе есть люди, которые поощряют религиозные предрассудки». И спрашивается: «Почему на первой неделе великого поста старухи получили лошадь ехать на говенье?» А лошадь-то Фросиной делегации дал я.

3) Стихотворение «Весна идет».

4) «Что кому снится?» (Кузнецу — выпивка, Цыгановой — я, мне — Цыганова.)

И все.

Для памяти: Следующий номер стенгазеты.

(Передовая: «Что мы имеем к севу» — я. «Лошади готовятся в плуг» — Жуковский. «Детплощадка и ясли» — Цыганова. «Ремонт инвентаря» — Григорьев. «Наши ударники» (Тарас Кузьмич, Гришечка и др.). Рисунки, лозунги.)

* * *

Тарас Кузьмич четвертый день таскает воду для скота. Гришечка все время вызывается ему помочь, но Дворецкий отказывается — для большего геройства. Он и действительно герой. Он мог сказать, что больше, скажем, ста ведер не может вытянуть и врач дал бы ему удостоверение, да это и так понятно. Но он не скрыл возможности вытянуть еще сорок ведер,— не скрыл этой надбавки. «А что ж симулировать?» — говорит он, как бы упрекая других в симуляции.

10 марта

Вчера, часов в одиннадцать, сидим в канцелярии, и вдруг прибегает сторож.

— Идите! Ходите скорей! Жеребец не встает!..

Все вскочили и побежали напрямик по снегу к конюшне. Сторож с фонарем остался далеко позади.

Мой электрический фонарик осветил проход между станков в конюшне. Магомет лежал, тяжело дыша, и не пробовал встать, как бы опасаясь, что получится еще хуже. Он подкатился под стену так, что не мог выпрямить задних ног. Мы подхватили его под задок вожжами, сло-

женными вчетверо, оттащили, и он поднялся, отряхиваясь и оглядываясь на людей.

Все это получилось потому, что конюхи еще не начинали разравнивать навоз.

Для памяти на завтра: поставить к лошадям второго человека — Гришечку.

13 марта

Сегодня прихожу в канцелярию, счетовода нет. Сидит Гришечка и поправляет в печи дрова. Лицо у него красное от огня, но не такое детски веселое, как всегда. От углов больших голубых глаз лучиками идут морщинки. Шея загорелая, потрескавшаяся. Обыкновенный мужчина лет сорока пяти — сорока семи. И как-то неловко думать, что он бегает по снегу за лошадьми, гогоча и выкидывая ногами, по-конски.

— Григорий, где счетовод?

Гришечка быстро оглядывается,— где здесь «Григорий». Он готов сбегать за этим «Григорием».

— Я тебя спрашиваю, где счетовод?

— Дома,— весь насторожившись, серьезно отвечает Гришечка.

— Почему дома?

— Дома,— пожимает он плечами.

— А где счеты?

— Какие счеты? Я не брал счеты,— испуганно говорит он.

— Ты не брал, но, может быть, счетовод взял их домой?

— Может быть,— кивает головой Гришечка и вдруг совершенно определенно говорит: — Это его счеты.

— Откуда они у него? — как можно спокойнее, словно у спящего, спрашиваю я.

— Из кооперации.

— Из какой кооперации?

— Из нашей.

— Он там купил их?

Гришечка отрицательно махает головой.

— А что ж? — допытываюсь я.

— Он там заведующий был.

— Давно?

— Давно,— машинально повторяет Гришечка и на-

клоняется к печи. Поднявшись, он смотрит на меня уже ничего не помнящими, не понимающими веселыми глазами.

* * *

Мне рассказывали историю этого Гришечки. Гришечка — родной брат кулака Афанасия Милованова, ныне выселенного. От Афанасия Милованова в колхоз перешли кое-какие машины и Магомет, которого он очень любил и с которым до последнего дня не мог расстаться. Выл, говорят, вцепившись в гриву. Чтобы все видели.

Гришечка, затюканный и забитый с детства, был батраком у брата. Тот ему даже платил. В год тридцать шесть рублей. На Покров день он выдавал деньги сполна на руки. Гришечка носился с ними, как кот с помазом, считал, пересчитывал, прятал в разных местах, а на ночь клал под подушку. Дней через пять после праздника старший брат с озабоченным лицом подходил к Гришечке: «Не можешь ли ты мне, брательник, одолжить рублей этак тридцать шесть? Справлюсь с делами — отдам». Гришечка охотно давал и, конечно, до нового Покрова не видел этих тридцати шести рублей. И так лет двадцать пять!..

15 марта

Остановиться на минутку. Учесть мысленно все, что делается к весне. Семена отсортировали, план есть. Инвентарь ремонтируется. Рабочий скот подкармливается. Как будто делается все. А вот нельзя сказать, что будь сегодня 3 мая, день, когда мы по плану должны выехать на поля,— и мы готовы.

Самое трудное и самое важное — это выдержать порядок и организованность плана на практике, на деле, когда выедем на поле. В прошлом году, до меня, здесь завели, по инициативе Саши Цыгановой, на каждый хомут ярлычок с номером, чтобы каждой лошади был свой хомут. Тогда это было таким достижением, что о нем писали в газетах. И вот, в первые же дни перепутались ярлычки, перешли хомуты в инвентарном сарае со своего гвоздя на чужой, в общем получилось безобразие.

В нынешнем году этого не должно быть.

* * *

Нужно быть беспокойней. Нельзя считать себя готовыми к севу, если даже работа по подготовке идет нормально. Но готовыми нужно быть так, что будь сегодня 3 мая, и нам не страшно.

17 марта

Ерофеев принес в канцелярию чайник и несколько стаканов. Чайник он налил и поставил на чугунку. Мы были одни в помещении. С улицы слышались редкие удары топора и кряканье Гришечки.

Ерофеев попросил:

— Напишите вы записочку в сельпо, там сегодня конфеты и жамки есть.

Как только я написал записку — счетовод приоткрыл дверь и позвал Гришечку. Тот глядел на меня все время, пока счетовод объяснял ему, как подойти к приказчику без очереди: «Скажи, от председателя».

Отослав Гришечку, счетовод заходил по канцелярии, мягко ступая валенками в калошах. Ему хотелось высказаться не стесняясь, дружески подмигивая, по душам.

— Мы тоже, бывало, вот так соберемся в конторке при кооперации. Ну, первым долгом, сейчас — чай. Я, приказчик, заведующий. Еще если кто из союза случится... Тогда, знаете, баранки были, всевозможное печенье, яйца, сало, ветчина, селедочка... Конечно, первым делом селедочку...

Его бритое, несвежее лицо осветилось особенно подкупающей беззаботностью «души-человека», и он сделал один из тех бесчисленных жестов, которыми дают понять насчет выпивки.

— Да. Селедочка — она на сухую не идет. Ну, что ж. Даем Гришечке тройку в зубы и — алё,— к Кравченковым. Они с этого тогда жили. От Милованова работали. Он им муку предоставлял, а они гнали и продавали. Расчет был! Так. Ну, а закус — какой угодно. Тут и яичница с ветчиной, и холодное сало, и колбаска, и все. Конечно, за деньги все это, по весу и по счету,— вдруг спохватился он, дав тем самым понять, что ничего эта компания не считала и ни за что не платила.

Гришечка прибежал с двумя пакетиками. Ерофеев развернул их, посмотрел одним глазом вовнутрь, потом перевел глаза на Гришечку. Тот стоял не моргая. Тогда

счетовод вынул две конфетки и две жамки и положил на край стола. Гришечка взял их и сразу вышел. Он знал свое дело.

— Он, бывало, не это получал за скорость. Бывало, ему рюмку — стук! Что чуден бывает выпивши, боже мой!..

Он уже не замечал, что открыто говорил со мной такими словами, как «рюмаха», «выпивши». Рассказывал он много и подробно о каждой выпивке отдельно. И совсем перестал соблюдать осторожность. Из этих рассказов я узнал, что пили вместе с ревизионными комиссиями, с инструкторами союза, что не последним гостем на этих сборищах был Милованов, катавший на Магомете всю компанию.

— До какого же года вы работали там?

— До тысяча девятьсот двадцать седьмого.

— Ну, и что ж?

— Ах, знаете, сплетни, разговоры всегда. Я сам ушел. Я вам скажу, что я и здесь работать работаю, а сплетни есть. Я думаю, что вам уже кое-что говорили такое?

— Нет, ничего такого.

— Ну, если не говорили, то скажут. Без этого не бывает. Вы думаете, что про вас нет сплетен? Сколько угодно. Вам еще налить? Пейте! Знаете, что говорят? Вот, говорят, на жеребце раскатывается, как помещик. Потом насчет Цыгановой. Она, видите ли, давно по этой линии пошла. Разведенная. Нет, нет, ничего такого я не говорю,— спохватился он, сообразив, что это может мне не понравиться,— только она, я говорю, давно активисткой. Ее всегда от женщин выбирают на всевозможные съезды и конференции. Понятно, у нас, когда женщина выдвинется, о ней всегда говорят. Эх, заболтались,— встал он одновременно со мной,— что было и чего не было наговорили.

Он, видно, уже сожалел о том, что разоткровенничался, и теперь хотел, чтобы я считал все это за анекдоты.

19 марта

Первые признаки весны уже пропали. С неделю тому назад только блестел снег и на припеке отогревались стены. Выйдя из хаты, хотелось на минуту остановиться и стоять, чувствуя, что это уже не зима.

А теперь, когда весна явственней и ощутимей (со-

сульки, куры у крыльца, мокрая солома на санях и т. д.),— теперь появляется какое-то беспокойство. Время идет. А все ли сделано вчера, что нужно было сделать вчера? Все ли делается сегодня, что должно делаться сегодня?

Саша ходит по дворам и собирает у кого тарелку, у кого ложку, у кого что. Это для яслей. Она ничего не достала в районе, и мы решили собрать все необходимое на месте.

В прошлом году бабы вынуждены были оставлять до двух десятков детей на попечение бабушки Фроси. Как старуха справлялась с ребятишками — неизвестно, но это было большое дело. Против яслей бабы уже не выступают,— ясли, по существу, уже были. И теперь будут, только лучше устроенные.

* * *

Сельсовет в помощь по организации яслей отрядил двух членов — женщин. Они пришли раненько утром и заявили:

— Дайте мы вам пол в канцелярии вымоем, только не посылайте нас по дворам ходить...

Саша билась с ними часа два.

— Ну, вы же власть, как же вы будете полы мыть? Не для этого ж вас выделяли. Вы помогите мне баб собрать да подействовать на них.

Наконец они поняли и согласились. И вот женщины, на которых было бы трудно подействовать, если бы они сидели в своей хате, пошли действовать на других. Им пришлось агитировать, находить нужные убедительные слова, которые говорятся, когда любишь и веришь в то дело, за которое агитируешь. И, находя эти слова, женщины сами на себе испытывали их действие. Заодно они агитировали и себя.

20 марта

На конюшне такой образцовый порядок, что хотя бы немножко и хуже, так ничего. А то кажется, что это на несколько дней после случая с Магометом. Гришечка орудует. Жуковский, старший конюх, похваливает его. Видно, Гришечка здорово им эксплуатируется.

Гришечка напоминает того дворового мальчика, который «поставлен всем помогать». Его муторят, посылая туда, куда были посланы сами. Дико. Нельзя!

* * *

Тарас Кузьмич принес заявление:

«Прошу за мою ударную работу по выкачке воды для скота выдать мне на премию сапоги простые и брюки, хотя бы чертовой кожи. В противном случае я не могу больше качать воду, так как от врача у меня есть свидетельство о болезни».

Это похоже на те заявления, которые пишутся в суд под диктовку, когда тот, кто диктует, заинтересован больше пострадавшего.

— Сядь,— говорю,— Тарас Кузьмич, вот здесь, сядь!

Он сел и вместе с тем потерял свой вызывающий вид, который имел стоя.

— Тарас Кузьмич! Ты действительно ударно работал и заслужил, может быть, не сапоги, а больше. И брюки мы, уж если бы решили тебе дать, так дали бы не чертовой кожи, а хорошие, суконные. Но ты должен понять вот что: нельзя самому себе требовать премию, да еще в такой форме. Это все равно, что если меня не хвалят, так я сам себя похвалю. Хорошая работа у нас не должна пропадать. И не пропадет. Только ты дождись, пока тебе люди скажут, что ты ударник, что ты достоин премии. Полтора трудодня ты можешь требовать — это твое законное, а премия — это не плата, это — честь. Этого ты сам требовать не можешь. Но я тебе говорю, Тарас Кузьмич, что по работе ты достоин премии и ты ее получишь в свое время. А пока мы дадим тебе в помощь человека. Это уже с нашей стороны нехорошо, что ты на такой работе стоял все время один.

— А главное, сапог нет покаместь,— сочувственно вставил счетовод.

— Нет, сапоги есть, найдутся,— заявил я.

А Тарас Кузьмич сидит с глазами, полными слез, и боится моргнуть, чтобы слезы не закапали.

Я решил, что с него довольно,— он сознает свою ошибку. Мне только нужно узнать, с кем он советовался, кто водил его рукой.

— Почему ты, Тарас Кузьмич, не пришел ко мне раньше, не посоветовался, не сказал, чего ты хочешь, а сразу — бах — заявление?

— Я приходил сюда,— вдруг раздраженно заговорил он,— приходил! Обращаюсь вот к товарищу Ерофееву, он говорит — что ж, подавай заявление. Есть, говорит, у тебя от доктора? — Нет.— Ну, так сходи возьми.— Я схо-

дил взял. У меня, действительно, одышка, мне на такой работе, по-настоящему,— нельзя.

— Тарас Кузьмич,— заговорил я уже другим тоном.— Мало ли чего нельзя «по-настоящему». Мне вот «по-настоящему» нельзя жить нигде, как только в Крыму. И свидетельства от сорока врачей имею на руках. И перед мобилизацией в деревню я уже должен был ехать на курорт. И я не моложе тебя, Тарас Кузьмич. И поработал не меньше.

Тут я спохватился, что хочу переспорить его своими болезнями. Он уже начал что-то такое: «А ты повозил бы лес ночью, да вот с таким парнишкой»,— показал он на четверть от стола.

— Ладно,— сказал я бюрократически,— оставь заявление, мы разберем.— И сел за работу.

— Нет, я заявление не оставлю.

— Оставь, разберем.

— Нет, уж...

21 марта

В двенадцать часов ночи пришел бледный, перепуганный Андрей Кузьмич.

— Овес сгорелся! Я сейчас в амбаре был.— Он высыпал мне на стол горсть овса.— Возьми на зуб.

Я раскусил зерно, но ничего не понял и вообще ничего еще не понимал.

— Что овес? Как сгорелся?

— Так сгорелся. От влаги.

— От какой влаги?

Андрей Кузьмич досадливо отмахнулся.

— Да идем ты скорей! — закричал я, накидывая шубейку (чью, не помнил, оказывается, хозяйкину). Мы побежали к амбару. По дороге, задыхаясь от бега, я кричал: «Чего тебя черт занес в амбар?»

— Ай, молчите,— хрипел Андрей Кузьмич.

Мы бежали по рыхлому весеннему снегу. Ночь темная, теплая, влажная. У меня было все мокро: лицо, волосы, рубаха на теле. Но пойти шагом уже было нельзя. Андрей Кузьмич бежал ровно, хотя и хрипел с первых шагов. Амбар был не замкнут,— замок только висел. Но Андрей Кузьмич стал отмыкать и замкнул его, потом опять отомкнул и долго, долго вытаскивал дужку замка.

Я кинулся к закромам. Сунул руку. Холодная шершавая масса зерна пересыпалась между пальцев.

— Вот здесь, здесь.— И Кузьмич сунул мою руку в горячее влажное место. Это меня испугало, несмотря на то, что этого я и искал. Было неестественно и страшно: в холодном амбаре, ночью — горячий овес.

Мы, не зажигая огня, облазали все закрома. Везде успокоительно шумел сухой, холодный овес. Засучив рукав (я уже был без шубы), я по плечо запроводил руку в том месте, где овес был горяч. Я шевелил пальцами в холодном овсе, но захватить горсть не хватало руки. Андрей Кузьмич достал горсть. Это был обыкновенный холодный овес. Андрей Кузьмич высыпал эту горсть в другой закром. Он не хотел ее мешать с горячим.

Тут вздохнулось легче. Черт с ним, даже целым закромом,— все же это не весь амбар.

Потом я почувствовал, что дрожу. Мне сдавило грудь и закололо в бок. Я стал искать свою шубейку. Когда мы вышли и Кузьмич замкнул амбар, он взял меня за плечи и повернул к себе.

Чего только этот Кузьмич не перетерпел от меня за полчаса: я ругал его последними словами, толкал, подгонял, а вот он смотрит на меня умоляющими глазами и шепчет:

— Голубчик, идемте ко мне, на вас лица нет!

Мы сидели у него за перегородкой в чистой половине избы. Кузьмич достал полбутылки, вытер ее ладонью и налил по полстакана мне и себе. Мы выпили и закусили хлебом с луком. Только тут я окончательно пришел в порядок, согрелся. Мы говорили вполголоса.

— Помнишь, Андрей Кузьмич, как я приходил к тебе, когда у нас сортировка стояла?

— Помню, помню,— соглашался Кузьмич, еще не зная, куда я клоню.

— А помнишь, что я говорил насчет овса? Овес-то был пополам со снегом. Так вот, все, что вы сортировали наперво, было пополам со снегом.

— Верно, верно,— заторопился Кузьмич и даже вспомнил, что мешки, в которых было особенно много снегу, попали наверх в этот закром.

— Ты, Кузьмич, забрал весь снег с зерном в первые мешки, а потом оно пошло чистое.

— Потом — да!..— усиленно глотая, соглашался он.

— Но я про что говорю тебе? Я говорю тебе, Андрей

Кузьмич, что ты же видел все это, видел, что снег загребаешь в мешки!..

Андрей Кузьмич покорно вздохнул. Было ясно, что сознает он свою вину без единой отговорки. Напугался он не меньше меня, да и прибежал ночью. И было все-таки отрадно, что человек так перепугался за общественный овес. Ведь не за свой! Это же страшная разница.

Мы попрощались, как друзья. Нас как-то особенно сблизила эта история. Кузьмич меня проводил на крыльцо. Он был в одной рубашке. Долго не выпускал моей руки, как растроганный, выпивший человек. Он что-то силился сказать и не мог. Отпустил он меня со словами:

— Завтра я к вам зайду...

* * *

Про себя я уже решил переучесть семфонд, а сгоревшийся овес пустить на посыпку. Отсадить пару боровков на откорм,— наверстать потерю. Но ничего еще не говорю.

* * *

Счетовод, узнав об овсе, что-то притих и задумался. Потом ни с того ни с сего начал мне рассказывать, что делалось в кооперации в случае порчи какого-нибудь товара. Рассказывал он очень беспокойно, словно здесь же сочинял. «Да-а», «ну», «да-а», «ну», — все время запинался он. И хотя он ничего прямо не сказал, в конце концов стало понятно, что в кооперации подмоченный сахар или еще что они списывали «на себя» — потом в той же кооперации продавали.

Но можно было взять его любую фразу в отдельности и не найти в ней ничего «такого». Например: «Так и с этим овсом»,— говорил он. Здесь как будто он прямо наводит на мысль. Но в случае чего он скажет: «Вот и я говорил, как нехорошие люди поступали в таких случаях». А рассказывая об этих нехороших людях, он давал понять, что они поступали ловко и хорошо. Но ничего не докажешь.

Не докажешь, что он Тарасу Дворецкому продиктовал рваческое заявление. Он говорит:

— Я ведь должен был человеку объяснить, как подавать заявление.

— Но ты должен был объяснить, что такого заявления подавать нельзя.

— Я не знал, что нельзя. По-моему, раз ударник хочет подать заявление,— нужно ему помочь, объяснить.

— Но зачем же ты его толкнул взять от врача свидетельство?

— Да ведь я же ему говорил, что нельзя без оснований, нужны основания.

И так далее.

* * *

Перед вечером явился Андрей Кузьмич.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте! — отозвался счетовод.

Андрей Кузьмич остановился на пороге, оглядывая присутствующих.

Он, видимо, думал застать меня одного.

В канцелярии было несколько человек, толкавшихся без нужды. Степан Кравченков, сторож и Антон Жуковский. Они нехотя курили и перебрасывались шутками. Я их всех спросил, что кому нужно.

Они попрощались. Счетовод, воображая, что я совместно с ним выпроваживаю посетителей, состроил что-то такое.

— А вам не пора домой? — спросил я.

Он как бы не понял.

— Нет, я еще могу посидеть.

— Нет, вы идите.

— Если есть секреты...— И он нехотя поднялся.

Андрей Кузьмич с благодарностью посмотрел на меня. Вероятно, потому, что я шел ему навстречу, он не стал ломать комедии и просто начал.

— Вы меня спросили, чего я был в такое время в амбаре. Стоило спросить,— усмехнулся он.— Так вот, я ходил в воры.

— Как так в воры?

— А так, с мешочком. Овсеца хотел пудик-другой нагрести. Ключ мне доверили от общественного достояния, так я хотел попользоваться.

Я молчал. Тогда он заговорил другим тоном:

— Сгрезилось мне, что вот возьму пуд овса, и никому от этого не похужеет — не получшеет. Вот, думаю, я дурак — не воспользуюсь, а другой бы на моем месте воспользовался и чести не потерял бы. Прохор Андреевич в кооперации вагонами добро воровал, а

чести не потерял, хотя все знали. У нас это считается — казенное. В амбар к соседу залезть — позор, а казенное — не позор. Думаю, и не узнает никто. Так и пошел с мешочком. И когда только овес горячий нащупал, тогда схватился.

Я еще молчал, обдумывая эту историю.

Андрей Кузьмич снова заговорил:

— Делайте со мной что хотите. Виноват перед всеми. У всех по зерну украсть хотел... Ключик могу сдать сейчас.

— А почему ты мне вчера не сказал?

— Вчера я выпивши был,— вразумительно пояснил он.— Вчера ты подумал бы, что я только под мушкой признался. А я признаюсь в трезвом состоянии.

Это правильно, решил я и, вздохнувши, сказал:

— Ладно, товарищ Дворецкий! Ключ останется при тебе. Послезавтра, прорастет овес или не прорастет у меня на блюдечке,— выгребай из этого закрома весь — до холодного. Я думаю, если не прорастет, так на посыпку его.

— Посыпка чудесная будет,— радостно уверил меня Андрей Кузьмич.— Свинью можно к Пасхе откормить на десять пудов.

— Да, так я и думаю...

— Хорошо, хорошо... И если уж прорастет, то рассыплем этот горячий по кадкам, по корытам. Да! А не рассыпать нам его завтра? Верней будет. А то на блюдце прорастет, в закроме за три дня сгорит.

— Делай так,— согласился я.

23 марта

Овес пророс и выпил всю воду на блюдечке.

25 марта

Я пришел с гумна в канцелярию запыленный и усталый, как черт.

В валенках катались головки льна, упавшие с соломки. Мы отправляли остатки на завод.

Толпившиеся вокруг стола счетовода граждане меня не узнали, вернее, не подумали, что я председатель. С одним из них, как я потом понял, руководителем делегации, разговаривал счетовод.

— Мы и сами думаем,— вступать или подождать еще? Ждали больше...— говорил первый.

— Вступить не трудно,— глубокомысленно замечает один.

— Ага! — подхватывает другой,— а потом, может, и передумал бы, да нет...

— Ясно, текучести быть не должно.— Это счетовод.

— Ну, а все ж, как у вас насчет обува или товару какого?

— Обуви мы не даем. Обувь у кого есть, так есть, а нет, так сам знаешь.

— Так вступать ай нет? Агитируешь ты или отговариваешь? — решительно ставит вопрос второй крестьянин.— Вступать или не вступать?

— Нужно вступать.

— Да мы уж тоже так решаем: вступать,— говорит первый крестьянин.

— Но принуждения быть не может. Добровольность. Хочешь — вступай, не хочешь — как хочешь.

— Да как же ты его принуждением заставишь? Может, другой еще не решился.

— Ну, не решился, так решится, как под твердое подведут.

— Подведут?!

— Надо будет, так подведут. Чикаться с вами, что ли?

— Это ж, выходит, опять — принуждение? Чтоб в колхоз шел — подводят?

— Зачем в колхоз? Раз ты получил твердое, значит, дадут тебе индивидуальное, а раз ты получил индивидуальное, значит, тебя голоса лишили, а если уж тебя голоса лишили, идешь ты в этапном порядке в Архангельск — железную дорогу проводить...— Подумав, счетовод прибавляет в виде справки: — Мороз семьдесят градусов, одежи никакой.

— Ты, видать, там уж был, Андреич, знаешь климатические условия? — подал голос я.

— А! Это вы здесь? — заулыбался он, как будто я в шутку подслушивал и в шутку же задал вопрос. Но он уже понял, что дело не полоса.— Вот это к вам — граждане деревни Гнедино...

— Да, да,— говорю я,— я слышал.

Делегация вдруг начинает осматривать Ерофеева с ног до головы, словно впервые видит его.

* * *

Но где же взять счетовода?

26 марта

О разговоре счетовода с гнединцами рассказывал учителю. Старался передать слово в слово, ничего от себя не прибавляя.

— Ведь вот враг!..— поднялся и заходил учитель. Он любит «обобщать явления».— Заметь,— поднимает он палец над головой,— этот враг тебе уже ничего или почти ничего не может сделать извне. Там он сразу же будет замечен и наименован. Да и трудно сейчас просто агитировать против колхоза. Но какую силу приобретает его агитация, когда он сидит здесь, когда люди считают его нашим человеком.

Учитель сказал правильно. Вообще за ним стоит коечто записывать. Мы были одни в квартире. Жена его пошла гулять с ребенком. Домашняя игрушка ребенка — счеты — лежали на столе. Я провел по ним несколько раз рукой и сказал:

— Слушай, научи ты меня на счетах. Я у тебя ежедневно бываю и уже считал бы, если б раньше догадался.

— Идет! — согласился учитель.— Только это нужно не тебе учиться, а ты лучше отряди трех-четырех человек. Мы устроим такие домашние курсочки счетоводов. Жена по этой части могла бы преподать самое необходимое.

— Зачем мне столько, мне хотя бы самому. Да и людей таких нет.

— Чудак ты, друг,— оживился учитель,— да у тебя уже две экономии и третья Гнедино будет. Тебе ж нужны кадры и кадры.

— Давай так,— согласился я.— Только меня самого ты все же учи. Мне без этого нельзя. На бумажке да в уме — надоело проверять и Ерофеева.

27 марта

Бедноты у нас, в самом Лыскове, мало. Народ подобранный. Беднота — супруги Кравченковы, Григорий Милованов да считается Матвей Корнюхов. А среди известной части наших середняков живет опасение, что за то, что у них хватает до сенокоса сала, их могут «ликвидировать». Это опасение распространили те, кто не зря опа-

сался,— выселенные кулаки. И вот опасающихся связывает какая-то «круговая порука» — «не дать начать». По внешним хозяйственным признакам Ерофеев стоит с ними наравне. И эти опасающиеся середняки, ненавидя его за приспособляемость и удачливость, чувствуя в нем чужого, могут защищать его. К группе «опасающихся» мог бы отойти даже Андрей Дворецкий, человек, пришедший в колхоз, как говорят, с прочным хозяйством. Правда, Андрей Кузьмич на глазах растет как колхозник, Андрей Кузьмич уже — актив, опора.

Теперь мы проводим в колхоз гнединцев. А среди них много бедноты. Кроме того, можно опереться на их, так сказать, свидетельские показания, на их возмущение Ерофеевым.

Но, с другой стороны, здесь серьезное затруднение, как сказала Саша, заключается вот в чем: Гнедино и Лысково с незапамятных лет враждуют из-за лугов. Дед Мирон может показать обрезанное косой, как у меченой овцы, ухо. Эта старинная вражда двух деревень стерлась теперь, когда фактически одной стороны, одной деревни не стало. Гнедино имеет дело с колхозом «Красный луч», а не с деревней Лысково. И больше того, Гнедино само входит в колхоз.

Но нужно иметь в виду, что, когда пойдет речь об исключении Ерофеева, лысковцы могут зашуметь: «Не смей, гнединцы, у нас свои порядки устраивать». Конечно, это только предлог, но предлог, на котором можно очень играть.

* * *

Завтра общее собрание.

28 марта

Он держался хорошо: отвечал на вопросы, давал устные справки, кидал короткие замечания, вроде: «Не подозревал, что это контрреволюция». Вообще создавалось впечатление, будто он несколько раз успешно проходил чистку.

Он ничего не находил нехорошего в своем разговоре с гнединцами. Он «отвечал по существу». Разберите его любое слово в отдельности:

— Я сказал «текучести не должно быть». Возьмите последние решения ЦК, обкома и райкома нашей (он так все время и говорил — нашей!) партии — что там гово-

рится? Я сказал: надо будет — так подведут под твердое задание,— и я не отказываюсь от своих слов. Надо будет — так подведут. «Колхозная правда», номер такой-то, мобилизует внимание батрацких и бедняцко-середняцких масс на выявление укрывшихся от твердых заданий кулацко-зажиточников. Зачастую у нас в колхозах укрываются люди с целью спастись от обложения и выселения.

— Ишь режет! — послышал я чей-то восхищенный шепот. Оглядываюсь: кузнец. Но по лицу видно, что он не восхищается, а возмущается явственной, но еще не уличенной наглостью счетовода.

— Товарищи,— говорю я,— по Ерофееву выходит, что он встретил делегацию гнединских товарищей вполне почеловечески. Он разбирает свой разговор с ними по отдельным статьям, и все получается безупречно. Давайте спросим у гнединцев, членов нашего колхоза, какое впечатление произвела на них беседа с Ерофеевым в целом.

Выступил Голубь. Брызжа слюной и боком подскакивая к Ерофееву, он выкрикивал:

— Мы к вам явились как представители, а вы нас встретили как кого? Как лишенцев с тысяча девятьсот двадцать пятого года. Мы к вам первые пришли, а вы нос задирать стали: могем, мол, пустить в колхоз, а могем и не пустить. А мы вам скажем, что мы могем вступить, а могем и не вступить. Без Лыскова колхоза не найдем, что ли?

Тут мне стало понятно, что Голубь не Ерофеева на «вы» ругает, а обращается ко всем лысковцам. На лицах лысковцев было явное недовольство: вот вы, мол, какие. Они чувствовали свое превосходство старых колхозников, людей сознательных, над «деревней», как кто-то из наших назвал гнединцев.

Сам Голубь уже спохватился.

— Вы кулак и внутренний вредитель, вот кто вы! — плюнул он под ноги Ерофеева, обращая это «вы» к нему лично.

Ерофеев только улыбнулся.

— Вам, гнединцам, не угодишь,— и оглянулся в сторону лысковцев.

— Да уж это верно! — громко и как бы с облегчением вздохнул дед Мирон.

Вышла большая неловкость. Я видел, что Андрей Кузьмич готов съесть Мирона и в то же время он не хочет при всех поправлять его, старого, сознательного кол-

хозника, всей душой желая, чтоб тот сам понял, куда загнул, и поправился.

Но Мирон, словно пользуясь этим, повторил при общем молчании:

— Что верно — то верно.

— Ах, так! — взвизгнул кто-то с гнединской стороны, но смолк, удержанный недоброжелательным молчанием своих.

— Что так?! — залихватски откликнулся Ерофеев.— Что?..

— Знаем что! — гавкнул тот же голос, хотя я уже призывал всех к порядку.

— Ну, что? — заманивающе и насмехаясь, продолжал Ерофеев, подмигивая Корнюхову.— Заслабило?

— У кого это заслабило? Чего это заслабило? Кого пугаться? — поднялись голоса гнединцев, а первый со стороны гнединцев голос, ободренный и захлебывающийся, перекрыл всех:

— Бей! Бей кулаков!

— Брось, Федор,— гаркнул Голубь, но Ерофеев, словно боясь, что таких слов еще не скоро дождешься, вскочил и, готовый, так сказать, постоять за честь Лыскова, подался грудью на гнединцев:

— Ах, бей? бей?!

— А-а! — поддержал его со стороны лысковцев Матвей Корнюхов.

Опрокидывая скамейки, обе стороны встали на ноги, загремела оборванная железная труба печки-чугунки, и я только успел подумать, что печку уже давно нужно было выставить, да услышал голос Андрея Кузьмича: «Товарищи!»

— Стой! — крикнул кузнец, схватив счетовода за руку, в которой тот держал шапку.— Довольно.

Гнединцы остановились и вместе с лысковцами окружили Ерофеева. Матвей Корнюхов стал поспешно поправлять трубу, ожесточенно царапая проволокой по железу...

Ерофеева держали человек шесть. Голубь, как бы обезоруживая его, отнял у счетовода шапку. Ерофеев сопел, закусив нижнюю губу, и уже не пытался шутить.

Теперь вся ярость собрания устремилась на него одного. Кузнец суетливо доказывал, что «ему», то есть счетоводу, только б стравить, а сам он и в драку не пошел бы.

Голубь кричал:

— Дураки! Надо было головы друг другу проломить. Надо было санки посворотить! Он того и хотел, черти дикие!..

29 марта

Обсуждать вопрос о пребывании в колхозе Ерофеева уже не нужно было. Если даже у него были какие-нибудь вольные или невольные защитники, они теперь были лишены малейшей возможности защищать его. «Вычеркнуть, и все»,— таково было общее требование, как бы подчеркивающее свою безапелляционность по отношению к «нему».

Я стал закрывать собрание. Меня остановила Саша. Робким, уговаривающим голосом она сказала, сохраняя на лице постоянную озабоченность:

— Граждане, человек в своих кулацких интересах пытался стравить две группы колхозников и хотел таким образом, чтобы одна группа, защищая его кулацкие интересы, побила другую группу. Мы не можем его так отпустить. Нужно в суд.

— Постой, постой. Верно! — засуетился кузнец.— Это ж сто восьмая статья,— соврал он для большей убедительности, а поправить его было некому.

— В Соловки! В Архангельск! — выкрикнул несколько раз Голубь, подбадривая других. Собрание заметно стихло, когда пошла речь о суде и ссылке.

— Граждане,— заговорил Мирон строго и с упреком,— не наше дело, граждане, в Соловки или еще куда. У нас есть народный суд, который и судит. К суду его мы привлекаем, но приговор судебный не мы выносим.

— Ну нет! — закипятился сразу Андрей Кузьмич.— Мы выносим ему приговор и просим выслать его из пределов.

— А что ж?! — поддержали его другие.— Чикаться с ним?!

Гнединцы и лысковцы подходили друг к другу закуривать, как бы для большего убеждения друг друга, что у них между собой все в порядке.

Стали расходиться. Счетовод, оставленный Голубем и кузнецом, сидел, не поднимая головы. Я, щелкая замком и стоя у двери, предложил ему выходить. С улицы слышались голоса, звавшие меня. Тут началась отвратитель-

ная сцена. Он начал просить. Не губите его. Дайте ему только справочку. Он сам уедет. Будет работать на строительстве, он исправится...

Я резко прервал его. Тогда он начал ругаться, угрожать, на что-то намекая. Намекал он, видимо, потому, что прямо сказать ничего не мог.

Я позвал сторожа. Сторож поставил на пол фонарь и, тронув Ерофеева за плечо, предложил освободить помещение. Ерофеев представился ослабевшим и не могущим подняться. Я стоял и дрожал от холода — дверь в продолжение всей этой возни была открыта.

Наконец, когда сторож рванул его со скамьи, он встал и засуетился:

— Я пойду, пойду... Я сам...

Сходя с крылечка, он застонал и, взявшись руками за голову, пошатнулся несколько раз и пошел по замерзшей дороге, шаркая валенками в галошах.

— Во! — сказал сторож, закрыв дверь.— Просить не вышло, грозить не вышло,— решил разжалобить!

Мы посидели еще минут десять в канцелярии. Я заметил, что сторож стал как-то свободнее в обращении со мной. Так оно и есть. Пока счетовод имел вес, люди нисколько не доверяли мне. Ведь у руководства, вместе со мной, стоял тот, кто всегда умел устроиться на удобное «письменное» место, кто и германскую войну отсидел делопроизводителем в уезде, кто и в кооперации заправлял, кто и в колхозе сумел удобно устроиться. Люди читали и слыхали слова «классовый враг» и чувствовали в этом что-то натянутое, ненастоящее, потому что эти слова говорил и Ерофеев, которого они ненавидели, но которого нельзя было назвать кулаком, классовым врагом.

Сторож сказал:

— Как же его было назвать кулаком, когда он с семнадцатого года в бога не верил и против религии выступал. Недавно только все узнали, что он не коммунист, а то считали, что коммунист. Когда спрашивали, он отвечал: «Об этом мы поговорим в другом месте...»

2 апреля

С неделю тому назад весну означали сосульки. Теперь весна подвинулась дальше. Крыши очистились от снега, капли есть, но сосулек уже нет. Ночи теплые и темные.

* * *

Ерофеев, говорят, поехал прямо в центр — хлопотать о восстановлении.

* * *

Вечера маленькие — писать помногу некогда.

Часок-другой нужно посчитать. Наслаждение научиться на старости лет тому, чего не умел первую большую половину жизни.

Кладу 385, минус 129, минус 76. Выдумываю всевозможные числа, слагаю, вычитаю, подсчитываю. Смешно, но радостно.

Конец первой тетради

ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ

7 мая 1931 года

Экономия Вязовичи пашет четвертый день. Лысково — третий. Гнедино — тоже. На вопрос, сколько вспахали, все отвечают: «Порядочно». Вязовичи жалуются, что плуги не берут закаменевшую на взгорках почву...

Завтра Вязовичи. Отчеты Голубя и Андрея Дворецкого.

8 мая, Вязовичи, участок Березовое поле

Парень злобно заносит плуг на повороте и матюкается.

— Что? — спрашиваю.

— Попробуй — узнаешь что...

— Позволь,— отстраняю его от плуга и высвобождаю запутавшиеся вожжи. С первых шагов чувствую, что плуг удержать нет сил, так успела засохнуть глина!

Объехав раз, останавливаю лошадь на повороте:

— Да-а!..

— Печка,— поддерживает меня парень, довольный, что работу его признали действительно трудной.

— Ты бригадир?

— Я бригадир.

— Фамилия?

— Шевелев.

— Сколько вчера вспахал самый лучший пахарь? Кто самый лучший?

— Да, как сказать, кто...

— Что, хозяин, попробовал? — перебивает нас низкорослая, черноглазая бабенка, въезжая на заворот.

Бригадир машет на нее рукой, и она, не ожидая его, едет первой. Кое-кому из пахарей, заметно, хочется остановиться с нами на завороте, но бригадир каждому машет рукой, и они проезжают.

— Ну, а сколько вся бригада вспахала за вчерашний день?

— А во-он сколько,— показывает бригадир на вспаханную часть поля.

— Да-а!..

А сколько,— я и сам на глаз определить не могу.

Но как же ставить вопрос о пересмотре нормы выработки на такой пашне, если неизвестно, на сколько недорабатывается существующая норма?

* * *

Голубь орет:

— Сдельщина! А какая сдельщина, когда я на землемера не учился. Пахали вчера, пахали сегодня, завтра будем пахать, а сколько в день — черт же ее знает, сколько. Зато мы ударом берем. Ударники!

— Постой, товарищ Голубь! Мы нормы выработки составляли?

— Составляли.

— Какая норма у нас на пахоте?

— Четверть га.

— Так. А знаешь ты, выполняется ли у тебя хотя норма? Мне вот кажется, что не выполняется.

— Не выполняется?.. У меня?!

Голубь плюет с такой силой, словно хочет пробить плевком пол канцелярии.

— Да, у тебя.

— А во чего не хотел?! — показывает мне Голубь.

А я также спокойно:

— Ну чем ты мне можешь доказать, что у тебя норма выполняется?

— Чем,— наступает он на меня,— чем?! Знаем чем! — как-то угрожающе кончает он и уходит, оставив свой серый засаленный шлем у меня на столе.

9 мая

Андрей Кузьмич, умытый и причесанный, идет босиком по стежке через сад, в канцелярию. Под мышкой у

него папка — переплет от полного собрания сочинений графа Салиаса.

Он останавливается под окном и, не заходя в канцелярию, раскладывает на подоконнике свои бумажки.

— Ну, что гнединцы? — спрашивает он, кивнув на шлем Голубя.

— Голубь был. Забыл,— поясняю я, хотя он и не то спрашивает.

— Заработался и шапку забыл?

— Да, заработался. Кроют вас гнединцы, Кузьмич.

Андрей Кузьмич с минуту смотрит то на меня, то на шлем (не сговорились ли мы), потом притворно зевает:

— Кро-оют?.. Все может быть...— И вдруг оживляется: — Как же это они нас кроют, если не секрет?

— А так. Норму перевыполняют, лошадей не загоняют, пашут ровно, без единого взгреха,— вот как.

— А тот, кто это говорит, нашу норму считал? Лошадей глядел? Взгрехи находил? Вот возьму тебя да поведу сейчас на пахоту — здесь недалеко, и кони рядом ходят. Ты посмотри сперва!..

И Андрей Кузьмич уничтожающе метнул глазами на шлем Голубя, который, как птица, раскинув отвороты, лежал на столе.

А я вдруг ставлю вопрос:

— Норму мы вырабатывали с тобой?

— Вырабатывали.

— Говорили, что еще перевыполним?

— И перевыполним!

— А перевыполняем? А хоть выполняем мы ее!

— Выполняем!

— А чем ты мне докажешь?

— Наличной площадью.

— А сколько ее, наличной площади?

— Я и говорю: иди посмотри.

— Что смотреть, ты мне скажи на словах.

— На словах? Пожалуйста. Верите на словах — пожалуйста.— Он засуетился со своей папкой.— Но я просил посмотреть, чтоб фактически... Вот, пожалуйста.

Я просматриваю его бумажки. Бригада Тараса Дворецкого — восемь человек, 8 мая, две десятины...

— Две десятины?..

— Две десятины!

— Откуда ж ты знаешь, что две?

— Вымерено! Саженчиком! — удало прищелкивает он пальцами, чувствуя, что дело его не плохое.

— Саженчиком?

— Этим самым. Мы по нашей малограмотности,— для большего эффекта прибедняется он,— на метры не понимаем. А мы — саженчиком, саженчиком! Ошибка если будет, так не вредная.

— Ладно,— говорю я,— норма у вас даже перевыполняется. Но как вспахано — я еще посмотрю.— Потом открываюсь ему по-свойски: — Видишь, гнединцы, может, и больше вас делают, но у них плохо с обмером.

Андрей Кузьмич понимающе и снисходительно кивает:

— Так-так...

— Они, собственно, не знают еще, сколько вспахали за три дня.

— Так-так...— кивает Андрей Кузьмич, а сам весь дрожит, сдерживаясь от смеха. И вдруг с самым добродушнейшим, но и торжествующим ухарством махает рукой из-за уха и смеется в открытую: — Ч-чуддак!.. И шапку бросил!..— Он свертывает свои бумажки и, уже успокоившись, говорит с добродушной назидательностью: — Скажи Голубю, чтоб они вспомнили, как мы луги с ними делили. Мы тогда и учились землю сажнем мерять. Пусть и они вспомнят...

* * *

— Ну, что? — с порога спрашивает вызванный мною учитель.

Объясняю ему положение с обмером обрабатываемой площади, не говоря о бригаде Дворецкого.

— Да, брат,— говорит он. Потом задумывается и «обобщает»: — Мелочь! А из-за этой мелочи соревнование будет не соревнование, а так, договорчики.

— Ну, это ты слишком!

— Нет, не слишком. Как ты можешь проверить показатели? Почему ты думаешь, что гнединцы перекрывают Лысково или Вязовичи?

— Я знаю, какие работники и как работали.

— Допустим, и я знаю. Но чем ты мне докажешь, что гнединцы перекрывают?

— Саженем,— проговариваюсь я.

— Ага! Значит, нужно измерять? А измерять нужно ежедневно, еже-дневно!

— В том-то и дело,— раздражаюсь я,— что я сам на землемера не учился, а Голубь или Шевелев — и того менее.

— Придется учиться,— улыбается учитель. Потом встает и начинает на стене, как на классной доске, чертить пальцем, объясняя: — Вот перед нами лежит делянка. Длина и ширина ее разные.

— Разные,— повторяю я.

— Нам нужно что? — спрашивает учитель и сам отвечает: — Нам нужно узнать, сколько в этой делянке га. Для большей точности мы длину этой делянки измеряем в трех-четырех местах. Слагаем цифры, полученные от каждого измерения, и делим сумму на столько, сколько раз мы измеряли. Таким образом мы узнаем среднюю длину площади. Так же поступаем и с шириной. Затем умножаем длину на ширину — и дело с концом!

Учитель привычным жестом, как бы от мела, очищает ладонь об ладонь. Механика измерения площадей мне понятна.

Теперь можно будет говорить о нормах выработки на участке Березовое поле.

* * *

Завтра — Гнедино.

11 мая

С утра я пошел на поле, к бригаде Дворецкого. На завороте, пока до меня дошел первый плуг, я с сердцем начал вскидывать комлыжки земли, натасканные плугами на лужок, который будет нынче заказан.

Длинная полоса в пять-шесть метров шириной совершенно загажена.

Тарас Дворецкий первым подъехал к концу обугони и, нахмурившись, стал заворачиваться, будто бы не замечая меня.

— Постой, бригадир!

— Что, бригадир?..

— А вот что,— подкидываю я ногами комлыжки в его сторону.— Вот что! Вот что!

— Наволакивается...

— Наволакивается? А вот со своей полоски наволок бы ты столько? Не наволок бы! Там ты умел вовремя

плужок вывернуть и стукнуть, не взъезжая на траву. Там ты умел!..

Бригадир слушает меня и смотрит на приближающегося к концу борозды деда Мирона. За Мироном — бабы. Бригадир готов выслушать какой угодно выговор, сделать все на свете, только бы остальные не слыхали.

— Стой! Куда прешь на людей? — кричит он Мирону, хотя тот еще на порядочном расстоянии.

— А?!— поднимает Мирон руку к уху.— Что?!

— Пошевеливай, вот что! Колупаешь, как сонный...

Старик кончает борозду, медленно поворачивает плуг на ребро и легонько стукает: плуг взъезжает на траву, делая только узкий маслянистый след полозка. Земли — ни крошки.

— Здравствуйте! Что ты кричал?

— Покурить, кричал тебе, может, хочешь? Покури.

— Покурить надо погодить, а то будешь дурить.

Мирон дернул вожжой. Так же бережно он занес плуг и, не захватив от края ни вершка дерна, сразу взял мякоть.

Мы с Дворецким ждали, что вот-вот он остановит лошадь и вернется покурить, но он так и не остановился. Даже не оглянулся.

Дворецкий вертел папиросу, сосредоточивая от смущения все внимание на этом деле.

— Ишь старик,— сказал я.

— Д-а!.. Этого старика голыми руками не бери. Он на своем хозяйстве был — почетом пользовался и здесь не хочет на задний план. Думаешь, он за трудодень старается? Не-ет! Это ему чтоб горло драть потом на сходке: «Я вон как работал!»

— А чем это плохо, Тарас Кузьмич?

— Плохого нет...— слабо соглашается он.— Только если тебе говорят закури, так ты закури, не доказывай...

— Ну, а ты разве не доказывал, когда воду один таскал на все стадо?

— Доказывал и я. А что ж будет, если все начнем доказывать? — растерянно улыбнулся Тарас Кузьмич.

Я в первый раз увидел, какие у него глаза: синие, светло-синие, под рыжеватыми, словно опаленными бровями.

— У него сын,— говорит бригадир про Мирона,— в письмоносцах гуляет. Здоровенный парень. Работник

бы! А он письма разносит. Надо, чтоб он бросил свою сумку, а? И так мужчин совсем нет, на бабах едем.

Действительно, мужчин на одной руке сосчитать:

Андрей Дворецкий — полевод.

Фома Григорьев — кузнец.

Антон Жуковский — конюх.

Тарас Дворецкий — бригадир.

Я — председатель.

Из рядовых колхозников один Корнюхов остался да младший конюх Вася Гневушкин — по болезни. Деда Мирона все же за мужчину считать нельзя.

* * *

В Гнедино мы с Тарасом Кузьмичом явились в одиннадцать часов утра. Пройдя перелесок, из-за которого от Лыскова не видно гнединских крыш, мы увидели на поле около десятка лошадей, волочивших плуги, брошенные пахарями. Ни одного человека не было поблизости. Мы стали оглядываться во все стороны — не пожар ли?

— Дым!..— закричал Тарас Кузьмич, показывая в сторону лощинки, лежащей среди пахоты. В лощинке пылал огонек, и от него, расстилаясь по свежей земле, тянулся дым. Мальчишка стоял у огня, заложив руки за спину.

— Где же ваши? — крикнул Тарас Кузьмич.

Мальчик что-то ответил, но мы не разобрали и крикнули, чтобы он подошел. Мальчик шел к нам по пахоте, ступая, как по ступенькам. Шел очень долго, не пропуская ни одного пласта.

— Землю пошли делить,— сказал он, когда совсем приблизился.— У Голубя сидят.

— Как, землю делить?

— Ну, по трудодням,— пояснил мальчик, вполне владея этим словом.

— Вот что, парень,— сказал я, взяв его за плечо,— лети сейчас же к Голубю и передай ему на словах, что председатель велел немедленно явиться к лошадям, со всей бригадой!..

— А не!.. Мне надо коней глядеть,— затянул было парень.

— Мы поглядим. Лети!

Парень сбросил пиджак и шапку и, оправив поясок на животе, кинулся бежать.

Минут через десять на деревне залаяли собаки, послышались голоса, и на взгорок высыпала бригада — человек пятнадцать.

Гнединцы во главе с Голубем шли прямо на нас. Было не похоже, что мы их вызвали и они идут в порядке дисциплины,— нет, они шли сами, они чем-то возмущались; размахивая руками и забегая вперед друг перед другом, они шли и шли прямо на нас...

— Говорите, говорите скорей! — зашептал Тарас Кузьмич, хотя они были от нас не ближе, чем огонек мальчика.— Говорите сразу, а то они начнут, тогда ничего не скажете!..

12 мая

Дался вчерашний день, что я и запись окончить не мог. Глаза закрылись, ноги вытянулись — уснул на лавке. А Голубь сегодня, как ничего не бывало, веселый и вежливый более чем следует, приходил в канцелярию за шлемом.

— Буденновский! — с шиком солгал он, не надеясь и не нуждаясь в том, чтоб ему поверили, а так, от хороших чувств...

Простоволосый, разгоряченный, вчера он шагал через поле во главе своего Гнедина. Я не стал «говорить поскорей» — я ждал, покамест они подойдут. Мне кажется, что это их и расхолодило сразу; они ждали, что я закричу, а тогда уж и они закричали бы.

Но я подпустил их на расстояние пяти шагов и сказал:

— Что ж это вы лошадей побросали, граждане?

Все остановились. Голубь растерянно оглянулся:

— А где ж малый? Малый был приставлен.

— Малый за вами был послан,— угрюмо заметил лысковский бригадир.

— Вон он идет,— сказала женщина, закутанная поверх полушубка широким самовязаным шарфом. Мальчик шел, далеко отстав от всех, и опять перебирал ногами пласты пахоты.

— Товарищ Голубь, собирай лошадей и приступай к делу. Таких перерывов чтоб не было!

Голубь не отозвался.

— На Украине днем так и не пашут,— днем сеют, а пашут ночью. Вот как людям время дорого, а мы и днем-то...— вслед за мною сказал Дворецкий.

В ответ поднялся недовольный говор:

— Ладно, уж ты, сознательный, нам газеты не читай на память.

— Сами читали!

— Мы и днем себе напашем!

— А вот про то,— выскочил мелкий ростом мужчинка (по голосу я узнал того Федора, который тогда на сходке кричал «бей кулака»),— а вот про то, что вы день пашете на колхоз, а ночь — на себя, про то мы и без газет знаем. Еще нигде про это не напечатано!

— Ты про кого говоришь? — обернулся я сразу к нему.

— Про того,— оробел он,— про кого люди говорят.

— Про кого ж люди говорят?

— Истинная правда,— заголосила женщина, заслоняя окончательно смущенного мужчинку.— Это истинная правда, что в Лыскове почти все огороды себе позавели, гряд понаметили, что и у Ерофеева вашего столько не было. Вы там у себя не видите, а нам со стороны все видно...

— Хорошо,— оборвал я ее,— этот вопрос мы разберем особо. А сейчас, товарищ Голубь, ставь бригаду на работу.

— Сперва выяснить надо,— буркнул Голубь и не шевельнулся с места.

— Что выяснить?

— Обязаны мы обмерять землю или нет,— вот что!

— Это обязан делать бригадир,— ты... Но ты посылай сейчас людей к плугам, а с тобой мы особо договоримся.

— А люди, может, хотят знать...

— Что они хотят знать?

— Какую мы норму вырабатываем, знать хотим,— выступил вдруг пожилой дядя, подстриженный «под чашку».

И голоса загудели:

— Ясно, какую норму?..

— Мы должны знать, а не кто за нас!

— Скажи мне, сколько я заработал за день,— и все тут!

— Нечего тут мерить!

Бабы кричали особенно азартно.

А дядя, оказывается, говоря о норме, имел в виду не норму выработки, а деньги.

— Граждане, сейчас вы пойдете на работу, а мы с товарищем Голубем займемся этим вопросом. Мы затем и пришли. Голубь, отправляй...

— Ну, отправляй! Ты ж председатель.

— Я — председатель, а ты — бригадир. Я тебе говорю: отправляй.

— Ты ж тут стоишь. Скажи сам, чтоб шли.

— Сам я говорить не буду, а тебе последний раз предлагаю распорядиться.

— Не куражься, Голубь,— сказала женщина,— делай свое дело. Ждем!

— Чего ж вы ждете? Идите.

— Нет, ты должен, как бригадир, сказать!

Голубь стоял насупившись, как ребенок, и чистил сломанной спичкой ногти.

— Голубь! — раздраженно выкрикнула женщина.

— Правда, Голубь, действуй же ты!

— Надо ж распорядиться...

— Говори, Голубь!— поднялись обеспокоенные голоса.

— Как твоя фамилия? — обратился я к женщине, повязанной шарфом.

— Полякова Антонина,— ответили за нее бабы, как бы гордясь ею.

— Полякова Антонина... Хорошо. Ты примешь сейчас на себя обязанности бригадира: товарищ Голубь временно будет занят...

— А не! Пускай Голубь. Голубь!

— Что?

— Начинай ты, не колупайся.

— Тебя назначили — ты и начинай.

— Ах, так твою! — сказанула Антонина и, повернувшись к присевшим со смеху пахарям, закричала: — Чего стоите?! Собирайте коней, ну!..

Бригада тронулась в разные стороны к лошадям. Бабы были довольны, словно только того и добивались.

Отходя, они кричали издалека весело и приятельски:

— Антонин! Кому заезжать?

— Бригадирша, мой вожжу порвал!

— Кому заезжать?!

* * *

Голубь говорил:

— Все работали ударно, от темного до темного. А как учет произвести — мы и сели. Так и так, говорю, граж-

дане, я за плугом у каждого ходить не приставлен, но работать все должны как следует. Пускай лысковцы мерят каждый день, что напахали, а мы разом вымеряем потом. И кроме того,— обидно мне стало. Я — чистый бедняк. В колхоз пришел не затем, чтоб прохлаждаться,— работаю без оглядки. И нету у меня ничего, кроме колхоза: коровки нет, свиней нет, садика-огородика нет. И на стороне никакого заработка. Что в колхозе — то только и есть у меня. И работал я, не считаясь с тем, что лишку перерабатываю для колхоза. Может, тому, кто, кроме колхоза, имеет еще у себя десятину огорода да всякие брюквы кормовые,— может, тому и нужно (это я так думал) считать, сколько он сделал для общего блага,— чтобы против единоличного больше не вышло...

Тарас Кузьмич откашлянулся, но промолчал.

— Ну, говорю, граждане, работаем — и никаких. Нужно измерять — пускай сами измеряют, а мы как работали, так и будем работать. У нас господ нет. Все равны на работе.

Тарас Кузьмич опустился и сел в знак того, что он не хочет утруждать себя и стоя слушать такие разговоры.

А Голубь вдруг повернул:

— Будем мерить, раз пришли. Мерить, я полагаю, есть что. А относительно моего поведения — я извиняюсь...

— Это на правлении,— перебил я.

— Потому, что объясняю, как есть, был обижен. Обидно мне было. Но раз пришли — будем мерить.

Мы приступили к делу, так и не договорившись с Голубем окончательно. Он чувствовал себя виноватым, старался, летал по полю с двухметровым ореховым треугольником, не разгибаясь. Часа в два мы увидели, подсчитав, что норма выполнялась.

Производя обмер, мы постепенно приблизились к пахарям. Глядя на пахоту, я долго не знал, что сказать по поводу того, что пахота уж больно неровная. Здесь мальчик не мог бы идти, как по ступенькам: одна ступенька целиком скрывалась под другой, более широкой, третья лежала поперек первых и т. д.

— Пашут...— сказал, глядя на это, Тарас Дворецкий, вложив в одно слово такой смысл: пашут скверно, неаккуратно, неровно, недобросовестно.

Мимо нас протащился, покачиваясь, с плужком дядя, остриженный «под чашку». Он до того ласково и бережно понукал лошадь, что я спросил:

— Что она у тебя?

— Трехлеточек,— беспомощно протянул он и начал причмокивать: — Ну, детка! Ну, тащи потихоньку, тащи как-нибудь, колхозница!

Я сказал ему вслед:

— Колхозную лошадь беречь — дело хорошее, но пахать тоже нужно.

— Колхозную! — громко хмыкнул Голубь.— Сам-то он колхозник, а лошадь его собственная.

— Как так?

— Да так. Постановляли ж мы с весны прикрепление к лошадям. Ну, и прикрепили.

— И все на своих лошадях пашут?

— Все. У кого только лошадей не было — тот на чужой. А так все на своих.

— Пустите, начальники, с дороги! — закричала Антонина, идя за плугом уже без шарфа и шубы, несмотря на холодный ветреный день. Она проехала, отвалив чуть ли не на ноги нам широкий пласт, сразу закрывший собой узкий, стоявший ребром пласт первого пахаря.

— Так... А вон на том загоне кто пахал? — спрашиваю я, показывая на пахоту, через которую шел мальчик.— Пахал там этот дяля, что перед Поляковой проехал?

— Нет,— отвечает Голубь, — там пахали мы, у кого кони «чужие»...

12 мая

Правление постановило:

1. Провести по гнединской экономии фактическое обобществление лошадей, прикрепив пахарей и бороновальщиков на весь период весеннего сева к лошадям, но отнюдь не к «своим».

2. Таких пахарей, как Андрей Пучков (стриженный «под чашку»), ставить на отдельный загон — отдельно обмерять их пахоту и отдельно выводить им трудодни.

3. Голубю — за дезорганизаторское поведение на поле в день прибытия лысковской бригады по обмеру — выговор.

13 мая

Дед Мирон с шапкой в руках подходит к моему столу и говорит, что сына его «не отпускают».

— Скажи сыну,— говорю я,— что носить сумку мы подыщем менее мощного человека, а он будет пахать.

Жуковский, обращая на себя внимание всех присутствующих, презрительно улыбается: дескать, сам ты в контакте с сыном.

— Граждане,— вдруг обращается ко всем Мирон,— вы меня знаете?..

— Ну, что? — отозвался Жуковский.

— Граждане, вы меня знаете? Знаете, как я работаю?! Знаете?

— Работаешь хорошо,— сказал Андрей Кузьмич, подняв на минуту голову от своей папки.— Но сын твой койчего не сознает!..

— От работы избегает,— добавил Жуковский.

Дед Мирон, утирая пот, беспокойно осмотрелся. Он почувствовал, что из-за сына и его самую добросовестную работу могут поставить ни во что. Но этого он не может допустить...

— Я за сына не отвечаю! — отчаянно, но убежденно крикнул старик.— Я — член и сын — член. Каждый член за себя отвечает. А за себя я отвечаю.— Он решительно оглядел всех, готовый с любым встретиться глазами.— Вы знаете, как я работаю! — как бы уличая всех в этом повторил он, твердый в новом, только что открывшемся для него положении, что он прав, если он хорошо работает в колхозе, и не обязан отвечать за сына, взрослого человека. Никто, конечно, не мог поставить вопрос иначе. Наоборот, сейчас все с большим чувством утверждали это положение:

— За сына ты не ответчик...

— Мы тебя знаем, Мирон Алексеевич!

Мирон уходил, держа голову набок, и повторял свои последние слова: «Я за сына не отвечаю».

И теперь мы все видели в нем не отца отлынивающего от работы сына, не старичка, который сам по себе дешево стоит и живет только почетом или позором детей, а человека, который заставляет считаться с ним самим,— члена, как он сам сказал, члена нашего колхоза!

14 мая

Саша сидит на крыльце миловановской пятистенки, задумчиво катая детский жестяной автомобиль. Мертвый час. Марфа Кравченкова спит в сенях, дети — в комнатах. Окна раскрыты в опрятный, присыпанный песочком палисадник.

— Здравствуй, заведующая!

Саша вздрагивает и поднимает на меня загорелое, неизменно озабоченное лицо, на котором написано: «Председатель, отпустил бы ты нам деньжонок на шило-мыло».

— Тише ты,— предупреждает она меня, кивая на окна,— садись.

И мы все время говорим шепотом.

Саша жалуется:

— Ударницы-то ударницы, но до того ударяют, что детей кормить запаздывают. Часов ни у кого нету. У каждого бригадира по-настоящему часы должны быть,— между прочим, вздыхает она.— А знаешь, это же беспорядок, когда дети питаются не вовремя. Вот и вчера приходит Анастасья Дворецкая — жена Андрея Кузьмича, твоего хваленого,— приходит, когда малый уже закричался совсем — хоть свою сиську ему давай.

— Постой,— сказал я,— сейчас-то бабы уже посвободней. В Лыскове уже почти все вспахано и забороновано... Теперь только сеять и заволачивать.

— А огороды? — сразу возвысила голос Саша и, спохватившись, заговорила совсем шепотом: — Из огородов не вылазят... Огороды поразбахали огромадные. У нас с матерью какой был: грядка луку, грядка огурцов, да еще там,— такой и остался. А все теперь огороды поразбахали огромадные. «У нас, говорят, теперь только и всего, что свой огородчик...» Вот у Марфы еще,— кивнула она в сторону сеней,— какая была там грядка, такая и осталась: Марфе некогда гряды загребать,— она день-придень здесь на всех детей одна.

Саша вздохнула.

В сенях загремело пустое ведро. Саша, схватившись за уши, шепотом закричала:

— Марфа, ошалела ты!.. Дети спят...

— Без четверти три,— ответила Марфа.

— Все равно, так детей можно нервировать...— И, обернувшись ко мне, Саша улыбнулась: — Она по ча-

сам здесь научилась понимать. Поминутно смотрит... А без четверти три — это конец мертвого часа.

15 мая

Выслушав устный рапорт Андрея Кузьмича о том, что Лысково закончило вспашку и бороньбу, я спросил:

— А сколько у тебя нынче огороду?

— Огороду?.. Десятинка есть...

— У тебя десятинка, а у других по скольку?

— У кого как. У кого больше, у кого меньше... У меня вот почти что десятинка...

— Уже «почти что». А сразу сказал, что десятина.

— Да кто ж ее знает точно,— уже неуверенно и боязливо пробормотал он.

— Мерить-то ты можешь — спец по этому делу...

— Это мерить не приходится. Это под усадьбами у нас. А мерить — так надо и трудодни выписывать,— усмехнулся полевод.

Я поставил вопрос напрямик:

— Как ты думаешь, Андрей Кузьмич, нормально это, что колхозники вне колхоза расширяют свое единоличное хозяйство?

— Какое же это хозяйство? Это огород. А Сталин что сказал в ответе товарищам колхозникам?

— Мелкие огороды! Мелкие — сказано там!

— Конечно, мелкие,— твердо сказал Дворецкий.

— Но разве у вас мелкие?

— Мелкие.

— Хорошие мелкие: по десятине, а то и больше!

— Там не сказано, сколько десятин,— сказал Андрей Кузьмич.

— Но зачем тебе такой огород? — возразил я.

— А там сказано: «Известная часть молочного скота, мелкий скот, домашняя птица и так далее»,— прочел он на память, делая голос сугубо официальным и в то же время язвительным.— А чем же кормить «известную часть молочного скота»? Корнеплодом нужно кормить! Брюкву мы засеваем на этих огородах.

— Да, но ведь ты сеешь брюкву не на приусадебной земле. Откуда у тебя столько приусадебной? Я имею сведения, что эти огороды вклиниваются в полевые массивы колхоза.

— Там не сказано...— опять было начал он.

Но я его перебил:

— Мало ли где чего не сказано!

Разговор наш прервал Голубь, громко поздоровавшийся в окно. Он остановился и долго осматривал канцелярию, повиснув грудью на подоконнике. Он не обратил внимания на то, что мы ему не ответили и сидели насупившись.

— Ты по делу, Голубь?

— Не-а! Так! — улыбнулся он еще шире и смелее.

— Вот что, товарищ Голубь, сегодня после обеда на поле тебя опять заменит Полякова. А ты совместно с товарищем Дворецким произведешь обмер кой-каких площадей здесь. Мы с тобой еще об этом поговорим.

Андрей Кузьмич встал и, не попрощавшись, вышел. Я слышал, как за стеной, уже отошедши от окна, Голубь спросил: «Ты где будешь?» — «Дома буду»,— ответил Андрей Кузьмич новым для меня грубым, не своим голосом.

Голубю я объяснил, что он должен плечо в плечо с Андреем Кузьмичом обмерить все до одного новые лысковские огороды и дать мне сведения к вечеру. Я завтра еду в район.

— Мерить-то научился?

— Спрашиваешь! — хвастливо мотнул головой Голубь.

17 мая

Вчера я встал в четыре часа. Сведений об огородах мне с вечера не дали. Я ждал Голубя или Андрея Кузьмича. Сижу в канцелярии и жду. Темно. Обычно в это время приходил Андрей Кузьмич и выписывал наряды. Сижу десять, двадцать минут. Полчаса. Нет. Иду сам к Дворецкому. Становлюсь коленом на завалинку, набитую кострой, и стучу в темное окошко. В хате так душно, что у закрытого окна снаружи — и то чувствуется.

На стук отзывается жалобный, протяжный голос женщины:

— Кто там?..

— Андрей Кузьмич дома?

— До-ма...

Окно изнутри заслоняет фигура в белом.

— Андрей Кузьмич — сведения!

— Какие сведения?

— По огородам. Как мы договаривались.

— Кто обмерял, тот пускай и дает сведения... А я по чужим огородам с сажнем лазить не собирался. С бабами в драку лезть?.. Была охота.

Какой еще черт сидит в этом хваленом Андрее Кузьмиче!

Окно потемнело. Андрей Кузьмич отошел, и я не стал его звать.

В канцелярии меня ожидал Голубь. Я получил сведения: двадцать три гектара в Лыскове заняты единоличными огородами. А дворов-то двадцать два!

— Один мерял?

— С Кравченковым. Молчи — целая история. Дворецкий отказался. Жуковский отказался, все отказались. Ну, я Стефана, как члена бедноты, взял на буксир — идем! На ерофеевском огороде, который теперь под его свояком, нам чуть не попало. Будь я один, гнединский,— не дали б обмерить.

— Что ты говоришь?!

— А вот!.. Ты подождал бы денек-другой ехать.

— Да я всего на один денек. А что?

— На работу могут не выйти...

— Брось!.. Вот только вам с Кравченковым придется остаться здесь за меня.

— Это мы останемся. Стефан хоть и не член правления, но бедняк, и огород у него две грядки, баба-то его при своем деле... Некогда было огород разбивать.

— Ну, дуйте! Только смотри, Голубь, не груби,— у нас народ вежливость любит. Понял?

— Ладно.

— В обед проверить, как Вязовичи с обмером справляются. Если плохо дело, то от моего имени пошлите Андрея Дворецкого. На весь день. А если хорошо, то пошлите его в Гнедино... для помощи Поляковой. Да! Сегодня отчет Кузнецова. Вязовичи, бригада номер два. Опять, Голубь, не горячись с ним. Он такой старик...

— Ладно.

— Ну, и гляди, что тут будет. Но не приглядывайся специально, не пугайся... А если что — парня верхом, я буду в райкоме партии.

— Ладно.

Голубь уже сидел за моим столом.

* * *

Я ехал доброй рысью по белой прохладной дороге. Первая сегодняшняя пыль слабо поднималась из-под копыт Магомета, грязных от росы. Я ехал и дышал. Пахло садами, свежей землей, незапаханным навозом и бензином. В пяти верстах от Лыскова по этой дороге — район МТС.

Казалось, что чем дальше я еду — тем больше людей: по сторонам шли бригады пахарей, посевщиков, бороновальщиков. На самом деле — был такой час. «В это время уже и мои выехали»,— думал я. А издалека-издалека доносился мерный стреляющий стук тракторов. Я ехал, и он делался все явственней, сильней и как бы чаще. Поднявшись на взгорок, я увидел сразу шесть штук. Они шли как бы в гору, но это всегда так кажется, когда видишь их в работе, хотя бы на самом ровном месте. Они шли медленно и вроде как неспоро. Но такая в их ровном громоздком движении чувствовалась сила, что казалось, так они будут идти, идти, дойдут до Лыскова, до Вязович и пойдут дальше через все поля, пойдут, и пойдут, и пойдут... Только стук будет все отдаленней и отдаленней...

* * *

Я приехал к девятичасовому поезду. Зашел на почту, получил газеты. Переговорил с начальником насчет увольнения с должности письмоносца — Миронова сына. Начальник согласился, когда я сказал, что взамен мы дадим какого-нибудь парнишку. В половине десятого я был в райисполкоме.

В комнате секретаря районного комитета партии сидело три-четыре человека. Ожидая секретаря, я осматривался.

В комнате стояли два стола, сдвинутых в виде буквы Т. Вокруг длинного стола — скамейки. Подле короткого, за которым сидит секретарь,— два венских стула.

У двери — белая садовая скамья. На ней я и сидел.

Товарищ Брудный, закрыв меня дверями, вошел и, бегло поздоровавшись, сел на свое место. Мужчина он полный, прочный. Бритая голова блестит сединками. Заметив меня, он как-то виновато улыбнулся:

— Ты приехал! Ты подожди,— я сейчас...

Но эта виноватость сразу сошла с его полного, несколько обвислого лица, когда он левой рукой принял от человека, сидевшего на венском стуле, бумажки.

— Это что? Вчерашняя сводка? Вчерашнюю сводку нужно давать вчера. Сегодня не приму!

Но он смотрел в сводку, хотя и держал ее пренебрежительно левой рукой.

— А ты молодец! — опять улыбнулся он мне, тряхнув сводкой.— Вот только с контрактацией тут у тебя слабовато. Молодец!.. Посылай! — отмахнулся он от дававшего сводку.— Вы, товарищ? — обратился он к стоявшему на очереди.

Это был председатель одного сельсовета. Понижая голос до шепота, он стал что-то говорить о кулаках, выселении...

— Ну! — громко сказал Брудный.

Тот продолжал шептать, наваливаясь грудью на край стола.

— Почему кулак?! — опять во весь голос перебил Брудный.— Ктитором? Шесть месяцев ктитором был в двадцать третьем году? А как он в колхозе работает? Хорошо работает? Ну, так что ж ты? Заметка в газете? Кулак в колхозе? Ах, еще не написана, а только угрожают! А ты принюхайся к тому, кто угрожает!..

Брудный говорил с ним, как по телефону. И только уходя, предсельсовета, защелкивая клеенчатый портфелик и одергивая черную сатинетовую рубаху, сказал:

— Ить же, товарищи, боишься в *правый* попасть! Ить же, товарищи, боишься,и в *левый* попасть.

Брудный усмехнулся:

— Не попадайся.

Следующим был председатель колхоза «Маяк». Он говорил, что нормы перевырабатываются вдвое, но не за счет действительно ударного напряжения, а за счет пониженных норм,— как я понял.

— Это дело дрянь,— сказал Брудный. Потом отсчитал, как бы заканчивая разговор: — Собери лучших ударников, побольше из бедноты. Скажи: самих себя обманывать не годится. Так просто и скажи. Только не начуди с переучетом!.. У тебя там курсы были? — потянулся он ко мне.

— Были.

— В случае чего дашь вот ему человека на два-три дня,— опять виновато улыбнулся он, словно просил для себя лично.

— Гм...— попробовал я возразить.

Но Брудный не обратил на это внимания. Он считал что — договорились.

Товарищ вышел.

Брудный откинулся на спинку стула и, указывая мне на другой, рядом стоящий, начал:

— Ну, что у тебя нового хорошего?

Я сказал про огороды. Как быть? Обобществить — дело нелегкое, и так нельзя оставить. А настроения у «огородников» — нехорошие.

— Да-а...— протянул Брудный, и в его голосе уже не было той уверенности и поспешности, с какою он разговаривал за минуту перед тем.

— Двадцать три га! Так... Ну, а сколько у вас этой брюквы колхозной?

— Нисколько,— растерялся я.

— Как нисколько?

— Не сеяли.

— Не сеяли?! — оживился и даже обрадовался Брудный.— Так-так-так-так... Дай-ка папироску.

— Я не курю.

— Не куришь, это хорошо. Рассказывай дальше.

— Что ж еще рассказывать? Прорвалась, брат, собственническая стихия. Учителя нашего нет — он сейчас в отпуске, а то он мог бы все это «обосновать». А я один, признаться тебе, чувствую, что это как-то надо обосновать, а, кроме общих слов, ничего не могу.

— А ты общих слов — не надо!

— Ну...подверженность известной части колхозников кулацким, то есть собственническим, влияниям...

— Дальше...

— Дальше — стремление этой части удержать под собой в условиях колхоза свою единоличную, хоть небольшую, но доходную статейку.

— Так. Дальше....

— Что ж дальше? Я по глазам вижу, что ты знаешь, в чем тут дело. Говори.

— Вот это ты очень ошибаешься. Лучше тебя здесь никто не может знать, в чем дело. А для меня только интересно, в чем тут дело, поскольку это новый случай. Говори.

Брудный вынул из пиджачного карманчика измятую папиросу и стал ее склеивать, сняв кусочек тонкой бумажки с мундштука папиросы.

Я сказал:

— Самое трудное здесь то, что передо мной не кулаки, а самые настоящие середняки, показавшие себя на работе и в поведении прекрасными колхозниками. И даже бедняки!

— А ты найди мне теперь такого кулака, который выступает на сходках: «Долой колхозы!» — и бегает у тебя под окном с обрезом. Спичка есть? Нету?.. Ну, и что ж ты думаешь делать?

— Думаю провести обобществление хотя бы части этих огородов.

— Правильно. Но как же ты лишишь его доходной статейки, как ты сказал? Статейка-то доходная?

— Доходная.

— А чем она доходная?

— А тем, что у нас у всех свои коровы. А коров можно хорошо кормить и доить...

— Так-так-так!..

— А народ у нас знающий толк в молочном деле. Бабы с сепаратором обращаться умеют. У Ерофеева был сепаратор, все ходили к нему молоко перегонять.

— Ну-ну-ну!..

— Ерофеев и брюквы этой сеял по две десятины.

— Конечно, сеял! — радостно захохотал Брудный и встал, опираясь животом на край стола: — Дай теперь мне сказать. Перебивай меня, когда я скажу не так. Первое. Ты не учел такой экономической возможности в Лыскове, как молочная сторона. Ты не посеял двадцати-тридцати га брюквы! Колхозной! Правильно?

— Правильно.

— А лысковцы не могли ее не учесть, поскольку они знают, что такое брюква, и поскольку ерофеевское молочное «культурное» и всякое такое хозяйство, как я о нем наслышался, является для твоих лысковцев (или лучше сказать — являлось) образцом хорошего доходного хозяйства. И вот против возможности иметь такое хозяйство, хотя бы в урезаном размере, не могли удержаться твои распрекрасные лысковцы. Правильно?

— Правильно.

— А как ты думаешь, в чем сейчас должен быть поворот от таких «огородных» молочных хозяйств к колхозному молочному производству?

— В том, чтобы обобществить эти огороды.

— А потом?

— А потом... Погоди, куда гнешь?

— Стой! Больше ни слова. Приступай к делу, и ты увидишь, что не обойдешься без этого самого. Да и брюкву тогда зачем обобществлять? И не обобществишь ты ее без того. Тебе бабы скажут: «А чем мы будем своих коров кормить?» Тут, брат, одно за другое цепляется.

— А про что ты говоришь? — прикинулся я, хотя прекрасно понимал, о чем идет речь.

— Про то самое, про что ты думаешь.

— Я не знаю.

— Узнаешь! Брюкву станешь обобществлять — узнаешь.

— Ты мне экивоками не говори. Ты должен мне дать практические указания.

— Не могу тебе давать практических указаний, пока ты не дашь мне практических соображений. Вот, примерно, сказал бы ты: считаю возможным и нужным обобществить эту брюкву на предмет кормления расширенного колхозного стада, расширенного за счет обобществления вторых коров и создания, так сказать, молочнотоварной фермы. А районный комитет должен тебе сказать, можешь ли ты это сделать в условиях Лыскова. И мы тебе говорим: можешь в условиях Лыскова, где выгодность организованного сбыта молока доказать легче, чем где-нибудь еще, где люди и сепаратора не видели.

— Понятно.

18 мая

Заговорившись, мы с Брудным вместе пошли и обедать. Магомета я оставил в конюшне райисполкома, откуда даже в столовой я слышал его заглушенное стенами и шумом поселка ржанье.

Перед обедом Брудный сказал, склоняясь с лукавой улыбкой над столом и как бы подмигивая мне:

— А я про тебя слыхал, что ты водочку пьешь.

— От кого? Что?

— Правда, от классового врага, от Ерофеева (он же и ко мне приходил, когда его исключили), но слыхал...

— Ах, да! — засмеялся я и рассказал про случай с Андреем Кузьмичом, когда я выпил полстакана водки.— Только как он мог узнать про это?

— Он, брат, видел тебя, когда ты ночью шел в бабской шубе и как ты со своим приятелем целовался на прощанье... Вот, брат!

Меня всего передернуло. Было особенно неприятно, что Ерофеев все время знал об этом случае. Но если бы это была неправда, Ерофеев при всем желании все-таки не сказал бы об этом Брудному, не использовал бы этого момента. Ерофееву тоже нужна «правда»,— тогда он смелее действует.

— Ничего! — кивнул мне Брудный, словно я опасался чего-нибудь.— Ничего! Я сам — я прямо тебе скажу,— хластанул он,— я могу выпить. Вот с тобой бы я выпил. Как ты?..

— Нет, я бы с тобой не выпил.

— Почему?

— А нам с тобой и так хорошо.

— Верно! — захохотал Брудный.— Но если выпить, то будет еще лучше.

— Нет. Тут, брат, знаешь, есть разница между тобой и Андреем Кузьмичом. Андрей Кузьмич угостил меня, как человек, который еще думает, что, любя и уважая меня, ничем другим не может подчеркнуть свою любовь, уважение и полную солидарность со мной, как только совместной выпивкой. А с тебя можно, слава богу, и большего спросить.

— Одним словом, у нас с тобой складчины не будет! — засмеялся Брудный и молодцевато подхватил тарелку из рук подавальщицы.

* * *

Я выехал из поселка, когда солнце было на последней четверти пути к закату. В сумерки, подъезжая к Лыскову, я едва удерживал Магомета в ногах: он рвался к лошадям, уже ходившим в ночном. На повороте к околице стояла, опираясь на палку, фигура, похожая в темноте на копну сена.

— Кто такой?

— Я.

Голос Милованова.

— Ты, Григорий?

— Я.

— Здравствуй!

— Здравствуй. Проезжай, не беспокой коней.

— Ладно. А что это — свет в канцелярии?

— Сходка.

— Сход-ка?..

— Да, собрались там....

Милованова я как-то очень давно не видел. Это потому, что он всегда в ночном, а днем отдохнет — и в кузницу. Говорят, что он уже может сделать гвоздь, клец и другую мелочь.

Поставив Магомета, я через сад направился к канцелярии. Изба гудела от голосов и криков. А у окна стояли и курили, освежаясь, несколько человек и среди них Андрей мой Кузьмич. Я тихо поздоровался. Они меня увидели еще издалека, так как сад был совершенно белый от цвету.

— Все возьмите, рубашку с тела возьмите! — выделился из общего гула настолько жалостный и в то же время злобный голос.

Я быстро спросил:

— Пьяные?

— Да нет,— пренебрежительно сплюнул Андрей Кузьмич,— когда б пьяные!..

А один из стоявших почти шепотом сказал для одного меня:

— Матвей Корнюхов.

— Да-а!..— протянул новый голос.— Брюква-репа, одним словом.— Вспыхнувшая затем папироска осветила лицо кузнеца Григорьева.

А в это время Голубь просил расходиться:

— Граждане, довольно! Людям спать надо, люди на работу завтра пойдут.

Словно те люди, которым завтра идти на работу, сидят где-нибудь поблизости и, не вмешиваясь, ждут окончания сходки.

— Бедняк, ничего не поделаешь,— вздохнул уже не для меня, но в то же время и для меня голос, назвавший Матвея Корнюхова. Теперь я рассмотрел, что это Василий Гневушкин — помощник конюха.

— Ка-кой бедняк,— укоризненно протянул Андрей Кузьмич,— с каких пор бедняк?

— Ну, как же.

— А так же, что враг, а не бедняк!

— Враг не враг, а бедняк.

— Да не бедняк, тебе говорят. Три коровы у него было. Сволочь, а не бедняк!

Я понял, что речь идет о Корнюхове.

19 мая

Голубь рапортовал вот о каком положении.

На работу выехали все. Работа шла хорошо. Они с Кравченковым принимали бригадиров, давали распоряжения. Андрей Кузьмич приходил с докладом, что Корнюхов баламутит людей на поле. Корнюхов шел в ряду других посевщиков и, ругаясь в бога, бросал зерно издевательски небрежно. Когда ему сказали,— он матюкнулся в рифму: «Так перетак овес,— в господа, в гроб колхоз».

Мне не верилось, что Корнюхов так открыто мог ругаться. Дурак он, что ли?

— Э!.. У него от доктора бумажка есть, что он псих. Ему можно. И ничего не сделаешь,— объяснил Голубь.

Псих не псих, а брюквы засеял около десятины. Корова у него большая, а кроме того, телка погуляла. Никто и не знал, что у него еще телка.

— Андрея Кузьмича,— говорил Голубь,— мы не стали отсылать, хотя ты и говорил. Не стали потому, что он не пошел вслед за Корнюховым. А нам это особо интересно. То у нас против огородов были только те, у кого огородов нет, а то у нас будет сам «огородник».

— Правильно,— сказал я.

Вечером, рассказывал Голубь, народ по-обычному собрался в канцелярии. Подошел Корнюхов, и поднялась история.

— По какому праву отымаете огороды? А кто труды оплатит? — кричал он, думая, что последний довод — самый веский.

Голубь и Кравченков оказались в таком положении, что уже было бы нелепо говорить, что огороды не обобществляются. И на довод Корнюхова они ответили:

— Разочтем по трудодням, в точности.

— Это верно,— поддержала часть сходки во главе с Андреем и Тарасом Дворецкими.— Труд не должен пропадать.

— А все же отымаете? — голосил Корнюхов и, пользуясь своим документом, которого, между прочим, никто не видел, орал: — Все возьмите! Рубашку с тела снимите!

Но тут даже те, кто его поддерживал, пока он не доходил до таких слов, осадили его.

— Кто это возьми? Кто сними? — строго и настойчиво спросил дед Мирон.

Корнюхов зашел слишком далеко, и это пошло нам на пользу.

Марфа Кравченкова сказала:

— Бабы! У нас работы хватает? Хватает, бабы. А на кого вы свои труды покладаете? Кому напахали, насеяли столько? Чужому дяде? Черту лысому? Если ему, тогда, правда, нужно отдельно от колхоза еще хозяйство держать. Тогда разводите огороды! Поливайте, пропалывайте! Но если бабы на себя пахали, на себя работали, тогда нет, бабы! Тогда все это в одно место должно идти!

А Марфу бабы за детей любят.

— Но я тебе только самое хорошее рассказываю,— предупредил Голубь.— Нужно иметь в виду, что недовольства много.

* * *

Приходил Алексей, сын деда Мирона. Он уже в бригаде Тараса Дворецкого. После разговоров о том, что он, боясь работы, пошел на весну в письмоносцы,— парень готов разбиться в доску, чтоб только доказать обратное.

Он пришел с дельным предложением: на каждой обмерянной делянке ставить колышек, на оттесанной стороне которого надписывать: столько-то га, столько-то соток...

Объяснив мне эту простую штуку с помощью карандаша, парень выпрямился от стола и, заложив карандаш в нагрудный карманчик, усмехнулся:

— Бабы подсмехают: «Адреса надписываешь». Что ж, адреса!

— Правильно,— сказал я.

20 мая

Утром пришел Тимофей Корнюхов и попросил справку о том, что он действительно член колхоза «Красный луч».

— Зачем тебе такая справка? — спрашивает Голубь.

— В Доме крестьянина требуют, когда случается быть.

— Когда поедешь — тогда и возьмешь.

— Нет, дайте уж одним разом...

Стоит он, ухватившись за край стола, и почтительно смотрит на шлем Голубя. Но за этой почтительностью в глазах его и черных остриженных и подбритых усиках-мушках видна готовность шлепнуть этот серый засаленный шлем об землю и подкинуть выспитком!

— А ты,— говорит Голубь,— покажи сперва свою справку, что ты псих.

Все, кроме черных усиков, бровей и волос, на лице Корнюхова заливается густой краской.

— Нет у меня такой справки. Это все сплетни.

— Нет? Значит, ты в своем уме и памяти говорил тогда вечером?

— Я ничего и не говорил такого...— вдруг в упор заявляет Корнюхов.— Посмотрите протокол собрания.

— Ладно,— заявляет Голубь,— пока не представишь той справки, ничего тебе выдать не можем... До выяснения дела.

— Хорошо,— заторопился тот,— я справку представлю. То есть справки нет,— я — копию...

— Все равно, давай копию,— смеется Голубь.

Корнюхов поспешно уходит.

23 мая

Андрей Кузьмич на этот раз, чувствуя за собой вину, стремится не поговорить по душам, а чем только можно доказать, что он открестился и отказался от своей оплошности.

С видом мученика он приходит и спрашивает:

— Корову сейчас приводить?

Пользуясь присутствием нескольких «огородников», я разъясняю не столько ему, сколько всем им:

— Кто это тебе говорит — сейчас? Зачем ее приводить, пока у нас ничего не оборудовано? Тебе что надо понять, Андрей Кузьмич? А вот что: мы засеяли нынче двадцать три га кормовой брюквы. Но засеяли без плана и порядка — в разных местах. Для общего удобства мы эти участочки объединяем и будем их убирать совместно. Брюква эта идет на наших же коров, а молоко и доход от коров — на нас самих.

— Да нечего меня агитировать, как маленького. Я сам тебя сагитирую. А ты лучше скажи вот что: надо думать насчет постройки двора, да насчет углубления и очистки пруда, да насчет погреба для этой брюквы!..

— Верно! — заговорили «огородники».— Надо дело говорить.

«Хорошо, хорошо,— думаю,— будем дело говорить».

— Как только, братцы, отсеемся, сейчас за стройку возьмемся.

— А где лесу возьмешь? — гнусавит Жуковский, как будто это я лично буду строиться.

— А,— говорю,— по бревнышку, по два у нас у каждого под крышей лежит. Приволок хозяин случаем, а что с них, с двух бревен? Гниют! А как мы их соберем в кучу — так и двор у нас будет.

— Двор!..— хмыкает Жуковский.— А кто мне оплатит, что я в лес ночью ездил, рисковал перед Советской властью?

— Да вот с таким мальчишкой! — вскакивает Тарас Кузьмич, показывая на четверть от стола.

— Ты мне этого мальчишку уже показывал,— смеюсь я.

Тарас Кузьмич смущается.

— Мы вот что сделаем,— поднимается Андрей Кузьмич.— Мы бревнышкам произведем оценку и предадим их обобществлению. И никому обидно не будет.

Все смеются, но против предложения никто не возражает.

— Одним словом,— заканчивает дед Мирон,— ежели есть у тебя что, так, чтоб не беспокоиться,— обобществляй! — И он первый, закрыв глаза, хрипит от смеха. И мы все смеемся. А Голубь грозит пальцем Мирону:

— Счастье твое, дед, что ты не кулак. Я б тебя за такие слова!..

И мы опять дружно хохочем. И все мы чувствуем, что нам и такие шутки можно шутить, так как всерьез этого мы уже не скажем.

24 мая

Корнюхов не вышел на работу. За ним послали. Жена говорит: не приходил со вчерашнего дня, но, говорит, сало забрал, сколько было.

— Как же,— спрашивают ее,— он мог сало забрать, раз не приходил?

— А сало не дома у нас было.

— А где ж?

— Не знаю, ей-богу, не знаю...— совершенно сбивается баба.

5 июня

В час дня из Вязович прискакал верхом мальчишка и вручил мне рапорт бригады Шевелева, написанный на обороте формы «наряда».

Правлению колхоза «Красный Луч».
От бригадира Шевелева экономии Вязовичи.

РАПОРТ

Сегодня, 5 июня, в 12 ч. дня, бригада закончила сев на участке Березовое поле. Бороновальщики отправлены на помощь бригаде Кузнецова. Остаток семя — 500 грамм.

Бригадир Шевелев

Через полчаса этот же мальчишка прибежал и, запыхавшись, объяснил:

— Кузнецов не принимает шевелевских... А кони беспокоятся — водни заели.

«Новое дело»,— выругался я про себя и пошел седлать Магомета. Магомет вынес меня на поле и спорной рысью пошел по пыльной сухой дороге в гору, к Вязовичам. Проезжая Березовое поле, я увидел женщину, выбивавшую и встряхивавшую пустые мешки.

— Где работает бригада Кузнецова?

— На Огнище,— махнула женщина в сторону мелкого ельника, занимавшего широкий покатый холм. Проезжая ельник и предполагая, что до Огнища еще порядочно, я гнал Магомета вовсю. Но, выскочив из ельника, я сразу увидел около десятка борон, волочившихся по полю, и примерно столько же стоящих на лужайке повернутыми кверху клецами.

Мое появление переполошило всех: работавшие остановились, а те, которые стояли на лужайке,— задвигались и заторопились. Один Кузнецов, седой маленький мужичок в ситцевой толстовке и валенках, спокойно чикал щепотью семян о сеялку, обсеивая края поля.

— В чем дело? — крикнул я, не слезая с коня.

— Ни в чем дело,— спокойно ответил Кузнецов, подходя ко мне с пустой севалкой.— Отсеваемся вот...

— А почему эти люди не работают?

— Они на Березовом поле работали, а теперь едут домой.

— Брось! Они не домой, а вам на помощь подъехали. Почему не принимаешь?

— Нам помощи не требуется. Мы сами справляемся.

Шевелевский бороновальщик, парень лет восемнадцати, раздраженно закричал:

— Уперся, как бык: сами справимся да сами справимся. Не понимает общественного буктира!

— Мы на буктире ходить не желаем,— по-прежнему вежливо и с достоинством сказал Кузнецов, не глядя на парня.

— А мы вас берем на буктир,— должны подчиниться. Закончим у вас — дальше поедем. В Гнедино, сказано, ехать всем бригадам после обеда, как только жара спадет. А ты все свое!

— А ты все свое,— ответил Кузнецов, усиленно делая знаки своим бороновальщикам, чтоб они продолжали.

— А я свое! — еще более свирепо заорал парень, понимая, что он в данном случае может и не так орать.— Тебе свой участок закончить, а нам на всех экономиях нужно заканчивать,— вот что! Ты б спешил свое кончить — да другим помочь, а не так...

— Сейчас, сейчас кончим и, не отпрягая, поедем в Гнедино,— умоляюще стал уверять меня Кузнецов.— Мы ж так и думали.

— Так пускай становятся! — закричали его бороновальщики, особенно женщины.— Пускай становятся! — как бы распоряжаясь, сказала на завороте женщина лет двадцати трех, в короткой черной юбке и остриженная по последней моде — до плеч.

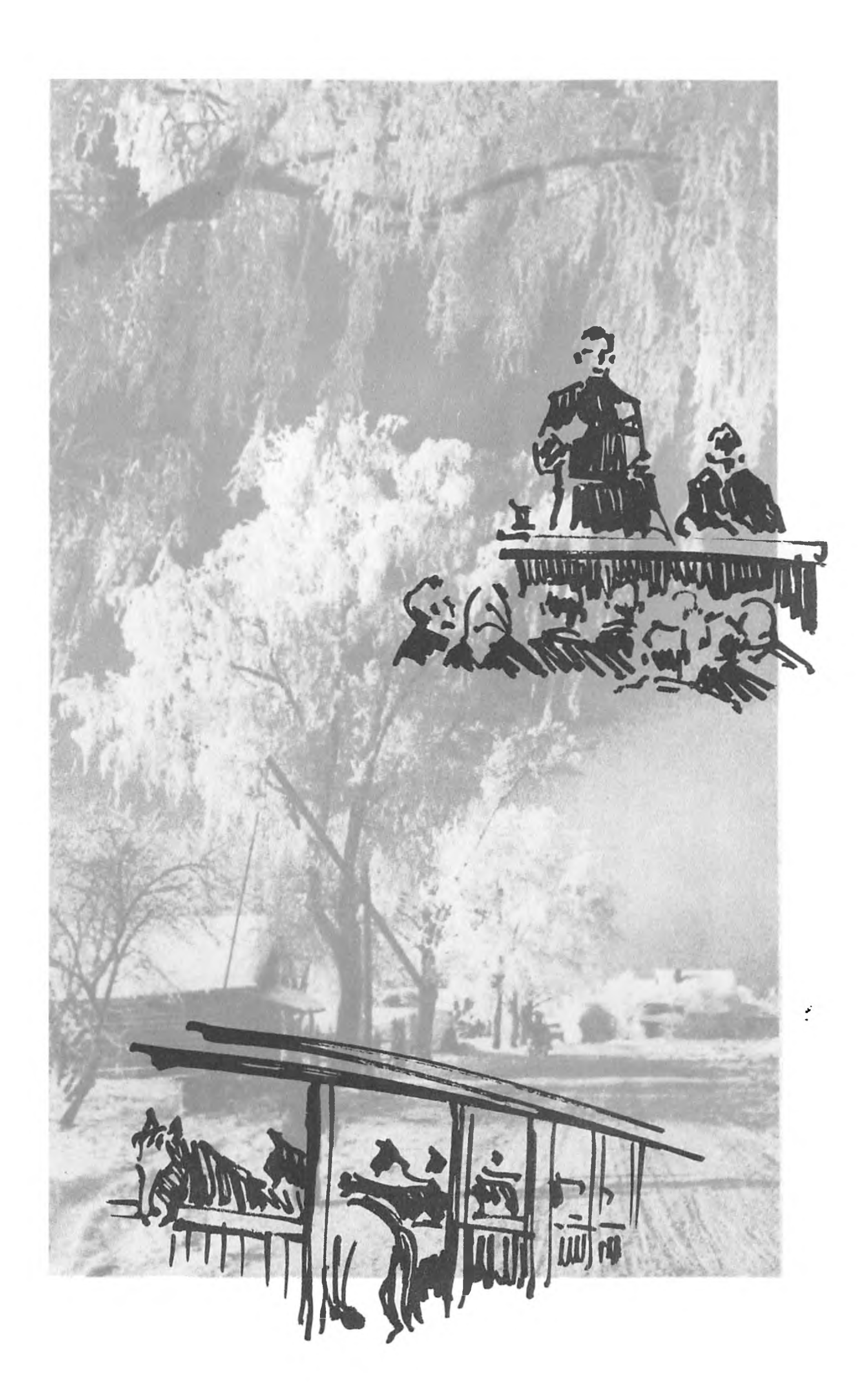
— Ясно! — заговорили остальные.— А то будем кружиться часа два и в Гнедино не поспеем.

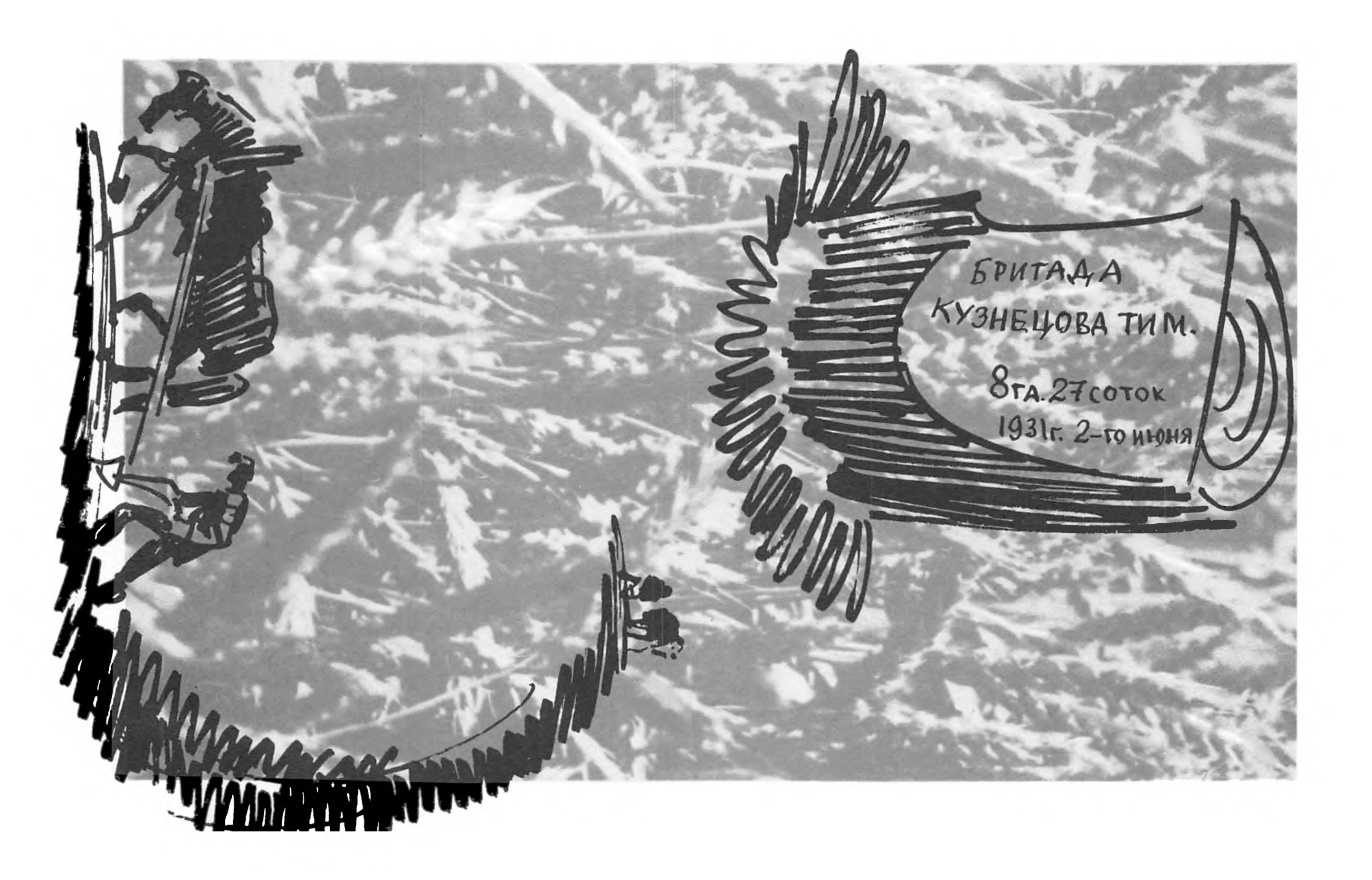
— Поспеем, поспеем! — закричала издалека пожилая бороновальщица, поправляя на ходу бороны.— А вы,— обратилась она к своим,— обрадовались: «Пускай становятся». Тут и становиться негде.

— Правильно, Поля! Я ж и говорю! — с надеждой поддержал ее Кузнецов.

— Нисколько это не правильно,— начал я.— Никакого позора нет в том, что они вам помогут и вы потом совместно поможете гнединцам. Наша задача не в том, чтоб закончить работу на своем участке, а в том,— чтоб во всем колхозе! Принимай, товарищ Кузнецов, ребят — и никаких разговоров!

А Кузнецов, видя, что ему вроде как приказывают принять помощников, сбросил с плеча севалку и тороп-




БРИГАДА
КУЗНЕЦОВА ТИМ.
8 ГА. 27 СОТОК
1931 г. 2-го июня

ливо, чуть не плача, стал отпрашиваться, то хватаясь за мою ногу, то обращаясь к ребятам:

— Ах, граждане!.. Да что ж тут помогать? Да тут же три разика самим объехать осталось... Большое вам спасибо, что подъехали, только нам самим тут нечего делать. Пускай они,— заглянул он снизу мне в глаза,— пускай они поезжают в Гнедино, мы их сейчас догоним... Мы не против буктира, только нас не надо на буктир... Пускай поезжают. Тпру!..— стал он успокаивать Магомета, топавшего и мотавшего головой от водней.— Тпру, котик!.. Ишь как они облепили. Поезжайте, поезжайте! — вдруг замахал он на бороновальщиков, как будто со мной он уже договорился.— Поезжайте, детки! Мы тоже сейчас отпрягаем. Сейчас, сейчас! А то водни уж очень разъярились. Нельзя скотину мучить на жаре.

Бороновальщики не двигались с места. В эту минуту на завороте остановилась та самая женщина, которая первый раз поддерживала Кузнецова.

Теперь и она закричала раздраженным голосом:

— Перестань, Тимофей Лазарич, сходки собирать. Еще с десятину есть боронить. Пусть взъезжают. Кончим заодно и будем отпрягать. А то кони бьются, гляди, на бороны сядут. Взъезжайте, ребята!

Когда она сказала «с десятину», я обратил внимание на еловый колышек, торчавший у самой пахоты. На отесанной стороне его химическим карандашом печатными буквами было написано:

Бригада Кузнецова Тим.
8 га, 27 соток.
1931 г., 2-го июня.

Это был «адрес поля».

Шевелевские бороновальщики подошли к лошадям и стали было взъезжать на поле, но Тимофей Лазаревич, раскинув руки, загородил им дорогу.

— Не надо, не надо! Прошу вас — не надо! Одна минуточка самим осталась. Одна минуточка! Товарищ председатель,— одна минуточка! Ну, уважьте же вы старика — сделайте, как я вас прошу! Каждому ж хочется свою работу самому закончить. Я ж тоже к этому стремился. Не должно ж это мое пропасть перед всеми вами!

Последние слова его самого растрогали. Он опустил руки и, отвернувшись, заговорил совсем отчаявшимся голосом:

— Едьте! Помогайте! Раз не хотите от меня мою работу принять... Помогайте!..

Он почти что плакал.

Ребята остановились и глядели на меня: что делать?

— Поезжайте домой,— махнул я им и тронул Магомета...

— Мы сейчас! — послышался сзади голос Тимофея Лазаревича.— Си-час!

Я оглянулся: он стоял, заслонив рукой глаза, и смотрел вслед отъезжающей бригаде Шевелева. Это ей он кричал: «Мы сейчас!» А его бороновальщики, остановившись, махали мне, и видно было, что они веселы и довольны, что они со мной согласны, но в то же время им ничего не стоит уступить этому Тимофею Лазаревичу и доборонить остаток самим.

6 июня

Вчера на гнединском поле сбилось человек сорок бороновальщиков. Делать такому количеству народа там было нечего, но окончание сева обращалось в общеколхозное празднество, и всем хотелось, чтоб отставшая экономия не мутыскалась одна на поле, всем хотелось, чтоб этот день был днем полного окончания сева. В общем, в Гнедине не столько все работали, сколько пели.

Следует особо отметить два факта.

Первый факт. Тимофей Лазаревич Кузнецов во главе своей бригады сам приехал «помогать».

Полякова запротестовала:

— Куда тут еще! И так бороны не помещаются.

— Ладно, ладно — потеснимся,— заговаривал ее Кузнецов.

— Ничего не потеснимся! Негде и так повернуться.

— А мы поворачиваться не будем. Мы проедем все в один конец — и каюк!

— Не! Тебя не пущу.

— Как не пустишь?

— Так и не пущу!

— Ну, это ты уж дурость говоришь, девка.

— Была девка, да недолго.

— Это меня не касается. Не такие мои годы!

— Все равно не пущу.

— Не можешь ты меня не пустить, и не куражься.

— Как ты, Кузнецов, не понимаешь, что мне обидно принимать помощь,— неожиданно тихо сказала Антонина.

— Не то обидно, что обидно,— начал в виде изречения Кузнецов, отводя глаза от блеснувших у Антонины слез,— а то обидно, как сказал Ленин, что мы еще не понимаем его заветов. Что надо на своем участке работать ударно — это мы понимаем, а что надо всю площадь покрыть зерном ударно — это мы еще не понимаем. Я, мол, ударник на своем участке — и все тут. Нет, брат, не все!..

* * *

Второй факт. Андрей Пучков пришел к Антонине, чтоб она его подвела «под одну стать», а то он «как повинность отбывает» на своем уроке.

Действительно, положение: весь колхоз собрался закончить сев на поле не больше, чем в восемь гектаров,— народ, песни, смех,— а он, Пучков, колупается один на своей делянке и даже сеет без лешенья: «Своего малого — и не пошлешь, ему к людям хочется!»

Правда, на своем участке, где он не мог лукавить перед самим собой, он работал хорошо. Теперь он уже не мог бы и в бригаде лукавить, так как все видели его работу на отдельном участке.

— Даешь слово? — строго спросила Полякова.

— Честное пионерское слово,— снял шапку и перекрестился Пучков.— Честное слово,— поправился он, когда все засмеялись.

— Заезжай.

В ответ на последние сводки Брудный писал, что если мы поднажмем и закончим сев пятого, то выйдем первыми по району...

В ночь нарочный полетел с рапортом в район о полном окончании сева.

7 июня

В ответной записке Брудный пишет, что мы первыми по району окончили сев.

8 июня

В честь «обволочек» вчера была вытоплена бывшая миловановская баня. В бане собралось множество голых людей. Но, кроме меня, никто этой тесноты не замечал. Воды для мытья все тратили удивительно мало — меньше того, чем потребовалось бы любому из них напиться с такой жары.

— Но придет время,— во все горло ответил на мое замечание Андрей Кузьмич,— придет время, что мы городскую баню построим!

— И водопровод проведем! — отозвался с полки охахакающий перед тем голос.— И дождик сделаем!

— Ты погоди — баню,— перебил голос Жуковского,— скотник надо, погреб надо, чего-чего только надо!

— А плотники у тебя есть?

— Каждый мужик — плотник,— сказал дед Мирон.

— Правильно,— отозвался Голубь,— сами сплотничаем. Не до красоты!

Сплошной, наваленный, как сено, пар не давал нам видеть друг друга. С полки обдавало жарой, которая, казалось, не столько шла от каменки, сколько нагоняли ее вениками.

Ползком я добрался к двери и вылез в предбанник. Сейчас же за мной стали выбираться другие. Мы лежали голые, красные на разостланной в предбаннике свежей прохладной соломе и ахали. Теперь, на свежем воздухе, от тел шел крепчайший запах распаренной березы.

— Да, дождик-ба!..— вспомнил Жуковский вслух.

— Открутишь — и кап-кап-кап, ш-ш-ш!..— представил Голубь, бывший когда-то в городской бане.

— Это что — дождик! — вздохнул, поворачиваясь на спину, Андрей Кузьмич.— Вот дождик бы над полем устроить! Чтоб открутить, когда нужно, и — кап-кап-кап!

— Есть! — авторитетно заявил кузнец, которого в голом виде я узнал только при этих словах.— Есть... В Америке!

— А чего доброго, дойдут люди и до такой механизации,— опять вздохнул Андрей Кузьмич.

— Дойдут! — азартно подхватил кузнец, как будто речь шла о людях, за которых он лично может смело ручаться.

— Дойдут,— сказал я.

И тогда, не переставая ахать, нарочито слабым и как бы недоумевающим и упрекающим голосом обратился ко всем дед Мирон:

— Граждане! А как же бог? Бог-то куда ж теперь? Раньше бога опровергали, а теперь и не опровергаете. Как же это, граждане, а? — И, вздохом освободив грудь от жаркого банного духа, Мирон закончил: — Значит — нету его, бога. Нету, граждане. А если и есть какой, так он власти над нами теперь не имеет...

— Нет, отец, совсем нету,— заявил Голубь.

— Нету, нету,— покорно подтвердил дед.

Мы шли из бани по садовой стежке, гуськом. Я шел впереди. Мы не говорили, но все улыбались, думая о боге, о новом скотном дворе, о дожде, который можно пустить, когда потребуется,— вообще о будущем.

И, оглянувшись, я увидел, что идущий далеко позади Мирон тоже улыбается, чтобы не отстать от компании...

Конец второй тетради

1932

РАССКАЗЫ О КОЛХОЗЕ «ПАМЯТЬ ЛЕНИНА»

(Из материалов к истории колхоза)

ОТ УПРАВЫ — К СОВЕТАМ

Колхоз «Память Ленина» — крупнейший в Пречистенском районе. Сейчас он объединяет до четырехсот хозяйств. Достижения колхоза, его хозяйственный рост, воздвигнутые за время его существования постройки общественного пользования, развитие подсобных производств и специальных отраслей хозяйства, расширение сети общественных культурно-бытовых учреждений — все это делает бывшее глухое село Рибшево образцом того, как изменилась, выросла советская деревня со времени Великой Октябрьской революции. Мысль написать историю колхоза «Память Ленина», показать путь села Рибшева на протяжении пятнадцати лет пролетарской революции принадлежит самим рибшевским колхозникам, активу, людям, прошедшим этот путь, путь борьбы за Советскую власть, борьбы с бандитизмом, контрреволюцией, борьбы за восстановление деревенского хозяйства, борьбы с кулачеством, за колхоз, за его организационное и хозяйственное укрепление.

Работа над историей колхоза «Память Ленина» развертывается. Собрано уже значительное количество материалов, которые сейчас дополняются и проверяются. Авторы будущей книги — колхозники, руководители колхоза, актив. Публикуемые отрывки — устные рассказы на специально организованных вечерах воспоминаний в кол-

хозе, товарищей Анищенкова (полевод) и Сухарева (завхоз) — непосредственных участников революционных событий в Рибшеве.

КАК РАЗГОНЯЛИ УПРАВУ

(Рассказ тов. Анищенкова)

Помнится, вернулся я из Петрограда. Назывался большевиком. Приехал — у нас еще земские управы. Советской власти никакой. Стал я беседовать с народом из Управы: какую цель имеет Управа? Ну, какую же цель? — Капиталистическую. Желают закрепить за хозяйством по 50 десятин земли, одобряют частную собственность и, вообще, не хотят большого перехода к революции.

Беседовал я, беседовал, вижу — не желает земский народ менять Управу на Совет. Перестал я к ним ходить. Откололся.

Стал я думать: как взять власть? Побеседовал с ребятами, кто с войны пришел, из города. Решили действовать по-петроградски.

Написал я приказы, сам подписался «за председателя Совета». Дело было в апреле 18 года. Решили мы Управу взять «на пушку». Собрались все земские члены. Сидят за длинным столом. Пришлось стукнуть кулаком по столу: кто, говорю, за меня — стань на левую сторону, кто против — на правую. Стало на левую сторону 9 человек, на правую — 8. Распускаю Управу.

Что же теперь, думаю, дальше делать? Помню слова Володарского: надо, мол, расслаивать деревню, выявлять бедноту и на нее опираться.

Созываю общее собрание. Пришло больше 500 человек. Вывожу я их всех на луг и выступаю перед ними: кто за Совет — на левую сторону, кто против — на правую. Тут мне не повезло. За меня 270, против 290. Вижу, шатается народ, не чувствует точки опоры. К тому же и с хлебом туго приходилось.

Собираю меньшее собрание, в волостном управлении. Докладываю, что непременно нам надо в волости Советскую власть установить. Но вместо поддержки встречаю угрозу и даже покушение на жизнь.

Которые побогаче, те и посмелей были. Подходят ко

мне, забирают оружие: «мы,— говорят,— сейчас установим тебе Советскую власть».

А я уже слыхал, что в уезде Советская власть есть.

— Крестьяне,— говорю,— собирал я вас сегодня по серьезному случаю, насчет земли и хлеба. Так как в уезде установлена Советская власть, то хотелось бы обратиться туда.

Тут беднота за меня встала.

— Орудуй,— говорят.

В первый Совет вошел Иван Гаврилович.

После организации Совета командируют меня от трех волостей в Москву, насчет земельного вопроса. А этот земельный вопрос нас вот чем интересовал. Хотя Советскую власть установили,— кругом нас помещики попрежнему сидели. Как к ним приступиться — мы не знали.

А я из Москвы привез документ на изъятие у помещиков мертвого инвентаря. С таким документом к помещику можно было идти. Пошел я к нашему пану Тарнавскому. Здесь, в этом доме, было дело. А пан Тарнавский был такой помещик, что никто к нему не ходил. Все его боялись, как бешеной собаки. Захожу я в комнаты — сидит он, пьет вино. Объясняю ему: буду у тебя обыск делать. Отобрали мы у него старинное оружие и много богатого имущества.

Однако это дело гладко не прошло. Помещики, которых раскопали,— составили комиссию. Обвиняют меня в том, что я — грабитель. Особенно активничал Тарнавский. Но Тарнавский активничал не долго. Раскрыли, что он состоит в заговоре против Советской власти, его арестовали и расстреляли. Забрали скот и все имущество.

Тарнавского расстреляли, но в это время банды в наших местах начали действовать. Состояли эти банды из помещиков и кулацких сынков, имевших офицерские погоны, из дезертирской бражки.

Эти шайки брали такую силу, что осмеливались являться в деревню среди бела дня. В Рибшево они приходили обычно по субботам. При мне они были раза четыре.

Первый раз навестили — я был дома.

Заходят в комнату:

— Руки вверх!

— А вы кто такие?

— Бандиты.

Ну, раз бандиты,— надо руки вверх. Забрали меня. Ну, думаю, черт с вами,— дорогой убегу. Однако ведут под сильным конвоем и наганы все время у висков держат.

Стал я с конвоем разговаривать, на агитацию склонять.

— Что это за жизнь,— говорю,— сегодня вы меня забираете, завтра мы вас. Бьем друг друга, а толку все не видно. Пора порядок устанавливать да за землю браться.

Часть конвоя стала мне сочувствовать. Стал я крепче спорить. Но тут привели меня в суд и стали допрос чинить. Приговорили мне 17 шомполов. Но в этот момент пришел из Смоленска специальный отряд по борьбе с бандитизмом...

ВОССТАНИЕ

(Рассказ тов. Сухарева)

Я приехал с фронта, когда уже распустили Управу. Борьба тут велась большая. Но фронтовики — народ организованный и держались крепко.

Так, помню, в первый Совет никто не хотел идти. Рядом сидели помещики, офицеры, какой тут Совет? Выбрали меня потому, что я был бедняк, кругом неимущий.

Но мне тоже боязно было: наших — кто за большевиков — было мало — Мясоедов, Молчанов, Анищенков,— раз-два и обчелся.

В Совете надо было распределять должности. Меня выбрали комиссаром в военком. Надо было организовать военкомат. Не было ни народу, ни стола, ни стула.

Прежде взял я к себе на работу тов. Шантурова и Анну Анищенкову — переписчицей.

Мы с Шантуровым повели работу с беднотой, чтобы добивать помещиков. А тут пришла директива: организовать взвод. Работы было много. Однако навербовал я 60 человек, начал обучение и политработу.

Крестьяне против взвода ничего не имели, но обижались, что кормить надо. Приходилось самим доставать хлеб из ям. Но мы старались при этом бедняка и середняка не зацепить.

В то время крестьяне плохо разбирались, случалось, что и били новобранцев. И нам трудно было: только организуешь отряд — его на фронт забирают. А около нас своих мало.

Был военный коммунизм. Анищенков, Игоренков и кто-то еще приступили к ликвидации помещиков. Ликвидировали скот, урезали землю, обезоружили инвентарем и повозками. Однако помещиков ликвидировали в то время только частично.

После ликвидации окружающих помещиков в наших руках оказалось 70 коров. Стали мы этих коров среди бедняков распределять. Однако скот разбирали плохо. Помещик угрожал. Начали мы агитировать. А тут добровольческие армии Советская власть отменила и установила регулярную. Это здорово помогло.

Стал я мобилизацию проводить. Попов и кулаков — в тыловое ополчение. Тогда народ пошел пахать и от помещичьей земли уже не отказывался.

Во время мобилизации были сопротивления:

Мы, говорят, за эсеров, а мы за другие партии.

Осенью 18 года тыловики через своих агентов подняли восстание. Вспыхнуло оно 11—12 ноября, хотя подготовлялось с весны. Началось восстание с Духовщинского уезда Тяпловской волости. Оттуда пошли слухи, что там разогнали Советскую власть. Передалось это восстание и в Пречистенскую волость.

А в это время у нас мобилизация проходила.

Солдаты о восстании знали и пришли с нездоровым духом. Однако мы им доказали, что на фронт надо идти. Пообещали они идти в Демидов 8—9 числа на комиссию.

Мы решили держать связь с Тяпловым, известили Демидов о восстании. Оттуда получаем извещение: «Отряд выедет на днях». И из Смоленска нам сообщили, что железный отряд для усмирения восстания — выезжает.

А тут у нас дела пошли не на шутку: в Борку собрались все солдаты: матвеевцы, журневцы, тарасковцы, гороховцы. В Совете же только я и предисполкома — Иванов. Решил я доехать с милиционером Лиликовым до Борков. Думаю, мы бывшие батраки — неужели наши крестьяне нас убьют?

Доехали мы почти до Борка — вижу идут с винтовками. Смотрю — Илья Иванович Иванов — арестованный идет. Делать нечего, надо возвращаться. Возвратились в Рибшево,— и весь народ уже здесь.

Давай я говорить с солдатами, известил о выходе отрядов из Демидова и Смоленска. А в это время мне было уже известно, что отряд из Демидова шел к нам, но вернулся, потому что в это время на Демидов шла банда. Приходилось надеяться только на Смоленский отряд.

Однако часть солдат согласилась разойтись по домам. И все устроилось бы благополучно, не будь среди нас изменников. Оказалось, что мой делопроизводитель Катошников подбивал народ на восстание. И только стал народ расходиться, как появились сотрудники Катошникова — кузнец и Макар Сизовский.

Не расходитесь, говорит Сизовский, что с ними разговаривать? Разоружать их. Слушаете их, говорит, рты разинувши, а Петроград пал, Смоленск пал, ждите, чтоб вам головы пооторвали.

Банда эта подошла ко мне, схватила за руки, кто по лицу бил, кто наган и винтовку отбирал. Товарища Иванова — тоже разоружили. Ворвались в военкомат, стали столы обшаривать, Анищенкова тоже арестовали и заперли.

Военкомат обыскивали, потому что знали — у нас оружие есть. Действительно, у нас было 30—40 винтовок, бомбы, патроны. Но это оружие им не досталось: Прасолов и Замескин, как увидели, что нас арестовывают, спрятали оружие в отхожем месте. Бандиты оружие не нашли.

14 человек — весь Совет — арестовали... Связи у нас никакой. Только знакомые приносили есть да, что знали, сообщали. Однако видим из рассказов — есть масса на нашей стороне. Большинство на стороне Советов.

Главари — те пошли на Демидов. Ограбили Свистовичи — и пошли дальше. А здесь, в Рибшеве, оставили мелких негодяев издеваться над нами.

Был назначен суд — разбирать наши дела. Меня посадили самым последним.

— Ты,— говорят,— берешь солдат, посылаешь их против Англии и Франции — наших союзников и идешь за Германию — нашего врага.

Постановил суд расстрелять меня.

Как объявили приговор,— молчал народ. Потом пошел шепот, потом крик: если стрелять — то всех стрелять. За что одного расстреливать?

Подскакивает народ ко мне — не допустим, говорят,

тебя стрелять. Взяли под охрану,— чтоб не нанесли мне вреда. А потом и отпустили на все четыре стороны.

Заглянул я домой. А дома у меня глиняной чашки целой нет. Все побито. Пулемет у меня дома искали.

Переночевал я у одной знакомой,— ее мужа на войне убили, и она нам сочувствовала. Наутро решил: будь что будет, а пойду в Рибшево.

Пошел, а в Рибшево в этот день отряд из Смоленска пришел. Окружили всю деревню, чтоб бандитских главарей поймать, расставили пулеметы.

Спрашивают у меня: кто тебя убить хотел, кто у вас зачинщики? Мы не хотели, чтоб невинно народ терпел, потому народ шел под насилием. Разбирали мы по-справедливости. А многие, выступавшие тогда с оружием,— пошли под расстрел.

Это восстание ясно доказало, что Советская власть тверда. Помещиков, которые затеяли это восстание,— расстреляли. Так восстание и задушили.

После этого восстания народ постепенно начал хозяйством заниматься.

А в 1919 году все коммунисты пошли на фронт против Колчака.

ХОЗЯИН

В избе, отведенной под гончарную, печник облицовывает только что сложенную русскую печь. Он макает тряпкой в жидкую глину и, держась одной рукой изнутри за чело печи, водит тряпкой по наружной стороне, как по стеклу. Печнику лет семьдесят. Он прям, опрятен и подчеркнуто благообразен. Говорит неторопливым, но заметно натянутым «евангелистским» голосом:

— Позвольте, герои мои, слово сказать...

Печник не колхозник, здесь он работает по своей специальности за трудодни, а сам живет верст за тридцать отсюда. Печи кладет он свыше полвека, все время ходил по людям, но стремился к жизни на земле, на хозяйстве. В самые последние годы он было достиг такого положения. Имел двух коров. И вот, по его словам, теперь сельсовет собирается дать ему твердое. От этой обиды он смешивает все в кучу, равняет себя со всеми твердозаданцами и кулаками и защищает их, считая, что всем им «так же обидно», как и ему.

— Дед,— говорит ему председатель колхоза,— иди ты ко мне в колхоз. Поставлю я тебе хату, будешь работать, подучишь мне пару человечков по печной части.

— Благодарствую, товарищ Прасолов,— отвечает печник. Он все время уклоняется от прямого ответа. Против колхоза он ничего не может сказать. Колхоз большой, богатый. Три мельницы, кузница на два горна, кирпичные заводы, дегтярня. Это только специальные заведения. А ведь колхоз объединяет семнадцать деревень, сеет лен, развивает молочное дело. На центральной усадьбе сыроваренный завод, пасека, сады. Старик ничего не говорит против. Он знает, что в колхозе много таких людей, пришедших со стороны, даже из города.

— Думай, дед, думай,— говорит Прасолов и уходит из гончарной. Моложавый, блондинистый, в белой рубашке, подпоясанной низко, под животом, он идет к усадьбе в сандалиях, намокших от росы...

* * *

На дворе напротив машинного сарая стоит длинная, как аэроплан, жнейка «Новый идеал» люберецкого завода. Ее собирает приезжий механик с Василием Ивановичем. Василий Иванович не мог один собрать жнейку — машина самого последнего выпуска.

— Прейскуранта не прислали нам,— грустно поясняет он, подбирая за механиком болтики и накручивая принадлежащие им гайки, чтоб не перепутать. Он следит за каждым движением механика, видит, как тот находит место самым закорючистым частицам машины, видит, как обнаруживается их связь, как они подхватывают одна другую, и каждая в отдельности становится необходимой и обдуманной.

А Прасолов смотрит за Василием Ивановичем и соображает. Приезжему механику за сборку жнейки надо дать пятьдесят рублей, две головки сыру, два кило масла и лошадь до Белого. Прасолов ухмыляется про себя: другую такую жнейку Василий Иванович уже соберет без механика. Василий Иванович человек талантливый. Без него колхозу, находящемуся вне района МТС, имеющему свои машины, никак бы не обойтись. С Василием Ивановичем дружит кузнец. Он тоже присматривается к машинам. Они вместе ездят на полуторатонном грузовике, обнаруженном недавно под сеном одного дяденьки и перешедшем в пользование колхоза. Автомобиль простоял

под сеном не менее десятка лет; камеры и покрышки совсем сопрели.

Из всех председателей колхозов, которых я знаю, Прасолов выделяется прежде всего особенной жадностью на людей. Он стягивает, собирает вокруг себя, ставит к делу самый разнообразнейший народ из колхозников и со стороны, превращая потом их в колхозников. Вот Василий Иванович, мыкавшийся полжизни по свету, работавший в различных мастерских, строивший нижегородский автозавод и приехавший теперь к семье в колхоз. Вот сыровар, горшечник — Домбровский, перебравшийся из Духовщины в колхоз. Кирпичники, портные, сапожники.

Уделяя в условиях огромного полеводческого и животноводческого хозяйства серьезное внимание специальным отраслям, колхоз теперь имеет возможность вывозить на базар, помимо хлеба, картофеля, мяса, масла, сыра, меда и других съедобных вещей, еще уйму всякой всячины. Деготь чистый, идущий на смазку обуви, сбруи, и — хозяйственный, колесный. Уголь древесный. Горшки, чашки, вообще посуда. Кирпич идет по договорам со строительными организациями, а также в розницу по две, по три сотни. Работают пошивочная и сапожная мастерская. Такие сандалии, как у Прасолова, в колхозе носят очень многие мужчины и женщины. Их шьет из старья, из кусочков свой сапожник. В этих сандалиях люди работают на покосе, на стройке нового хлебного сарая, режут дрова около паровой мельницы.

Прасолов сразу же наметил оставить печника в колхозе. Ему нужен как раз такой человек. На центральной усадьбе возведено много новых построек. Только что закончен домик на три квартиры для учителей школы. Будут возводиться другие жилые постройки. Нужно класть печи. Да, вообще, не мешает иметь такого человека. Но печник сложил печку в гончарной, перешел в овин, поет песни, работает, а про колхоз молчит.

* * *

В толпе, окружавшей и возившей на себе по двору собранную жнейку, я услыхал высказанное одним колхозником предположение, что жнейка в первую очередь будет использована на Матвеевском производственном участке. А другой сказал, что на центральном, на Рибшевском.

После этого пошли разговоры о том, кто получит премию по окончании сенокоса. Иван Котеченков, именующий себя старшим рабочим на огороде, захлебываясь, расхваливал бригадира Воруховского участка — Сергеенкова.

— У него все, как мурашечки... И скребут, и везут. И молодых у него совсем нет. Все так вот в мою добу. И никогда им план не велик. Все выполняют и чище всех, и скорей всех. Что бригадир скажет, то сейчас и скипит. Черт его знает,— восхищенно ругался огородник,— черт его знает, как он так дело поставил. А что премию он получит, так это — день ясный!..

После обеда, когда мы были на Воруховском участке, Сергеенков сам хвалил своих работников. Косят свыше полгектара на брата, работают дружно, каждая группа спешит управиться на своем участке.

Но прежде всего здесь можно было установить, что Сергеенков по существу никакой не бригадир. Числится он, как и все, бригадиром и заведующим производственным участком. Его бригада, вернее все колхозники этого участка, разбита на группы, за каждой группой закреплен отдельный участок пашни и сенокоса. Групповод возглавляет группу и сам непосредственно участвует в производстве. Сергеенков же осуществляет, так сказать, общее оперативное руководство. Он хорошо его осуществляет, он незаменимая единица, но он не бригадир, так как колхозный бригадир руководит производством, расставляет и направляет силы данной группы людей, сам непосредственно участвуя в производстве. Его «канцелярская» деятельность ограничивается заполнением двух сторон «наряда», подсчетом трудодней и записью их в книжки. Группы на этом участке — есть бригады, групповоды, бригадиры. Они у Сергеенкова сами занимаются «канцелярией».

Теперь можно представить, чего стоит Прасолову хорошо знать свои семнадцать участков, а на каждом участке по 4—5 групп, которые нужно считать бригадами и руководить ими. И он знает и руководит. Знает... благодаря тому, что он в этой местности родился и вырос, он может назвать по имени-отчеству всех граждан, живущих в радиусе на пятнадцать верст. А его знают несравненно дальше, знают за пределами Пречистенского района. Его авторитет вырос за годы упорной организаторской работы с крестьянством в пределах своей местности,

где жил его отец — батрак у помещика, где батрачил он сам, где у него есть личная оседлость: двор, семья, дети...

Уменье подбирать, учить и воспитывать людей, актив — выдающаяся, основная черта организаторской деятельности Дмитрия Прасолова. Она сложилась еще тогда, когда он был председателем кресткома и поднимал своих «дедов» на запашку первой общественной десятины...

— Деды меня слушают,— скромно заявляет Прасолов, зная, конечно, цену такого положения.

Он всех называет «дедами», но это не тон по отношению к самим «дедам», не стремление, так сказать, снизиться до них, а просто вошедшее в обиход обращение, может быть, с некоторой ноткой любовной снисходительности, приятельской небрежности.

У него и Сергеенков — «дед». А бригадир, может быть, на пяток лет старше его, Прасолова. Но как он знает этого «деда», как он наблюдает его и не вмешивается до поры в его, дедовы, дела!

Сергеенков, всегда озабоченный, проявляет уже не озабоченность, а беспокойство: на участок приехала кинопередвижка. Вывешено объявление. Вечером все соберутся. Будут до полуночи глаза слепить, а утром их не добудишься, жалко же будить. Парень, привезший передвижку, ждет ответа насчет помещения.

— Слушайте, товарищ киноматограф,— решается Сергеенков,— сейчас у нас сеноуборочная кампания. Вы считали, что Петров день, и приехали к нам. Спасибо. А все работают. И я не могу позволить людей мне морить. Поезжайте вы с богом дальше. Лошадку я вам сейчас...

— Я так не могу,— заявляет парень.— Мы по плану ездим. Должна быть отметка, что я сюда приезжал. А вы, как хотите, можете никого не пускать на кино.

Сергеенков растерянно оглядывается на нас. Прасолов говорит:

— Ты спроси людей. Может, они желают смотреть кино.

Этим он поясняет, что людей нужно жалеть как людей, а не как, скажем, лошадей: встанут на работу или не встанут. Может, люди согласны ночь смотреть, день работать, может, они завтра проспят, днем наверстают. А кино здесь не каждый день.

* * *

Вечером я пошел в овин к печнику Харлампию Михайловичу. Его часто просят петь, и он поет длинные повествовательные песни про любовь, солдатскую службу, старые песни... Поет хорошо.

Я стал рассказывать, как хорошо работают колхозники на Воруховском участке.

— На Воруховском — да!..— восхищенно согласился Харлампий Михайлович,— когда б везде так...

И с этих слов я почувствовал, что печник, зная о работе Воруховского участка, не верит, что везде так работают. Слишком велик сам колхоз для старика. Трудно ему представить, что почти вся бывшая Рибшевская волость работает одинаково. Или он ничего не знает о других участках? Нет, он знает. Он знает, например, что нынче на Матвеевском участке вышло из колхоза 30 дворов. Все вышедшие не работают, трудодни им не идут нисколько, они сидят и ждут, когда рожь поспеет. И после того, когда им отказали и в области и в центре в том, чтобы разделить колхозную рожь на корню, они будто бы решились выйти на поле и жать самовольно.

— Может получиться большое бедствие,— шепотом говорит печник.— Нельзя до этого допускать людей. Нужно опытно разобраться в деле.

Потом он открывается:

— Вступить мне недолго... А что еще здесь может быть — неизвестно. По хозяину я сегодня здесь остался бы, а по хозяйству бог ее знает. Знал бы я, что Рибшево — тут и весь колхоз, а то и Ворухи — колхоз, и Матвеево — колхоз, и Кошелево — колхоз, и Соловейки — колхоз, и все — колхоз... А про хозяина не речь.

И помолчав, не поднимая глаз, с особенной задушевностью произносит:

— Золотой малец!..

* * *

В Матвееве получилась такая история. Из всех участков Рибшевского колхоза этот участок был до прошлого года самостоятельным колхозиком. Потом он добровольно влился в колхоз «Память Ленина». Нужно вообще особо подчеркнуть, что колхоз «Память Ленина» при всей его крупности (около 400 г-в) не является суммой обведенных одной чертой самостоятельных колхозов. Это — крупный, но не укрупненный колхоз, не «куст».

Хорошая хозяйственная деятельность Рибшевского колхоза, организованного группой кресткомовцев под руководством Прасолова, его рост количественный и качественный создали такое положение, что инициативные группы в соседних селениях шли не по линии организации своего колхоза, а по линии вступления в колхоз «Память Ленина». Исключение — Матвеевский участок.

И вот весной 1932 г., когда во всем колхозе был недостаток сена, в Матвееве сена имелось с избытком. Колхоз взял на этом участке часть сена, не оставив, конечно, матвеевский скот без корма, и перебросил на другие участки, где стояли обобществленные стада. Так, по крайней мере, говорят. После этого в Матвееве вышли из колхоза несколько дворов. Вот почему говорили, что жнейка в первую очередь будет работать на матвеевском участке — там рожь засеяна силами 45 дворов, а убирать приходится с уменьшенной рабочей силой.

— Я знаю про эти разговоры,— спокойно ответил мне Прасолов,— но рожь будут убирать все сорок пять дворов, если не больше, если мы прилива не будем иметь.

Откуда у Прасолова такая уверенность, что этот конфликт разрешится в нужную сторону?

Эта уверенность в наличном, сегодняшнем состоянии колхоза «Память Ленина». В том, что он успешно справился с севом, в том, что он образцово проводит сеноуборку, что люди работают горячо и подгонять в нынешнем году никого не приходится. Трудодень понят и оценен каждым колхозником, колхозницей, стариком и подростком. В том, что размеры данного колхоза — Рибшевского колхоза — не несут в себе опасности распыления сил, трудности управления, плохого хозяйствования, а наоборот, этот колхоз растет хозяйственно и крепнет организационно благодаря преимуществам крупного коллективного хозяйства, не искусственно созданного, а организованно выросшего.

И при этих условиях колхоз «Память Ленина» борется за то, чтобы матвеевцы вернулись в колхоз, чтобы они находились в его большой системе.

Прасолов знает, что матвеевцы вернутся. Его уверенность опирается помимо хозяйственных предпосылок и на том факторе, что огромный актив колхоза — это люди, прошедшие когда-то жестокую школу борьбы за Советскую власть в этом действительно медвежьем углу, потом

борьбы с кулачеством, борьбы за существование колхоза, за его рост и укрепление. Колхоз сегодня — его молочные стада, поля хлебов, его хозяйственный оборот, новые постройки, изменившие лицо Рибшевской усадьбы и участковых усадеб, ребятишки, одетые в синие костюмчики и делающие на площадке гимнастику, обед из чистых тарелок в чистой, просторной столовой — это часть, это начало того будущего, за которое борются сегодняшние энтузиасты коллективного труда, вчерашние собственники — «деды».

Вот почему может быть уверен Прасолов. Это можно назвать уверенностью хозяина, хорошо знающего не только каждую пядь земельных угодий, лежащих под колхозом, но и каждого отдельного человека, со всеми его личными качествами, работающего на этих угодьях. Он, например, знает, с чего начать, подходя к вопросу о матвеевцах, знает, с кем и как говорить, кому дать отпор, и знает, заранее знает, что ему скажет Харлампий Михайлович в ответ на его предложение после того, как матвеевцы вернутся в колхоз. Может быть, он на этот раз ошибается, может быть, матвеевский вопрос не так скоро и легко разрешится, но его уверенность, основанная на самом близком знании положения и людей,— законное чувство агитатора-организатора, пришедшего из массы самих крестьян.

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЕ

Напротив столовой стоит самодельный фонарь: столб, на столбе за стеклом пятилинейная лампочка.

Возчик, подрядившийся с Духовщинского базара привезти сюда двух представителей, подойдя вплотную к столбу, смотрит на фонарь. Закинув голову, он топчется вокруг столба, прищуриваясь и чему-то улыбаясь.

— Фонарь,— говорит он, возвращаясь к крыльцу столовой. Его улыбка — знак удивления и похвалы.

— Фонарь и — цел!

Да, фонарь цел, не расшатан привязыванием лошадей (на это есть коновязь), не разбит камнем — цел.

Это признак, внешний, не основной, но характерный признак разницы между деревней и колхозом, признак культурности, новой общественной дисциплины, хозяйственности, порядка, признак, наконец, города.

* * *

В газете «Социалистическое земледелие» (№ 166) помещена интересная статья: «Влияние колхоза «Искра» на быт колхозников». Речь идет о действительно коренных изменениях в жизни крестьянских семей, объединенных колхозом «Искра» (Каширский район Московской области).

Но это в условиях электрификации и механизации всех основных работ в хозяйстве, в условиях электрифицированных скотных дворов, конюшен, амбаров, клуба, школы, амбулатории. Там общественная столовая на 250 чел., образцовые детясли и площадки, освобождающие женщин от домашней стряпни и вечной занятости с детьми; строится двухэтажная колхозная баня с пропускной способностью на 60—80 чел., имеется водопровод.

Здесь же, в колхозе «Память Ленина» Пречистенского района, до таких условий далеко. Колхоз расположен в 60—70 верстах от железной дороги, находится вне района МТС, получает московские газеты на пятый день. Но черты новой жизни, возникающие на основе нового хозяйствования, здесь можно видеть на усадьбе колхоза.

Большинство наших молодых колхозов, конечно, еще не имеют того, что можно назвать колхозной усадьбой, не отличаются внешне от той деревни, жители которой стали колхозниками. Усадьба — это показатель уже значительного хозяйственного роста колхоза, больших затрат на строительство. К этому не все сразу и не в одинаковой мере подходят наши сельскохозяйственные коллективы. Иначе и быть не может.

Новые дома, дворы, сараи занимают площадь Рибшевской усадьбы в еще не заполненном, но уже определенном порядке. При въезде в усадьбу стоит белая, сооруженная из тонких еловых жердей арка. В самой усадьбе на всех поворотах — такие же арки.

В первомайские дни арки украшались зелеными гирляндами, красной материей, флагами.

Изгороди прямые, подправленные новыми кольями. На околице чисто подметено. Смотреть на это приятно и радостно: это уже не деревня с поваленными плетнями, с соломой, таскающейся по улице за ногами, с разбросанными дровами.

* * *

На лужайке, входящей в площадь сада, стоит группа ребятишек в одинаковых синих костюмчиках. Дети нестройно, но усердно поднимают руки вверх, опускают вниз, разводят их, касаясь плеч друг друга. Они повторяют вольные движения за руководительницей, выдержанной и терпеливой девушкой. Очень нелегкое дело занимать в течение дня такую ораву ребят, только что усваивающих навыки простейших организованных упражнений, коллективной игры.

— Раз — два. Раз — два!..— считает она, следя за всеми сразу.— Не так, не так. Вместе нужно. Раз!..

Она считает, а крайний слева, уткнув от напряжения подбородок в грудь, делает, не видя товарищей, одно и то же: вверх — вниз, вверх — вниз.

— Митя!..— Она подходит к мальчику, опускает его ручонки по швам и, встав перед ним, показывает ему движение. И так не с одним. Но детская переимчивость и заинтересованность преодолевает природную застенчивость, связанность. Регулярные занятия, терпеливое повторение берут свое. Этих ребят только по ногам в «цыпках», полученных до открытия площадки, можно принять за деревенских. Коротко острижены, умыты, чисто одеты. Дома он бегал бы в задубеневшей от грязи рубашонке и — ничего, а привести ребенка на площадку каждая мать старается в свежей, вымытой рубашонке.

Занимается с ними девушка — колхозница, прошедшая курсы. Она еще сама преодолевает у себя застенчивость и связанность, но это уже молодой педагог.

* * *

В колхозной столовой обедают в большинстве «специалисты», как их здесь называют, люди, занятые на работе по специальным отраслям: плотники, печники, кузнецы, горшечники и др. Столуются покамест человек 50—60. Но и это в условиях колхоза большое дело.

На неоклеенной стене висит написанный цветным карандашом хороший простой лозунг:

Освободим женщину
От горшков и чугунов,

И она будет жить
И работать по-новому.

Таких лозунгов, конечно, немало висит у нас в общественных местах, но здесь он приобретает особую убедительность. За 40 коп. в день человек пользуется в столовой завтраком, обедом и ужином. Правда, меню не слишком разнообразное: щи, похлебка, но с мясом и в достаточном количестве. Подают чисто, каждому в отдельной тарелке. Харлампий Михайлович, век ходивший по людям и хлебавший из общей миски чужой, обкусанной ложкой, приходит в столовую.

Девчата (их двое работают на кухне) подливают воды в рукомойник, подают полотенце. Харлампий Михайлович умывается, получает тарелку щей, хлеб и медлительно, благообразно ест, не капая и не оставляя крошек. Он доволен обедом, похваливает девушек и по-стариковски шутливо заигрывает с ними.

— Вот ты скажи! — восклицает он.— А ить придется в колхозе остаться.— И в сторону поясняет:

— Таких девок где ж ты еще найдешь?!

Он шутит. Но верится, глядя на него, что он еще несколько раз вернется мысленно к предложению председателя о вступлении в колхоз.

— Вот только,— говорит он,— я люблю интерес в жизни иметь. Чтоб у меня садик, грядки, цветики на клумбах были.

Но «интерес в жизни» у него никто не собирается отнимать. Кто сказал, что колхозник у себя под окном не может развести цветы, иметь садик и другие такие вещи?

Ничего в этом, кроме хорошего, нет.

Вот возводится на усадьбе Рибшевского колхоза ряд новых хозяйственных и жилых построек, намечен план новых посадок деревьев (да и нынче кое-что посажено), в будущем будет поднята плотина пруда, пруд станет шире и глубже. Будет красиво и полезно в смысле купанья, ловли рыбы и вообще пользования водой.

Все это интерес в жизни, Харлампий Михайлович!

* * *

За скотным двором, протянувшимся по другую сторону дороги от центральной усадьбы, в старом помещичьем

саду гудит колхозная пасека. Еще до начала роения здесь было до 130 семей пчел. В числе продуктов, которые колхоз вывезет на базар, мед займет не малое место. На пасеке работают, под руководством школьного учителя, три специальных человека, не считая работающих в столярной при пасеке. Дело ведется образцово, хотя еще не все семьи в домиках, много и в колодах.

Откуда же столько пчел на общественной пасеке? Частью приобретены при распродажах кулацких имуществ. Частью выведены путем роения. Основная же часть — обобществленные колхозниками колоды и домики. На пасеку смотреть красиво. Пчелиный город. Товарное пчеловодство. Порядок. Образцовость. Но вот возникает вопрос: а не отнят ли у какого-нибудь деда, любившего повозиться с пчелкой, «интерес в жизни» обобществлением его двух-трех колод и домиков?

Дед, вроде Харлампия Михайловича, не против колхозной большой пасеки, ничего кроме выгод ему от этого нет, но он хотел бы еще сам, в своем садике походить за пчелкой, иметь мед для личного потребления или для продажи.

Почему бы, расширяя и улучшая общественную пасеку, не вернуть дедам-пчеловодам их 1—2 семьи пчел в усадебное владение, тем более что это совсем не означает раздать всю пасеку, пасека останется.

Можно и нужно сделать именно так.

* * *

Усадьба колхоза составляется не только из общественных садов, строений, огородов. Сюда входят и строения колхозников, их садики, огороды, маленькие пасеки. Все это вместе и будет представлять вид цветущего благоустроенного поселка, колхозной усадьбы.

Колхоз «Память Ленина» находится в системе Жарковско-Свитского комбината. На Рибшевской усадьбе стоит школа — предприятие комбината. Развитие хозяйства комбината предполагает мощную механизацию и электрификацию колхозов, находящихся в его системе.

Недалеко та пора, когда Рибшевский колхоз будет иметь такие же возможности, как колхоз «Искра». Это уже окончательно преобразит усадьбу колхоза и быт колхозников...

ПРАЗДНИК

К полудню сошлись и съехались на санях со всех участков на центральную усадьбу. Праздник начался обедом в колхозной столовой. Обедали по очереди, бригадами: столовая могла вместить не более одной трети гостей. Подавались щи, котлеты, пирожки, сладкое. В четыре часа люди заполнили фойе и зал Дома культуры.

В проходах стояли почтенные старики в черных, похожих на форменные, пиджаках и новых пожарных касках. У подножья сцены, за низким дощатым барьером расположился колхозный оркестр: скрипки, две гармошки, несколько балалаек.

Люди осматривались, говорили, пели. Они переживали ощущения праздничной развязности и, вместе с тем, радостной и непринужденной подчиненности непривычному порядку торжественной обстановки. Курить выходили в фойе и просто на улицу. Снаружи здание Дома культуры, украшенное елками, выглядело изумительно. Оно казалось целиком перенесенным сюда откуда-то, не верилось, что оно почти так же выглядит каждый вечер...

Собрание началось докладом организатора и бессменного в течение пяти лет руководителя колхоза — Дмитрия Прасолова.

* * *

«Как будут удовлетворять тех лиц, которые не могут удовлетвориться обыкновенным пайком?»... Этот вопрос в числе многих других записан в протоколе собрания членов Рибшевского пресскома совместно с другими жителями села от 22 января 1929 г.

Все вопросы людей, вступивших на этом собрании в колхоз, записаны тщательно, в порядке нумерации и представляют собой основную часть текста протокола. Люди выясняли все условия будущей коллективной жизни и как бы оставляли за собой законное право уйти из колхоза в случае, если там будет не так, как им говорили. Ответы в протоколе не записаны. В точности не известно, как отвечали тогда рибшевцам двадцатитрехлетний Дмитрий Прасолов и его товарищи. Вероятно, они не могли отвечать на эти вопросы с такой обоснованностью и определенностью, как отвечал теперь на них Прасолов — докладчик на торжественном собрании, посвященном пятилетию колхоза. Вопрос о том, «как удовлетворять лиц, которые не могут удовлетворяться обыкновен-

ным пайком»,— очень давно перестал быть вопросом. Кто из собравшихся теперь на праздник колхоза «Память Ленина» не удовлетворяется «пайком» в пять килограммов хлеба на трудодень, если у него их достаточное количество? Кто не приветствует знаменитого ударника из кошелевской бригады Николая Морозова, который еще осенью на вопрос, сколько у него трудодней, отвечал с вызывающей веселостью:

— Сегодня — восемьсот и два. А завтра — боле будет...

* * *

«Будет ли выдаваться женщинам, уходящим из колхоза замуж, приданство?» — спрашивал пять лет назад отец двух-трех дочерей, может, уже примирившийся с горькой родительской мыслью, что девки пойдут не по любви, не на счастливую жизнь, а за кого придется, по пословице: «Хоть за козла, да заползла...» Или даже совсем засидятся.

«С каких средств будут одевать и кормить детей?» Это спрашивали, может быть, те старые, по-праздничному приодевшиеся хозяйки, которые пришли сегодня на собрание, оставив в зимних яслях на весь вечер детей, родившихся уже в колхозе.

Не первое лето в колхозе работают семь яслей, из них одни, на центральной усадьбе, работают круглый год, с полным пансионом.

Матери спокойны за своих детей, сытых, здоровых, одетых по-городскому, получающих подарки в красные дни революции. Они работают полный день на полях и уже перестали замечать, какое облегчение в быту приносят им учреждения, содержащиеся за счет общественных фондов...

После доклада среди многих выступила тихая белокурая девушка из ленинской бригады.

— Работаем мы, товарищи женщины, очень хорошо. Это правда. Отказываться не приходится. Я только хотела сказать, что еще мало нас, женщин, в руководстве. Нужно нам поближе к руководству подбираться. Я только это хотела сказать. Да здравствуют наши четыреста тридцать ударниц!..

Это была Акулина Королева. Она сидела в президиуме. Трудно даже вообразить, чтобы ее судьба, ее жизненный выбор зависел от отцовского приданого. Она не

нуждается в нем. Она имеет его в своей трудовой книжке. Она — сама себе сама, как сказала на этом же вечере другая ударница, получая из рук Прасолова премию.

* * *

«Порядок жилья будет общий или отдельно по избам?» — и такой вопрос был задан в 1929 г. на первом колхозном собрании.

За пять лет в колхозе возведено сто шестьдесят пять новых строений. Это целая деревня, которая могла бы вырасти не меньше как за полтораста — двести лет, не говоря уже о том, что ни в какой деревне не было таких построек: хлебных сушилок на тридцать тысяч снопов, скотных дворов с цементированными полами, бань с тремя отделениями. Сейчас строится еще восемьдесят пять помещений, в числе которых две бригадные бани и пятнадцать новых «отдельных» домов для колхозников. Это помимо тех, которые будут перенесены с хуторов на усадьбу, заново перестроены и покрыты драницей.

Торжественное собрание идет в Доме культуры — наиболее крупном по размерам и устройству сооружении во всей округе. Дом культуры стоит на выбранном по общему решению месте — на солнечном взгорье, за оврагом, в котором под старыми высокоствольными березами зарыты тела первых защитников Советской власти в Рибшеве, убитых бандитами. Рибшевцы ходят в свой клуб через овраг, спускаются и поднимаются, хватаясь за кусты и стволы деревьев. Но за последние годы самые широкие и нетронутые массы людей научились представлять себе будущее. Все в Рибшеве знают, что поднятая строящейся ныне плотиной вода зайдет в овраг, через овраг будет перекинут висячий мостик, под которым сможет пройти лодка. И люди любовно несут в себе это представление, часть созидаемой ими, но еще не законченной красоты.

* * *

«Можно ли будет ездить в гости?» «Будет ли какое развлечение или что для молодежи?» — имелось несколько таких вопросов. Лучшим ответом на них было само сегодняшнее празднество.

День и вечер до глубокой ночи прошли в небывалом оживлении и веселье. Все хозяева были гостями, все гости хозяевами. После доклада, приветствий и речей в зал

со сцены было роздано бесчисленное количество премий: свертки мануфактуры, обувь, несколько женских и мужских костюмов, платки. Аплодисменты, хохот, выкрики, туш, старательно наигрываемый на гармошках и скрипке,— все это сливалось в одно и длилось добрых два часа. Затем началась художественная часть. Выступал хор, организованный культработником Федей Сидоренковым; выводил физкультурников завклубом Василий Коптелев, принесший из Красной Армии уменье делать всевозможные штуки на турнике и без турника; проехавшие пятьдесят верст со станции, только что вывалившиеся из саней поэты читали стихи; за ними выступали местные солисты, затем опять хор. Хор попытался было исполнить старую свадебную песню, но на первом запеве он был заглушен: сперва нестройно и разбросанно, затем все гуще и слаженнее запел весь зал. Женщины вскакивали с мест, чтобы делать то же, что делал хор,— подбочениться, притопнуть, развести полукругом руки, ухнуть. Удивительным весельем, радостной удалью и озорством наполнился мотив старой дурашливой песни, слова которой были сами по себе грустные и тоскливые.

Затем разнеслась весть, что кинокартина, которую ожидал и не дождался на почтовой остановке специальный человек, все же пришла, и за нею снова послали. В третьем часу ночи развесили экран, и зал затих. Часа в четыре киносеанс закончился, начались танцы.

Может быть, в недалеком будущем сами участники этого вечера будут ужасаться, вспоминая, что он длился около 9 часов подряд, но теперь всем было хорошо, все были довольны и веселы.

* * *

«Сколько лет думает правительство вести коллективное хозяйство и что будет дальше?» — был и такой вопрос записан в протоколе № 1. И на него ответил теперь разговорчивый дедок, стоя в фойе клуба, около стойки, где продавали квас, курево и конфеты поштучно. Дедок держал в руках каску, которую в течение вечера носил на голове, и, вертя и рассматривая ее, говорил о Прасолове:

— Хоть он был и моложав, но мы слушались его. Мы послушались. Мы пошли за ним в колхоз, и дальше пойдем! А теперь он уже постарше. Куда уж! Теперь он так — аршин,— дедок показывает около груди и живо-

та,— и так — аршин. Ого! Но мое мнение такое, что захоти он позвать нас обратно ото всего этого, а — и нет! Не послушаем, хоть и солидность имеет. Не-ет...— тянет он и будто бы с сожалением причмокивает: — Нет, брат, не послушаем...

А не этот ли самый дедок пять лет назад задал вопрос, на который он теперь, не зная того, ответил?

РАССКАЗ ДМИТРИЯ ПРАСОЛОВА

Карьера моя начинается с 1918 г., когда в Рибшеве сместили Управу и власть перешла к Совету. Об этих временах лучше меня могут рассказать другие товарищи, например: Сухарев, Анищенков или Иван Семенович — они все тогда уже были взрослыми людьми.

А я был пареньком лет пятнадцати. Родина моя не Рибшево, а соседняя деревня Гоноусово, самая нищенская деревня, можно сказать — три трубы на тринадцать дворов.

Отец мой век батрачил у помещика Тарнавского. Это вот его был дом: здесь, где мой кабинет, кажется, барская спальня была...

В хозяйстве у нас делать было нечего. Два надела. Году в тринадцатом деревня расползлась на хутора. Кто имел возможность взять агронома на квартиру, яишенку организовать и так далее, тот и получил землю на старой деревенской усадьбе — огороды, конопляники, садики,— землю, которую сами люди могли достаточно удобрить за время жительства на одном месте.

Двор наш стоял на сухом лобыре, на берегу той луговины, что тянется от самого Рибшева. Двор стоял близ того, где как раз берега луговины сходятся и где помещик — не Тарнавский, другой — затевал будто бы построить плотину.

Жили мы дико и одиноко, как и все другие беднейшие хуторяне, как, например, Павел Сергеев. Тот жил у самого леса, как волк, и даже видели его редко.

Значит, карьера моя начинается с 1918 г. В школе я не доучился, дома кусать почти нечего было, пошел я в волисполком переписчиком.

В момент, когда напали на волисполком бандиты и

вспыхнуло кулацкое восстание и когда товарища Сухарева приговаривали к расстрелу, я тихомолком спрятал, извините, в нужное место около сорока винтовок, и бандиты их не нашли. Так и началась моя карьера. А до этого я мало разбирался в политике.

Переписчиком я был не все время. Подходили годы, нужно было задуматься о женатой жизни, о хозяйстве.

Лет восемнадцати я женился. Жена была постарше меня, но привела корову. Есть такая песенка: старая мать просит сына жениться:

Ничего в хозяйстве нет.
Без коровки двадцать лет.
Преклони свою головку,
Возьми девку ко двору,
Приведи ты мне коровку,
Подою — тогда помру...

И чем бы я должен был стать, женившись, если бы моя жизнь не захватила Советской власти, или, пускай, захватила, но я бы не был таким, каким удался?..

Ну, жил бы, разводил детей, хотя, правда, их и так четверо у меня. Ходил бы в рваных штанах, немытый, как полный мужик, несмотря, что годы самые ранние. Из трех пудов урожая — два на самогон перегонял бы.

А может, стремился бы теленочка выпоить, на вторую коровку сбиться. Оно очень прельщает тебя, хозяйство, если взяться. Забудешь и молодые годы, и все на свете.

* * *

Дальше я буду рассказывать прямо с организации кресткома.

Долго на одном своем хозяйстве усидеть я не мог. В двадцать четвертом году, после ликвидации нашего вика, Рибшево остается простой деревушкой. Работники разъезжаются, все приходит в затишье.

Моя деревня Гоноусово первая заговорила об организации кресткома.

Вступило в комитет несколько человек, внесли по 25 копеек вступительных взносов. А хлеба совсем ничего не собрали по той причине, что деревня являлась бедняцкой.

Стали мы оформлять дело. Заказали штамп, купили бумаги, чернил, ручку,— осталось от основного нашего капитала 76 копеек.

В те годы лес распределялся по справкам кресткома.

Дрова — тоже. Это была наша сила. Народ к нам подходил. По справкам кресткома тогда чуть ли детей не крестили бесплатно.

И вот мы начинаем мечтать о кирпичном заводе. Субботниками рубим дрова, субботниками строим сараи. Это были первые коллективные наши работы, в которых участвовали совершенно неорганизованные деды. Итак, строили завод.

Но специалиста своего у нас не было. Нашли мы человека в Демидове, по фамилии Сергеев. И был он окончательный пьяница. Я его с того света вернул, одел, накормил, деньжонок дал.

Заложил он в печи сырец, но, пока обжигался кирпич, скучно стало мастеру, напился он и сбежал от совести, что не сдержал слова.

А кирпич в печках, печи топятся, все наши капиталы в кирпиче. Я не могу передать всего того, что тогда думал, дело давнее.

Решаем посылать в город за мастером — разгружать печи. Но как посылать, когда печи, может быть, совсем остынут за это время, или нижние ряды кирпича сольются. Жара в этих печах бывает страшная.

Я созвал своих членов.

— Ребята, придется самим взяться...

— Как же браться, когда никто не знает обращения с этим делом?

— Ничего не поделаешь. Как-нибудь надо.

Смех и горе. Иду я с членами разгружать печи.

Открыли печь — первые ряды — сырец, но дальше кирпич пошел лучше. Выгрузили. Только я тогда ноги пожег.

Выгрузили, а кому ж его продавать, кирпич?.. Качество его никому не нравится. А у нас уже долг — свыше ста рублей — по кредитной линии. Деньги нам хотя и давали на общество, но требовали личной гарантии.

Подвожу под опись свою приданную коровенку.

Но вот заворачивает к нам некто Радченко, жил верст за тридцать от нас, подводил под дом каменный фундамент. Кое-как покупает он у нас за полцены 25 тысяч кирпича с нашей доставкой. Соглашаемся на все. Перевезли кирпич, получили деньги, покрыли кредит.

С отзывами о работе кресткома еду в Москву. Стучусь во все места, поплакал, где надо. Выплакал тысячу рублей кредита.

Теперь мы оборудовали на эти средства завод по-настоящему. Стали выпускать хорошую продукцию.

Кроме того, добиваемся отрезки двух гектаров земли под общественный посев. Коллективно вспахали и посеяли два гектара овса. И так это было в диковину: хотя и семена были хорошие, и земля подходящая, все как надо, но, когда овес взошел, мы сами удивились и обрадовались. А когда еще не всходил, тайком друг от друга ходили посмотреть. Тянуло посмотреть, хотя знали, что не время еще быть всходам.

Зачем я все это так подробно рассказываю? Затем, что два гектара теперь не два гектара, а тысяча триста гектаров колхозных посевов.

Рибшевские кулаки ненавидели нас, запускали скот по нашему овсу, вообще вредительствовали. Но об этом нечего говорить, еще не то было. Сколько я одних записок получал о том, что конец моей жизни, и день даже назначался. Но вот — жив!

* * *

Мы уже имели большую выручку от кирпича. Мечтаем приобрести волноческу. Убили деньги, взяли волноческу.

Но тут нужно сказать, что обращаться с этой машиной в деревне умел тот, кто ее имел. Он и направит, и смажет, он знает, когда тише, когда быстрей пустить,— смотря какая вóлна. А кто имел волноческу? Кто покрепче, не нашего поля ягода.

Одним словом, покрутили мы машину месяца полтора, и она у нас стала. Может, она и была с капризом, может, мы испортили — дело прошлое. Пригласили мы людей из района для составления акта. Копии акта посылаются тресту и прокурору. Приходит ответ из треста, что акт наш действителен и что машину примут обратно, а деньги возвратят.

Нанял я за последние рубли подводу, погрузил волноческу и пошел вслед за ней, в ночь, до Смоленска. Ночи этой никогда, верно, не забуду. На каждой колдобинке, на каждом мостике замирало сердце: вот что-нибудь сломается, стронется с места — и вдруг откажется трест от машины. Намыкался, пока добрался. Ведь и то сказать: вез, может быть, не только все состояние не одной семьи, но все наши мечты и планы.

Осмотрели машину и установили процент негодности по вине завода — очень маленький. Остальной процент был зачислен на нас, так как инженер, осматривавший машину, указал поломки от тряской дороги.

Что тут было делать? Как приехать домой? Лучше не показываться. Может быть, даже и были у меня такие мысли: а не махнуть ли на все это? Что мне — больше всех надо, что ли! В мои годы люди уезжали в разные места, устраивались как-никак и жили,— встретишь и не узнаешь другого. И чего я могу добиться, пропадая в Рибшеве? Чем был, тем и остался... Я говорю это к тому, что очень тяжело мне, горько было...

Однако пошел я к этому инженеру. И вот, как сейчас это было, рассказал ему все откровенно, какое наше положение. Человек он оказался мягкого характера,— насел я на него и не отступал, пока не добился-таки своего. Инженер написал новый акт, и мы получили деньги за все, даже за доставку машины.

За те деньги была куплена новая волноческа, и работала она хорошо.

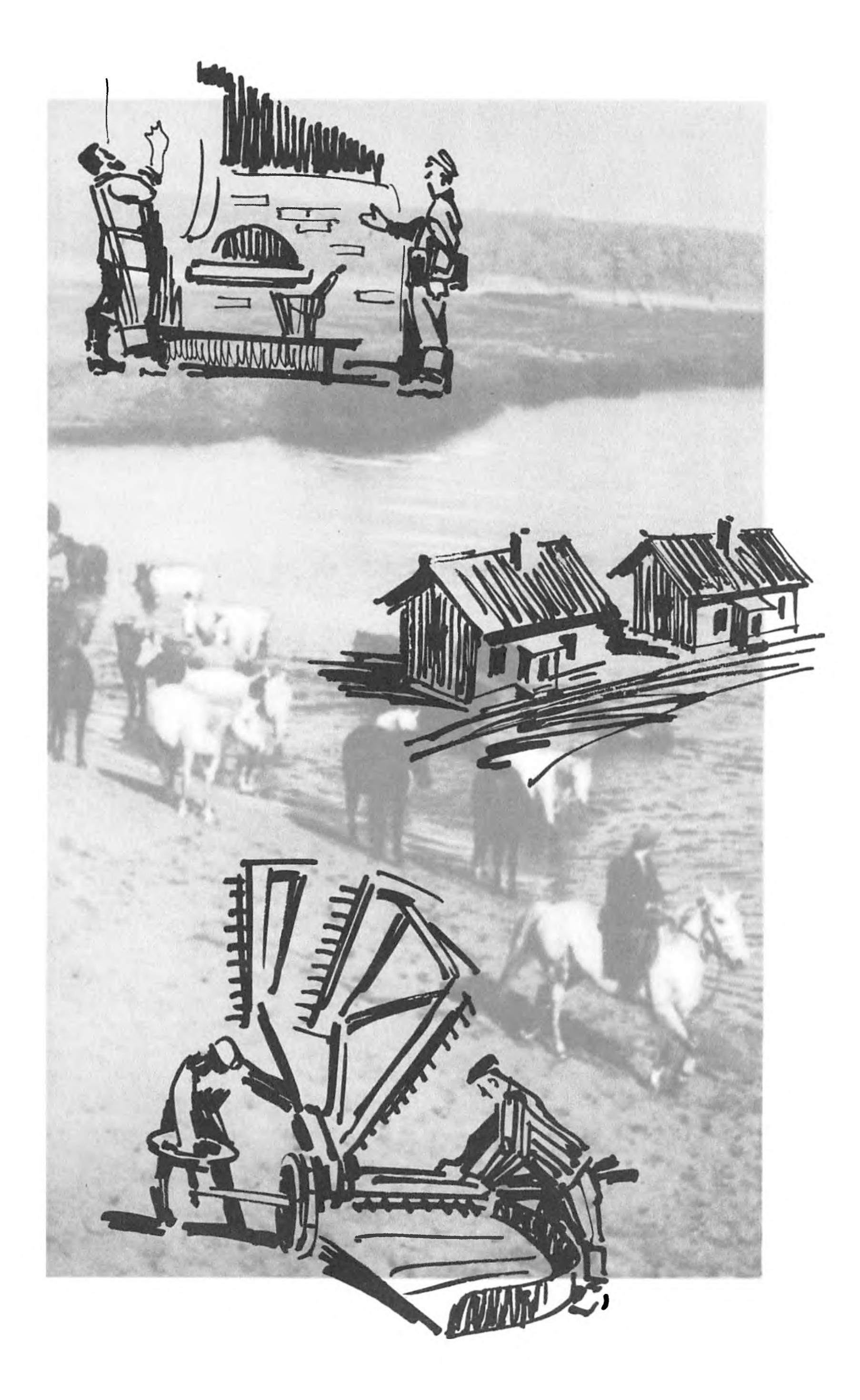
* * *

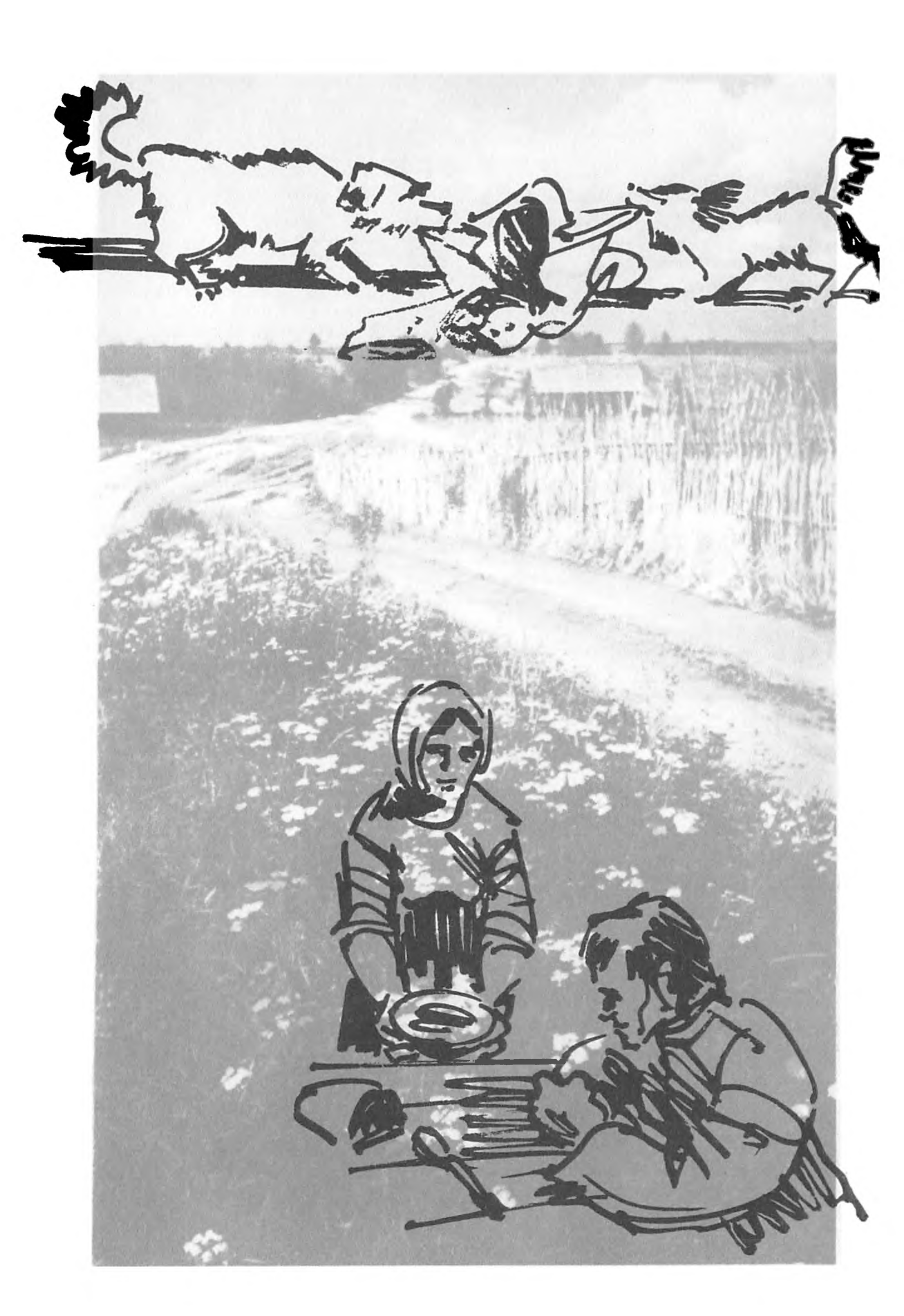
У нас уже было свыше трехсот членов. Капитал вырос до трех тысяч. В президиуме кресткома — люди не из одного Рибшева, из нескольких деревень.

Теперь мы уже заводим веялки, зерноочистки, пружинные бороны, племенной скот. Мы уже оправдываем свое название. Мы — помощь бедняку. Мы приучаем к коллективу самых закоренелых дедов. А тут как раз начинается наступление на кулацкую верхушку. И был здесь неподалеку один гражданин, владелец паровой мельницы. Начинает он метуситься.

И вот мы предлагаем ему 1200 рублей за мельницу. Делать нечего, согласился. Триста рублей задатку. Мельницу перевезли, поставили (тут она и до сих пор стоит), двигатель работает на освещение центральной усадьбы. Ладно. Мельница есть, а специалиста опять-таки нет. Пришлось взять этого же гражданина специалистом. Правда, нам было предупреждение: не держите у себя кулака. Но мы его держим, покамест не будет своего человека, чтоб умел обращаться с двигателем. Приходится держать.

Подходит срок платить остальную сумму за мельницу. Подумаю, подумаю — жалко платить. Лежу как-то





ночью, думаю, и является мне одна простая мысль: а что, если мы не заплатим за мельницу, все равно на наши кровные она строилась. Так и сделали.

А нам еще раз конкретно предлагают не держать у себя кулака. Ну, мы его потом уже не держали.

Общественная запашка расширялась. В день трехлетия кресткома в протоколе общего собрания мы записали: «Через общественную запашку — к коллективизации». Всю зиму 1929 года гудели о колхозе.

В январе 1930 года, а именно 22 января, в день годовщины смерти Ильича, состоялось собрание, на котором была проведена первая запись в колхоз.

Колхоз назвали — «Память Ленина».

Первые вступили кресткомовские люди, актив, но большинство без семей.

Одни привели скот, а многие боялись. Наша кресткомовская изба запиралась замком, и почти каждое утро мы находили в замочной скважине записочки, кому из нас и когда быть убитым, кто будет сожжен и т. д.

Это касалось всех моих товарищей по работе в Рибшеве — Сухарева, Смекальцева, Анищенкова. Со Смекальцевым — мы однодеревенцы, вместе росли, вместе пастушествовали. Когда он был в Красной Армии — переписывались. Потом он был одно время председателем райкресткома. Смекальцев помнит, что народ у нас был запуган как нигде. Кулачество имело связь с остатками банд. Как в начале революции крестьянство боялось пахать землю Тарнавского, так теперь боялось идти в колхоз и пользоваться кулацким имуществом. Беднота боялась вселяться в дома раскулаченных. Смекальцев показал пример в своей деревне, за ним осмелели и другие.

* * *

В числе вступивших в колхоз был и такой народ, что думали, если колхоз, так подавай мне все готовое. Был, например, один такой Шепелев. От бедности, от беспросветья он обовшивел, зарос диким волосом.

Пришел он в колхоз, получил хлеба, поселился в кулацкой избе и лег на печку. Чуть что — ревет:

— Давай! А то выпишусь из колхоза.

Сколько пошло трудов, чтобы превратить таких Шепелевых в более сознательных граждан, сколько нервов пошло на это!

Хозяйничали первый год с грехом пополам. Часть плугов осталась под снегом. Но все же мы закрепились, были еще — колхоз и крестком — под одной крышей. Это нам давало настоящую связь с массой. Но в конце концов вышел такой оборот: предложено колхозу отъединиться от кресткома. Но без решения массы — нельзя.

Раз собираем собрание. Не согласны деды-единоличники уступить колхозу свои кресткомовские средства.

Другой раз собираем собрание — не согласны. А тут их классовый враг поджучивает: не уступайте ни в какую, пропьют колхозники ваше добро.

Третий раз собираем. Подались деды. Решили не дробить того, что достигнуто было всем обществом. И вступили в колхоз вместе со своими паями. И здесь мы имели большой прилив. Не такой прилив, который был до письма тов. Сталина, а настоящий и несомненный прилив.

* * *

Второй год существования колхоза. Непорядков еще бесконечное количество.

Поедет другой куда-нибудь на телеге, а вернется на одном передке, коня загоняет до белого мыла. Было и воровство.

В прошлом году случилось, что один колхозник повез хлеб на пункт, присмотрел там курочку, что ходила под возами, поймал, голову на бок — и в возок. Но когда дело раскрылось, сам не рад был. Общественный суд, порицание: как ты смел у трудящегося курицу украсть!..

Привели в чувство.

А раньше и суд такой организовать почти невозможно было — другое отношение.

* * *

Дальше — больше раздували кадило. Оборудовали сыроваренный завод, молочная ферма у нас. Растем. Растем, хотя большие трудности, и дело новое, и меняется вся человеческая жизнь. Люди растут, не только дети, но и взрослые растут.

Тот самый Шепелев — теперь передовой колхозник. Он сам и его дети носят хорошие пиджаки, и эти пиджаки они получили в виде премии, как ударники.

Старший сын Шепелева, находясь в рядах Красной Армии, писал ему такие письма, что слезы наворачиваются. «Держись, батя, за социализм»,— вот что он писал своему старику.

А дочь Шепелева, девушка, помещалась, как ударница, на страницах областной печати.

Все это прошло на моих глазах и при мне.

О себе скажу одно. Я стал человеком, которого, не хвалясь сказать, знают и уважают не в одном Рибшеве. Я развернул свою карьеру, не выезжая из деревни, где родился, где назначалась мне, по обычаю, безвестная и темная жизнь. И если я как-никак справляюсь с огромным хозяйством в полтысячи дворов (говорят, не плохо справляюсь), то что мне было делать в одном своем дворе, да и какой там двор! Этого я теперь не умею и представить.

ОЗЕРО

Вода прибывала всю осень, занимая огромную, перерезанную вдоль речушкой, луговину в высоких, крутых берегах. Плотина была построена в двух километрах от центральной усадьбы, там, где берега наиболее близко сходились. Краснелась свеженарытая глина искусственной отмели, стоял водомер — кол, отесанный с одной стороны, с нанесенными карандашом делениями. Всплыли, но еще не были отнесены водой две кладки, по которым недавно переходили речушку. Вода широким заливом подползала к худой, перекошенной пуньке, стоявшей у откоса. Пунька эта когда-то принадлежала жителю нищенской деревни Гоноусово — Митьке Прасолову. Теперь здесь — правым берегом растущего озера — лежали поля третьей бригады, бригады имени Прасолова.

Прасолов ежедневно приходил на плотину. В сутки на водомере скрывалось по два — три сантиметра. Люди слишком часто подбегали к водомеру. Озеро по существу строилось на очень ненадежной речонке. Учитывалось все: ключи, пробивающиеся в откосах берегов, дожди, полая вода.

— Как, будет вода, Дмитрий Филиппович? — спрашивали у Прасолова колхозники, по привычке обращаться к нему со всем, что касалось их жизни.

— Зальет! — уверенно отвечал Прасолов, точно имел на этот счет какие-нибудь особые сведения. Он распорядился о вывозке сена из пуньки, хотя никому не верилось, что вода так высоко поднимется до заморозков.

Старики вспомнили все, что можно было вспомнить по поводу строительства плотины. Пан Поклонский по-

строил мельницу, запрудив один из рукавов-овражков, впадающих в луговину. Концы обломанных свай и очертания маленькой плотины Прасолов каждый день видел по пути к своей перемычке. А лет сто тому назад дед или прадед пана Поклонского затевал собрать и удержать воду в главном бассейне, где теперь это делали колхозники.

На усадьбу Прасолов возвращался правым берегом, по линии столбов, ведущих от третьей бригады к правлению. Моложавый, заметно полнеющий, преодолевающий одышку, он помногу ходил и ездил. На территории колхоза нет, кажется, ни одного места, клочка земли, где бы он не собирался что-нибудь сделать — выкопать, построить, посадить, посеять...

Старая усадьба деревни Гоноусово, еще до войны разбившейся на хутора, теперь была вся размечена маленькими колышками. Это была предварительная распланировка поселка третьей бригады, переселяющейся с хуторов. Здесь предусмотрена и ширина улицы, и расстояния между домами, и сады, и палисадники...

Людей потянуло к людям. Пришла пора даже внешнего изменения лица деревни. С хуторов люди уходили еще и потому, что производственный распорядок в бригаде страдал от разбросанности жилья. Жил, например, у самого леса Павел Сергеев со своей старухой,— покамест приколтыхает хромой, люди уже на работе.

Новый поселок и еще пять-шесть ближайших селений колхоза, по завершении строительства гидроэлектростанции, должны будут получить электрическое освещение.

Вода, однако, еще до зимы подошла к самым воротам пуньки. Пуньку пришлось снести.

Пунька эта напоминала теперь Прасолову, кто он и откуда, сегодняшний председатель крупнейшего и популярнейшего в области колхоза, человек, давно привыкший видеть свои фотографии в газетах.

Два надела, когда-то нарезанные Дмитрию Прасолову, лежали по склону к речке. Это было глухое, отдаленное от жилья место. Жил Прасолов, как все хуторяне, которым досталась внеусадебная неудобная земля, удобряемая только птицами, пролетающими над ней. Жил, как Павел Сергеев, как отец Филипп Прасолов, лет двадцать батрачивший у пана Тарнавского. И уже был

Митька Прасолов председателем кресткома, строил кирпичные заводы, заводил волночески и мельницы, организовывал запашку общественной десятины — днями пропадал в Рибшеве, но ночевать приходил на хутор, успевал сделать что-нибудь по хозяйству. Только тогда, когда из кресткомовского актива (1929 г.) создался колхоз, Прасолов был избран председателем,— он переехал с хутора. Пунька до осени 1934 г. оставалась у откоса...

* * *

В кабинет председателя колхоза, качнувшись, вошел хромой старик Павел Сергеев.

— Пришел спросить,— сказал он,— будет ли мне пособие на переселение?

— На усадьбу? А место выбрал? — Прасолов указал на клеенчатый диван слева от стола.— Садись.

— Место выбрал. Теперь, думаю, стоит того, помирать пора, а там, в лесу, помрешь — и не узнаете. Бригадир будет прогулы писать, а я там лежать буду,— неумело пошутил о том, что, видимо, его глубоко и всерьез беспокоило.— Вот и думаю амбарчик свой перетрясти, он — четыре на шесть, как раз нам со старухой. К смерти ближе, к людям ближе, стоит того...

— Пособие будет. Только амбар мы тебе не дадим перевозить.

— Что так?..

— А так. Зачем же ты будешь поселок нам портить. Надо, чтоб изба по форме была.

— Изба плоха.

— Подрубим.

— Лес надо...

— Дадим лес, все дадим. А только ты переселяйся не помирать, а жить! Перевози избу.

— Венца три, не меньше,— раздумчиво проговорил старик.— Три венца, стоит того, если подрубить... Добрая изба будет. Начинай жить сначала... Значит, будет пособие, Мить?..

— Будет, будет.

— Я к тому, что изба, если подрубить, лучше новой будет, куда лучше. Доски повернуть да подстругать...

Прасолов видел в окно, как старик, колтыхая, шел берегом будущего озера к лесу. Он разводил руками и, видимо, по привычке людей, живущих в одиночестве, рассуждал сам с собою. И Прасолов знал, что старик со-

вершенно по-другому обдумывает свое намерение, которое прежде было для него делом приготовления себя к смерти. В новой избе жить нужно, а не помирать.

* * *

Весной Прасолов вместе с гостями — инженером, прибывшим осмотреть плотину, и представителем областной газеты — переехал от центральной усадьбы до самой плотины по новому озеру на лодке. Лодка протекала. От кормы к носу при каждом движении весел перекатывалась под ногами вода. Здесь никогда никто лодок не делал.

Озеро изменило окрестность, вид на усадьбу и сократило расстояние от центра до третьей бригады (здесь уже стояли первые дома нового поселка, крытые драницей). И на середине озера в лодке, и на берегу томило какое-то необычное ощущение,— это было ощущение глубокой и плотной тишины, наступившей от озера. К ней нужно было привыкнуть.

Весной много воды ушло в боковые прорывы. По суткам дежурили на плотине специальная бригада и все правленцы во главе с Прасоловым. Но озеро пополнялось все время ручьями из ключей, и вода была близка к заставам. Только приблизительно можно указать то место, где стояла полуразваленная пунька...

Плотина и озеро создавались ради одной практической цели — установки электростанции. Но как, помимо решения этой основной задачи, украсит жизнь колхоза сооружение плотины! Прасолов всю весну скупал у отдаленных рыболовов поштучно и ведрами живую рыбу. Через немного лет рибшевцы, никогда не заводившие ни сетей, ни удочек, будут ловить свою рыбу.

Так люди только сады садили, чтобы в будущем иметь яблоки.

Инженер, осмотрев готовое сооружение, нашел, что все сделано технически грамотно, тщательно и надежно.

Он с восхищением оглядывал богатый водоем, высчитывал, какой большой запас воды можно создать и как со временем во много раз можно увеличить проектную мощность электростанции.

— Честь и слава,— сказал он,— честь и слава выбравшему это место для постройки плотины!..

Прасолов улыбнулся.

1932—1936

● ПИМЕНОВ

Есть еще такие люди в колхозах: они тоскливо побиваются в правлении, курят без всякой охоты, растягивая это занятие на долгие часы. Эти люди переменили множество работ, побыли всем, чем только можно. Они были конюхами, но их уже прогнали с конюшни; они были сторожами, казалось бы, самая подходящая должность, но и здесь они не могли вынести ночного одиночества — они любители поговорить; потом их пристраивали возчиками молока, потом письмоносцами, пастухами. Чаще всего, отбившись от постоянной работы, они ходят нарочными.

Люди, так или иначе отмеченные такими чертами и свойствами, имеются и в бригаде Пименова, лучшего бригадира Зубцовского района, делегата Всесоюзного съезда колхозников-ударников. При назначении на работу они обычно высказывают болезненные опасения, что эта работа как раз и есть самая невыгодная, на ней ничего не заработаешь, просят другую, но вскоре сомневаются и в той.

Был такой Федор Борисов в колхозе «Победитель». Больше всего он занимался тем, что делал подсчеты, какая может быть самая заработочная работа в колхозе. Остановившись на какой-нибудь, он с жаром добивался ее, брался за дело и даже показывал, что он и работник неплохой, когда разойдется. Так Федор брался за плот-

ничество, брался городить изгороди, вить веревки и за многое другое. Но, вдруг, бросив это, он приходил в правление и, обессиленно рухнув на лавку, с тоской и упреком тянул:

— Работа!.. На этой работе умрешь — больше двух трудодней не выгонишь. А ты дай мне работу, чтобы я семь, а то и восемь выгнал!..

Был Федор и конюхом, но, загубив зимой на водопое жеребенка, был снят с этой работы и осужден к штрафу в 300 рублей.

Еще одним признаком людей, подобных Федору, является неожиданная с их стороны религиозность, которую они вдруг обнаруживают в период наиболее горячих работ. Они проявляют исключительную памятливость, откапывая дни святых с самыми неприметными именами, вроде Анисима, Тимофея и т. д.

Прослышав, что с завтрашним воскресеньем совпадает один из таких опущенных даже в дореволюционных календарях дней, бригадир Пименов повел решительную речь о том, что 16 гектаров подкошенного сена должны быть убраны без всякого промедления. И он уже замечал признаки самого тяжелого для него, подрывающего силы, отчуждения между ним и бригадой. Оно создавалось всякий раз, когда люди, настроенные инициаторами по части праздников, выступали в поход против самих себя, против уже достигнутых результатов сознательного труда, против своего ближайшего будущего... Горько было слышать, как они говорят о своем праве потерять трудодень с четвертью и попраздновать. И зло поднималось против тех, кто понимал, что в иной день, попраздновав, можно потерять не трудодень с четвертью — десятки трудодней,— но, понимая это, не достаточно энергично восставал против безрассудной, недостойной затеи.

Пименов отмалчивался, когда при нем начинали не то шутя, не то всерьез говорить о предстоящем веселье, чтобы только вызвать его, бригадира, на возражение. Он знал по опыту, что иногда таким образом закоперщики, не имея к чему привязаться, утихали, сводили свои слова к шутке.

Одно только затруднялся понять Пименов: как небольшая группка таких людей, как оштрафованный за лодырничество, за отказ от «невыгодных» работ Павел Стрелков или Егор Иванов, снятый весной с пашни по требованию бригады за плохую работу и нехозяйское

обращение с лошадьми,— как такие люди могут порой настроить в своем духе всю бригаду. А ведь в бригаде есть прекрасные работники: Агафонов Иван Степанович, Настя Лисицина и многие другие. Одно было ясно: люди еще не до конца честно относятся к колхозному делу, **не откровенно,** как говорят сами колхозники. Но также было ясно и то, что люди начинают смелее жить, больше себе позволять, видя, что дела идут хорошо.

Если сравнить сегодняшнее состояние колхоза «Победитель» с тем, что было весной 1932 года, хотя и тогда уже колхоз был на лучшем счету в районе,— можно без всякой натяжки увидеть самый настоящий рост благосостояния колхоза, огромные изменения даже во внешнем виде усадьбы. Колхоз растет, укрепляется, богатеет. Об этом свидетельствуют и новые, нынче вступившие в колхоз хозяйства, и несравненно лучшая во всех отношениях работа людей на полях, и переходящее знамя, остающееся все время за колхозом, и новые скотные дворы, кузница, ясли, площадка, которых не было в прошлом году.

Но люди, делатели всего этого, несут в себе привитую и воспитанную годами мелкособственнической жизни — **неоткровенность.**

Пименов отмалчивался, но совсем тревожно было то, что сегодня бригада сама задерживалась на поле дольше обычного, копня уже остывающее сено. Он вместе с ними сгребал, подхватывал, носил сено, обливаясь особенно обильным, как это бывает именно вечером на покосе, теплым, точно банным, потом... Но когда кончили и запели, облегченно и вызывающе, Пименов вспомнил, что сегодня эта достойная и прекрасная по общему смыслу людская радость означает, что завтра не выйдут на работу.

И этим вечером Пименов, придя в правление на заседание редколлегии, увидел присланный заказной бандеролью «Листок действия заметок» районной газеты. В нем было написано на машинке одними заглавными буквами:

> «Бригадир бригады № 1 колхоза «Победитель», Бубновского сельсовета, Пименов Д. не желает сгруппировать вокруг себя всех членов своей бригады, а имеет дело только со своими любимчиками. На работу, которая хорошо оплачивается, Пименов назначает своих любимчиков и не заботит-

ся о том, что многосемейные не могут обеспечить свою семью. И на замечания колхозников о недаче работы или на неправильную расстановку сил в бригаде он отвечает: «Не ходите ко мне и не мешайте мне, я сам больше вас знаю». Трудовые книжки на руки колхозникам не выдаются по три месяца, в результате чего они не знают, за что они работают. Кроме этого, Пименов дает лошадей для обработки своих огородов гражданам, кои исключены из колхоза. Правление колхоза должно немедленно проверить работу Пименова и дать ему по заслугам.

Недовольный».

Пименов не мог вспомнить таких случаев, чтобы он давал хорошую работу «любимчикам», а плохую «не любимчикам». Он знал твердо, что так он не делал. Относительно того, что он «не желает сгруппировать вокруг себя всех членов своей бригады...» — Пименов признавал, что да, покамест он не может «сгруппировать» «всех членов», покамест он опирается на актив бригады, на людей более сознательных, как в данном случае, когда приходится бороться против завтрашнего невыхода на работу. Лошадь он действительно дал по распоряжению председателя колхоза гражданке, исключенной из колхоза сельсоветом, но гражданка эта была восстановлена областной комиссией. Что касается трудкнижек — «Недовольный» просто налгал редакции. Пименов мог признать лишь некоторое — на несколько дней — промедление с этим делом, и то лишь в силу того, что это был самый горячий период сенокоса, когда бригадир вместе с лучшими людьми в бригаде спал по 2—3 часа в сутки. Еще это дело объяснялось тем, что нет бланков — форм нарядов, а без них все записи и подсчеты вести во много раз труднее и кропотливей.

Пименов прочел «Листок» и, согласно закону, повесил его на стене в правлении, рядом со стенгазетой.

Собрание бригады, обсудив заметку в «Листке», признало эти факты неправильными и записало в протоколе опровержение. Но на этом же собрании бригада постановила праздновать завтрашний день...

Как же вел себя на этом собрании Дмитрий Пименов? Как держался по отношению к людям, которые выносили постыдное дезорганизаторское решение и от ко-

торых зависело его, Дмитрия Пименова, оправдание, опровержение заметки, напечатанной в «Листке»?

На завтрашний день в колхозе «Победитель» созывалось кустовое совещание редколлегий стенгазет. Предколхоза тов. Смирнов оповещал об этом бригадиров, тая про себя сожаление, что придется отрывать людей от работы по уборке. Пименов тоже в душе надеялся, что совещание не состоится и ему не придется бросать работу на поле. Но вообще Пименов очень уважительно относится к общественным делам. Пименов находит время для участия в общественной работе, в различных совещаниях, в работе стенгазеты. Он добросовестно, деловито, тщательно отвечает на пространные письма из Москвы и области. Ему пишут из редакций газет и журналов, из колхозного института, из областного комитета партии, из сельскохозяйственного отдела ЦК.

Утром Пименов зазвонил в буфер, подвешенный на усадьбе бригады, послал дочку — пробежать по дворам. Люди выглядывали из окон и скрывались. Пименов ожидал, опершись на грабли.

— Вот черт! Правда, гонит,— с досадой и как бы не веря, ругались люди, которым казалось, что вчера на собрании Пименов только так, для проформы, не разрешал праздника.

По одному, не дружно, торгуясь, выходила бригада. Многие, в ожидании праздничного обеда, не завтракали.

Работали без увлечения. Огромная поляна неворошенного сена напоминала о необходимости работать весь, без остатка, день, чтобы убрать хоть половину. Пименов метусился, подгонял, подбадривал людей, всюду мелькала его маленькая фигурка в белой рубашке, со сбившимися назад кистями пояса. Он делал вид, что не слышит:

— Тут сомлеешь, не жравши с утра...

Он боялся, что представители из района и сельсовета приедут рано, вызовут его, тогда бригада разбежится с поля. Требования идти на обед были не так настойчивы, пока оставалось недоворошенное сено, но к концу люди уже начали останавливаться и подзывать Пименова. Они заявляли, что пойдут обедать. Бригадир выдержал до последнего прокоса.

— Теперь можете сходить пообедать.

Пообедав сам, он вышел на улицу. Времени прошло уже более чем достаточно для того, чтобы пообедать и

покурить. Окна были закрыты, но из домов слышался приглушенный говор: люди праздновали. Пименов прошел к буферу и позвонил, никто не вышел. Две-три женщины, переходившие улицу, весело выругались, одна приостановилась, точно хотела посмотреть, что он будет делать дальше. Пименов хотел позвонить второй раз, но удержался: это значило бы подорвать авторитет сигнала. Он поднял на плечи вилы и, крикнув жене, чтоб захватила питья, не оглядываясь, быстро зашагал по стежке, спускающейся вдоль речки. Он оглянулся только в кустах. На деревне не замечалось оживления. Одинокая фигура женщины с граблями на плечах и жбаном, сгибающим ее набок, спускалась по стежке...

На повороте Пименова остановил бежавший наперерез ему человек: «Представители приехали, просят в правление».

Пименов махнул хозяйке, чтобы шла не останавливаясь, и затрусил в правление.

Осторожно поставив вилы в сенях, он вошел и присел рядом с председателем. Через пять минут он отчитывался в работе редколлегии. Встав, он увидел в окно, что следом за женой шли еще две женщины с граблями.

Стенгазета, изложил Пименов, выходит редковато, но постоянно. По заметкам, помещенным в ней, был снят с работы и предан суду конюх Борисов, был исключен из колхоза кулацкий элемент Стрелков. Людей штрафовали, люди подтягивались в работе, попав на столбцы стенгазеты.

— Больше я ничего не могу сказать,— закончил Пименов. В окно он видел, как мелькали в кустах, у речки, грабли, рожки вил, белые и цветные рубахи.

— Кто хочет в прениях? — спросил председатель.

— Разрешите мне,— поднялся Пименов.— Я прошу собрание отпустить меня сейчас, а то там мои будут беспокоиться...

На совещании присутствовал председатель РКИ. Пименов не успел с ним поговорить относительно райгазеты «Красный льновод». «Листок» остался висеть рядом со стенгазетой...

1933

● ЗАЯВЛЕНИЕ

1

Прошу занести в дело историю моей жизни. Нас было у отца пять сынов. Отец был малоземельный бедняк. Мы обрабатывали чужую землю с половины. Год проработаем, а на другой год человек не желает отдавать мягкую пашню с половины. Бывало так, что мы не имели никакой половины. А дети есть просят. Тогда приходилось: возьмешь серп, мешочек, идешь на Кирейкино поле. Зажмешь сноп в коленях, колосья прочь, а бабы потом сотрут и сварят кашу. Этого я не отрицаю, и сам Кирейка меня захватывал, и мы переносили позор на всю округу.

В девятом году с помощью крестьянского банка мы купили у помещика Шорновского восемнадцать десятин на пятерых. Земля была вся под кустами, под лядом. Пни-подживотники сидели свежие: Шорновский тогда лес продавал. Двадцать лет прошло, а как увижу, где такой пень, сразу в крестцах заломит.

2

Мало-помалу мы давай разрабатывать участок. Захочешь жить, захочешь другого к себе отношения от людей, чтоб на тебя пальцем не указывали и чтоб детям глаз не кололи, то будешь пни выворачивать и зубами коренья рвать — все нипочем. Гнетешься день впятером,

кожа с пальцев долой, а к вечеру чистого места — лечь одному и раскинуть рук — негде. Но мало-помалу мы разработали десятин пять, когда наступила наша Октябрьская революция. Братья в это время были на войне, я по слабости здоровья на военной службе не присутствовал.

В девятнадцатом году у нас организовалась ячейка. Появились коммунисты. А так как в это время все удобные земли помещиков отошли к нам, то каждый трудящийся крестьянин был за Советскую власть и за коммунистов, и я был за Советскую власть и за коммунистов. Два месяца я походил в ячейку, стали коммунистов назначать на фронт против Колчака. Меня не назначили ввиду моего здоровья, но я решился идти от совести, потому что все шли и нужно было эту власть защищать.

Но в Смоленске меня комиссия осмотрела и отправила домой. А братья в это время все были полными коммунистами и, хорошо не помывшись в бане от германской войны, уже находились в рядах действующей Красной Армии. Двое братьев убиты: Семен, женатый и трое детей, и Миша — самый наш младший брат, он пошел на германскую войну еще не женатый. Андрей так и остался в армии, сейчас большой командир. Брат, который подо мной, Клименков Василий, в настоящее время — начальник раймилиции под Москвой.

3

С двадцатого года я начал хозяйствовать сам, отделившись от отца. Поставил хату, стал жить. Но лошадь, что досталась мне от отца, была совсем кляча и вскорости пала. Кое-как я сбил деньжонок, купил под Вознесенье кобылу. Давай опять жить.

Как ни жил, но не доходил уже до такой точки, чтобы чужие снопы обрезать и варить аржаную кашу. От этой каши у детей животы дуло. Одним словом, жил. Мало-помалу давай обживаться. От этой кобылы вырастил себе молодую лошадь, справил тележку на железном ходу, завел двух коров. Прошлогоднее сало за нонешнее не заходило, но боровка я каждую осень бил, хлеба своего хватало, про чужой закром мысли не было. Участок мой был плоховат, но я жил, не унывал, и, согласно Советской власти, налог на меня налагался посильный.

Но когда в нашем сельсовете начал ссыпаться крестком взаимопомощи, я один из первых вступил в крестком и ссыпал свой пай, хотя и не стремился получать пособие, так как бедности такой уже не имел. В весткоме меня избрали в ревизионную комиссию, и я с другими членами проверял все имущество, смотрел, чтобы каждое зерно было записано в книге. И хотя Кирейка Аниканов и говорил тогда, что моя порода воровская, то на это были совсем другие причины: что крестком поставил свою волноческу и сбил Кирейке цену и к нему перестали ходить чесальщики.

4

Дальше — больше, наш крестком повернул на широкое социалистическое строительство, и дело подошло к колхозу. Все деревни вокруг кресткома обращались в рабочие участки колхоза. Я стал приглашать своих соседей: «Давайте организуем участок Костельня». И агитировал их по инструкции своего брата Клименкова Андрея, красного командира.

Соседи сперва записались все, но потом повыписались. Несмотря на это, я организовался с одним соседом, с Ильей Чистяковым, и мы сдали свое имущество в колхоз. Я сдал кобылу, тележку на железном ходу, корову, овин, пуню, плуг, борону железную, хомут проездной, хомут ролейный, трое вожжей новеньких — все по описи. Опись лежит в правлении.

И начали мы с Ильей Чистяковым работать. Полевод нам дал план, и мы по плану работали. Но соседи на нас глядели опять же сурово. Хотели мы вовлечь хоть одного Трифоненка как бедняка и члена кресткома, но соседи его отбили от нас. Кирей Аниканов смеялся, что Трифоненку самый смысл вступить в колхоз: так ничего нет и там не будет. И Трифоненок из гордости не шел к нам, хотя на чужом гумне хлебушко молотил и век бы своего не построил.

5

Но много ли — мало прошло времени, а, видя, что мы с Ильей не сдаемся и правление нам помогает, соседи опять вступили в колхоз. И правление меня назначает бригадиром Костельнинского участка, и я взялся за выполнение своей должности.

И вот моя бригада проводит уборочную кампанию. Убрали лугов пятьдесят пять гектаров. Яровые были посеяны единолично, но убрали мы их коллективно. Рожь также убрали и перемолотили коллективно и ссыпали в один амбар.

После этого среди соседей опять пошли разговоры, чтобы писать заявление и идти вон из колхоза, а хлеб поделить согласно тому, кто сколько сеял. Малый ростом, но бойкий Кирейка Аниканов заскакивал наперед всех. Волноческу свою он разобрал по частям и сплавил, теперь никого не боялся. Я уговаривал всех, доказывал, что хлеб делить нельзя и нужно дальше работать. Одни успокоились, а другие стали на меня иметь гонение и угрожать смертью за то, что я якобы подписью обязался всех загонять в колхоз. Но я смог опровергнуть эти рассуждения, потому что если я по обязательству других в колхоз вовлекал, то кто же меня самого заставил бы вступить, если бы я не шел? Никто на свете не мог бы меня заставить, если бы не моя на то воля.

Тогда пошли слухи, что Клименков с Ильей Чистяковым крадут и пропивают колхозное имущество и что, дескать, ихние привычки на чужое добро хорошо известны. Я все это слышал, но молчал, как будто не меня касается. В этот момент приходит ко мне единоличник Трифоненок Иван и просит разрешения смолотить на бывшем моем гумне воз ячменя, так как гумно Кирея Аниканова, который ему давал молотить, теперь под колхозом. Мое гумно стояло пустое. Я подумал и разрешил. Но мои враги собрались, написали заявление в правление колхоза, что Клименков насадил свой овин колхозным ячменем и повезет на базар. Написали заявление, нарисовали внизу кружок и по кружку подписались,— не узнаешь, чья первая подпись. Но я хорошо знаю, что ни у кого, кроме Кирейки, ни чернил, ни бумаги не было.

6

На место происшествия выехало правление. Правление освидетельствовало дело и признало, что никакой кражи не было. Тогда они пишут новое заявление: вон из колхоза.

Остались в колхозе: я, Чистяков, Семенова, вдова, и еще два хозяйства. А выходцы опять пишут в правление,

что они не вернутся, покамест бригадиром будет личность Клименкова, который всем известен как вор чужого имущества.

И вот только я сел вечером за стол, как слышу — скрипят сани, лошадь, разогнавшись с морозу, храпит под окнами. Выскакивают из саней председатель, полевод и милиционер. Заходят в избу и, много не говоря, начинают производить обыск. Перевернули все кверху дном и нашли только пять фунтов прошлогоднего кужеля и двенадцать фунтов льна, что я получил раньше по трудодням.

Видя, как роется по всем углам милиционер, я вспоминал, что у меня самого брат начальник раймилиции под Москвой, и мне еще больней. Баба моя обомлела, сидит на лавке. «Ищите, ищите, граждане»,— шепчет, а сама смотрит на меня, а может, я и правда на что-нибудь польстился. Но за последние годы жизни она этого и подумать не могла обо мне.

Забрали у меня все, что нашли, и понесли все эти экспонаты на общее собрание. Но общее собрание большинством признало, что этот хлеб не хищеный. Тогда председатель говорит:

— Извиняй нас, товарищ Клименков, что побеспокоили. Теперь видим, что все наговоры напрасные.

А когда шли с собрания, он отстал со мной на дороге, будто бы закуривать вздумал, и опять говорит:

— Я знаю тебя, товарищ Клименков, как хорошего бригадира, и вся отчетность твоя в порядке и вообще ты полностью оправдался. Но скажи,— говорит,— по-товарищески: правда, что ты раньше снопы с поля воровал и вся ваша порода такая?

И я на этот вопрос отвечаю ему: «Правда!» И больше мне говорить не хотелось. Чувствую, что не стало ко мне того доверия. Не могут люди того забыть, что когда-то было, а председатель человек новый в нашей местности, пользуется слухом и, как ответственный хозяин, беспокоится. Это хорошо, я приветствую, что он беспокоится. Он за общественное добро беспокоится, таких людей ценить и любить нужно. И лучше бы он ударил меня, чем мне от него такие слова слышать.

После он стал говорить, что все это ерунда и вором он меня не считает и знает, что Кирейка — сукин сын, но спросил меня потому, что есть такое настроение массы и что будто бы из-за меня люди вышли из колхоза.

— Вот,— говорит,— Трифоненок, может, он ради одной солидности, чтоб на серьезных жителей походить, но говорит то же самое, что Кирейка. Но ты не обращай внимания, работай.

7

И я впредь остаюсь на участке, но уже нет у меня той горячки, нет той охоты. Я всегда любитель встать раньше всех, покурить, подумать, потом одеться, запоясаться и пойти обходом. Идешь по стежке до конюшни: тихо, звезды все счетом, белые от морозу, блестят и на снегу отражаются, воздух чистый и тонкий: былинка сена, потерянная на стежке, слышна по запаху.

Открываю половинку ворот конюшни, тихонько, чтобы не стукнуть задвижкой; мне интересно конюха проверить, чтоб он и не знал. В конюшне у меня,— войдешь с мороза,— тепло охватывает, под ногами сухо, все чин чином. Кони меня знают: войдешь, минутку прислушаются и продолжают свое хрупать. Пролезаю у каждого под брюхом, ищу, не натоптал ли который сена под ногами или запутался: они стоят, и если кому ногу надо переменить, то он осторожненько поднимет копыто и переставит. Это моя проверка конюха.

И вдруг я замечаю, что во время моего обхода конюх не спит, ныряет вслед за мной в конюшню, и не то что он беспокоится за свою исправность, нет, он вроде как меня самого проверяет. Может, я овес у коней выгребаю или хорошую уздечку могу подменить. Тут я прежде всего откровенно должен сказать, что лучше моей уздечки, на которой я привел свою кобылу, во всем колхозе не было и не скоро будет. Но что это вообще может означать, когда вслед за бригадиром поглядывают?

Раз и другой замечаю это. Бабе ничего не говорю, чтоб ей слез не делать. Она по такому поводу вспомнит самые старые свои обиды от людей, как она выходила за меня замуж, а на деревне смеялись, что жених в церкви свечку пальцем погасил и в карман сунул.

На той же неделе, когда был у меня обыск, приезжает на участок проверочная бригада: счетовод и двое колхозников с центральной усадьбы. Начинают мои бумаги просматривать, попросили показать им инвентарный сарай. Веду их в сарай. Январь месяц, а у меня плужки в полном боевом порядке, и над каждым плугом хомут,

осмотренный и пригнанный на коня. Все под номером, под фамилией.

Комиссия побыла и уехала, а я сразу их не спросил, по всем она участкам ездила или специально на мой приезжала. Думаю, думаю и решил по всему, что комиссия специально меня проверяла. Ксюша спрашивает: что это они приезжали? Да вот, говорю, проверка, чтоб масса не беспокоилась. И сам вспоминаю теперь слова председателя, и дальше мне думать некуда. Собираю свои манатки, иду в правление — и все это на стол председателя.

И заявляю:

— Судите меня, но я вам больше не бригадир.

И вижу потому, как не особенно меня удерживали, что еще раньше надо было мне снять с себя должность.

Председатель поахал и говорит:

— Ладно, удовлетворим твою просьбу.

8

И 3 февраля на участках Костельня назначили комсомольца Михальцева Павла. Принял от меня новый бригадир все имущество, семена, бумаги с папкой и счеты. Пошла работа, закипело дело по-новому.

Стали проводить весенне-посевную кампанию, пахать, сеять. Бригадир отдает распоряжение, что где сеять, кому куда на работу идти, словно он в нашей местности родился и вырос. Все знает, все помнит. И я получаю наряды, еду в поле, делаю свое дело. Что мне до того, что посылают, куда не надо, раз он все знает и понимает и ему нечего у меня спросить. Идет работа.

Как попахали и отсеялись, то сосчитали, сколько всего заработали трудодней, и произвели уравниловку. Посеяли все без никакого учета. Никому точно не известно, сколько где посеяно каждой культуры. Трудодни по две недели не записываются. Что записано, а что и нет.

Подаю заявку в правление: так и так обстоит дело. «Проверим, проверим»,— отвечают мне. Но никакого действия нет. Тогда я там выругался в правлении и ушел. А через неделю читаю в стенгазете, что Клименков — кулацкий агент и расхититель колхозного имущества. Но за мной таких фактов не было и нет. И если теперь, при такой славе, за мной глядят все, когда я хоть по своей нужде иду, то я заявляю, что я так жить не согласен.

Если я достоин того, то пусть меня исключат из колхоза, раскулачат в двадцать четыре часа и пусть про это узнают мои братья и откажутся от меня. Если же недостоин я этого, если можно понять, что я забыл то, что было когда-то и не позволю прикоснуться к единой соломинке того имущества, за которое сам боролся, не позволю, уважая себя и имея сознание, то я требую прекратить незаслуженное ко мне отношение.

Я не прошусь в бригадиры обратно, но вижу, что Костельнинский участок без меня домыкали. А когда я замечаю, что, как теперь случается, на гумне кучки зерна ссыпаны в уголке и прикрыты соломой, то я не могу об этом сказать, я сам нахожусь в подозрении. И все на меня смотрят сквозь пальцы. Один Кирейка стремится быть со мной по-хорошему, лезет в разговор, но я его насквозь чувствую, сукина сына, ему плохо спится потому, что в конце концов с меня будет снято подозрение, так как я заявляю всю правду, какая была и есть, и моя правда не может погибнуть!

1933

• ОСТРОВИТЯНЕ

На одном из островов озера Сиротского в Великолуцком районе стоит маленькая деревушка. Старше всех на острове Сидор Петрович Сосунов — ему восемьдесят с чем-то лет. Но и он не помнит, кто первый населил остров. На его памяти уже было два двора. До последних лет было шесть дворов. В прошлом году Павел Карасев перебрался со всей семьей и добром на берег, в колхоз. Осталось пять.

Деревушка так и называется — Остров. Жителей ее зовут островитянами, островными. Так они числятся и в поселенных списках.

Лодка, пригибая редкий тростник, мягко выдвигается на берег. Каемка грязной пены, смешанной с листвой и палочками камыша, отделяет от воды небольшой лужок, какие бывают по загуменьям, около бань, вообще при усадьбах. Десяток кривых коротких валов сиротливо лежат на прокосах. Сюда, от дворов, быстро идет женщина с граблями и начинает ворошить сено.

Здесь, по сложившемуся от годов правилу, никого не впускают на свою землю без того, чтобы кто-нибудь из островных не вышел навстречу. Это делалось в старые годы, когда к острову мог тихо подойти на рыбацкой лодке какой-нибудь чин, и в недавние, когда на острове помаленьку варили самогон, и в годы коллективизации,

когда к берегу острова причаливал, прослышав о нем, какой-нибудь уполномоченный. От всяких посещений островитяне были ограждены только весной, когда ломался лед, и осенью, когда он только затягивал озеро. В эти периоды — не запасись островитяне спичками — они вынуждены были бы сидеть без огня. Всякое сообщение с берегом прекращалось.

Женщина, рассмотрев всех и узнав среди приезжих председсовета, забывает о граблях и сене и бежит впереди к усадьбе.

На склоне — огороды, со сбегающими к самой воде бороздами, гумно, обыкновенное деревенское, только будто поменьше, чем в деревнях на берегу. Около маленькой баньки незарастающая кучка углей, изгородь, осевшая в одном месте, где перелаз, темная полоска конопли, выросшей под крышу двора — низенького и тоже будто поменьше обычных. Улица: с одной стороны три двора, с другой — два. Крылечки, передклети амбаров, завалинки — все как в любой деревне, но улица вся замуравела: население так малочисленно, что не в силах вытоптать траву на своей улице.

За женщиной, встретившей гостей на берегу, уже бегут двое ребятишек, идет одутловатая крепкая старуха, она издали с тоскливым радушием тянет:

— Поглядите, поглядите, как живем. Сидора нашего поглядите. Мы его все женить собираемся — не женишь, черта.

Она сбивается на шутливо-балагурный тон с вольностями, какими часто не стесняются пожилые женщины, скрашивая этой жалкой удалью горечь невеселой жизни.

Придерживаясь за угол избы, выглядывает старик в картузе, надетом беспомощно набок, в белой заношенной рубахе, с ключиком на пояске. Он смотрит и прислушивается с открытым ртом; в одной руке у него какие-то обрывки веревочек. Это Сидор. Заслышав свое имя, он с детской готовностью бросает веревочки и идет к нам. Он живет один, уход за самим собой — единственный его мир забот, хлопот и размышлений. Появление новых людей на улице Острова он связывает непосредственно со своими делами, нуждами и обидами.

— Один и живу. И корову сам дою, и печку топлю. Все сам. Рыбку поймать силенка уже не позволяет: в горшок себе не наловишь, а не то что. А он приехал на че-

тыре дня — только слез мне прибавил. Я говорю: распили ты мне хлевушек на дрова, кто ж мне его распилит? А он побыл-побыл и уехал. И не распилил, не взялся...

— Это, значит, сын, сын его,— поясняет бабка.— В Ленинграде он. Поедем, говорит, со мной, будешь у меня на квартире жить, питаться будешь...

— Ага! — восклицает старик.— А как поехал у нас один, до германской войны еще, тоже к сыну, как поехал, так — приехал, а на другой день и помер. Во как!

И он гордо оглядывает всех: он тоже кой-чего понимает, его не проведешь. Видя, что к его завалинке собирается народ, он старается задержать его внимание на себе и поговорить с председателем сельсовета: налог ему, Сидору Сосунову, никак не уплатить по его положению. Он просит заглянуть к нему в сарай и на гумно. В сарае к одному углу сложено воза полтора сена. Сено не едомое, осоковатое, серого цвета, сложено какими-то клочками, горсточками, точно он не косил, а надергал его руками. Ржи у старика сорок пять снопов, они стоят, тоже к одному углу, на гумне.

— Урожай мой,— спешит усмехнуться хозяин, показывая, что он и сам не может относиться с уважением к такому хлебу. Снопы неровные, много стеблей вырвано с корнями: то ли он жал деревянным серпом, то ли просто теребил свою рожь по одной соломинке.

Пахал Сидор, как и все на острове, сохой. Это — орудие с загнутым и раздвоенным, как рачья клешня, деревянным полозом. Полоз этот так и называется: дерево.

Предсельсовета говорит старику, что он уже внесен в список освобожденных от уплаты налога, он может быть спокоен. Старик благодарит и сокрушенно вспоминает, что у него с самой зимы до последнего почти дня стояла половиночка, но вот подвернулся один человек, пришлось угостить.

— Может, молочка выпьете,— грустно предлагает он.— Досада такая.

У избы Сидора Сосунова все население острова: женщины, старухи, дети. Мужчины, переправив телеги на лодках, лошадей — вплавь, уехали с утра в город с хлебом на пункт. Мужчин нет. Пришла пятидесятилетняя Аленка, глуховатая и полоумная, с неестественно маленьким лицом, обожженным загаром. Она осмотрела всех в лицо синими насмешливыми глазами и прислонилась к

изгороди, сложив руки на груди, и стоит, улыбаясь и покачивая головой. Приковылял с палочкой калека лет тридцати пяти, в новой, видимо только что накинутой вышитой рубахе. Безжизненно тонкие ноги его согнуты в коленях, руки выгнуты обручем,— жуткая схожесть с пляшущим вприсядку. Не вышел только царский печник, дед Осип, занесенный когда-то и как-то с этого острова в Петроград на кладку дворцовых печей.

— У него аттестатов одних вот такая книга,— показывает Сидор на полметра от завалинки.

— Это правда. Хоть сейчас книгу поглядите,— горячо подтверждает бабка. Все наперебой начинают рассказывать о том, как Осип работал в Царском Селе, чем его там кормили и как он один раз, нет — два раза, видел царя. Больше им, пожалуй, нечего и рассказать.

Рассказ об Аленке прост и страшен, как вся та жизнь, о которой мы уже привыкли говорить только как о давно и безвозвратно прошедшей..

— ...И как наступила она ножкой на эту сковороду, так ножка и прикипела. Лежит девчонка и бьется головой об пол, катается. Билась, билась она, ну, и, значит, в головке все у ней перемешалось, а на место уже не становится. Росла, работу всякую понимала, все делала, а слышать почти ничего не слышала. А в девках уже была — пошутил один: возьму замуж. Она за ним и давай ходить. Ткет, прядет, приданое готовит, а себя, дурочка, лучше нас, умных, бережет — к себе его не подпускает. А он-то уехал потом. Уехал и уехал. Ждет девка. Рубахи шьет, по хозяйству справляется. Года три ждала.

— Три! Годов семь ждала,— поправляет другая старуха.

Все островные слушают эту историю строго и внимательно, готовые исправить малейшую неточность.

— Ходит он по этой вот улице, разодетый, в брюках, в штиблетах. А она все вслед, вслед. Не может он ее прогнать от себя. А куда она ему, дура? Он же красивый, ладный такой был,— за ним не такие бегали...

Кто-то не выдерживает и выкрикивает конец:

— Отлупцевал хворостиной, тогда только отвязалась.

Бабка продолжает обстоятельно и подробно, точно и не было этой вставки.

— Ходит она за ним, ходит. Он к озеру — и она туда. Он, простите за выражение, в сарай — и она к нему. Я, говорит, ждала тебя, себя сохраняла, а теперь мне ждать

уже, значит, невозможно больше... И сама плачет, плачет — жалко даже, как убивается. Ну, тогда как же ему отучить ее от себя? Возьми-ка ты, говорит батька его, лозину хорошую да подними Аленке этой сарафан на голову и бей, пока кричать не перестанет...

Аленка слушает, изредка кивая головкой, она распознает по взглядам, бросаемым на нее, внимание к себе, но неизвестно, за что она принимает рассказ старухи. Она довольна своим обманчивым участием в беседе, слушает, улыбается.

Весь этот рассказ,— не только о девушке со сказочным русским именем, и о Сидоре, и о печнике, обо всем острове,— это рассказ о чем-то давнем, диком и ужасающем. Остров с его жителями, дворами, садиками — весь как на блюде. Это делает жизнь его обитателей открытой во всем ее убожестве, тоске и безвыходности, точно оставленной для показа.

Женщина с двумя детьми, невестка царского печника, говорит с притворной удалью и неутаенной жалостью к себе:

— Заимела я в девках одного мальца, лучше бы и другого заиметь, чем эта жизнь. Да если б мне харч настоящий, ты б меня в эту дверь не ввел — вот какая бы я была. А тут сама сохнешь и детей моришь, и чего ждешь?

— А до того горько, милые, что другой раз глядишь-глядишь на волну на озере, и слезы ползут.— Бабка отворачивается, как-то сразу стихнув.

Сидор Петрович сидит и часто-часто сморкается под ноги себе, говорит, наклонив голову к каменьям:

— А он приехал на четыре денька,— горя привез...

— Павлюк бросил нас,— продолжает бабка,— перешел на берег, живет с людьми, ему и жизнь людская...

— А чего же вы ждете? — приступает к ней председельсовета.

— Товарищ Зиновьев,— с упреком прерывает его женщина, ласково отстраняя беловолосую головку мальчугана лет семи.— Ну словно мы такие совсем дикие люди, что ничего не знаем, не сочувствуем. Да я иду на этой неделе мимо вашей пшеницы, а пшеница-то высокая да могучая такая, и конца-краю ей нет. Ну, режьте меня, сердце заболело, хочется жать. Пшеницу эту жать хочу.

— Пшеничка добрая,— вздыхает бабка, вытершись и снова приободрившись.

В этих словах, сказанных со всей искренностью, с почтительной завистью хлеборобов,— сознание большой, может быть, еще самим не до конца ясной вины и ошибки...

Островитяне были уже в колхозе. В тридцать первом году. Они ссыпали сколько могли семян, посеяли; раньше, чем другие просыпались на берегу, они уже приплывали в своих долбленых душегубках, работали хорошо. И когда уродился хлеб, они предложили разделить его на корню. Они слышали, что это не разрешается, но ждали и работали с затаенной уверенностью, что только это так говорится, что нельзя, а ведь все в колхозе так же, как и они, островитяне, хотят небось делить на корню. Зиновьев решительно заявил, что это не удастся. Тогда они вышли из колхоза, перевезли на остров свой инвентарь, все, что им возвратили. Стали жить по-старому, но как-то не было уже того, хотя бы нищенского, спокойствия.

Три года они жили на своем острове, оставив на берегу Павла Карасева. Они старались не думать о колхозе, как не думали раньше о деревнях, стоявших на берегу. Но теперь они знали обо всем, что там делается изо дня в день. Знали, сколько там сеяли, сколько получили по трудодням, кто там что купил себе, в чем там ходят, что там едят. Они видели вдали за краем воды, подернутой мелкой рябью, колхозные хлеба, стадо, бригады в поле. Видели, как выезжает на ловлю рыбацкая бригада; видели, как в ее полукилометровые сети попадает настоящая рыба, какой уже и старики не запомнят. А в островные сиротские мережи, как нарочно, забиралась мелкая рыбешка — «козы» — признак, что в этом месте ничего не поймаешь. Они убеждались с невысказываемой горечью, что даже этот не паханный, не сеянный от веков «хлеб» колхозникам дается лучше, чем им, островитянам.

А когда они взбирались на свои дворы — подпереть трубу или починить снопиком соломы крышу, они подолгу смотрели на новые постройки на колхозной усадьбе, на невиданное сооружение, которое строилось, вырастало, круглое, как ствол гигантского дерева, и знали его название: башня. И, не желая думать обо всем этом, думали и говорили больше всего о нем. И жизнь, какою жили десятки, может быть, сотни лет на острове, и сам остров стали постылыми для них, точно жили они здесь по принуждению...

— А то увидишь, везут вечером детей с площадок. Сидят, как горлачики, на подводе, поют песни, да так ладно поют. Все чистенькие, сытенькие, здоровенькие.

— А мои вот растут...— замечает невестка печника.

— В чем же дело? Надо уж подаваться.

— Нет уж, не могли мы раньше, а теперь что уже. Семена, товарищ Зиновьев, не можем мы представить. На семена нам не сбиться.

Зиновьев торжественно сообщает им то, с чем он, главным образом, и приехал сегодня к ним.

— Нынче семена найдутся в колхозе. Только чтобы это последний раз у меня.

Женщины настороженно посматривают на нас: не для приезжих ли людей только говорит Зиновьев?

— Серьезно говорю. Так и мужчинам передайте.

— Спасибочко вам, товарищ Зиновьев,— растроганно и с достоинством говорит бабка.— Дай вам здоровья...

Сидор Петрович беспокойно оглядывается, чмокает с сожалением губами:

— А может, хоть молочка выпьете?

Островитяне провожали гостей за свою околицу. Женщины, дети, калека, Сидор Петрович — все они, повиснув на изгороди, долго смотрели вслед отчалившей лодке. Лодка шла ровно, покачиваясь под низкими, пересекшими озеро лучами вечернего августовского солнца.

1934

● БЫВШАЯ ДЕРЕВНЯ БОРОК

Я знал одного крестьянина, который много лет мечтал иметь озеро, маленькое озерцо на своей усадьбе. Он любил свою землю и хотел украсить ее. За два лета он вырыл в лощинке широкую кольцеобразную канаву. В середине кольца образовался курган. И думалось хозяину, что это остров, на котором будут расти трава и деревья.

Соседи, жена, дети видели, что получилось не то, о чем человек мечтал, но молчали, боясь огорчить или обозлить его.

Остров вышел больше озера. На глине, нарытой из глубинных слоев, деревца не принимались; любовно привязанные к колышкам, они усыхали; с весны до глубокой осени на них висела желтая, неотболевшая листва. А самое главное — в озере не держалась вода.

После коротких летних дождей около этой странной, обидно прославившейся на всю округу ко́пани можно было видеть человека с лопатой, заводившего дождевую воду по канавам в свое озеро. Воды было мало: густая от глины, она неохотно ползла в яму, и человек иногда бросал лопату и яростно гнал мелкие лужицы метлой. Озеро не наполнялось. Мечта и огромный любовный труд человека обратились жесткими шутками соседей,— будто он заставляет всю семью мочиться в озеро, чтобы оно было глубже...

Я знал его в детстве. Сейчас речь не о нем.

От колхоза бывшей деревни Борок пятьдесят верст до Великих Лук — ближайшего городского центра, до железной дороги — столько же. Озера, камни, песок, сосновые леса. Земля скудная, занятая холмами, болотцами. Издавна здесь налегали больше на рыбу, на всякие промысла, чем на землю. Много было отходников. По всей бывшей Сиротской волости мало чего заметно, что говорило бы о любви, о привязанности людей к земле,— редки сады, редки хорошие постройки. Как везде, жили и умирали многие поколения, почти совсем не изменяя вида местности, не оставляя по себе никаких следов. Землю глубже пахотной борозды не рыли, камни объезжали и плугом и бороной, ходили и ездили по дорогам, которые лежали и вились, как хотели. Строили избы, какие строились полтысячи лет назад, едва научившись в прошлом столетии топить печку с трубой. Старики еще помнят черные избы. Только перед крыльцом волостного правления в этой глуши стоял на высоком постаменте памятник «царю-освободителю».

В годы революции царский бюст сбили, а у постамента похоронили в деревянной оградке местного героя, убитого в стычке с бандитами и дезертирами. Памятник этот — единственное в округе выдающееся архитектурное сооружение за все время, за сотни лет, с тех пор как здесь поселились люди...

В колхозе за один год силами сорока четырех семейств воздвигнуто около десяти новых строений. Каждое из них такое, каких никогда раньше не строили местные мастера. Построены две риги под одну связь, с замощенным досками, как в избе, током. В ригах просушивается сразу свыше тысячи снопов крупной вязки; молотилка стоит на сверкающем чистотой деревянном току, с зерном здесь обращаются, как с хлебом на столе. В двух шагах — колодец, специально вырытый для противопожарных надобностей. Здесь же, около риг, навес для снопов, под которым складывается непрерывно подвозимый и непрерывно обмолачиваемый хлеб колхоза. Построены хлебный склад, конюшня, инвентарный сарай, кузница, помещения для детских яслей, правления, школы. Все постройки покрыты деревом — щепой и дранью.

Все это еще не обстоялось, не обветрилось, как говорится. Но и сейчас уже во всем чувствуется глубоко

сознательная работа и радение о завершенности и красоте. Вокруг только что поставленных построек — ни одной щепки, все прибрано, новые колодцы (их три на усадьбе) — с крышками; вместо плетней и изгородей — опрятные из деревянных планок оградки. Строится новый мост через речушку, перед усадьбой, по нему выпрямлена дорога, пролегающая через поля колхоза. Болотца, лощинки изрезаны канавами; их проведено за один год свыше трех тысяч метров. Это с особенной убедительностью говорит о том, что люди уже связывают себя с колхозом не только для того, чтобы получить от него нынче хлеба и картошки, но и на всю жизнь, свою и своих детей. Они любят свою землю, и улучшают, и украшают ее по своему замыслу.

Предколхоза Латышев конфузится, когда мы обращаем внимание на несколько молодых березок, посаженных за белой оградкой.

— Это так... Мы посадкой еще не занимались. Вот осенью закупаем яблони, разбиваем серьезный сад...

Я рассказываю ему о том, что в Америке предпочитают сажать взрослые деревья, чтобы меньше ждать урожая. Это труднее, но эффект несравненный.

— Да, да,— говорит он,— мы ведь садим покамест так, как старики сажали. Они темпов не признавали: воткнет прутик и ждет дерева лет пятьдесят. Пословица говорила: «Легче сынка дождаться, чем дубка».

Он показывает нам часы на дворе, по которым сторож отбивает время. Обыкновенные трехрублевые ходики с трогательной тщательностью вделаны колхозным мастером в футляр. Футляр новенький, свежеструганый, как все на этой усадьбе. Латышев показывает внутренний замок в двери амбара, сконструированный и пригнанный своим кузнецом.

Плотник соседнего колхоза, работавший на постройке силосной башни, жаловался мне, что мало придется заработать: взялись за двести с чем-то трудодней, а дело новое,— техник показал, нарисовал и уехал. Работа шла медленно. Двойная обшивка гигантской бочки требовала невиданной в крестьянском плотничестве точности и тщательности. Больше можно было заработать на любой полевой работе. Но когда работа подошла к концу, этот плотник затратил еще немало труда, чтобы вырезать и прибить на самых высоких венцах сооружения, видного

со всех дорог окрестности, огромные окрашенные буквы: «Башня колхоза им. Третьего Интернационала. Строили: И. Волков, К. Волков, Г. Бодров, И. Евсеев. 1934 г.».

Один начальник политотдела говорил: «Качество председателя колхоза как хозяина, руководителя я лично определяю, между прочим, тем, как, на сколько далеко вперед он думает и мечтает о своем колхозе. Если он не рисует себе картины, каким будет его колхоз, например, через пять, десять лет, это — не председатель, а только полпредседателя...»

Николай Семенович Латышев, председатель колхоза, весь поглощен планами, замыслами, которые и его самого, и всех колхозников, бывших его односельчан, держат в радостном творческом возбуждении, при котором мила всякая работа на пользу колхоза. Одним из первых колхоз закончил сев, убрал и обмолотил хлеб, рассчитался с государством. В этом никого здесь не нужно агитировать, это уже стало делом их хозяйской чести, хорошей традицией.

Николай Семенович знает, что нынче и так уже в колхозе много понастроено, затрачены большие средства, но у него есть что обдумать на будущий и другие годы. Он припоминает и отбирает мысленно сорта яблонь, которые будут посажены осенью и весной на усадьбе. Баню он сможет построить только через год, через два, но он уже имеет план-чертеж культурной колхозной бани.

— Вода будет нагреваться трубой в бочке, но бочка будет стоять так, что ее не увидишь. А у меня уже запасены трубы. Вода по трубам будет проведена в умывальные, горячая и холодная. Краны — горячий и холодный. Пусть деды приучаются получать воду из кранов.

Люди, живя на земле, всегда мечтали об ее украшении, о радостной жизни на ней. Но это стало возможным в огромных масштабах, для многомиллионной массы людей, только теперь. Они любят и украшают свою землю, землю своей родины.

Вы идете полем колхоза и замечаете одинаковые в полметра высоты столбики. На отесанных сторонах столбиков — надписи; это — номера и указания площади полевых участков, обмеренных раз и надолго. Бригадир, принимая работу, не бегает всякий раз со своим треугольником, не обмеряет заново. Он идет от столбика к

столбику, как табельщик на предприятии списывает выработку с досок у каждого станка. В иных случаях бригадир пользуется треугольником, например для обмера недопаханной полоски земли на участке, чтобы произвести вычисление.

Вы идете улицей колхоза, смотрите на новые здания, крылечки, палисадники. Вы идете вечером к школе, где на небольшой площадке играет и танцует хорошо одетая молодежь, где устроено нечто вроде киоска, в котором продаются яблоки, ягоды, вы слушаете музыку.

— Нет,— говорите вы,— нет, это уже не деревня!..

1934

● ПУСТЬ ИГНАТ БЕЛЫЙ СКАЖЕТ

Ему под семьдесят лет. Высокий, большерукий, по-рабочему подпоясанный поверх короткого пиджака. Только плечи заметно свело, округлило сутулостью и в рыжем, не часто бритом волосе бороды — синеватая седина.

Старость таким людям не придает почтенно-медлительного, стариковски осанистого вида. Не для такой старости складывалась вся жизнь этого человека — от пастушеских лет до нелегкой и неспокойной должности колхозного сторожа.

Смолоду он батрачил, поденничал, вертелся на нищенском наделе гибнущей от малоземелья деревни. Он был терпелив и работящ, как хороший конь, и считал, что какая ни нужда, но люди больше от баловства, чем от нужды, уезжают на Юзовку, на заводы, в города, в Сибирь, а другие даже в Америку.

И сам он поехал на шахты, только когда женился и пошли дети.

Он вник в шахтерскую работу невозмутимо и ровно, как вникал в любую работу. Не курил, не пил, редко покупал что-нибудь к хлебу, аккуратно посылая на родину деньги, где семья жила, как на квартире, и перебивалась его заработком. Потом, уволенный за участие в маленькой безвестной стачке, приехал домой. И точно не бывал нигде, не посылал денег: нужда без выхода и тягостное

голодное безделье хозяина и семьянина, которому никакая работа не страшна, но горько же и стыдно соседей от своего двора идти в батраки.

А те, что первыми ездили в Америку, возвращались с большими деньгами, с карманными часами. Они вставляли своим бабам золотые зубы и вешали в избах карточки, где были сняты в жилетках и шляпах.

Игнат продал что мог на проезд от станции Новозыбково до американского города Питтсбурга и поехал с шестью односельчанами. Это была первая такая партия — до того ездили лишь редкие одиночки,— и ее все Бобовичи с воем, как на войну, провожали далеко-далеко, за деревенское кладбище.

Об Америке Игнат знал только, что там — ночь, когда у нас день, и наоборот, но вообще мало удивлялся, тем более что этой разницы, живя в самой Америке, не замечал. Он скоро привык на новой работе и стал понимать относящиеся к ней слова чужого языка. Проработав с год у мартеновской печи, он ожег ногу, и ему сказали, что в Америке ее не залечить — очень жаркий климат. И он повез свою ногу через океан, оберегая ее, уродливо забинтованную, в давке и толчее трехнедельного пути. От билета и расходов в пути у него осталось около ста рублей.

Во второй раз он прожил в том же предместье Питтсбурга полтора года и привез больше денег.

В третий раз он прожил три года, работая ежедневно десять — двенадцать часов, а в праздники только до обеда. Он вставал в один и тот же час, уступая теплую постель приходящему со смены, отрабатывал свое время, умывался, обедал, переодевался, шел гулять и опять ложился в нагретую постель. За три года у него было два дня прогула: один день, когда он ездил в другой город хоронить брата, а второй он прогулял на Пасху с подъехавшими земляками. Этот день Пасхи стоил ему увольнения на две недели. И, прожив так три года, тратясь только на еду и койку, он вернулся на родину с невиданной суммой: свыше тысячи рублей.

Что же он приобрел за эти деньги, заработанные в последние, на повороте к старости, годы своей жизни?

Купил двор...

Он купил двор. Долгие годы в чужих краях, совершенно другая жизнь, города, люди, виденное и слышан-

ное — ничто не вытеснило в нем одной скрытой и терпеливой мечты... Он купил двор, коня, телегу, весь посуд,— он стал хозяином, но прикупить земли — не хватило американских заработков. И он зажил, как все те, что до него и после него, продав последнее на дорогу, уезжали от жен и детей на несколько лет, возвращались в форсистой одежде, с деньгами и подарками, покупали дворы, быстро убивали в хозяйстве многолетние сбережения и жили так же, как до Америки. И оставались только карточки на стенах, да ребятишки, пастушествуя ради куска, донашивали потерявшие фасонистый вид шляпы с отогнувшимися полями.

* * *

Знаменитый в округе Коньков не ездил в Америку. В условиях местного исключительного малоземелья он имел изрядный кусок лучшей земли. И свою землю он издавна стал обводить глубокой канавой по всем границам. Случалось, что коровенка такого жителя, как Игнат Белый, переступала передними ногами на территорию Конькова. Он не брал за потраву деньгами, он вел хозяина на канаву, отмеривал саженью норму,— выкопай, тогда уводи корову. Он считал свою землю своею не только в ширину и длину, но и в глубину.

И когда Советская власть стала нарезать землю таким, как Игнат Белый, когда сам Белый, председатель комбеда, вершил новую власть в Бобовичах, Коньковы и все местные кулаки за каждый отрезанный у них вершок земли платили короткой и безошибочной местью.

В первый раз они сожгли Белому рожь в копнах. Во второй раз, когда он сбился на гумно и перевез в него хлеб, сожгли гумно с хлебом. Они мешали исполниться тому, о чем он мечтал упорно и терпеливо, мешали ему пожить хоть под старость настоящим, самостоятельным двором, со своим гумном, со своим хлебом, которого хватало бы до нови.

И когда его поджигали, избивали, когда ему вывернули из плеча руку, он знал, кто и за что с ним расправляется.

Его, малограмотного старика, беднота выдвигала на общественные должности, потому что он был ихний, вместе с ними запахавший помещичью и кулацкую землю, сам в первую очередь рисковавший своим двором, урожаем и даже жизнью.

Он работал председателем сельсовета и во всех делах: земельных, луговых, лесных и налоговых, соблюдая в защиту своих избирателей советские законы, все более разжигал ненависть кулаков против себя лично.

Он был в числе первых организаторов колхоза в Бобовичах, и в 1929 году сожгли его двор, тот самый двор, поставленный по возвращении из Америки.

Он был передовым в числе поднявших руку за исключение из колхоза кулаков, притулившихся там после ликвидации самых главарей: Коньковых, Римских, Шупиновых. И еще в тридцать третьем году у Белого в ночь, когда он стоял на посту у общественного амбара, увели со двора корову.

Дорого стоит Игнату Белому его сегодняшняя колхозная жизнь.

* * *

Он сидит у шорника в коротком, по-рабочему подпоясанном пиджаке. Сюда зашли погреться и покурить конюх, малорослый высоколобый парень в шапке с ушами, старик, пасший летом колхозных овец и недовольный расчетом, кладовщик, двое-трое постоянных курильщиков.

Старик пастух не желает получать по десяти фунтов за овцу. Лето было дождливое, он гноил свой армяк, мок сам, он и пятнадцати фунтов не возьмет. Овцы плохо пасутся, опять же за ними нужно было доглядывать в загоне, чтобы вор не залез, вообще он не хочет «фунтов», он требует трудодней.

Шорник, прилаживая под седёлку войлок, усмехается:

— Плата хорошая — десять фунтов. А трудодни — кто их знает...

Старик начинает сначала про дожди, про армяк и беспокойство.

— Он иначе как на трудодни не соглашался,— объясняет конюх,— потому, что в прошлом году трудодень был три фунта. А нынче выходит трудодень — пять килограмм.

— Это мы не знаем,— недовольно обрывает его шорник,— пять, а может, два...— У шорника есть овцы, и он знает разницу между десятью фунтами и четырьмя трудоднями, которых старик добивается. Но он высказывается в тоне общего сомнения относительно колхозного дохода. Он продевает на ощупь, вслед за шилом, кончик

узенького ремешка, беспокойно оправляя и приглаживая войлок. И Белый смотрит из-под косо обвиснувших век на его шитье, смотрит с недоверчивым, чуть насмешливым вниманием. Он всегда так смотрит.

— По четыре трудодня вряд ли тебе сбросят,— говорит он старику.— Четыре трудодня, это ты хорошо сосчитал, это дороже овцы будет. Мы лучше отдадим тебе тех овец за работу...— Пастух обиженно отворачивается.

— Это ты хорошо сосчитал, дед,— повторяет за Белым конюх. Смеется он самоуверенно и добродушно. Почему ему не смеяться, этому парню? Хлеба он получил достаточно, и зимой ему трудодни идут. Он молод, но глава семьи, и от приятного сознания самостоятельности ему даже хочется пожаловаться, покряхтеть.

— Я не говорю,— хлеб есть. А корову менять надо... А сменяешь корову, гляди, чтоб до нови самому хлеба хватило.

Белый смотрит на него, не перебивая. Он может сказать: «А почему ты в прошлом году не думал менять корову? Почему ты не замечал раньше, что корова плохая?» Но парень сам все знает прекрасно, он только хочет, чтобы с ним поспорили, чтобы ему поговорить о своих делах и планах.

Пастух тихо, точно сам с собою, начинает снова свою историю с овцами и трудоднями. Он уверен в своей наивной хитрости, делая вид, что не понимает, почему не хотят уступить ему. Но он уже больше напирает не на свои законные права, а на старость, на свою заботу об овцах колхозников. Не будь Белого, он бы рассказал что-нибудь, вспомянул бы прежнюю жизнь, махнул бы рукой: «Э!.. Что теперь...» Но Белый ему ровесник, Белый знает эту прежнюю жизнь.

* * *

Белый занимает в колхозе особое положение. Он знает почти всех, на его глазах прошли десятки лет жизни этих людей, он несет в себе полувековой опыт, их мечты и разочарования, историю каждого двора и хозяина. А его личное отношение к колхозу крепко определилось тем, что его никто не агитировал вступать, — он сам агитировал, он сам вел в колхоз, и тем самым брал на себя ответственность перед другими.

И вот он видит своих односельчан, соседей и родственников, живущих так, как они не могли жить до колхоза.

Он видит, что все они, кто вместе с ним ездил на заработки, все, кто полжизни проводил на стороне, ради того, чтобы здесь, в Бобовичах, кое-как кормилась семья, — все они дома, всем хватает места в колхозе «Решительный». В нынешнем году они получают по четыре с лишним килограмма на трудодень. Он знает, сколько у кого трудодней и сколько хлеба. И никто не хочет уезжать в Америку. Изъездивший все места, самый неусидчивый и нетерпеливый человек — Тимофей Белый, младший брат Игната, — и тот не хочет уезжать. «Разве только, говорит, на Украину, где по семнадцать килограмм приходится...»

Люди приобретают лишнюю скотину, одеваются поприличней, покупают швейные машины дочерям и женам, строят новые избы, а в старых стремятся, сколько можно, навести чистоту.

Колхозные собрания сами собою заканчиваются вечеринкой. Самодельный оркестр: бубен, гармошка и скрипка, — гремит в новом, еще не отделанном клубе, построенном из хором Конькова. И пляшут ударницы, не одни молодые, пляшут и пожилые, пляшут потому, что пляшется, потому, что есть с чего плясать.

И молчаливо примечает Игнат: этим людям уже не требуется доказывать пользу колхоза. Они могут осуждать то, что им не нравится, но при этом всерьез уже не вспоминают и не противопоставляют свое прежнее житье колхозу. Они могут быть недовольны, пожаловаться могут, но это потому, что уже научились хотеть лучшего и стремятся к лучшему.

И Белый чувствует, что вместе с тем, как люди узнают новую жизнь, вырастает их уважение и доверие к нему, старику.

И, точно испытывая силу этого доверия, председатель колхоза, коммунист Лонченко, иной раз в разгар собрания обрывает беспорядочный спор коротким окончательным доводом:

— Пусть Игнат Белый скажет.

1934

● СОФЬЯ ЛОБАСОВА

Стоит рассказать об этом памятном дне.

В Васильевском созывался кустовой слет льнотрепальщиц. Женщины звена Лобасовой не стали ожидать подводы,— пошли, захватив каждая свою трепашку.

— Ты нас догонишь, тетя Соня, подвезешь...

Софья Мефодьевна пошла к сарайщику Гавриле Лобасову, попросила коня.

— Куда это тебе коня?

— В Васильевское.

— Дойдешь...

— Я дойду — не безногая...

Спорить и добиваться ей не хотелось: дорога не дальняя. Но председатель говорил, что нужно поехать на лошади. Люди там будут не в зале сидеть, а трепать лен под навесом, устанут,— плестись домой пешком им выйдет накладно. «Правда, зачем мои девки ходить пешком будут?» — решила она и попросила настойчивее.

— А ты запрягай,— ехать время.

— Запрягай сама! — огрызнулся он. Ему было досадно, что он все-таки не может отказать ей, но, зная, куражился и грубил: — Запрягай сама! Барыня...

— Ладно, ты мне только колеса подмажь.

Она торопилась, волновалась за себя и подруг. Время шло. Гаврила нарочно медлил, собирался точно в извоз

и по пути к сараю ворчал будто про себя, но так, чтобы она слышала:

— Вперед всех тебе надо. Всех обскакать...

Он выбрал ей самый худой хомут, рваные разлохмаченные вожжи и кинул на бревенчатый настил сарая.

— Нет, я не возьму этой сбруи. Это — ездить на погорелое собирать, а не на слет явиться.

Она сама выбрала хомут получше, новые вожжи и стала запрягать.

— Подмажь только колеса, ничего больше не прошу.

Он подмазал задок, а передок не стал мазать. Все, что нужно было сделать как следует, он делал так, чтобы только не дать ей права обвинять его в полном отказе. Он кой-чего понимал, этот Гаврила.

Как только она выехала за околицу и подогнала коня, передние колеса завизжали — ось была совсем сухая, и ехать можно только шагом. Тут же она заметила, что в спешке плохо подтянула чересседельник, и вся сбруя лежит на коне как-то неловко. Покамест доехала до второй бригады, несколько раз слезала с телеги, поправляла шлею, перевязывала повод. Колеса пронзительно заливались на все голоса. Скрепя сердце сидела она на телеге, видя, что своих она не догонит уже, а то и совсем опоздает при такой езде.

Горечь и обида, беспокойство и раздражение — все разом поднималось, горело, росло в груди, душило подступающими слезами. Ее унизили, навредили ей, и она очень хорошо понимала, за что и от кого она терпит.

Она была ненавистна тем людям, которые знали ее незаметной, вековой поденщицей, молчаливой и тихой Сонькой Лобасовой. Ей не положено было чем-либо заявлять о себе, «подавать голос»... Не положено было называться Софьей Мефодьевной,— так называть ее стали совсем недавно, и родное, законное имя для нее самой звучит еще непривычно. Гаврила Лобасов, которому она ничего обидного не сказала, не напомнила, что он бывший твердозаданец, он скорей повесится, чем назовет ее Софьей Мефодьевной. И она понимала, почему он так смело измывался над ней. Потому что он знает: она не станет поднимать истории, как всегда смолчит, стерпит.

Сколько она вынесла от людей, привыкших считать, что она смолчит и стерпит!

Ее уменье и слава мастерицы озлобляли их. Она знала все, что говорят о ней, говорят не в голос, не на собра-

нии, но как раз так говорят, как говорил сарайщик Лобасов — с осторожной невнятностью, будто про себя, но чтобы ей-то слышно было:

— Тебе больше всех надо... Ты все трудодни хочешь забрать. Ты всех обскакать хочешь. За ручки тебя взять да из овина вывести.

Теперь Софья Мефодьевна с болью представила себе, какая радость будет для этих людей рассказывать для смеху, как ехала она на скрипучей телеге, как конь распрягался, как она опоздала и опозорилась...

Во второй бригаде ей перезапрягли лошадь, подмазали колеса. Она успокоилась немного и поехала быстрее, надеясь еще догнать подруг. Ей очень не хотелось явиться одной, обратить на себя внимание. Она догадывалась, какое значение имеет ее участие на слете. О ней уже говорили, писали в газетах как о лучшей льнотрепальщице-стахановке. Чего доброго, еще не начнут без нее, будут поджидать. Так бы хорошо приехать вместе со своими — с Надеждой Лобасовой, Серафимой Струмяновой, со всем звеном! Одна, без них она даже в своем мастерстве не была так уверена.

Подгоняя лошадь, Софья Мефодьевна вся внутренне готовилась к тому, что предстояло делать сегодня. Поискав рукой возле себя в телеге, она вдруг не нащупала трепашки. Переворошила сено под сиденьем, осмотрела все — трепашки не было, выпала где-то по дороге.

Искать было бесполезно, возвращаться поздно. Она не знала, что и делать. Ехать без своей трепашки означало для нее полную неудачу. Не ехать было невозможно. Потерю трепашки могли понять как нехитрый предлог, чтобы уклониться от участия в пробной, показательной работе.

Туда съедутся много женщин, перед которыми она, Софья Лобасова, на районном слете, впервые в жизни выступая с трибуны, заявила, что можно натрепывать свыше двадцати килограммов волокна, что вот она, Лобасова, берется выработать двадцать два килограмма.

«Ага, хвастаться только»,— скажут они, и все поймут, что Лобасова только хвасталась, выскочить хотела, «обскакать всех»...

Нет, лучше она будет голой ладонью трепать, чем позволит кому-нибудь так говорить о себе. В том, что касалось ее работы, эта маленькая и сухонькая, как пчелка,

терпеливая, молчаливая и уступчивая женщина ни терпеть, ни молчать, ни уступать не хотела.

...Ей дали чью-то трепашку, и она с минуту растерянно, грустно и насмешливо рассматривала ее, поваживала в руке, вертела. С ее точки зрения это было полено, полено, которое «не подходило к руке», которое могло только «натрудить» руку, натереть мозоли по ореху и кое-как натрепать за десятичасовой рабочий день пять-шесть килограммов волокна. Если бы даже эта трепашка была поменьше, поаккуратней, если бы даже рукоять была не круглая, а плосковатая, не ворочающаяся в руке,— словом, если бы она даже походила по форме на трепашку Софьи Мефодьевны, все равно это еще не была бы ее трепашка. Это деревянное, мечеобразное орудие становится своим только после того, как им поработаешь, когда на гладком, как кость, дереве, на тех местах, куда падают удары льняной горсти, обозначатся выемки. Так «стачиваются» хорошие удачные косы,— стальное полотно местами делается шириной едва в палец.

У Софьи Мефодьевны трепашка начинает «жить» именно с того времени, когда выемки чуть наметятся, и до того, как они сделаются слишком глубокими, образуя как бы «талию» трепашки. Тонкое чутье мастерицы отмечает ту совсем незначительную потерю в весе орудия, которая возрастает с углублением выемок. Но дело не в одной потере веса. Трепашка «срабатывается» на самом рабочем месте, ближе к рукояти. Отсюда — какое-то отклонение в необходимом равновесии, устанавливаемом опять-таки чутьем. Чутье это с удивительной точностью угадывает ту степень «сработанности», когда нарушающееся равновесие приходится поддерживать уже лишним усилием руки,— правая рука начинает больше уставать.

Лобасова меняет две трепашки в сезон. Работает она ни много ни мало — двадцать лет, двадцать сезонов...

Попросить другую трепашку Софья Мефодьевна не решилась, да уже и некогда было. Делегатки слета стояли наготове, треста была на месте. Директор МТС Смирнов, хороший, внимательный человек, тревожно и ободряюще заглянул в глаза Лобасовой:

— Ну как, Софья Мефодьевна?..

— Ничего,— кажется, сказала она, а может, только улыбнулась. Дали знак начинать работу. Вспыхнуло

первое облачко костры и пыли, замелькали крест-накрест трепашки и горсти тресты.

Как ни пугало то, что это — работа вроде экзамена, что тут стоят люди с часами и что работаешь не одна,— в самой работе Софья Мефодьевна почувствовала себя лучше. Она слышала, видела и чувствовала бок о бок с собой, как неестественно-торопливо начали работать женщины, надеясь на свою силу, и внутренне усмехнулась и пожалела их. Сама же она начала ровно, почти так же ровно и сдержанно, как начинала в овине своей бригады. Она сразу же поймала привычный лад и напряглась больше, чем обычно, только потому, что чужая трепашка не была так послушна и легка, как своя, да еще немного от волнения, с которым она приехала сюда.

Ласково-насмешливое отношение ко многим, работавшим рядом с ней, не покидало ее. Она успевала заметить, как какая-нибудь бабенка изо всех сил рубит трепашкой, махает, махает: правая рука у нее, вероятно, уже занемела, а левая, сжимающая горсть тресты, почти не движется. «Ох, это не работа,— сокрушенно и осуждающе думает Софья Мефодьевна,— не работа!»

Неужели только она, Лобасова, одна знает, что движения правой и левой руки нужно «слаживать» так, чтобы левая не просто держала горсть, а работала бы не меньше правой. Даже больше: горстью-то легче махать, чем трепашкой? Нет, не все так работают, как та бабенка. Те, у которых кучки отрепанного волокна растут побыстрей, работают с толком. И эти женщины молчаливо узнают мастериц друг в друге и выделяют себя от других. Они только теперь, расходясь в работе, постепенно начинают учащенней махать трепашками, только теперь раскраснелись, разгорелись чуть-чуть. А остальные уже заметно начинают уставать. Вот одна, в порыве наигранной удали, срывает с себя платок и отбрасывает его в сторону, не дав себе передохнуть даже на эту минуту.

А трепашка все-таки настоящее полено. Рука двигается правильно, но где-то у плеча уже начинает неприятно ломить. Это ощущение незнакомо мастерице, но она много знает о нем со слов других.

«Как она ею работает? — думает Софья Мефодьевна о женщине, чья трепашка досталась ей: — Как она работает, бедная?..»

Под одним из пальцев рукоять теплеет. Потом это местечко начинает гореть, навертывается мозоль.

А тут попадается несколько горстей подряд совершенно сырой тресты. Под ударами трепашки треста только мнется, сбивается, как нечесаные волосы,— хоть заплачь. Но, вглядываясь исподволь, Лобасова замечает, что у всех натрепанного меньше, чем у нее. Она впереди. И свою радость, свою победу, правду свою она уже узнает в улыбках всех, кто смотрит на нее, в том, как тепло и благодарно остановил ее директор:

— Хватит, Сонь...

И ее уже поздравляли, обступали с расспросами, наивными и беспомощными:

— Ну, как это ты можешь? В чем твой секрет? В чем метод?

— В ловости,— скромно и просто отвечала она, сообщая этому слову пропуском твердого звука особенную мягкую выразительность: — В ловости...

* * *

А трепашку Софьи Мефодьевны подобрали женщины из второй бригады. Шуткой ли, всерьез ли, но они долго не хотели ее отдать, так как она, по мнению некоторых, была «со словом», то есть заговоренная. Говорят, за трепашкой специально ходил сам председатель колхоза Кирилл Устинович...

1936

● АНАСТАСИЯ ЕРМАКОВА

На коленях у женщины, сидевшей в номере московской гостиницы, играл грудной ребенок. Он был в одной распашонке и, вздымая кверху здоровые младенчески кривоватые ножки, подкорчивал тесные розовые ряды пальцев к подошвам, точно стремился по-птичьи ухватиться за что-нибудь...

В дверь номера постучали.

— Товарищ Ермакова, вас просят к телефону.

Она положила ребенка на кровать и наклонилась над ним, оправляя сбившуюся пеленку.

— Иди, иди,— поторопила ее подруга.— Я здесь займусь.

Звонили из кремлевских яслей.

— Ну, как ваша Люба? — спрашивали Ермакову.

— Спасибо, здорова, смеется,— отвечала мать, улыбаясь и кивая головой.— Спасибо. У вас ей хорошо было. Да, спасибо, спасибо...

Растроганная вниманием к ней, к ее ребенку, которого незнакомые московские люди просто и ласково называли по имени, она долго и с особенной нежностью припадала лицом к голому животику маленького веселого человечка. Она повторяла, напевала, нашептывала одно это слово, которое, как казалось ей, должно быть понятно ребенку, и оно могло выразить все то, что хотелось матери:

— Люба — Люба — Люба — Лю-лю-лю... Люба!..

Люба — пятый ребенок у Анастасии Ефимовны. И одно то, как любит и бережет она, усталая, немолодая женщина, пятого ребенка,— волнующее свидетельство того, что перед нами человек, живущий и чувствующий по-новому. Здесь не только нет ни нотки обычных, бывало, сетований, что «лишний ребенок — лишний рот», но и нет обязательной мечты о том, чтобы ребенок нашел иную судьбу, чем родители.

— Расти, Люба, подрастай,— говорит мать,— коров доить будешь.

— Ну, она-то уж не будет коров доить...— сказал кто-то, желая, видимо, польстить матери тем, что у ее ребенка более высокие перспективы в жизни.

— Будет доить,— с твердостью повторила мать,— что ж она, неспособная какая-нибудь, что ли? Будет доить.

С этого постепенно завязался замечательный, неторопливый рассказ мастерицы о своей работе — о том, что составляет гордость и радость ее. Это был рассказ умелого и скромного, но знающего себе цену человека.

— Корова тому дает молоко, кого любит. Не полюбит — не даст. А надо, чтоб она тебя узнавала издали, корова. Когда я прихожу с подойником, мои коровы все ко мне. Они мой характер знают. Характер тут нужен мягче мягкого. Вернее сказать, будь там у тебя какой хочешь характер, но ты его не показывай скотине. Скотина чувствует. Ну, а в особенности — породистая чувствует. Рекордистка моя — Тайга,— так она даже испытывать тебя начнет... Вообще они — рекордистки — чуткие и балованные. Знают, что за ними ухаживают, как за детьми. А Тайга особенно. Ее у нас никто из женщин доить не мог. Доил ее сам наш зоотехник Павел Германович Зилле, в шутку мы его звали «Зелье». Один он мог доить Тайгу. И доил всегда после нас. Мы кончим, а он идет доить. Останется один — и что он там колдует над ней,— кто ж его знает? Может, заговаривает как-нибудь, может, порошки какие-нибудь дает,— кто ж его знает? Подсмотреть женщины стеснялись, потому что если человек заговор делает, то считали, помешать можно. А как же помешать, если она под тридцать литров суточный удой дает? Нельзя. Но я, сказать откровенно, решилась посмотреть. Да дай, думаю, посмотрю: обидится не обидится, а я должна видеть, что он с коровой мудрит. Ну, осталась на дворе один раз, когда он доить пришел.

— Притаилась?

— Ну, притаилась, понятно, но не скажу, чтоб уж очень я пряталась. Пускай, думаю, видит он меня — не прогонит небось. Стою, смотрю: ничего особенного. Сел он и давай ей вымя обмывать теплой водой, давай растирать, обмывает, растирает — массаж делает. Ну, а потом, слышу,— и молоко заревело. И вся мудрость его. А теперь я который год уже дою Тайгу. У него она до тридцати литров давала, а у меня и сверх того, и до сорока и свыше доходит. Нынче, после отела, как раз сорок и семь десятых дает. И сдружились мы с ней как! Обе не молоденькие уже. Она уж двенадцатого теленка дала. Уже дочь ее третьим теленком ходит. Сын — уже бык настоящий, чистопородный, симментальский. Славная корова! А и то бывает — не вдруг подойдешь к ней. Недовольна чем-нибудь, на тебе зло срывает. Тогда уж ее Тайгой не зовешь, а все «Тася, Тася... Тасенька!» А она тебя — р-раз! — и посмотрит: ждет, чем ты ей ответишь — ударишь или нет. Ну, а ты сидишь и думаешь, ладно, ударь еще, а я тебя пальцем не трону. Успокоится, зажмурит глаза, все молоко отдаст. Вот как бывает.

— А так не бывает, что хочется ее хватить чем-нибудь по спине?

— Бывает! Как еще бывает, ого! А вот тут и нужна выдержка твоя. Что ж ты ее ударишь, а она глупей тебя — молоко задержит и себе навредить может. Которая корову ударит, это уж,— Анастасия Ефимовна с сожалением, но бесповоротно заключает, разводя руками,— это уж не доярка. Не доярка! Вообще доярка, она много чего должна понимать и знать. Вот подкормка. Если корова съест лишнего — прощай молоко. Это я тоже у Павла Германовича подсмотрела, как он Тайгу подкармливал. У нас даются комбинированные корма коровам. Так вот он всегда даст ей такую килограммовую баночку, а сам смотрит: если чисто-чисто будет вылизана кормушка — даст еще щепотку. И я так теперь кормлю.

Все, все у нас зависит от внимания и старания. Как я люблю эту работу свою, так оно и получается у меня... вроде ничего. Я когда работала — про орден не думала, а делала все так потому, что иначе не могу. Иначе работа самой не мила будет. А получила орден Ленина — понимаю одно, что надо много раз лучше работать. Что я в тысяча девятьсот тридцать пятом году четыре тысячи

триста сорок литров надоила на фуражную корову — это таких много.

— Значит, на пять тысяч наметила?

— Нет, зачем на пять,— спокойно и чуточку лукаво улыбается Анастасия Ефимовна,— зачем на пять. Я должна шести добиться. Еще нужно то учитывать, что жизнь теперь мне все больше сил придает. Все у меня есть. Сыта, одета. Корову получила. Почет со всех сторон. Не последним, а первым человеком чувствуешь себя. Одного только и хочется — работать, стараться, чтоб все лучше и лучше...

1936

● ПИДЖАК

Женился Григорий Катеринович, Гриша, как его звали все, хотя ему было уже за сорок. Смирный и работящий, он всю жизнь добродушно переносил однообразные шутки насчет его безотцовства, а в последние годы — насчет того, что он ходил холостяком.

— Гриша, когда мы тебя женим? — Это у него даже дети спрашивали.

И женился он на той самой Настьке-разведенке, которую уже лет десять смехом сватали за него на вечеринках и всяких сборищах. Женился без свадьбы, без гостей и утром пришел в бригаду на постройку бани в том же старом, кругом заплатанном пиджаке, что носил еще в молодости. Когда-то этот пиджак бабы спрятали на гумне от Гриши, и он долго его не мог найти. Когда-то ребятишки в ночном прожгли его головешкой. Настька однажды надела этот пиджак на вечеринке и, подражая басовитому, рассудительному говору Григория, представляла его: «Что ж жениться, как ни при чем жениться?! А жениться недолго».

Было очень смешно, даже сам Гриша смеялся.

Плотники, однако, заметили, что пиджак заново подлатан, бахромки рукавов подрезаны и подшиты. Мелкая, четкая стежка резко отличалась от протертых швов, что клала мать Григория — слепая Катерина. Он снял и с

деловитой небрежностью кинул пиджак в общий грудок одежды.

— Да, вот что значит жена, Гриша,— одобрительно причмокнул Андрей Корнюхов, парень вдвое моложе Григория. А тот уже был наверху, приколачивал решетник и не видел, смеется ли Андрей или говорит от сердца, но с готовностью отозвался:

— О чем говорить. Жена — дело большое. То ты живешь как дурак, никого нет около тебя, а то глядишь — жена...

Он был счастлив от ласкового и уважительного обращения Насти, подавшей ему сегодня завтрак. Она его раза два назвала Гришей, и он почувствовал, что только она и должна так его называть. Другие могут называть Григорием, Гришкой.

Он чистенько подтесывал и впускал жерди в зарезы на стропилах и загонял гвозди с двух ударов: легкого, чтобы только поставить гвоздь, и второго — сильного, под которым шляпка вся уходила в дерево, пускающее сок.

Потом Андрей со стариком Морозовым курили внизу, а он так и остался сидеть здесь, глубоко вдыхая запах свежих опилок и тронутых первыми заморозками садов. Он оглядывал сверху всю усадьбу, новый склад, построенный из четырех старых амбаров, подведенных под одну крышу, серый поповский домик с правленской вывеской, стадо далеко в кустах, каких-то собак, бежавших по загуменьям. Долго глядел на свою избу, наполовину заслоненную соседней, всматривался, идет ли из трубы дым. И то казалось — идет, то — нет ничего... «Вытопила уже»,— решил он и стал думать о том, что теперь дома. И улыбнулся от сладкого чувства ожидания чего-то, от какой-то неясности. Он не сумел представить себе что-нибудь новое в избе, но и не хотел видеть в ней только то, что было всегда: пыль, играющую в косой полосе лучей; мать, медленно, вдоль лавки пробиравшуюся к окну; бобыльскую связочку лука над печкой.

А собаки бежали уже недалеко, по картофельнику, повизгивая и обгоняя друг друга.

— Собаки, собаки, черт их дери! — весело крикнул он сверху, показывая плотникам на картофельник.

— Женятся, Гриша? — спросил Андрей, придавая вопросу оттенок намека. Но Гриша не понял.

— Черт их знает... Бегают...— Он уже принялся за топор, поднимаясь по решетнику, как по лестнице. Так

всегда было, что он кончал отдыхать, а они еще курили. И раз он был некурящим, никто не считал неудобным, что он больше работал.

Внезапный переполох внизу заставил его обернуться, и он чуть не уронил топор, сидя на самом гребне: собаки клубком выкатились из-за сруба, щепки с шумом заворошились под их лапами.

— Мушка, домой! — заругался Морозов на свою собаку.— Домой, тебе говорят!

Вся свора прянула в сторону, затем закричал Андрей, и Григорий увидел, что собаки потащили его пиджак.

Он онемел, ухватившись одной рукой за решетину, а другой удерживая топор.

Пиджак барахтался, взмахивал рукавами, распластывался по земле и поднимался, как человек. Собаки в яростной и веселой свалке вырывали его друг у друга. Вот он, подкинутый, перевернулся еще раз и накрыл рябую морозовскую Мушку, и она, одевшись им, с минуту бежала, кидаясь в стороны.

— Тпру!..— кричал, задыхаясь от смеха, Андрей и тяжело, мешковато бежал за собаками, размахивая длинной полоской еловой коры, как кнутом.— Тпру!..

В другой раз Григорий, может быть, только улыбнулся бы, глядя на эту картину. Сейчас все это и то, что Андрей, отбив пиджак, небрежно волок его за рукав, он воспринял как жестокое оскорбление, как издевательство. Он не стал ругаться, ничего не сказал, чтобы не вызвать новых шуток и смеха. Но руки его дрожали, он попадал обухом себе по пальцам, гвозди не шли в дерево, загибались, выскакивали вбок.

На обед он ушел молча и изорванный, запачканный землей пиджак не надел, а, свернув, взял под мышку.

— В правление-то пойдем, что ль? — спросил Морозов, чтобы вызвать его на разговор. Это было еще вчера решено идти к председателю насчет моха и драницы для постройки, но Григорий ничего не ответил.

Настя мыла руки, когда он вошел, и, улыбаясь, подняла на него здоровое, закрасневшееся лицо с мелкими прядками рассыпавшихся на висках волос. Он хотел бросить пиджак на деревянную кровать, но удержался: кровать была бережно застлана пестрым домотканым одеялом, пузырем возвышалась взбитая подушка. Гриша повесил пиджак на крюк у порога.

Он решил было ничего не рассказывать, боясь, что

Настя станет смеяться. Но когда сели за стол и она заговорила с ним с той же уважительной заботливостью и лаской, как утром,— рассказал все, как мог. Она слушала, вглядываясь в его большое, бородатое лицо, по-детски растерянное и жалкое, вглядываясь с каким-то испугом...

— Вот черти! — с облегчением вздохнула она, когда Гриша кончил. Он не понял, про собак она говорит или про плотников, но ему стало легче от ее участливой серьезности. Она молчала, отложив ложку, но оставалась непринужденно внимательной к нему и старухе, подвигая ей хлеб, солонку, принимая миску. Потом, убирая со стола, она сказала раздумчиво и спокойно: — Правду сказать, пиджак тоже такой... не... шикарный. Совсем отсталый пиджак.

— Дурацкий пиджак,— решительно подтвердил Гриша.

— Хороший пиджак был,— с сожалением протянула старуха, помнившая его таким, каким он был до того, как она ослепла.— Новый был...

Григорий видел, что жена все еще думает об этом деле, но что именно, не угадывал.

А ей теперь многое показалось схожим в своей и Гришиной жизни, обидах, неудачах.

Как у него безотцовство, так у нее первое замужество было поводом для издевательских шуток, снисходительно насмешливого, жестокого, в сущности, отношения со стороны всех. Муж бросил ее, пожив с месяц, уехал, женился там, где-то на Урале, только через год прислав уведомление о разводе. Ребята, как принято было, приставали к ней, в то же время по-хорошему ухаживая за другими, неославленными. Она много раз пыталась повернуть легкие заигрывания и приставания на серьезный лад, но ребята женились на других и забывали о ней. Потом она с горечью убеждалась, что хотя ребенка у нее нет и годы молодые, а никто из ребят не полюбит ее по-настоящему. И незаметно для себя она, ни раньше в деревне, ни в колхозе не позволяя близости с собой, все же привыкла к своему положению «вольной». Как Гриша нарочитой дурашливостью порой поощрял шутников, так она наигранной развязностью поощряла ухаживателей. А молодые годы уходили. О Грише она впервые подумала всерьез, когда увидела его как-то загораживающим палисадник под окнами своей избы. Но убедить его, что она теперь не для балагурства предлагает ему жениться, было

невозможно. Поверил он окончательно только вчера, когда она явилась к нему с узелком и вечером постелила постель на двоих. Она знала, что он никогда ее не обидит, не попрекнет и будет благодарен ей. И теперь она хорошо понимала, решаясь вступиться за него, отстоять его перед людьми, для которых он оставался прежним Гришей, что вступается и за себя.

— Пойду к председателю,— сказала она, накидывая шубенку.— Сейчас и пойду.

— Зачем ты пойдешь,— испугался Гриша, чувствуя, что несмотря на предпочтение, оказываемое ему Настей, она не послушается в таком деле.

— Пойду требовать аванс. Пиджак-то надо покупать? Или в этом ходить будешь? — И, точно проверяя убедительность своих доводов, возбужденно заговорила: — Годится это, скажу, что он у вас ходит в таком пиджаке? Хуже других он работник, что ли? Нет, не хуже, скажу, а может, лучше. А за аванс нам есть чем ответить. Пять раз есть. У какой семьи столько трудодней?.. То-то... Дайте человеку одеться, чтоб он на человека был похож, чтобы на его одежу собаки не бросались. Вы из него дурачка строили, а я за него вышла — не позволю. Нищих у нас в колхозах не должно быть!..

Слова ее очень понравились Грише. Но, оставшись один, он забеспокоился и затосковал: не может этого быть, чтобы люди так считали. Он знал, что Насте откажут, но он боялся другого — что все это станет известным и над ним насмеются еще больше.

Когда через час Настя пришла, довольная, радостная, и сказала, что аванс дадут, послезавтра можно в город ехать, он быстро спросил:

— А был там кто-нибудь у председателя?

— Был.

— Кто?

— Морозов был, Андрей твой был. Насчет бани приходили.

— Что ж они?..

— Ничего.

— Ничего?

— Ничего. «Как же ему отказать, говорят, он у нас первый работник».

— А что ж! — просиял Гриша.— Первый не первый, да и не последний.— Он уже от чистого сердца простил этим людям их шутки, неуважение, все...

— Насть? — сказал он, неловко приблизясь к ней.— А что я думаю, Насть? Купим мы лучше тебе пальто? Мне зачем? Я уже старый черт — зачем мне форсить? — И довольный своим определением, как похвалу, повторил: — Я старый черт!..

Настя вспыхнула. Ей, видимо, очень понравилось, что он ее считает молодой,— она как-то совсем по-девичьи, быстро облизнула губы и потупилась:

— Да нет, нет. Я уже тоже не молоденькая, Гриша.— И сейчас же строго отрезала: — Тебе покупаем. О том и разговор был.

И он опять почувствовал, что она ему не уступит, она лучше знает.

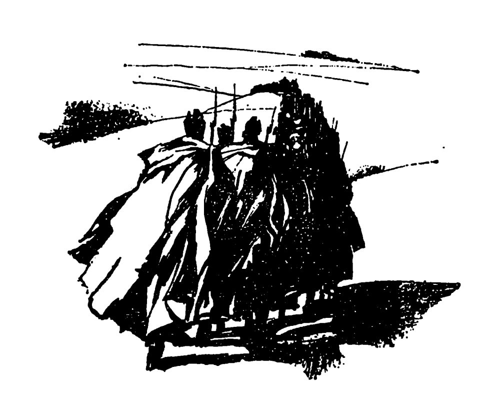
Вместе с чувством нежной благодарности к ней он ощутил в себе силу, легкость и непривычную для самого развязность. Его не стесняли теперь большой рост, руки и ноги, которые всегда, где бы он ни стоял, ни сидел раньше, казались ему слишком длинными.

Утром, застав возле бани плотников, куривших на бревнышках, он, не поздоровавшись, с веселой приятельской хлопотливостью поторопил их:

— Кончай, кончай, ребята, курить. Надо дело делать!

И плотники, быстро затянувшись, затоптали окурки.

1936



С ВОЕННЫХ ПОЛЕЙ

● С КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА

(Из фронтовой тетради)

Заметки эти в большей части — «расшифровка» и переделка карандашных записей со страниц записной книжки в «Рабочую тетрадь» 1939—1940 годов. Занялся я этим тотчас по окончании боев в Финляндии из опасения, что по прошествии времени сам не смогу разобраться в тех записях, сделанных по выработавшейся журналистской манере с сокращениями и условными обозначениями, где иногда одна фраза и даже одно памятное словечко содержало для меня целый эпизод, биографию, картинку. На память я никогда не жаловался и чаще всего беседовал с людьми, не вынимая из полевой сумки своей толстой записной книжки не только потому, что иногда это было просто неудобно: замерзали руки, было темно или беседа проходила в пути. По опыту корреспондентских поездок в 30-х годах я знал, что люди в большинстве хуже рассказывают «под карандаш», то и дело косясь на твой блокнот, сдерживаются, настороженно выбирают слова. Только по окончании беседы, будь она даже в тепле и при свете, за столом, я, улучив минутку, переспрашивал имена, уточнял даты, названия местности и записывал их в книжку. Только из документов (боевые донесения, письма и т. п.) я делал, если представлялось возможным, точные дословные выписки.

Так и лежала у меня эта тетрадь с перебеленными пером заметками почти тридцать лет среди других тетрадей, пока по встретившейся, как говорится, надобности я не стал ее перелистывать и не напал на эти страницы. И мне показалось решительно невозможным де-

лать в них теперь какие-либо исправления или дополнения, кроме необходимых подстрочных примечаний. Если эти заметки имеют какую-либо ценность, то лишь как занесенные в тетрадь для себя тогда, по свежей памяти.

Естественно, что разнообразные и глубочайшие впечатления Великой Отечественной войны отстранили и заслонили собой и для писателей и для читателей память трехмесячной зимней кампании в Финляндии. Но и «на той войне незнаменитой», при всей несоизмеримости ее масштабов и исторического значения с Великой войной, были наши люди. И память их не может подлежать забвению. Воину не дано выбирать ни времени, ни места, где ему придется пролить свою кровь или сложить голову за родину — под Сталинградом или где-нибудь под Киркой-Муолой.

Мне уже приходилось говорить, что в моей газетной работе в первый год войны, до того как у меня пошел «Василий Теркин», мне больше удовлетворения, чем стихи, доставляла проза — очерки о героях боев, написанные на основе личных бесед с людьми фронта. Мы все знали, как ценили сами герои эти очерки, заносившие их имена как бы в некую летопись войны. И если описывался подвиг, или, как тогда говорили, боевой эпизод, где герой погибал, то и тут было важно хоть лишний раз упомянуть его имя в печатной строке. Такие очерки — «портреты героев» — мне приходилось писать и в период боевых действий на Карельском перешейке, когда я вместе с писателями Н. С. Тихоновым, В. М. Сayновым, С. И. Вашенцевым и другими работал в газете ЛВО «На страже Родины». Жанр этот в существенных признаках не менялся и в практике фронтовой печати в годы Отечественной войны.

Но в публикуемых записках больше имен и боевых эпизодов, которые так и не были в свое время перенесены из записной книжки на печатную страницу или же нашли там место с известными ограничениями, без непосредственных, живых, хотя бы и беглых, наблюдений и впечатлений автора.

Заранее прошу извинения перед всеми, с кем встречался в пору боев на Карельском перешейке и кого упоминаю здесь со слов других товарищей, за возможные неточности и упущения, неизбежные в такого рода записях.

1969

• ————

Ленинград. 30. XI. 39.— На этот раз сильно не повезло. В самый момент, когда нужно было быть на месте, захворал глупой детской хворью. Ветряная оспа! А Вашенцев (сейчас звонил) уже был «там». Сижу, как Иов праведный, щупаю свои лишаи, пытаюсь сочинить какие-то стишки, но мне уже не звонят, меня нет, информируюсь у коридорных да официантов — что на белом свете.

Только всего и имею покамест, что вывез из первой поездки в часть. Лес, землянки (домовитые, пахучие — сосна), люди из 68-го полка и 2-й батареи. «Праздный мост». Ожидание, настроение близящегося дела. Но все это уже позади. В свое время не записал, а теперь и записывать не хочется.

А знаешь, друг мой, как тяжело хворать одному в пустынной гостинице, в незнакомом городе и в такое время, когда об отдельном человеке забывают!..

2. XII. 39.— Со вчерашнего дня пошло лучше и лучше. Завтра окончательно встану.

Вчера пришел милый Крашенинников — «Чуть-что»,— как мы его зовем за этот его излюбленный оборот речи; принес яблок, мандаринов, хлопочет, беспокоится: «Лежи, лежи!» А сам еще более побелел, осунулся. У него родила жена. (Я ездил к ней, когда он был в команди-

ровке, с приветом от мужа, но уже не застал дома, на кухне соседки сказали, что она уже в родилке, что уже родила, девочку.) И вторично он пришел в тот же день, принес мне «На страже Родины» и другие газеты.

Повеселел я. Написал стишок, хорошо заснул. Сегодня еще лучше мне, хотя еще не все прыщики утихли. Опять приходил Крашенинников, опять принес мандаринов и пил с нами чай (с ним еще был товарищ). Принес он и белье, как обещал, но я сказал, что завтра у меня свое будет готово. Завтра, пожалуй, поеду *туда*.

15. XII. 39.— Завтра в 3 часа утра едем под Выборг, где должно быть решающее.

Я здесь с 18-го прошлого месяца. Так много пишу и так тяжело и беспорядочно проходит жизнь, что почти ничего не записывал. То есть для себя. А очень хотелось и очень нужно было записать все три состоявшиеся до сих пор поездки: Майнила (у границы), Перк-Ярви (50 км от границы, 68-й полк), Кронштадт («Марат»).

Жуткая ночь. Жажда. Утро на опушке леса. Как я пил воду из неизвестного колодца. Как вкусен был суп из красноармейского котелка в артполку. Дальше. Опять лес, лес. Как мы вышли на поляну и остались одни с трупами. Марш. Грузовик, куда мы забрались. Как я жалостно просил хлеба. Перк-Ярви. Выстрел. Ужин. Утро. Обратный путь (не могли выехать из города). Гати, переезды, объездки, таскание машин.

1. I. 40. 12 часов.— «Интернационал». Прошли первые сутки 40-х годов. Собирался зачистить конец 39-го года, в смысле записей. Подытожить все и начать вести регулярные записи. Ни черта, кажется, не получается! Пишу медленно, не успеваю то написать, что в газету идет. Много рассеивается времени, пока сидишь в Ленинграде. Обидно за себя. Но, может быть, причина все же в общей обстановке и условиях. Вот закончится война, засяду на месяц-другой в доме отдыха и шаг за шагом буду восстанавливать виденное и пережитое. А кроме того, время не совсем даром уходит. Дороже записей то, что незаметно и как будто беспорядочно откладывается в голове из всех впечатлений, встреч и т. п. Правда, записи помогли бы и самому этому откладыванию.

19. I. 40. 2 часа ночи.— Возвратился из очередной поездки. Поездка на редкость удачная. Герои-артиллеристы (Лаптев, Пулькин и другие). Полковник Бакаев. Вечера в штабной комнатке.

Когда-то у меня была хорошая привычка, беспокойная, но полезная потребность — после каждой поездки в колхозы записывать кратко: что нового по сравнению с тем, что я знал раньше, получил от этой поездки, с каким добытком внутреннего знания, окрепшей убежденности возвратился...

Здесь также каждая поездка, если следить и внутренне не распускаться, дает обязательно новое что-нибудь, и это новое довольно легко (для себя, покамест) выделяется из того, что является уже повторением виденного раньше. Так, собственно, и складывается, накапливается всякое знание жизни — когда следишь и отмечаешь. Правда, есть еще какой-то внутренний процесс, за которым не уследить, но он — пусть себе совершается.

Первая поездка — самое сильное впечатление от «подземной» жизни белого зимнего леса. Дымки́ над сугробами, узкие ходы в землянки, орудия на расчищенных от снега площадках. Брусника, раздавленная сапогами на снегу.

Запомнился концерт плохонькой бригады эстрадников, лезших из кожи. Концерт шел в комнате, набитой до отказа бойцами (сменой одной). Ни сцены — ничего. И лица, лица, лица красноармейцев. Иные с таким отпечатком простоватости, наивного ребяческого восхищения и какой-то подавленной грусти, что сердце сжималось. Скольким из этих милых ребят, беспрекословно, с горячей готовностью ожидающих того часа, когда идти в бой, скольким из них не возвратиться домой, ничего не рассказать. Так тогда думалось. И, помню, впервые испытывал чувство прямо-таки нежности ко всем этим людям. Впервые ощутил их как родных, дорогих мне лично людей.

Нужно еще сказать, что меня до сих пор не покидает соображение о том, что мое место, в сущности, среди рядовых бойцов, что данное мое положение «писателя с двумя шпалами» — оно не выслужено (не то слово). Я то и дело мысленно ставлю себя на место любого рядового красноармейца. Правда, все реже. В том походе[1] я не

---

[1] В Западную Белоруссию. *(Прим. автора.)*

мог еще забыть, что я призванный в ряды РККА рядовой и что только командирская шинель на мне и пр.

Вторая поездка. Вторая встреча с людьми 68-го полка. Главное впечатление — люди, проведшие уже несколько дней труднейшего похода, почерневшие, осунувшиеся. Оживление улеглось, но усталость еще не пошатнула основного настроения и веры, что в ближайшие дни...

Третья поездка — в 43-ю дивизию. Ощущение великой трудности войны. Комиссар и начподив уже втолковывают людям задачи, разрешение которых — не день и не два...

Четвертая. Наступление и его печальные последствия. Раненые. Глухая неясность: как же все-таки быть дальше?.. Медсанбат.

Пятая — неудачная. Впервые «под обстрелом».

Последняя — замечательная. Внутренний вывод, убеждение: ни хрена, жить можно.

Надо спать — уже только конспектирую, что не имеет смысла.

19. I. 40.— Вчера произошло событие, которое будет переломным в моей работе и самочувствии. Написал в один присест стихотворение «Мать героя». Оно было хорошо встречено в редакции, хотя я опасался, что оно испугает редактора и других лиричностью, непривычным решением темы. Писалось оно необычно. Я задумал написать что-то такое о переживаниях родных и близких, жен и матерей наших героев. Но что̀, ка̀к — ничего не было. Было только перед глазами место на первой полосе газеты, где должны были быть стихи. А перед этим я правил очерк Вашенцева, обрамленный двумя замечательными документами: письмом матери Лаптева в часть (что с ним, почему не пишет и т. д.) и ответом комиссара, где сообщалось, что он представлен к званию Героя. А еще раньше я вместе с Вашенцевым читал в полку эти документы в оригинале. И там уже плакал. Но так как о Лаптеве должен был писать Вашенцев, он и переписал себе эти документы в тетрадку. Вот они:

«Начальнику штаба от гр-ки Лаптевой Олены. Товарищ начальник, я к вам обращаюсь со своим наболевшим вопросом. Я мать красноармейца, мой сын достоин служить в нашей радостной непобедимой Красной Армии. Мой сын был взят в РККА в 1937 г. и служил хорошо и

всю свою службу имел со мной переписку и писал — «все хорошо, служу, мама, хорошо и весело» — и я жила спокойно. Живу одна. Он меня все увещал — «мама, духом не падай». Но в настоящее время я просто погибаю, не знаю, мой сын жив или не жив. Тов. начальник, я вас прошу о большой милости, чтобы вы успокоили мое сердце — жив мой сын или нет. Мой сын — Лаптев Григорий Михайлович — Челябинской обл., ст. Бакал, село Рудничное, ул. Ленина, 15.

Остаюсь *Лаптева Олена*».

Ответ комиссара Дядющина, показанный им при нас на батарее Лаптеву:

«Многоуважаемая Елена Ивановна!

Ваш сын, Григорий Михайлович,— отважный, смелый и находчивый воин. Во время боя он, находясь под сильным ружейно-пулеметным огнем противника, прямой наводкой расстреливал врага метким огнем из орудия. За проявленный героизм и отвагу командование представило вашего сына на присвоение ему звания Героя Сов. Союза.

Мы гордимся вашим сыном, патриотом великого советского народа, и от всего сердца благодарим вас за то, что вы сумели воспитать такого героя для нашей социалистической родины.

С почтением и уважением к вам».

Сейчас, переписывая, я опять чуть не заплакал над этими строчками и искренне подумал, что эти документы так и остались более сильными, чем мои стихи, написанные по ним (по памяти). Но когда я писал, мои стихи казались мне (наверно, по сравнению с тем всем, что я делал до сих пор в газете) очень хорошими. И я был снова растроган. Слабость эта, возможно, объясняется еще чем-нибудь, но и стихи при этом писались удивительно легко. Это совершенно не мой черновик. В нем не вычеркнуто ни одной строфы целиком. Для меня, страшного марателя, это столь необычное дело, что я решаю дать место в моей тетрадке «творческой истории» этого стихотворения. С него, может быть, и начинается настоящая моя работа в газете.

8. III. 40.— После поездки на о. Койвисто — восьмой день в Ленинграде. Хорошее перемежается с плохим, не-

нужным. Написал... «Балладу о красном знамени» и стихи к сегодняшнему номеру — «Письмо».

Неведение записей в этой тетрадке приводит к некоторым огорчениям неожиданного порядка. Все, что рассказал прибывшему сюда М — кову, он все уже занес на бумагу, в свой сценарий.

Единственным моим дневником являются стихи, которых пишу много. Некоторые из них, правда, не содержат в себе никаких следов пережитого или увиденного мною. А те, в которых хоть что-нибудь есть, начинаются с «На привале».

Кончится кампания, отдышусь от писания «в номер», засяду основательно. Строчка за строчкой пропущу все через сито. Все это должно и можно развить, отделать, завершить. Штука за штукой буду отрабатывать и переписывать в тетрадку. А до того и в журналы давать не стоит. Буду жив и здоров — будет книжка, какой я сам вообразить раньше не мог.

Как-то пошел в умывальную, «гор.» — «хол.» и проч.— и вдруг приходит мне простая такая мысль: а ведь я вижу войну, настоящую войну, суровую и ожесточенную. Я же столько уже видел и слышал! Живем, пишем, болтаем, ездим, замерзаем, пьем, едим и т. д. Но ею, войною, уже безвозвратно отрезана какая-то половина жизни, что-то навек закрылось. Сознание постарело.

На днях пошли утром с Вашенцевым по городу. Утро морозное, а ощущение весны так безусловно и глубоко, что плакать хотелось. Ведь уже много-много весен я встречаю в городах, уже и городская весна трогает. И вдруг — мысль: а там, на фронте, еще не кончено, еще мы переваливаем через такие трудности, еще — черт ее знает что! Никакой весны. Война, а не весна. Стыдно, невозможно заниматься мечтами, воспоминаниями, собой.

13. III. 40.— В пятом часу позвонил Березин[1] из редакции: «Война — вся, мир...» Сейчас 7 утра. У нас Саянов. Должны поехать в типографию читать договор и пр. А затем сразу же по Выборгскому. Первая поездка, когда совсем другое чувство.

Москва. 3. IV. 40.— Вот и снова — Могильцевский. С. Маршак не без оснований говорил, что после войны

[1] Редактор газеты «На страже Родины». *(Прим. автора.)*

все может показаться очень пресным, малозначительным и т. д.

У меня есть чувство (я уже знаю, что оно неверное), схожее трудно сказать с чем. Я как бы обижен за фронт и его людей. Как это все могут жить, как жили, интересоваться, чем интересовались, когда они должны же знать, какая это была война, сколько тысяч людей (теперь-то хоть это общеизвестно) заглянули в ее жуткие глаза, пережили ни с чем не сравнимое и никогда об этом не расскажут! Это чувство — вроде какой-то ревности. Оно неверное. Жизнь больше войны, хотя когда война, то кажется — на первый взгляд по крайней мере, — что ничего больше ее нет. Это мне понятно. Но я только тогда смогу вновь в полную меру сердца волноваться всем тем, чем волновался прежде (ведь вот ехал «стрелой» из Ленинграда, смотрю на проталинки по откосам между елок и ничего не чувствую, что, бывало, обязательно чувствовал при этом признаке весны: что-то — может быть, на время — отошло далеко и живет, как в книге, которую читал когда-то, а теперь только помнишь смутно) — деревней, природой, землей, людьми и книгами, — когда выпишусь, выскажусь как следует на темы финляндского похода. Тем самым, может быть, преодолею окончательно и это свое неверное чувство.

4. IV. 40.— Это целая большая зима — от осеннего бездорожья до почти уже бездорожья весеннего. От первого неглубокого снега, на котором, раздавленные сапогом, краснели, как капли крови, ягоды крупной брусники, до серого, опавшего мартовского снега, из которого стали вытаивать — то черная, скрюченная, сморщенная кисть руки, то клочья одежды, то пустая пулеметная лента и т. п. От суровых ночных метелей, от морозных страшно красных закатов на темном и белом фоне хвойных лесов, от первых дымков землянок — до свежих, легкоморозных утр, почерневших дорог, чистых, точно умытых елей и сосен... От первого выстрела в 8 часов 30 ноября 1939 года — до последнего выстрела в 12 часов 13 марта.

Весь этот срок по своим характерным признакам делится на три части, на три периода.

Первый период — с перехода реки Сестры, первых столкновений с противником и стремительного продвижения вперед — до первых крупных неуспехов у оборони-

тельной полосы в декабре (около 17-го). Это один период, одно настроение, когда еще казалось, что победа — дело ближайших дней. Еще 27—28 декабря 90-я дивизия пыталась на своем направлении прорвать укрепрайон, понесла большие потери и остановилась «у проволоки». Тут уже было тяжелое чувство недоумения, непонимания — в чем дело?

Второй период — когда было решено, что нужно хорошо подготовиться, что не обязательно завтра, можно и послезавтра одолеть врага, но сделать это уже наверняка. Это период перегруппировки, подготовки, отдыха и устройства многих тысяч людей в лесах, в редких уцелевших строениях, в землянках. Длится он до 11 февраля.

С одиннадцатого — дня всеобщего наступления — третий, последний период, период решительного, убыстренного натиска, прорыва полосы дотов, продвижения на Выборг и жесточайших боев под Выборгом — до заключения мирного договора.

Когда-нибудь, на большом расстоянии, вся зима эта будет представляться более цельно и неразличимо в смысле ее этапов. Но покамест в ней для меня довольно отчетливо существуют более ранние ее дни, подернутые уже какой-то дымкой, как давно прошедшее. Когда мы ехали последний раз с перешейка и проезжали, как обычно, Териоки — дело было вечером, — было очень странно видеть эти домики, уже обжитые, в которых виднелись огни. По дороге шел какой-то военный с женщиной под руку. Это уже был обыкновенный быт. Это уже не вызывало ничьего интереса. Это все уже было далеко. Не умею передать, почему все так казалось грустно.

А когда вообще едешь этими лесами и видишь брошенные хвойные шалаши, видишь землянки, черные пятна от костров — вспоминается самый суровый период зимы. Здесь сидели люди. Чтобы обогреться, был единственный способ, которому тысячи лет,— закопаться в землю, разрыть снег, раздолбить мерзлую землю, вырыть яму, накрыть ее накатом неокоренных бревен, хвоей, присыпать землей и развести в одном углу огонь в какой-нибудь жестяной печке, а то и просто так. Вспоминаются клубы пара и дыма над снегом в лесу, визг танковых и тракторных гусениц, сухая жесткая стрельба из орудий, движение, движение. Люди в обгорелых шинелях, с опухшими от холода лицами, немытые, небритые.

* * *

Буду записывать, что вспомнится по записной книжке, в приблизительном хронологическом порядке — по поездкам.

* * *

Первое время писал исключительно плохие стихи, хотя впечатления первой же (до 30 ноября) поездки уже подсказывали какие-то детали, мотивы.

По серому шоссе гремели танки,
Орудия, броневики, грузовики,
А по лесу дымились молчаливые землянки
И вспыхивали осторожно огоньки.
В лесу сосновом разбрелися роты —
Шел стук и гром:
Кипела плотничья веселая работа,
Промерзшее крошилось дерево под топором.

* * *

У границы все было наготове и шла подготовка к переходу р. Сестры. Когда мы приехали в 68-й полк, там нас встретил хороший парень, старший лейтенант из редакции, Федя Крашенинников. Был он так заботлив и нежен с нами, что становилось неловко. Каким-то образом занял он свежесрубленную из сухих бревен какой-то старой постройки небольшую избушку. До нас там жили артиллеристы. Стояла она рядом с домиком кулацкого типа (крылечко, мезонин, тесовая крыша) и глядела прямо на лес, синевший вдалеке за рекой Сестрой, не видной отсюда. Федя — «Чуть-что» — затапливал печку, кипятил чай и пр. Там я жарил ветчину в кастрюле. Спать было первую половину ночи страшно жарко и душно, вторую дико холодно.

Сколько раз за недолгие дни пребывания на границе всматривался я оттуда на «ихний» лес, думал, старался угадать, почувствовать, что здесь будет. Допускал, между прочим, мысль, что на месте нашего домика ни черта не останется. Население отсюда было все вывезено.

Пошли в батальон капитана Макарова, «испанца», награжденного Красным Знаменем. Он был не очень здоров на вид, человек очень хороший. Из тех, что, приобщившись в какой-то степени к культуре, дорожат этим. Он картавил немного и довольно мило, но стеснялся этого, как и своего маленького роста. Поэтому он говорил очень осторожно, медленно, выбирая слова, всячески ста-

раясь избежать слов, на которых спотыкался. Впрочем, может быть, это было еще оттого, что он старался говорить совершенно правильно. И — нет-нет — выскакивало словечко, сразу напоминавшее, что он из крестьян, пастушонок, просто деревенский парень. Рассказывал, как он с товарищами ходил в Париже (по пути в Испанию) в театр (надевали взятые напрокат фраки).

Утром мы лазали по опушке леса вдоль изгибов р. Сестры. Хотелось увидеть финнов. В лесу вовсю шла работа. Валили сосны, связывали переносные мостки, заготовляли накаты для больших мостов.

Заметили двух финнов-пограничников. Шли они от леса к своей «стражнице» в каких-то тулупах, с винтовками за плечом — вроде охотников. Заметили нас, хоть мы и прятались за редкими елочками на опушке. Один показал в нашу сторону рукой, поговорили, постояли, пошли.

Подошли мы с группой саперов к мосту через р. Сестру. Мост настоящий, на бетонных быках; когда-то по нему ездили. Граница перерезала его пополам. Часть моста была много лет назад подпилена и обрушена вниз. На накате, заваленном землей, выросла сосенка толщиной в оглоблю и высокая, верхушкой выше уцелевшей половины моста, отделенной от нас колючей проволокой. Особое впечатление производил этот «праздный мост», как я его тогда назвал для себя. Он здесь стоял искони, он был нужен, он теперь не служил, но и не был снесен до основания — и это заставляло воображать и представлять себе, что придет срок и он будет исправлен и вновь будет служить. Так, видимо, обе стороны и смотрели на него. А сосенка росла, вытягивалась и была признаком странного запустения.

Наши подошли к мосту, стали, размахивая руками, рассуждать насчет исправления моста — так что финны, стоявшие за елками на том берегу, не могли иметь сомнений, что речь идет именно о мосте, и в известных целях. Сразу за мостом у них был окоп. На елке, в темноте ее верхушки, стоял финн-дозорный. За рекой слышался стук и треск — валили деревья. Это финны устраивали завалы.

* * *

Если б эти записи велись в свое время день за днем, они были бы куда ценнее. А так, когда помнишь о том, что было после, даже трудно писать. Все это, предварительное, кажется таким малозначительным и малоинте-

ресным. Но иначе никакого порядка не будет — нужно записывать.

* * *

Собственно, С. привез нас в 70-ю. Оттуда мы направились в 68-й, а через день приехал сюда и С.— со своим ромбом в петлицах. На одной батарее он для проверки готовности людей устроил, по-моему, странную инсценировку. Командир и комиссар дивизии послушно осуществляли его затею. К пареньку — командиру батареи подходит командир дивизии и, прерывая его рапорт, играет: оттуда-то бьет противник, там-то наша пехота, принимайте, мол, решение.

Тот:

— Я позвоню туда-то.

Комдив:

— Не знаю, ничего не знаю. Я посыльный.— Пожимает плечами, поправляет пенсне, разводит руками.

Тот (даже условно не принимая, что это посыльный) опять, наугад, растерянно вопрошающе:

— Я свяжусь с... Я открою огонь...

— Ничего не знаю. Что вы с посыльным советуетесь! — И т. д. до слез на глазах у бедного младшего лейтенанта.

Нарвались мы на эту картину и были не рады. А С. отвел нас в землянку и в обычном своем тоне предложил «сигнализировать» о результатах его остроумной проверки в газете.

Частенько мы это вспоминали: «Я посыльный...» И командир и комиссар, между прочим, вскоре были сняты — как несправившиеся. А что с этим лейтенантом — кто его знает!

Раевский.— Еще у границы все — и бойцы и командиры — были в ватниках — знаков различия не видно. Полушубки на командирах были еще не замаранные. Добротная зимняя одежда была еще непривычна и всем нравилась. Все, казалось, боялись, что вдруг прикажут сдать все это, так как обойдется дело без войны.

Сидим в штабе макаровского батальона. С нами инструктор политотдела дивизии, политрук, которого я по полушубку, спутав с другим человеком, весь вечер называл батальонным комиссаром (он не поправил).

— А вам что? — обращается он к человеку в ватнике, стоящему довольно небрежно у косяка двери.

— То есть как — что? — отвечает тот, покраснев и приняв более строгую позу.

— Товарищ боец...

— Я командир роты.

— А!

Это и был Раевский, красавец, силач и прямо-таки головорез по смелости и дерзости. Затем я его видел на походе, в шинеле и каске, после пяти-шести дней пути и боев, загорелого, немного заросшего. Но краснел он так же, как прежде. Черты лица крупные и немного бабьи, вернее — девичьи. Был он, между прочим, до армии водолазом. Убит.

* * *

При переходе границы я хворал. Первая поездка по фронту была числа 5—6-го в 68-м полку 70-й. Мы его догоняли, искали дня два.

Впервые увидел я Териоки, пожарища, двухэтажные печи, торчащие на пожарищах. В Териоках, помню, у дороги валялись убитые и еще живые лошади, подорвавшиеся на минах. Очень хотелось пристрелить их, но мы не решились это сделать. Выстрелы могли вызвать тревогу и даже панику.

Впервые мы видели завалы. Огромные парковые ели и сосны были повалены таким образом, что ствол не отделялся от высокого пня, без подруба (в обычное время валить так деревья — величайшее безобразие). Кроме того, на стволе на месте надреза финны наматывали из колючей проволоки петлю восьмеркой, так что, когда дерево валилось, оно еще оказывалось привязанным к своему пню, что очень должно было затруднить растаскивание завалов — и топором не вдруг возьмешь. Но во всех этих завалах, рвах, эскарпах и даже надолбах очень много бессмысленного. Огромный труд, а препятствие несерьезное. Сделан один проход — и все. Правда, в дальнейшем, у дотов, эти проходы (в надолбах) доставались большой ценой.

Впервые я узнал, что такое «пробки» на дорогах. Из-за них мы заночевали в лесу. Пробивались по какой-то совершенно невероятной дороге, она была только что проложена. Свежие пни и горбы корней страшно затрудняли проезд для машин. И еще — все раскисло. Артиллерия, прошедшая впереди, разворотила колеи, в них хрустел лед, перемешанный с водой и грязью. Много раз таскали машину. Ночью, отдыхая в машине, засну-

ли — все и шофер. Колонна впереди рассосалась и прошла. Сзади никого не было. Оставалось продвигаться одним. В одном месте основательно засели, пришлось буквально умолять догнавших нас обозников, чтоб помогли. И опять остались одни. А тогда все полно было разговорами о нападениях, обстрелах, бандах в тылу. Где-то среди леса мы наткнулись на грузовик, брошенный своей колонной. Один, как перст, часовой с винтовкой сидел в нем, страшно рад был поговорить с нами, с робкой надеждой предложил: «Оставайтесь, переночуем вместе. Дальше там — еще хуже дорога».

Но мы не остались. Ко всему добавить, что шла какая-то стрельба, правда редкая, и мучила жажда: еще о «спецпайке» и речи не было. Я ел, ел снег, ни черта не помогает. Вспоминал всю воду, какую видел в жизни. К раннему рассвету выбрались из лесу, которому, казалось, нет и нет конца. Увидели костры — ночевала какая-то часть. У колодца стоял часовой. «Брали здесь воду?» — «Не знаю».— «А что колодец — отравлен?» — «Не знаю». Привязали к шесту котелок, достали. Шофер смотрит на меня. Я приложился к котелку. Обыкновенная болотная, довольно скверная вода. Попил и шофер. Подъехали к кострам, кому-то представились. Первый раз ел из чужого котелка чьей-то только что облизанной ложкой чудесный, горячий, жидкий суп с макаронами. Тут мы ожили. Я обошел весь бивуак, роздал газеты, которые у меня буквально вырывали из рук. Тронулись дальше.

Догнали мы 1-й батальон 68-го (не макаровский). Люди были утомлены, невеселы, неразговорчивы. Уже были потери, неудачи, утомление — утомление первых дней — самое тягостное, поскольку непривычное. Пошли пешком догонять макаровский батальон, а машину оставили двигаться в обозе.

* * *

Обходя обоз, прошли километра два-три по лесу. Дорога была разминирована, но кое-где неизолированные мины были примечены вешками, каким-нибудь едва заметным прутиком. На одну такую мину я чуть не наступил. Встретились с Макаровым, он ехал верхом в хвосте колонны. Очень удивился, что мы таки сдержали свое слово и нашли его батальон. Но сразу же и нас и его,

по-видимому, стеснила какая-то неловкость. Мы точно стеснялись друг друга. Все было другое, чем думали там, когда стояли у границы и когда давали свое обещание.

Мы видели, что он, Макаров, очень утомлен. Пропалил на спине шинель. Был в подшлемнике и каске. И говорить было почти не о чем. Шли долго. Макаров отдал лошадь бойцу и шел с нами, может быть из вежливости, чтоб не ехать рядом одному.

Мы устали и захотели есть, но все ожидали, что будет привал, обед и все устроится само собой. Но батальон шел и шел. Разговорились было по пути с полковником Бриченком, командиром артполка, действовавшего во взаимодействии с 68-м стрелковым. Прошли мызу Мысниеми. Мост, речка, а мыза на взгорке. В откосе взгорка пулеметные гнезда — дзоты, хотя мы еще эти землянки тогда так не называли. Зашли в большой двухэтажный дом мызы. С балкона был вид на озеро. Красиво, наводит на мечты о какой-то приятной дачной жизни. Между прочим, серьезность войны еще не осознавалась мною — я всю дорогу смотрел на хороший строевой лес и думал о постройке дачи в смоленских краях, о своей работе и т. п.

У мызы была какая-то остановка, задержка. Мы с Бриченком и группой командиров прошли далеко, оторвавшись от колонны. Потом Бриченок предложил своим сесть на коней, и все они ускакали, а мы втроем пошли дальше. Шли, шли узкой прямой просекой, которая видна была далеко-далеко. Наконец, вышли на поляну, большую, открытую, и здесь увидели первых убитых. Лежали они, видно, уже дня два. Налево, головой к лесу, лежал молоденький розовощекий офицер-мальчик. Сапоги с ног были сняты, розовые байковые портяночки раскрутились. Направо лежал перееханный танком, сплющенный, размеченный на равные части труп. Потом — еще и еще. Свои и финны. У всех очень маленькие казались руки (окоченевшие). Каждый труп застыл, имея в своей позе какое-то напоминание, похожесть на что-то. Один лежал на спине, вытянув ровно ноги, как пловец, отдыхающий на воде. Другой замерз, в странной напряженности выгнувшись, как будто он хотел подняться с земли без помощи рук. Третий лежал рядом с убитым конем, и в том, как он лежал, чувствовалось, какой страшной и внезапной силой снесло его с коня — он не сделал ни одного, ни малейшего движения после

того, как упал. Как упал, так и окаменел, Жутко было видеть, например, туловище без головы. Там, где должна быть голова,— что-то розоватое, припорошенное снегом. Особенно жутко и неприятно, физически невыносимо, что все, что раздроблено или рассечено, выглядит совершенно как мясо, немного светлей, розоватей, но мясо и мясо.

После я уже не рассматривал так подробно трупы и не находил в них столько жуткого.

Сжималось сердце при виде своих убитых. Причем особенно это грустно и больно, когда лежит боец в одиночку под своей шинелькой, лежит под каким-то кустом, на снегу. Где-то еще идут ему письма по полевой почте, а он лежит. Далеко уже ушла его часть, а он лежит. Есть уже другие герои, другие погибшие, и они лежат, и он лежит, но о нем уже реже вспоминают. Впоследствии я убеждался, что в такой суровой войне необыкновенно легко забывается отдельный человек. Убит, и все. Нужно еще удивляться, как удерживается какое-нибудь имя в списках награжденных. Все, все подчинено главной задаче — успеху, продвижению вперед. А если остановиться, вдуматься, ужаснуться, то сил для дальнейшей борьбы не нашлось бы.

Нам стало жутко на этой поляне смерти, и мы повернули назад и встрстили вскоре охранение батальона. Тут уже начало вечереть. Вскоре вся колонна подтянулась к шоссе, в которое уперлась наша дорога. По пути, на поляне, мы обратили внимание Макарова на какие-то фигуры справа, то приподнимавшиеся, то скрывавшиеся за камнями. Макаров приказал Раевскому выяснить, и мы видели только, как из роты Раевского отделилась группка бойцов и пошла в целик по снегу вправо. Кажется, это были наши саперы, обследовавшие местность.

По шоссе шла бесконечная вереница танков, орудий, грузовиков. Они подхватили и нас. И мы вновь пошли с Макаровым, пока он не велел подать себе своего Росинанта (он как-то очень трогательно исказил это слово — отчасти по картавости, отчасти потому, что вряд ли читал «Дон-Кихота»). Тут Сергей Иванович намекнул, что мы голодны. Было очень тяжело видеть, как Макаров, при всей его готовности сделать что-нибудь, ничего не мог сделать. Кухни были уже пригашены, ничего не было. Пришлось ждать ночевки в Перк-Ярви.

Мы потеряли стыд и совесть, попросились именем на-

шей благородной профессии в какой-то закрытый грузовик, где было не то радио, не то электроустановка и два бойца. Там мы сели, как могли, и закачали головами. Сергей Иванович вскоре заснул, как обычно. Меня томил голод. Грузовик шел по какой-то дороге, ветви каких-то деревьев стегали его по крыше, нас качало, подбрасывало. Закуривая, я при свете спички успел заметить хлеб в ящике с инструментами. И вдруг неожиданно для себя очень жалобно попросил «хлебца» у бойцов. Они дали, но без особой готовности. Я отрезал своим товарищам по ломтику и себе, заморил червяка и заснул.

Проснулись в Перк-Ярви, во дворе дома, занятого штабом 68-го полка. Пробрались в штаб, были радостно и приветливо встречены полковником Коруновым и старшим политруком Пьянцевым, накормлены, напоены чаем.

Тут произошел случай с выстрелом в штабе, в соседней и смежной с нами комнате, который мы часто потом вспоминали и рассказывали. Кто-то держал руку в кармане ватных штанов, где у него был трофейный «вальтер» без кобуры, и по забывчивости отвел предохранитель и нажал на спуск. Но это выяснилось спустя несколько минут. А в ту минуту это был выстрел в только что занятом штабом помещении, где можно было ожидать в той обстановке чего угодно. Запомнилось, как полковник Корунов, немолодой уже, «папашистый» мужчина в ватнике, под ремнем без портупеи, когда все ринулись было на пол, мгновенно бросился к двери той комнаты, где грохнул выстрел, выхватив наган...

Утром, часов в шесть, полковник созвал командиров батальонов. Мы встретились с Макаровым, который, видимо, ночевал у костра, был еще более утомлен, почернел и не то обижен на нас, не то испытывал неловкость за то, что не накормил нас и что все так вышло. Скорее первое.

Взяв беседы — Вашенцев у Корунова, я у Пьянцева и еще кое у кого, побеседовав, между прочим, со знаменитой Хованской (очерк Вашенцева «Паша Петровна»), мы поехали домой. Долго не могли выбраться из этого обгорелого и побитого городка, линия фронта была в непосредственной близости, когда никого своих на дороге — уже беспокойно.

Из этой поездки запомнились, кроме истории с выстрелом, такие забавные мелочи. Полковник получил как

раз посылку из дому. Мармеладные конфеты были частично залиты почему-то керосином. Комиссар разостлал у себя на коленях какой-то платок или салфетку и презабавно отбирал неиспорченные от испорченных конфет, каждую беря пальцами и долго и подозрительно нюхая.

Еще занятно, как мы боялись, хоть и смеялись сами над собой, оправляться — на дороге человек, а по обочинам и в канавах всюду предполагались мины. На этот предмет мы даже сочиняли в машине глупые и малоприличные частушки.

Из этой поездки у меня, помимо газетного материала, было еще стихотворение «На привале» — первое сносное стихотворение мое в «На страже Родины»:

Дельный, что и говорить,
Был старик тот самый,
Что придумал суп варить
На колесах прямо.

В середине месяца ездили в Кронштадт. Затея эта называлась «обмен опытом». Описывать почему-то не хочется. Впечатления слишком поверхностны и наивны. И потом это дело случайное.

Следующая поездка на фронт была в 43-ю дивизию, стоявшую под Киркой-Муолой. Вечером мы были на совещании у комиссара дивизии, куда нас не очень охотно пустили. Нас очень звал к себе ночевать командир 181-го полка, а ночью, между прочим, там была заварушка, финны попытались окружить штаб, но были отбиты.

В эту поездку мы начали понимать, что на подступах к укрепрайону наши несут большие потери.

* * *

181-й полк. Комиссар Терехов, командир Гноевой.

Комроты Дергачев, беспартийный, проникнул с разведгруппой в глубь 48-й. Вел там бой в окружении три или четыре часа. Убит. Четверо раненых. Даже говорили, что неизвестно, убит ли Дергачев или захвачен в плен.

Все это было еще в новинку, казалось чем-то необычайным, а что еще было потом!

Начинж Федоров столкнулся с финским офицером, залегшим за камнем метрах в двадцати пяти. У Федорова пистолет, и у того — парабеллум. Началась дуэль до последнего патрона у Федорова. К счастью, у него

еще была финская трофейная граната. Он изловчился и метнул ее в офицера. Убил, подобрал парабеллум.

Этот Федоров потом наводил мост через канал, соединяющий два озера. Под огнем. Под прикрытием нашего артогня. Всю ночь до рассвета работали. Раненный утром в руку, Федоров просидел под своим мостом до новой ночи, охраняемый по-прежнему с опушки леса своими.

Связист Иоффе, продавец из Ленунивермага, очень плохо и неполно описанный мною в стишке, по рассказам, очень замечательно работал. Наводил связь в любых условиях. Когда один взвод пехоты попал под огонь, командир растерялся, не мог ни рассредоточить людей, ни вывести их из-под огня. Иоффе решил, что комвзвод убит, и, приняв на себя командование взводом, вывел его из-под огня, в том числе и самого комвзвода. С тремя товарищами, ведя связь, в лесу был окружен бандой. Принял бой, гранатами проложил себе дорогу и выбрался без потерь к своим.

Я его не видел, может быть, поэтому и написал так плохо.

Младший политрук Смирнов Иосиф Егорович. Очень молодой, высокий, грубокостный парень. Лицо свежее, наивное. Был в мирное время работником клуба, теперь при комиссаре.

— Товарищ писатель, младший политрук Смирнов явился по вашему приказанию.

Я просил вызвать его, узнав, что он ведет дневник. Дневник он вел с первого дня кампании в желтой «Полевой книжке» старательным и форсистым почерком, какой бывает у не очень грамотных людей.

Он описывает впечатление от артподготовки, самый переход границы, первые потери (на минах).

«Потеря товарища нас в панику не бросает и не заставляет бояться за свою собственную жизнь, нет, наоборот, это делает тебя еще мужественнее, и ты проникаешься чувством жестокой мести врагу за товарища.

Противник применяет хамские средства борьбы. Еще три товарища... Два танкиста и санинструктор. Корольков, командир танка, проводит ночь в танке, обстреливаемом финнами. Он в страшном беспокойстве за своих товарищей — башенного Калашникова и водителя Тарасова. А те в момент выхода из машины попали на мину и были убиты. Сам Корольков был только контужен.

Погибших похоронили. Речь произнес комиссар Терехов. Потом был произведен троекратный ружейный салют».

Эта запись Смирнова свидетельствует о тех жертвах войны, которые вскоре перед фактами новых и более значительных жертв были если не забыты, то никого уже не волновали. А люди-то поплатились тем же, чем и другие, может быть, бóльшие, чем они, герои,— жизнью. И так в войне все забывается по мере нарастания — менее значительно вчерашнее перед более значительным сегодняшним и завтрашним. Но когда перейден самый страшный рубеж, произошли самые большие бои данной кампании, тогда уже помнят только это, а последующее, когда люди тоже умирают, но не на столь важных для исхода войны высотах и т. п.,— все это уже почти не учитывается. Трудно на войне выбрать день, когда наиболее выгодно погибнуть, выгодно — в смысле того следа, который оставит твой подвиг и гибель в памяти товарищей, армии, народа.

«В составе 6-й стрелковой роты иду в бой. Организовываю перебежки 3-го взвода.

История с коровой, которая, позвякивая колокольчиком, пришла на командный пункт и наделала переполоху (не выписал).

Утро. Меняем командный пункт. Первый раз за все время этого похода ложусь спать в хорошем уютном доме. Быстро засыпаю. Вижу много снов, в большинстве из боевых действий».

Он так юношески здоров, этот молодой политрук, так восторжен и неутомим душевно, что каждый день войны для него — праздник. Даже потери товарищей не угнетают его, потому что его не пугает мысль о собственной смерти или ранении. Он к этому готов и счастлив от сознания, что и ему довелось быть там, где все так всерьез. Война вообще — для людей либо самых еще молодых, не привязанных к жизни цепкими мелочами и прочим, либо для людей, переживших уже все искушения личного существования, стоящих духовно выше собственной физической данности, спокойных и равнодушных ко всему, кроме исхода данной операции, данной кампании.

Четвертого числа Смирнов получает от Терехова (комиссара) задание войти в комиссию по передаче ценных вещей и имущества, оставленного бежавшими торговцами и др., нашим тылам — «для раздачи бедноте».

«Работу спешу закончить побыстрее, так как хочется попасть к моменту атаки в 3-й батальон и идти с ними в бой.

Десять часов убийственная орудийная стрельба по противнику. Комиссар и штаб уже уехали на новый командный пункт. Быстро налаживаю свои трофейные финские лыжи. В течение нескольких десятков минут догоняю их на расстоянии 3—4 км.

Комиссар на этот раз разрешил пойти в наступление».

На другой день Смирнов дописывает:

«Я был рад. Быстро становлюсь на лыжи и догоняю свои передовые подразделения. Небольшое напряжение, и я догнал главные силы. По дороге мне красноармейцы передали захваченный у финнов их государственный флаг. Привязав его к полевой сумке, двигаюсь дальше. По дороге опять останавливают бойцы и просят, чтоб я ехал с ними и рассказывал последние новости. Не успел я приступить к рассказу — вылетел на своем сером коне артиллерийский лейтенант Кузменко и со всего галопа наскочил на меня. Если б не бойцы, пришлось бы погибнуть бесславно, да к тому же очень глупо. Отделался без повреждений.

Затем вырываюсь вперед и с передовым подразделением иду в разведку. Проходим несколько населенных пунктов, которые противник не успел сжечь, не встречая ни одного выстрела.

20.00. Входим в пункт, намеченный приказом дивизии,— Тэллкяля. Все кругом горит. Противник это сделал для того, чтобы лучше видеть наше продвижение. Своего он добился. Мы были замечены. И открылась бешеная ружейно-пулеметная стрельба. Мы сразу же припали к земле. Необходимо нам залезть в канаву. А чтобы пробраться туда, нужно сломать изгородь. Быстро прикладом отбиваю одно из перил. Обстреливают, но мне удается подлезть под изгородь, и я на спине выдергиваю всю перекладину с кольями. Не успел перебраться в окоп, как враг с высотки послал несколько очередей из пулемета, но обошлось все благополучно. Пули просвистели у самого виска, даже не ранив. Через несколько минут со стороны противника началась сильная орудийная стрельба по нас. Даем ответ из минометов и полковой артиллерии. Противник замолкает. С боем занимаем дер. Тэллкяля (точне выражаясь, не деревню, а несколько

труб и печек). В одном из уцелевших домов расположились на четырехчасовой отдых. Пришел капитан Марченко.

— Меняйте расположение, иначе в тридцати — тридцати пяти метрах расстреляют финны».

Сколько нужно энергии, живейшего интереса к происходящему и юношески ясного и бесстрашного отношения ко всему, чтоб просто найти силы и время для ведения этих записей.

Над одной записью карандашом приписано:

«Последние неразборчивые строчки были написаны мной в полусонном состоянии, в 4 часа утра».

Безусловно, автор делал лично гораздо больше, чем сам отмечает. После, например, описания наступления с ротой Хохлакова идут такие строчки:

«Описывать все, что произошло, я не желаю, ибо считаю это не совсем правильным для себя...»

«6.XII. Лейтенанты Бастяев и Зиньков отправились в разведку. Противник выпустил их из лесу, а потом — огонь. Мы начинаем вести огонь по противнику, не зная, что впереди наши товарищи. Видим, ползет по канаве фигура к нам. Финн? Сдающийся? Окружены? Приказываю не стрелять. Оказывается, наш боец, посланный Бастяевым для предупреждения. Высылаю танк, чтоб эвакуировать Бастяева и др. Отходя под прикрытием танка, Бастяев получил контузию, по рассказам, и пропал без вести».

В записях наряду с патетически-приподнятыми моментами наличествует и своеобразный, непритязательный юмор. В одном месте автор говорит, что кое-кто из его товарищей, боясь умываться снегом, оберегая «цвет лица», утратили всякий цвет такового» — то есть стали страшно грязны.

Повара Мирошкина, сообщает он, за фамильярность и пререкания с командованием прозвали «поваром-демократом».

Миска, найденная им в одном из домов и приспособленная к делу,— «братская миска».

Хорошие мясные щи — «наступательные».

Размышление о смерти он заканчивает словами: «Поживем — увидим, кто из нас сильней».

Пушки полковника Самняна — «кормилицы».

Кроме газетной заметки на основе этого дневника и «Бориса Иоффе», из этой поездки я привез еще «Рас-

сказ танкиста». Из этого стихотворения еще что-то может получиться [1].

Поездка в 90-ю дивизию.— Выехали поздно в Райвола заночевали. Райвола — это еще был фронт. Не забыть картины этой большой армейской жизни в поселке, которому довелось стать историческим. Там был штарм, там был член Военсовета. Стояли с заведенными моторами танки, часовые тревожно и тщательно проверяли пропуска, на ночь предупреждали, как вести себя в случае тревоги. В Райвола нас, в сущности, задержали. Это был чуть ли не первый день действия приказа о запрещении въезда на фронт всем штатским людям — корреспондентам, писателям, артистам и т. п. При нас заместитель начальника Пуарма звонил члену Военного совета — можно ли нас пропустить. Выдали нам командировки от Пуарма. Выехали мы рано утром, в темень глухой декабрьской ночи. Ехать было местами страшновато, но приходилось быть внутренне посрамленным и вместе обрадованным всякий раз, как в морозном тумане вдруг выделялась фигура регулировщика, одиноко проводящего ночь у костра близ дороги.

Приехали часов в 10—11. Шла артподготовка. Возле батарей пахло кузницей. За линией огня было неприятно идти — слыша над головой свист, шелест, визг и проч. Причем не знаю и сейчас, какая пушка бьет так противно — звук выстрела не округлен никаким гулом,— жесткий, хриплый, мучительный для перепонок — как шилом в кость.

---

[1] Среди полученных мною поздравлений к Новому 1968 году было следующее письмо:

«Многоуважаемый т. Твардовский!

Вам будет странно и трудно вспомнить, от кого это поздравление. Но я часто вспоминаю Вас, когда вспоминаю годы войны, это было 28 лет назад, во время войны с белофиннами.

Мы, танкисты, шли в наступление, подойдя к заминированному лесному завалу, в это время Вы подъехали к нам. Я был комиссаром 161-го отдельного танкового батальона, 40-й танковой бригады. Проверив, кто Вы такой, передал с Вами политдонесение. И потом Вы написали о «Казбеке», когда под Кирка-Муола в моем танке механик-водитель старшина Дегтяренко был убит, а заряжающий Лебедев попросил у меня закурить, я ему отказал во избежание опасности курить в танке. Вы об этом писали, правда! Т. Лебедеву не суждено было жить, в другом бою он повис на танке, сраженный пулей врага. Вот кратко я напоминаю Вам, кто я такой.

А эту, большую, войну после прорыва блокады Ленинграда прошел с боями до Берлина. Сейчас в отставке. Вот пока и все.

С ком. приветом *М. И. Ламнусов*».

На командном пункте дивизии мы были в момент наступления. Дела шли явно плохо. Это было последнее наступление на укрепленный район в декабре. Командир дивизии грозил командирам полков, командир корпуса, присутствовавший в землянке, вмешивался в каждый телефонный разговор, добавлял жару:

— Вперед. Немедленно вперед...

Вскоре же картина целиком выяснилась. Наши лежали на снегу у проволоки, продвинувшись на несколько десятков метров. Они не могли ни продвинуться вперед из-за исключительно точного огня из укреплений, ни уже отойти назад. Они лежали, и противник их расстреливал постепенно. Танки помочь не могли. Они сразу же выводились из строя.

По телефону доложили, что один танк возвращается пробитый, командир не то ранен, не то убит. Через несколько минут в землянку спустился человек и как диковинку протянул в ладони блестящий, маслянистый от крови 37-миллиметровый снаряд противотанковой пушки. Снаряд только что извлекли из тела танкиста, который, между прочим, был жив, в сознании и чувствовал себя сносно. Снаряд пробил бронь танка, вонзился в плечо танкиста, но не разорвался.

— Унеси эту штуку отсюда,— приказал кто-то из начальства.

Помнится, чаще всего говорили с комполка Бондаревым.

— Мелкими группами вперед! Не лежать...

Вскоре стало известно, что комиссар Лаврухин, пошедший поднимать людей, убит. Вечером я писал в дивизионной редакции стихи, посвященные его памяти.

К вечеру мы были на командном пункте полка. Когда стали близко рваться снаряды — ушли. В лесу разрыв тяжелого снаряда — жуткое и вместе исключительно красивое зрелище (конечно, это можно отметить, только находясь на порядочном расстоянии от места данного разрыва). Кажется, что снаряд вырывается из глубины земли, раздвигая, разваливая в стороны сосны.

Между прочим, когда мы еще шли на КП, я сказал, что вижу наши снаряды в полете. Я отчетливо видел некоторые из них в полном соответствии со звуком. Летит, вертясь, как кажется, вроде волчка черный комочек с камень, какой можно запустить на небольшое расстояние, и, совершая траекторию, скрывается за лесом. Надо

мной стали смеяться. Мол, как же вы можете видеть снаряд, когда он летит со скоростью, скажем, семьсот с чем-то метров в секунду. Однако нашелся добрый человек, артиллерист, который подтвердил, что снаряд действительно можно видеть в полете, если смотреть ему прямо в затылок, то есть находиться как раз на линии полета.

К вечеру же мы видели, как потянулся поток всякого транспорта с передовой — везли раненых. Их везли на машинах, на танках, на санях, на волокушах, несли на носилках. Запомнилось на всю жизнь: везет боец раненого. Лежит он в санях на животе, протянув вперед темные, окоченевшие, должно быть, руки, и тихо, невыразимо жалостно стонет. Как собака — пусть и недопустимо такое сравнение. А возчик почмокивает на лошадь, подергивает вожжами и будто бы сурово и даже недовольно к лежащему:

— Больно, говоришь? Руки, может, замерзли? Сказал бы, что замерзли. Я тебе вот рукавички дам. Дать? А то возьми. Они с рук — теплые. Возьми, слышь...

Еще, помню, шел довольно быстро танк, и на нем лежал один легко раненный боец, обнимая сверху двоих, по-видимому, тяжелых, придерживая их.

Финский снаряд разорвался поближе — черный столб земли взметнулся чуть не вровень с соснами и, как вулканический выброс, тяжело и даже медлительно опал на белый снег.

Саперы выравнивали дорогу, по которой эвакуировали раненых, подпиливали пеньки, спиливали бугры, гатили болото.

К ночи стало очевидно по общему настроению, что успеха нет. В районе КП дивизии бойцы начали углублять и утеплять землянки.

На ночь была задача сменить людей, лежавших в снегу. Это было сделано, кажется, только к рассвету.

Из этой поездки я возвратился в тяжелом состоянии подавленности, какого-то недоумения. Это все было очень тяжело видеть в первый раз и справляться внутренне с этим самому.

Поздним вечером я ходил с младшим лейтенантом Колобковым в медсанбат. Это — очерк «Беззаветная работа». Здесь я, между прочим, впервые узнал о самострелах, «эсэсах», как их еще называют.

Военврач Печатникова М. З.:

«Бывает, что к вечеру расстроишься от всего этого и поплачешь, а днем, правда, некогда».

Финна с отмороженными ногами пришлось после перевязки эвакуировать отдельно — столько было ненависти у наших раненых.

«Сдунешь снег с лица — жив? Мертв?»

В эту же поездку мы узнали о большом заходе белофиннов в наши тылы 23.XII. Рассказывали, что финны были страшно голодны. Они напали на наши обозы, и большинство их убитых остались с краюхой закушенного хлеба в руках или с буханкой, крепко прижатой к груди. В диковинку еще было, что финны везли пулеметы по снегу в специальных лодочках.

* * *

В редакцию поступила корреспонденция от военкора П. Критюка о героической смерти комсомольца связиста Виктора Зеленцова.

Зеленцов исправлял по заданию комбата старшего лейтенанта Барцева линию связи огневой позиции с наблюдательным пунктом, когда его окружила большая группа белофиннов — человек сорок. Залег, стал отстреливаться. Во время перестрелки был ранен в грудь и в руку. Финны бросаются к нему, он, собрав последние силы, бросает одну за другой две гранаты. Гранатами были убиты на месте двадцать три финна. Больше о Зеленцове ничего не известно.

Нам с Вашенцевым было задание — разыскать часть, откуда Зеленцов, расспросить о нем все и у кого будет возможно, посвятить герою полосу. Передовую уже написали по корреспонденциям, но решили все придержать и дать разом. В газете, следовательно, покамест не было ни строчки об этом деле. Был слух, что что-то такое дала «Боевая». По почтовому адресу определили полк — 47-й КАП. В Райволе пошли к начарту 7-й армии, ныне Герою Советского Союза комдиву Порсегову. Он встретил нас хорошо, прочел корреспонденцию.

— Гм. Да. Это было, было. В корпусе вам скажут подробнее. А пока что я вам хотел указать на других наших замечательных героев.— Тут он, между прочим, назвал людей батареи Маргулиса, где мы в следующую поездку и побывали.

Приезжаем к начарту корпуса.

— Да. Гм... В полку скажут подробнее.

Приезжаем в полк (а до того еще справлялись у

начарта дивизии), проверяют по спискам. Нет такого. Нет и нет. Наконец кто-то вспоминает, что Критюк — личность известная — артист, эстрадник по профессии. Но где он — черт его знает. Дальше выясняется, что один дивизион этого полка остался на Петрозаводском направлении. Возможно, он там был — Зеленцов. Следы потерялись. Потом стали к этому относиться, как к легенде. Потом столько было других героев, что об этом забыли. В списках Героев СССР его нет.

Поездка в поисках Зеленцова навела нас на 28-й КАП, где была знаменитая батарея Маргулиса. Туда мы поехали в следующий раз, а в этот раз были только в 47-м КАП, где в момент нашей беседы с начальником противник открыл огонь по землянке командного пункта (там была прежде батарея, засеченная, по-видимому, финнами). Мы сидели и делали вид, что продолжаем беседу, но командир полка заметно нервничал, особенно когда оказалось, что связь с батареей, которая могла открыть ответный огонь, прервана. Адъютант вваливался и, бледный, попросту перепуганный, докладывал о новых раненных снарядами у машин, у медпункта. Всего восемь человек; один, кажется, смертельно — в живот. Шофер наш отлеживался в ямке у своей машины, фотокорреспондент Бернштейн только что предложил радисту расположиться у своих аппаратов, чтобы снять его, как начался обстрел, и радист был ранен.

Вашенцев беседовал с молоденькой лекпомшей, очень молоденькой, красивой, разбитной, розовощекой. Он был смущен, что от нее пахло водкой — она, видно, только что приняла «спецпаек». Я — с комиссаром, который мне не понравился, и записывать от него было нечего. Затем мы, осмотрев места разрывов, пошли питаться в землянку комиссара.

Интересно было видеть, что в лекпомшу влюблен весь этот гаубичный полк — от комиссара и командира до какого-нибудь бойца.

Подобные явления потом доводилось наблюдать и в других частях.

28-й КАП.— До записей, связанных с поездкой в этот полк, надо не упустить кое-что из того, что в записной книжке перечислено реестриком.

Пейзажи.— Сильная и суровая красота этих мест порой просто наполняла душу какой-то торжественностью

и грустью. Леса в снегах; валуны огромные, как дома, как копны сена, как...

Что-то древнее, могучее, северное, печальное.

И в этих лесах, снегах уцелевшие кое-где дома свидетельствовали об особой культуре жилья, теплого и уютного, о традиционной строгой домовитости. Чудесные финские печи вроде наших «бураков», но меньше, изящней и во много раз продуктивней. Два полена — и печка тепла и способна держать тепло хоть всю ночь.

Потолки в домах-дачах, домах вообще зажиточных жителей, подшитые вагонкой. Окна большие, но не итальянские, которые как-то лишают комнату, жилье вообще уюта и уменьшают вместительность его.

Как вообще выглядели эти места, полностью представить себе невозможно. Жилье дополняет пейзаж, прямо-таки меняет его, а по Выборгскому направлению уцелевшие дома — редкость. Трубы, трубы с печами на огнищах, правда, потом занесенных снегом. Стоит печка. Она уцелела. Вот загнетка, над ней кожух, какой над очагами когда-то делался. И этот символ уюта и домашности обвевается вьюгами, запорошен метелями. А мимо несутся машины, гремят и повизгивают гусеницы танков и тракторов, скрипят сани на буксире у грузовиков.

Все время, между прочим, было такое ощущение, что нечто громадное и необычное еще впереди, что еще будет, будет всего. То едут какие-то невероятные пушки, какие и артиллеристы не все видели, то какие-то приспособления, щиты, бронесани, то еще черт знает что пододвигается, подтягивается силой несчетного, несметного количества моторов и меньшего, но все же значительного — коней, заиндевелых, лохматых тяжеловозов.

Закаты — не верилось, что тут всегда и до нас были, и после нас будут такие закаты. Казалось, что в них краски пожаров и крови — так ярки, красноогненны они были на фоне снегов синеватых, голубых, затененных темно-зелеными елями. Осенью, видя рождественские финские открытки, я думал, что это только на открытках такие подкрашенные снега и такие закаты. Но и в действительности они такие. Только на открытках пропадает величие и суровость пейзажа, остаются обезжизненные краски.

Тишина здесь тоже особая. Вдали от линии фронта иногда наступала такая тишина (может быть, это по контрасту, после канонад и пр.), что в соединении с одно-

образным видом снегов, камней и хвойных лесов создавалось впечатление, как будто Земля уже остыла или все это где-нибудь на Луне.

Днем же бывала еще дикая голубизна неба, что можно ее, пожалуй, сравнить только с южной голубизной. Только та гуще, а эта прозрачней. И тени днем были голубые и еще какие-то — не могу назвать.

В такие дни особенно много было в небе самолетов, но это не были загородные учебные вылеты — это были боевые вылеты. В эти ясные, голубые дни появление этих самолетов по ту сторону линии фронта, наверно, производило сильное впечатление.

Животные.— Что не успевали финны забрать с собой, старались уничтожить на месте. Скот часто резали. Но все же оставались коровы, бесприютно бродившие по снегу, пока их не прибирали к рукам.

В редакции дивизионной газеты (90-я) жил курчавый пес Белофинн. Котов нескольких я видел в землянках у бойцов. Одного я 14.III взял у пустого и холодного дома на окраине Выборга. Отогрел его под полой полушубка, и он замурлыкал. Большой старый кот — шерсть с проседью. Отогревшись, начал куда-то стремиться. Отпустил.

Одного жеребенка, рассказывают, артиллеристы наши долго подкармливали хлебом и пр. Так он и шел с батареей. А там его, возможно, убило осколком или пулей. А может, и до сих пор живет и будет хорошим конем.

20.IV.40.— Переписывая в тетрадь карандашные записи для порядка, я все время думал о том, что же я буду писать о походе всерьез. Мне уже представился в каких-то моментах путь героя моей поэмы. Переход границы, ранение, госпиталь, следование за частью, которая ушла далеко уже. Участие в решительных боях. Какое-то знакомство с девушкой — лекпомом или сестрой. Но ни имени, ни характера в конкретности еще не было.

Вчера вечером или сегодня утром герой нашелся, и сейчас я вижу, что только он мне и нужен, именно он. Вася Теркин! Он подобен фольклорному образу. Он — дело проверенное. Необходимо только поднять его, поднять незаметно, по существу, а по форме почти то же, что он был на страницах «На страже Родины». Нет, и по форме, вероятно, будет не то.

А как необходимы его веселость, удачливость, энергия и неунывающая душа для преодоления сурового материала этой войны! И как много он может вобрать в себя из того, чего нужно коснуться! Это будет веселая армейская шутка, но вместе с тем в ней будет и лиризм. Вот когда Вася ползет, раненный, на пункт и дела его плохи, а он не поддается — это все должно быть поистине трогательно.

Благодаря тому, что в первый раз он ранен в начале кампании и что, отоспавшись в госпитале, он, где пешком, где с оказией, пробирается через весь Карельский перешеек, ему удается видеть очень много — тылы, дороги и т. п. Тут столько может быть занятных моментов. Нет, это просто счастье — вспомнить о Васе. И в голову никому не придет из тех, что подписывали картинки про Васю Теркина, что к нему можно обратиться и всерьез. Моральное же мое право на Теркина в том, что я его начинал, в том, что я правил чужие подписи к картинкам Брискина и Фомичева, и, главное, в том, что никто за это дело не возьмется, а если возьмется, то не сделает так, как это сделаю я, если все пойдет по-хорошему.

Вася Теркин из деревни, но уже работал где-то в городе или на новостройке. Весельчак, острослов и балагур вроде того шофера, что вез меня с М. Голодным из Феодосии в Коктебель [1].

Теркин — участник освободительного похода в Западную Белоруссию, про который он к месту вспоминает и хорошо рассказывает. Холост. Очень умелый и находчивый человек. Играет на чем придется — балалайка так балалайка, гармонь так гармонь.

Хоть в бою, хоть где невесть —
Но уж это точно —
Перво-наперво поесть
Вася любит прочно.

Он умеет и кашеварить. На походе случается ему и блины печь, и курицу жарить, и корову доить.

В нем сочетается самая простодушная уставная дидактика с вольностью и ухарством. В мирное время у

---

[1] В тетради, которая по времени предшествует этой, запись: «1.IX.39. Феодосийский шофер. Это тот герой, которого как раз недостает в нашей литературе,— весельчак, балагур, остряк в любую минуту жизни и т. п. Я попытался бы сделать что-нибудь из него в стихах, но для этого нужно бы от него больше наслушаться».

него, может быть, и не обходилось без взысканий, хотя он и тут ловок и подкупающе находчив. В нем — пафос пехоты, войска, самого близкого к земле, к холоду, к огню и смерти.

Соврать он может, но не только не преувеличит своих подвигов, а наоборот — неизменно представляет их в смешном, случайном, нестоящем виде.

При удаче это будет ценнейший подарок армии, это будет ее любимец, нарицательное имя. Для молодежи это должно быть книжкой, которая делает любовь к армии более земной, конкретной.

Даже в нравах армии это может сделать свое дело — разрядить немного то, что в ней есть сухого, безулыбочного и т. п., не подрывая ничуть священных основ дисциплины. Одним словом, дай бог сил! [1]

21.IV.40.— Вчера — 20.IV — принят единогласно в члены ВКП(б).

Придется нарушить последовательность записей и привести в порядок самые последние записи, сделанные в 35-й орденоносной танковой бригаде (откуда Кошуба [2]). В бригаде двенадцать Героев Советского Союза.

Командир роты 112-го батальона — капитан Архипов Василий Сергеевич. Скромный, красивый, необычайно простой и симпатичный. Только мочка правого уха с чего-то разрослась в заметную шишку — это так портит красивое, мягкое и спокойное его лицо, что, когда глядишь на него, стараешься не замечать шишку, «отмысливать» ее. Из крестьян-бедняков Челябинской области. Родился в 1906 году. До 1921 года ходил в пастухах у кулака Колесникова в селе Тютеняры. Окончил три класса сельской школы, после учился в школе взрослых. В армии, в 1931 году, окончил пехотную школу младших командиров и остался на пожизненную службу. В январе 1940 года награжден орденом Красного Знамени.

---

[1] Первоначальный замысел «Книги про бойца», самый момент находки образа «Теркина» и все тогдашние предположения насчет будущего его развития — все это для меня самого было как бы в новость, когда я напал на эти записи почти тридцатилетней давности, до которых почему-то не добрался во время работы над статьей «Как был написан «Василий Теркин».

[2] В это время я был занят совместно с С. Я. Маршаком работой — очерком о Герое Советского Союза генерал-майоре В. Н. Кошубе, напечатанным в том же году в «Знамени».

Из беседы с В. С. Архиповым.— Миновали 2.XII деревню Ликуа. Получен приказ обойти противника с левого фланга.

Ночь. Противник ведет минометный и орудийный огонь. Роте удалось выйти на исходное положение. Вывели за собой один из стрелковых батальонов 461-го полка. 3-го утром майор Калядин, впоследствии погибший, поставил мне задачу сделать сорокаминутную танковую артподготовку.

Впереди — роща, противотанковый ров, завалы и пр.

Вслед за артподготовкой — пошли в наступление. Местность труднопроходимая. Протискивали танк танком. Дошли до рва (два метра на два). Политрук Анаскин (после погиб в этом же бою) первым вышел из танка. Под огнем стали наводить мост через этот ров. Обрубали деревья из завалов и таскали бревна на мост. Перебрались с двумя своими взводами и одним стрелковым подразделением. Ворвались в деревню Монтельки и вышли к деревне Мяктяля. Главные силы прошли свободно по нашим следам.

За станцией Раута у Паркемяки противник опять открыл сильный огонь. Машина лейтенанта Макеева получила шесть пробоин и осталась на территории противника. Макеев пять часов находился под танком и в танке (механик-водитель у него был ранен), чинил машину в пятидесяти метрах от противника и вывел ее. Чинил он провода стартера, чтобы можно было заводить изнутри.

Утром деревню Мяктяля заняли.

17—21.XII — рота каждый день ходила на высоту 65,5 во взаимодействии с батальоном 255-го стрелкового полка (Титов). Так, 19.XII после артподготовки — пошли. В надолбах был один, и довольно узкий, проход. Мой танк, шедший впереди, был подбит — бензобаки — и загорелся. Выскакиваем из машины, приказываю экипажу укрыться в окопе, а сам влезаю в танк младшего командира Судакова. Надолбы мы прошли. Стали бить снарядами по дотам — горох об стену. Пехота подошла к надолбам.

Действовавшие с нами два «Т-28» заблокировали центральный дот, дали мне с одним взводом пройти вперед, сами остались на месте.

Система огня противника была в силе. Выбито было три танка. Погибло пять человек. Высота до 23 часов

была под нами, но ввиду того что система дотов не была нарушена, мы по приказу отошли.

— Задачу вы выполнили,— сказал командир полка. То есть мы разведали боем высоту, обнаружили новые точки и т. д.

20.XII мы опять ходили на высоту, но опять ее не удержали.

21.XII младший командир Туган (сейчас в госпитале) уничтожил одну пушку противника.

Январь был месяцем учебы, наблюдения и т. п. Провели двенадцать занятий во взаимодействии со стрелковыми полками. Учили пехоту не отставать от танков.

11.II.40. Общее наступление. Действовали мы с 1-м батальоном 272-го сп (123-я). Я шел с ротой во втором эшелоне, развивал успех. Скоро пришлось броситься в бой. Я перевалил за высоту 65,5. Справа — большой ров, а нам нужно справа обходить противника. Перелезли. Второй ров отрезал нас от опушки рощи «фигурной», до которой было метров двести. За рвом — траншеи. Противник ведет сильнейший огонь, не давая нам строить мост. Мы и 12-го еще не могли перейти этот ров.

13.II — была поставлена задача преодолеть ров. Утром был сделан единственный для всей дивизии проход через ров. Первым прошел я, младший лейтенант Сачков, лейтенант Найловков и командир 3-й роты Кулабухов (ныне Герой Советского Союза). С опушки рощи нас встречает 152-миллиметровая батарея противника. Мой башенный Дмитриев, заметив ряд касок, торчавших из траншеи, поперек которой стоял наш танк, открыл осколочный огонь по траншее. В это время наша пехота вскочила в траншеи. Двадцать финнов было взято в плен. Батарея противника продолжала бить. К вечеру к батарее подошел взвод больших танков 13-й бригады, два батальона 245-го и 272-го полков, моя рота в составе двух взводов и взвод Кулабухова. Землянки-блиндажи обнаружил мой лейтенант Клецов (направляющий взвода). Они были охвачены «БТ» и нами.

Ставлю задачу атаковать эти блиндажи. Танки открывают огонь. Пехота бросается в блиндажи. Уцелевшие финны бегут.

Взвод Сачкова имел особую задачу — выйти к дороге и обогнуть рощу «фигурную» с запада. Его встретил огонь из противотанковой пушки. Эту пушку Сачков

уничтожил. Вторая ударила в его пушку, но эту, вторую, раздавили вскоре «БТ».

Командование 272-го сп оценило работу роты как отличную.

21—22.II. Действовала моя рота с 245-м сп (комполка Рослый). Пехота заняла траншею и дзот. Роте было приказано удержать занятую позицию. Всю ночь я отбивал контратаки. Танки выходили по три, расстреливали свои снаряды и патроны и, возвратившись, служили заслоном для пехоты, а другие шли опять. Тут действовал один огнеметный танк. Жутко было видеть, как двадцати-,тридцатиметровая струя огня выбрасывалась в сторону противника, сжигая все, а главное — наводя ужас, и невозможно было представить этот огонь обращенным в нашу сторону.

Позиции были удержаны.

Утром взводы посменно заправились горючим. Дзот в результате действия огнемета и вообще всех остальных огневых средств обнаружился. В дзоте было человек пятнадцать финнов, от них остался только пар... Рота противника, сидевшая в траншее справа, бежала в панике и была настигнута нами только в деревне Селенмяки(?).

Радиоустановка играла «марш атаки». Всеобщее воодушевление было необычайно велико. «Ура», не прерываясь, гремело по всему лесу.

Вышли из Селенмяки, за рощу, и там встретили два действовавших орудия противника. Первое — противотанковое — сразу уничтожили, а вслед затем и 76-миллиметровое. Продолжали победное продвижение вперед. Дня через два взяли полустанок Ханиниеми — заняли его северную окраину. Около роты пехоты взяли на танки и километра два-полтора продвинулись еще до наступления темноты. Ночь провели в обороне.

Утром 26.II противник пошел в контратаку. Кроме моей роты, здесь был 1-й батальон 245-го сп. Шесть танков «виккерс» и до роты пехоты со стороны противника. В наличии нашей пехоты тоже было не больше роты, да и то половина ее пошла на завтрак.

Противник ударил из-за линии железной дороги.

Один из «виккерсов» проскочил так близко, что задел мой танк гусеницей. А «виккерсы» до того похожи на наши «Т-26», что я сообразил, в чем дело, только когда рассмотрел синюю полосу на башне. И, может

быть, я еще не совсем поверил себе, что это машины противника, как вдруг второй «виккерс» сыпнул в меня из пулемета.

«Ага!..»

Первым снарядом я ударил в первый танк, угодив ему в моторную группу. Следующий снаряд — осколочный — по выскочившему экипажу. Экипаж был положен на месте во главе с командиром-финном.

Второй «виккерс» шел справа прямо на меня. За ним следом шла, ничего еще не сообразив, наша пехота с завтрака. Человек двенадцать. «Виккерс» разворачивает башню в их сторону: одна очередь — и все легли бы на дороге. Но я успел дать по этому «виккерсу» два бронебойных. Сбил.

Третий «виккерс», кинувшись от меня в лес, застрял на камнях. Экипаж, пытавшийся выскочить и удрать, был взят в плен.

Я уже передал командование вторым взводом лейтенанту Напловкову (после ранен). Наконец все поняли, в чем дело.

«Танки!» — такого сигнала нам до этого дня еще не приходилось применять. Несколько «рено», подбитых ранее, не в счет — на деревянных колесах.

Напловков из четырех своих танков ударил по финской пехоте. Она сразу побежала, но и побитых осталось много.

Этим и закончилась первая, с какой нам пришлось встретиться, контратака финнов, поддержанная танками.

Остальные три танка противника, завидев, какая участь постигла их товарищей, повернули в лес. Напловков вел по ним огонь.

После этого я попросил разрешения у комбата заправиться взводу Сачкова (трем машинам). Еще одну машину я прихватил из другого взвода. Еду до командного пункта полка. Командир полка Рослый едва дал мне доложить о только что происшедшем.

— Если есть сколько-нибудь снарядов и горючего — поезжай, отбей вторую атаку.

Я с ротой уже дней пять не имел ни часу отдыха, но раз надо...

В эту минуту подъехал на танке Кулабухов.

Рослый говорит:

— Поезжайте вдвоем. Кулабухов присмотрится на месте, а потом сменит Архипова.

Разворачиваюсь, Кулабухов следует за мной.

Три ушедших было «виккерса» идут вновь на нас. Взвод мой сразу влево, в лес. А я на моей машине прямо, за мной Кулабухов и еще одна машина.

Один «виккерс» вывел пушку из строя у Напловкова и легко ранил башенного. Но один из напловских танков вывел этого «виккерса» из строя. Второй «виккерс» — в лес. Третий попал между мной (метрах в 200) и Кулабуховым. И мы его пронзили — один с левого борта, другой с правого.

Тот, что удирал в лес, был изрешечен нашими снарядами. В самый последний момент противотанковая пушка пробила у меня бензобак. Нам удалось сразу перевести мотор на запасной бензобачок и выехать.

Отбив эту атаку, я отошел с ротой на заправку и отдых.

Это было, по существу, первое и последнее применение финнами танков.

10—11.III. Действовал в 255-м сп в направлении на Выборг. Противник большого сопротивления не оказывал. Мы разбили лыжный финский батальон, взяли много пленных.

Осложнили наше продвижение вперед водные переправы в направлении станции Тали. Там была финнами взорвана плотина. Вода стояла местами до одного метра глубиной. Значит, переходить было очень рискованно. Переходили, соединив тросом «Т-26» с «Т-28», шедшим сзади. Если б «Т-26» застрял, «Т-28» вытащил бы его назад.

Потом шли с 245-м сп на ту же ст. Тали. В лесу сидели финны с 25-миллиметровыми пушчонками-пулеметами. Один (или одна) из них был нами уничтожен.

Мы внезапно выскочили из лесу на ст. Тали, где была переправа через реку и мосты — железнодорожный и шоссейный. Станцию мы быстро очистили, подскочили к мостам. Железнодорожный был справа, шоссейный прямо. Но мосты были взорваны. Шоссейный на моих глазах.

В ночь саперы навели переправу.

11.III. Был приказ: продолжать преследование противника. Прошли мы с три четверти километра за станцией Тали. Но справа части наши сильно отстали. Проти-

вотанковые пушки вывели у меня из строя три танка. Ранены были — Напловков, замполитрук Кравченко.

Затем встретилась вторая водная преграда. Один «Т-28» пошел по мосту — провалился. Роте — задача: за ночь навести мост. К 2 часам навели.

Люди моей роты.

Экипаж моей машины: мой башенный радист — Дмитриев Николай Алексеевич, механик-водитель — Коробка Алексей Родионович.

Мои потери: лейтенант Макеев Николай Васильевич, младший лейтенант Сычко Илья Иванович, командир машины Кариенко и др.

Младший командир Судаков Алексей Петрович, кандидат ВКП(б). Награжден Красной Звездой. Облазил все доты, ничего не боялся, вывозил раненых.

Однажды мой танк застрял в лесу в воронке от нашей авиабомбы. Дела мои были плохие. Но машина младшего командира Колебакина Василия Яковлевича (механик-водитель Горов, башенный Федчук), оказалось, вела за мной наблюдение, и ребята вытащили меня из этой воронки с риском для собственной жизни. Нужно ведь было вылезать, возиться с тросом и пр., а огонь был очень интенсивный.

Ныне все трое представлены к Героям.

Младший командир Кушнарев Никита Иванович, командир танка. Ходил раз пять на ПУФ. Был контужен. 12.II была ему задача закрыть амбразуры невзорванного дота. Он забил их бронебойными. Но он слишком близко подошел к доту и нарвался на фугасы. Танк свалился набок. Водитель его погиб. Башенный контужен. Кушнареву засорило глаза, но на другой же день пошел в бой. Награжден Красным Знаменем.

Младший командир Калинов Анатолий — секретарь комсомольской организации роты. Смельчак. Уничтожил под Селенмяки противотанковую пушку. Боевые листки выпускал в бою.

Отзывы всех полков о нашей роте — отличные. Пехота особенно полюбила «Т-28». В морозы и погреться возле них можно. И вообще — веселей. Так уж и считалось в последнее время: если «Т-28» прошел — пехота пройдет, дело обеспечено [1].

---

[1] С Василием Сергеевичем Архиповым еще мне случилось встретиться осенью 1941 года на Юго-Западном, под Полтавой. Из той поездки мы с С. И. Вашенцевым, между прочим, вывезли словечко

«Экипаж малышей» [1]. *(из рассказа Д. Диденко.)*

10.II. В районе Хотинен (Сотая сд 85-го сп) была нам поставлена командиром блоквзвода Таракановым задача дать возможность продвинуться пехоте к дотам слева и закрыть амбразуры одного из дотов, если представится возможным.

Шла моя машина, танк Тараканова, огнеметный, и еще один огнеметный танк.

В ста пятидесяти — двухстах метрах от дота противник ударил по нас из 76- и 36-миллиметровых пушек. Люк водителя, как и башня моего танка, был экранирован. Осколок снаряда только согнул нам ствол пулемета и повредил немного пушку. Стали отходить назад — снаряд угодил нам в ходовую часть, другой в каретку. Отбит ленивец, отбиты верхние подвески.

Кричу башенному:

— Меняй пулемет! Вытаскивай!

— Трудно! — отвечает. Свернута была шаровая установка.

Тогда мы вылезли из танка, забрав с собой запасной пулемет и три диска. У пушки вытащили ударник с бойком. Сидели в пятидесяти метрах от танка, решили не допустить, чтобы его подожгли.

Сперва сидели в воронке от авиабомбы, но по воронке слишком сильно стал бить противник. Мы перебрались в траншею, откуда уже отошла пехота. В траншее мы нашли сперва два, потом еще один станковый пулемет. Стали учиться стрелять из них. Научились, приспособи-

---

«сабантуй», приобретшее потом большое распространение на фронте. От Архипова я там записал и тот случай, что изложен мною в стихотворении «Рассказ танкиста» (о неизвестном мальчике, указавшем танкистам Архипова пушку противника).

[1] Командир машины Даниил Диденко был ниже среднего роста, башенный стрелок Арсений Кривой — еще ниже, а механик-водитель Евгений Крысюк — совсем небольшого роста. Для танкиста малый рост — совсем не помеха, в те годы вообще в танковые части подбирали малорослых крепышей, какими и были эти ребята. Но когда они выстраивались у своей машины, то получалась лесенка: мал мала меньше. Этим они выделялись во всей бригаде, и этот экипаж издавна дружески ласково называли «экипажем малышей». Все трое были награждены званием Героев Советского Союза, и редакция газеты «На страже Родины», помещая мой очерк о них, нашла неудобным оставить заглавие «Экипаж малышей» и дала — «Экипаж героев». Но, кроме того, она внесла в текст очерка такие исправления, исключения и добавления в соответствии с тогдашним требованием газеты, что я ахнул и для себя отказался от него. Здесь я привожу рассказ Д. Диденко из моей живой записи.

лись довольно быстро. Так у пулеметов и дежурили до 3 часов ночи, отгоняя финнов от нашего танка. В 3 часа пришли машины из нашей роты, эвакуировали нас и наш танк.

Нам сменили башню и произвели прочий ремонт танка.

Сновы мы пошли в бой, когда уже укрепрайон был прорван.

20.II была задача идти с саперами, прикрывать их своим огнем и с ними взорвать надолбы в районе «школа».

Наиболее уязвим танк с боков. Противник всегда ладит садануть в бок. Но мы ему бок никогда не подносили. А башня и люк водителя — экранированы. Шла за нами еще одна машина экранированная, а за ней вся рота. Прикрывая саперов, прошли одну надолбу, подошли к другой.

Башенный заметил вспышку огня противотанковой пушки. Я начал бить по этой пушке, замаскированной насаженными в снег елками. Прислуга побежала, я — по ней. Свалились. Пушку мы также разбили. Саперы сделали в надолбах проход, использовав финские же фугасы.

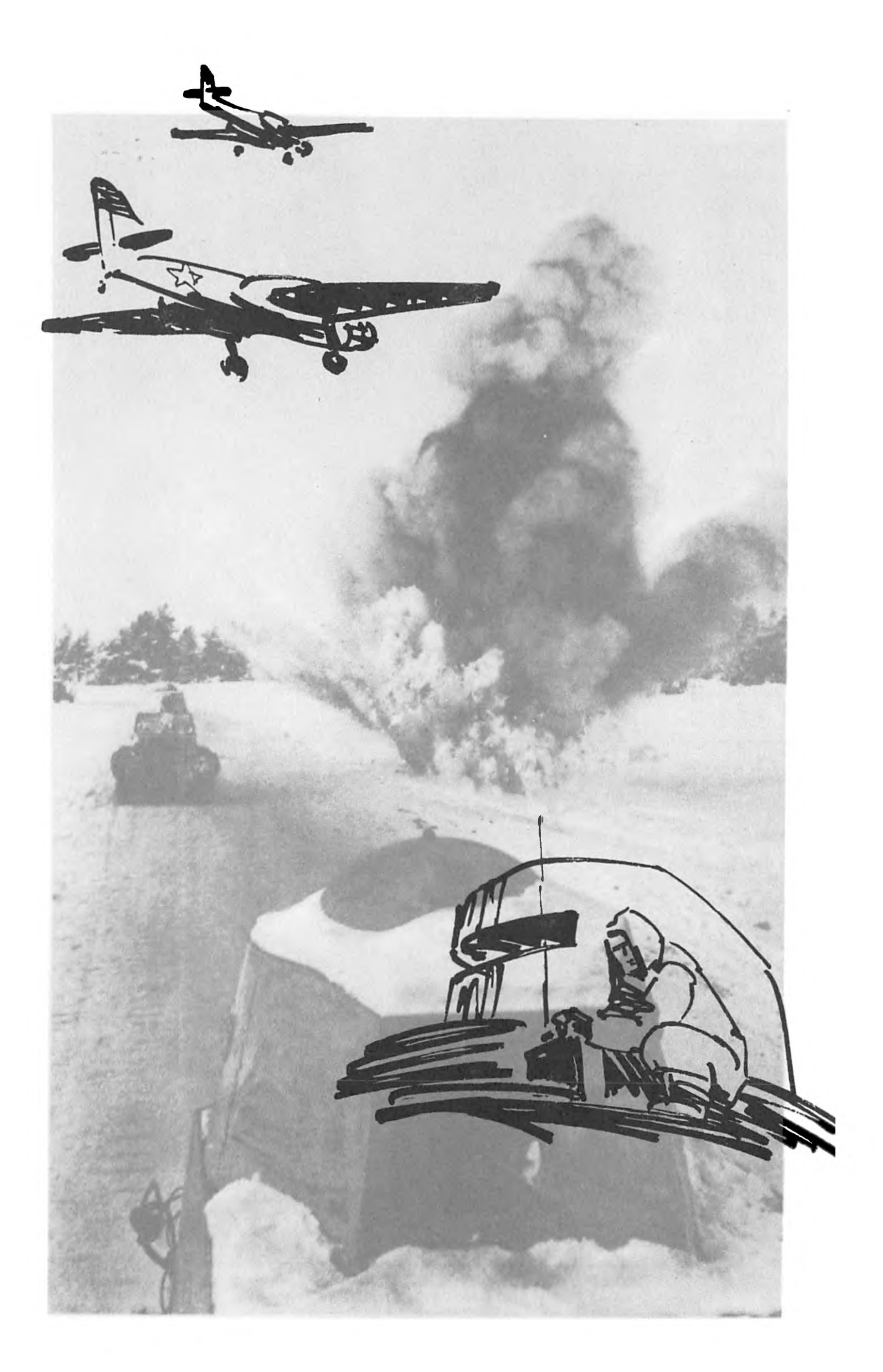
У Дерюгина, шедшего за нами (2-я экранированная машина), была подбита фугасом гусеница. Мы ему помогли. На другой день мне и Дерюгину (ныне Герой СССР) была дана задача порвать проволоку за этими же надолбами. Это было сделать легко. Мы ее порвали, растаскали быстро. Решили кстати осмотреться на местности для будущего. Кривой заметил подползавших к нам с бутылками финнов. Лезут из-за камня один, другой, третий (справа). Доложил мне, я дал по ним снарядом, сшиб сосну, накрыл их —убежали, один остался на месте.

К вечеру возвратились на исходное.

На третий день задача была — расстрелять бронебойными снарядами третьи надолбы.

Задача была не выполнена. И вот почему. Опять был с нами Дерюгин — шел впереди. Механик его был убит в танке, башенный выскочил, но был убит снайперами возле машины. Дерюгин кое-как вылез из машины раненый, без ноги, и свалился на дороге. Он кричал, шевелился — снайперы его вот-вот бы прикончили. Тогда мы приняли решение. Мы развернули машину и пошли прямо на Дерюгина, лежавшего на дороге. Сперва он, видимо,





ужаснулся, но потом понял и стал подбирать руки, чтоб нам ловчей было на него наехать. Мы накрыли его машиной (это нужно было проделать очень осторожно), а затем втащили в машину через нижний люк. Отвезли в медсанбат. Поехали за башенным, хотели подобрать тело, но получили повреждение (ходовая часть) метрах в тридцати — сорока от него. Разбит был картер, ведущее колесо и еще кое-что. Решили мы просто охранять дерюгинскую машину. Потом нас сменили, и мы пошли на ремонт.

Дня через три, сменив ведущее колесо и сделав иные исправления в машине, мы опять поехали на передовую. Я захворал малярией. Хотели меня отправить в тыл санпоездом, но я убежал из госпиталя.

Около 10.III мы имели задачу разведать подступы к станции Т. Сзади за нами шла машина командира взвода младшего лейтенанта Тихонова и еще одна «химичка», а рота наблюдала.

По пути мы стащили с дороги подбитые танки из 2-й роты.

Саперы предупредили нас, что дальше по дороге будет много мин и фугасов, а снять покамест невозможно.

У вторых надолб вторую нашу машину подбили, и она загорелась. Механик был убит и сгорел в машине. Остальные вылезли и отползли. Нам ни взад, ни вперед.

Решили сидеть и защищаться. Сидели до 2 часов ночи. К нам подполз один пехотный командир, указал пулеметные точки противника в лесу, по ним мы и вели огонь.

В 2 часа ночи финны пошли в контратаку и обошли нашу машину. Заметил механик.

— Окружают!..

Гляжу, ползут слева из кустиков, а туда не ударить ни из пушки, ни из пулемета, так как мы стоим в надолбах.

Говорю башенному:

— Женя, гранаты приготовь...

Когда они подошли метров на пятнадцать, я стал бросать гранаты. Кривой подготавливал. Одного, помню, убил, видно было, а другие разбежались. Бросил я шесть — семь штук одну за другой.

Так мы и стояли, ждали, пока сгорит танк сзади. Еще до контратаки финнов подполз к нам башенный из нашей роты — Калачев Ермолай:

— Как вы тут?

— Хорошо.

— Что передать командиру роты?

— Передайте, что машину не покинем.

Когда танк сгорел позади — огонь опал, — я вылез, зацепил тросом. Но нужно было выключить скорость в сгоревшем танке — иначе трудно стащить. Полез я туда, дотронулся рукой до механика — он и рассыпался. Зола.

Освободили дорогу и в четвертом часу ночи приехали домой.

13.III. Завели машину, приготовились, ждем команды — вдруг:

— Отставить! Мирный договор...

Мы, правда, и сами считали, что минимум по ордену должны нам дать.

2.V.40. Обдумываю своего Теркина. Уже иной раз выскакивают строчки.

Стал в сторонку,
Изловчился,
В ту воронку
Помочился, —

это Вася на передовой, когда ребята приуныли под обстрелом минометов. Одна разорвалась совсем близко.

Под обстрелом Теркин начинает рассказывать какую-то потешную историю:

Вышел поп однажды в поле,
Захотел он...
(Разрыв.)

Дальше продолжается с естественным пропуском чего-то:

Хочет встать — никак не может,
Тут идет один прохожий,
Поп сидит и весь зарделся,
Не поднимет головы.
А прохожий присмотрелся:
— Отец Федор — да ведь вы...
(Разрыв.)

А когда Вася один ползет раненый и шутить ему не перед кем — другое. Вася — не поддавайся. Грезы. Снежная пыльца — пыль в столбе света в избе, в детстве.

К Васе Теркину (старшина, выливая остаток водки себе в кружку):

Все равно (такою каплей)
Не согреть в бою бойца.

Отступление лирическое:

Лучше нет воды холодной...

Поездка в 28-й КАП.— Из этой поездки было написано длинное, подчиненное чисто газетной задаче написать «портрет в стихах» стихотворение «Григорий Пулькин». Из Пулькина еще, может быть, у меня что-нибудь получится, поэтому нелишне будет восстановить все, что он мне рассказывал, по порядку.

Пулькин Григорий Степанович, 1916 года рождения. Из Башкирии. Кузнец из взвода управления 1-го дивизиона. Третий год срочной службы.

В 12 часов 23.XII вышел он со своим товарищем Лаврентием Жудро проверить лошадей в дивизионе. Проверили и стали перековывать кобылицу Каплю на все четыре («кругом»). Пулькин, как и все, знал уже, что банды «просочились», бродят где-то. Поэтому на работу вышел с винтовкой и семьюдесятью пятью патронами при себе. Только принялся за вторую ногу Капли — выстрел. Поднял голову, сколько мог поднять, согнувшись и не выпуская конской ноги,— белые холсты на опушке. Послышалась команда Маргулиса:

— Ложись! Огонь!

Финны уже успели обойти кругом батарею Маргулиса два с половиной раза.

— Огневикам открыть огонь прямой наводкой.

Огневики были сбиты финнами сразу же.

Пулькин с винтовкой расположился у первого орудия батареи Маргулиса. Потом переполз ко второму, где находился один Лаптев. Со станины его орудия уложил офицера, пробравшегося меж березок к самой почти батарее. (Большая почтовая сумка-планшет этого офицера висела в штабе.)

У Лаптева между тем был перебит весь расчет. Один он, сутулый, рыжий, заросший бородой, управлялся, как медведь, у пушки.

— Давай буду помогать.

Помогать, не будучи обученным, трудно. Однако Лаптев предложил:

— Ладно! Будешь дергать за шнур. Заряды подносить.

У них, как и у всех оставшихся в живых на батарее, не было и уже не могло быть иного ощущения, как то, что они окружены, отрезаны и минуты их сочтены. Ну

что ж, тут что ни успеешь сделать, чем ни причинишь ущерб противнику — и то дело. Но в это время из-за леса раздался громкий голос капитана Хоменко:

— Держись, Маргулис, я иду.

Маргулис, можно предполагать по всему, растерялся... Но это дело прошлое. А факт тот, что ребята эти — Лаптев, Пулькин, там еще Соцкий и другие — спасли положение. Они били из тяжелых орудий по противнику, залегавшему в ста восьмидесяти — пятистах шагах. Убивало не столько снарядом, сколько воздушной волной. Снаряды разрывались так близко, что собственными осколками был пробит щит у орудия.

Пулькин, помогая Лаптеву, в свободные промежутки бил из винтовки. Финская пуля попала в магазинную коробку. Подавался в канал ствола только один патрон. Пришлось бросить эту винтовку и взять другую, у ближайшего убитого. В момент переползания за винтовкой Пулькина ранило — оцарапало осколочным бедро возле кармана.

«Тут я, правда, рассерчал. Когда Хоменко стал поджимать финнов сбоку, они зашли за шалаши из хвои, под которыми стояли лошади. Тут шла битва «через лошадей». Капля была убита, Наркоз ранен в ногу».

Все это длилось часа два с половиной. Темнеет в это время там очень быстро. Уже еле видно было, когда финны стали отходить, оставив много трупов на месте.

Человек пять Пулькин убил — видел кого,— не считая офицера и не считая работы у орудия.

Царапина на бедре, растираемая штанами, беспокоила. Но это ему только придавало злости. А тут еще — стоны раненых товарищей, гибель Жудро (пал в первые минуты боя), с которым два года вместе были, дружили, в землянке рядом спали.

По окончании боя младший лейтенант Козырев приказал не сходить с поста — не вернутся ли финны.

Потом в землянке ветфельдшер Пиняев жег спички, смотрел у Пулькина его рану. Чем-то прижег, чего-то поковырял — до свадьбы заживет, говорит.

Был очень усталый — ведь в снегу покатался. Ночь опять пришлось стоять в усиленном карауле.

На другой день пошел туда, где с Жудро кобылицу подковывали, подобрал на снегу инструмент.

В заключение спрашиваю: как, мол, настроение?

— Да что ж настроение — ребят наших тоже много убито. Вот. Можно идти, товарищ писатель?

Прохоров Илья Николаевич.— Боец третьего года службы. 3-я батарея, взвод управления. Старший телефонист. 23-го находился у аппарата. Передали: «Будьте готовы — белофинны зашли в тыл к нам». Затем послышались выстрелы. Побежал к кухне, слышит: «Окружают 1-ю батарею». Туда на помощь комбат лейтенант Смирнов отправил пулемет и младшего лейтенанта Гусева. Меня комбат оставил при себе связным. Показались белые халаты на опушке леса (кругом). Наши? Нет.

— Огонь!

Подходят ближе, ранили лошадь — Отважного. Со мной был еще Буданицкий. Пуля сперва попала ему в рукав. Парень засмеялся, пошутил что-то. Вторая пуля — в заушье — насмерть.

Командир батареи, волоча обмороженную ногу, на которую нельзя было втащить сапог, бросился вперед:

— За мной!

Нас было мало, мы сильно рассредоточились. Я один в лесу встретил четырех финнов. Одного сразу убил, одновременно крикнул: «Руки вверх!» Один не поднял, я ударил в него — ранил. Тогда все трое бросили оружие. Подхожу. Раненый сунулся было рукой под противогаз — за финкой,— я хрякнул его прикладом. С подошедшими товарищами подобрали мы оружие в снегу, повели пленных. Потом я сбегал за валенками для командира батареи. Ногу он обморозил еще больше. Привел его кое-как. На ночь заступил на пост.

Лосев Петр Исакович.— Из приписного состава. Срочную службу служил на Дальнем Востоке в 1932—1933 годах. Зенитчик-пограничник на маньчжурско-монгольской границе. Перед этой войной работал в Ленинграде на деревообделочном заводе имени Халтурина. Стахановец. Премирован патефоном.

Связист 7-й батареи. В ночь на 23-е тянул связь на передовую.

Утром — только сел закусить — комбат, старший лейтенант Нилов:

— Нападают на восьмую батарею. На помощь, ребята.

Это была ошибка, что на 8-ю. Мы быстро собрались из разных взводов и батарей. Пошли левее финского пулеметного огня и попали к 1-й батарее, где и были нужны.

Видимость плохая: снег, а они в белых халатах. Вижу одного за камнем в тридцати метрах с автоматом. Но достать его из-за камня трудно. Левей — другой, с пулеметом, на лыжах. «Ала-ла-ла». Ударил по первому, вышиб автомат, по-видимому, попал в руку. Автомат — в снег, белофинн — в лес. Второго убил. Подбегаю к пулемету — не подтащить. Вырвал замок, откинул раму. После подобрали мы еще диски.

А еще до 23-го я поймал финна, будучи в охранении батареи. Шюцкор со знаком. Восемьдесят десятин земли!

«Брат-за-брата».— Когда я беседовал в землянке с Пулькиным и другими, мне говорят:

— А тут у нас есть еще брат-за-брата один. Вот он.

Ко мне подвинулся лежавший в углу земляных нар человек в полушубке. Кирилл Владимирович Калмык. Скромный, молчаливый, постарше других. Он из Молдавии. Служил в армии несколько лет. После польской кампании демобилизовался, по болезни, что ли. Приехал домой погостить, имел путевку в Баку на работу.

В первый день, ради радостной встречи, старики не сказали ему, что младший брат Николай тяжело ранен на финляндском фронте. Утром заплакали — сказали. Он утешил их, как мог, и сразу же принял решение, но старикам ничего не сказал, как бы пользуясь тем, что от него целый день таили факт ранения брата. «Поеду в Баку»,— сказал и уехал в Ленинград. По пути в Москве проголосовал (шли выборы в местные Советы). Зашел в ЛВО, попросился в Действующую. Просьбу уважили. Хотел попасть в звукобатарею, как специалист, и еще потому, что там был ранен брат,— хотелось заменить его в буквальном смысле слова. Но его направили в батарею Маргулиса, где были большие потери. Здесь он — помкомвзвод по разведке.

Брату написал в госпиталь: «Выздоравливай, Коля. Приезжай. Будем воевать вместе».

Отцу — Владимиру Семеновичу — 78 лет. Матери — Агафье Емельяновне — 66. Сестра замужем — за дважды орденоносцем, депутатом Верховного Совета Молдавии.

* * *

В этом 28-м корпусном артполку мы жили в штабе. Командир полка полковник Бакаев — очень начитанный, образцово знающий свое дело человек, любитель пошутить, видящий всех насквозь. Сидел он все время за столом, придвинутым к кровати, на которой они — полковник и комиссар — спали. Полковник за ужином, за завтраком и за обедом неизменно подмигивал, пошучивал: «Комиссар, а ну, комиссар!» — и доставал из-под кровати четвертинки, поллитровочки, может быть, и превышая наркомовские сто граммов, но никогда не пьянея. В штабе, как во всех штабах, в помещении было невероятно жарко, душно. Из-за светомаскировки окна были закупорены — день так мал, что не стоит и на день откупоривать.

Среди книг и бумаг в той комнате, где помещался полковник с комиссаром, мы нашли пачку бумаг — черновики стихов, пьес и прозы, страницы дневника некоей Е. Халабиной,— этот дом занимали родственники, у которых она жила. С литературной стороны — малоинтересно: в духе эпигонских писаний дореволюционных лет. Только — образ самой девушки, жившей в этом доме у озера с камышами, полузанесенными снегом на его открытой равнине...

Седьмой отдельный понтонный.— Искали мы его два дня. В эту поездку особенно сильное впечатление производили дороги. На них было такое могучее, нескончаемое движение и уже закрепившийся порядок — регулировщики и т. д. Колеса грузовиков, легковых, броневых машин, артиллерии, гусеницы тракторов и танков безостановочно бороздили, укатывали, трамбовали, взрывали серый пыльный снег на дорогах, который оседал на железе, на спицах и кузовах — мельничной пылью. Машины неслись и неслись по лесам, по белым новым мостам, мимо холодных черных труб и печей на занесенных снегом пожарищах. Вперед, вперед! Страшно и радостно было ощущать эту ни с чем не сравнимую силу техники, моторов, механизмов, металла, ринувшуюся в снега, в леса, все преодолевающую — нелегко, нет! — но непреоборимо.

Характеристика В. К. Артюха, данная ему командованием при представлении к награде:

«Артюх Владимир Кузьмич. Красноармеец-шофер, беспартийный, русский, 6 декабря 1939 года получил приказ выполнить свою задачу при наведении понтонного моста через реку Тайполеенйоки. Пути-подходы к реке на расстоянии трех километров находились под прицельным огнем противника. Попытка выбросить для десанта лодочный парк саперного батальона успеха не имела; часть машин была расстреляна по пути, часть оставлена шоферами на дороге. После этого поврежденные и брошенные машины были разведены понтонерами по канавам. По пути к берегу двинулась колонна машин понтонного парка. С целью сохранения имущества от обстрела машины шли на повышенной скорости. На головной машине за рулем сидел шофер Артюх. При появлении машины Артюха в секторе обстрела противник открыл по колонне артиллерийский и пулеметный огонь. Один из снарядов сбил у головной машины фару. В это же время заглох двигатель. Несмотря на смертельную опасность, шофер Артюх вышел из машины, завел ее и снова двинулся вперед, на всем пути преследуемый огнем противника. Увлекаемые примером шофера головной машины Артюха, к месту переправы мчались остальные 73 машины парка. Проявляя мужество и беспримерный героизм, шофер Артюх привел машину к месту переправы. Внезапное появление машины на берегу ошеломило белофиннов, и некоторое время не было ни артиллерийской, ни пулеметной стрельбы. После того как понтонеры приступили к разгрузке машин и переправе десанта, вновь поднялся ураганный огонь. Боевой пример шофера Артюха есть выражение выполнения бойцом РККА своего священного долга. Действия шофера Артюха достойны оценки и высокой награды.

Командир батальона старший лейтенант *Григорьев.*
Военком старший политрук *Печерица.*
Начальник штаба капитан *Голукович».*

Вождению машины Артюха обучил приятель Виктор Егоров, на одной станции росли когда-то. Работал Егоров в Союзтрансе. Артюх сознательно, по-деловому использовал свое приятельство, чтобы приобвыкнуть к машине, ибо это сулило в будущем определенность профессии, верный заработок. Егоров, показав ему на первых порах кое-что, давал посидеть за рулем, погонять машину

по двору фабрики «Возрождение» от ворот до ворот. Затем Егорову негде было жить, Артюх взял его «на свою площадь» и еще больше пользовался его опытом и указаниями. Егоров уже позволял ему заводить машину, мыть ее и прочее.

— Сам как барин, а мне это — ничего. Я свою цель помню.

Потом Артюх учился на курсах. Стал настоящим шофером, как и его друг. Зачем же теперь им тесниться вдвоем на Артюховой «площади»?

— Ты, говорю, присмотрись к соседке напротив. У ней площадь хорошая и сама она не сказать чтоб безобразная была. Так я их потихоньку сознакомил, и все пошло как надо. Теперь уже у них на той площади трое детей.

— Нет, я холостой. Я думаю так, что прежде чем жениться, я должен себя полностью оправдывать. А жениться так, чтоб недостатки терпеть,— нет, это лучше так как-нибудь.

— Я и до Героя не так худо зарабатывал. Рублей семьсот — восемьсот у меня всегда есть в месяц. Я под каждый выходной в ресторане «Волна» проводил вечер...

— Жена брата старшего (сидит в тюрьме) провожала меня. Желаю, говорит, с орденом вернуться. Вот, думаю, зайти к ней теперь в Ленинграде.

Когда его вызвали в штаб, чтоб ехать в Ленинград за получением награды, он явился с винтовкой. Так с ней и хотел ехать. И опять деловито, по-хозяйски рассуждает:

— Не-ет, с винтовочкой верней. В дороге ли что...

* * *

В 7-м понтонном, стоявшем в маленькой лесной усадьбе на берегу озера, ходили в баню. Баня очень хорошая, предбанник отопляется, в нем мягкая мебель. Хозяин, помывшись, мог еще помечтать, подремать у печки, просушиваясь.

Воды горячей было немного, но она была действительно горячая. Разводили ее холодной, с кусками льда, водой из другого котла. Вода — из озера, немного пахнет задохнувшейся рыбой и какая-то красноватая на свет, но хорошая, очень мягкая. Волосы сразу заскрипели и стали мягкими.

Какое благо баня на фронте! Ни с чем этого не сравнить. И удивительная штука: банька маленькая, уже достаточно захламленная нашими, народу моется много, тесновато, грязновато, воды маловато, а все выходят чистые, все успевают отпарить и смыть с себя грязь, пот и усталость.

Глядишь на бойца, вот он вышел, голый красный богатырь, на берег озера, о котором и не слышал до похода, ступает босой ногой на снег и спокойно, благодушно мочится на эту столь страшную и суровую издали землю, за которую немало погибло его товарищей и сам он умрет, когда придется.

Сто двадцать третья.— Макс Рабинович описан мною в очерке (газета «На страже Родины») в общем правильно, только опущено много тяжелого. Там при мне не только оживали, но и умирали. Этот самый Рабинович, стоя на коленях над раненым, при свете «летучей мыши» пытался, например, сделать укол, гладил, выщупывал безжизненную руку бойца, целился шприцем и говорил, приговаривал, как бы упрекая тех, кто сколько-нибудь оптимистично смотрит на это дело:

— И вы думаете, я попаду? Ни за что не попаду. Как возможно попасть, когда ничего не проявляется. Попаду? Вы ошибаетесь.

И все же пробовал, попадал, но порой это было уже бесполезно. Тогда доктор пожимал плечом и в том же тоне упрека людям, ожидавшим другого исхода, тихо говорил:

— К сожалению, это смерть, товарищи. Это смерть — не что другое. Да.

Со мной он все время был очень вежлив, его попросту трогало, что я уделил внимание его пункту, человек в шапке, какую носили только начальники, писатель. Я же, грешным делом, залез в его землянку от разрывов снарядов и сидел в ней уже потому, что раненых подносили и подносили, было просто невозможно пробираться к выходной дыре через носилки. Потом настала такая жара, что и я понадобился — стал светить фонарем, подавать воду раненым, вообще помогать.

Очерк свой я написал очень не скоро — другие задачи отвлекали. Но все ж Рабинович его заметил и прислал мне письмо, благодарил очень трогательно.

* * *

В ночь на 11.II стало понятно, что готовится наконец всеобщее наступление. В записной книжке у меня такая запись:

«Ночь приказа с 10 на 11 февраля. Звездное небо над лесом, над землянками. Неумолкающая артперестрелка. Дымы, дымы. Стук машин, скрежет гусениц — движение, движение.

В землянку подива входит связной. Металлический наконечник ножен шашки — белый от инея.

В соседней комнате землянки (это большая комфортабельная землянка) оживленный рассказ артиллериста о готовности и пр. Все рады — или стремятся радостным видом скрыть действительное, более глубокое переживание.

Но на нарах спят так тесно, что некуда посунуться. Спят разувшись, но в брюках и гимнастерке.

Скоро должны прийти из редакции за стихами, а стихи страшно плохие — в них ни этой ночи, ни этих людей, ни себя».

* * *

С инструкторами политотдела (Черныш, Марон, Виник), славными интеллигентными ребятами, я провел несколько суток до наступления. Относились ко мне эти люди исключительно тепло. Едва ли не в первый раз за все время моих фронтовых поездок здесь меня просили читать стихи. Делились со мной спецпайком. Винику, раненному в первые часы наступления, я так и остался должен пачку папирос. И все любили петь. Вечером соберутся из частей, выпьют по сто, закусят, и, смотришь, то Черныш затянет «Эх, Лушенька», то Марон-лысый «Кармалюка», то по уговору все вместе что-нибудь.

Утром 11-го завтракали страшно рано — часа в 4. Потом на скрипучем, промерзшем автобусе поехали на передовую. Я был с Виником.

Близость противника. В морозном воздухе как-то удивительно звучно взвывали редкие пули и чокались о мерзлые стволы деревьев. Я даже не сразу понял, что это пули.

Из штаба полка нас повел человек в батальон, где мы должны были провести в дотах митинги перед наступлением. Он по ошибке провел нас не до второго овражка, а до третьего, за которым были уже «танки» —

наши танки, подбитые еще в декабре. Место так и называлось: «Танки». Дальше наша пехота покамест не ходила. Тут пули остановили нас, провожатый сообразил, куда завел, и, пригнувшись, кинулся обратно. В землянке батальона, которая в тот же день стала командным пунктом полка, мы присутствовали при завтраке и раздаче водки. Там я видел того старшину («этим бойца не согреешь»), которого и без записи не забуду никогда.

В одной роте, когда я стал выступать и сказал несколько не казенных и, может быть, не уставных слов о том, что родина знает, какие подвиги совершают бойцы и какие видят они трудности, несколько сидевших в полутьме землянки бородатых (щетина) людей плакали — нервы у всех были в перенапряжении. Люди только вчера вернулись «оттуда» и знали, что нужно идти обратно туда, знали, что вряд ли кому вернуться. Может быть, и нельзя действительно (как мне заметил Виник) в эти минуты говорить ничего такого, что трогает.

Но я видел и настоящих вояк — «головорезов», как они не без гордости называли себя,— которые просили у Виника разрешения «не брать в плен».

В 10.00 должна была начаться артподготовка, о которой командиры заранее говорили, что это будет что-то неслыханное. Я прилепился к КП 215-го полка. Виник должен был идти еще в батальон, лежащий на снегу у самого переднего края. Я тоже решил с ним идти, хотя и не очень решительно. Командир полка приказал мне остаться на месте.

До начала артподготовки люди стояли в овражке у входа в блиндаж, покуривали, пошучивали и, казалось, были в самом бодром расположении духа, как перед большим, полным трудовым днем. Вот сейчас докурим — и за работу. Посматривали на часы. Ожидалась авиация, но по погоде можно было уже заключить, что «птичек» не будет. Ну что ж, значит, артиллерия даст побольше.

Я тоже похаживал, покуривал, заговаривал с одним, с другим из командиров. Мне уже тоже начинало казаться, что предстоит добрый день, будут, наконец, какие-то иные новости, чем до сих пор. Я немного даже сдерживал себя в этом приподнятом настроении: забываешь, мол, что предстоит бой, будут убитые, раненые. Но эти напоминания самому себе только подчеркивали значительность момента: вот подвезло, участвую, можно

сказать, в генеральном наступлении. До сих пор боя видеть так и не доводилось.

В овражке я говорил, между прочим, с одним танкистом-лейтенантом, которого видел за день в землянке. Почти мальчик еще и необыкновенно красивый с лица. К таким лицам никакая грязь не пристает. Я спрашивал его о том, о сем. Женат ли? Женат. А дети? Да нет, какие ж дети. Мы еще недавно совсем, перед войной только. Сколько вам лет? Двадцать два. Я подивился его молодости. Я знал, что он уже много видел здесь, был, что называется, у смерти в гостях и обратно вернулся.

— А вот он еще моложе был,— показал лейтенант ногой на фанерную дощечку, торчавшую из снега у самой стежки. «Геройски пал... 1921 г. рождения». Я не заметил раньше этой дощечки. Сколько их, между прочим, этих дощечек с карандашными надписями, по пути от реки Сестры до Выборга. Сколько братских могил!

Вдруг я увидел, что все, кто был в группе командиров у блиндажа, стали смотреть на часы.

Я, кажется, тоже добрался кое-как до своих (я был в халате, в полушубке, в ремнях) — вижу, осталось полторы-две минуты до начала артподготовки. Но потом я еще успел забыть, что осталось так мало времени, успел еще закурить новую папиросу. Вдруг сухой, колющий треск вырвался из лесу. Удар, другой, два-три разом, сплошной — покатилось, поехало. Различного тона и тембра удары — глуховатые, мягкие, резко-отрывистые,— и воздух над овражком наполнился жутким воем. Снарядов, конечно, видеть нельзя было, но их вой, шепелявенье, свист как бы чертили в воздухе путь их полета. Голова невольно уходила в плечи. Страшная сила огня сразу как бы нагрела это морозное туманное утро. Со стороны леса, где находились батареи, поднялись огромные клубы дыма и снежной пыли, стряхнутой с ветвей сосен и елей.

— В блиндаж! — раздался строгий и несколько нервный окрик комиссара полка.— Чтоб ни одной души здесь.

Я не стал дожидаться повторения команды и нырнул в землянку, где еще были даже свободные места для сидения. Это был до сегодняшнего утра командный пункт батальона. Хилые подпорки держали двух-трехнакатный верх. Необставленные стены осыпались, как в деревенском погребе весной.

— Прекратить топку печей,— приказал еще комиссар, хотя печка здесь была одна и она уже не топилась.

Гул канонады доносился здесь глуше, но по струйкам песка, осыпавшегося из-под бревен наката, чувствовалось, как она сильна. Вслушавшись в общий гул и грохот канонады, можно было в нем различить то явный — только многократно усиленный ритм молотьбы на осеннем подмерзшем току, то грохот какой-то страшной громовой езды, то все сливалось в мощный гул и шум большого завода. Страшно было даже представить такой огонь, обращенным на себя, на этот овражек, на землянку. Чего стоят людям последние минуты их жизни в каком-нибудь убежище в ощущении, что вот сейчас, сейчас снаряд слепо и неизбежно найдет тебя и накроет этими нетесаными бревнышками, рытой землей и песком или поднимет со всем этим и разнесет в клочья, в щепки, в дым, в прах! Командир и комиссар все время держались у телефонов.

— Помнят ли сигналы? Посмотреть еще раз по таблице...

— Лошадки? Сейчас выходят.

Я невольно подивился этому «испанскому» способу шифровки. «Лошадки» — танки, это без труда понял бы подслушивающий противник. Впрочем, «лошадки» — это, может быть, было такое словечко, которое шло в тоне, принятом командиром полка, шутливом и приподнятом. Когда связист как-то исказил одну фамилию, майор быстро поправил его и предупредил: здесь не загс, просьба не менять фамилии. Но одновременно он был строг и жесток в приказаниях:

— Табличку еще раз посмотри... Приуныли? Нюни не давать распускать.

Комиссар у другого аппарата напутствовал:

— Не спешите людей выводить из укрытия, но напоследок решительно...

Майор опять шутил и подбадривал:

— Артиллерия — хорошо? Понравилась.— И слыша, как комиссар уже начинает повышать голос и напоминать кому-то об ответственности, мягко его останавливал: — Не нужно кричать.

А тот, в свою очередь, порой не удерживался и напоминал майору, что «грозить не нужно». Видимо, оба они решили быть в бою спокойными, не повышать голоса и т. д. Даже, может быть, уговорились так, зная,

что это очень хорошо действует на людей, которыми командуешь.

В землянку ввалился весь выкатанный в снегу начальник связи полка. Он стал жаловаться на то, что ему дали людей из нового пополнения, которых на позиции не поднять с земли... Затем опять выпрыгнул из землянки, и вскоре связь заработала. Я еще не знал фамилии этого человека, но уже понял по всему, что это спокойный, дельный работник, который — что б там ни было, а связь «обеспечит».

К канонаде, длившейся около полутора часов, уже привык слух, люди уже перестали вслушиваться.

Начальник особого отдела вынул из-за пазухи полушубка письмо:

— Почитаем, пока светло...

— Десять минут до выхода танков.

Вдруг канонада усилилась, как внезапный порыв грозы, и отдельные выстрелы, даже залпы стали неразличимы в этом одном, сплошном вое и гуле. Казалось, что все орудия как бы сорвались со своих позиций и со страшной быстротой катятся в сторону фронта, на нас, на ходу непрерывно изрыгая огонь.

Мы, штатские люди в военных полушубках — как я, начальник особого отдела, еще кое-кто,— мы, даже сидя в блиндаже, пригнули головы.

— Последний огневой налет!..

Майор кричал в трубку телефона:

— Все вышли? Наготове? Хорошо! Смотри же, чтобы сразу все...

— Комендант, приготовить ракеты.

— Прекратить все разговоры по телефону.

И вот во все трубки майор, комиссар и начштаба закричали какими-то особыми голосами:

— Внимание! Внимание! Буря!

— Атака! Атака! Атака!

— Во все телефоны передать еще раз!

— Атака!

А комиссар уже кричал в трубку как бы вдогонку командиру, принявшему сигнал атаки:

— Поближе к разрывам! На хвосте своих снарядов — в блиндажи противника!

Далее я едва успевал заносить отдельные реплики, распоряжения, сообщения.

— Луга! Бросок сделан? Пошли? Все?

— Первый пошел на «Язык».
— Снаряды впереди хорошо ложатся?
— Я вам дам сигнал! Уже пять минут, как пошли, а вы сигнала ждете!
— Ну, как там, как?..
— Пошли, пошли...
— Эх, так твою мать!..— (Это сорвалось у майора.)
— Быстро идут? По занятии траншеи доложить.
Опять вбежал начальник связи Никифоров. Танки порвали связь. В эти минуты послышались близкие разрывы снарядов.
— Он бьет.
Это было страшно и дико. После нашей «молотьбы», думалось, там уже никого и ничего не осталось, и вдруг — он начинает гвоздить.
— Близко кладет, сукин сын. Вот он! Еще.
Выбегавший из землянки на наблюдательный комиссар закричал, приоткрыв полотнище плащ-палатки:
— А ну, кто хотел видеть,— у дота наши во весь рост. Пошла пехотушка!
— Правая группа в двадцати метрах у дота.
— Траншея занята.
Комиссар:
— Ну так как, командир полка, по сто грамм выпьем сегодня?
— Подожди, подожди. Может, и выпьем.
— Знамя на доте!
Комиссар выбежал, потом вернулся, поискал глазами в землянке и крикнул:
— Твардовский, иди запечатлей картину!
Я выбежал. Траншея, ведшая к «козырьку» наблюдательного пункта, была очень мелкая, я гнулся, спешил, путался в халате — наконец добрался до НП. Там было тесно и страшно холодно — земляная щель в обрыве пригорка.
Я видел в дыму на высоте, которую не узнать было по сравнению с прежним ее видом (вся почернела, дымилась), несколько фигур, часть из них была уже на том каменном строении, которое как бы выросло после бомбежки из земли.
Вообще говоря, я вернулся быстренько.
В блиндаже уже погасло то радостное возбуждение, которое было вызвано самим фактом выступления пехоты. Пошли мучительно тревожные донесения:

— Пехота отходит, блокгруппы не поспели.

— Посылайте «Т-28» на помощь пехоте.

Комиссар с изменившимся красным потным лицом, присев на корточках, кричал в трубку:

— Ребята! Вперед, ребята! Товарищ старший телефонист, передайте, что все участники этого штурма будут представлены к правительственной награде. Снять шинели — и вперед! — На глазах у него были слезы.

— Выбрасывайте второй эшелон!

— Коммунисты и комсомольцы, вперед!..

В землянку вошел командир-танкист. Майор не успел выслушать его — все, кроме главного, было неинтересно.

— Скажите танкам, чтоб заткнули амбразуры.

— Осмелюсь доложить, пулеметные заткнем, а орудийные невозможно.

— Давай!

— Но я не посыльный.

— Я не говорю, что вы посыльный. Я вам даю почетную задачу.

— Есть, товарищ майор.

* * *

— «Ноль-ноль-пять» в моих руках, но еще действует. Опаздывают лошади (нужно закрыть амбразуры).

— Дот «ноль-ноль-шесть» взят! — (Это уже второй.)

— Второй эшелон идет. А ты гранатами забрасывай.

— Не давайте жить!

Комвзвод-танкист:

— Две пробоины. Бензин течет.

— Закройте амбразуры.

— Бензин течет...

— Немедленно противотанковые пушки вперед, к доту! Смирнов, вы представитель от меня,— это говорит командир полка,— вы отвечаете.

Люди входят и уходят, когда их посылают, хотя каждый рад был бы лишнюю минутку продержаться здесь. Раненые уже есть даже в нашем овражке.

— Надо взрывчатку подбрасывать.

— Танков нет.

— На тракторах давайте...

— Нет ни одного.

— На лошадях.

— Не довезешь. Лошадь сразу будет убита.

— Давайте на себе.

— Есть!..

— По доту «ноль-ноль-пять» противник ведет орудийный огонь.— (Там наши.)

— Самолеты идут!!!

В небе слышится знакомое гудение. Никогда оно мне не казалось столь милым и приятным. Дело просто в том, что финны при появлении наших самолетов прекращают свой артогонь. Но пользы от самолетов было на этот раз не заметно.

Никифоров:

— Радист Протасенко сообщает, что сидит на доте со своей рацией.

Начштаба, посланный ранее командиром полка, сообщает по телефону:

— Говорю от камня...

— Сотая и Девяностая имеют успех!

— Теперь пойдет. Теперь саперам хлеб. Подрывай да подрывай.

Майор Никифорову:

— Передайте приказ закрепиться в траншеях...

Тут один замначполитотдела, присутствовавший здесь (вообще большой дурак и щеголь), начал составлять текст обращения для передачи по радио нашим, занявшим известные рубежи и пункты. Я ему помогал...

— Из дота «ноль-ноль-пять» вышла группа финнов до взвода. Ведет огонь.

— Бросают друг в друга гранаты, не разобрать, кто где.— (Наши и те в белом.)

— Передайте, что финны в комбинезонах. Бить — передайте — тех, что в штанах. А в балахонах наши!

«Но наши артиллеристы тоже в «штанах», правда, там артиллеристов сейчас не могло быть.)

— Тщательно проверяйте траншеи. Со штыком и двумя гранатами наготове... Дави!

— Одного пленного захватить и доставить.

— Протасенко передает: саперы продвигаются по траншее...

— Кирпичников, вперед! Отрезать группу (финнов) от дота.

С КП дивизии:

— Ликвидировать дот (подорвать) и доложить...

— Команда дота обратно скрылась.

Гробовой (командир саперного батальона):

— Тол есть, везти не на чем.

— Второй батальон лежит в траншеях и не двигается. У дота во весь рост рота Комлюка...

Комиссар:

— Пехотушка пускай обтекает. Вот-вот...

— Обратить внимание на вторую роту.— (Она уже два дня на снегу.)

— Всех подкормить, дать водки... Все заработали...

Вносит адъютант сундучок. Раскладывает закуску, достает водку. Начинаются шутки...

Раздается очень близко сильный разрыв тяжелого...

Комиссар и майор продолжают закусывать. Я не пойму, действительно ли им не страшно или только они держатся так.

— Товарищ Никифоров, двинуть бы связь к доту...

— Ведется, уже ведется.

— Финна поймал, веду. Ранен. В плечо.

Ранены из командиров: начальник блокгруппы, командир танковой роты, инструктор политотдела Виник. Мой Виник. (Оказывал помощь раненому в 1-м батальоне.)

* * *

4 часа. Затишье. Перекуска идет нормально. Никифоров, оказывается, читал мои стихи (заговорил, когда комиссар назвал меня по фамилии).

2-й батальон. Подошли вплотную к роще «Молоток».

Входит в землянку заместитель начальника штаба корпуса по тылам. Расспрашивает, как с ранеными, с доставкой боеприпасов. Проверяет вежливо и корректно ход операции. Ставит очень конкретные вопросы, следя по карте. Неуловимая улыбка при таких выражениях, как: «Подбираемся к самому»... Командир и комиссар вдруг начинают запинаться, и, видимо, им неловко за свою, может быть, преждевременную закуску...

Лейтенант Афонин пишет в донесении: «Дот подрывать не следует, так как тут очень хорошо, можно чай пить». (Намерзся, бедняга, в своих импровизированных землянках.)

«Пленный» — утка. Просто схватили своего парня, сбросившего шинель и действовавшего в свитере. Ранили, кажется.

Сигнал «воздух».

Разрыв.

Входит начальник приданного артдивизиона (краси-

вый, отпускающий усики, как многие на войне): «Троих» — показал три пальца.

— Где? — тихо спрашивает комиссар.

— Здесь,— показал в сторону наблюдательного пункта. (Пункт подкинуло. В числе раненых редактор дивизионной газеты.)

— Третья рота (оказывается) траншеи не взяла...

Связной 1-й роты:

— Мало наших осталось.

— Из «ноль-ноль-два» забрасывают гранатами.

— Крепко ранили?

— Нет, бревном...

При взрыве первый раз отказал бикфордов шнур.

— Пропал запал...

— Третья рота заняла траншею...

— Пехота третьей роты уже за траншеей.

— Первая рота засела и не двигается...

Доктор Рабинович, побывавший у дота:

— У вас много «связистов». Наткнешься там на лежачего: «Почему лежите?» — «Мы связисты». Кругом «связисты»...

— Огонь минометный.

Снег в нашем овражке черен от разрывов. Снаряды и даже мины перелетают через нас — блиндаж в откосе.

Когда свечерело, я решил убираться. Наши уже стали закрепляться на ночь. Никифоров указал мне, где перебегать, где идти спокойнее. Я, кажется, чаще перебегал.

Вечером в опустевшем политотделе выпил спецпайковые сто граммов, поел горячего и заснул на нарах, в последнюю минуту чувствуя только с невыразимым удовольствием, что над землянкой много накатов и что сюда вообще снаряды не долетали.

Из записей о подвиге Трусова.— Задача была выполнена отлично (бомбежка живой силы противника в районе укреплений). Зенитки открыли огонь. В левом моторе мазаевского «СБ» — пробоина. Оба мотора заклинились. Правый мотор загорелся. Мазаев прекрасно посадил горящую машину на маленьком озерке (на лед, покрытый глубоким снегом). Скучно стало, когда противник начал бить из пулеметов и пушчонки. Климов, штурман, старший по возрасту и бывший пехотинец, скомандовал ложиться. Стрелок-радист Пономарев как выско-

чил из машины, бросился к командиру, думая, что тот ранен. Видят, планирует «СБ» (Трусова). Лобаев тоже хотел было, но Локотанов, командир эскадрильи, покачал плоскостями: не надо, хватит одного.

Мазаев:

— Это был второй вылет в тот день. Я летел левым ведомым. Видимость была плохая. Как только открыли по нас огонь зенитки, слышу удар под сиденьем, вся машина содрогнулась. Мотор поврежден, вытекла вода. А мотор без воды, как известно, ни туды и ни сюды.

Радист передает: горит правая плоскость. Вижу сверху справа огонь, красное пламя,— прогорело снизу. Озеро... Додал левому... Сели.

Истребители наши устроили над озером целую карусель. Штук одиннадцать, кружат, ведя непрерывный огонь по опушке, откуда к нам стремились финны. Трусов сел, недоруливая метров сто от нашей машины (горящей).

Трусов:

— Я решил, что его нет, зная его, как он ходит в строю. А тут облачность. Он под нее, а я решил пробить, чтоб не потерять его. Жму «на все железки». Шел на расстоянии пятидесяти — ста метров. Сел. Подбегают. Привстал я на сиденье. Глаза у тебя были больше обыкновенного (это к Мазаеву). Одного в бомболюки, двоих к стрелку-радисту, Мазаева и Климова. Лыжи — точно пристыли: шестеро вместо троих. Восемь раз — полный газ. На девятый раз оторвались (применив очень рискованный прием — удар хвостом по земле).

При посадке (на заливе — дома) штурман подал обычную команду:

— Прочь от бомболюков.

Трусов был трактористом (работал один сезон).

— Ваше имя-отчество?

— Мишка Трусов.

Мазаев тоже Михаил.

Ахмед Кургалеев (штурман Лобаева):

— Видя, что помощь Мазаеву будет дана, мы стали виражировать, ведя огонь... Когда Трусов взлетел, все выстроились опять, как будто поднялись со своего аэродрома.

Поездка с Н. Тихоновым в Сотую.— Уже приходилось догонять войска, фронт. Приехав в расположение штаба

123-й, мы ничего не могли расспросить, что, где, а сами призабыли. В землянке политотдела, где я провел несколько хороших часов, ночей и дней перед наступлением, где жили инструкторы, с которыми я успел тогда сдружиться,— в этой землянке только что поместились работники какого-то госпиталя, очень тылового учреждения, было все как-то загрязнено, печи не топились, холодно, наставлены какие-то ящики. В эту ночь мы ночевали в покинутой землянке 100-й дивизии.

Доты (подорванные) мы увидели наутро. Издали это было похоже на какую-то бесплодную долину, заваленную безобразными камнями, точно скатившимися с каких-то гор. Вблизи все это выглядело еще неприютней и суровей, хотя и трупы уже в основном были убраны. Только в одном месте, в нескольких шагах от развалин подорванного дота, в груде остатков сгоревшего танка мы видели танкиста без ног — один валенок с мясом в нем торчал неподалеку. Лицо танкиста так иссохло, что было маленькое, почти детское. Оно было черное, совершенно черное. Волосы наполовину обгорели, ото лба, на макушке торчали торчком — от мороза, что ли. Рука у него была тоже невероятно маленькая.

Все от точки до точки было завалено камнями — бетонными глыбами с торчащими из них прутьями арматуры. Иногда эти прутья-жилы еще связывали куски бетона между собой. Среди груды развороченного бетона лежал паровой котел центрального отопления или что-то в этом роде, клубок труб. В одном отчасти уцелевшем доте сидели наши, топили что-то. Наверх из подземелья выходила только гигантская стальная шляпка наблюдательной будки. Она была не то взорвана, не то сбита еще артиллерией. Внизу под ней виднелся темный колодец-люк, металлическая лестница с блестящими, вытертыми до блеска перекладинками — вроде тех, что мы видели на линкоре.

Через все это «битое поле» уже были проложены дороги и двигались, двигались войска. Но саперы еще бродили, выискивали мины и наши невзорвавшиеся снаряды. В сторонке от дороги на одеяле, разложенном на снегу, старшина делил сахар, раскладывая его по кучкам. Мимо двое бойцов двигали санки с наваленным на них трупом полусгоревшего. Одна его рука торчала, как сук из колоды. Боец упирался в эту руку, помогая товарищу.

За полосой разваленных укреплений начинался лес, иссеченный, обмолоченный, поломанный артогнем. Дальше лес постепенно превращался в обыкновенный.

Войска и обозы двигались узкой дорогой в лесу, встречное движение было невозможно, его и не было. Один раненый шел кое-как пешком (ранен в рот, в зубы), соступая то и дело с дороги в снег. День мы провели в бесплодных попытках как-нибудь пробиться, пробовали ходить вперед — нет ли где пробки. Пробки не было. Это была живая очередь машин, повозок, техники к передовой позиции. Сколько там продвигались, столько и мы следом. Заночевали среди леса. Костров нельзя было зажигать. Мороз был не меньше 30 градусов. Мы мечтали о том, как доберемся наконец в штаб одного полка, куда нам было нужно, как отогреемся, соснем под крышей.

Наутро, выбравшись к фронту, мы узнали, что ночью этот штаб, заняв один из уцелевших хуторских домиков, взлетел на воздух. Мы пришли в другой полк. Гремела артиллерия, противник был очень близко. Люди были какие-то иные, чем прежде. Уже начальство и то располагалось в только что вырытых ямах, где оттаивал мерзлый песок и вообще все текло, когда разводили огонь в каком-нибудь приспособленном бидоне или бензобачке. Нас не угощали, не приглашали. Не было обычной заинтересованности в том, чтоб что-то рассказать о себе. Люди, казалось, были уже ко всему равнодушны. Механически, сонными, усталыми, хриплыми голосами, рассказывали кое-что, сбивались, забывали имена, детали.

Оттуда мы, выпросив кое-как бензину у заправочной машины, выехали по Выборгскому обратно. Всего и материала было, что собрали по дороге сюда, в тылу, у начальника подива 100-й, который каким-то образом еще оставался на ночь на месте.

У Лазаренко.— Ехали туда побережьем. Обгоняли бесконечные вереницы лыжников в белых ватниках и таких же теплых штанах. Глядя на их снаряжение, на утомленные, хоть и здоровые, лица и на то, как путались с лыжами меж машин на узкой раскатанной дороге или утопали с ними в снегу, чуть свернув с дороги, думалось, что уж лучше бы идти пешком. Некоторые из них так и несли лыжи на плечах. Костюм их, как потом нам объясняли в лыжном батальоне, был не очень хо-

рош. Плотная верхняя материя ватников не пропускала воздух, тело быстро нагревалось до поту, человек расстегивался, и его «прохватывало».

Проезжали в одном месте дорогой, висящей высоко на срезе горы над низиной самого побережья. В одном месте проезд был загорожен тягачом, везущим пушку. Часа полтора «маневрировали» на узкой площадке, пока кое-как завели орудие в небольшое углубление в отвесной стене горы, чтоб дать проехать нашей и другим машинам.

Фронт непривычно продвинулся вперед. Ехали лесом, никого ни впереди, ни позади. Регулировщиков нет, дорога незнакомая, время позднее. Едем, держимся за свои замерзшие пистолетики и изо всех сил стараемся не верить всерьез, что нам придется стрелять. На такой дороге не разгонишься, и в машине чувствуешь себя, как в мышеловке.

В расположении дивизии нас обогнала машина. Она остановилась у дома, где по всем признакам должен был быть штаб. Вышедший из машины командир показал нам, как пройти в штаб, а сам нырнул в другую дверь. Это был, как оказалось после, Лазаренко. Нас это тогда обидело, но зато впоследствии (по заключении мира), когда мы дали полосу о его дивизии — и приписали одной ей, по своей доверчивости, взятие Койвисто (Койвисто брала еще 43-я дивизия),— он стал с нами очень ласков.

Встретили нас два батальонных комиссара — комиссар и начподив, который разыгрывал из себя полководца, водил нас по карте и т. п. А между прочим сказал, что он сам журналист, и довольно скоро выяснилось, что он большой трепач. Комиссар, высокий, черный, немолодой, тоже старался придать себе весу. Но поужинать они нам не предложили. Ночевать отправили в политотдел, где жили инструкторы, встретившие нас уже по одному тому, что мы не остались в штабе, с начальством, не очень приветливо: «Негде тут». Стараниями редактора дивизионной газеты, который тут оказался, мы были устроены — последовательно в течение часа — в соседней комнатке, в прокуратуре и, наконец, в медсанбате у врачей, молодых ребят, где было довольно тесно, но люди рады были нам. Там мы кое-что записали.

* * *

Старший военфельдшер Савицкий В. Ф., лет двадцати. Уже был награжден медалью «За боевые заслуги». Ходил в разведку с группой лейтенанта Турманова.

— Наткнулись на финский лыжный след. Пошли дальше, слева нас осветила ракета. Остановились в леске. Слева выстрел. Турманов послал лейтенанта Кожурина обойти справа место, откуда был выстрел. Оказалось, наткнулись на дот. Были ранены — Кожурин, Маслеников и еще один. Лыжный дозор, на след которого мы наткнулись, зашел нам в тыл. Все наши раненые были ранены в ноги. Нужно было нести открытой поляной около километра. Турманов дал мне десять бойцов, приказал выбираться необстреливаемым сектором. Но нас обстреляли и окружили. Четырем бойцам я приказал отстреливаться. Сам — пятый. Лежу, ветер раздувает халат, демаскирует меня.

— Закрой мне халат...

Потом подоспел пулемет. Дорогу расчистили. Ветков был «ранен» — пуля прошла под мышкой, не задев ни на волос тела.

Помнится, еще рассказывал, как он сидел где-то довольно долго с несколькими ранеными, в том числе одним финном, и пек для них картошку. Угощал и финна. Но записывалось уже очень плохо, хотелось спать.

Утром ходили в 445-й полк, где нам рассказали о Зубце. Там же очень хороший был инструктор пропаганды Абатуров Борис Анатольевич, из ленинградских рабочих (после убит). Он-то и рассказал нам, как шел бой за знамя, водруженное на не занятом еще нами доте. Первая, газетная, редакция «Баллады» более близка к фактической истории дела. Финны покинули дот сами, как будто не выдержав психологически того, что над ними уже было наше знамя.

Ленинград. 7. XII. 40.— Приехал из Выборга, из 123-й, с границы.

Вновь увидел те самые снега и елки, рвы и надолбы, печные трубы, голубенькие дачки, уцелевшие кое-где. Все было, как в прошлогоднюю зиму. Даже валил почему-то особенно памятный мне липкий, пушистый снег. Только ехал не в машине, а в вагоне поезда Ленинград — Выборг, грязноватого, холодноватого, неуютного.

Кое-кто из пассажиров еще начинает изредка:

— Вот здесь мы обходили... А он, значит, на высоте укрепился.

Но рассказы не очень привлекают посторонних слушателей. Давно это все прошло, давно эти места стали обыкновенными, населенными нашим разнообразнейшим людом, занятым своими заботами и обязанностями. И как я ни пытался, вглядываясь в эти елки, стоящие на нижних своих лапах на снегу, во все, что было по дороге, оживить в себе то, что было тогда, а может быть, пришло потом, в Москве и под Москвой летом,— не получалось...

По дороге читал книжку Чуковского, в ней между прочим шла речь о Репине, Куоккале, но и это все было точно где-то в другом месте, а не здесь, где проезжаю.

В Выборге еще много развалин, обгорелых, прогнутых балок, труб, груд кирпича, пустых окон, но на улицах прибрано, ходит трамвайчик, машины, санки. Дети и взрослые гоняют по улицам и бульварам финские санки, подскакивая на одной ноге. И в городе, где еще никто, ни одна душа не живет больше года, уже ходят с детьми какие-то домашние старушки, девушки — по трое, под руку, артисты в шляпах и белостокских пальто.

Город полон и переполнен. Прошли те дни, когда старшие политруки занимали особняки консулов,— в городе уже трудно достать жилье.

* * *

Сидел вчера день и вечер на дивизионной партконференции. Другой жизнью, другими задачами живет армия. Суровость и трудность обстановки те же, но «романтики» — ни грана.

Генерал-майор, которому я представился в кулуарах, любезно посадил меня на заднее сиденье своей машины, а сам сел в кабине с шофером, видимо, не желая слишком преувеличивать мое значение в глазах тех, которые замечают, как и с кем кто сидит. Привез в штаб корпуса, завел в свой кабинет, обставленный тяжелой трофейной мебелью, с книжными шкафами и книгами с золотым обрезом, на финском языке. Показал комнату-фонарик, прилегающую к кабинету с угла и оборудованную для отдыха.

Он принимал и поздравлял сержантов с присвоенным званием. Ребята хорошие, несколько — с орденами и медалями.

Поехали обедать. Великолепным жестом генерал-майор предложил мне вступить в некий отдельный кабинет корпусной столовой. Только выбрали первое, только выпили по рюмочке травнику (он, я, командир дивизии, начальник отдела пропаганды и др.) и, осторожно пошучивая, нацелились хватить по другой — входит только что прибывший генерал-лейтенант из округа — мягкий, рыхлоносый, огромный дядя — и все занемело. Генерал-майор залепетал что-то, предложил «согреться», но тот сказал «не хочу» и стал по-стариковски выбирать блюда не очень тяжелые, спросил себе лимонаду.

— Хороший лимонад. Вы не находите, товарищи? Или вы не пьете лимонаду? — И засмеялся.

— Нет, почему же,— слабо возразил генерал-майор, наливая себе лимонаду.

* * *

Необычайно толстый батальонный комиссар в кожаном черном пальто рассказывал о своей встрече с командующим (во время боев), который ходил в таком же черном пальто.

«Вылезаю из машины, слышу:

— Что это за хрен в машине по фронту разъезжает?

— Батальонный комиссар такой-то...

— А что ж это вы в машине разъезжаете? Вы — в танке, в танке, дорогой товарищ...

А в танке — знаешь — какая езда. Бьет, трясет, ничего не видишь, гремишь куда-то. Одно хорошо, что все дорогу уступают. Ну, а если забита дорога — он обочиной как хватит по снегу. А там черт их знает мин сколько. Сидишь — и вот — к Иисусу, к Иисусу, к Иисусу — думаешь».

* * *

От Выборга до границы ездил на машине. Видел мало чего, только испытал прошлогодние ощущения езды. Снег, елки, лес, дремота, тряска. Раза три таскали машину до того, что в мякишах ладоней боль осталась.

Бойцы живут на этом краю советской земли в хуторских домиках повзводно, топят финские жаркие печки, глядят в огонь (только что пришли с работы), который единственно и освещает помещение; кто-то потягивает гармонь; на лицах добрая понятная грусть от непривычки: новое пополнение.

* * *

Верстах в пяти от заставы, в лесах, в снегах расположен гарнизон. В маленьком двухкомнатном финском домике живет полковник с сыном и дочерью, с женой, потихоньку высохшей от переездов с места на место и, видимо, уже потерявшей женскую привязанность к стационарному жилью. Поставили самовар, стали угощать грибами (которых здесь после войны было очень много в опустевших невытоптанных местах). Посматриваешь на часы, а полковник:

— Танки в лесисто-болотистой местности — не то что ведут пехоту, а должны за пехотой идти. Это закон. То же самое ночью. Вот у меня было под станцией Ляйпесуо...

Кстати, это тот самый полковник Шолев, который при самой смертельной усталости, всякий раз, когда начинали говорить о тактике и кто-нибудь выдвигал какой-нибудь вариант условного наступления, спускал ноги с постели и говорил сердито:

— Ничего не выйдет...— И горячо вступал в спор.

8. XII. 40.— Прошло время, когда все определялось тем, как армия, часть, боец воюет, какие у них успехи. Это было единственной меркой и оценкой всего. Недисциплинированный боец? Да, но он первым добрался до дота, взорвал его и т. п. Он — герой. Отстающая по боевой и политической подготовке дивизия? Она прорывает линию Маннергейма, она награждается орденом Ленина (123-я). Сейчас все по-иному. Все подводится к некоей общей норме, которая отказывается от случая, удачи и т. п., идет к организованности, предусмотренности, обобщению. А романтика — в сторону. Орденоносная дивизия может стать одной из отстающих. Боец, награжденный орденом, совершает проступок, за который его приходится судить, и т. д.

* * *

Об уроках этой войны говорят много, говорят критически и беспощадно к самим себе, к привычным понятиям и т. п. Потери и неуспехи на первых порах объясняются тремя причинами.

Первая из них — неподготовленность нашего запасного состава.

Вторая — то, что все это — снега, доты, характер сопротивления — было *впервые*. Меру трудностей никто не мог предугадать.

Третье — успех предшествовавшей кампании в Западной Украине и Западной Белоруссии, снизивший боеспособность некоторых частей, приучивший их к легкости.

Все это нужно выразить и по-иному, но это все так.

* * *

Новое пополнение заставало еще участников боев. «Старики» вели себя как герои. Море по колено. Дисциплина — низкая. Новички перво-наперво переняли этот дух. А тут их охладили: взыскания, суд дисциплинарный. Многим показалось, наверно, небо с овчинку.

Бойцы из западных областей Украины и Белоруссии еще, случается, говорят: «Пан командир...»

Москва. 9. II. 41.— Очень трудно отступление «Там, за той рекой Сестрою...» А вообще — что-то получается. Не преувеличиваю, не обольщаюсь.

Исключительной вещи мне на этом материале скорее всего не сделать. Но она нужна до зарезу, даже такая, какую смогу. Делать нужно и буду делать, переделывать, терпеть...

19. II. 41.— Уезжаю сегодня в Ригу с В. С. Гроссманом собирать по заданию ПУ РККА материал по истории 90-й дивизии.

Москва. 12. III. 41.— Возвратился из Прибалтики... Работа над «историей» требует еще усилий. Надо дополнять, сверять, отделывать...

Надо написать песню 90-й...

Уже пропустил два занятия на курсах в Военно-политической академии...

«Теркин» запущен за этот месяц, хотя за время поездки надумалась (по материалам истории дивизии) очень подходящая глава для начала — «Переправа» (Кивиниеми)...

21. III. 41.— Вчера читал Маршаку главки «Теркина». Он был просто взволнован, но необходимо помнить, что

это с ним бывает, а потом он ничего моего, кроме «Муравии», не помнит. Одно важное его замечание: стихи свободные, без стремления к эффектам на каждой строчке. Помнить о деле, о том главном, что хочешь сказать, а строчки сами собой будут хороши.

Что-то в этом роде я сам не то придумал, не то во сне видел — что-то чрезвычайно ясное, правильное насчет формы и содержания. А вспомнить не могу. Какое-то смутное, но очень радостное воспоминание, что-то очень новое для меня и в то же время не противоречащее резко моей прежней работе и пристрастиям.

1939—1941

● С ЮГО-ЗАПАДНОГО

(Со страниц фронтовой газеты)

КАПИТАН ТАРАСОВ

Майор Арсенюк услыхал за палаткой голос, заставивший его насторожиться. Разговаривали двое. Один из них был старший лейтенант Белецкий, в этом ничего не было необычного. Другой голос звучал очень знакомо, но с какой-то странной хрипотцой. Вскоре послышался короткий тихий смешок с той же хрипотцой, и майор Арсенюк, чувствуя, как у него сердце сжалось от радостного волнения, выскочил из палатки.

— Тарасов,— ты?

— Я.

Товарищи крепко обнялись и расцеловались.

— Нет, как же это так, Тарасов? Неужели это ты и есть, живой, здоровый?

— Как видишь...

Да, это был он, капитан Тарасов, которого все уже считали погибшим вместе с его группой, попавшей в окружение дней пять назад. С лица он изменился мало, чуть осунулся, только губы обветрились и воспалились, как будто у него был жар. Сухощавый, немного сутулый, но ладный и подобранный, он стоял среди друзей, улыбаясь и пожимая им руки.

Несколько дней тому назад капитану Тарасову была поставлена задача — сдерживать продвижение противника на восток в районе местечка В. Группа сначала была до-

вольно значительная, но в ходе боев противнику удалось разделить ее на части. Та горсточка людей, которая осталась у капитана, была отрезана от своих и окружена силами двух немецких полков. Положение создалось очень трудное.

Капитан Тарасов вошел со своей группой в подчинение к тов. Плешакову, который с несколькими ротами действовал в этом же районе.

Местечко В. находилось всю ночь в наших руках. Утром сорок танков, взвод мотоциклистов и пехота противника атаковали местечко. Двенадцать танков капитана Тарасова приняли неравный бой с вражескими танками. Местечко оставалось в руках группы капитана Тарасова, но станция В. была захвачена. Тарасов понимал, что нельзя дать врагу закрепиться на этой станции, и вновь бросился в бой. Немцы не выдержали стремительной атаки и отступили. Одиннадцать их машин остались на месте. Пять из них были в полном порядке отведены в тыл. Бойцы и командиры с любопытством рассматривали специальное приспособление у некоторых из танков для рассеивания дыма. Машина, отходя, могла укрыться собственной дымовой завесой.

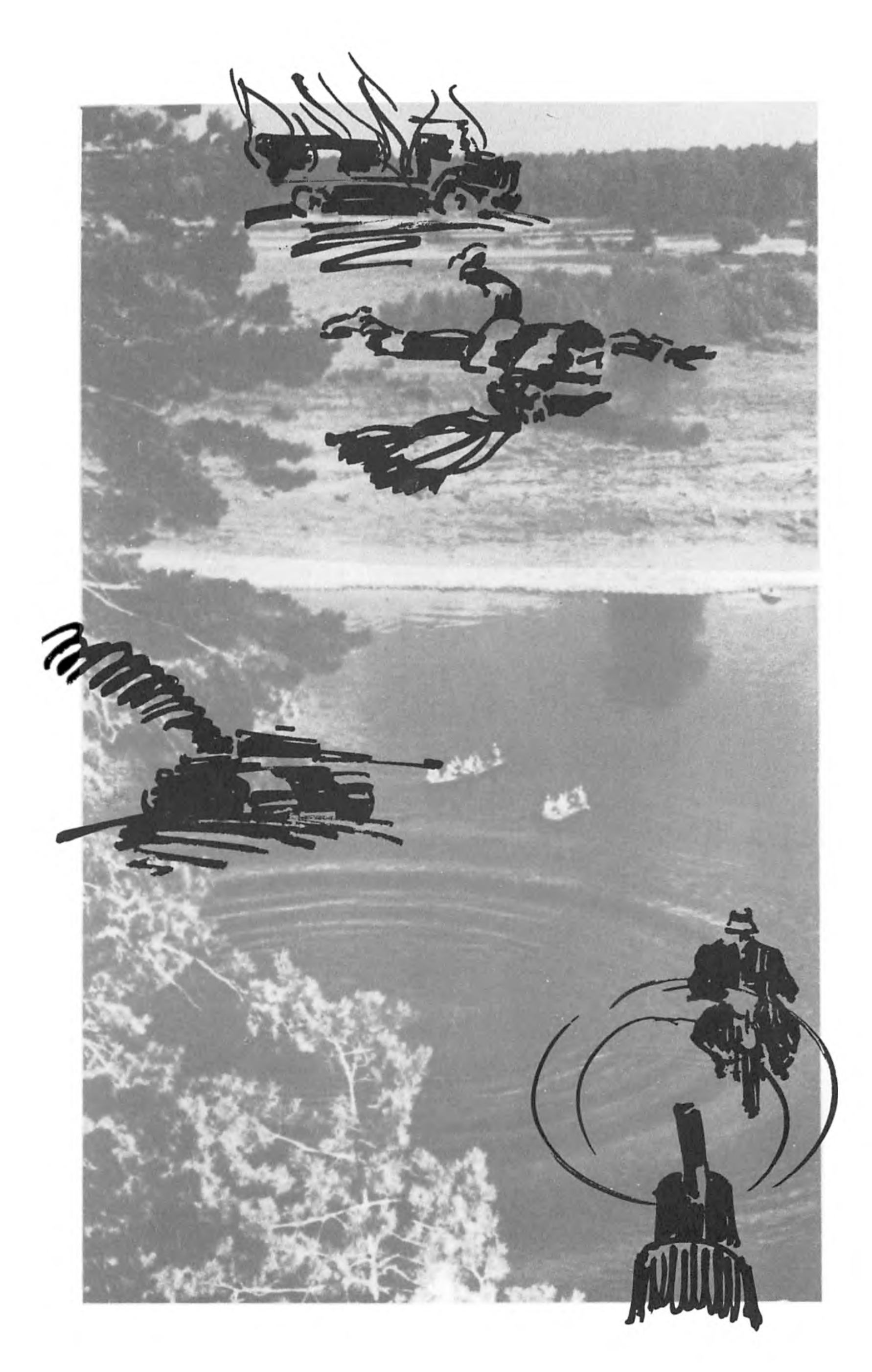
В числе трофеев были еще 76-миллиметровая пушка и три мотоцикла. Не теряя ни минуты, капитан Тарасов готовился дать отпор. Пять захваченных танков были развернуты в сторону противника. Это уже было значительное подспорье к огневым средствам группы.

Но напор противника, оправившегося от удара, усилился втрое. Горсть храбрецов не могла противостоять лавине огня и металла, двинувшейся на них. Местечко и станция В. перешли к немцам. Все вокруг горело, нечем было дышать, с трудом доставали воду для питья.

Теперь группа Тарасова находилась в полном окружении на маленьком клочке земли, «на пятачке», как говорили бойцы.

Капитан Тарасов по одному собрал всех своих людей вплоть до шоферов, поваров и других нестроевых, вооружил чем мог. Опять закипел бой, но силы были уже настолько неравные, что казалось — приходит конец героической группе. К двум часам ночи тов. Плешаков снял половину людей из своей обороны и, также вооружив шоферов, приказал капитану Тарасову выбить врага из В. и местечка П., попытаться вырваться из окружения.

Пошли в атаку. На стороне тарасовцев и плешаков-





цев была ночь, которой всегда боится противник, да отчаянная решимость драться до последнего. Надежд на помощь, на какое-либо подкрепление уже не было. Оставалось положиться на собственные силы. Люди были измотаны непрерывными боями, некогда было подкрепиться пищей,— впору только глотнуть теплой речной воды, затянуться дымом махорки.

Но решимость творит чудеса. Фашисты не устояли в ночном бою.

Два наших танка-гиганта подбили 18 немецких машин. 12 человек были захвачены в плен. Противник бежал от крошечного, усталого до последней степени отряда Тарасова. А тарасовцы сгоряча рвались за ним дальше. В штыковой схватке в эту ночь младший лейтенант Зайцев заколол четверых немцев, другой младший лейтенант из плешаковцев уложил 12 человек. Лейтенант Сахаров — трех. Как выяснилось из рассказов пленных, в этой схватке наши имели дело с отборной офицерской ротой фашистов.

На рассвете, со свежими силами, противник повел наступление. Наши лежали под непрерывным и жесточайшим огнем артиллерии. Лежали, зарывшись в землю, в бороздах от гусениц танков, в воронках от разрывов.

Немцами вновь были взяты В. и П. Тарасов держался на северной окраине П. Здесь оставались до вечера, ночью противник пойти в атаку не решился. По-видимому, группу Тарасова он принимал за целое соединение и обрушивал на нее огромную массу огня. Днем над «пятачком» земли, где оборонялась группа, закружилось 19 немецких бомбардировщиков. Бомбы буквально вспахали и перепахали несколько раз подряд этот «пятачок».

К вечеру тов. Плешаков вместе с капитаном Тарасовым подсчитали тех, кто мог держать в руках оружие. Людей оставалось совсем мало. Снарядов и патронов было также в обрез.

Тов. Плешаков, зашивая фуражку, прорванную осколком вражеской бомбы, сказал тихо и внятно:

— Будем, Тарасов, пробиваться.

Легкораненые сами вызвались принять участие в последней схватке. Собрали винтовки убитых и тяжелораненых. Подсчитали все до одного патрона. Все знали, что бой этот решает вопрос жизни или гибели всех. И все дрались отчаянно. Тарасов все эти дни старался людей

держать поблизости от себя. Видя его спокойствие и деловитую расчетливость в бою, они получали наглядный урок мужества.

Младший воентехник Григорьев, впервые попавший в боевую обстановку, нервничал, хотя и старался не показывать виду. Тарасову удалось его подбодрить настолько, что теперь Григорьев в атаке проявил себя как храбрый напористый воин.

Бой был короткий, но жестокий. Имя великой Родины объединило наших товарищей в неудержимом порыве. Опять хорошим помощником была ночь. Кольцо врагов было прорвано. Сразу же, выбравшись за черту окружения, Тарасов организовал увод наших машин с «пятачка». Машины по пути подбирали раненых.

Много еще испытаний пришлось встретить группе Тарасова, но впереди теперь были свои друзья, товарищи, родная земля...

Теперь, пожалуй, будет понятно, почему майор Арсенюк был так взволнован, услышав за палаткой голос капитана Тарасова...

Июль 1941

БАТАЛЬОННЫЙ КОМИССАР ПЕТР МОЗГОВОЙ

Старшина одной роты ехал на грузовой машине. Обогнал группу бойцов, запыленных и усталых. Это были отставшие. Оказалось, что они из того же полка, откуда был старшина. Люди обрадовались. Чего еще надо: свои машины, знакомый командир, через полчаса — дома. Однако старшина проявил себя человеком черствым. Видя, что бойцы не из его роты, он отказался их посадить и загремел порожней машиной дальше.

Батальонный комиссар Мозговой уже не в первый раз рассказывал об этом случае, он хочет, чтоб все до единого поняли, почувствовали, что поступок старшины — плохой, вредный. Говорит комиссар низким, хриплым голосом, с виду он человек угрюмый, но в его простых и внятных словах — такое искреннее возмущение и горечь, столько любви и заботливости к бойцу, что все слушающие невольно проникаются тем же чувством.

— Вы подумайте,— говорит он,— подумайте о том, что переживает отставший боец, когда завидит на дороге свою машину, свою колонну. Ведь у него слезы на гла-

зах от радости. Он нашел своих, он видит товарищей, с ними ему и жить и воевать. И вдруг его не берут на машину. Ты, говорят, другой роты. Какую нужно совесть иметь, чтоб так сделать?

Мозговой — человек рослый и крепкий, но в фигуре его, одетой в потертое кожаное пальто, с первого взгляда заметна какая-то связанность. И не все знают, что он уже дважды ранен в боях, что раны еще не зажили и каждое неловкое движение доставляет ему боль, хотя сам он никогда об этом не проговорился. В госпиталь отправить его не удалось.

— Это не раны,— говорит он своим угрюмым хриплым голосом,— царапины.— Но даже с одной из таких «царапин» комиссар не позволил бы никому другому остаться в строю.

Это было в бою за переправу через реку С. Под огнем противника бойцы, никогда раньше не бывавшие на фронте, попросту растерялись. Батальонный комиссар остановил их властно и строго:

— В чем дело?

— Стреляют, товарищ комиссар,— показал один рукой в сторону неприятеля.

— Стреляют? А мы что ж? Стрелять не умеем? Вперед!

Властность и решительность, прозвучавшие в голосе Мозгового, ободрили людей. Так может говорить только человек, который сам не боится. Когда осколочек мины вонзился ему в грудь — по счастью, неглубоко,— он собственноручно вынул его и бросил на землю. Об этом случае бойцы после рассказывали друг другу с восхищением. Людям радостно было убедиться в той простой вещи, что не всякий осколок и пуля попадает и не всякое ранение делает человека беспомощным. А еще в этом бою они практически убедились, что идти вперед выгоднее, чем назад.

Второе ранение Мозгового было посерьезней: пуля попала в левую руку повыше локтя, но кости не задела. Комиссар сам перевязал рану и остался в строю.

— Это мне за бинокль,— шутливо, но и поучительно рассказывал он об этом ранении командирам и политработникам подразделений.— Бинокль у меня на ремешке. А враг такой приметы не пропускает. С биноклем — значит, командир. Командир — значит, его в первую оче-

редь надо вывести из строя. Так что не обвешивайся разными причиндалами, когда идешь в бой. Поменьше ремней, поменьше пряжек.

Уменье из всего сделать практический вывод, использовать каждый случай и пример с воспитательной целью — живая, непосредственная черта заместителя командира части Петра Григорьевича Мозгового. Похоже даже, что он не всякий раз думает о поучительной стороне дела, а просто переживает все то, с чем сталкивается в дни боев и в промежутках между боями, как хороший, разумный работник, человек большой и чуткой души. Поэтому и поучительность его замечаний, указаний и советов — живая и убедительная.

Комиссар отдыхал под деревом, когда с машины, замаскированной зелеными ветками, до его слуха дошли обрывки, отдельные слова какого-то спора двух бойцов.

— Я не понимаю,— сказал один из них,— не понимаю — человек ты или милиционер тут.— Выражение подвернулось неудачное, нелепое, и комиссар не пропустил его мимо ушей.

— Кто такой милиционер, товарищ боец? Объясните мне. Не можете? Милиционер,— приподнимается Мозговой, опираясь на правую, здоровую руку, и строго, прочувствованно произносит,— милиционер — слуга народа, такой же боец, как и мы с вами, он выполняет свою государственную задачу, а сейчас — в особенности, когда у нас созданы истребительные батальоны милиции для борьбы с диверсантами в тылу. А выходит, вы милиционера и за человека не считаете.

— Больше таких слов не будет, товарищ батальонный комиссар.

Колонна проезжала селом. Это была волнующая, трогательная картина. Пожилые женщины, девушки, дети, старики и молодые ребята стояли по сторонам дороги; в машины летели букеты полевых цветов, коробки папирос, пачки махорки, вишневые ветки с ягодами. В одну из машин была брошена еще маленькая, сложенная пакетиком записка:

«Здрастуйте, дорогі бійці і командири! Бажаю вам знищити такого небезпечного ворога, як Гітлера та всіх його гадів. Але я думаю, що ви не пропустите на свою батьківщину ворога. Одженете і повернетесь додому і побачитесь з своіми батьками, матерями, сестрами, бра-

тами, дітьми, жінками, а також нареченими. Досвіданія, досвіданія, боріться мужньо, дорогі бійці і командири.

Адрес: м. Погребище Погребищенського району, Вінницька область, сахзавод, дом № 80, получить Кирилюк Марусі Федоровні».

Батальонный комиссар Мозговой не только прочел эту записку на большом собрании в полку, но предложил и написать ответ Марусе Кирилюк от бойцов и командиров. Предложение его было встречено с радостным воодушевлением. Ведь словами этой девушки или девочки — школьницы Маруси — говорила Родина. И все это дал почувствовать людям глубоко и сердечно комиссар. Недаром о Мозговом все говорят с большим уважением и любовью. А один боец просто сказал:

— С таким вместе воевать хорошо.

Июль 1941

МУЖЕСТВО, УМЕНЬЕ, СМЕКАЛКА

1

От зажигательного снаряда противника загорелась машина, на которой было знамя Н-ского орденоносного полка. К машине, объятой пламенем, бросился красноармеец 3-й пулеметной роты, знаменосец Степан Валенко. Подобравшись к ней под непрерывным вражеским обстрелом, боец схватил полковое знамя и, раненный в обе ноги, стал отползать к своим. Когда его подобрали санитары, он был уже почти без сил от потери крови. Обеими руками он крепко прижимал к груди обгоревшее по краям красное полотнище спасенного знамени.

2

Немецкий мотоциклист мчался по узкой полевой дороге. Наводчику Кононенко ничего не стоило расстрелять его в упор из пулемета. Но боец решил взять фашиста живьем. Он дал короткую меткую очередь по рукам мотоциклиста, и тот, сразу выпустив руль, вынужден был сдаться вместе со своей машиной.

3

Младший лейтенант Корнеев вместе с тремя бойцами был отрезан от своей части и уже вторые сутки пробирался к своим. Местный житель старик украинец приютил всех четверых в сарае, дал поесть и предупредил, что в селе расположились немецкие войска. Сидя в сарае, они вскоре сами услышали, как фашистский офицер на ломаном русском языке «беседовал с населением», т. е. с маленькой группой женщин и стариков, не успевших убежать в леса.

Казалось, что уже отсюда не выбраться живыми, но, когда наступила ночь, младший лейтенант вышел с бойцами в рожь и открыл по врагу огонь из ручного пулемета и винтовок. Переполох был неописуем. Начались беспорядочная стрельба, паника, позволившая находчивому командиру и его бойцам уйти из стана противника.

4

Молодой летчик-истребитель лейтенант Беликов в первом боевом вылете наткнулся на одиннадцать фашистских бомбардировщиков, шедших в строю. Лейтенант быстро развернул машину и примкнул к строю бомбардировщиков так, что вражеские машины не могли вести по нему огонь, не рискуя задеть друг друга. Выбрав минуту, Беликов дал пулеметную очередь по крайнему из бомбардировщиков. Тяжелая машина с черными крестами на плоскостях, охваченная пламенем, рухнула наземь. Беликов ускользнул невредимым.

5

Экипаж танка — командир Резум, водитель Федоренко и башенный стрелок Щелкин — принял неравный бой с пятью фашистскими танками. Три машины противника были уничтожены огнем, четвертая развернулась и стала отходить, пятую наши танкисты успели протаранить. Разогнав танк на третьей скорости (перед самым ударом выключив сцепление) и ударив ребром, отважные танкисты опрокинули фашистскую машину в канаву.

Июль 1941

ПЕРВЫЙ БОЕВОЙ ДЕНЬ

До этого дня старший лейтенант Филиппов в боях не бывал. И хотя годы мирной учебы не прошли даром и Филиппов, начав службу рядовым бойцом, вырос в культурного, знающего командира, все же того, что окончательно формирует воина,— ему недоставало.

И вот девятой роте приказано форсировать реку вблизи местечка С. и занять оборону на том берегу. В 10 часов утра старший лейтенант приступил к выполнению задачи. По одному из мостов были переправлены станковые пулеметы и минометы. Основное ядро роты Филиппов решил провести вброд левее моста. Перебрались благополучно.

«Где же лучше занять оборону?» — соображал он, присматриваясь к местности. Командир батальона капитан Краснянский указал ему на две лежавшие впереди высотки, поросшие редкими елочками. Филиппов выставил разведку в сторону противника, который находился в нескольких сотнях метров, и приказал командирам взводов сразу же заняться рытьем окопов. Почва песчаная, мягкая, дело пошло быстро, но едва успели углубиться в землю по колени, как пришел приказ вести наступление слева от седьмой и восьмой рот, шедших понад рекой. Задача сводилась к тому, чтобы зайти во фланг и нанести удар противнику.

Рота энергично поднялась и стала продвигаться вперед, но от противника ее отделяло совсем ровное поле; начался огонь, пришлось залечь. Лежать в молодых яровых хлебах, это не во ржи или пшенице — почти все на виду у противника.

Седьмая и восьмая роты также приостановились.

Старший лейтенант ясно видел, откуда враг вел огонь. Одна из точек с такой наглостью расположилась под отдельным деревом, на опушке леса, что ее просто нельзя было не заметить. Тут как нельзя больше пригодились минометы. Командир минометного взвода младший лейтенант Приходько дал несколько выстрелов, и она сразу замолкла.

«Дело идет ничего как будто»,— мысленно отметил Филиппов, чувствуя, как в ходе самого боя он становится все спокойнее, расчетливей и уверенней в себе. Он не испытал растерянности и тогда, когда капитан Краснянский сообщил ему, что командиры седьмой и восьмой рот

ранены и теперь на девятую роту возлагалась еще более трудная задача. Нужно было сдерживать противника в районе обороны, чтобы дать возможность выправиться и перегруппироваться соседним ротам.

Филиппов отступил к своим высоткам, где как-никак было удобней обороняться, чем в открытом поле. Начали углублять свои окопы.

Через десять — пятнадцать минут противник открыл по переднему краю огонь из минометов и пушек. Огонь этот то и дело переносился на мосты, по которым отходили на свой берег седьмая и восьмая роты.

Вскоре были ранены первые пять-шесть человек из роты Филиппова. Наблюдатель Скорецкий был ранен дважды.

— Сейчас вам помогут, отнесут вас в укрытие,— сказал Филиппов.

— Спасибо, товарищ старший лейтенант. Люди заняты. Доползу сам,— решительно заявил Скорецкий.

Среди отдельных бойцов было заметно некоторое замешательство. Иные уже стали прятаться за кустами, вылезая из окопчиков.

— Назад, в окоп! — крикнул командир роты.— Окопаться, залечь. Сейчас будет бить наша артиллерия.

Подползли к Филиппову, связной от командира полка передает ему приказание: принять командование батальоном, привести все роты в порядок, держаться на занятой позиции.

Много раз читал и слышал Филиппов о том, как в бою приходится младшему командиру заступать на место старшего, но с ним это происходило впервые. «Вдруг — не так что-нибудь»,— невольно шевельнулось где-то в сознании, но раздумывать было некогда, нужно было действовать. Филиппов оставил в роте своего заместителя, младшего политрука Комарова, а сам тотчас связался с полковником.

— Дайте мне хоть одну пушку, а то бойцы скучают...

— Дадим. Держитесь!

Старший лейтенант направился к ротам, вошедшим в его подчинение, подтянул их снова на передовую позицию, ободрил, обнадежил:

— Держись, ребята! Не пропадем.

Полковник вызвал Филиппова к телефону:

— В соответствии с новой задачей части удерживайте оборону до 12 часов. Под прикрытием вашего огня будет

отходить другой батальон. После этого закрепитесь на нашем берегу.

Уже начинало темнеть. Огонь противника несколько утих. В батальоне занялись эвакуацией раненых в тыл. В 12 часов Филиппов, зная, что задача прикрытия отходивших подразделений выполнена, стал взвод за взводом отводить своих людей. Последним отходил пулеметный взвод, все время прикрывавший своих.

На нашем берегу подразделения быстро окопались и открыли огонь по автоколонне противника, показавшейся за рекой. Колонна беспорядочно сгрудилась, произошел заметный переполох. Филиппов, не ослабляя огня, бил и бил по колонне из пулеметов.

Командир действовал уверенно, хладнокровно и разумно. Радостное сознание того, что первый свой день в бою он провел неплохо, не покидало его.

Июль 1941

САИД ИБРАГИМОВ

В один из первых дней войны боец Саид Ага Файзулаевич Ибрагимов понес большую утрату. Пал в бою его друг и земляк из далекого Дербента Борис Меликов. Они вместе росли, учились, вместе были призваны в Красную Армию. И вместе пошли воевать.

Много родных краев, много республик, а родина одна. И лезгин Саид Ибрагимов понимал, что, защищая украинскую землю, по которой впервые ступали его ноги, он защищает и свой далекий Дербент, где живут его родные и друзья, его жена и маленький сын Сабир.

Так же, наверно, думал и Меликов, земляк Ибрагимова. Но Меликов убит, а он, Ибрагимов, жив, и когда он будет писать домой письмо, он должен сообщить о смерти своего товарища. Как ни тяжело быть вестником горя, умолчать об этом нельзя. И Саид не может добавить в письме, что он отомстил за Бориса Меликова. Еще не выпало такого случая, чтоб поквитаться с врагом самому, отдельно.

Случай сам не придумаешь. Кто его знает, когда он выпадет. Нужно, покамест, просто воевать, выполнять в точности любую задачу, а там видно будет. Свою сегодняшнюю задачу Саид знает твердо. Он должен произвести разведку села, лежащего на пути следования части.

Он проберется через реку, войдет задами в село,— там как будто никого нет, но нужно проверить, прислушаться, присмотреться. Так приказал, посылая Ибрагимова в разведку, младший лейтенант Бакало.

А он человек строгий, к нему не придешь без ничего. Ему доложи точно: есть в селе хоть один немецкий солдат или нет ни одного солдата. И за свои слова отвечай. Нужно смотреть, слушать, угадывать, оставив все другие мысли — о себе, о Меликове, о жене и сыне. Ты сейчас идешь один, но вслед за тобой должны пройти много людей, твоих товарищей, и если ты чего-нибудь не доглядел,— ты подведешь всех.

Саид перешел реку ниже полуразрушенного моста. Вода была в самом глубоком месте по грудь. Саид бережно нес над водой свой пистолет-пулемет. Оружие это он хорошо знал, владел им свободно и привычно, но сохранил к нему чувство особого благоговейного уважения. «Машинка — лучше нет»,— говорил он обычно и тихо прищелкивал языком.

В селе было тихо, безлюдно. В теплой мягкой пыли копалась одинокая курица. Двери и окна многих домов были открыты. Похоже было, что жители ушли куда-то неподалеку и каждую минуту могут вернуться. Печки еще сохраняли остаток тепла. Только беспорядок, брошенные на полу вещи, стекло от разбитой посуды и многие другие признаки говорили о том, что жителей сняли с насиженных месте большие и грозные события.

Саид услыхал какой-то негромкий ноющий звук, но звук этот так подходил ко всей обстановке покинутого села, что Саид не стал долго прислушиваться. Скрипела где-нибудь ставня или качался, свесившись, лист кровельного железа, или так что-нибудь.

Подбористый, гибкий и сильный, Саид легко и бесшумно перелезал через плетни, пригибался у палисадников, полз по канавам. Одежда на нем успела обсохнуть. Движения его были свободны и расчетливы. Если нужно было притаиться, он при своем довольно высоком росте без труда помещался в какой-нибудь ямке, умел так приникать к стволу дерева, к стене, к углу строения, что был совершенно невидим. Страха он не испытывал. Он знал, что сейчас, в разведке, не ему пугаться кого-то, а он, Саид Ибрагимов, невидимый и зоркий, он — самое страшное для врага, которого окружают чужие поля и укрывают чужие стены.

Ноющий звук послышался ближе. Теперь он что-то смутно напомнил Саиду. Боец насторожился и вскоре понял, что звук доносился из небольшого сарайчика, что стоял за одним из домов, в саду. Вот еще явственнее и ближе... Саид невольно улыбнулся, лежа в картофельной борозде. Это было сонное, однообразное нытье свиньи. По-видимому, жители оставили свинью в сарайчике, она хочет сном заглушить голод, но совсем утихнуть не может. То умолкнет, то вдруг снова затянет свое: и-и-и...

Похоже было, как будто кто-то успокаивает ее, почесывая спину... И это заставило Саида приблизиться к сарайчику. Запор снаружи был откинут. Саид Ибрагимов оглянулся вокруг, взял свою «машину» в правую руку и левой быстро рванул дверь...

Может быть, тем и хорошо получилось, что у Саида не было времени раздумывать и соразмерять силы. В сарае на соломе тесно сидели и лежали человек двадцать немецких солдат. Саид успел еще различить макинтош офицера с черным воротником. Очередь из пистолета-пулемета застала всех на месте. Никто не успел взяться за оружие. Саид мог их всех перестрелять до единого, но увидел, что они и так в его руках. Они, онемев, в ужасе глядели в дуло его «машины». Он встал у двери поудобней и приказал:

— Выходи по одному. Становись тут...

По движению его головы они поняли, чего он требует, и, поднимая руки, стали выходить наружу. Подняться и выйти без посторонней помощи смогли почти все. Сосчитал их Саид Ибрагимов только по дороге в штаб.

Всего было двадцать солдат и два офицера. Восьмерых Саид ранил с первой очереди, остальные сдались без единой царапины. Не успели они сложить в кучу оружие, как подоспели наши бойцы, должно быть услышавшие стрельбу, и группа пленных под надежным конвоем направилась к штабу.

Саид Ибрагимов не очень четко доложил все, что полагается, но командир ободряюще кивнул ему головой.

— Задержал? Один? Двадцать два человека? Спасибо. Молодец!

Затем он подробно записал имя бойца в свою книжечку: Саид Ага Файзулаевич Ибрагимов.

Когда Ибрагимов вышел из штаба, кажется, первая

мысль, пришедшая ему в голову, была о том, что теперь легче будет сообщить в письме о гибели земляка Меликова.

Июль 1941

СЕРЖАНТ ПАВЕЛ ЗАДОРОЖНЫЙ

Ему двадцать два года. Он высок и юношески тонок, даже худощав. Ремень на нем не кажется туго затянутым. А должность у него солидная, внушительная — орудийный мастер. И мастер он отличный, делающий свое дело свободно, быстро и ловко.

Но сейчас, когда он подползал к первому орудию батареи, речь шла не об устранении какой-либо неполадки, не о ремонте или замене детали. У орудия не было никого из расчета...

Восемнадцать немецких танков с грохотом, лязгом и пальбой из пушек и пулеметов шли на батарею.

Фашистские автоматчики дали несколько очередей по лошадям. Животных удержать уже было нельзя. Расчет первого орудия не успел еще открыть огонь, как немецкий снаряд ударил прямо в щит. Двое-трое из расчета были контужены, кто-то ранен, кто-то, поддавшись общему замешательству, кинулся к щелям в глубине огневой позиции.

Все это произошло в три-четыре минуты, вернее, все это еще происходило, когда сержант Задорожный подполз к первому орудию. Танки были в 500—600 метрах. Разрывы снарядов ложились все гуще у самого орудия и дальше у щелей, где укрылись оробевшие люди. Павел Задорожный понимал одно: что сейчас самое выгодное быть у орудий и на огонь отвечать огнем. Но объяснить это людям было труднее, чем показать. Он приподнялся между станинами орудия и, воспользовавшись мгновенным промежутком от последнего до нового разрыва, выстрелил.

Он наводил на танк, выдвинувшийся на несколько метров впереди других. И увидел, как одновременно с выстрелом танк словно бы подпрыгнул вверх и десяток солдат, сидевших на нем, кульками посыпались на землю.

Ответный огонь противника заставил сержанта снова на минуту залечь между станинами. Нужно было беречься. После первой удачи он испытывал прилив радо-

стного возбуждения. Как можно убегать от своего мощного оружия и надеяться в такой момент не на меткость глаза и твердость руки, а на быстроту ног! Нет, он остается здесь даже не за тем, чтобы погибнуть смертью, достойной храброго человека,—он может еще огрызнуться раз-другой так, что и врагу будет памятно. Но укрываться с его ростом ему было трудно. Как он ни пригибался, то плечо, то рука, то спина высовывались из-за узкой станины.

Потная гимнастерка прилипала к телу. Под ремнем саднило. «Когда же это меня чиркнуло,— подумал Задорожный,— наверно при переползании. Или здесь? Но я же могу подняться, разогнуться, значит,— пустяки...»

Второй выстрел — промах. Танки — все ближе. Осколок немецкого снаряда разбил прицельный механизм орудия. Оно теперь стало слепым. Третий выстрел,— ни один из шедших прямо на батарею танков не подпрыгнул, не содрогнулся. Промах. Огонь противника становился страшным. Два почти одновременных попадания в щит орудия оглушили сержанта.

Любому рядовому бойцу показалось бы нелепым и безнадежным стрелять без прицельного механизма. Но орудийный мастер мог позволить себе и такую вольность. Он запросто обращался с этой сложной и грозной машиной — орудием. Он стал прицеливаться через ствол. Расстояние позволяло наводить прямо в лоб немецкой машине. Второй танк подпрыгнул и остановился. Задорожный навел еще тщательнее — третья машина сделала рывок вверх, опять немцы, сидевшие за башней, свалились на землю. Шедшие следом машины заметно помедлили, некоторые из них стали разворачиваться.

Сержант знал, что времени у него немного. Но, может быть, еще один танк он успеет свалить, прежде чем вместе со своим ослепшим орудием взлетит на воздух. О том, что это страшно или обидно, мысли не было. Он успел кое-что сделать. Это совсем не то, что получить осколок в спину, когда лежишь в щели и сдаешься на милость случая.

Новый, девятый по счету выстрел — танк, шедший по прямой на орудие, не подбросило вверх, но он вдруг закружился на одной гусенице, сделал почти полный разворот и остановился — явно не по своей воле.

Задорожный посмотрел вправо и схватился за гранату, привязанную к поясу.

Граната была привязана к поясному ремню шпагатной бичевкой. Потные, дрожащие пальцы смертельно усталого человека не находили узелка. Рванул — бичевка оказалась слишком прочной. Автоматчики уже привстали, держа свои черные металлические «машинки» наготове — ложем к животу. Рука сержанта скользнула к пряжке поясного ремня, он быстро расстегнул ремень и вместе с ним бросил гранату в автоматчиков.

Танки, развернувшись, уходили. Напоследок они дали несколько выстрелов. Один из них оглушил сержанта.

Когда наши подоспели к орудию, они увидели далеко на горизонте уходящие на полном газу немецкие танки. Четыре машины остались на подступах к батарее. Вправо от первого орудия лежали три трупа автоматчиков. У орудия враспояску лежал без сознания сержант Задорожный. Вскоре он пришел в себя. Оба ранения были незначительные, сержант остался в строю.

Август 1941

КОМАНДИР БАТАРЕИ РАГОЗЯН

Командир батареи Рагозян поднялся по узкой скрипучей лесенке на последнюю площадку колокольни. Балки, на которых когда-то висели колокола, были над самой головой, площадка — только-только повернуться, но зато во все четыре стороны можно просматривать местность на 15—20 километров.

— Ну, как там, товарищ младший лейтенант? — донеслось снизу.

— Превосходно.

Рагозян установил наблюдательный пункт батареи на колокольне. Можно было усомниться в разумности этого: слишком приметная штука колокольня. Но Рагозян учел именно это. Противнику до поры не придет в голову, что наш наблюдатель сидит на колокольне, которая видна издалека и может быть легко пристреляна.

Батарея расположилась внизу, за оградой. Огонь, который она вела в течение четырех дней, отличался исключительной меткостью. Заметив колонну противника, Рагозян позволял ей подтянуться поближе, и тотчас батарея накрывала ее уничтожающим беглым огнем. Разгадав местоположение огневой позиции немцев, он неторопливо определял ориентиры и подавал точную команду.

Корректировать также было очень удобно. Он добивался того, что черные столбы разрывов вздымались именно там, где он хотел их видеть.

Противник наконец догадался, что с открытой всем ветрам сельской колоколенки его видят и облюбовывают лучшие мишени из скоплений войск, машин, пушек. Обстрел колокольни был исключительно злой. Днем и ночью немцы посылали сюда снаряды разных калибров. Колокольня вздрагивала и покачивалась от близких разрывов, но оставалась невредимой. Рагозян оставался наверху. Огневую позицию батареи пришлось сменить, но наблюдательный пункт был все тот же. Огонь батареи Рагозяна причинял врагу час от часу все больший ущерб и потери.

На третий день над колокольней закружились три немецких бомбардировщика. Но их бомбы ложились далеко за оградой. Ветхое церковное здание раскачивали мощные воздушные волны, кое-где осыпалась штукатурка — и только. Рагозян по-прежнему находился на своем пункте.

На четвертый день колокольню бомбардировали уже девять вражеских самолетов. Сброшено было множество больших и малых бомб, но наблюдательный пункт командира замечательной батареи уцелел.

Рагозян был на колокольне. Он спустился вниз только тогда, когда пришел приказ о передвижении всей части на новые позиции. Это было в конце четвертого дня.

Август 1941

СЕРЖАНТ ИВАН АКИМОВ

Артиллерийский мастер сержант Иван Акимов пришел на фронт с медалью «За боевые заслуги». Он получил ее зимой сорокового года на Карельском перешейке.

Этого человека политрук батареи Климов хорошо узнал и оценил в один из трудных моментов боя. Гаубица могла достаться врагу из-за дышла, которое сломалось на крутом развороте. Нужно было, не теряя ни секунды, заменить дышло. А обстановка была такая, что кое-кто попросту растерялся. Впервые попавший под огонь шофер одной машины выкрикнул первое, что ему пришло в голову:

— Ребята,— пехота. Окружают.— Машина его увяз-

ла на дороге. Политрук с Акимовым предложили было ему помощь, но парень уже был далеко от машины. Если бы он видел, что делали на том же месте, под тем самым огнем Климов с Акимовым, он, может быть, на всю жизнь устыдился бы своей трусости.

Где взять новое дышло?

— Руби березу,— скомандовал Климов. В несколько минут сержант свалил дерево, очистил от сучьев, обрубил по нужной мерке, и новое дышло оставалось только укрепить на месте старого. При этом с виду сержант был спокоен, не суетился, не делал лишних движений. Как будто занимался человек мирным плотничьим делом в глубоком тылу, вдалеке от разрывов снарядов и мин. Он умел держаться, опыт финляндской войны не прошел для него даром.

Акимова назначили командиром орудия. Ничем не выделявшееся прежде, оно сразу точно переменилось. Быстрота и меткость его огня стали образцом с первого же дня. Акимов поставил себе задачу, которую кратко можно было бы выразить словами: огонь невзирая на огонь.

Под любым огнем противника Акимов находился у орудия. Если опасность бывала слишком велика, он оставлял из расчета только двоих: наводчика и правильного. И непрерывный ответный огонь нередко заставлял умолкать немецкие пушки и минометы.

Акимов приучил свой расчет укрываться только у самого орудия, чтобы не пропадала ни одна минута. Трое ведут огонь, трое всегда наготове сменить их.

Примерный командир орудия, сержант Акимов не забыл, что он, кроме того, артиллерийский мастер — человек, без которого не обойтись. Заметив какую-либо неполадку у соседнего орудия, он бежал туда и умелой рукой устранял ее.

Много добрых слов было сказано о нем бойцами батареи, когда они узнали о ранении в одном из жарких боев своего любимца — мастера, сержанта Ивана Акимова.

— Поскорее бы ему отлежаться в госпитале да опять к нам.

Август 1941

РАССКАЗ БОЦМАНА ЩЕРБИНЫ

В самом разгаре боя мы шли метрах в ста пятидесяти от берега на выручку кораблю, который был подбит и передал голосом с рубки:

— Потерял ход, не могу двигаться...

Понятно, что он теперь был мишенью для противника. Огонь с берега усиливался. Мы на огонь отвечали огнем. Я находился у носового орудия, которым командовал товарищ Рогов, помогал подавать снаряды. Мне это по боевому расписанию не положено было, но в свободную минуту сам не будешь стоять сложа руки.

Не успели мы подойти к кораблю, чтобы взять его на буксир, как от сильного содрогания при стрельбе произошла отдача якоря. Попросту говоря, якорь пошел на дно, как ведро, сорвавшееся в колодец. Это грозило большой опасностью. Стань мы на якорь под таким огнем противника, мы оказались бы в худшем положении, чем корабль, который ждал нашей помощи.

Якорь мне удалось быстро выбрать и поставить на стопора, но не вся беда была в якоре. Сорвалась и пошла в воду подсучина — вторая якорная цепь. Одним концом она прикреплена к палубе и служит для подъема якоря. Подсучина могла теперь попасть под колесо, выломать плицы, и тогда на одном колесе мы кружились бы на месте.

Спускаюсь за борт на только что подтянутый якорь, а он мокрый, скользкий, и держаться на нем довольно трудно. Выбираю вручную подсучину, вот уже дело близко к концу, как вдруг — новый выстрел из носового орудия,— и меня воздушной волной сбрасывает в воду.

Одно дело, что вода моряку не страшна и плаваю я лихо, но все это происходит не на мирной стоянке и не на учении, а в бою. Буквально вода кипит от разрывов снарядов и мин. Пальба с берега — бешеная. Грохот наших орудий покрывает всю эту музыку.

Как-то, по счастью, не выпустил я подсучину — удержался правой рукой. Подтянулся — вынырнул.

Всего только, что фуражка осталась в воде. И вот по цепи на руках взбираюсь к якорю. Силенкой я вообще не обижен, но от спешки, что ли, чувствую — руки ослабевают. Чувствую — сорвусь. А подсучина-то в воде. А там наверху все воюют, все заняты, все под огнем, им некогда думать об этой новой опасности, которая угрожает ко-

раблю. И в эти минуты — ближе всех к делу я, только я могу предотвратить аварию.

Как-то все-таки дотянулся до лап якоря, но в мокрой одежде, точно связанный, не могу взбросить ноги на якорь. А корабль идет прямо на меня. Сорвусь — значит, под колеса. Конец. Нет, думаю, нельзя. Надо взобраться. Кабы об одном тебе речь шла, может быть, уже разжал бы руки.

Раз! — зацепился одной ногой за якорь, сразу легче стало держаться. Другая нога — уже сама там. Цел, держусь! Улучил минутку, кричу артиллеристам:

— Ребята, предупреждайте, когда будете стрелять. А то — сдувает.

Снова сижу верхом на якоре, выбираю подсучину. Выбрал, занес через бугшприт, и вот она уже на палубе. Дело сделано.

Не успел отдышаться, слышу с мостика голос командира, старшего лейтенанта Терехина:

— Боцман, пожар на юте! — А я дым-то вижу, но думал, что это от стрельбы. Прибегаю на ют — там за дымом вовсе ничего не видно.

Все это долго, когда рассказываешь, а на самом деле прошло всего несколько минут. Покамест я в воде тонул, подсучину выбирал, пожар тушил, мы полным ходом шли к цели. Раздалась команда:

— Боцман, принять корабль на буксир!

Стал я готовить швартов, а огонь такой, что не приподняться. Лежу на рулевом секторе, ноги вверх, голова вниз. Снаряд попал в кормовой шпиль. Шпиль этот для выбирания троса. Его снесло, а я был оглушен. Все забыл. Очнулся — огонь еще злее, пули свистят, осколки крошат нашу ветхую обшивку, вода так и кипит за бортом. Лежа я привязал к веревке бросатель, закрепил швартов, передаю командиру: «Закреплен»,— и сам своего голоса не слышу...

Пошли вверх, повели за собой корабль. Я опять свободен, иду помогать к кормовому орудию. Там командовал наш комсорг Борисочкин. Как раз был ранен второй наводчик Садовский. Стрельба уже шла вручную, полуавтоматика наша была повреждена. Я помогал на подаче снарядов и выброске гильз. Находился у орудия до конца боя, только пришлось отлучиться, когда лопнул буксир на корабле и нужно было его снова подавать.

Так прошел для меня первый бой.

Устал порядочно, товарищам было еще жарче. Зато весело было видеть, как от нашего огня взлетали на воздух немецкие машины с установленными на них минометами и зенитными пулеметами, как разбегалась вражеская пехота, пряталась за штабелями дров на берегу. А с берега немцев поджимали наши бойцы-пехотинцы. Толковая была работа.

Идем выше, к пункту Ч. По пути нас предупредили, что впереди немцы заняли одно село и установили на берегу артиллерию и минометы. Вскоре на реке поднялись первые столбы от разрывов. Мы открыли ответный огонь. Били по пулеметным гнездам, по орудиям, по машинам. Били без промаха, да и трудно было промахнуться, когда мы шли в пятидесяти метрах от берега.

Народ поработал на славу, устали, проголодались. Я, как только затих огонь, вспомнил о своих прямых обязанностях дежурного по кораблю, ушел от орудия и приказал кокам готовить обед.

Когда пришвартовались, сдал дежурство, и мне пришлось выносить раненых на берег и сопровождать их до госпиталя.

В госпитале устроил все честь честью, попрощался с товарищами, слышу, говорят, что в палате лежит раненый немецкий офицер. Дай, думаю, погляжу поближе на одного из тех, кого били сегодня. Вхожу. Лежит на койке, белый, породистый. Как глянул на мою форму, сразу на локте приподнялся и так-сяк, по-русски, по-украински, обращается:

— Моряк?

— Моряк,— говорю,— советский. Посмотри, если не видал...

— О, моряк! Очень интересно...

— Интересно? — И прямо ему говорю: — Что, мол, пшенички украинской попробовал?

— Я вас не розумію,— залепетал,— не розумію...

— Не понимаешь? Зато я тебя отлично понимаю.

Тем и закончилась наша беседа.

Август 1941

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТР ПЕТРОВ

В подмосковном доме отдыха поселился летчик с женой и семилетним сыном. Они приехали издалека, собирались хорошо отдохнуть среди родной русской природы.

Жили они дружно и счастливо. Жене еще памятна была суровая зима сорокового года, долгая разлука и тревожные думы о муже. Правда, тогда он возвратился домой не только живым и здоровым, но и прославленным на всю страну человеком. Ему, скромному капитану Петрову, было присвоено звание Героя Советского Союза за подвиг, который сам по себе уже был славой.

В доме отдыха семья Петровых вместе со всеми отдыхающими услышала сообщение о нападении фашистов на нашу Родину. Вернувшись в комнату, Петров сел, взял жену за руку, сказал:

— Ну вот, Галя...— И все было понятно. Она тихонько собрала ему чемодан. Через два часа он уехал.

Ревет мотор, машина круто, со взлета, набирает высоту. Майор Петров во главе шестерки истребителей идет навстречу эшелону вражеских бомбардировщиков, несущих тонны фугаса на город-красавец, древний и вместе юный город, одну из самых славных советских столиц. Два самолета из шестерки уклоняются вправо: это на случай, если часть бомбардировщиков станет заходить на цели с севера. Петров летит по прямой. Он уже видит немецкие машины. Их восемь штук. Надо атаковать немедленно.

Петров дает газ. Главное — получить превосходство в высоте. Поднявшись на 300—400 метров над «юнкерсами», он отвесно пикирует на них. Как только «крестик» прицельного прибора лег на вражескую машину, Петров нажал гашетку. Пулеметная очередь мгновенным пламенем расползается по крылу «юнкерса». Это была ведущая машина. Она горит и вместе со своим страшным грузом падает вниз.

Второй «юнкерс» Петров зажег с хвоста. Товарищи сбили третью машину. Эшелону «юнкерсов» так и не удалось добраться до цели.

Если бы Галя знала, как умело и уверенно действует он, ее Петр, в бою, если бы она знала, как с ним любят летать товарищи, как они верят ему и как его спокойствие и расчетливость передаются другим,— она бы, наверно, меньше томилась тревожными мыслями.

С немецкими истребителями Петрову впервые пришлось схватиться, когда он патрулировал вместе со звеном майора Козырева важнейшие объекты города.

Петрову удалось заметить, как со стороны солнца на козыревское звено шло шесть «мессершмиттов».

Это были одноместные машины, обладающие большой скоростью и маневренностью. Петров видел не только то, что они идут на звено Козырева, он видел также, что Козырев не видит врага. А в небе — не на земле: ни крикнуть, ни рукой махнуть, чтобы предупредить товарища. А враг уже так близко, что раздумывать, выбирать было некогда. Невидимые, из-под солнца, с превосходящей высоты «мессершмитты» должны были уже броситься на патрулирующие машины и расстрелять их.

Петров принял дерзкое решение — отвлечь всю вражескую шестерку на себя, чтобы спасти звено товарищей. «Мессершмитты» шли цепочкой на расстоянии 100—150 метров машина от машины. Петров бросился наперерез ведущему. Очередь заградительного огня заставила фашиста развернуться. Вслед за ведущим развернулись остальные пять «мессеров» и встали в вираж вокруг одной маленькой советской машины. Попросту говоря, окружили и, постепенно сжимая кольцо виража, стали расстреливать машину Петрова из пушек и пулеметов. Петров метался в огненном кругу. Когда ему удавалось поймать на прицел какую-либо машину противника, он давал по ней очередь.

Разрывы трассирующих пуль противника пузырились на плоскостях. Пули стучали в бронеспинку,— казалось, их слышал только позвоночник, голова была занята другим. Осколком снаряда задело левую ногу выше колена.

Петров понимал одно: что каждая лишняя секунда его борьбы с «мессерами» дорога для звена Козырева: ребята, наконец, заметят опасность, и враг не накроет их «с хвоста».

Если бы Галина знала, что ее Петр думал сейчас только об этом, она еще глубже поняла бы, с каким настоящим человеком свела ее судьба, какое большое, бесстрашное сердце у него. Правда, ей было бы жутко представить себе, как сидит ее Петр в кабине и эти густые потоки огня, рвущие хрупкую обшивку фюзеляжа, направлены на него. Но если б она видела это, она увидела бы и другое: Петр не так прост. Скромный, душевный и приветливый в обычной жизни, в обращении с товарищами, он хитер, изворотлив и дерзок в бою.

Он сжался на сидении, подобрал сколько возможно ноги, свел плечи так, чтоб целиком укрыться за бронеспинкой, и с жадной, напряженной зоркостью следит за врагом. Он не пропустил то единственное мгновенье, ко-

торое могло уже не повториться. Рассчитанным до волоска движением он выводит свою машину из левого виража в правый, иначе говоря, вырывается из кольца наружу и сразу же, лоб в лоб, встречается с одним из «мессеров». Тот не успел даже открыть огня с этой новой позиции. Петров стреляет в упор и идет прямо на врага. «Мессер», не выдержав атаки, ныряет вниз, но для Петрова это не было неожиданностью. Разворот через крыло — и его маленькая, но сильная и верткая машина, пикируя, настигает «мессера» с хвоста.

Очередь! Длинная, беспощадная, рискованная очередь до первых вспышек пламени на машине врага, который был в сорока — пятидесяти метрах. Не часто подворачивается такая мишень. Но остальные вражеские машины не были праздными свидетелями этого расстрела. Всю мощь своего огня они направили на машину Петрова. И увидев, что, зажженный его очередью, «мессер» стал падать, он мгновенно, как бы продолжая тот же маневр пикирования, вырвался из-под обстрела.

Самолет получил много пробоин. Петров был задет еще и в плечо, но он это заметил позже.

Был пробит бензобак. Петров долго не мог ничего видеть — бензин хлестал прямо в лицо. Когда удалось протереть глаза и осмотреться, стало понятно, что до своего аэродрома не дотянуть. Мотор сдал.

Петров сделал посадку на одном из ближайших аэродромов. Шасси не выпускалось. Пришлось садиться «на пузо».

Незнакомый воентехник, подбежавший к приземлившейся машине, увидел, что пилот без сознания. Но вскоре Петров пришел в себя, вылез из кабины. Теперь оставалось позвонить в свою часть, осмотреть машину, перевязать плечо и ногу, умыться...

Если бы Галя хоть раз услыхала, как здесь говорят о ее муже летчики, она снова испытала бы чувство гордого счастья и не боялась бы за него.

— Петров? Еще бы с ним не летать. С ним каждому лететь хочется. С ним каждый первым храбрецом себя чувствует.

Сентябрь 1941

НИКОЛАЙ БУСЛОВ И ВЛАДИМИР СОЛОМАСОВ

Две зеленые фуражки лежали на подоконнике, а за столом над сковородкой с яичницей склонялись две стриженые головы бойцов, которых угощала хозяйка. Может быть, у этой старушки были сыновья на войне, может, лица гостей чем-то особо понравились ей, а может, просто-напросто она была добрая, приветливая женщина. Так или иначе, но угощала она двоих бойцов-пограничников как самых родных, дорогих людей. И покамест они ели, она стояла у печки, приложив левую руку к щеке, а правой поддерживая локоть этой руки,— как обычно стоят пожилые крестьянки, когда угощают кого-нибудь.

И уж таков старый обычай, что никакие просьбы и уговаривания гостей не заставят хозяйку присесть к столу.

— Кушайте, кушайте сами на здоровье. Я вот еще слив вам принесу.

Бойцы Николай Буслов и Владимир Соломасов сердечно поблагодарили старушку и, вскинув на плечи первый — свой дегтяревский пулемет-пистолет, второй — снайперскую винтовку, вышли из хаты.

Дело в том, что взвод пограничников, которому они должны были передать приказание сняться отсюда, уже ушел. Видимо, обстановка изменилась. Конечно, лучше было бы застать взвод на месте и двигаться с ним, куда приказано. А так дело вроде сделано, вроде — нет. И впереди 15—20 километров обратного пути. Машин по дороге что-то не видно, подъехать не с кем. Нет, одна, кажется, идет.

— Постой, Соломасов, «проголосуем».

Но машина задержалась у въезда в село, и машина какая-то странная: не то грузовая, не то легковая. Вот из нее вышли люди,— и наметанный глаз пограничников сразу различил приметы, не оставлявшие сомнения, что люди это не наши.

— Немцы, брат,— едва успел сказать Буслов, как послышалась стрельба.

«Видят они нас или просто так — народ пугают из автоматов? Не следует нам покамест показывать зеленые фуражки».

Бойцы должны были как можно скорей добраться в часть и ни в коем случае не обнаружить себя. Таков был

приказ командира на случай, если они увидят противника. В низинке паслись два коня — мышастый и рыжий. Ребята без труда развязали замотанные кое-как поводья веревочных недоуздков и сели на коней.

Чуть поднявшись на взгорок, Буслов невольно резким движением повернул своего мышастого вправо. Немецкий мотоцикл с кареткой стоял на перекрестке дорог. В нем отчетливо были видны две головы сидящих солдат. Офицер с биноклем в руках стоял у мотоцикла. Соломасов быстро спешился, а Буслов с коня дал очередь из своей «машины». Офицер упал навзничь, солдаты вывалились из мотоцикла и залегли. Когда один из них привстал, поднимая автомат, выстрелил Соломасов. Пуля снайпера свалила немца. Но третий еще лежал там, и неизвестно было, ранен он или нет. Как он изловчился стрелять, не приподнявшись ни на вершок над землей? Пули просвистели над головой Буслова, он также спешился и, укрываясь за теплым плечом коня, держал свое оружие наготове.

— Знаешь что,— сказал Соломасов возбужденно и решительно,— знаешь, я мотоциклом могу управлять. Давай подбираться поближе... Только б он не удрал.

И вдруг послышался оглушительный стрекот мотоцикла, странно было, что такая маленькая машина производит столько шуму. Нет, это не одна и даже не та, что неподвижно стояла на взгорке. Четыре новых мотоцикла неслись прямо на бойцов, в каждом было по три автоматчика. Буслов дал очередь. Немцы мгновенно повысыпались из машин и приникли к земле. Трудно разобрать, кто ранен, кто убит, кто просто укрывается, но тем, кого бойцы уложили наверняка, они вели счет. Очереди Буслова заставляли немцев после каждой попытки подняться вновь приникать к земле. Соломасов следил за одиночными фигурами. Расстояние позволяло целиться хорошо. Он убил уже четверых. Три убитых числилось за Бусловым. Итого — семь. Но восемь еще были живы и не думали отступать. Против одного советского автомата и винтовки было восемь немецких автоматов. Буслов видел, что нужно беречь патроны, а очереди фашистских автоматчиков становились все злее и яростнее.

Почти одновременно с тем, как Буслов дал еще одну короткую экономную очередь по немцам, он вдруг почувствовал, что конь всей тяжестью своего тела качнулся

к нему. Буслов едва успел податься назад, и конь упал сперва на колени, а затем медленно свалился на бок, далеко закинув свою большую сухощавую голову. Он был убит наповал. Женский плачущий голос заставил ребят обернуться.

— Детки мои, голубчики! — кричала, подбегая к ним, женщина в платке, сбившемся на плечи.— Убегайте вы скорей. Что вы двое, когда их там вон сколько!

— Уходи, тетя, отсюда,— отозвался Буслов, следя за противником.— А нам нельзя — пока всех не перестреляем.— Он хотел, чтоб ответ получился шутливый и бодрый, но голос его прозвучал хрипло и глухо. Во рту пересохло, и губы как-то отвердели. Он лежал, укрываясь за спиной убитого коня, неподалеку лежал с винтовкой Соломасов, а конь его, наверно, задетый пулей, огибая широкий полукруг, носился по полю, наступал на обвисшие поводья, спотыкался.

— Буслов, Буслов,— слабо позвал Соломасов, я — ранен. В правую...

Буслов кинулся к товарищу. Соломасов был ранен в руку.

— Стрелять можешь?

— Могу, могу,— крикнул Соломасов. Но стрелять, как прежде, он уже не мог. Боль в руке не позволяла хорошо прицелиться.

Буслов видел, что товарищ теряет кровь и скоро уже не сможет сам двигаться — нужно отходить. Сколько минут прошло? Десять, пятнадцать? За это время начался, разгорелся и уже подходил к концу неравный бой двоих бойцов против полутора десятков немцев.

— Сажай его на телегу! — крикнул какой-то старик Буслову, кивая на лежавшего с побледневшим лицом Соломасова.— Увози отсюда.

Буслов прострочил очередью над головами все еще выжидавших немцев и, бережно уложив товарища на телегу, взял в руки вожжи. На этой телеге они благополучно добрались до своих.

Сентябрь 1941

ЗА МИНУТУ ДО ВЗРЫВА

Человек с петлицами воентехника первого ранга, отвернувшись к окну, перевязывал руку. Делал он это не очень ловко. Ранение, по-видимому, было недавнее.

— Не помочь ли вам, товарищ?

— Нет, спасибо. Я вот уже заканчиваю.

— А что с рукой у вас?..

— Да видите ли...

И в нескольких словах была рассказана простая, может быть, заурядная история героического поступка, каких сотни и тысячи совершаются нашими людьми в дни Великой Отечественной войны.

Но, может быть, в том-то и заключается особая ценность этого поступка, что он — одно из бесчисленных свидетельств массового героизма советских людей, их самоотверженности, презрения к личной опасности.

Наши части отходили, покидая город Н. после упорных и яростных боев с немцами. То, что нельзя было увезти,— нужно было уничтожить. На запасных путях товарной станции оставался вагон с боеприпасами. Снаряды, патроны, ручные гранаты — ценнейшие средства в борьбе с врагом Родины — не должны были достаться ему в руки.

Подрывная команда имела в своем распоряжении слишком мало времени, чтобы еще раздумывать над судьбой этого вагона. Ни одного паровоза, ни одного состава на станции не было.

Начальник артснабжения части воентехник I ранга Н. М. Лавречненко после коротких формальностей, установленных для таких случаев, уже не был хозяином вагона с боеприпасами. Он мог только со стороны наблюдать взрыв, до которого оставалось несколько минут. Было залито горючее, оставалось поджечь вагон. Воентехник побрел по путям с тяжелым чувством на душе.

Вдруг он увидел на путях маленький, старый, закоптелый паровозишко, тихо пофыркивавший и раздувавший в стороны, как усы, струи белого пара. Паровоз!

Лавреченко быстро оглянулся, и сердце у него забилось часто, как в беге: вагон уже был подожжен.

«Не успеть!.. Нет, попробую...»

Он кинулся наперерез паровозу, и так это было необычно, неожиданно и радостно видеть паровоз,— даже номер его с отчетливостью бросился в глаза и запомнился: 6797. Это был паровоз какого-то ремонтно-восстановительного поезда, также покидавший станцию.

— Ребята! — закричал Лавреченко, еще не видя, кто там на паровозе.— Ребята, можно спасти вагон с боеприпасами! Давайте, ребята!

На паровозе, кроме машиниста, находился еще какой-то лейтенант. Имени его Лаврененко в спешке не расслышал. Лейтенант с готовностью отозвался на призыв воентехника и приказал подогнать паровоз к горящему вагону. Лаврененко казалось, что все это делается слишком медленно, но на самом деле быстрее того было нельзя.

Клубы черного дыма уже поднимались над вагоном, однако Лаврененко рассмотрел, что ящики еще не воспламенились. Еще была минута, может быть, две...

Начальник подрывной команды категорически запретил было подходить к вагону, но Лаврененко бросился тушить огонь.

Те, кто видел, как бесстрашно борется он с пламенем, не могли оставаться только зрителями. Вагон боеприпасов был спасен и увезен со станции. Лаврененко повредил руку, получил несколько мелких ожогов. Одежда на нем была вся изрешечена мелкими брызгами горящей массы.

Вот и вся история, рассказанная в тот небольшой срок, какой требуется человеку, чтобы перебинтовать и завязать руку.

Сентябрь 1941

МАЙОР ВАСИЛИЙ АРХИПОВ

Зимой сорокового года он был капитаном и во главе своей танковой роты воевал на Карельском перешейке. Он один из четырнадцати Героев Советского Союза, воспитанных соединением знаменитого полковника, ныне генерал-майора танковых войск Владимира Нестеровича Кошубы.

Ему едва за тридцать. И этого человека необычайной воинской доблести, участника многих и жестоких боев, по его вдумчивому, спокойно приветливому лицу, по мягкому и сосредоточенному взгляду, даже по голосу — легче всего вообразить сельским учителем, агрономом, молодым ученым.

В нем нет ничего нарочито «воинственного», никакой напряженности и резкости. Он скромен, но скромность его естественна и лишена «самоприбеднения», как говорят у нас. Этот человек, уничтоживший в одном из боев

шесть белофинских танков, внезапно напавших на две его машины, не говорит, что я, мол, сделал то, что на моем месте сделал бы всякий. Про «всякого» он не знает, а за себя уверен.

— Я не сразу разобрал, что это вражеские машины. Утро было морозное, мглистое. Смотрю — открывают огонь. Ну я их, конечно, уничтожил...

В этом спокойном, неподчеркнутом «конечно» — крепкое чувство достоинства и силы воина, командира, знающего себе цену.

Великая Отечественная война застала бывшего пастуха и батрака, ныне майора Василия Сергеевича Архипова в одном из юго-западных украинских городов. С первых боев до недавнего времени он командовал разведывательным батальоном. Батальон своими умелыми и дерзкими действиями причинил немцам немало серьезных неприятностей. Достаточно назвать разведчика лейтенанта Захарова, который, пробравшись во вражеский тыл, буквально выкрал немецкого подполковника, везшего на фронт чемодан с железными крестами для раздачи особо отличившимся фашистским громилам.

Другой архиповский разведчик — младший лейтенант Губа со своим взводом мотоциклистов трое суток наводил панику в немецком тылу и возвратился в батальон, потеряв лишь шесть человек убитыми и ранеными.

Но все это уже история. С того дня, как майор Архипов назначен командиром полка, ему приходится выполнять неизмеримо более сложные и ответственные задачи.

В труднейшей обстановке, какая сложилась на участке обороны города П., майору Архипову довелось драться с во много раз превосходящим численно противником.

Город горел. Танковые части Архипова сражались за каждый дом, за каждый переулок, не уступая без боя ни одной пяди. Командир взвода лейтенант Журавлев уничтожил две пушки и три фашистских танка на одной из улиц города. Бои шли «грудь на грудь». Командир батальона капитан Богачев столкнулся с немецким танком почти вплотную, так что стрелять уже было поздно. Тогда он на полном ходу рванулся вперед и раздавил гусеницами своей машины танк противника вместе с его экипажем.

Вражескую пехоту архиповцы буквально косили. Население города с подлинной самоотверженностью помогало танкистам отбивать врага. В горячке боев не были записаны имена горожан-героев, в том числе женщин и детей, но волнующие рассказы об их подвигах передаются из уст в уста.

— Кто он, как имя того старичка, что подносил к нашим танкам воду и был по виду не то дворником, не то сторожем? Он, рискуя жизнью, пробрался к саду, где накапливалась немецкая пехота, и указал это место Архипову. Немцы были перебиты. А старичок, забрав ведра, снова пошел за водой для истомленных духотой и жаждой танкистов.

Неизвестно имя мальчика, обнаружившего в одном из укромных двориков окраины 76-миллиметровую немецкую пушку и не только сообщившего об этом красным бойцам, но и сопровождавшего танк на то место.

Когда-нибудь фигура этого мальчика в раздувающейся пузырем рубашонке, держащегося одной рукой за башню танка, идущего в бой, будет изваяна скульптором.

Бои шли круглые сутки. Майор Архипов находился на самых ответственных участках. У этого человека с лицом педагога или ученого было достаточно воли и мужества, чтобы в таком неравном бою оказывать врагу долгое и яростное сопротивление.

В чаду городских пожаров, в духоте танка вспомнил майор суровые морозные ночи и дни Карельского перешейка, невиданно трудные бои с бронированными полуподземными крепостями на «линии Маннергейма». То была суровая школа, закалившая его для теперешних испытаний.

Майор знал, что слишком численно неравны силы и что исход боя предрешен. Но каждый лишний час сопротивления на рубежах обеспечивал эвакуацию раненых, населения, военного имущества.

В тот момент, когда часть советских танков уже перешла на другой берег, центральный мост был взорван.

Немцы уже считали своими трофеями оставшиеся на заречной стороне советские боевые машины. Майор Архипов вместе с батальоном танков продолжал вести бой, не теряясь и ни на минуту не допуская мысли о том, чтобы оставить машины противнику.

Он приказал разведать реку, найти брод с твердым дном.

И произошло то, что не предусмотрено ни уставом, ни какими-либо техническими нормами и во что трудно было бы поверить, если бы это не стало фактом.

Обыкновенные наземные танки форсировали реку на глубине двух-трех метров. Машина капитана Богачева, развив высшую скорость, первой вошла в реку и, мощным конусом раздвигая воду, без остановок достигла другого берега. За ней, как бы в ее кильватере, пошла другая, третья, четвертая... Ошеломленные немцы даже прекратили огонь, и машины благополучно достигли противоположного берега.

В одном из этих танков переехал реку командир танкистов Василий Архипов.

Танки противника даже не сделали попытки форсировать таким способом водную преграду, которая теперь отделяла нас от врага.

Сентябрь 1941

ПОД СТОГОМ СЕНА

— Лейтенант Оселедько, принимайте командование первой пульротой!

— Есть, товарищ командир батальона!

— Действуйте! Надеюсь, что вы будете достойным преемником павшего смертью храбрых.

Все это слышал своими ушами командир первой пульроты старший лейтенант Масхуд-Абдул Маликович Муштареев. Он сидел на снегу, прислонившись к стогу сена, выщипанному из-под низу.

Что же такое? Если он вправду убит, то почему все слышит? А если жив, почему молчит? Где же Овчаров? Воскобойников? Ах, да. А может, все же просто сон? Нет, какой сон, когда вот он снег, настоящий, холодный. И сено, пахучее по-зимнему сено. Страшная слабость, полузабытье. Нет сил пошевелить губами — не то что приподняться. Однако ж надо подать голос, а то еще пошлют ребят тело искать.

И вдруг он усмехнулся: «Убит». И этот слабый внутренний толчок смеха точно пробудил его. Он привстал, упираясь руками в снег, поднялся, отряхнулся от мелкого сена и спокойно, отчетливо сказал:

— Погодите меня хоронить. Я еще живой, как видите.

— Муштареев! Друг!

Из-за стога первым подбежал к нему секретарь комсомольского бюро Чулимов. Обнялись. Подошел и комбат с доброй, смущенной улыбкой и тоже протянул Муштарееву руку.

— Ну, как же так, брат, получилось?

И все трое смеялись дружно и радостно.

В полукилометре от них горела деревня, слышались попеременные пулеметные очереди. Изредка над головами, как будто лениво, нехотя проносилась мина, и разрывы были глухие. Бой затихал. А бой этот был нешуточный, и Муштарееву он запомнился надолго.

Час или два тому назад он во главе пулеметного расчета подбирался к немецкой пушке, стоявшей в центре деревни. Сам Муштареев был за наводчика, помощником — Овчаров, а наводчик Воскобойников — подносчиком. Оба бойца были хорошие, храбрые ребята, крепко преданные своему командиру.

Садами, занесенными снегом, огородами подползли настолько близко к двум хатам, возле которых стояла пушка, что можно было отчетливо видеть ее расчет. Командир роты дал очередь. Трудно было различить, кто остался на месте убитым, но несколько фигур кинулись, пригнувшись, от пушки за угол хаты. Муштареев проводил их новой очередью. Тогда вдруг из хаты, теснясь в дверях, посыпались немцы. Как после оказалось, это был штаб немецкого полка. Муштареев бил на выбор. Овчаров едва успевал выправлять ленту. Все трое, разгоряченные переходом по глубокому снегу, были в поту и работали с такой яростью, что не заметили, как мины стали рыть снег совсем близко.

Муштареев осмотрелся на мгновенье и сразу понял, что его пулемет замечен противником, что минометы бьют по цели и дело принимает невеселый оборот.

— Давай, ребята, менять позицию.

Но не успели подвинуться с места, как страшный, сухой, звенящий грохот разрыва оглушил их. Мина упала на откинутую полу халата Муштареева, самого его как бы приподняло от земли и снова с тяжкой силой придавило к ней. Но ранен он не был и пришел в себя мгновенно.

— Живы, ребята?

— Живы, ничего! — прокричал Овчаров и ухватился за хобот пулемета. Три, четыре, пять шагов продвинулись

по грудь в снегу. Овчаров, утирая рукавом кровь, показавшуюся на губах, виновато и печально сказал:

— Не могу больше помогать, товарищ командир роты.

Он был тяжело ранен в голову и только сгоряча не сразу ощутил боль.

— Ползи, дорогой, к санповозке, сами доберемся.

Вдвоем тащить пулемет стало еще труднее, снег рыхлый, сыпучий. Муштареев — человек крепкий, выносливый, но чувствует, что сердце стучит как не свое. Закололо под бока, снег в глазах начал темнеть и словно то подниматься, то опускаться. И тут признался Воскобойников:

— Товарищ командир, я не хотел признаваться, но я тоже... В ногу и в руку, бросьте меня здесь.

— К повозке, к повозке, до свидания!

Командир обнял бойца и поцеловал его. Что же дальше? Оставить пулемет? Нет, это невозможно, нельзя, это слишком дорогая и верная штука, надо тащить.

И он потащил пулемет еще метров 100, может быть, 200. Кто-то подоспел к нему на помощь, и он, отдышавшись немного, пошел к стогу сена, чувствуя, что с ним творится что-то неладное. Пришел к стогу и закрыл глаза.

И теперь, когда они с комбатом и Чулимовым стояли и смеялись, он, сообразив время, понял, что пробыл под стогом минут 10—15. Смех вернул ему силы, и он еще раз с удовольствием повторил свою первую фразу:

«Нет, хоронить меня еще погодите»,— и пошел в бой, как ходил много раз до этого случая и после него.

Март 1942

• РОДИНА И ЧУЖБИНА

(Страницы записной книжки)

ПАМЯТЬ ПЕРВОГО ДНЯ

Война в том периоде, когда уже столько раз каждым вспомянут и при случае рассказан до подробностей ее первый день,— как и где он застал каждого. Он — как заглавие всему тому, что началось с него и длится уже вторую половину года. И все, что связано с этим днем,— скажем, предшествующий ему день, последний день мирной жизни,— приобретает теперь все бо́льшую ценность личного воспоминания и как будто все большую знаменательность.

На днях в «Известиях» был помещен фотоснимок, подписанный так: «Деревня Грязи, Звенигородского района, после освобождения от немцев». Это та самая деревня, откуда я 22 июня ушел на станцию и в переполненном поезде Звенигородской ветки поехал в Москву — являться по начальству.

Семья моя еще оставалась на даче, но через несколько дней, уже без меня, переехала в Москву и была эвакуирована. На снимке ничего узнать нельзя: какие-то пожарища, торчаки обгорелых и полуобвалившихся печных труб — то есть то, что сливается с тысячами подобных картин, виденных в натуре и на таких же фотографиях.

На даче у нас не было радио, и дом, занятый нами, стоял на отлете от усадьбы колхоза. «Новость» принесла с улицы наша девочка, игравшая там с детьми. Было что-то тревожное и несуразное в ее по-детски сбивчивом

изложении, и я строго прервал ее, как бы вынуждая ребенка отказаться от тех слов, что уже были так или иначе сказаны: «Было по радио... звонили из сельсовета...» Но девочка с раздражением, обидой и уже близкими слезами в голосе упрямо повторяла:

— Не болтаю! Я сама слышала, все говорили.

Я выбежал на улицу и направился к колхозному скотному двору, где накапывали навоз. Я, помню, пошел по улице нарочно тихо, как бы прогуливаясь, хотя это было трудно. Возле скотника стояло несколько пустых навозных телег, а мужики и женщины сидели на груде прошлогодней соломы и молчали. И когда я увидел, как они сидели и молчали, я уже мог ни о чем их не спрашивать. Они сидели и молчали и ответили на мое приветствие так тихо, скупо и строго, как будто тут был покойник. Властью суровой, тяжкой думы о непоправимой и ясной с самого начала беде, касающейся всех и каждого,— этой властью они были повержены в немоту или какой-то смутный и трудный полусон. И даже не оживились, видя человека, который ничего еще толком не знает, не нашлось желающих горячиться с изложением «новости».

Но и эти люди в самом глубоком своем, унаследованном от предков, глубоко личном осознании начавшейся беды не могли, конечно, в тот день довести ее мысленно до занятия немцами их деревни Грязи.

Не мог и я даже помыслить об этом. Я только что устроился там, с надеждой на доброе, работящее лето, только что разложился на столике со своими бумагами и тетрадками. Место мне очень нравилось: тихое, деревенское, немного даже печальное; жизнь когда-то была там гуще и многолюднее — проходил тракт. Прямо перед моим окном была старая щеповая крыша погреба. В уровень с ее гребнем, подальше, приходился нижний край такой же щеповой крыши соседнего домика. Слева, не видный из окна, протягивал по утрам свои длинные тени уцелевший к одному краю запущенный парк бывшего когда-то здесь барского дома. Направо, над зеленью лужайки в огороде,— небольшая редковатая полевая елочка, какая могла быть и в моем Загорье, на Смоленщине. И, помню, эта елочка как-то сразу расположила и, так сказать, природнила меня к новому месту. За водой ходить было далеко, но очень красивое было местечко — зеленый ровок, весь в криничных

окнах. Воду брали из-под деревянного долбленого желобка, выведенного из откоса, откуда бил ключ. Русло ручья, питавшегося ключами, было красновато от ржавчины. Местечко осеняли несколько ив, меж них две белые березки, и в этом сочетании было что-то очень приветливое и милое. На другой берег овражка поднималась ступенчатая тропинка, мимо старой и ветхой баньки с одним только козырьком крыши вместо предбанника. Кажется, я ни разу не встретился ни с кем у ключа — так мало было вблизи дворов. Все эти мелочи и подробности, записанные для чего-то тогда еще в Грязях, я со сладким волнением вспоминал теперь, когда в первую за войну поездку в Москву нашел свою тетрадку, с которой собирался провести минувшее лето. В той же тетрадке я прочел последнюю мою запись мирного времени, датированную 20 июня. Вот она:

«Ходил после обеда в Звенигород, на почту. Туда взял лесом, прошел слабой тропой через овраг, поросший настоящим, темным еловым лесом, а на выходе к опушке — черемухой,— там все было, как будто в овраге снег залежался. На дне оврага — светлый лесной ручей. Думал, как обычно в таких случаях, о сельских и столичных местах, о Смоленщине и Подмосковье, о том, что всего не увидишь и везде дач не настроишь.

А на выходе из города, у самой дороги — белого булыжникового шоссе,— в узкой полоске тени от какого-то деревянного амбарушки или сарайчика, на пыльной травке сидел старичок, как сидят мужики в санях — подогнув под себя ноги. Он был без картуза, и его лысина с подтеками пота и прилепившимися прядками желтовато-седых волос освежалась в тени строения. Он уже расстелил платок на травке и расположил на нем хлеб, яйцо, две луковички и только что откупоренную и для предосторожности приткнутую пробочкой четвертинку. Я поздоровался и пожелал ему приятного аппетита.

— Садись — поднесу,— спокойно предложил он, блеснув на меня светло-голубыми и чуть воспаленными глазками этакого светлого русского старца.

Это «поднесу» было исполнено приветливости и достоинства. Дыша ртом, старец смотрел на меня и ждал. Я вежливо отказался.

— Ну что ж,— так же спокойно согласился он,— смотри.— И, великодушно позволяя мне еще и передумать, предостерегая от возможного раскаяния, еще раз

повторил, кивком указывая место напротив себя: — А то поднесу. А? Смотри.

И мне таки жаль теперь, спустя столько времени, жаль, что я отказался, как будто я тогда заодно отказался от многого-многого, что кажется теперь таким дорогим и невозвратимым.

ИЗ УТРАЧЕННЫХ ЗАПИСЕЙ

В первое лето войны у меня не было никакого письменного «хозяйства», кроме небольшой записной книжки в черной клеенчатой обложке. Книжка эта вместе с кожаной полевой сумкой, служившей мне еще на Карельском перешейке, пропала: я имел дурную привычку носить сумку в руке, как носят их штатские люди. Мне жаль тех коротких и отрывочных заметок, в которых, по крайней мере, была ценность записей, сделанных тогда.

На первой странице книжки, помнится, я записал поразившую меня картину начала войны и первую встречу с теми, на кого тяжкий груз ее свалился в первый же день.

Поезд Москва — Киев остановился на станции, кажется, Хутор Михайловский. Выглянув в окно, я увидел нечто до того странное и ужасающее, что до сих пор не могу отстранить это впечатление. Я увидел поле, огромное поле, но был ли это луг, пар, озимый или яровой клин — понять было невозможно: поле было покрыто лежавшими, сидевшими, копошившимися на ней людьми с узелками, котомками, чемоданами, тележками, детишками. Я никогда не видел такого количества чемоданов, узлов, всевозможного городского домашнего скарба, наспех прихваченного людьми в дорогу. На этом поле располагалось, может быть, пять, может быть, десять тысяч людей. Здесь был уже лагерь, вокзал, базар, привал, цыганская пестрота беженского бедствия. Поле гудело. И в этом гудении слышалась еще возбужденность, горячность недавнего потрясения и уже глубокая, тоскливая усталость, онемение, полусон, как раз как в зале забитого до отказа вокзала ночью на большой узловой. Поле поднялось, зашевелилось, тронулось к полотну дороги, к поезду, застучало в стены и окна вагонов, и казалось — оно в силах свалить состав с рельсов. Поезд тронулся. Мы, люди в военном, нарушая жестокий и необхо-

димый порядок, втянули в вагон одну женщину, обвешанную узелками, перехватив с рук на руки ее двух детишек — лет трех и пяти. Она была минчанка, жена командира и, войдя в вагон, спешила подтвердить это документами,— маленькая, замученная, ничем не красивая, кроме, может быть, глаз, сиявших счастьем внезапной удачи. Ей нужно было в Белую Церковь, к родным мужа. Вряд ли она добралась туда — всего через несколько дней я увидел Белую Церковь, оставляемую нами.

Но удивительным и незабываемым было вот что. Женщина, бежавшая из Минска с детьми в ночь первой жестокой бомбежки, не успевшая проститься с мужем, находившимся теперь бог весть где, не только не жаловалась на судьбу, но всячески старалась, чтобы люди, не видевшие, не испытавшие того, что уже довелось ей, не были слишком потрясены, не считали бы ее положение совершенно ужасным. Приткнув детишек в уголок нижней полки нашего купе, она строго, скромно присела там же на краешек, обдернула мгновенно уснувшим детишкам рубашечки, вытерла им вспотевшие личики, незаметно прибралась сама, и кажется, более всего была озабочена тем, чтоб не выглядеть слишком усталой, потрясенной и растерянной. Достоинство хозяйки, матери, женщины, у которой должно быть все в дому не как-нибудь, а хорошо и опрятно, сквозило во всей ее повадке, в сдержанной, экономной хлопотливости.

— Ничего, ничего,— говорила с грустной и самоотверженно счастливой улыбкой,— это еще ничего: дети целы, доберусь как-нибудь. А он напишет туда, старикам. Вот мы и спишемся.

Какие-то еще она говорила слова, в которых была такая самозабвенная готовность все вытерпеть, вынести, не пасть духом и не удручать, не пугать никого своим горем, никому не жаловаться. Как будто в образе этой маленькой матери-беженки первых дней войны дано было увидеть нам все величие женского материнского подвига в этой войне...

Было в той книжке записано еще впечатление природной красоты Украины, от самого своего западного края уходившей у нас из-под ног и колес в отступлении. Я ее впервые увидел, Украину, если не считать двух — четырех концов пути в поездах Москва — Севастополь, Москва — Сочи. И увидел в такую медовоцветущую пору — в последние дни июня. Как поразил меня запах в откры-

том поле, вдалеке от каких-либо садов или пчельников,— густой медовый запах, исподволь сдобренный еще чем-то вроде мяты. Я спросил у товарища, украинца, чем это так пахнет. Оказалось — пшеницей. Это было по дороге из Западной Украины, когда колонна наша стояла по какой-то причине в степи, на рассвете — еще солнце не показалось. Росный, чистый медовый рассвет, когда еще пыль, густая, сизая пыль чернозема, похожая на каменноугольный дым из трубы, неохотно поднимается за колесами, как бы стесняясь ложиться на чистые, мокрые с ночи хлеба и травы. Это самый тот час, когда особенно сильно хлеб пахнет медом...

Еще была запись о Каневе, который был передним краем нашей обороны на правобережье Днепра. Тогда еще был цел каневский мост, железнодорожный, но по нему был сделан настил для автотранспорта. Помню тревожно-чистое, голубое, с легкой дымкой и золотистостью небо раннего полдня, нытье автомобильных моторов в пробке, образовавшейся у моста, невозможность податься взад или вперед или выскочить в сторону — к мосту подводила высокая железнодорожная насыпь, с которой не свернешь. И ожидание, ожидание чего-то, что обязательно должно вот-вот произойти. Небо, решетки и переплетения моста, и внизу широкая, густая, отчасти стальная синева Днепра.

— О! — сказал кто-то коротко и, пожалуй, даже раньше, чем белый столб возник из синей воды и послышался тяжелый чох разорвавшегося в воде снаряда.

Машины тронулись, как бы не замечая ничего на свете, кроме своей колеи, неторопливо нащупываемой колесами. Движение было изнурительно медленное и уже совсем некуда было деться в случае чего с этого конвейера. Перейдя мост, машины пошли по правому срезу у насыпи, по узкому — как проехать одной машине — уступчику. Это была сторона насыпи, обращенная туда, откуда бил немец. Мы уже были совсем недалеко от места, где колонна заворачивала под котлован насыпи, чтобы выйти на другую ее сторону, когда снаряд разорвался у самого входа в этот котлован. Из наших товарищей тогда был легко ранен в ногу один. Но это была почти для всех нас первая настоящая близость к войне, если не считать уже пережитых бомбежек...

Еще запись. Люди прошли с боями, со всеми муками отступления чуть не тысячу верст, воевали уже не один

месяц, оставили позади большую часть Украины. И, расположившись теперь на одну из ночевок в уже холодающей к ночи степи, полной запахов поздней печальной страды — запахов картофельника, свежей яровой соломы,— запели. Запели простую русскую песню, из тех, что подтянуть может всякий. И в той песне не было даже ни слова про войну. Ни слова в песне не было о войне, зато были слова о жизни, любви, родной русской природе, давних деревенских радостях и печалях. И странно: показалось, что ничего этого нет — ни немцев, ни великого горя,— а есть и будет жизнь, любовь, родина и песня, в которой только и место горю, но горю уже пережитому, отошедшему, давнему. Все пройдет. Все еще будет. Мать обнимет сына. Воин подхватит на руки подросшего без него ребенка...

НАДЯ КУТАЕВА

Вот сидит она на санитарной подводе, девчонка в подростковой шинели, пытается заснуть на минутку и, несмотря на большую усталость, никак не может. Бой уже совсем недалеко. Ездовой Шерабурко почмокивает на лошадь, подергивает вожжами и как будто бы даже спешит до места, в батальон. Но всякий раз, как наискосок, через дорогу, свистя и пришепетывая, проносится снаряд, голова бойца уходит в плечи, и он всем корпусом подается вперед, кланяясь крупу лошади. Когда же слышится глухой, неблизкий разрыв, Шерабурко вновь выпрямляется и продолжает еще деловитее почмокивать и подергивать. И старается как можно развязнее сказать, с улыбкой оглядываясь на медсестру:

— Подбрасывает...

— Ладно, ладно, подбрасывает! — неласково отзывается она, передразнивая его слово.— Давай смотри, куда лучше с подводой подъехать, чтоб мне не три версты раненого таскать.

Ездовой обиженно умолкает. Поле боя уже в виду. Дымные кусты разрывов встают внезапно, как из-под земли, то там, то здесь, то врозь, то парами. Надя всматривается в какой-то черный предмет справа от дороги — не то строение какое, не то автомашина, брошенная в снегу. Нет, комбайн, оставшийся здесь с лета. А место подходящее поставить повозку. И носить не так далеко.

— Шерабурко, подворачивай!

И вдруг отдельно от грохота боя, тоньше, тревожнее и тоскливее, чем снаряд либо мина, над самой головой свистят пули, и оттуда, от комбайна, доносится треск автомата. Шерабурко роняет вожжи и кулем валится под повозку.

— Шерабурко, что с тобой? («Не ранен ли?» — думает Надя, кидаясь к нему и ловя на снегу вожжи.) Шерабурко, миленький...

Нет, он не ранен, этот добрый, простецкий парень, не обвыкший еще на фронте. Но ему так стыдно подняться, что, удлиняя свой позор, он лежит, будто бы ничего не слыша.

— Садись, правь лошадью,— приказывает она в полную меру своего старшинства над ним.— Раненые ждут, а ты под повозкой прятаться? Садись, а то я тебя сейчас...— Она соображает, чем бы таким пригрозить.— А то я тебя сейчас гранатой подорву, Шерабурко. Сейчас!

Ездовой вскакивает и забирает у нее вожжи. Бедняге в голову не приходит, что и гранаты здесь нет никакой и что угроза эта, в сущности, неосуществимая. Он только чувствует властный тон этой девчонки, которая ничего сама не боится и другим бояться не позволяет. Комбайн остается в стороне, Шерабурко правит еще ближе к месту боя, но бой и справа, и слева, и кажется, уже за спиной у него.

Через полчаса по этой же дороге боец благополучно отвозит двух раненых, уложенных на повозку Надей. А сама Надя остается в батальоне.

В дыму подожженной во время боя деревни она натолкнулась на тяжело раненного лейтенанта. Его уже уложили на сани, первая помощь была оказана, но он лежал на перемешанной со снегом соломе в одной гимнастерке — шинель, должно быть, сбросил в горячке боя. Надя быстро сняла свою шинельку-маломерку, укрыла лейтенанта, а сама осталась в одной стеганке.

Из этой деревни она, может, и не выбралась бы. Немцы оттеснили наших на самую окраину. Автоматчики подошли уже так близко, что нужно было убегать. А ноги ее уже не слушались — так она была измучена,— а тут еще остается боец с залитым кровью лицом, пуля прошла у него по надбровью, и он ничего не видел и был слаб от потери крови. Тогда их заметил другой лейтенант, подхватил обоих за руки и потащил обходным путем из деревни. На выходе из деревни по дороге уже бил

немецкий станковый пулемет, и пришлось там долго лежать на снегу, а Надя была вся в поту, разгоряченная и в одной своей стеганке.

Потрясения и муки этого дня сломили ее. Она была отправлена в тыл дивизии, в госпиталь. Вернулась Надя на работу остриженная и оттого ставшая как будто еще меньше ростом.

И снова она встретила на поле боя своего спасителя — лейтенанта. Теперь он был ранен в голову. И он узнал ее.

— Уходи, уходи, Надя! Дела мои плохие, беги.

— Нет, уже теперь я над вами хозяйка, товарищ лейтенант.

Она перевязала и вынесла его, но остался ли он жив, слышать ей не случилось.

Она уже так надорвалась, изнурилась, что просто глядеть больно,— худышка, бледненькая, с наивно и как будто печально вздернутым носиком. И говорит о себе, осторожно покашливая, с грустью и жалостью не к себе, а к тому, что так ненадолго ее хватило:

— Перевязать я еще, конечно, перевяжу, но вынести уже не вынесу. Знаю, не вынесу.

Рассказ ее как-то сам собою связался у меня с одним воспоминанием.

Июль это был или уже август — не помню. Ехал я, сидя спиной к кабине, на открытом грузовике. Заходило солнце. Помню даже, что поразительно правильно был перерезан красный диск солнца пополам тоненьким, как ниточка, светло-синим облачком. Лежала огромная тень от леса, к которому мы подъезжали, обгоняя колонну бойцов, головой уже вошедшую в тень. Вне строя, по обочине, шла девушка в военном, с санитарной сумкой. И такая она была молоденькая, недавняя, серьезная и скромная.

Я залюбовался ею в те секунды, покамест позволяло расстояние, и успел невольно улыбнуться ей или даже кивнуть. И она улыбнулась чуть-чуть, но так хорошо, дружески и доверчиво, что и запомнилось это. Может быть, ее уже нет на свете. Может быть, она все еще в батальоне, на своей скромной и тяжкой должности санинструктора. Во всяком случае, она уже на десять лет старше, чем была, когда входила в ту огромную тень от леса и смотрела прямо на красный закат разделенного облачком солнца.

КОМБАТ КРАСНИКОВ

Еще в дивизии слышал, что есть один комбат без командирского звания и даже с неснятой судимостью. Но когда приехал в этот батальон, как-то не придал значения тому, что у командира — пустые петлицы,— мало ли как сейчас ходят.

Сразу было видно, что человек это дельный, старательный и знающий. И любит показывать оборону своего участка, как иной добрый председатель колхоза спешит, бывало, повести тебя на скотный двор, на ток, туда, сюда...

Гостей было многовато, но основная их часть должна была скоро уехать в другой батальон. Эта группа и пошла первой смотреть боевое охранение.

— Я их быстренько проведу,— шепнул мне комбат,— а с вами мы потом все как следует. Все вам покажу, расскажу.— И в его добрых, серых, несколько воспаленных глазах и виноватой улыбке на немолодом уже и несвежем лице было такое доверительное выражение, как будто речь шла о том, что после общего формального обеда со всеми мы еще отдельно по-настоящему выпьем и закусим.

Гости проходили часа два или больше, уже свечерело, а прошел митинг, и вовсе время уже было уезжать. Стали все прощаться, в том числе и мы, хотя и не побывали в охранении.

— Как? А я думал, вы у нас поночуете,— обратился комбат ко мне, почему-то считая, что я имею к его батальону особый интерес, видимо очень дорожа этим обстоятельством.

Прощаясь, извиняюсь, жму ему руку, а у него такая трогательная растерянность на лице.

— А я, знаете, хотел вам все по порядочку, как следует. К самым немцам хотел вас сводить, вот как до этих саней, сидят они там, совсем близенько.

В полку я вдруг узнаю, что это и есть тот самый комбат Красников, о котором мне рассказывали в дивизии. Комбат без звания и с неснятой судимостью.

Утром я взял лошадь в полку и поехал опять в этот батальон. Как он обрадовался, Красников! Он, видно, решил, что люди перестают им интересоваться, узнав, что он судимый, сидел в тюрьме. Все равно, мол, о таком не напишешь в газете.

Поводил он меня всюду, где только можно было, по снежным ходам сообщения и просто полем, чуть не завязил меня в проволоке «малозаметных препятствий», рассказал, что к чему в системе его оборонного хозяйства, дал произвести очередь из пулемета, выстрелить из противотанковой пушчонки,— конечно, не в связи с появлением танков противника,— словом, занимал гостя чем мог.

Потом с группой его командиров обедали, и солдат носил жареное из другой избы через улицу. Под конец Красников наклонился ко мне за столом с доверительным, как давеча, словом на ухо:

— Пусть разойдутся, а мы еще потом с вами — по капельке.

Мы остались одни, и я попросил его рассказать мне свою историю. Забудьте, мол, что я человек, берущий все на карандаш. Расскажите, если можете, откровенно самую суть дела.

— Суть дела — вот она,— улыбнулся он, с робкой шуткой приподняв запотевший от холодной водки стаканчик.— Вот она, суть.

И он мне рассказал все так, что у меня не было оснований сколько-нибудь усомниться в правдивости его слов.

Он был уже майором, учился на третьем курсе в академии. И вышел из красноармейцев гражданской войны, из батраков, малограмотных. Слабость, на которую он указал, как на суть дела в его судьбе, помешала ему закончить академию. Большое военное лицо, вызвав его однажды к себе в кабинет, сказало:

— Я пьяниц не люблю и у себя не потерплю.

Робкий от своего порока, Красников оробел еще более, и последний испытательный срок, предоставленный ему тем лицом, как будто бы проходил безупречно. И вот он собрался впервые за всю жизнь на курорт с женой, получил отпускные деньги и встретил, конечно, в день сборов к отъезду старого товарища времен гражданской. «Рванули с грохотом»,— как выразился он по поводу этой встречи. Дело было в 1937 году. И хотя он хорошо знал, что даже в пьяном виде не мог высказывать каких-либо дурных вещей, но так и пошел со своей виноватой улыбкой в тюрьму, имея скрытое сознание другой безусловной виновности — своей слабости, хотя не она ему вменялась теперь в вину.

В сорок первом году его выпустили. Жизнь была пере-

вернута. Жена, похоже, покинула его. Где-то есть дочурка, о которой он упомянул с нежностью, опять же робкой и виноватой.

Он пошел рядовым в ополчение, но по своим военным знаниям и опыту скоро выделился и при расформировании ополченческой части был взят на пополнение регулярной дивизии. Последовательно замещая выбывавших из строя командиров взвода, роты и, наконец, батальона, он достиг нынешней своей должности. Воюет он хорошо, но томит его некоторая странность его положения рядового на таком посту, где ему подчинены старшие лейтенанты и даже капитаны.

Сказал я ему на прощанье какие-то слова, желая придать ему больше уверенности в себе. Только, мол, берегите хорошее настроение, бодрый дух — все будет хорошо.

— Спасибо, спасибо. Ничего. Как-нибудь,— говорил он, держась за сани и провожая меня до выезда на дорогу. И вдруг, когда я уже порядочно отъехал, крикнул мне вслед с озорной, но все же робкой шутливостью:

— А бодрый дух упадет — мы его приподымем,— и все в порядке!

Я оглянулся: он стоял, склонив голову набок, в шинели с пустыми петлицами и правой рукой усиленно делал знак пощелкивания пальцем в шею. Я понял: он не это хотел сказать, но удержался от серьезных слов, отшутился...

Еще мне рассказывала о нем девушка из санитарной роты полка, видевшая Красникова в одном тяжелом бою.

— Ползу среди трупов, среди раненых — от одного к другому — и вдруг вижу, ползет Красников, все лицо в крови, улыбается, перевязываться отказался: и так, мол, доберусь. И еще меня подхваливает: молодец, дочка, цены тебе нет, умница моя. Это он, конечно, для бодрости духа мне сказал,— огонь действительно был очень сильный.

...Мне доставляет большую радость дополнить эту запись спустя восемнадцать лет тем, что в мае 1960 года я вдруг получил письмо от Александра Гавриловича Красникова, о котором со дня нашей последней встречи ничего не знал и, по правде сказать, скорее всего мог бы предположить, что с войны он не вернулся.

«С августа 1942 года,— пишет он,— и до конца

1945-го я командовал полком на Дону, на Северном Донце, а дальше — Днепр и Днепропетровск, Восточная Пруссия, Кенигсберг. Много получил тяжелых ран и в 1945 году ушел в отставку со званием Подполковник».

Написание этого слова А. Г. Красниковым с большой буквы оставляю здесь без исправления: слишком дорого, как видно, оно этому простому и славному русскому человеку, чтобы писать его с маленькой.

«БАЛ»

Люди только что пришли сюда по ходам сообщения, по скрытым тропинкам, вдоль редких придорожных кустиков, по окольным овражкам с передовых постов боевого охранения.

Они по-свойски размещались в хате — кто на низеньких крестьянских нарах, занимающих треть помещения, кто на лавках вдоль стен, а кто на полу, у ног товарищей. Старуха хозяйка оставляла за собой только печку. В иное время она, может быть, и поворчала бы по поводу махорочного дыма, но теперь только изредка отмахивалась от него, хмурясь смешливо и добродушно. Совсем недавно в этой деревушке и в этой хате были немцы. И сейчас они еще не так далеко...

Потемневшие от морозов лица людей, проведших зиму в боях, были такими, какими, казалось, они только и могут быть. Привычная напряженность, серьезность и тень усталости старили их. Но стоило ребятам рассесться в теплой хате, закурить компанией, стоило крепышу-пулеметчику Орехову поставить баян к себе на колени и чуть тронуть его, как все обернулось иначе.

Глаза у всех оживились, губы подвинулись в улыбке, и сразу стало видно, что это таки ребята, молодые, хорошие ребята, которые от души рады этим минутам отдыха и забавы.

Сперва с песней не ладилось. Вышел один и, дирижируя рукой, затянул что-то малознакомое, затянул и скривил, повел не туда. И до того это получилось неловко и жалостно и такой дружный породило смех, что можно было подумать — нарочно парень разыграл этот номер. Но мало-помалу баянист навел на тон, и дело пошло. Пелись больше всего простые, душевные песни — русские, украинские. Политрук Ошеров сидел в центре хора и с превеликим усердием размахивал руками, сводя

голоса всех в одно целое и в то же время стараясь подтянуть, подхватить, выручить на самых трудных переходах...

Перед воротàми
Ударь копытàми,—
Может, выйдет та девчонка
С черными бровями...

И простой, милый мотив этой старинной песни уже заметно брал власть над самими поющими. Что-то щемящее, далекое и близкое вместе, живое и неумирающее, свое, родное было в нем,— то, что одинаково дорого и дома и на войне, и на суше и на море.

И когда один голос, вырываясь вперед, но попадая в лад, уже как будто не пропел, а сказал: «Но не вышла та-а девчонка...» — у всех заблестели глаза от сладкой печали и волнения.

А гулянье брало разгон.

— Вальс! — с нарочитой лихостью скомандовал молодцеватый лейтенант Григорьев, и мешковатые пары в шинелях закружились в центре тесно стоявшей толпы нетанцующих.

— Общий! Дамы в круг! — под хохот всей хаты продолжал выкрикивать Григорьев, точно забывая в неудержимости бального веселья, что дамой здесь являлась только хозяйка, лежавшая на печи и с предельным умилением смотревшая на все это.

— Дамы налево, кавалеры направо! Агош!

И с неподкупной деловитостью топтались «дамы» и «кавалеры», задевая противогазами всех стоявших кругом.

Старик хозяин, считавший, видимо, что ему более к лицу находиться внизу, среди всех, чем на печке со старухой, все же то и дело переглядывался с ней, хитро и недоверчиво поводя головой: балуетесь, мол, а неприятель-то — вон он, еще близко...

— Встать! — обрывая музыку, говор и шмыганье валенок, раздалась команда: вошел комбат Красников.

— Вольно, вольно! Давай дальше!

— Есть давать дальше. Командир взвода связи, младший лейтенант Глушков, исполнит...— Григорьев сделал паузу и выкрикнул последнее слово: — русскую!

Но не успел тот сделать двух кругов, как наперерез ему кинулся новый танцор. Он дал дробь и, вытянув правую ногу, одной этой ногой начал изображать что-то

такое уморительное и необычное, что круг колыхнулся со смеху.

И когда уже баянист хватил «расходную», и комбат Красников смотрел на своих бойцов ласковыми и умными глазами старого солдата, и все было хорошо и красиво — изба содрогнулась от совсем близкого, внезапного разрыва снаряда. Вслед за ним ухнул другой, третий, четвертый — обычная вечерняя порция.

Бабка начала было креститься, но смутилась, видя, что никто из гостей не переменил позы, не нарушил веселья. А дед-хозяин с невозмутимостью видавшего виды человека успокоительно кивнул ей:

— Перелет! В белый свет кидает...

Неизвестно, о чем говорили в эту ночь старик со старухой на печи, но утром возле их хаты мы наблюдали занятную и полную значения картину. Дед вытащил из осевшего, серого сугроба большой старинный сундук, очистил его веничком от весеннего, липкого снега и поволок в сени.

— Что, дед, не боишься уже, что немец вернется?

— Хватит его бояться. Не может быть ему возврату сюда. Кончается его басня.

ВЕСНОЙ 1942 ГОДА

Три дня свистела страшная предвесенняя вьюга, какие, наверно, только здесь в степи, и возможны. На дорогах позастряли целые колонны машин, в санях также была не езда. Хатенку попродуло насквозь, намело в каждую щель двора, завеяло корову, овец. А сегодня утихло, прояснилось, и стало хорошо — морозно и чисто. Вечером опять закат почти такой, как тот, что поразил меня на неделе. Тогда я даже остановился и долго не мог оторваться не только от этой картины, но и от самого себя, от своего необычайного состояния. Вряд ли я когда в жизни был так взволнован чем-либо подобным. Закат стоял над дорогой, широкой, укатанной зимней степной дорогой на выезде из деревни. На необычайном, малиновом крае неба вставали густые синие и черные дымы деревни. И все было так непередаваемо говоряще и значительно — степь, Россия, война,— что сжималось сердце и словно нечем было дышать.

Хозяин хатенки, где мы провели эти трое суток степной вьюги, вчера, когда мы уже улеглись на свежей,

с надворья, соломе, прикрытой дерюгами, долго и строго молился на ночь. Внятным и громким шепотом он произносил слова, которые показались мне странными, как бы не молитвенными. Когда он улегся на печке, я осторожно выразил свое недоумение.

— Молюсь? — спокойно, но с неохотой отозвался он.— Мало ли... За сынов молюсь — трое уже у меня на войне. За Красную Армию молюсь, дай ей господь здоровья на одоление врага. Так и молюсь, брат. А что?

Он примолк и вскоре, должно быть, уснул, а мы с товарищем долго еще лежали, курили. Долго не угревалась солома под дерюгой.

Мой товарищ сказал:

— Знаешь, уже все места, где я родился, где я учился, служил, где обзавелся семьей и где вообще бывал когда-либо в жизни,— почти все под немцем. Смотри: родился я и жил до призыва в армию на Смоленщине — Смоленщины нет. Служил срочную в Бобруйске, в Белоруссии,— Белоруссии нет. Учился в Ленинграде — Ленинград окружен. Два раза в жизни побывал на курорте, оба раза в Крыму, в ялтинском доме отдыха командиров,— Ялты нет. Вот и все. На восток мне просто не приходилось ездить. Осталась у меня одна Москва. Правда, я был там только проездом, но был все-таки. И Москва все еще прифронтовой город.

Он говорил тихо, раздумчиво, как бы не веря еще, что все это так и есть. Мне знакомо это ощущение всего происшедшего как некоей жуткой условности, допущенной мысленно и уже изнурившей душу так, что хочется всей силой воли и разума отмыслить, отбросить ее прочь. А нельзя.

То ли во сне я увидел, то ли перед сном предстала мне в памяти одна из дорожек, выходивших к нашему хутору в Загорье, и, как в кино, пошла передо мной не со стороны «нашей земли», а из смежных, ковалевских кустов, как будто я еду с отцом на телеге откуда-то со стороны Ковалева домой. Вот чуть заметный на болотном месте взгорочек, не очень старые, гладкие, облупившиеся пни огромных елей, которых я уже не помню, помню только пни. Они были теплыми даже в первые весенние дни, когда еще пониже, в кустах, снег и весенняя ледяная вода. Около этих пней я, бывало, находил длинноголовые, хрупкие, прохладные и нежные сморчки. Дорога, заросшая чуть укатанной красноватой травой.

Дальше лощинка между кустов, где дорога чернела, нарезанная шинами колес, и стояла водичка до самых сухих летних дней. Затем опять взгорочек, подъем к нашей «границе». Здесь дорожка, сухая, посыпанная еловой иглой. И наше поле, и усадьба, со двором, крытым «дором»...

И вдруг вспомнил, что и там — немцы.

ГОСТЬ И ХОЗЯИН

Недавно пришел из окружения один работник армейской прокуратуры. Его задержали на передовой и доставили в штаб части. Тут он достает завернутый в тряпицу ржаной пирожок, разламывает его, предъявляет партбилет, прокурорскую печать и все свои документы. Со времени выхода летних окруженцев прошло уже много месяцев, и то, что рассказывал этот человек о положении в тылах противника, интересно как свидетельство иного периода.

Ненависть к оккупантам безусловная и повсеместная. Старосты и прочие прислужники оккупационных властей уже не те, что были вначале. Кто и на совесть прежде служил немцам, теперь стремится чем-нибудь обелить себя перед Советской властью, в приход которой верят все, как в приход весны после зимы. На одной железнодорожной станции прокурор сам видел, как мужики, грузившие на платформы сани для немцев, собрались кружком и с жадным вниманием следили, как один из них чертил на снегу палкой Южный фронт, Крым, объяснял про фланги и т. п.

Сталин, говорят в народе, собрал великую армию и идет на решительный бой. Сеять собираются уже при Советской власти.

И был такой случай.

Прокурор попросился в одной избе на ночлег. Было это уже в двух-трех переходах от линии фронта. Усталый, промокший, пригрелся на печке и задремал. Но спал хоть и сладко, а чутко, по выработавшейся привычке, и сразу же проснулся, когда в избу, где была только хозяйка с детьми, вошли какие-то посторонние люди.

— Придется вам, молодой человек, с этой печки слезать. Переночуете в другом месте.— И, как показалось

прокурору, люди эти усмехаются между собою.— Идемте,— говорят,— мы вам укажем ночлег.

Прокурор вышел с ними. Старается пропустить их вперед, а сам высматривает, куда бы метнуться в сторону. Однако видит — ведут его не к центру села, а в какой-то переулочек. И вскоре они, все трое, очутились в другой избе. Поздоровавшись с хозяином-стариком, оба провожатых пожелали прокурору спокойной ночи и вышли. Старик боком, словно петух, прошелся раз-другой перед гостем, присмотрелся и вдруг говорит:

— Ну что, Советская власть, есть небось хочешь? Ищи-ка там, старуха, чего-нибудь в печи.

— Не хочу, спасибо.

— Врешь, есть ты хочешь, это я по тебе вижу. А может, сомневаешься: куда это я, мол, попал, к кому в гости? Так не сомневайся, Советская власть, я тебе прямо объявляю: к кулаку, настоящему раскулаченному кулаку. Вот, брат.

Старик засмеялся, закашлялся, подмигивает гостю, и то ли он злорадствует, то ли что.

— Да, брат. Советская власть, Советская власть! — сокрушенно и вместе как будто восторженно пел старик.— Советская власть, а? То-то, брат... Ну ладно, рассказывай: кто ты есть, откуда путь держишь? Из окружения-то ваши, кто выходил, давно повышли. Из плена, может быть?

Прокурор ответил ему как-то так, что и не понять было, кто он, собственно, такой, а идет будто бы в родные места, и назвал район неподалеку. Там будто бы у него семья, не то родня. Старик все не хотел ему верить, но прокурор так мастерски владел принятой на себя ролью, что тот наконец заметно поддался.

— Ты таки, верно, туда идешь?

— Да вот, иду.

— Хм... А там ведь немцы?

— Ну что ж,— говорит прокурор,— я маленький человек.

— Маленький — так и дела ни до чего нет? Так, что ли?

— Ну, так ли, не так, а все же. Вот и у вас, может быть, сыновья есть, тоже идут где-нибудь.

— Извини! — взвился старик и погрозил в потолок пальцем.— Мои туда не пойдут, куда ты идешь, если ты вправду туда идешь.

— Все возможно.

Словом, это был длинный и сложный разговор, в котором оба нащупывали друг друга, подходили вплотную и опять расходились, причем прокурор держался принятой роли простачка, и хозяин в конце концов начал его агитировать, все время подчеркивая свое кулацкое звание. Старик был явно огорчен тем, что гость оказался иным человеком, чем почему-то предположил он с первого взгляда. Это, по-видимому, лишало его возможности высказаться в намеченном плане, покрасоваться вовсю своей незаурядностью, справить некое свое торжество и притом проявить благородство. «Вот ты представитель той власти, которой здесь нет и с которой у меня свои давние счеты. Ты под моей кровлей, твоя судьба в моих руках. Я тебе напомню кое-что, погляжу на тебя, как ты будешь слушать, заставлю понять мою душу и сверх всего удивлю. И тогда ты увидишь, что я за человек и какая мне может быть цена». Старик и с виду, как его обрисовал прокурор, был старик необычный, занятный. Он был стар по-настоящему, лет под семьдесят, но в нем не было ничего такого, что позволяло бы взрослому назвать его дедушкой. Он и сидел как-то не по-стариковски, сидел, не приваливаясь спиной к стене, а налегке, ухарски вскинув ногу на ногу. И курил не трубку, а вертел папироски. Во всей его повадке высказывалась былая удаль и щеголеватость, не желавшая смириться под бременем возраста.

— Слушай, темный ты человек,— говорил старик прокурору,— можешь ты понять, что мне, кулаку, дорога Советская власть? Просто самая милая для меня власть. Не можешь? Ну, так вникай. Разберем по порядку. Лишила меня Советская власть в те годы всего движимого-недвижимого? Не отрицай, лишила. Два года в ссылке я находился? Два года, как один день. А иной кто, может, и три года и пять лет. Все верно. И все-таки я скажу тебе, темный ты человек, слушай...

Старик сел на лавку рядом с гостем, с какой-то горькой доверчивостью положил ему руку на плечо.

— Слушай. Она была своя, русская, строгая власть. Она надо мной была поставлена народом, а не германом. Она меня над виром потрясла, как говорится, а в вир не бросила. Она надо — так обидит, а надо — так приласкает. Туда, за Котлас, меня в холодном телятнике везли, врать не буду. А вот как пришло мне разрешение оттуда

возвращаться, так мы со старухой уже в классном вагоне ехали. В классном! Это все с одной стороны. Поглядим же с обратной стороны. Движимого-недвижимого я был лишен, но лишен ли я был самого дорогого моего имущества? Говорю как отец своих сыновей. Знаешь ты, кто мои сыновья? Давай по пальцам считать. Первый. Начальник механизации Н-ской дороги.— И повторил: — Н-ской дороги.— Старик четко и торжественно назвал эту должность.— А он на этой дороге чернорабочим был три года. А теперь он — ты понимаешь, что это такое? Это первый. Посмотрим второго. Второй у меня редактор. В городе К-ве один всю газету пишет. Сам. Не пойми так, что у него нет помощников. У него их, может, целая контора, есть кому писать. Но он все равно сам все пишет, по-своему. И может просто написать, а может все на стихи переложить. Третий. Ну что ж, может быть, третий сын у меня замухрышка? На-ко тебе!

Старик оживлялся все больше и больше, точно вел с кем-то яростный спор, хотя гость его только слушал и исподтишка приглядывался к нему.

— Да, он не великий начальник, простой, можно сказать, человек, кузнец колхозный. Но он себе пуговицы не купил за эти годы, на нем все премиальное. Он мастер своему делу, его любили, как бога. Что ни возьми — премия.

Он перевел дух и тихим, нарочито ехидным тоном, будто спросил у кого-то:

— А четвертый сынок?

И ответил сам себе другим, уверенным и достойным тоном:

— Четвертый тоже в порядке. Слыхал Стаханова? Ага! Так он с ним на одной парте сидит, в академии учится. Из шахты — и прямо туда. И вот здесь,— старик обозначил пальцем на левой стороне груди у гостя кружок,— имеет штучку, которая не каждому дается.

Хозяин смолк с видом, что уже больше нечего добавить, и прошел к порогу напиться воды. Напился и продолжал, словно отвечая на возможный вопрос:

— Где они теперь? Трое на фронте, а старший на прежней должности. Как и что, не знаю, но знаю, что все находятся в рядах, Родину защищают. Вот и подведем итог: чего я был лишен и что я получил от Советской власти. Выходит, что и для меня она выгодная власть. А герман мне пишет памятку: «Собственность».

И первое дело — он не знает, что прежнего внушения слово это для меня не имеет. А другое дело,— что он, герман, пишет мне: «Собственность», а сам мне вот этот пол до единой доски перевернул, искал, где сало спрятано. А ведь сало — это ж собственность, как ты думаешь? Вот что говорю, то и есть. Я не староста и не полицейский, справки у тебя не прошу, что накормил тебя. Теперь они все о завтрашнем помышляют: чем перед Советской властью оправдаться? А я не дрожу перед ней. Да и ты не в ту сторону идешь, чтоб мне тебя задабривать...

Прокурор наконец дал старику понять, что он не тот, кем прикинулся, и в упор ему предложил:

— Проведешь до линии фронта?

Старик хлопнул себя ладонями по коленям и залился смехом, раскачиваясь на лавке. Откашливаясь и заслоняясь левой рукой, он смотрел на гостя с восхищением и ласковостью и снова погрозил ему пальцем.

— А ты думаешь, я так тебе совсем и поверил, что ты тюха-матюха? Нет, брат, извини. У меня на вас, таких, глаз наметан... Я, брат, не забывай, кулак... А провожать мне вас на тот берег не впервой. У меня перевалочный пункт для вашего брата. Кулак! Вне подозрений.

Старик предложил гостю отдохнуть у него денек и за этот день починил ему сапоги, дал пару белья, снарядил честь честью в дорогу и затем благополучно провел к линии фронта.

В ОБЖИТОМ ЛЕСУ

В еловом сыроватом лесу, где, не обломав сучка, расположилась «усадьба» большого хозяйства, как в некоем притемненном и странном лесном мире, идет жизнь по заведенному распорядку.

Стучат пишущие машинки, урчат телефонные аппараты в замаскированных хвоей маленьких хатках-времянках, в землянках, палатках и штабных автобусах. По жердевым узким кладкам-дорожкам, соединяющим управления и отделы, бегают военные девушки, проходят командиры и комиссары, почему-то больше всего старшие батальонные, и младший по званию соступает с жердочек, когда встречается старший.

Как будто строго условившись играть в эту жизнь в лесу, играют с совершенной деловитостью. Так условились, чтоб их было не видно с неба и с дороги, проходя-

щей за опушкой леса. Поэтому ходить опушкой, где к самому олешнику подступает уже белый и никого здесь не интересующий овес, нельзя, а можно по узенькой сырой тропочке, настеленной ольховым хворостом. И, как во всякой игре, нет-нет да и нарушат какое-нибудь наскучившее правило: овес вдоль опушки вытоптан, ходить по нему суше и приятнее, чем по хворосту, втоптанному в грязь.

Завтракаем в столовой военного совета. За лесом начинают грохотать разрывы немецких снарядов.

— Что это за огонь? — приподняв тяжелую бровь, обращается хозяин к начальнику артиллерии.

Лысый, розовенький, полный и очень симпатичный полковник по-домашнему поднимается из-за стола, наскоро и, однако, внимательно коснувшись нежных вишневых губ кончиком салфетки.

— Это его корпусная бьет на левом. Разрешите подавить?

— Дави,— чуть заметно усмехается и вздыхает хозяин.

Полковник быстрыми и решительными шажками направляется к телефону, задорно покачивая круглым, туго обтянутым задком.

И, переговорив с каким-то четырнадцатым, не то сорок четвертым, возвращается, горделиво и вместе с тем скромно одергивая китель и отряхивая ручки.

— Сейчас будет подавлено.

Однако немецкий обстрел продолжался еще около часа своим порядком.

— Видите ли,— пояснил потом полковник нам, пишущим о войне людям,— практика современного неприцельного огня показывает, что подавить действующую, с хорошо укрытых позиций батарею — дело трудное. Во-первых, данные для ведения контрбатарейной стрельбы должны быть подготовлены идеально. Во-вторых, расход снарядов... Вы знаете, как у нас с подвозом боеприпасов по этим дорогам? А он отступает к своим базам, складам...

Интересно, что все это полковник, недавний преподаватель в академии, знал прекрасно и час назад, когда с непринужденной решимостью выходил из-за стола «давить» огонь противника.

Вечером этого дня мы были на наблюдательном пункте полка, в таком же лесу, на выходе в поле, за которым деревня, где еще немцы. Блиндаж немецкий, со вхо-

дом с западной стороны. Горит все вокруг. Зарево краем неба загибается вокруг и почти смыкается на востоке.

— Жжет, сукин сын. Значит, отходит. Дать бы вслед жару, да с боеприпасами зарез, на вьючных лошадях подвозим.

Все говорят «отходит» и сожалеют о недостатке боеприпасов, но у всех затаенный вздох облегчения и даже чувство, похожее на признательность судьбе, за то, что *он* «отходит». И вдруг *он* начинает «давать».

Кажется, что весь лес, дерево за деревом, валится с треском и грохотом и что, может быть, это и есть твой последний час, твой черед, до которого бог берег тебя. Сперва в блиндаже все разговаривали, отпускали более или менее уместные замечания и шуточки относительно близких взрывов и общей силы огня, потом все труднее стало кричать, все смолкли, только изредка переглядывались. Было явно неловко за слова, которые перед тем повторялись с важностью: «Отходит».

Не знаю, пробовал ли давить милый полковник этот огонь, но мне всем существом хотелось, чтоб он давил, хотя бы так, как он может давить его в современных сложных условиях боя.

ПО СТОРОНАМ ДОРОГИ

Дорога — бревенчатый настил на десятки километров, чаще всего поперечный, как настил простого моста, катающийся, гремящий дробно, торопливо, изнурительно. Бревна, чаще всего еловые, в коре, избиты, измочалены гусеницами тягачей и танков, колесами. Какой лес вблизи, такой и настил. Через березовые рощи лежит белый грязный настил из первосортной березы. Уйма лесу, бездна труда, но иначе нельзя было бы воевать в этих местностях. Не настелили в одном месте,— «думали, сухо будет»,— и участок непроезжий. Машины с грузом уныло торчат на объезде, раскатанном на километр в ширину по полю. Люди собираются с нескольких машин к одной, «вываживают» бревнами либо тащат живой силой, с выкриками и уханьем, с каким, должно быть, их далекие предки перетаскивали суда на волоках. Местами настил продольный, сделанный особым способом, довольно остроумным и экономичным: две дорожки-колеи в два-три бревна каждая, с распорками посредине. Машина идет как по рельсам и пережидает встречную на разъезде...

На поле — в снопах и на корню — перестоявшая, выболевшая, серая рожь. Стоит и «течет». Колючая проволока нами или немцами была натянута по озими. Рожь и под ней выросла, созрела, стоит вровень со всем полем, и в ее единообразной, все еще стройной густоте с жесткой отчетливостью выделяется эта чуждая, металлическая ткань, наведенная в четыре ряда поперек поля.

Нет мест, специально предназначенных, предуготовленных природой для войны. Докуда война ни дойдет, везде беззастенчиво искорежит землю, нагородит свои тоскливые, страшные, хитроумные и чаще всего бесполезные для нее самой сооружения, везде оставит свои следы на долгие годы.

Сколько испорчено земли и леса бомбами, снарядами и всевозможным строительным солдатским рытьем, вырубками и просеками. Никогда, кажется, не зарыть всех этих ям с торчащими из них заплесневелыми кругляшами накатов, всех этих противотанковых рвов, которые тянутся с севера на юг, ряд за рядом, теперь уже загибаясь почти до Волги!

* * *

Было что-то с машиной. Подошел к косившим у самого шоссе бабам, взял у одной косу — тупа, как палка.

— Отбить нам косы некому, а тут еще камни.

— Камни?

— От бомбежки понакидало с дороги. Дорогу-то солдаты поправили, и не видать ничего, а камни — где ж их искать.

Трава застарелая, августовская. Прошел я маленький прокосец, вспотел, и руки дрожат, а бабы этими косами день махают. И хотя среди них оказался один мужчина, что обычно баб вызывает на шутки и вольности, никакой такой живости нет. Я сказал, что «пупки» — поперечные рукоятки, прикрепляемые к косью,— поставлены неправильно, а они просто говорят:

— Перевязать — некому.

Правда, бабы подмосковные, пригородные, не очень прилежные к полевой работе, молочницы, огородницы. Смоленская баба, например, и косу отобьет, и пуп у косья перевяжет не хуже мужчины. Но как-никак уже второе лето деревня без мужиков...

Жителей в деревнях, недавно оставленных немцами, очень мало. И те — как они уцелели? На краю деревни,

возле стрелковых окопчиков вчерашней немецкой обороны, сидит на бревнах старуха, вяжет что-то. Она с такой трогательной готовностью отзывается на всякое приветствие, так горячо, истово повторяет свои благодарности и пожелания, как будто каждый из нас, проезжающий либо проходящий, лично и непосредственно был ее спасителем и освободителем.

И, похоже, ей уже кажется, что война кончилась, прошла, во всяком случае, вступила в какой-то другой, второстепенный этап, так как деревня уже освобождена, *эта,* старухина деревня. Еще прийти бы письму от сына — жив, мол, здоров — да подсобраться родне из лесов и окрестных деревень, кто где укрывался от немцев, и будто бы все в порядке. Жить и не жаловаться ни на что, ни на какие последствия войны, только бы она чуть подальше. А жизнь жестокая, ужасающая бедностью, разорением, неслыханным и невиданным в этих краях, может, со времен татарского нашествия.

Проезжая верхом мимо одной уцелевшей избы, лошадь испугалась странного тяжелого гула, не похожего на взрывы либо выстрелы,— длительного, ровного и угрюмого. Работала ручная мельница — нововведение этой суровой поры. Нажнут десяток снопов, обмолотят у двора, провеют и мелют. Поедят пресных лепешек из муки пополам с неразмолотыми зернами и идут в поле.

* * *

Следы московской обороны обозначаются от нынешней линии фронта до самой Пушкинской площади. Едешь, едешь, вот уже армейские вторые эшелоны позади, вот и Волоколамск, Истра, и еще ближе к Москве, а вновь и вновь замечаешь по сторонам шоссе черные провалы дзотов, линии проволочных заграждений, противотанковые «козлы». Земля рытая — траншеи, воронки; там-сям остовы сгоревших и разбитых машин. И на въезде в Москву — каменная ограда какого-то парка с пробитыми в ней щелями-амбразурами для стрельбы и те же «козлы», проволока, баррикады, разобранные только посредине, для проезда.

ТЕТЯ ЗОЯ

Тетя Зоя — владелица едва ли не единственной коровы в городе после немцев. Умная, веселая, продувная и, в сущности, добрая баба подмосковной провинции. Го-

ворлива и остра на язык, как редко может быть говорлива и остра простая деревенская баба. Это свойство именно городской, порядочно обеспеченной и достаточно досужливой женщины, которая полжизни проводит на рынке, в шумном вагоне пригородного поезда, на лавочке у своих или соседних ворот, за самоваром, хотя бы чай был без сахара. Хлопотлива, оборотиста и неунывна в любые тяжкие времена.

Корова — основное и главное в жизни тети Зои и ее близких. Даже появление наше с капитаном, ранее освоившим этот приют на фронтовой дороге, определялось наличием дойной коровы: дочь тети Зои сама по себе вряд ли могла помешать капитану выбрать другой из знакомых ему домов в этом городе.

Корова! Ее прятали от немцев в каком-то сарайчике. Во время бомбежек и обстрелов тетя Зоя переводила ее с места на место, учитывая преимущественное направление огня и степень угрожаемости того или иного уголка. Ради коровы она покидала щель, где остальные домашние, как и все вообще в городе, сидели по суткам, не вылезая. И не то чтоб она не боялась. Боялась, тряслась, бранилась и плакала, укоряя мужа, который, понятно, ничем не мог тут помочь, отчаивалась уже видеть свою кормилицу и любимицу целой после очередного налета — и все-таки вылезала подоить поскорей, покормить или напоить ее. Так и спасла. Мужеству и выдержке тети Зои обязаны все ее домашние тем относительным достатком, который процветал в нынешнее тяжелое время в этом доме. А мы с капитаном обязаны той почти немыслимой благодатью, что сменила вдруг долгие часы под дождем, в грязи, унылые пересадки с одной попутной машины на другую.

Это был дом, где угощают и задабривают не только того, в ком непосредственно заинтересованы — предполагаемого жениха,— но и любого товарища его, кого бы он ни привел в этот дом. Пусть в этом было желание обеспечить благоприятный отзыв о доме, одобрение выбору капитана,— словом, полусознательная корыстность. Таких ночлегов не много случалось за всю войну.

Не только была приготовлена по всем домашним правилам наша солдатская сухопайковая селедка, поставлен самовар, подогреты и заправлены сметаной сладкие ленивые щи и «быстренько разжарена» картошка на сливочном масле, но, когда мы достали свою военторговскую

водку, хозяйка была как будто бы даже несколько огорчена.

— А я, Коленька,— так она называла моего товарища,— а я, Коленька, берегла-берегла, на черной смородине. Мой-то уж к ней подбирал ключи, и так и так подбирал, а я — нет и нет. Нет, думаю, а вдруг — завернет Коленька, захочет выпить — где ее достанешь, как не будет...

Капитан, сознавая всю великую силу своего влияния в этом доме, вел себя с царственной учтивостью и скромностью: «Тетя Зоя, не беспокойтесь... Не затрудняйте себя, тетя Зоя... Тетя Зоя, прошу вас, пожалуйста...»

Тетя Зоя попробовала нашей, закрасив ее слегка своею, потом выпила одной своей по второму и третьему кругу, и ее пухлое, несколько желтоватое, как булочка, лицо, подернулось легкой краской, маленькие, любовно зоркие ко всему и ко всем глаза заблистали счастливой слезинкой.

Она угощала, даже лучше сказать — потчевала гостей и поощряла их собственным примером явной любительницы закусить, свободой поведения за столом, в чем опять же было ее отличие от простой деревенской женщины, от крестьянки, которая, угощая, сама ест мало и стеснительно. Она кушала и приговаривала, точно приправляла еду умелой и легкой, свободно и поворотливо льющейся речью:

— Я ото всех этих пережитков, от этой мороки окаянной аппетит совсем потеряла. Мне чтоб поесть, дай мне покой. А тут тебе бомбежки, тревожки, что ни минута, то, может, последняя твоя в жизни... Уж на что батюшка наш, отец Василий, какой человек, а нет, вижу, шепчет молитву, а сам с лица как вот эта скатерка. «Батюшка, говорю, я сама в бога верую, вы это знаете,— он-то, отец Василий, около меня только и питался, как сирота,— батюшка, говорю, помолились, и будет, полеземте в ямочку да пересидим страсть самую. Не ровен же час...» — «Бог не попустит»,— говорит. А я: «Не попустит, не попустит, говорю, а зачем нам его испытывать, господа-то? Когда тут камни да стекла летят, за глупость можно погибнуть».— «А верно твое, говорит, за глупость не стоит. Пострадать — так, мол, с толком пострадать, а так что ж!»

Тетя Зоя быстренько крестилась и, закатив глаза, поводила головой с видом окончательной решимости.

— Нет, теперь уж, сохрани господь милостивый, начнет опять подходить немец, я уж тут не останусь. Хоть и жалко всех этих хурбурушек, а нет, не останусь. Корову на веревочку, дом с четырех сторон подпалю, постою, пока не проуглится весь,— и пошла!

За столом был и муж тети Зои, какой-то служащий, державшийся молча и важно, но никого не угощавший, ничем не распоряжавшийся за столом. И, конечно, не видно было, чтобы тетя Зоя учитывала его мнение относительно того, оставаться или не оставаться в городе в случае возвращения немцев.

Дочь тети Зои, кажется Дуся по имени, тоже больше молчала и была малоповоротлива и толста. Тщетно старалась мать все время при гостях сообщить ей хоть частицу своей разговорчивости, оживления и свободы, то и дело втягивая ее в беседу, подсказывая ей слова и целые обороты, когда та пробовала вступить в разговор.

После ужина и чая нас уложили с дороги рано. Я спал на мягкой и чистой постели в очень приятном закоулочке — рукой за изголовьем можно было нащупать бревенчатую стену, а ноги касались гладких и теплых кафелей голландской печи. Проснулся чуть свет, пошел попить босиком по толстым чистым дерюжным половичкам на кухню. Там уже был зажжен ранний утренний свет; тетя Зоя отжимала горячий творог в холщовой сумке, сбив его в один угол, как это обычно делается. Тихонько запевал уже самовар на табуретке возле печи, а под табуреткой лежал, заворотив голову, черный петух с не обсохшей на шее кровью. Оставалось еще покурить и полежать до завтрака, прислушиваясь к огню в печке и домовитой, пораннему сдержанной хлопотне хозяйки. И так славно пахло теплой, из печи, творожной сывороткой, так вдруг напомнилось детство, мир, уют дома, что не хотелось думать, какая за стеной холодная, погибельная погода, дождь со снегом, грязные и мокрые борта попутных машин фронтовой дороги.

— Заходите, заходите, не стесняйтесь, пожалуйста, всегда заходите. И вы тоже заходите, хоть и один, без Коленьки, будете,— рассыпалась вслед нам тетя Зоя, окончательно завоевывая меня этим последним разъяснением.

Я вышел первым, капитан еще задержался минуты на две в доме. Видно, у него были там свои маленькие обязательства.

С ПОПУТНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Верст двадцать на попутной машине, груженной бочками с бензином. Бочки стояком, машина идет по «клавишам» — бревенчатому настилу. Не то держишь эти бочки, не то за них держишься. Напряжение такое, как будто все эти два-три часа стоишь, изготовившись к прыжку. Потом сколько-то верст пешком с колонной пополнения. Шлепанье, кваканье, всплески и бурчанье грязи под мелкими, прогибающимися жердочками настила. Ботинки, обмотки, полы кургузых шинелей, подоткнутые под ремень, заляпанные серым, подзолистым киселем, и говор грязи под ногами. Кажется, что по такой грязи можно идти только в завершение большого, исполненного с отрадой труда, в чаянии законного, обязательного отдыха, обогрева, просушки и иных великих радостей. Но люди идут по этой дороге туда, где им будет еще труднее, где даже выпрямиться в рост негде будет, и та же грязь, натоптанная в траншеях, а холода еще больше, и сверх всего, в придачу ко всему — мука того тоскливого ожидания, от которого в первые дни на передовой однообразно вытягиваются и сереют лица у солдат.

Дождь, дождь и непогодь такая, когда больше всего на свете хочется иметь простые непромокаемые сапоги.

Уцелевшие хаты имеют обезображенный, неприютный вид. Дворы при них разобраны на дрова, на блиндажные накаты и прочие грубые нужды войны. Чурки, бревна, солома — все мокрое и невероятно загаженное. Каски, гильзы патронов, какие-то зеленые тряпки заграничного происхождения. В хатах без дворов и сеней холодно, хотя топят напропалую. Люди в ремнях и шинелях сидят по хатам, пишут, толкутся, закусывают постными консервами, заводят беседы с детишками. Детишки забыли вкус молока и даже домашнего варева, живут тем, что перепадет от постояльцев-военных. В каждой хате — сборные дети. На одной печке Борька-наш и Борька-погорельский — мальчик лет пяти, у которого нет матери, а отец на войне. Борька-наш, старший среди ребятишек, щеголяет в отцовский жилетке, с нацепленными кубиками лейтенанта. Тиранствует над Борькой-погорельским и всеми меньшими. Рассказывает про войну:

— Немцы вечером гуляли и пьянствовали, а утром

как прилетит наш самолет! А ихняя пушка — бах-бах-бах! А наши с самолета — тах-тах-тах-тах! А они — кто под печку, кто вот сюда, под кровать...

В его маленькой детской жизни, на его глазах два раза взад-вперед прошла война. А он уже вроде и жалеет, что самое интересное позади. В школу не ходит — некуда покамест,— очень доволен этим обстоятельством, балуется, колотит меньших и дудит на губной немецкой гармошке.

— Безбатьковщина! — горестно и как-то отрешенно говорит о нем мать, сидя весь день дома, не раздеваясь, в каких-то платках, охающая, с больными зубами.

ДЕДЮНОВ

Дедюнов Федор Нестерович — боец комендантского взвода, лет тридцати пяти, крупный, широкой кости, хитрый курский мужик. Топит печку в землянке «для представителей».

— Повар-то наш на передовую, черт, просится.

— ?

— Ну как же! Хорошо — так дай лучше. Уже, кажется, примостился человек — и в тепле, и сыт, и мина редко когда заблудшая разорвется. Нет! Недоволен. То ему нехорошо, другое неладно...

Сам он, по-видимому, доволен и дорожит своим местом на войне, относя это, впрочем, за счет качеств личных — ума, удачливости. На «гражданке» работал завскладом.

— Жизнь была! Я меньше того не знал, как четвертинка к завтраку, четвертинка к обеду — все в норме. А уж только вечером как следует. И дня пустого не было, каждый день так.

Самым значительным событием этого периода его жизни была пропажа кожаной куртки, справленной благодаря некоторым возможностям его должности. Куртку у него будто бы украла «одна», у которой он ночевал. Утром, злой с похмелья и от пропажи, он избил эту «одну», но она ему не созналась. Даже опохмелиться достала, простила побои, а так и не созналась.

Топит печку, приносит обед «представителям», сам здоровый, сытый, ни разу не раненный, кажется, всем

своим хитрым и недобрым существом начеку — на страже своего теплого места — и вдруг вечером:

— Ухожу с этой должности. Воевать так воевать, правда? Скушно. Сюда, к печке, старика какого-нибудь. Пойду в моторазведку. Попросился уже.

Практичен и в честолюбии смотрит вперед.

— Из нашей деревни один тут есть. Он уже ордер получил,— говорит, зачем-то искажая слово «орден».— А я приеду домой — что я, хуже его? Нет. А я только скажу: почему война длинная? Вот почему. Кабы сказали так: «Убей пять фрицев — и домой, твоя война кончилась»,— и каждый бы выполнил норму, и немцев бы не хватило на нас. А то я убью сто, а другой — ни одного. И всем одна честь — война. А я б десять взялся убить. Меня давеча комиссар спрашивает: «Боишься фрица?» — «Кто же ее знает, говорю, может, приведется так, что и перепугаюсь». А так большой трусости во мне нет. Нету.

Узнал, что командование дает за поимку «языка» медаль и десять суток отпуска.

— Стоит взяться.

И вслух рассуждает о технической стороне дела:

— За руки, за руки надо хватать. А то пошли наши двое, навалились на него, а он, черт, гранату под себя. Ни их, ни его не осталось. Как это считать — храбрый он тоже, что ли, немец-то? Видать, бывает. Я зимой на одного наступил. Лежит, у него ползадницы вырвано, ступня прочь, в голову, в руку ранен, а еще хрюкает, хрипит: «Вася, Вася...» — воды значит. А тут наши: «О, сволочь! Давай, говорят, его приколем». Я говорю: «Давайте». А тут сержант какой-то. «Я вам дам, говорит, колоть! Тащите до места». Дела нет, что он уже кончается... Сколько у солдата начальников, как поглядишь снизу вверх! И все приказывают, и им каждому кто-нибудь приказывает. Один он никому уже ничего приказать не может. Делай. Но это хорошо. Иначе баловства будет много.

Ночью, когда я уже засыпал, он вдруг заговорил, как бы в оправдание своего решения уйти на боевую должность:

— Ничего страшного нет. Я сам одну нашу танку спас. К ней никто не мог подобраться. А я, не будь дурак, запряг лошадь, бочку с бензином — на сани, три ящика с

патронами да ночью к ней и подъехал. В целик по снегу подъехал, и скрипу не слышно было. Еще танкист открывать мне не хотел. Сгрезилось ему, что это немцы стучат... Ничего нет страшного, если с умом делать.

В ДОЛГОЙ ОБОРОНЕ

Край неба нежной, детской голубизны над линией горизонта — фронта.

Опушка обжитого в долгой обороне леса. Дом отдыха. Все в земле, отчасти на земле, но, по крайней мере, под ветвями густого, отяжеленного снегом леса.

И здесь все, что должно быть в курортном заведении: ванна, душ, чистое постельное белье, теплая уборная. Но все иное, чем в бывалой, мирной жизни, на всем признаки фронта, сурового «временного» времени и необычной обстановки.

Дрова жгут, совершенно не думая о том, сколько их уходит. Стены и потолки полуподземных «палат» из нескобленых еловых бревен с накипевшей от печной жары смолой на сучках и затесах. Двери, если они не из теса, который просыхал уже в качестве дверей, то это принадлежность какой-нибудь старой избы, которой наверняка уже нет, и нет тех людей, что в ней жили. Вообще остатки наземной жизни, того, что было на месте нынешних пепелищ, нынешней безлюдной и неприютной пустыни, ушли в землю — в блиндажи, землянки. Вдруг там видишь какой-нибудь подсвечник, письменный прибор, старинную лампу с абажуром.

Здесь так долго стоят в обороне, что уже завели собак, кошек, кур и прочую домашнюю живность. Водка подается не как прежде, в обындевелых бутылках, из-под стола, а домашняя, в графинчике, настоянная на мандариновых корочках.

То, что характерно в обстановке быта начальства, заметно и в быту вообще всей дивизии. Котлы кухонь напрочно вмазаны, землянки обшиты досками либо обставлены,— кажется, что так и сидеть до победного конца.

В этом «сидении» люди живут уже больше воспоминаниями о боевых действиях, чем нынешним днем.

И эти действия в собственном представлении людей становятся все значительнее, все ярче. Тишина рассла-

била нервы. Появление неприятельского самолета-разведчика прерывает разговор о блиндаже.

— Адъютант, давай узнай, чего он там летает. Ох, засек он нас, должно быть, Николай Трофимыч, а?

— Молчите, Василий Федорович! Я и то думаю: давно засек. Того и жди, что даст жизни. А что у нас сегодня?

— Драники со сметаной, Николай Трофимыч, ваши любимые.

— О-о!

Козырек, из-под которого глядит за немцами наблюдатель, устроен в нежилом блиндаже, полуобрушенном прямым попаданием снаряда. Накат не разворочен полностью, как бы прорублен огромным копытом — цельные бревна отхвачены полукругом. Наблюдатель примостился как бы на чердаке бывшего блиндажа. Немцы в ста двадцати — ста пятидесяти метрах. Из-под козырька видно: снежные валы, как у нас, дымки снега из-за валов вспархивают — чистят траншеи...

За спиной наблюдателя в ста метрах населенный блиндаж — боевое охранение.

— Так и сидите?

— Так и сидим. Снег сторожим.

Все это говорится как бы в насмешку над самим собой и даже в осуждение. Такова действительность долгой молчаливой обороны. Начнись что-нибудь с любой стороны — сразу иное дело: война.

* * *

Командир взвода противотанковых ружей, лейтенант, красавец, щеголь и храбрец, в валенках, голенища которых вывернуты каким-то особенно лихим манером, в темно-синих «повседневных» брюках поверх ватных штанов.

Во взводе порядок образцовый. Бронебойщики точно связаны какой-то порукой за честь своего командира. При появлении командира дивизии ни суеты, ни растерянности — боевой трепет, лихость рапортов, краткость и четкость ответов на вопросы. Угрожаемые направления, ориентиры для стрельбы, расчет расстояний и т. д.— все назубок. Полковник как бы даже недоволен, что не к чему придраться. Строжайше, наставительно направляет указательный палец на снег, источенный ржавыми щелями, возле землянки командира взвода:

— Этого не делать.

— Есть не делать, товарищ полковник.— А в умных и быстрых глазах красавца лейтенанта все, кроме полковника, а может быть, и сам полковник, могли видеть: «Ничего ты мне не сделаешь, потому что ценишь меня и знаешь, как я воюю, и уверен во мне, и любишь меня. А что я помочился в снег возле землянки, так нельзя же это принимать всерьез за большую провинность. В крайнем же случае, если ты и вправду думаешь придавать этому такое значение, я могу отойти и чуть подальше, меня не убудет».

* * *

Повар тащил командиру полка обед на наблюдательный пункт, куда уже было очень затруднительно добираться из-за огня. Принес, а там «окоп, как люлька, ходит». Вскоре и связь прекратилась, и, может быть, немцы обошли с флангов, и огонь такой плотности, что надеяться не на что. Только ждать того удара, которого уже не услышишь. Какой там обед!

Идут минуты, часы, а повар, улучив минутку между разрывами, повторяет:

— Покушайте, пожалуйста. Ну, хоть компоту выпейте...

ЗА ВЯЗЬМОЙ

За Вязьмой — подорванные мосты, мостики, виадуки, котлованы. Глыбы мерзлой земли, вывороченные силой взрыва, но не раздробленные, напоминают глыбы горных пород где-нибудь на Крымском побережье. По сторонам дороги обтаявшие, точно вымытые, отчетливо черные или цветные кузова машин, ржавые остовы, «рамы». Они провели здесь две зимы — памятники осени 1941 года. Объезды, попытки вырваться из пробок в открытое поле, рассредоточение от бомбежек — все это раскидало машины в жутком и причудливом беспорядке. Говорят, из них многие «почти на ходу». Родилась даже легенда о шофере автобата, оставленном своим командиром, где-то здесь, в лесу, с полсотней машин и сохранившем их до прихода наших войск. «Машины в порядке. А еще доложу, что я здесь женился, так что жена мне помогала по уходу». И уж кем-то добавлено к анекдоту, что, покамест шофер докладывал по форме о сохранности автоколонны, наши автобатчики увели у него три машины.

* * *

Жители деревень, проведшие здесь два этих года, привыкли к мысли о том, что хата будет спалена, что их могут угнать в Германию, убить. И житейски готовились ко всему, заботились о жизни, не своей — так своих близких, не сегодняшней — так завтрашней, возможной, предположительной.

К пожару, например, готовились так: не вызывая у немцев особых подозрений, вынимали и выносили из избы дощатые или тесовые перегородки, «забывали» осенью вставить рамы-вторички, вытаскивали из стен, в которых жили, какой-нибудь гвоздь, крючок и т. п. И все это прятали, относя, например, доски куда-нибудь к погребу, как будто для порядка. И закапывали, закапывали, вверяли родной земле хлеб, пожитки — в подполье, в хлеву, в лесу. Это на случай оставления родных мест, и в надежде на возвращение в конце концов, и с заботой о том, чтобы хоть что-нибудь найти здесь для обзаведения домом, для жизни сначала.

На случай угона в Германию или на работы, в лагеря заключения, в неизвестные места сушили сухари, готовили одежду, чтоб и в глаза не бросалась, не соблазняла конвойного и чтоб все-таки была попрочнее в носке, поспособнее в пешем пути невольника.

Но было и другое.

— Давно, отец, строил эту хату?

— По осени,— отвечает нарочито расслабленным голосом, через кашель, с усилием.— Старую партизаны сожгли. Тут бои были. Ну, так потом дали мне курятничек колхозный.

— Кто дал?

— А кто? Кто тут за власть был. Дали курятничек — из него и приладил хату.

И прячет глаза, чувствует, что тебе все ясно. Строить новую хату мог тот, кто жить собирался, не рассчитывая на наш приход и изгнание немцев.

ДЕТИ И ВОЙНА

С младенческих лет осталось в душе чарующее и таинственное впечатление от стен родной хаты, оклеенных какими-либо картинками, газетами, оберточной бумагой. Помнится, например, какая-то рекламная картинка, как я это теперь могу назвать: женщина в длинной юбке с

хвостом, держащая в руках какую-то большую букву,— кажется, это был крендель. У нас, детей, это называлось: «Барыня букву съела». Потом шли годы и годы и ложились на стены той же избы другими газетными листами, книжными страницами, плакатами. По этим слоям на стенах иного дома можно было бы писать историю всех этих лет — от картинок 1915 года: русский солдат в шапке тех времен управляется с тремя немцами,— до фотоснимков нынешней войны. Занятно, странно и страшно видеть стены русской избы на Смоленщине в обоях из немецких газет, страниц иллюстрированных журналов, плакатов. Каким сложным впечатлениям подвержена душа ребенка, глядящего на эти картинки!

Дети и война — нет более ужасного сближения противоположных вещей на свете.

Мальчик трех лет, по-немецки благодарящий нашего офицера за хлеб: «Данке шён».

Мальчик лет двенадцати, в больших, широких, как ведра, немецких сапогах, подбитых гвоздями-шурупами, с блестящими круглыми шляпками.

Мальчик, везущий на детских санках мать, тяжело раненную, когда шел бой за их деревню.

Девочка с ребенком на руках и с двумя меньшими обапол себя, у трупа матери. Меньшие плачут. Маленький на руках плачет, видя, что все плачут.

— Нельзя ли было гарнизонам блокированных деревень предлагать сдаваться?

— Можно, почему ж.

— Но трудно, что ли, по техническим условиям?

— А что трудного! Возьми белую тряпку на палку и иди с ординарцем — всякий командир взвода мог.

— Ну, и ходили?

— Ходили, да некогда было ходить. Бой.

* * *

Старший лейтенант Костиков Митрофан Петрович, из донских казаков, рабочий, с очень мужественным лицом, когда не улыбается. А улыбка застенчивая, трогательная. Из любящих воевать. Ему бы еще коня, был бы вполне счастлив. Рассказывают, как двое суток лежал в снегу при штурме деревушки Старые Мельницы.

Подползает капитан:

— Замерз?

Неловко согласиться, маленький я, что ли? Однако говорю откровенно:

— Замерз.

— Связной, отдай ему все, что есть во фляге.

Было там граммов семьдесят. Выпил, закусил сухарем со снегом и еще лежал с полсуток.

* * *

Утро. Весенний и чистый и легкий морозец, подсушивший улицу, подворье с вытаявшим зимним навозом, сенцом,— как на дороге. Шофер, сидя на подножке машины, завтракает. Поздоровались. Кивает головой, продолжая хлебать из котелка, на березку со скворечницей:

— Скворец прилетел, понимаете. С воробьями из-за квартиры ссорится. Думает, домой прилетел, а тут еще черт те что! Ну, однако, освободили его территорию.

И действительно, не хочется верить, что скворцы сюда прилетали и в прошлую весну и прилетели бы нынче, хоть бы и не было нас здесь.

«НЕСЧАСТНАЯ КОЛОННА»

Спас-Деменск. Одноэтажный деревянный дом на Советской улице, переименованной немцами в Гауптштрассе. В комнатах узкие нары в два яруса, с высокими дощатыми бортами, более всего похожие на гробы. Тесно, как в купе вагона.

«Здесь жила несчастная колонна,— написано на белой голландской печи, высоко вверху, на уровне второго яруса нар.— Дорогие бойцы, скорее освобождайте нас...»

Кажется, что это помещение пустует уже давно и неясные, кое-как в спешке нацарапанные записки как будто уже поистерлись от времени. Но обитательницы этой тюрьмы-казармы покинули ее только за день до вступления в город наших войск. Солома из матрацев, вытряхнутая на пол, мусор, убогие обрывки тряпья...

Здесь они жили, вернее сказать — спали положенные для отдыха часы тяжелым сном пленниц. Маленький деревянный городок на Смоленщине был для них дальней чужбиной, неметчиной, каторжным местом. Приткнутый высоко под потолком, над койкой-гробом, высохший пучок полевых цветов, собранных, может быть, украдкой по пути на работу или с работы, напоминал здесь о родных полях как о чем-то далеком, лежащем за тридевять

земель. И оттого, что на самом деле эти поля лежали совсем неподалеку, было, пожалуй, еще горше.

На полу, в мусоре, я подобрал одно письмо в самодельном, непроштемпелеванном конверте. Пишет Мария Орлова к подруге, такой же пленнице, только другой колонны.

«Теперь нас гоняют на работу к самому фронту, и мы работаем совсем рядом со своими, и они, родненькие, нас видят. Как подъезжаем, так дух замирает: хоть издали посмотреть на родную сторонушку, где стоят наши герои. Только смотреть нам не позволяется... А трудно так, что пока норму выработаешь, так и в глазах потемнеет, не знаешь, как до койки дойти».

Другое письмо, подобранное там же нашими бойцами и попавшее в мои руки в политотделе дивизии:

«Дорогие бойцы и командиры Красной Армии! Это темкинские девушки пишут вам. Мы уверены, что вы освободите нас от этого ига. Мы очень плакали, когда уезжали отсюда...»

Одна из надписей на печке была адресом, по которому наши бойцы разыскали в саду этого дома письмо, спрятанное там Антониной Архиповой.

«Здравствуйте, дорогие, давно не виданные родители, тятенька и маменька, от любящей дочери Тони. Дорогие родители, пишу я вам письмо, но не знаю, попадет оно вам или нет. Дорогая мамочка, будет ли нам с тобой встреча? Шесть месяцев, как нас отняли от вас. Шурика от меня отогнали на второй день Пасхи, и не знаю куда, и с тех пор я его не видала. Дорогие родители, пока мы еще живы и живем вместе с грядецкими и овсянниковскими девками. Решили написать мы вам письмо и оставить в Спасе, как придут наши — может быть, пошлют. А нас немцы не бросают, ведут дальше с собой, и не знаем куда. Дорогая мамочка, если бы у меня крылышки были, прилетела бы к вам хоть на одну минуточку — и тогда бы согласна умереть. Прощайте, прощайте, дорогие родные. Мамочка, передай привет всем, кого я знаю. Дорогие соколы, братья, отцы и сестры, прошу я вас, передайте это письмо, сообщите, пожалуйста, родным о нашей судьбе...»

* * *

По сторонам фронтовых дорог большими вольными толпами идут темкинские, знаменские, всходские, девушки и женщины из немецкого плена. Это люди отборного ра-

бочего возраста, который так редок в деревнях и селах, разоренных немцами. Они еще не привыкли к тому, что идут без конвоя, что могут громко разговаривать, отдыхать по пути, где вздумается. Чувство этой свободы еще безраздельно владеет ими. Они еще не знают, что ждет их в родных местах, живы ли их отцы, матери, дети, с которыми их разлучили весной этого года. Они по-праздничному оживленны, разговорчивы, хотя ничего праздничного нет в их одежде с засохшими мазками глины, в их котомках и «хотулях» за плечами.

Их рассказы о том, как и где их застала свобода, схожи и уже приобретают веселый и отчасти залихватский тон. Чаще всего речь идет о бомбежке, от которой разбежался конвой, а конвоируемые пошли навстречу своим, «русским», как привыкли они говорить. А то и вовсе дело доходило до того, что колонна, чуя близость фронта, отказывалась идти дальше на запад. Обычно это происходило в лесу, где конвой чувствовал себя менее уверенным.

— «Не пойдем и не пойдем»,— говорим. Он и так и этак, а мы: «Не пойдем». Стрелять не решился. Махнул рукой, пошел сам со своим автоматом. Отошел подальше, оглянулся да как ударится в бег — животики надорвать...

НА РОДНЫХ ПЕПЕЛИЩАХ

Это была та самая дорога, по которой я в детстве ездил с отцом в Смоленск,— ельнинский большак с березами по обочинам. Березы эти, сколько я их помню, всегда были стары, дуплисты, многие с высохшими ветвями нижних сучьев. От войны их уцелело мало — изредка сухой, безобразный пень сраженного снарядом дерева либо огромный выворот рядом с воронкой, ствол, гниющий на земле...

Обезображена, изуродована вся моя родная местность. Нет сил и действительно нет слов, чтобы рассказать об этом по живому впечатлению. Каждый километр пути, каждая деревушка, перелесок, речка — все это для человека, здесь родившегося и проведшего первые годы юности, свято особой, кровной святостью. Все это часть его собственной жизни, что-то глубоко внутреннее и бесконечно дорогое. И видеть все это таким, каким оно выглядит после немцев,— это почти физическая боль. А рассказывать о виденном в оборотах литературного письма

кажется кощунством, хоть и не избежать этих оборотов.

Село Язвино на пути от Ельни к Смоленску. В моей метрической справке означено, что она выдана на основании записи о крещении в книге Язвинской церкви. Здесь, за речкой, в старом парке, у самого большака, стояло здание больницы. В Язвине мы проводили кустовые, как они тогда назывались, комсомольские собрания окрестных организаций, и столько там было молодости, волнения и песен, из которых многие уже не поются, но и сейчас тронули бы душу напоминанием о юности. Язвино сожжено. Нет церкви, нет школы. А в порубленном больничном парке я с недоумением увидел белеющее свежими, еще не потемневшими бревнами какое-то новое здание под старой, совсем прохудившейся железной крышей. Это была та самая больница, куда меня маленьким мать носила к доктору. Здание было попросту ободрано немцами. Они в нем жили и топили тесовой обшивкой, чтобы не ходить далеко за дровами. В одной из палат на полу женщина, раненная в ногу. Возле нее тихие мальчик и девочка лет по девяти-десяти.

Ляхово, памятное мне тремя годами обучения в начальной школе и ярмарками на Духов день, полностью сожжено немцами летом 1942 года. Сожжено с людьми. В огне погибло около двухсот жителей, главным образом женщин и детей. Это была расправа карателей за помощь партизанам, для которых ляховские женщины выпекали хлеб и шили белье. Ляхово — село старинное, известное в истории Отечественной войны 1812 года как один из важных пунктов тогдашних партизанских действий. О нем, в частности, говорит Денис Давыдов в своих записках. Само название села позволяет отнести его возникновение к еще более давним временам. Но не эти соображения занимали душу, когда я видел ляховские пепелища,— другое...

Родное Загорье. Только немногим жителям здесь удалось избежать расстрела или сожжения. Местность так одичала и так непривычно выглядит, что я не узнал даже пепелище отцовского дома. Ни деревца, ни сада, ни кирпичика или столбика от построек — все занесено дурной, высокой, как конопля, травой, что обычно растет на заброшенных пепелищах. Никаких родных мест, никаких впечатлений, примет, узнавания. Только война с ее харак-

терными приметами и чертами, присущими ей всюду, где я ее видел.

Когда-то приехал человек в город, где год назад сам похоронил ребенка-сына, и, к стыду, горю и страшному для себя еще какому-то чувству, не нашел на кладбище его могилки. На кладбище, где он столько гулял, бывал, выпивал,— словом, знал его, как садик при доме.

Что-то подобное испытал я, когда не смог «на местности», как говорят военные люди, на местности, поросшей всякой дрянью запустения, найти место, где был наш двор и сад, где росли деревья, посаженные отцом и мною самим. Не нашел вообще ни одной приметы того клочка земли, который, закрыв глаза, могу представить себе весь до пятнышка и с которым связано все лучшее, что есть во мне. Более того — это сам я как личность. Эта связь всегда была дорога для меня и даже томительна.

Если так стерто и уничтожено все то, что отмечало и означало мое пребывание на земле, что как-то выражало меня, то я становлюсь вдруг свободен от чего-то и ненужен. Но потом подумаешь и так: именно поэтому я должен жить и делать свое дело. Никто, кроме меня, не воспроизведет того неповторимого и сошедшего с лица земли малого мира, мирка, который был и теперь есть для меня, когда ничего от него не осталось.

* * *

Войска идут в осенней пронизывающей мгле дождей, которые застают людей не под крышей — в шалашах или землянках,— а на марше, в бою, в непрерывном движении, тяжком, но радостном и даже спасительном при такой промозглой погоде. Солдат сушит одежду на себе, на ходу разминает тело, не дает закоченеть ногам в ботинках, в вязкой, подзолистой грязи смоленских дорог, и все дымится на нем... Кажется, вся беспримерная сила, бодрость и выносливость русского воина на походе и в бою явились нынче в людях, неустанно преследующих врага на путях, отмеченных древней славой побед над захватчиками-иноземцами.

Нынешняя слава не уступает прежней. Части войск, с которыми я шел несколько дней, уже повернули влево с большака, перерезали железную дорогу Рославль — Смоленск, перерезали шоссе того же направления и вышли к другому большаку, отрезая Смоленск.

А сегодня рано утром меня позвали к генералу.

Он вышел ко мне навстречу, протягивая обе руки, и сказал:

— Поздравляю вас с освобождением вашего родного города...

* * *

Уголок деревенского огорода с молодой вербочкой у изгороди, с опрятными грядками, густо заросшими ботвой бурачков и моркови, с желтыми осенними цветами на затравеневших клумбах под окошком избы. Я никогда не испытывал такой тоскливой боли при виде разорения и уродства, как при виде этой сохранности, этого милого уголка. Потому что это такая редкость, такая случайность среди повсеместного разорения и уродства.

* * *

Бой шел на огородах уже сожженной деревни... Жители в ямах. Обстрел. С десяток наших бойцов отбивали контратаки, уже многие ранены, положение почти безнадежное. Бабы и дети в голос ревут, прощаясь с жизнью. И молоденький лейтенант, весь в поту, в саже и в крови, без пилотки, то и дело повторял с предупредительностью человека, который отвечает за наведение порядка:

— Минуточку, мамаша, сейчас освободим, одну минуточку, сейчас будет полный порядок. Минуточку...

* * *

Печка с железной трубой, выведенной куда-то в стену комнаты с заржавевшей батареей центрального отопления, печка, которую топил две зимы какой-то немец. Топлю ее непрерывно весь день. Привык, что, покуда она воркует, у меня идет работа, а чуть догорит — стоп...

Как закурить новую папироску, кидаешься вновь ее растоплять, и опять она воркует. И порой такое сладкое ощущение обретенного ненадолго рабочего уюта, что боязно слишком любоваться этим: вдруг все и пропадет...

Двенадцатый час ночи, поет печка. За наружной стеной этого одинокого среди холодных развалин дома с утра не утихает дикая, древняя, допетровская русская вьюга. За внутренней стеной спят старики, мыча, стеная и что-то жалостно бормоча от своих деревенских, беженских, трудных, как сама жизнь, снов.

«СУПЧИКУ ХОЧЕТСЯ»

Поездка под Витебск,— черный снег на переднем крае, перебитый, перемешанный с глубоко промерзшей землей.

Один наш танк, застрявший на ничейной земле вблизи немецких окопов, стоял там уже суток пятнадцать. Стоял и теперь, когда мы жили в штабе бригады. Расстрелять танк в упор, подойти к нему мешала самоходкам противника наша артиллерия.

Пехоту экипаж отражал своим огнем. По ночам ребята наладились поодиночке приползать за боеприпасами и провизией домой, в бригаду. Я не видел ни одного, но рассказывают, что они стали совсем черные, как негры, только зубы сверкают. Они стряпали и варили в машине, жгли автол, открывая замок орудия и выпуская дым через ствол...

— Как вы еще можете там о вареве думать? — спросили одного из них.

— Знаете,— говорит,— сухомятка все-таки не еда. Супчику хочется...

Мы все еще объясняем скудость и сухость наших писаний исключительностью военной обстановки. А надо полагать, что при этой именно исключительности нельзя жить сухомяткой.

* * *

Собрать бы записанные и не записанные, подслушанные и слышанные на войне анекдоты, диалоги, рассказы и легенды. Это, может быть, получилось бы самое то, что покамест можно.

Кое-что из этого ряда устной поэзии на войне и о войне.

Анекдот.

Выпивший командир артдивизиона направляется весенней ночью на одну из своих батарей в сопровождении кого-то из офицеров штаба. На батарее тишина, и в кустах над пушками поет соловей. Он поет здесь уже не первую ночь — так уж ему полюбилась эта батарея,— и батарея уже знаменита в дивизионе своим замечательным соловьем.

— Как? — послушав соловьиное пение, говорит командир дивизиона.— На батарее поет, а у меня не поет? Кучеренко, перебазировать птицу на мой КП! Пусть поет где полагается.

— Есть, товарищ капитан. Будет сделано.

Следуют комические подробности попыток перебазировать соловья на КП начальства. Его гоняют, пугают, отманивают с батареи, в конце концов он передислоцируется в неизвестном направлении. Батарея лишается певца, но так и не удалось организовать обслуживание КП дивизиона соловьиным пеньем...

Современная притча либо сказка.

Один из читателей «Теркина» пишет мне:

«Я слышал на фронте рассказ о Васе Теркине, которого не читал в Вашей поэме. Может быть, он Вас интересует. На одном участке Вася взял в плен немецкого офицера. Им предстояло перебраться на другой берег реки, и в ожидании переправы фашист стал хвастаться немецкой техникой. В доказательство он взял в рот папиросу и зажег зажигалку, пытаясь прикурить, приговаривая: «Вот это техника». Тогда Вася внезапно задул ему огонь. И, свернув себе добрую цигарку, он достал трут и кремень и, мгновенно выбив искру, поднес трут к носу фрица, говоря: «Я твою технику победил, победи ты теперь мою». Как фриц ни дул, трут только сильнее разгорался. Может, это для Вашей поэмы не подходит, тогда простите меня, что помешал Вам, но на фронте этот рассказ пользуется огромной популярностью.

С приветом

К. Зарин.

г. Вышний Волочек, Московское шоссе, д. 5».

* * *

Полумеханическая работа переписывания главы о возвращении героя в родные места привела, как почти всегда случалось, к параллельной работе мысли над чем-то другим. Родилась затея, которая, если только не «перегреть» ее в себе, делает выгодным сегодняшнее трудное мое положение, отрыв от настоящей работы и т. п. «Поездка в Загорье» — повесть не повесть, дневник не дневник, а нечто такое, в чем явятся три-четыре слоя разнообразных впечатлений — от детства до вступления на родные пепелища с войсками в 1943 году и до нынешней весны, когда я, может быть, совершу эту поездку на несколько дней. Речь будет идти как бы о последнем, но вместе и прошлогоднем посещении, и о приезде в 1940 году, и о приезде первом, в 1930 или 1939 году, и о житье тамошнем в детстве и ранней юности. Предчувствуется

большая емкость такого рода прозы. Чего-чего не вспомнить, не скрестить и не увязать при таком плане! Дело только в том, чтоб, говоря как будто про себя, говорить очень не «про себя», а про самое главное. Худо, когда наоборот.

ЗА СМОЛЕНСКОМ

Четвертый день здесь, в комнатке из грязных досок, под крышей-потолком стандартного немецкого дома-барака. Погода все это время холодная, ветреная, унылая, как только может быть уныла весенняя непогодь. Может быть, влияние погоды на душу незаметнее и сильнее, чем обычно нам кажется, и все сильнее с возрастом. Сегодня потеплело, и впервые за эти дни стало «отлегать» от души тяжелое...

Теперь эта местность — тылы армий и фронта — выглядит еще унылее, разореннее и печальнее, чем она выглядела зимой. Деревня без населения. Стояли войска, потом ушли, долго оставался регулировщик на перекрестке, потом и он ушел. Остались дворы, невскопанные огороды,— людей, которые жили здесь прежде и которые впредь будут жить здесь, еще нет.

* * *

Снайперы. Русаков, мальчишка из-под Москвы, успевший за войну побывать под немцами, подрасти до призывного возраста, призваться, обучиться и уже наслужиться — два ордена и медаль.

Шаркеев, казах, 1923 года рождения, тоже в орденах, убил сто немцев. Русаков — сто одного. По этому поводу их фотографировали и «записывали», что уже, по-видимому, им не впервой. Говорят, явно заимствуя обороты и выражения из очерков, написанных о них раньше! «Нелегко убить человека, который наделен органами чувств, психикой, сознанием, как и всякий живой человек. Мы не убийцы. Но стоит вспомнить, что этот человек — немец, разоривший твою землю...» Или: «Что нужно для того, чтобы стать отличным снайпером? Во-первых, горячая ненависть к врагу...» и т. д. Цифры 100 и 101, конечно, не абсолютно точны. Но от этого значительность боевой работы этих ребят не снижается. Допустим, что 50 и 51 или 34 и 48. Все равно. Надо помнить, где и как!

* * *

Последняя поездка, при всей скудости интересных и новых, по существу, впечатлений, оказалась, как я и хотел, хорошей встряской обленившейся, отыловевшей души. Покуда стреляют и убивают, покуда идут и едут туда, стыдно говорить и думать об усталости, об «условиях работы». «Оттуда» мне вновь показались эти условия заманчиво привилегированными, такими, которые нужно, не теряя ни часа времени, полностью использовать для дела.

Надо бы сделать записи о природе-погоде, об умерших в сороковом году садах как черном предзнаменовании войны, у которой столько уже периодов, этапов, полос, слоев, начиная с финской зимы... Но трудно, невозможно чем-либо заняться посторонним тому, что нужно делать неотложно и что еще никак не начало удаваться.

Когда-то мне казалось недостижимым делом уметь выступить с докладом, «провести беседу», председательствовать на большом собрании и не сбиться в принятом порядке его ведения. Едва прикоснувшись к практике этого дела, вижу, что все это — например, выступление с речью, «проведение беседы» — совершенные пустяки по сравнению с работой. В первом случае достаточно быть «как люди», во втором — только «как сам», со всем риском, трепетом и отвагой, какая нужна, чтобы довериться чему-то исключительно «твоему», зыбкому и как бы вовсе не существующему до некоей апробации. И тогда, как летчик в воздухе, если что у него случилось с машиной, можешь помочь себе только сам — никто на свете,— решить: продолжать ли полет или садиться на неизвестное поле, сулящее гибель или спасение.

Это подумалось после поездки с докладом о литературе к летчикам. Кстати, когда лишь улетел от них, узнал местность и сообразил, что полк этот стоит на Починковском аэродроме, в двенадцати — пятнадцати километрах от моего Загорья. А когда был там, не знал, не заметил и не догадался спросить, где это я нахожусь. Настолько привычны безразличие к местности, беспамятность, невнимательность, привившиеся за годы войны.

В ВИТЕБСКЕ

Витебск! У него своя, особая история возвращения в семью советских городов. Скаты и гребни холмов на подступах к нему в течение долгих месяцев несли на себе

тяжкий груз того, что называется линией фронта. Воронка в воронку, издолблена и исковеркана эта земля, вдоль и поперек изрыта, изрезана траншеями, захламлена ржавым, горелым и ломаным железом.

Надписи и даты, выведенные на скромных намогильных дощечках у дорог к Витебску,— напоминание о жестоких зимних боях за город. Немцы действительно обороняли его, не щадя ничего... И как бывает, что именно то, чего сердце ждало долго, напряженно и неутомимо, приходит вдруг, и радость застает тебя как бы врасплох.

Над городом небо к западу еще густо усыпано шапками разрывов зенитных снарядов и обволочено ржаво-темными космами и клочьями дымов. Земля еще привычно подрагивает от близкой пальбы.

Навстречу, по дороге на восток, от заставы тянется длинная и слишком ровная для обычного продвижения в такой близости от войны колонна. Пленные. Конвой — трое наших ребят с бровями, серыми от пыли.

— Сколько ведете?

— Сто сорок пять штук,— отвечает старший сержант. Губы обведены черной от пыли, пота и копоти кромкой. Глаза воспаленные, не спавшие, по крайней мере, сутки, счастливые.

— Кто взял?

— Я.

Это — военное «я», означающее не единоличность действия, а главенство, начальствование над силой, совершившей действие.

И, следуя за отдалившейся уже колонной, оборачивается и выкрикивает в другом, простецки веселом, «личном» тоне гордости и торжества:

— С музыкой пошло, товарищи! Гоним, мать его...

Глубоко в улицах города наши бойцы. Отчетливое «ура», бомбежка нашими самолетами окраины города, пулеметные очереди.

На одной стене красный флаг. Укреплен он наскоро, на ходу, и невысоко, может быть именно затем, чтобы всякий мог прочесть записку, приколотую к нему: «Майор Бублик». Это опять то самое неличное «я» военного языка. Это с волнением, гордостью, торжеством и вместе официальной, скупой точностью сказано:

«Я, майор Бублик, преследуя противника, первым

прошел по этой улице, а теперь я далеко впереди». (То есть я с моими бойцами.)

И такая негромкая, даже чуть-чуть смешливая фамилия в сочетании с серьезностью и боевой значительностью обстоятельств!

Витебск, 12 часов, 26 июня.

На выезде уже идут стороной дороги связисты, сматывая провода на катушки, движутся вперед штабы, тылы, все большое хозяйство наступающей армии.

Как три года назад, пыль дорог, грохот с неба и с земли, запах вянущей маскировки с запахом бензина и пороховых газов, тревожное и тоскливое гуденье машин у переправы и праздные луга и поля,— все, как три года назад.

Только наступаем, обгоняем и окружаем — мы!

* * *

Белоруссия, деревня Панская под Борисовом. У меня ни стола, ни койки, переезд за переездом, поездка за поездкой,— но на душе хорошо и свободно, может быть потому, что ничего серьезного не пишу и не могу спрашивать с себя.

Спал в сенях избы, выбегая раза два ночью на улицу смотреть, как палят зенитки, имея, впрочем, в виду глубокие, заготовленные немцами окопы на задворках. Но залезать не пришлось.

Думал лежа, думал и не мог додуматься, отчего мне так хорошо. Вернее всего — от ощущения близкого конца войны, от успеха, который сказывается физически.

Сейчас пишу эту страничку в жаркой, гудящей мухами, но чистой белорусской хате, раззанавешенной надвое плащ-палаткой. Здесь очень красивые потолки: матицы поперек, а не вдоль, как у нас обычно, и они не широкие, как доска, а балки, опиленные ровно с четырех сторон; потолочины — доска в доску, в меру закопченные, но, видимо, мытые. Пишу за столом, покрытым льняной домашней скатертью, не сильно беленной, суровой, как называют такой цвет и степень отделки полотна. Справа, у перегородки, пианино: неизвестно, кто на нем играет и играют ли. Слева койка полковника, и полковник на ней, в нижней рубашке и с полотенцем в руках от мух. Ему надо и хочется спать с дороги, но сон никак не идет во

взаимодействие с обороной от мух. Покамест он машет полотенцем — не спит, станет дремать, перестает махать полотенцем — мухи жгут...

На улице — куры, песчаная, пухлая пыль, колодец, вода из него удивительно чистая и холодная, но не резкая, мягкая — почти как дождевая.

И так мила эта сохранность деревни, жилья, живности, всего, что вокруг. В сущности, я уже в самой ранней юности очень любил все это: всякое дерево, живое и мертвое, всякую стреху, под которой в эту пору такая благостная, уютная тень и паутинки, всякое огородное, и садовое, и полевое растение и цветение.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В МИНСКЕ

Всего десять дней назад столица Белорусской республики была очень далека от нас. Не только в том смысле, что ее отделяли фронт, вторые, третьи и, может быть, десятые рубежи обороны немцев, но и в прямом смысле расстояния. Десять дней назад между нами и Минском лежали почти две с половиной сотни километров. Когда проезжаешь зараз эту дорогу, чувствуешь с особенной очевидностью, как велико пространство земли, отвоеванной в столь короткий срок.

Одно дело — Витебск, он долго стоял у самой линии фронта. Но — Минск! И вот он, Минск, конечная точка великой магистрали, носящей его имя. Вот он, Минск, в багровой осыпи обрушивающихся от огня зданий, в пыли дорог, стремительно запрудивших своим потоком его улицы, в тяжелых дымах и густой поволоке июльского зноя. Минск до того, как первый регулировщик займет в нем пост на перекрестке.

Сквозящие пустыми окнами стены, за которыми видна противоположная сторона неба, теснины, образовавшиеся в улицах от обвалившихся домов, зловеще ревущие пожары,— не слишком ли все это знакомо, не повторяет ли это скорбный день падения Минска, зажженного немцами три года назад?

Як ад роднай галінкі дубовы лісток адарваны,
Родны Мінск я пакінуў, нямецкай бамбёжкаю гнаны.

Эти горькие строки белорусского поэта, посвященные прощанию с городом в такие же знойные июльские дни, настойчиво подсказывает память в первые минуты встречи со столицей братской республики.

Не понять, где разрушения новые, где старые, трехлетней давности. Город вновь обезображен и изуродован немцами. Как будто рану, не зажившую за долгий срок, вновь разбередили, хлынула свежая кровь, свежие рубцы легли возле прежних, успевших, может быть, если не затянуться, то хоть обсохнуть по краям. И от этого больно, как от настоящей раны.

Но чем дальше в город, тем дальше от этого первого впечатления, вызвавшего в памяти и печальные строки Аркадия Кулешова об уходе из Минска, и сравнения этого дня с тем днем...

Нас обгоняют орудия, увешанные не столько увядшими ветками маскировки, сколько цветами, плетенками, букетами цветов, что успели уже минчане поднести своим освободителям. Население, сколько его есть в городе, все от мала до велика на ногах. Лица такие, как будто каждый человек встречает своего самого близкого — мужа, сына, жениха, отца — после долгой и уже почти безнадежной разлуки.

С волнением, которому мало слез, мало слов, бросаются толпы девушек и женщин к приостановившемуся на перекрестке танку с пехотой на броне или грузовику с откинутым брезентом.

— Сыночки, родные наши...

— Сыночки! Знали б вы, сколько мы ждали вас...

— Хлопцы, хлопцы! — силится пробиться поближе к машине старик с обгоревшими бровями, надеясь, должно быть, что ему удастся рассказать все спокойно и дельно: и как жилось при немцах, и как убили его сына, ушедшего в партизаны, и где были виселицы... Но сбивается и он, едва можно разобрать его непередаваемое, из такой глубины пережитого горя и обретенной радости идущее, доброе, стариковское: — Хлопцы...

— Хай живе! — прерывает всех громкий голос, который, может быть, так вот звучал в Минске в былые годы в дни больших празднеств, в колоннах, проходивших мимо Дома правительства.

— Хай живе!

— Бывайте здоровы, сыночки! — несется вслед ра-

нувшемуся вперед танку, что идет туда, за город, где уже едва слышны гул и глухие вздохи боя.

Машут платками, руками, красными флажками, неизвестно откуда взявшимися, машут девушки, держась парами, либо по трое, либо целыми стайками, счастливыми и радостными, как в праздник. Машут пожилые женщины, ребята, старые люди. Самозабвенно машет крошечный мальчик левой рукой — правая у него перевязана белым бинтом.

— Ура-а!..— слышится, перекатывается из улицы в улицу, из квартала в квартал под грохот гусениц по булыжнику, под выстрелы советских зениток, уже взявших минское небо под свой контроль.

Люди буквально не могут еще прийти в себя.

— Наши! Неужели это вы пришли?! А мы уже ждем, ждем... Вот уже и близко палят пушки, слышим...

— Водички! Кому холодной водички? Попей-ка, сынок,— чем богата, тем и рада.— Это старушка, расположившаяся со своим ведерком на тротуаре, усыпанном белой остью битого стекла.

— Молочка! Молочка! — Руки с бутылками молока среди рук с цветами, с пустяковыми и жалостными порой, но трогательными без конца гостинцами и подношениями на добрый белорусский манер.

Воспаленные от пыли и трудного, бессонного марша, глаза воинов блестят так же растроганно, как и у тех, что приветствуют их.

В город незаметно, но быстро входит порядок: уже есть адрес комендатуры, регулировщики, заставы из молодых парней, подобравших немецкие винтовки и вылавливающих последних немцев, что притаились в закоулках города...

Первый советский день Минска, наступивший после более чем трехлетней ночи, в разгаре.

СЕРДЦЕ НАРОДА

Мы в глубине Белоруссии. Позади Минск — столица республики, центр белорусской культуры, город Янки Купалы.

Но этот Минск со своими развалинами, с картофельными грядками на пепелищах 1941 года, с дзотами на перекрестках улиц, и немецкими табличками и указателями, Минск, обезображенный и искалеченный, сегодня

мало чем отличается от любого другого большого нашего города, что побывал под немцами.

Придет время, город оживет, отстроится и встанет, как и вся Беларусь, в своей своеобразной красоте, поруганной, но не умерщвленной. Нельзя у народа отнять его творческий дар, его неиссякаемую созидательную силу в мирном труде, его непреклонность в суровой борьбе, его способность в любых испытаниях выражать по-своему свою бессмертную душу.

Вряд ли найдется человек в нашей стране, что не знал бы чудесной застольной песни:

Будьте здоровы,
Живите богато...

Но мы знаем ее в русском переводе, а песня это белорусская, народная, появившаяся в первые годы колхозной зажиточности и приобретшая затем повсеместное признание.

Одна эта песня, которую больно было услыхать в дни, когда вся белорусская земля лежала за чертой фронта, одна эта простая, задушевная и шуточно-ласковая песня — лучшее свидетельство красоты земли и народа, населяющего ее, народа с щедрым, честным и веселым сердцем.

Это то самое сердце, что крепло и навсегда доверилось правде, которую первым провозгласил великий русский народ. То самое сердце, что преисполнилось гнева и мужества в горьчайшую годину немецкого нашествия,— в нем не нашли места малые чувства. Не забудем, что партизанская война белорусов против немцев была образцом по своей ожесточенности и неугасимости. Она причинила захватчикам много серьезных хлопот, вплоть до введения в дело регулярных дивизий с артиллерией, танками и авиацией.

Придет время, все уточнится и сочтется в балансе полной победы, но и теперь можно сказать, что борьба белорусских партизан против оккупантов в период нынешней Отечественной войны составит гордые и поучительные для потомства страницы истории этого народа.

На долю его всегда выпадало первым встречать непрошеных пришельцев с запада, первым терпеть бедствия и муки от вторжения чужеземных войск. Избавление всегда приходило с востока, будь то в наши дни, или в недавнее время войны с интервентами, или в начале про-

шлого века, в Отечественную войну 1812 года, или в иные времена.

Развившийся в горькой нужде, среди суровой природы и наконец начавший жить по-человечески, белорусский народ в этой войне оценил самой высокой и благородной ценой все, что ему дала Советская власть и колхозный строй,— стал сражаться за них, за свое право идти вперед по пути, избранному бесповоротно.

Вот о чем говорит славная довоенная песня «Будьте здоровы». В незатейливо-шуточной форме пожелания гостям, уезжающим с колхозной пирушки, выразила она и сыновнюю любовь к родному краю, и радость свободного труда на свободной земле, и уверенность людей в своем будущем.

В сокровищнице белорусского фольклора есть и другие прекрасные песни, созданные в разное время и также известные и любимые далеко за пределами этой республики. Взять, например, нежную и трогательную «Перепелочку» или ухарски озорную национальную плясовую «Лявониху». В них легко узнается богатое сердце народа, с ласковой нежностью, с простодушной веселостью и озорной лихостью.

Белорусы вообще народ глубоко поэтический. Каждый город, каждая река, протекающая по их земле, наделены осмысленным, легендарным происхождением.

Много людей нашей армии на своем боевом пути должны были встретить Сож и Днепр, биться на них и пролить кровь. Они вряд ли знали белорусскую сказку об этих реках-братьях, по которой Днепр приобрел первенство благодаря решимости и отваге в преодолении преград на своем пути, а Сож, петлявший по низинам и болотам, выбиравший места, чтоб обойти брата, просчитавшись, врезался в русло Днепра и стал его притоком.

Пройдут годы, и народная фантазия непременно свяжет с памятными местами боев за освобождение Белоруссии и историческими именами свои легенды, сказания и песни. Так же будет награждена и память освободителей города Могилева, о происхождении которого, на основе устного предания, рассказал в своей поэме «Могила Льва» Янка Купала, и память освободителей Минска и других городов Белоруссии.

Народный поэт Белоруссии Янка Купала умер недавно, в эвакуации. В Минске, среди больших и малых

пожарищ первого и четвертого годов войны, сейчас не вдруг и найдешь пепелище скромного домика Купалы, который минчане с гордостью, бывало, показывали приезжающим:

— Здесь живет наш Янка...

Ни физическая смерть поэта, ни варварское уничтожение дома, в стенах которого он творил свои песни, не лишили белорусский народ богатства его поэзии. Популярность Янки Купалы огромна. Лирик по складу своего замечательного таланта, певец Белоруссии, выразивший сердце ее с необычайной силой, он всем своим поэтическим существом как бы символизировал творческую мощь народа.

Еще при жизни поэта распевалась песня о нем, написанная им самим:

Як на свет радзіўся Янка...

Он так глубоко запал в душу народа, был уже такой неотъемлемой частью его живой жизни, что в глазах народа, как и в собственных глазах, стал объектом поэтического изображения, или, проще сказать, песенник стал песней.

Надутые и невежественные немцы-фашисты поначалу не склонны были считаться с особыми чертами национального характера советских народов, с такими будто бы малозначащими вещами, как их язык, культура, поэзия, в которых бьется сердце народа, живет его любовь к свободе и независимости. И они просчитались,— приходит час тяжкой расплаты.

В дни войны была написана еще молодым, но уже известным и замечательным по дарованию другим белорусским лириком — Аркадием Кулешовым — поэма «Знамя бригады».

Сам фронтовик, прошедший весь горестный путь нашего отступления от западных границ до предместий Москвы, видевший своими глазами страшные бедствия, выпавшие на долю краев и городов его родной Белоруссии, поэт просто и потрясающе рассказал об этом в своей поэме.

Речь в ней идет о том, как боец-белорус Алесь Рыбка в первое лето войны вместе с немногими уцелевшими людьми окруженной и атакуемой немцами бригады пробирается к своим, на восток, вынося спасенное им знамя бригады — символ ее возрождения для новых боев за сво-

боду Родины. Алесь Рыбка идет знакомыми с детства краями, по пути лежат его деревня и дом, где остались жена и дети. Ему до страшной боли хочется зайти к своим, обнять их, проститься, может быть, навсегда, ибо он знает, что впереди еще долгая и полная трудов и опасностей дорога войны. Но он удерживается. Что ж, я зайду,— рассуждает он, если позволительно изложить стихи в оборотах простой речи,— что ж, я зайду: на радость, что ли? Принесу им свою муку, свои слезы — зачем? Их и без того довольно. Нет, я приду сюда и постучусь в окно не горьким скитальцем на отцовской земле, а вестником радости. Я принесу им счастье избавления от неволи, и тогда сам не постыжусь заплакать, потому что:

...Скажу: я принес
Каску, полную радостных слез.

Исполняется горячая вера белорусского народа в свое избавление. Близки сроки, и все города и села братской нашей республики, страдалицы Белоруссии, будут очищены от немцев.

И все, кто во имя этого идет сегодня славной дорогой на запад, кто бы они ни были по месту рождения, языку, культуре, могут рассчитывать на великую благодарность белорусских людей. Сердце их, памятливое и доброе, не забудет никогда тех, кто потрудился в бою за свободу своих братьев.

Незабываемая встреча населения Минска с нашими воинами — это только первое слово великой народной благодарности за избавление от неволи, за возвращение к свободной, самобытной, творческой жизни.

Да и самим воинам — русскому ли, узбеку ли, украинцу ли, сибиряку или кавказцу — сладко будет и через много лет вспомнить скромную и задумчивую красоту белорусских полей и лесов, по которым они прошли когда-то, охваченные одной суровой боевой заботой: скорее разгромить немцев!

И они, освободители Белоруссии, еще лучше почувствуют глубокую связь наших народов; их будет трогать каждое наименование белорусского города, реки, местности, каждое белорусское словцо, услышанное вдруг... Они будут испытывать к ней, Белоруссии, полное солдатской нежности чувство землячества, приобретенного на войне.

Фронт уже очень далеко в глубине Белоруссии, в свежих по освобождении местах, где еще душно от пожа-

рищ, но все равно наше «хозяйство» далеко от «фронта». Ощущение близости — немцы-окруженцы в лесах, наши оборонительные мероприятия на случай, если немцы станут выходить через нас.

Местность живописная по-новому для меня: холмы с хлебами и лесами по скатам, с ровной и причудливой разделительной линией — рожь впритирку к лесу. Много воды, речка с подорванной плотиной. Неподалеку чудное, круглое на карте и в натуре озеро с теплой и глубокой водой,— купаться можно только с одного места, где песочек, а кругом явор и «дрыгва».

Неизменное чувство хорошего, что происходит и что прямо-таки стоит в воздухе, как тепло от солнца, как запахи июньских трав.

Можно было бы уже заняться «периодизацией» войны, так как последний и непохожий на все прежние период ее по своему значению позволяет смотреть на все предыдущее уже как бы историческим взглядом.

ОБ «АЛКОГОЛЕ»

Привезли и перевели в редакции дневник, подобранный на убитом обер-лейтенанте Конраде Мюллере. Последние записи датированы третьеводнишним числом. Дневник — живейшее свидетельство о паническом состоянии отступающих немцев, о беспорядке, окружениях, «котлах» и «мешках», об ужасе перед нашей силой,— свидетельство с той стороны.

Наш успех мы не могли еще представлять себе в таких разительных подробностях. Разбитые, растрепанные, потерявшие связь и управление и, главное, потерявшие всякие моральные основы боеспособности, группы и группировки, остатки частей и подразделений, мелкие стайки мечутся в беспамятстве по сторонам Минского шоссе, то и дело зачем-то переходя его то в северном, то в южном направлении.

«Мост через Березину под сильнейшим обстрелом. Полковник освобождает дорогу. Все до крайности измождены.

Идем дальше по шоссе в направлении на Минск. Сумасшедшие пробки. Слева и справа обстрел. Все бегут, всё бросают. Поймал коня, доехал верхом до Острова.

В лесу отдых на ночь. Кухня разбита, только холодная пища. Позиция у шоссе».

«В 12 часов тревога. Русский атакует. Захватил шоссе. Занимаем позиции справа от шоссе. Ни оружия, ни боеприпасов. Поджарил 2 яйца. Прибегают люди из разбитых частей, оборваны, голодны,— пробивались через леса».

«Последний раз оторвались. Не можем. Танки преграждают путь. Опять в лес, к шоссе. Русский прочесывает. Ни воды, ни пищи. Слышим грохот русских машин и сидим, спрятавшись... Настигли русские крестьянские отряды,— вместе с семью человеками спасся в чаще. Много русской пехоты вокруг. Поют! Видимо, захваченный алкоголь. У нас только то, что на нашем теле. Идет дождь. Едим листья. Мы хотим вырваться, у каждого железная воля...»

«Пробираемся лесом, рожью, у нас ужасный вид — длинные бороды, спутанные волосы. Не могу себе представить, что так кончится жизнь. Ели клевер и траву. Нужно опять идти».

Есть мнение, что подобного рода «дневники отчаяния» пишутся их авторами с умыслом угодить победителю на случай пленения. Это само по себе сто́ящее свидетельство. Но этот документ обладает приметами подлинности: записи охватывают не один только период летнего разгрома немцев, но и предшествующий период. В самой манере записей есть прямые подтверждения их подлинности, непреднамеренности относительно пленения автора.

Решили напечатать выборку из дневника. Запись о том, как немцы из кустов слушают пение русских солдат, высказывая предположение, что это, «видимо, захваченный алкоголь», начальник вычеркивает.

— Знаете, нехорошо: алкоголь.

— Так это же немец пишет.

— Ну зачем же мы ему будем предоставлять трибуну против нас?

— Это не против нас, это против него. Он сидит в кустах и с завистью, с тоской слушает, как поют наши. Поют, понимаете? А что же он доброе может высказать по этому поводу, кроме жалкого своего предположения: «захваченный алкоголь»! А хоть бы и захваченный алкоголь! Опять же хорошо. На здоровье! Прошли времена, когда немец захватывал.

— Нет, все равно не пойдет. Лучше мы здесь вот как исправим: «Русские поют»,— но про алкоголь вычеркнем. Так-то лучше будет.

* * *

Еще насчет алкоголя. В Минск мы ввалились в первые утренние часы 3 июля. И многое из того, что можно было приметить и запомнить тотчас и изложить в статье в тот же день,— я приметил, запомнил и изложил.

В статье есть и картина города с пылающими на въезде в него танками, и невероятная смесь разрушительного буйства огня, грохота взрывов, стрельбы по окраинам с ярмарочной праздничностью освобожденных минчан, устраивавших еще не виданную войсками нашего фронта встречу своим освободителям. И гирлянды цветов, накиданные на борта машин с пехотой, и слезы радости, и объятия незнакомых людей, и «хай живе», и все такое подобное — трогательное, незабываемое.

Но я не мог отметить в статье одно обстоятельство, которое при всей его внешней неблаговидности не могло не способствовать общему подъему праздничности. В здании театра был устроен немцами винный склад. Население разбирало этот склад дружно, весело, и главное, разбирало с ближайшей целью угощения и снабжения в дальнейшую боевую дорогу бойцов. Среди мужчин заметны были такие, что и сами при этом угощались, но женщины не пили — тащили, тащили бутылки к магистрали, по которой катились танки и машины, совали на ходу, кидали за борта машины.

— Сыночки, родные наши! Выпейте, выпейте, родные наши.

И я могу ручаться, что все это было невообразимо хорошо, правильно, торжественно и красиво.

О ЛАСТОЧКЕ

Весной в деревушку под Витебском прилетела ласточка — там у нее под стрехой одного двора было гнездо. Покружилась, покружилась ласточка над неприютной землей, где чернели вышедшие из-под снега пожарища, желтели груды кирпича, торчали обгорелые столбы, и видит, что селиться ей нынче негде. Издавна по своему птичьему образу жизни она прибивалась поближе к лю-

дям. Но деревушка еще и не начинала отстраиваться — слишком близко была война. Рядом с прошлогодними, оплывшими воронками от снарядов виднелись свежие, со вздувшимися, рыхлыми краями, от которых обманчиво пахло весенней пашней.

Однако дымок человеческого жилья, замеченный ласточкой неподалеку, приманил ее к этим местам. Дымок шел от земли, но он был жилой, приветливый, знакомый и милый птичьей душе. Ласточка робко и вкрадчиво раздругой подала свой голос, снизившись над бревнами наката, и высмотрела себе местечко под обжитой крышей солдатского дома.

Кому, как не бойцу, было понятно горькое бездомничество маленькой доброй птицы? Может быть, и его деревня, откуда он ушел на войну, была сожжена немцами, может быть, он до сих пор ничего не знал о своей семье. Когда он заметил, что ласточка строит себе жилище под его крышей, он задумался, немолодой и давно воюющий человек. Он был растроган доверчивостью птицы к его жилью, к этому невеселому месту, которое, казалось, затем только и было на свете, чтобы содрогаться от близких разрывов мин и снарядов, порошить пересохшей землей и песком с потолка и всегда грозить обвалом от прямого попадания. Может, он подумал еще, что птица нарочно вила здесь гнездо, чтобы ему, солдату, было веселее.

Во всяком случае, он был застигнут необычным, тихим, но глубоким настроением, и высказать его на словах было не так просто, а хотелось обязательно высказать.

У самого простого человека в жизни, особенно на войне, в разлуке с близкими, в соседстве с опасностью, в труде и всяких испытаниях, которых не вынести, если не знать или не чувствовать великого их значения, бывают такие минуты, когда хочется говорить каким-то особым языком. И боец написал стихи о ласточке:

Где ты зиму зимовала,
Где ты там вилась,
Что с весною к нам попала в траншею,
В нише прижилась?

Он мало или совсем не читал стихов. Так что-то со школьнических лет цеплялось в памяти: «Ласточка с весною в сени к нам летит». Но ему хотелось сказать что-то такое же складное не вообще о ласточке, а вот об этой,

что прижилась в том углублении его земляного жилья, которое он называл, по уставу, нишей.

Но, думая о ласточкиной судьбе, он думал еще о многом другом. Он только затем и сидел здесь долгие месяцы в обороне, чтобы изготовиться к большому и трудному пути на запад, к наступлению. Без этого ему, солдату, нечего было и помышлять о родных местах, о семье, о доме. И он добавил еще четыре строчки, окончательно сбиваясь с лада и уже стремясь только как-нибудь выразить свою мысль, в которой большое, грозное дело, предстоящее ему, как-то связывалось с робкой заботой ласточки о жилье, о том, чтобы было куда возвращаться весной из далеких краев:

Ведь мы скоро с тобой расстанемся;
Немца с русской земли будем гнать.
Скучно тебе будет, ласточка,
В траншее одной лето проживать.

Он не был поэтом и вряд ли напишет в другой раз что-нибудь подобное. Но он, может быть, сам того не сознавая, выразился поэтически, бесхитростно и тонко, как, впрочем, и бывает в жизни сплошь и рядом. Как будто все и дело в том, что какой-то ласточке будет скучно в опустевшей траншее, когда он уйдет далеко на запад!

Свое стихотворение он написал на открытке полевой почты и послал в газету, вряд ли опять же полагая, что его напечатают. А зачем? Затем, что он знал или слыхал о таком порядке: стихи посылают в редакцию, как донесения по начальству, а домой — письма.

И не успел он получить ответ из редакции, как ласточка осталась одна...

Есть что-то глубоко впечатляющее в покинутых ушедшими вперед войсками траншеях, землянках, блиндажах, лесных шалашах с пересохшей и осыпавшейся листвой либо хвоей, в пепелищах от костров, в обгорелых рогульках таганов, на которых солдаты варили свою пищу. Далеко-далеко, под самой Москвой, в молодых дачных рощах, травой — которой уже по счету! — заросли ямы и канавы, нарытые в памятную осень и зиму 1941 года. Далеко позади и Угра, и Днепровское верховье, леса и поля Смоленщины, меченные войной. Немного дней прошло, как началось опять наше наступление, но уже и та сож-

женная деревушка под Витебском, возле которой боец в обороне сложил свой стишок о ласточке, осталась в глубоком тылу.

И ласточка дивилась, должно быть, той тишине, что наступила кругом, тишине, которая есть благо всякой жизни — человеческой и птичьей.

Во имя этой тишины солдат, покинувший траншею под Витебском, шел в жестоком грохоте, свисте и визге войны, шел из боя в бой, забыв об отдыхе, забыв обо всем этом. И потому, что он шел безостановочно, все дальше и дальше, десятки и сотни тысяч людей его родимой страны, миллионы людей во всем мире, просыпаясь по утрам к своему труду и обычным хлопотам, испытывали чувство, похожее на то, как человек, со сна еще не сообразив, отчего у него сегодня особый, радостный день, ощущает уже всем своим существом тепло этой радости. «Ах, да!..» — вспоминает он вдруг о том, что, собственно, радует его. И ему еще лучше. «Ах, да, уже Минское направление, Могилев, Бобруйск!» — вспоминали мы вдруг, чему мы обязаны приливом сил, особой душевной легкостью, радостью, которая сама собой наполняет наше сердце.

А ласточка — она вывела своих птенцов в траншее, но следующей весной уже, должно быть, найдет место под крышей иного, более привычного людского жилища.

* * *

Последние два месяца — срок, может быть, самый вместительный для меня за всю войну по новизне впечатлений от нашего успеха, хотя по времени года более всего похожий на тот начальный период войны, что отмечен совсем другой памятью.

С деревушки Панское, куда мы вдруг выскочили после долгого сидения в районе Смоленска, началась и длится жизнь на колесах. После Панского — Логойск, горелый, с живописнейшими окрестностями, речкой и круглым озером. После Логойска — эта деревушка, откуда уедем на рассвете вместе со штабными людьми. Следующий пункт уже будет западнее Вильнюса. Но мы еще в большом отрыве от передовых частей,— их то и дело приходится догонять на «виллисе» затем, чтобы вместе со всеми двигаться дальше. На ближайшей очереди в сводке Гродно. Выход на государственную границу — дело двух-трех дней...

При таком движении все, что остается позади, как-то быстро устаревает для души, так сказать, тыловеет. Но необходимо хоть что-нибудь записывать, по возможности наверстывая упущенное. Важно, во-первых, сохранить неповторимую свежесть первого впечатления, а во-вторых, не ограничиваться одним только профессиональным оформлением новых впечатлений.

ДОМОЙ

Впервые такую повозку я видел летом 1941 года на одной дороге в украинской степи: телега с верхом, сооруженным над задней ее половиной из листов красной железной крыши. Темная черноземная пыль, колонны отходящих войск, обозы и толпы гонимых войной мирных людей с детьми, узелками, бедным, наскоро прихваченным скарбом... И, может быть, самой неизгладимой приметой великого народного бедствия осталась в памяти от тех дней эта повозка с верхом, сделанным из лоскута покинутой кровли.

А нынче такую повозку я увидел на обочине одного из трактов на западе Белоруссии. И двигалась она на восток, и выглядывали из нее головенки измученных дорожной жарой ребятишек, и была она полна обычной жалостной беженской рухляди. Но все это имело совсем иной смысл.

— Домой, домой добираемся, товарищи дорогие,— поспешно, с охотой и радушием говорил высокий загорелый старик, шагая рядом с повозкой.— Домой, на Смоленщину. Кардымовские,— может, знаете деревню Твердилово? Вон куда он загнал нас. Целый год гнал, шутки ли, куда! Мы уже думали — и не увидим больше своей стороны. А чего не натерпелись, господи, чего только не натерпелись! Как же теперь, можно нам тут на Кардымово проехать?

Он спрашивал так, как будто Кардымово находилось в нескольких километрах. А до него было добрых полтысячи. Казалось, он еще не верил, что так-таки никто ему не возбраняет ехать в родные места.

— Это верно ваше слово, что и здесь мы уже дома, опять на советской земле. Но все ж человека туда тянет, откуда он родом произошел. Словно бы то же самое: земля, трава. А — нет! Дай домой — трава не та, пыль не та, разговор совсем не тот. А кому — самый раз, и все ему

по душе здесь, раз он здешний человек. Угони его — и он будет ехать вот так, добираться домой... Я и то уже говорю старухе,— он указал кнутовищем на повозку,— дай бог, говорю, добраться на родную сторонку. А там хоть бы и помереть...

Он вдруг всхлипнул, и плечи его, покрытые ветхой, латаной рядниной, затряслись как будто от долгого кашля. Во всей фигуре, в лице старика не было ничего расслабленного, ничего, что указывало бы на возможность этих внезапных слез, и тем более тяжело было видеть их. Отчего он заплакал? И от слова участия, и от еще не пережитого волнения и радости, и от сладкой жалости к своим старым годам, потрясенным такими испытаниями.

— Что с тобой, Никоныч? — сказала старуха с повозки, держа на коленях одного из малышей-внуков.— Что это? Будет уж, будет! — И в лице у нее был испуг: видимо, ей непривычно и больно было видеть минутную слабость хозяина.— Будет, Никоныч!..

Я, наверное, никогда не забуду этого старика, идущего за повозкой, плачущего на ходу и утирающего слезы большой загорелой рукой с зажатым в ней кнутовищем. И встреча эта напоминает мне и ставит в ряд многое множество встреч, картин, эпизодов горячей поры нашего наступления.

В Вильнюсе я заговорил на улице с двумя мальчиками лет десяти — двенадцати. Они были из Орла. Их привезли сюда с матерью, которая каким-то чудом не растеряла их и уберегла от голодной смерти, работая за кусок хлеба у немецких «панов», понаехавших в эти края. И эти ребята с такой взрослой, крестьянской положительностью повторили несколько раз в беседе:

— Мы орловские. Вот пойдут поезда — подадимся домой!

В словах их чувствовалась та же нежность и уважительность к родному краю, к земле отцов, что и у старого Никоныча, который шел теперь где-то за своей повозкой с верхом из горелого кровельного железа.

В Минске я заметил, что в лицо мне робко и пристально всматривается одна женщина. Вид у нее был больной, замученный. Она выждала, пока я остался вне толпы, и боязливо дотронулась до моей руки.

— Скажите, пожалуйста, откуда вы сами будете?

Оказалось, что мы не только земляки, но почти однодеревенцы. Отступая из наших мест, немцы забрали ее с

другими женщинами и девушками «рабочего» возраста. История мытарств этого человека, разлученного с домом и потерявшего почти всех близких, заняла бы много страниц. Самое страшное было в том, что моя землячка по привычке все еще говорила почти шепотом, озираясь по сторонам и точно не веря еще, что она среди своих, а не под конвоем и не на глазах у немцев-надсмотрщиков. Но когда она слышала от меня названия знакомых обоим нам деревень и сел родной стороны или вспоминала их сама, болезненно исхудалое лицо ее освещалось радостью и детским умилением, и единственное, что она спешила спросить у меня: можно ли уже поехать *на родину?*

А через несколько дней в том же Минске, на вокзале, мне пришлось видеть такую картину.

Стоял эшелон с отодвинутыми во всю ширину дверями. В вагонах тесно, но удивительно дружно сидели люди, в большинстве женщины, старики и дети, с узелками, котомками. Это были жители из районов к востоку от Белоруссии, они ехали домой. Кого свобода застала в лагерях, за проволокой, кого — в пути, в колоннах, под конвоем, кого — на подворье у новых помещиков, в услужении у представителей фашистской администрации. Теперь они ехали домой, и это было написано на их лицах, слышалось в голосах, звучало в песне, что сперва робко, а потом все увереннее заводилась в одном из вагонов, в земляческом кругу девушек.

По платформе от вагона к вагону торопливо перебегал какой-то сержант, точно опоздавший проводить кого-то едущего с этим поездом.

— Касплянские тут есть? — спрашивал он, заглядывая в дверь.— Нету?.. Ага, из-под Ярцева! Знаю. А я слышал, что тут и наши, касплянские, едут. Думаю себе: может, кого своих увижу? Ну, счастливой вам дороги! Счастливой...

И с волнующей сердечностью разноголосо отзывался каждый вагон:

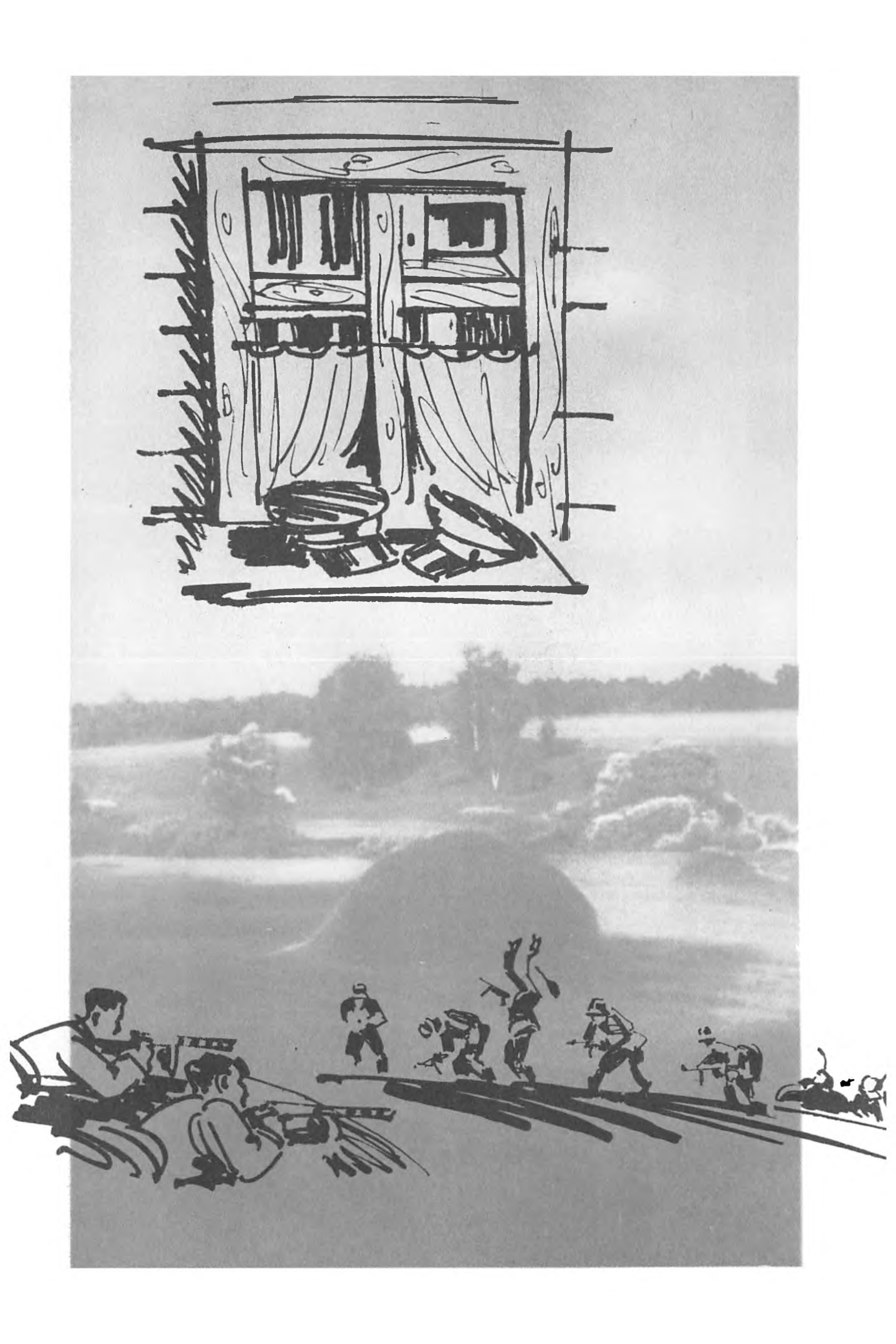
— Счастливо и вам, товарищи! Дай вам бог всего доброго! Спасибо вам, родные наши!

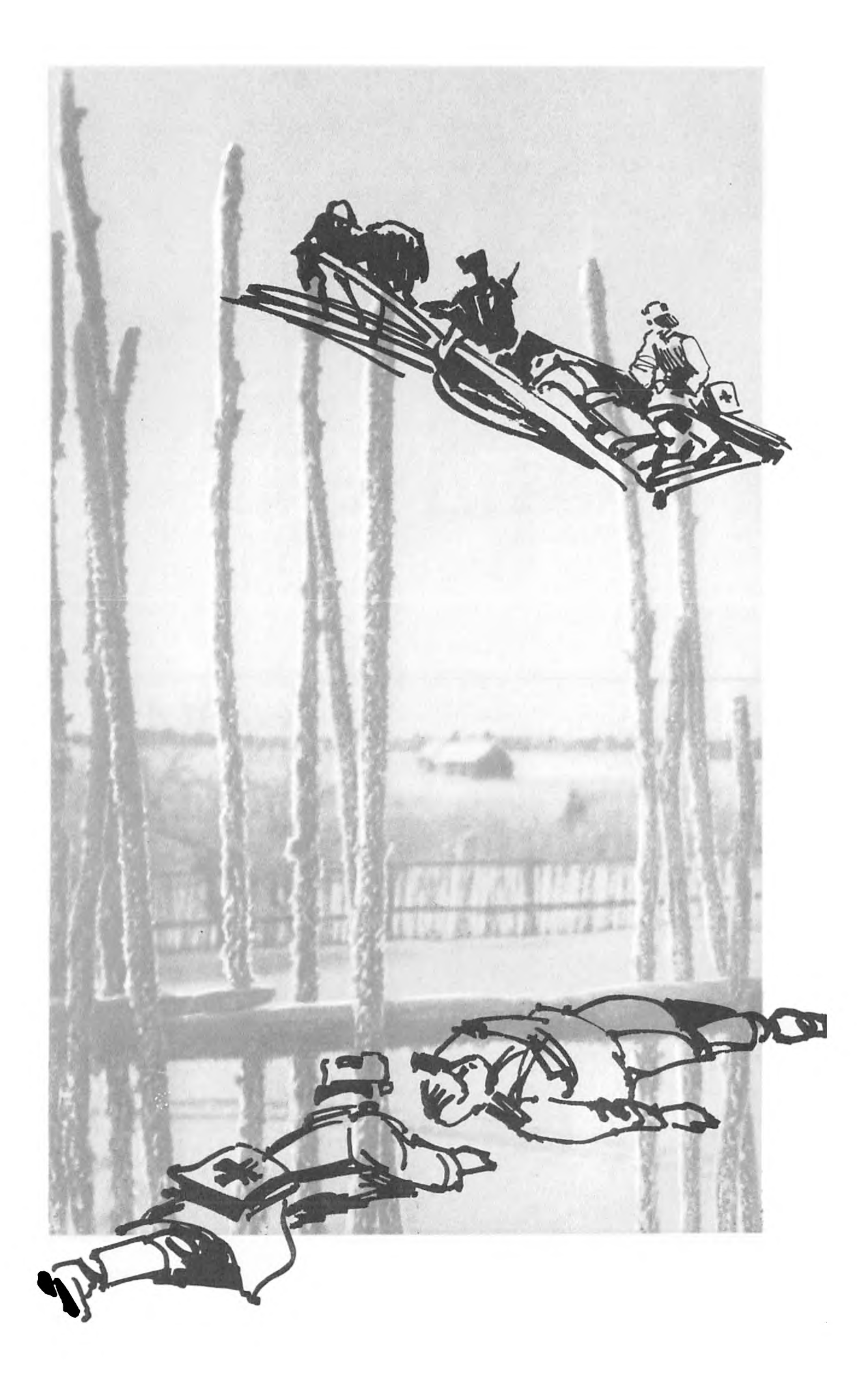
— Спасибо, сыночек!

И вдруг из дальнего конца эшелона дошло, донеслось, передаваясь с голоса на голос:

— Есть, есть касплянские! Кто тут спрашивал? Есть!

И сержант побежал в тот конец эшелона.





В УСАДЬБЕ ГРАФА ТЫШКЕВИЧА

Прибыли сюда, за Вильнюс, в бывшее имение графа Тышкевича с парком и прудами, занесенными белой ряской от цветения деревьев. Что дальше на запад, то как будто все южнее: рожь уже бела на этих литовско-польских песчаных косогорах. Дорога сюда и особенно сам Вильнюс радуют своей не сравнимой ни с чем прежним целостью.

Этот город через два-три года будет городом с малыми приметами войны, хотя, правда, видел я его не весь. Большинство домов требует только остекления, а много и стекол целых. Странно сочетать эту картину с тем, как виделся нам этот город в дни штурма его восточной окраины, когда мы, корреспонденты, сидели километрах в трех-четырех в штабе дивизии, с профессиональной бессовестностью ожидая, когда можно будет въезжать в Вильнюс, посмотреть, поснимать и поспешить обратно. Думалось, что ничего уже здесь не останется — так много было огня, который как будто сталкивался и перекрещивался над невидимым за дымом и пылью боя городом. Тогда он не был взят, а взят был неделю спустя.

Памятнейшее впечатление тех суток, когда мы сидели под городом, в легкой березовой рощице, окружавшей хуторскую усадьбу. Хозяйка хутора всякий раз, как над рощицей появлялась немецкая авиация и начинали бить зенитки, торопилась загнать овец и свиней под крышу сарая. Так именно делают в деревне в грозу. Двух же своих коров, как самое ценное в хозяйстве, она и вовсе не выпускала из сарая, кормила их там кошеной травой. Жутко и трогательно было видеть эти ее хлопоты...

Усадьба, в которой мы теперь разместились, по-польски красива и форсиста. Дом не старый, 900-х годов, скорее тяжеловесно-благоустроенная, монументальная дача, чем помещичий дом. Хороши пруды, расположенные один над другим, террасой. Парк — наполовину лес, часть его, прилегающая к железной дороге, вырублена немцами по их обычной предосторожности. Клены, дубы, вязы,— березы в редкость, осины ни одной — даже нельзя себе представить, чтоб такое не барское, простецкое дерево могло здесь расти. Все это стоит высоко над водой прудов и разделено на участки глубокими, занесенными полудикой, дремучей зеленью оврагами, которые подвергались в свое время культурной отделке; вдруг выходишь на тро-

пу, под которой слышится прежняя щебеночная дорожка, натыкаешься на заглохший бассейн, где из деревенских камней и городского цемента смастачены всякие причуды, на которых играла когда-то вода. Водопады сохранились только у двух прудов, в искусственных проломах плотин. Вода с нарочито аляповатых каменных карнизов и выступов падает на подобные же уступы терраски.

Великолепие зряшное, запущенное. Черные и красные провода связи тянутся через усадебные лужайки, запущенные цветники, висят на молодой парковой поросли.

Мест для купанья и гулянья так много, что не знаешь, что со всем этим делать. Как на большом и дурном банкете, где всего много, гораздо больше, чем нужно людям, чтобы выпить и закусить с удовольствием, и от этого как-то невкусно и скучно, в чем не хочется признаться.

Зацвела липа, вечером услыхал запах. Зенит лета. По одному этому запаху мог бы вспомнить до подробностей все три лета войны, какими они были для меня.

ПОЕЗДКА В ГРОДНО

Как водится, все не так, как представляется по предварительным данным. И, кроме того, с этим Гродно дело особое,— это не Минск либо Витебск. Те города занимались нами в результате окружения их, выхода флангами далеко на запад. Город взят — значит, война уже далеко, хотя бы группы и группировки противника были не только в городе, но и восточнее его, как было, например, с Минском. Здесь немцев выпихнули из города, но они — вот они, за рекой, и даже удерживают окраину города. Бьют артиллерия и минометы, постреливают автоматчики с чердаков и из окон. Население в подвалах домов. Оно еще не пережило весь срок тяжкой муки этого сидения. Не может еще вздохнуть в радости полного избавления от страха, в радости, которая так подкрепляет и добавляет собою радость избавления вообще от ига чужеземцев.

В городе продержались мы с редактором часа два, делая по возможности вид друг перед другом, что страшно нам не очень. А было очень страшно, томительно до утомления. Уже не испытываешь ни малейшего любопытства, томишься собственной неприкаянностью, праздностью здесь, где идет тяжелое дело, которым люди

занимаются по прямому долгу. А ты стоишь здесь с задачей постоять, поглазеть и рассказать затем не это, что видишь и переживаешь,— если бы уж это! —а то, что принято почему-то рассказывать по-корреспондентски в случае занятия города нашими и не иначе, как уже рассказывалось неоднократно, хотя здесь совсем другое.

Еще в этой поездке случилось так, что мы въехали в город со стороны, где действовали войска другого, соседнего фронта. Нас никто не встречал как знакомцев по прежним приездам, никто даже не знал названия нашей газеты, мы были не «сверху», как говорится в частях о всяческих представителях из армии и фронта, а откуда-то сбоку. Если учесть еще всегдашнее соперничество соседей, обычные счеты в первенстве вступления в освобожденный город и, может быть, наше по незнанию бестактное замечание относительно того, какой фронт берет город, а какой «поддерживает», то и совсем мы оказались как бы не у дел. Потоптались, походили, прижимаясь к стенам зданий,— надо уезжать.

* * *

Женщина на улице:

— Скажите, скажите, когда же окончится этот ужас?

— Какой ужас? Где ужас? — говорим, хотя самим понятно, о чем она говорит.— Это наши снаряды летят.

— Но если туда летят наши, то оттуда должны лететь их снаряды, так ведь? Вы знаете, у меня дочка лежит третий день в подвале, не ест, не пьет, ребенка оставила. Она, знаете, замужем с тридцать девятого года, он из Москвы, командир, они поженились, я ничего против не имею. Он уехал перед самой войной в Москву, в командировку. Скажите, может так быть, что он еще жив? И приедет сюда, я не говорю — сейчас, нет, но когда-нибудь, когда все будет хорошо? Его девочке пятый год... Простите, пожалуйста...

* * *

А в городской типографии, куда мы заглянули по обычному интересу к таким местам, мы среди хлама бумаг, бланков, газет и прочего, в полном безлюдье и мрачной полутьме обнаружили под большим столом в брошюровочной человека в заношенной спецовке печатника, с измятым, давно не бритым лицом.

Он спал крепким, счастливым и трудным сном давно и тяжко пьяного человека. У изголовья стоял чайник, стакана не видно было. Человек спал, мы не стали его будить — это было бы безнадежно: он спал под грохот бомбежки, артиллерии и всего прочего, что гремело и носилось над крышей этого здания, над потолками и над столом — дополнительным укрытием этой одинокой души.

* * *

Гродно и некоторая задержка наших под Каунасом уже казались приметами того, что не могло наконец не встретиться даже в этом сказочно успешном наступлении. Обозначалось там-сям, на тех или иных рубежах, организованное сопротивление противника. Но сейчас передали сообщение о наступлении Первого Украинского фронта. Какая могучая власть единого ума и воли, управляющих всей этой гигантской, чудовищно громоздкой штукой!

Похоже, что едва начали уставать Белорусские фронты, как пошло там, и, как кажется, не менее грозно... Насколько мы сильнее, умнее, богаче, организованнее, чем три года назад! И это после трех лет такой войны на нашей земле, и почти один на один со всем немцем! Школа самой войны. Тому, кто воевал под Москвой, под Ржевом, не говоря уже о Сталинграде или Ленинграде, почему не воевать под Вильно и даже под Варшавой?

НА ИСХОДЕ ЛЕТА

Впервые за лето есть стол, и на столе как будто установились тот рабочий беспорядок и умеренная захламленность, при которых писать и писать. Но пишется мало и на очень заниженном уровне. Еле собрался занести кое-что. Записи мои — не дневник, но и не что-нибудь строго рабочее, предназначенное к делу. Угадать, что и по какую пору записывать,— это уже творческий труд. Лень уводит и отвлекает от него, как и от всякого иного труда, даже более, так как в ином труде имеется некий предвидимый практический результат, а здесь только возможность видеть заполненные страницы тетрадки.

Почему так устала душа и не хочется писать? Надоела война? Вернее всего, по той причине, по которой мужик, помогавший другому мужику колоть дрова тем, что

хекал за каждым ударом того, первым устал, говорят, и отказался, не то попросил уж лучше топор. Мы хекаем, а люди рубят. Мы взяли на себя функцию, неотрывную от самого процесса делания войны: издавать те возгласы, охи, ахи и т. п., которые являются, когда человек воюет. Для него каждый новый этап, каждый данный рубеж либо пункт, за который он должен практически биться, нов и не может не занимать всех его психофизических сил с остротой первоначальной свежести. А для нас, хекающих, все это уже похоже-похоже, мы уже по тысячам таких поводов хекали.

Это все, может быть, неправильно, но очень подходит к настроению, которое дает себя знать, чуть ты огорчишься чем-нибудь внешним, чуть выйдешь из состояния душевной приподнятости, при которой только и можно что-нибудь делать. А делать надо, нельзя не делать, когда делаются такие великолепные дела: вчера было пять салютов!

* * *

Первая копна снопов в поле — прощай, лето. Так у нас говорили когда-то на Смоленщине. Здесь уже жнут, убирают снопы на узко разлинованных полях чересполосицы и на хуторских клиньях и лапиках. Многое напоминает нашу позднюю деревенскую страду прежних лет — до колхозов и того давнее.

На днях утром послышалось в обычной летней росной и туманной свежести что-то неуловимо явственное, нелетнее. А вслед за тем похолодание после дождей. И вода в озерах очистилась от белой, вернее — желтовато-серой ряски поздних пухов цветения, стала жестче и как будто прибыла в берегах. Вот, подумалось, теперь уж должны петь молодые, нынешней выводки, петушки. А сегодня они уже то и дело пробуют свои тонко-хриплые, с нежной грустцой голоса возле служб усадьбы.

Конец четвертому лету.

* * *

Не близость ли моря начинает сказываться обилием озер, очень чистых и очень глубоких?

Маленький, в одну улицу, чистенький городок меж двух озер не то на одном озере, разделенном греблей,

несущей на себе полотно асфальтированной дороги. Обглоданные ветрами и временем руины каких-то крепостей и замков, к которым примыкают крошечные картофельники и огороды поляков.

Владелец лодки, тридцатилетний человек, которому у нас быть бы по-деревенски бог весть на какой высоте, на замечание наше о красоте мест сказал:

— Да, ничего, если б здесь хоть две фабрики небольших, чтоб работа была.

И о чем бы он ни говорил — о старине, о Пилсудском, о немцах, о взаимоотношениях с литовцами,— все у него получалось о работе, о «должности», «месте», заработке...

Он нам рассказал (вряд ли точно) о замке, который возвышался на зелени полулеса-полусада на одном из больших островов озера. Возвел его литовский круль Ягелло, женившийся на польской крулеве Ванде. Он же, согласно преданию, вывез и поселил здесь в качестве огородников или садовников не то татар, не то крымских караимов.

В городе действительно много женских лиц татарского типа. Троки — название городка — слово, может быть, татарское. Троки — ремешки у седла для приторачивания клади.

А места поистине очень хороши своей холмисто-лесистой и озерной красотой, сочетанием древних развалин с современными игрушечно опрятными усадебками, аллеями у дорог, гнездами аистов — тоже как будто древними сооружениями. Кажется, что эта красота должна была как-то отстояться в глазах и душах живущих здесь людей.

Но все испорчено какой-то приниженностью жителей, страдающих из поколения в поколение от национальной и политической несвободы, от малоземелья и худоземелья — в практическом, а не живописном смысле,— от безработицы, войны, переподчинений, этнографической путаницы.

Старики в большинстве хорошо говорят по-русски, служили в русской армии, имеют в СССР родственников, близких, считают себя «за Россией». Наш возраст — люди, успевшие уже повоевать на стороне немцев против нас либо на нашей стороне против немцев. А дети теряют годы обучения из-за войны, переходов то на этот, то на тот язык в школе и т. д.

И все-таки очень красивые, чуть грустные от своей древности места. И, наверное, эта пора года — лучшая для этой местности. Изжелта-светлые пятна ржаных полей по скатам холмов вперемежку с темной зеленью лесов и синевой озер. Каждый поворот узкого шоссе, выбегающего то в хлебное поле из леса, то ложащегося греблей меж двух озер, то вновь уходящего в лес, который с одной стороны высоко-высоко взбирается вверх по отвесной крутизне, а с другой уходит вниз, так что верхушки столетних елей и сосен идут в уровень с белыми столбиками вдоль кювета,— каждый отрезок дороги способен вызвать детскую мечту о том, как хорошо бы здесь или вот здесь построить домик, поселиться, жить тихой, красивой и полной некоего подвига жизнью, писать что-то очень хорошее, встречать изредка приезжающих друзей в этой обстановке. Жить здесь долго-долго, но все же — нет, не до самого конца жизни.

В ПОЛЬСКОЙ СЕМЬЕ

Хуторская семья с гостями из Вильнюса, прибывшими в связи с бомбежками. Девушка с рукой, перевязанной выше локтя, и осколочком в сумочке с «молнией», который она показывает новым людям без малейшего, впрочем, кокетства. Она вильнюсская гимназистка, уже вторично ранена в эту войну,— в первый раз в сорок первом году — осколком оконного стекла в висок и надбровье у самого глаза.

Отец семьи — старик, сделавший при первом обращении к нему стойку по-солдатски, некогда полковой писарь, затем делопроизводитель воинского начальника в Сызрани. На стене фотография штаба полка во главе с капитаном в кителе. В заднем ряду можно найти и писаря. С тех пор у него такие же усы, толстые, немного грустные и вместе форсистые, только уже седые.

Он попросил нас «зайти в квартиру», когда мы завернули к его колодцу залить воды в радиатор. Попросил так почтительно и неуверенно, почти безнадежно, что казалось, не сильно приглашает. Он сперва неправильно прочел наши «просветы» на погонах, принял нас за поручика и подпоручика, а потом разобрался и вовсе оробел.

Мы вошли. На столе появились домашний сыр, масло, хлеб и крупный серый литовский сахарный песок. Выпили по чашке кофе со сливками.

Вошла хозяйка, тяжелая, с колыхающимся животом старой и нездоровой женщины.

— Не знакомые вам те товарищи? — спросила она, поздоровавшись, и показала маленькую фотографию наших младших командиров в гимнастерках с отложными воротничками, какие у нас носили до нынешней формы. Эти хлопцы нашли приют и помощь в доме поляка-солдата, пробираясь из окружения летом сорок первого. На обороте карточки написано: «Смоленской области, Руднянского района, Морозовский сельсовет, дер. Хомутовка. Погодин».— Не знакомые?

И ей было достаточно уже того, что один из нас оказался уроженцем Смоленской области, а другой бывал в деревне Хомутовке во время войны.

— Подожду еще, потом напишу по этому адресу.

И замечательно, что эти люди, хуторяне-поляки, оказав в трудное для нас время человеческую помощь людям нашей армии, уже были привязаны живейшим интересом к их судьбе и симпатией к нам. Это один из мотивов того признания русских своими, которое сложилось исторически. Еще я не встречал и не слыхал случая, чтобы кто-нибудь, хотя бы здесь, в западных, молодых наших краях, укрыл немца-окруженца. Этого не сделает даже тот, кто более или менее мирился с немцами, покамест они были здесь. В нас верят и верили, когда мы были далеко. В немца — нет, хотя бы в отдельных случаях симпатии распределялись и так и сяк.

О ГЕРОЯХ

В корреспонденции о взятии Витебска я упоминал об одном нашем бойце, спасшем большой витебский мост, перестрелявшем в последнюю минуту немецких подрывников. Фамилия его потом как-то еще раз называлась в нашей газете. Теперь говорят, что это не тот боец спас мост, а другой, представленный уже к званию Героя Советского Союза. А тот будто бы тоже награжден за иные заслуги. Но говорят, что и этот, представленный к Герою, опять же не тот, о котором шла речь, как о спасителе моста. Не тот! А где он, тот? И знает ли, понимает ли он, что совершил? И жив ли он, здоров или похоро-

нен уже далеко позади своей части, ушедшей за сотни километров от Витебска? А может, и сейчас сидит себе где-нибудь здесь, в ямочке, называемой ячейкой одиночного бойца? Или отлеживается в госпитале далеко-далеко в тылу — скажем, в Смоленске?

Прочел на днях в «Огоньке» статью недавно погибшего П. Лидова «Первый день войны». Это рассказ летчика Данилова, слышанный нами с Лидовым с год назад на КП полка истребителей, которым командовал подполковник Голубов, ныне Герой Советского Союза. Рассказ передан во многом верно, жаль только, что в нем нет той непосредственной живости, которая была в изустном изложении.

Человек в первое утро войны вылетел по тревоге, сгоряча сбил шесть самолетов противника, затем был сам сбит. Раненный, с помощью добрых людей поправился и вышел из окружения. Самое сильное его переживание в этих боях первого утра был страх, что это не война, а какое-нибудь недоразумение и он, Данилов, сбив шесть немецких бомбардировщиков, наделал, может быть, непоправимых бед. Но когда его подбили и пытались добить на земле два «мессера» из пулеметов, когда он ползал во ржи, преследуемый ими, он таки уверился, что это война, и на душе у него отлегло: все в порядке, не виноват, а, наоборот, молодец. И когда мы слушали его, верилось, что именно так он и «переживал» это первое утро войны. Казалось, что он до сих пор еще сам радуется, что все обошлось так благополучно.

БРАТЬЯ

Старший брат командира дивизии, генерал-лейтенанта, состоит при нем ординарцем. Он накрывал нам на стол без суеты, со сдержанным благоговением к исполняемым обязанностям. Его простецкое, крестьянское лицо, чисто выбритое, крупные, узловатые, но менее загорелые, чем у солдат, руки, повадка, голос, тихий, учтиво-грустный,— все это позволяло представить его почтенным, заслуженным официантом столичного ресторана, которого зовут уже не иначе, как по имени-отчеству. И генерал называл его по имени-отчеству, стремясь, может быть, сгладить некоторую неловкость того положения, что старший родной брат у него в денщиках. Впро-

чем, генерал, как истинный брат своего простецкого брата, не мог не видеть в этом сближении своей и братниной должности собственного, подчеркнутого этим обстоятельством, блистательного «роста», как говорят. «Вот я как вырос, вот из каких я простых вырос людей»,— как бы заявлял он, когда спешил в первые минуты знакомства уведомить нас о том, что ординарец — это его родной брат, одна фамилия, одна кровь. И, безусловно, старшему брату все это было также по душе: «Вот у меня какой брат, хотя мы люди простые, судите по мне, самые простые люди, а вот же...»

Генерал был хорош не только тем, что воевал дерзко и успешно, был храбр, удачлив, весело-самоуверен, легок и в меру горяч, но было приятно отметить в нем еще одну черту. У него не было той напряженной заботы о личном комфорте — в любых условиях войны,— которая хотя и понятна, и вполне извинительна, но не сказать, чтобы так уж украшала человека. У него не было обостренной слежки за тем, все ли, всякую ли минуту понимают и достаточно выразительно дают ему знать о том, как преисполнены трепета перед его званием. Мне показалось, что, когда подчиненные докладывали ему что-нибудь вполне дельное и разумное, существенное для боя, они бы могли его назвать по имени, обратиться на «ты» — он бы того не заметил. Иное дело, когда существенность заменялась формально безукоризненной определенностью фраз, оборотов, терминологии. Тут он вскипал и начинал с требования формально безукоризненной, уже, может быть, немыслимой в своем совершенстве, округленности обращения, «подхода» и т. д.

Я проснулся на восходе августовского солнца в сарае, пыльном от сена, в лучах света, бивших по щелям. Генерал сидел у аппарата в кителе с поломанными погонами, курил, думал что-то свое и смотрел на меня неузнающим и бессознательно сердитым взглядом красноватых, слезящихся от кашля глаз, но тотчас замахал рукой, кашляя.

— Здравствуйте, здравствуйте...

Я вышел на подворье усадьбы, прошелся к дому и столкнулся со старшим братом генерала. Он почтительно, по-солдатски приветствовал меня, но сразу же обратился к своим обязанностям. Он принимал от солдата молочный бидон, и я услыхал и запомнил, как он с мяг-

кой наставительностью и примерным негорячливым сокрушением говорил:

— Как же это ты додумался, а? Нетопельное молоко — генералу, а? — Он так именно и произносил почему-то: «нетопельное».— А ты прежде подумал бы. Нетопельное! Думать надо, дружок. Не нам с тобой молоко, а генералу несешь. И — нетопельное! Ах ты, ах, как ты рассудил!

О СТРАХЕ И БЕССТРАШИИ

— Немец пошел бедный. Куда не тот, что в обороне. Бывало, в первую траншею ворвись — тут тебе сигареты, шоколад, то, другое. А теперь тридцать верст за день дашь — на закурку не разживешься. Главное — покурить нет. Сзади все наше поотстало, а впереди — гладко, потому что его военторг, должно быть, уже и не ездит в нашу сторону. Так и идешь: вот покурю, вот покурю — нету! Хоть бы с самолетов табак сбрасывали, что ли. А то немец листовки сбрасывает: «Догоняйте меня, в плен сдавайтесь». Завернуть, значит, есть во что. А нашим невдогад табачку сбросить! Организованности нам не хватает, это верно. А так все бы ничего!

* * *

Пушки во ржи, пушки на жнивье, замаскированные снопами. Пушки на марше, замаскированные поспевающим, бледно-желтым и ярко-зеленым горохом в стручках. Расчеты едут и шелушат стручки. Пушки впереди, пушки сзади, с боков, пушки в ряд, уступом, веером,— тяжелые, многозначительно угрюмого вида корпусные, щеголеватые полковые прямушки, верные слуги и наперсницы пехоты, с виду совсем не солидные противотанковые сорокапятки и солидные, не без высокомерия, длинноствольные истребительные, «противотигровые». Пушки, гаубицы, самоходные орудия. Командир соединения, узнав, что на его участке появились свежие немецкие танки, говорит:

— Пусть. У меня девятьсот стволов без работы.

Только теперь можно понять, представить, доугадать, насколько серьезно было наше сопротивление противнику в 1941 году, при общем отступлении, и насколько страшна была и тогда война среднему, «личному» немцу, хотя он знал и видел, что успех на стороне его армии,

что мы отступаем, попадаем в окружение, теряем города, области. И вдруг какая-то минометная батарея стоит, не сходя с места, пока есть чем кидаться. И кидается, и с ней надо сладить прежде, чем двинуться вперед победным маршем, и прежде, чем сладить, положить немало своих людей, расстрелять порой уйму снарядов, потерять дорогое время. Или вдруг заблудший бомбардировщик, выскочивший в тыл к противнику с его признанным превосходством в воздухе...

* * *

Бомбят всегда не там, где ты стоишь или лежишь, а всегда где-то в сторонке. Так всегда будет казаться, иначе казаться не может, покуда жив.

Что значит привычка к опасности? Знание того, что и когда действительно опасно. Если человек не боится хотя бы того, чего бояться вовсе не нужно, и спокоен, когда действительно можно быть спокойным. Уже этого достаточно, чтобы в глазах новичка на войне выглядеть не ведающим страха человеком. Но беда в том, что поначалу, а иные и не поначалу, люди на войне боятся того, чего не следует бояться, на что не следует тратить душевные силы, стараясь держаться прилично,— там просто никак не надо держаться, ничего нет. Но сколько нужно привычки, чтоб хотя бы не вбирать голову в плечи, не кланяться, когда свои снаряды пролетают над головой!

Я помню молодцеватого, видавшего виды генерала-фронтовика, который мгновенно скатывался в ямочку, чуть «мессер» нарывался на лесок, где мы сидели.

Лесок был приметен среди поля, мал и жидок, а в нем было напихано много машин, примаскированных как раз настолько, чтобы обратить на себя внимание. И помню такую картину. Эшелон с новыми, откуда-то издалека прибывшими бойцами, образцово обученными, но не воевавшими еще, стоял на разъезде ночью среди ржаных полей в Западной Белоруссии. Вдруг небо заиграло прожекторами из края в край, зенитными разрывами, и вскоре приблизился гул немецких самолетов, шедших на Минск, находившийся уже в тылу у нас. На разъезде стоял и наш поезд-редакция, и мы уже знали по прежним ночам, что немцы летят не сюда. И наши девушки из вагона-типографии смеялись, видя, как весь этот эшелон по тревоге, организованно, без паники, но с очевид-

ным усердием и охотой в выполнении команды устремился в мокрую рожь, распространился далеко по обе стороны полотна и долго сидел там и долго собирался обратно к вагонам.

Идя по Москве в первый раз и зная, что ежедневно на улицах под колеса попадает около десяти человек, ты во власти страха, ощущения повсеместной и ежеминутной опасности. И действительно, если не будешь осторожнее других, можешь скорее других попасть под трамвай. Но если ты уже привычный москвич, то идешь, беседуешь с приятелем, глазеешь по сторонам и механически переходишь улицу там, где надо, или даже и там, где нельзя, но с навыком, с инстинктом времени и расстояния, который позволяет тебе пройти перед самым носом машины, и с привычным доверием ко всему, что обеспечивает твою сохранность,— сигнализации, бдительности водителей, надежности тормозов и т. д. И при всем этом ты все-таки можешь попасть под трамвай, под автомашину, быть убитым, изувеченным или легко раненным. Но легко относишься к этой возможности, минующей тебя день за днем, год за годом. Конечно, статистика жертв уличного движения и статистика жертв войны — вещи очень разные, но в привычке к опасности на войне есть нечто похожее на привычку бывалого столичного пешехода.

Еще замечается, что чувство страха злее и неотвязнее при наличии некоторых благоприятствующих ему моментов — плохого настроения, недовольства собой. А казалось бы, здесь наоборот,— нет! И гораздо слабее при общем хорошем самочувствии, осознании себя на своем месте («если и убит буду, я не виноват»), чувстве долга и вообще чего-то хорошего за собой — верности, честности, незаурядности. Решающее же дело — ответственность за множество людей, подчиненных, доверенных и доверившихся тебе, видящих в тебе образец. Наконец, реальная, практическая возможность огрызнуться — при всей условности этого в современной войне,— ответить тому безымянному и невидимому, что посылает тебе смерть, страх, смертью же и страхом.

ПО ЛИТОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

Дороги хорошие, но узкие, рассчитанные только на гужевой транспорт. Тишина полей с перестоявшим уже урожаем. Мужики и бабы, не говорящие по-русски, косят рожь. Косят не с лапкой, а с гладкой дужкой из прутика у косы и кладут подкашиваемую горсть на ниву, а не от нивы, как у нас. Здоровенные девки в усадьбах стригут овец и так быстро и грубо действуют большими пружинистыми ножнями, что кажется — вот-вот хватанут за живое, но нет: щелкает ножнями, сваливая шерсть шубой, как будто свежуя овцу, а та лежит, бледно-голубая, страшно уменьшаясь в размерах. Запах ржаной и яровой соломы по гумнам, запах жирной, немытой шерсти по дворам.

Дорога лесом — то сухая, обдуваемая сосновой сушью и гарью от свежих выжигов на лесосеках, то свежая, прохладная в сырой тени, с песком, как после дождя, шумящим под колесами.

Места, где война прошла, не поразогнав людей, не обезобразив землю. Августовская, любимая с детства пора, что так подходит теперь и к возрасту.

Только теперь, кажется, научился любить природу, не только загорьевскую, смоленскую, не только даже русскую, а всю, какая есть на божьем свете. Любить, не боясь в чем-то утратиться, не изменяя ничему и не томясь изменой,— свободно.

* * *

А наши, русские девки и бабы с детишками и подростками,— орловские, брянские, смоленские — бредут, бредут оттуда, из-за Немана, по этим проселкам, где войной и не натоптано как следует. Бредут к родным местам, точно торопятся еще поспеть к жнитву, к уборке,— кругом-то хлеб, труд, тишина. Бредут к обгорелым трубам, к пепелищам, незажитому горю, которого многие из них еще целиком и не представляют себе, какое оно там ждет их.

Раненые. Солдат на грузовике с длинноносым, небритым, суровым и испуганным лицом, рука на перевязи, другою держится за борт, поминутно как будто сплевывает что-то изо рта: «Тьфу, тьфу...» 61

Полковник, трясущийся на телеге на руках у санитара, может быть ординарца. На груди и шее что-то све-

жекровавое, какие-то тряпки,— вглядываться не станешь...

Пешие, на машинах, одиночками и группами. Кровь — конец строгости в одежде. Он уже может идти без пояса, с нижней рубахой, выбившейся из штанов, с распоротым рукавом, без шапки.

Огневой налет на деревушку, откуда все раненые, видимый в полной жуткой натуре: лес, темно-сизый, кудлатый, вдруг выросший и вдруг рассыпавшийся в пыль по горизонту...

* * *

Дом в лесу, пустой, захламленный, должно быть, немцами-ночлежниками. Вытоптанный малинник и грядки огурцов, поломанные ульи, кучки гусиных перьев в крови под яблонями. Внутри дома все настежь. Сено на домашних диванах. Кости, корки хлеба, огрызки яблок, раздавленный на полу отварной картофель.

И запах откуда-то, не то из подвала, не то с чердака, запах, который всегда отличишь,— трупный.

С ДОРОГИ

Осенью 1944 года мне случилось совершить поездку с фронта далеко на восток, по пути, пройденному нашими войсками в горячие месяцы летнего наступления. Собрались мы в дорогу утром на подворье одной прифронтовой литовской усадьбы, откуда можно еще было отчетливо слышать артиллерийскую пальбу. Но уже эта усадьба была тылом, война прошла ее, почти не нарушив ладной, медлительной жизни маленького крестьянского мирка.

Утром вместе с нами на усадьбе поднялись какие-то ездовые и стали запрягать. Им нужно было на запад, к фронту, нам — на восток. Хозяин, маленький, усатый мужчина в толстом вязаном жилете и в шляпе, погромыхивая деревянными подошвами хожалых башмаков без задников, сошел с крылечка, прошел по разбитой кирпичной дорожке вдоль скотного двора и сараев. Повозки обозных еще не тронулись, бойцы, поеживаясь от утренней сентябрьской ядрености, грелись дымом — курили. Литовец взялся было убирать натоптанное и перебитое с навозом сено, где стояли кони, но, словно почувствовав невежливость такой спешки, оставил грабли. «Виллис» наш задом выкатился из ворот

сарая и с дымом проложил след по росистой усадебной травке. Хозяин начал закладывать подворотню, мы подождали, чтобы проститься с ним, и через минуту выкатили на мягкую полевую дорожку, что вела на шоссе...

В сводке Информбюро в этот день говорилось, что на участке нашего фронта поиски разведчиков и артиллерийская перестрелка. А одна из страниц фронтовой газеты рассказывала о наших автоматчиках, окопавшихся на том берегу Шешупы, на немецкой земле.

И мысль об этих людях долго не покидала нас в дороге. Узкое шоссе огибало крутые выступы лесистого берега Немана. Темная, по-осеннему тяжелая вода реки шла справа, то в отдалении, то совсем близко, у белых столбиков дороги. И как будто эта вода, от которой прохватывало густой, пронизывающей свежестью, не давала забыть о такой же по-осеннему неприветливой воде Шешупы, которую на днях перешли наши ребята по зыбким, глубоко затопленным доскам маленькой переправы.

Один из них воевал уже три с половиной года. Три с половиной года шел он по земле, сотрясаемой ужасными толчками разрывов, по земле изрытой, вскопанной и перекопанной,— и то была все своя, родная, советская земля.

Он отступал на восток, оставляя за собой сотни, а где и тысячи километров земли, что ложилась под колеса и гусеницы вражеских войск,— и то все была своя, родная, советская земля.

Три зимы и четыре лета он зябнул на ней, томился от жары и пыли, страдал, переносил муки смертельного страха, лежал, может быть, на ней раненый, хоронил в ней павших товарищей,— и то все была своя, русская земля.

На ней он изведал великую и святую радость победы, превосходства над противником, увидел колонны пленных немцев, понуро и жалко шагавших по его дорогам,— и то все еще была своя мать-земля.

И было уже очевидно, что враг сломлен, что грозная для мира сила его падает в прах, и наш воин уже смело и дерзко врывался в его тыл, опережал его бегущие, расстроенные полки и дивизии, корпуса и армии, окружал его, выходя порой на целые сотни верст вперед,— но то все еще была своя и своя, русская, советская земля.

Уже ни одно сердце из наших сердец не сомневалось, что угроза для родной земли миновала бесповоротно, но все еще под ногами нашего воина была своя земля, несшая всю тяжесть войны на себе.

И вот он, воин-освободитель, наконец-то там, за Шешупой, на чужой, немецкой земле, на земле, откуда пришли *они,* которая взрастила их поколение, причинившее людям столько горя.

И хоть земля всюду земля, все ж он, должно быть, по-особому ощутил холодок сыпучих стенок окопчика, вырытого в ней — в немецкой земле.

И многое-многое еще можно было бы сказать в связи с этим как будто и небольшим в масштабах фронта событием — выходом горстки наших за границу родной державы...

Шоссе выравнивается, люднеет, незаметно сливается с главной улицей города, пестрящего яркими черепицами крыш и причудливо расцвеченной листвой плюща, сплошь завесившего местами стены домов и железные решетки садов и палисадников.

За городом Неман постепенно уходит вправо. Нет-нет опять подвернет к дороге, опять повеет густым холодком осенней воды и, наконец, мелькнув вдали широким и вольным изгибом, совсем скрывается из виду.

Мы едем по дороге, что прошли войска фронта в жаркие месяцы минувшего лета. Места недавних боев сменяются местами, где война уже забывается. Следы ее то более или менее явственны, то совсем незаметны. Успехи нашего наступления лишили немцев возможности причинить этой земле такой ущерб, какой они причинили иным нашим землям, где борьба была более затяжной и трудной. Разрушенные и обезображенные города, сожженные деревни, поля, изрезанные траншеями долгой зимней обороны,— это по нашей дороге еще впереди. А покамест по сторонам шоссе редки трубы пожарищ, редки воронки и окопы. Скирды хлеба, убранного вовремя, молотьба на токах; обычное, мирное течение жизни радует душу, отягченную впечатлениями горчайших потерь, картинами диких разрушений.

И как значительна каждая мелочь, каждая примета жизни, быстро входящей в свое привычное русло!

Чего стоит один этот гребень крыши, сорванный взрывной волной и так тщательно, по-хозяйски, под гребенку, вровень с уцелевшим скатом, заделанный соло-

мой нынешнего урожая! Человек, так позаботившийся о сохранности строения, твердо верит, чует глубоким, безошибочным чутьем, что неприятелю не быть обратно, что пора глядеть вперед, гадать о жизни, о будущем.

Редеют машины на дороге, на контрольном у нас спрашивают уже «пропуск за границу фронтового тыла», все меньше военного народа, даже строителей не заметно: новые мосты уже обкатаны, и свежевыструганные их перила успели обвянуть и потемнеть. Кажется, где бы здесь быть солдату — прифронтовая полоса давно позади. Нет, глядишь, тащится мягкой обочиной повозка, а рядом с ней запоясанный прямо-таки по-зимнему немолодой боец.

Куда он правит и долго ли ему так плестись, держась за боковину повозки, груженной какими-то сетями, корзиной со свежей клеверной отавой и всякой дорожной снастью, вплоть до косы, по-мужицки толково и безопасно пристроенной на возу?

— Да вот старшина приказал доставить. Опять же приказал, чтоб лошадь не изнурять. А не изнурять — так мы его понимаем: и покормить и отдохнуть дать. Так и едем. Собралось двое нас, стариков,— говорит он, кивая на лошадь с улыбкой, выдающей его добрую крестьянскую привязанность к лошади и, может быть, их взаимную дружбу.— Год рождения? Мой-то? Одна тысяча восемьсот девяносто четвертый. А? Аккурат пятьдесят. Что поделаешь! Трое уже сынков воюют, да вот и батька как-никак пособляет. Надо!

Он трогает левой рукой вожжи, правой по форме приветствует нас на прощание.

И эта мужественная, неунывная интонация последнего возгласа: «Надо!» — так шла к его широкой, немного сгорбленной спине в шинели, запоясанной не столь щеголевато, сколь основательно. В ладной и емкой походке его было что-то и солдатское, и разом крестьянское, трудовое. Такой именно походкой идут рядом с возом, когда воз тяжел и дорога не близкая. Так же шагает солдат с полной выкладкой на походе, зная, что до привала шагать и шагать.

И кажется, только русскому человеку свойственно сказать вдруг простое, малозначащее слово так, что оно служит за десятки иных слов. Надо! Вот он везет куда-то какую-то рыболовную снасть — надо. Велели коня беречь в исправности — надо, бережет. Сынов растил,

поднимал одного за другим на ноги, пришло время — надо, снарядил на фронт. А там — надо, и сам пошел. Надо немца добивать, а там и домой возвращаться, дом настраивать, колхоз поднимать. А оно нелегко: где немец прошел, нажитое годами в один день сжег, истребил. Да, нелегко. А ничего — надо!

Как скажет трудовой простой человек это слово, так, значит, тому и быть. И никакая сила на свете не остановит его в выполнении осознанной задачи.

Надо! Так тому и быть.

«ЛЯВОНИХА»

Вечером, по дороге от Вильнюса к Минску, пришлось менять скат. И едва замолчал мотор, как до слуха дошли звуки очень знакомой музыки. Получилось, что мы будто нарочно остановились возле этого домика на голом взгорке. Там играла гармонь, но не простая, а не иначе баян — по многоголосию и тонкой осложненности простого, совсем-совсем знакомого мотива. И играл, видимо, мастер своего дела.

Мы вслушались как раз в тот момент, когда он начал как бы нехотя, с этакой округлой раскачкой выводя мотив, обещая, однако, вот-вот взять иной темп,— это угадывалось прежде, чем слух определил, что играют «Лявониху», чудесную белорусскую плясовую. В вечернем воздухе, по-осеннему чутком, она звучала с такой подмывающей и щемящей силой, что и водитель, уже поддомкративший задний мост, работал, стараясь не слишком греметь ключом.

«Ах, Лявониха, Лявониха моя...» — словно бы неслось оттуда, из домика, и казалось, это он сам, небольшой, четырехоконный, опрятный, весь звучал этой песней.

Ах, «Лявониха»! За каждым мотивом, слышанным когда-либо, как за каждым запахом цветка, целая бездна воспоминаний, лучшая половина жизни, а то и целая жизнь.

Ах, «Лявониха»! Впервые я слышал твой славный, ухарски-озорной и вместе печально-нежный лад давно-давно, не только до войны, задолго до юности, в детстве, где-то в родных местах, куда его случаем занесло, может быть с каким-нибудь ярмарочным гармонистом.

И, пожалуй, он и тогда уж что-то напоминал мне, точно он вошел в мою душу безвестным путем еще раньше. Много позднее, в юности, когда мне случилось быть на одном из больших белорусских празднеств в столице республики — Минске, я вновь услышал его и увидел эту пляску на сцене большого концертного зала. Здесь уже я знал, что это «Лявониха», и мотив ее еще глубже тронул меня. Прошло еще много лет, прошла молодость, прошло многое безвозвратно, только война не прошла еще, и вот где-то на границе Литвы и Белоруссии я слышу вдруг «Лявониху». Нет, я еще ее где-то слыхал, не может быть, чтоб это за всю войну впервые...

Тут мы, вслушиваясь все бережнее и напряженнее, обмениваясь меж собой от волнения растерянными улыбками, явственно расслышали, что все убыстрявшемуся темпу музыки вторит глухой, грубый, но согласный стук и грохот пляски.

Мы с товарищем не выдержали и пошли к домику по стежке вверх, вдоль грядок с отцветавшим и уже вышедшим в головки маком. Чем ближе мы подходили, тем озорнее и нестерпимее заливался баян, сбивая с ноги. Баянист ударялся вдруг в такие тонкие, петушиные верха и то вдруг «прорезывал» на басах,— половицы дома тем часом отдавали все, что могли.

Дверь была настежь, всюду, даже в сенях, толпились женщины, девушки, много наших бойцов и два-три молоденьких офицера. Один из них, с трехэтажной нашивкой за ранения и орденом, плясал на кругу. Пилотка чудом держалась на его необыкновенно густой копне темно-русых волос с выцветшими от солнца чубами налево и направо. В паре с ним плясала девушка в военном. Широкие кирзовые голенища сапог свободно ходили вокруг ее стройных, хотя и довольно полных икр, а форменная юбка была в обтяжку. Но это не мешало ей плясать легко, с непринужденной игривостью, с настойчивым и неуступчивым вызовом по отношению к лейтенанту в пилотке. Пилотка у него вот уже вот должна была упасть — такие он штуки выделывал — и все держалась, точно прихваченная к волосам шпилькой.

За многолюдьем круга не вдруг было рассмотреть, где же баянист. Он сидел на лавке спиной к столу, на котором была неубранная посуда, тихо позвякивавшая и словно ходившая по столу в темпе пляски. Это был немного сонный парень с широким, здоровым лицом, на котором выражение сонливости и снисходительной важ-

ности становилось тем заметнее, чем лише и забористее он выводил виртуозные обороты плясовой. А короткие загорелые пальцы бойца как будто и не торопились бегать по белым пуговицам, как будто они только следили за порядком, а играл сам баян — на то, мол, и инструмент такой дорогой.

И удивительно было, что при всеобщем внимании к той веселой и полной какого-то особого жара борьбе, что происходила на кругу, гулянка, неизвестно по какому поводу возникшая, гудела разнообразной, рассредоточенной по всем углам жизнью. Мне запомнилось особенно, как в полутьме, за кругом, под шум и грохот веселья, один боец, увешанный медалями и значками, говорил что-то пожилому крестьянину, должно быть хозяину дома, не то поляку, не то белорусу. Ни одного слова я не слыхал из того, что он говорил, но жестикуляция его была так выразительна, что я наверняка знал, о чем он мог говорить. Вот он охватывает пространство перед собой обеими руками так жадно и решительно, что слушатель чуть подается назад. Потом ладонями рук делает загребающие, манящие движения — сюда, мол, сюда,— потом быстро сдвигает ладони клешнями и сводит их вместе, но не просто, а с видимым усилием. Затем быстро вэбрасывает обе руки со сжатыми по-особому кулаками и торчком, торчком, с яростью месит то пространство, что он только что обозначил сведенными вместе руками... Это был не иначе обзор операции по окружению и уничтожению войск противника.

Но где же я еще на войне слыхал «Лявониху»?..

Вот баянист налегает грудью на свой горделивый инструмент и, чуть ли не хмурясь от важности, выводит что-то уж совсем небывалое, но как раз то, что нужно разгоряченному ходу пляски. Вдруг лейтенант вэбрасывает головой, пилотка наконец валится с головы, едва зацепившись за чуб,— но нет, это он нарочно. Следующим, столь же ухарским движением головы он садит ее на место и, продолжая выделывать колено за коленом, прижимает руки к груди, кланяется, отступает, наталкиваясь спиной на тесно стоящих зрителей: «Весь, не могу больше...»

«Ага,— руками, ногами и всей наступательной выходкой как бы говорит девушка,— ага, весь? Нет, держись, если взялся, воин».

— Митя, не уступи! — подает кто-то отчаянный призыв из толпы, видя все это.

— Нет, боюсь, шов разойдется,— шутит, запыхавшись, лейтенант, все еще продолжая плясать.

И девушка с выражением ласкового и лукавого торжества на потном, раскрасневшемся лице и в больших серых влажных глазах начинает щадить его, тоже отступая и раскланиваясь на ходу.

И, прежде чем гармонист оборвал, я вспомнил, когда еще я слушал такую игру на баяне и смотрел пляску вроде этой. Это было где-то под Юхновом, в зимнем лесу, полном дыма и пара, шедшего из сугробов, под которыми глубоко в промерзшей земле укрывалась окопная жизнь. Как это далеко отсюда, как это давно было!

Плясала тогда на кругу, под сосновыми накатами большого блиндажа, одна женщина с петлицами военного врача. Она была родом из Белоруссии, и запомнилась мне еще потому, что при вручении ей в тот вечер ордена сказала вместо: «Служу Советскому Союзу» — «Служу советскому народу»,— и страшно смутилась, думая, что допустила непоправимую ошибку. А потом разошлась и плясала до пота родную «Лявониху».

Ах, «Лявониха», милая песня, вон как ты далеко побывала и назад воротилась!..

Мы потихоньку вышли. Застоявшийся «виллис» рванулся по еще светлому шоссе. И долго в пути его ход складывался нам на мотив: «Ах, Лявониха, Лявониха моя...»

И я вспомнил, что мог вспомнить из этой песни, подбирая строчку к строчке и, должно быть, изменяя что-нибудь, путая белорусский с русским, подставляя недостающие слова, чтобы только не терять лада, надолго в пути захватившего мою душу:

А Лявониху Лявон полюбіў,
Лявониси чаровічкі купіў,
Лявониха, душа ласковая,
Чаровічкамі палясkивала.
А чому ж тебе Пярун не забіў,
Як ты мяне у маладосьці любіў...

В КРАЮ ОПУСТЕВШИХ ЛЕСОВ

Как-то незаметно яркие пятна черепицы на зелени, какая-то общая резкость пейзажа сменяется более привычным русскому глазу сочетанием красок. Соломенные крыши, старые, слежавшиеся и обкатанные дождями, изредка новые, золотисто-белые либо уже поблекшие и посеревшие. Больше становится березы: порой она выходит к самому шоссе и на километр-другой выстраивается аллеями, точь-в-точь такими, как где-нибудь вдоль большаков Смоленщины. То дерево с полной и широкой купой ветвей, то древний, дуплистый ствол с одним-двумя большими суками и обломанной верхушкой, то пень, выжженный внутри, то огромный выворот с ямой под ним, похожей на воронку от большой бомбы.

Леса, на десятки километров тянувшиеся здесь,— местами у самой дороги, так что ветви их чуть не сплетались над ней,— леса повсюду отступили на пятьсот метров в одну и в другую сторону. Это немецкие вырубки, мера, вызванная действиями партизан. Едешь сейчас этой дорогой, меж двух стен так широко расступившегося леса, смотришь на безобразные пни у самых кюветов и думаешь: какой же поистине животный страх заставил завоевателей производить эти чудовищно нелепые и варварские вырубки! И как будто это могло обезопасить их движение по дорогам партизанского края! Ведь все равно у мостов им приходилось возводить те деревянно-земляные крепости, что видел каждый проходивший здесь в летнее наступление, развешивать колючую проволоку в три и в четыре кола, рыть средневековые рвы вокруг этих своих крепостей, минировать подступы к ним, ездить не иначе как под охраной пулеметов и даже пушек,— и все равно бояться.

Края вырубленных лесов еще не успели затянуться зеленью кустов подлеска и боковых, раскидистых сучьев. Больно и как-то странно видеть край леса, желтеющий стволами сосен, не закрывающих потайную, укромную глубину леса. Чем-то это похоже на здание, половина которого сверху донизу отхвачена силой взрыва, обнажены внутренние стены, крашенные каким-нибудь голубеньким цветом. И хочется это заровнять, заделать, закрыть наружной стеной.

Всем памятны нынешние летние дни, когда в этих

лесах, верно служивших всю войну партизанам и внушавших ужас захватчикам, бродили, порой уже в глубоком тылу, немецкие разбитые и разрозненные, давно обойденные и окруженные полки, дивизии, отряды и мелкие банды. Так и говорили в те дни партизаны: «Мы — из лесу, они — в лес...»

Но лес им не помог. Проскитавшись неделю-другую, ослабев от грибов и земляники, они вынуждены были покидать убежище, что надежно и верно служило своим.

Наш воин, попадавший в окружение в сорок первом году, скрывался в лесу только от глаз противника. У жителей он мог найти пищу, пристанище на время, мог сменить одежду, расспросить дорогу к фронту, взять иного деда в проводники.

Немцу-окруженцу нечего было рассчитывать на что-либо подобное.

Леса опустели сейчас. Остыла зола в очагах партизанских землянок, прибиты дождями следы немцев, безнадежно искавших спасения там, где их могла ждать лишь гибель. Только отдаленный и все же внятный шум и рокот белорусского леса как бы говорит проезжему и прохожему о той полной драматизма, суровой борьбе, которая шла здесь, вдалеке от большой войны, но заодно с нею.

В Минске нас познакомили с одним из выдающихся руководителей белорусских партизан, батькой Минаем. Его дети были расстреляны немцами. Вместе с детьми в овраг вели их тетку, простую белорусскую женщину, у которой нашлись силы даже для того, чтобы до последней минуты отвлекать детей незатейливой выдумкой от горькой и жуткой правды.

Я смотрел на Миная, на его загорелое, сухощавое, твердо очерченное лицо рабочего человека лет сорока, слушал его тихий голос, не лишенный, правда, сдержанной силы. Он говорил о чем-то очень обыденном, сегодняшнем, говорил простецким языком, но в его больших и добрых карих глазах не потухал ровный, отстоявшийся свет скорби, принятой навсегда сердцем и скрытой в нем.

Сколько еще историй, примеров доблести, самоотвержения и благородного мученичества есть на этой земле, что лежит сейчас перед нами по обе стороны знаменитого Минского шоссе! Партизанский край... Многим краям и районам давалось это название, но особое пра-

во носить его как гордое воинское наименование — навсегда за землей Белоруссии. Вот она в скромной и строгой материнской красе идет по сторонам своих славных дорог, по берегам своих рек, от западных границ Великого Союза до той, ныне остывшей огненной черты, что отделяла ее, белорусскую землю, от нас в течение последних месяцев перед наступлением.

Орша остается справа, послушная, легкая гладь шоссе постепенно сменяется издолбленным полотном с редкими островками старого асфальта, со свежими, еще не укатанными заплатами: подъезжаем к бывшей линии фронта.

Тишина, тишина необозримого малохолмистого поля, на котором все осталось так, как было покинуто исторгнутым силой нашего огня противником и нашими войсками, устремившимися вслед. Путаница траншей, ходов, укрытий, брустверов из сухой, не поросшей ни одной травкой глины, концы переломанных, как спички, бревен, тенета ржавой колючки на поваленных и стоячих кольях. От этой проволоки, если глядеть на восток, в километре, в полкилометре можно различить другую линию — нашу, обращенную на запад.

Все это рылось, сооружалось, возводилось по озими, и белая, пересохшая и перестоявшая все сроки, пропустившая через себя столько огня и тяжелых колес ржица там и сям торчит на гиблой, безжизненно желтой или серой, как скала, земле. Зерно вытекло из колоса, и кое-где на перепревшей дернине, покрывающей накат полуразрушенного блиндажа, на давно не топтанном дне траншеи пробилось тоненькими красноватыми иглами всходов...

МИРОВОЙ ДЕД

Где-то на Витебщине, не то еще где в Белоруссии в пору, когда фронт уже откатился далеко на запад и о войне в той местности начали забывать, вдруг на околице тихой лесной деревушки упал и с жестоким грохотом разорвался снаряд. Затем другой, третий, пошло и пошло греметь. Убило корову и поранило девочку лет семи-восьми, что стояла при ней с хворостиной. Загорелась чья-то банька, с треском упала старая, дуплистая груша, оставляя высокий расщепленный пень. Разрывы относило все южнее, юго-западнее, и видно было, что

обстрел идет по какой-то дуге или по кругу. Вскоре люди опамятовались, кинулись туда-сюда, поскакали верховые, затрещали сельские телефоны, всполошились власти. Из района на место прикатили две грузовые машины с вооруженными людьми. Народ все бывалый, давай по слуху угадывать, откуда идет пальба. Оцепили лес, подбираются ближе и ближе на звук выстрелов.

Все можно было думать, но то, что обнаружили в лесу, на пустынной полянке, в голову не могло никому прийти. На полянке стояла легкая полевая пушка, вокруг валялись снарядные ящики, прикрытые давно осыпавшимся хворостом, а возле пушки управлялся один-единственный совершенно одичалого вида немец. Он был в лохмотьях, без шапки, длинные волосы и борода склеились, как птичье гнездо. Движения немца были, как у заведенного, равномерны и безостановочны: он заряжал и стрелял в белый свет, разворачивая свою пушчонку во все стороны. Признаки безумия были налицо. Дикий, потерявший рассудок немец-окруженец палил и палил куда попало. Не могло быть и речи о том, чтобы живьем взять его. На оклик «хенде хох» он с яростью начал кидаться ручными гранатами, и его пришлось прикончить.

Эту полуфантастическую историю рассказал мне житель некогда прифронтовой, а теперь оставшейся в глубочайшем тылу стороны, занятный и не хлопотливо приветливый старик. Он сидел возле избушки, срубленной из бревен, на которых еще видна была окопная глина.

На нем были солдатский ватник и штаны из маскировочной материи с зелено-желтыми разводами. Он сосал трубку, чашечка которой представляла собой срез патрона от крупнокалиберного пулемета.

— Далеко-далеко погнали его,— без особой горячности похвалил он в моем лице войска, что стояли когда-то здесь, а теперь воюют уже в самой Германии.— Ничего. Так-то оно еще подходяще...

Я не заметил, как дед перевел речь с истории об этом немце, которую он, может быть, сам наполовину выдумал, на немца в большом смысле:

— Теперь *он,* значит, дома. Свет прошел, назад воротился, а толку что? А? Ну, хотя *он* свой толк знает. *Он* думает: «Я буду все-таки сопротивляться до послед-

ней возможности, а там еще, может, что-нибудь...» Да-да... А может, *он* вовсе того и не думает, а видит одно — что *ему* спрыгнуть некуда. «Час, думает, день — и тот мой». Я так считаю, такое мое личное мнение...

Я любовался спокойной важностью и достоинством, с какими старик не то вел беседу, не то размышлял вслух.

— Да. Такое мое личное мнение,— задумчиво повторил он, поглаживая из-под низу свою негустую, серую, точно в золе, бородку.

Из малых расспросов короткой встречи я узнал, что дед этот почти сирота, что война его лишила двора и имущества и многих близких и что хозяйственные его дела и сейчас не блестящи.

— Картошка-то хоть есть у тебя?

— Картошка что! Картошка — не хлеб.

— Ну, а с хлебом как?

— Вон где хлеб,— он кивнул на гиблую соломку ржицы, белеющей кое-где под проволокой неубранных заграждений. Но кивнул он с рассеянием человека, занятого каким-то другим, гораздо более важным соображением. И вдруг, вынув изо рта свою трубку и показав ею куда-то через плечо, он закашлялся и рассмеялся.— Румыния-то? А? А-я-я-я-яй! Ну, *он* — хорошо, *он*-то хоть силу имел, и то где *он* теперь? А куда этим было лезть? А-я-яй! — Он вертел головой, как бы показывая, что не в силах выразить полную степень своего насмешливого сожаления к незадачливой державе.— А-я-яй!..

Мне хотелось знать поточнее местность, где произошла история с диким немцем, но старик только показал опять своей трубочкой через плечо.

— Да вот... было...

Я наугад подсказал один из районов, где проезжал летом, когда в лесах еще бродили остатки немецких разбитых и окруженных войск.

— Вот-вот, там, говорят, он и стрелял из пушки,— с готовностью согласился дед, хотя я был уверен, что, назови я другой какой-нибудь район, он не стал бы спорить.

— Все-таки странно,— заметил я,— как этот дикий немец сохранился в лесах один, как он набрел на эту пушку? Допустим, что это брошенное немцами орудие. Но все-таки вряд ли все это было в точности так.

— Понятное дело, люди что хочешь придумают,— согласился мой собеседник, и я увидел, что для него суть

дела не в том, насколько достоверен сам этот факт. Он не думал настаивать на его достоверности. Это было для него не более чем притчей, пришедшейся к разговору.

— Но вот что скажем теперь,— опять вернул меня дед к общим вопросам.— Ведь он-то, немец, потерял уже всякое понятие. Ему уже все равно. И никак, никак с ним нельзя иначе поступить, как только вот...— Он сделал рукой неторопливое захватывающее движение и как будто зажал что-то в большом узловатом кулаке.— Только!

В словах этого деревенского политика, во всей его свободной и полной достоинства осанке виделось что-то до того правдивое, народное, русское, горделивое в горести, сдержанное в торжестве и в целом такое победительное.

Уже мы развернулись, чтобы снова выехать на шоссе, когда старик крикнул нам вслед с такой будничной хозяйской озабоченностью, но опять же без лишней встревоженности:

— А что все-таки Турция сама себе думает?

Я не успел ответить, только помахал ему рукой, отъезжая, да вряд ли он и нуждался в моей оценке поведения Турции. Это было так просто: да, мол, кстати, чуть было не забыл про Турцию...

— Мировой дед,— сказал вдруг водитель, сержант Лукиных, когда мы уже далеко-далеко отъехали по шоссе от бывшей линии фронта.

ГОД СПУСТЯ

В раннем возрасте у человека есть только один город — город, в котором он родился, или город, ближайший к его местожительству. С детства, помню, у нас не говорили «Смоленск» — говорили «город». «Поехали в город», «живет в городе»... Город Смоленск был у нас за все города. Для деревенского мальчика он открылся много лет тому назад как особый и чудесный мир, с особыми, необычными для детской души приметами и законами жизни.

Прошло еще много лет, как пишется в книгах и как бывает в жизни, много воды утекло в речках, чьи названия так любовно бережет память, и человеку довелось приехать на родину. Это было в конце тридцатых годов, когда колхозная жизнь окончательно утвердилась в деревне, когда простые люди земледельческого труда по-

няли, что, кроме этой жизни, иной быть не может и не должно быть. Имена своих земляков я то и дело встречал в печати, в списках награжденных орденами и медалями нашего государства. Это были рабочие, колхозники — льноводы, доярки, свинарки, пастухи, звеньевые колхозных полей. И город, в котором прошла ранняя юность, был тогда городом, полным разнообразия своей культурной, хозяйственной и всякой другой жизни. Вы могли выбирать, куда пойти вечером: в сад, в театр, в кино, в клуб, где собирались люди своего «цеха», в том числе нашего, литературного.

Настали тяжелые для Родины времена, и одной из первых жертв подлого вражеского нападения оказался мой родной город, мой Смоленск, испытавший ужасы немецких бомбардировок лета 1941 года.

Затем шли долгие дни, когда о Смоленске и Смоленщине можно было только вспоминать. Они казались такими далекими, хотя находились за недалеко лежащей от Москвы линией фронта. Когда все это было? Как будто много лет назад. В прошлом году мне, смоляку, довелось с передовыми частями нашей армии вступить в родной город.

И вот я подъезжаю к Смоленску с запада, с фронта, чьи войска в это лето ушли от зимней линии за добрых семьсот километров. И то же волнение охватывает меня. «Виллис» подпрыгивает на булыжниках мостовой, знакомой мне с детства, утренний дым возрожденного к жизни города поднимается над новыми и старыми, полуразрушенными и полностью или частично восстановленными стенами зданий. И такое чувство, как будто боишься узнать о чем-либо очень печальном или ждешь большой радости, которая вот-вот должна наступить. Скорее, скорее доехать до Никольских ворот, свернуть в переулок, от которого осталось одно название «Никольский», подъехать к дому, одному из немногих уцелевших при немцах, еще издали увидеть за стеклами окна лицо, внезапно обеспокоенное радостной и тревожной догадкой...

Въезжая в Смоленск, я ощущал себя и тем, кто родился в Смоленске, из Смоленска ушел на войну и кому еще предстоит вернуться туда. Но нельзя было забыть и тех друзей моего любимого города, которые по месторождению так далеки от него и так много сделали для его освобождения и восстановления.

По внешним признакам город еще многим напоминает о днях нашествия, но приходится удивляться тому, что за один год так много сделано для его восстановления. Вода течет из кранов, дети играют на площадке возле школьного здания, которое я видел год назад в печальных дымах затухающего пожара. В городе, просто сказать, много людей — признак жизни. И пока далеко от него на западе идет война, гремят и ухают пушки, он, мой город, принаряжается и убирается, сколько можно и как только можно, к большому своему празднику — к годовщине освобождения от оккупантов.

Родина-мать! Чувство гордости и радости охватывает душу при мысли о твоем величии и силе. Только год назад новостью было освобождение Смоленска, а ныне в каких далеких краях твои войска свершают славный поход, творят правое дело освобождения людей от насилия нелюдей, выродков!

Слава тебе, советская Родина-мать! Слава тому, кому ты доверила свою судьбу и кто ведет тебя к счастью!

О РУССКОЙ БЕРЕЗЕ

Обычная картина в деревнях и селах, освобожденных от немцев: все палисаднички, загородки, скамеечки, столики сделаны из белых, не очищенных от коры березовых кругляшей толщиной в оглоблю. Такими же кругляшами отделаны входы в офицерские блиндажи; из них же построены назойливо аккуратные и мелочно затейливые беседки, киоски, решетки, лесенки, перильца, будочки. Береза, везде береза!

Правда, мне случилось видеть целый жилой флигель с верандой и мезонином, с окнами на две стороны, сплошь облицованный ровно, один к одному, пригнанными квадратами из коры вековых лип. Для этого была погублена целая липовая аллея, и флигель выглядел как четырехугольный, чудовищный и нелепый пень, увенчанный островерхой крышей. Немцу-генералу, который, по рассказам, жил во флигеле, нравился, видимо, темно-серый, очень мрачный тон коры, утратившей свою естественную мягкость, свою живую древесную теплоту. Но это редкость. Повсеместно — береза.

И странная штука: вид этого привычного и любимого дерева, употребленного с такой тщательностью и выбором на украшение земли, решительно чужд русскому пей-

зажу. Береза раздражает тебя не только тем, что из нее немец мастерит свою, чуждую русскому глазу, симметричную и мелочно затейливую городню, что он монтирует из березы отвратительный знак свастики, но и тем, что это просто не идет, не принято.

А не принято и не идет прежде всего потому, что береза под корой очень непрочна, сгнивает в одно лето. Оттого-то крестьянин никогда кола березового не вобьет в землю, не соскоблив коры. Изгородь не на одно лето городят. Здоровый практический смысл человека, живущего на своей земле, заботящегося о долговечности того, что он строит на ней,— этот смысл в первую очередь и определяет его отношение к красоте материала. Русский человек очень любит это родное дерево, садит его у самого жилья, издавна в дни старинных празднеств украшает им улицы селений, во множестве своих задушевных песен поет о «белой березоньке». Он охотно употребляет березу и бересту на всевозможные поделки. Но огораживать садик березовыми жердями под корой, украшать избу наличниками из неокоренных березовых палок — нет, этого не делали ни отцы, ни прадеды, не принято это было и в самые последние времена, принесшие русской деревне, ее облику столько изменений.

Но в том ли все дело, что береза под корой недолговечна? Зато, может быть, она действительно красива, подобранная и пригнанная кругляш к кругляшу в этих легких, полуигрушечных сооружениях, что немцы оставляли на нашей земле, покидая свои позиции? Может быть, это и у нас привьется?

Нет, суть не только в прочности материала, не только в здравом расчете на долговечность, а и в самой красоте. Это начинаешь понимать особенно ясно, когда видишь немецкие кладбища, оформленные также под березу. Ограда — из березы, кресты — из березы, к крестам прибиты косые срезы от толстых березовых кряжей — это для надписи. Черные зазоры коры на белой бересте, черные надписи на белом — все это действительно создает своеобразный кладбищенский тон и настроение. Но можно еще сказать, что это сочетание белого с черным и несолидно как-то, не столь торжественно, как требовалось бы в данном случае. В этом сочетании есть что-то сорочье.

А главное, конечно, в мертвенности. Мертвенность — вот сущее впечатление всего, что немец нагородил из бе-

резы. Чудное народное дерево безвкусно и кощунственно употреблено чужеземцем на украшение захваченной им земли. И молочная белизна смоленской березы стала мертвенной белизной, чуждой нашему вкусу. А немецкое вторжение и в этом, в затейливых березовых столбиках и жердочках, нашло себе символ временности, непрочности, могилы.

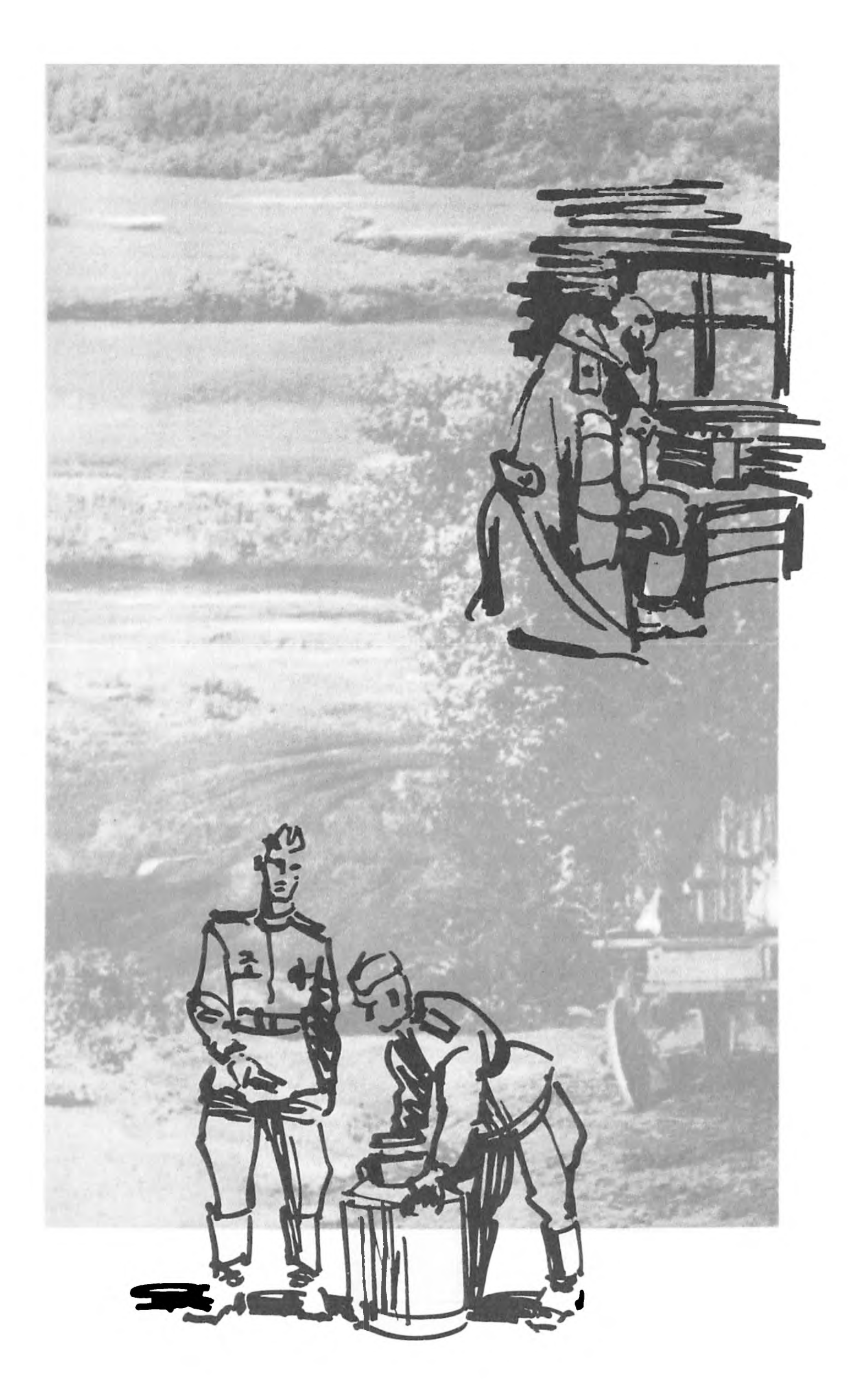
Где-то я читал или кто-то мне рассказывал об одном богатом немце, построившем себе в Восточной Пруссии, на побережье, дачу-дом в русском стиле. Дом был рубленный из бревен и крытый соломенной крышей «под гребенку». Изысканному вкусу владельца более всего дорог был светло-золотистый цвет соломенной кровли. Чтобы сохранить его, крышу заново перекрывали ежегодно, хотя известно, что соломенная крыша может служить десятки лет.

Чисто немецкая, какая-то невкусная и раздражающая причуда, родственная пристрастию немцев к русской березе.

В ГЛУБИНЕ ЛИТВЫ

Война так велика, если взять хоть по одной линии, от столицы до восточно-прусской границы, так велика от одного своего края до другого, от одного края до середины и от середины до другого края, так много уже вобрала в себя погоды, природы, времен года и стольким-стольким не дала дойти даже до середины своей, что и мы, живые, вряд ли еще сознаем, как бесповоротно мы постарели от нее, как много ушло жизни, втоптано в эти годы. И о многом (не самом ли главном?) уже нельзя начать речь, не сказав вслух или мысленно: это было, когда война еще шла на нашей земле.

Живем в русской деревушке вблизи железнодорожной станции, на путях которой стоит наш поезд. Русский народ, деревня, говорящая чисто по-русски, быт и природа, удивительно похожие на наши,— и все это за тридевять земель от большой России, в глубине Литвы. Когда-то здесь селили отслуживших солдат на льготных каких-то условиях. Издавна здесь было русское поселение, были русская школа, русский православный поп, церковь. И вот живут люди и до сих пор любят больше всего на свете Россию и ревниво, по какому-то священному инстинкту, берегут ее язык, веру, уклад жизни, несмотря





на многие препятствия тому, на притеснения, например, от литовских националистов. И мечтают о России даже те, что никогда не видали ее, родились и выросли и состарились. У нынешнего старшего поколения было свидание с Россией в годы первой мировой войны. Жителей этих мест эвакуировали на восток, куда-то, кажется, в Тамбовскую губернию. А затем будто бы «вытребовали» их сюда литовские власти, вернее же предположить, что они сами уже стремились сюда, где обжили как-нибудь эту на редкость безнадежную, песчано-подзолистую землю. А может быть, и Советской власти не захотели довериться по новости ее, потому что была возможность выбора, выбрали то, что привычнее, понятнее,— старое житье. Еще, должно быть, здесь имело значение то, что в разлуке с этой землей и она уже стала притягивать к себе как *родина,* родная земля.

Вокруг леса, полные диких кабанов, коз. Здесь была запрещена охота и проводились мероприятия по сохранению звериного поголовья. Зимой, например, вывозились картошка и сено для кабанов и коз в определенные, привычные для животных места в лесу.

Видел поваленные и раскряжеванные дубы в полосе дубового леса. Трудно было бы вообразить себе, если не видеть, дубовое бревно в два обхвата толщиной, длиной в двенадцать — восемнадцать метров и почти ровное в комле и в верхнем отрезе. Причем встречались кряжи совсем необычайного вида — дуб витой, как бывает ель витая.

На выходе из лесу как-то наткнулись на производство самогона. В отличие от нашей простой аппаратуры, в котле вертлюг с лопастями. Баба стоит и крутит ручку, чтобы не пригорело. Дед не хотел продать пол-литра. Показали ему деньги. Начал «продавать сома» — кинулся будто бы к соседям поискать. А у меня, мол, нету, не пошла еще. Баба вникла в наши с ним торги.

— Слушайте его, нету! Найдется.

Завела в хату, угостила и, если б не дед, не взяла бы, наверно, и денег. Она моложе его лет на двадцать пять — тридцать. Ему семьдесят, а детишки — мелкота: женат второй раз. Хутор — восемнадцать десятин, а живут грязно, бедно, без сада и огорода. Луковицы не нашлось в доме при угощении!

ЗА РЕКОЙ ШЕШУПОЙ

Город Ширвиндт, жестоко размолоченный прошедшими боями и до сих пор обстреливаемый немцами из дальнобойной артиллерии,— один из первых пунктов, занятых нами на немецкой земле. Свежие, еще не потемневшие от дождя груды кирпичной щебенки, безобразные зубцы стен, погнувшиеся в огне балки и обрывки арматурного железа, битая черепица, хрустящая под ногами, как ореховая скорлупа. Пыль штукатурки, толченого камня и какой-то сухой удушливой гнили красновато-серой мглой стоит вокруг, покрывает кузовы грузовиков, шинели и лица бойцов-дорожников, ковыряющихся на развалинах. Разрушенный город вывозят на дороги и вбучивают в раскисшие колеи, в трясину объездов, в колдобины и ямы прифронтовых шоссе. Иного материала для починки дорог здесь, на немецкой земле, нет!

— Дружно! Разом! — подает команду пожилой солдат с подоткнутыми под ремень полами шинели.— Нажмем!

Несколько бойцов, упираясь плечами в остаток стены, с грохотом обрушивают его внутрь бывшего дома.

— Ломать — не строить,— говорит пожилой, как бы смущенный тем, что его застали за таким делом. И выражено в одной этой короткой фразе все: и законное торжество победителя, и презрение к немцу, и горечь понесенных родной землей потерь, и дума о будущем, и тоска труженика-строителя по настоящей работе, и еще что-то, не менее важное, чего никак отдельно не выразишь.

* * *

Колонна приняла вправо, чтобы не ступать по воде, натаявшей на мостовой против дома, дышавшего пламенем изо всех окон вверху, витринных проемов в первом этаже и даже из-за решеток полуподвала. Сверху на мокрую мостовую упала горящая головешка. С ленивой и как бы презрительной лихостью боец на ходу, не сбиваясь с ноги, носком валенка отбросил головешку обратно в огонь.

Ему некогда было ни тушить этот пожар, ни даже смотреть, как горят эти дома, целые порядки тесно поставленных, дельных, вполне сохранных домов немецкого города. Он шел на выход из него, на запад по Кенигсбергскому шоссе.

Город горел, большой, пустой, обстреливаемый немцами немецкий город. Под низким, мглистым и задымленным небом морозного полудня его зловеще озаренные пламенем улицы казались ходами и переходами какого-то подземелья, преисподней. Длинные, густые космы пламени, там и сям выбившись из окон, схлестывались на наружной стороне простенка, сшибали вывески, выбрасывались за середину улицы, стремясь соединиться с огнем, бушующим на противоположной стороне.

Все — грохот взрывов, и звон стекла, и лязг гусениц, и цокот копыт на главной улице города,— все покрывается слитным, непрерывным, полным жуткой выразительности ревом огня.

Занимаются огнем крашенные масляной краской стены комнат, трещит и вспучивается от огня провощенный, туго пригнанный, дощечка в дощечку, паркет, горит обшивка, обивка, утварь, горит все, что способно гореть или гибнуть в огне. Горит город, оставшийся целым и сохранившийся все эти годы войны, когда не было уже в живых Смоленска как города, Вязьмы и сотен других городов...

* * *

На многих деревьях вдоль дорог Восточной Пруссии до сих пор держится листва. Сухой, шуршащий трепет ее на зимнем, вьюжном ветру провожал немцев, отступавших в глубь страны. Затем началась ростепель, и эта листва придорожных аллей, мокрая, распаренная, совсем уже не вязалась с весенними приметами — обтаявшей землей, взбухшим и уже треснувшим кое-где льдом на речках. Похоже, будто перепуталось что-то на этой земле, произошло не так, не в свои сроки и не само собой, а по иной, грозной и неотвратимой воле. Точно совершилась над этой землей предреченная ей и заслуженная страшная кара.

Но земля — только земля, и эта путаница в природе лишь внешнее сопутствие той поистине страшной кары, что разразилась над Неметчиной.

Было время, когда немцы в войне только приобретали. Они захватывали территории целых государств, вооружение целых армий, присваивали массу имущества, ценностей, материалов. Они заставляли работать на себя миллионы людей, вывозимых ими из оккупированных стран и областей.

Но с того дня, как они перешли нашу границу, они уже не могли приобретать не теряя. С этого дня дело пошло по-другому.

Они захватывали наши земли, города, всякое добро, угоняли наших людей в рабство, но теряли свои танки и самолеты, оставляли на наших полях тысячи и миллионы своих солдат и офицеров убитыми. Затем к этим потерям прибавилась потеря земель, захваченных у нас со всем их плодородием и богатством недр.

Теперь же они доля за долей теряли свою собственную территорию. Теряли своих пленников, что брели толпами на восток от фронта, теряли имущество, которое не успевали вывезти, свое вкупе с награбленным.

Они с каждым днем, с каждым часом уменьшаются счетом и весом, пространством и силой.

И наш воин, встречая по пути своего продвижения в глубь Германии разноязыкий люд, бредущий из плена домой,— будь тем домом Минск или Варшава, Париж или пограничные с Германией места Литвы,— он воочию, натурально видит себя воином-освободителем. Француз, поляк и люди иных языков и наречий с благодарностью машут ему рукой, шагая по обочине тесных немецких дорог, выкрикивают где-то пойманные и заученные два-три словечка по-русски. А то вдруг из толпы — голос одной души и сама родная русская речь в полной своей сохранности и красоте под этим чужим небом:

— Здравствуйте, родненькие! Спасибо, товарищи!

— Нет ли кого с Орловщины?

— Тут еще одна вяземская шла, девочка с ней вот этаконькая. Господи...

— Федорова не слыхали, Илью Ивановича? Военный тоже. С сорок первого года. Сын родной...

Без конца тянутся обозы, толпы и одиночки, семьи и землячества людей, обретших свободу. И как ни далека дорога на родину, сколько бы ни предстояло еще трудностей пути, они, эти люди, уже на родине, под верной защитой своих освободителей, уходящих все дальше на запад.

В САМОЙ ГЕРМАНИИ

Глубокая Германия, а снежные поля, вешки у дорог, колонны, обозы, солдаты — все как везде: как в воронежской степи, как под Москвой, как было в Финляндии.

Пожары, безмолвие... То, что могло лишь присниться

где-нибудь у Погорелого Городища, как сладкий сон о возмездии. Помню, отъезжали на попутной машине от фронта с давно уже убитым капитаном Гроховским: горизонт в заревах, грохот канонады, а по сторонам шоссе осенняя мгла, пустые, темные хаты. Помню живую боль в сердце: «Россия, Россия-страдалица, что с тобой делают!»

Но тот сон о возмездии, явись он тогда, был бы слаще того, что видишь теперь в натуре.

«Ломать — не строить» — все чаще вспоминаются эти невыразимо вместительные слова солдата-дорожника.

* * *

В горящем, шипящем и осыпаемом с неба снегом с дождем городе без единой души жителей, в пустом ресторане, при трех зажженных свечах, сидит мокрый и заметно хмельной солдатик, не то чуваш, не то удмурт, один как перст.

— Что тут делаешь?

— В тристоране сижу. Три года воевал, два раза ранен был, четыре года буду в тристоране сидеть.

— Что ж тут сидеть? Нет ничего ни выпить, ни закусить.

— Не надо! Выпил уже там,— кивок в сторону окраины города-фронта.— Хочу сидеть. Три года воевал.

— Попадет, брат, тебе. Шел бы, догонял своих.

— А это что? — заворачивает рукав шинели — там грязная бинтовка повыше запястья.— Я в госпиталь направлен. А я в госпиталь не хочу. Хочу сидеть в тристоране.— Удар кулаком здоровой руки по стойке, одна свеча падает.— Четыре года буду сидеть!

* * *

Еще одно воспоминание от Погорелого Городища.

Ночь, у шоссе костер на мокрой осенней земле. Разные военные люди — кто на корточках, кто на чурке какой-нибудь; греются, курят. Рассказывает какой-то авиатехник, недавно приехавший из Ташкента:

— В саду музыка, пиво, ходишь в одной гимнастерке, тепло, милиционеры за порядком следят. В домах свет...

Слушают с осуждением и вместе с такой мечтательной завистливостью крякают:

— Да-а!

— И говоришь — война. А?

— Война.

Среди военных, в кружке, стоит девочка лет десяти — одиннадцати, в мокрых, рваных больших ботинках на ногах, которые она изредка и робко поднимает к огню.

Девочку то и дело кликают с какой-то машины, где слышатся голоса детей, бабка какая-то, все там промерзшие, промокшие на машине. Везут их от фронта, они погорельцы. А девочка только отмахивается, точно бодаясь головой на всякий оклик. Лицо у нее усталое и по-взрослому сердитое — лобик с поднятыми вверх морщинками. Но слушает она про Ташкент с такой детской завороженностью, не теряя все же выражения усталости и сердитости. Наконец жалостно-требовательный, расслабленно-тягучий голос выводит ее из оцепенения:

— Анютка, иди, малый совсем зашелся!

Она оборачивается, отрывается от огня и сказки, с жестоким раздражением и слезами в голосе кричит:

— А ну вас всех в ж... от меня!

И идет к машине в слабом свете костра, ступая по грязи как-то одними каблуками, хотя, должно быть, передá ботинок уже мокры насквозь.

* * *

Немка, первая жительница, которую я увидел в Германии, была не то больная, не то обезумевшая. В деревянных башмаках, в обтянувшейся трикотажной юбке и какой-то зеленой, с бантиком, шляпке, она стояла у дороги, в одной руке длинная палка, в другой — хлеб, наш черный армейский хлеб — дал кто-то из бойцов. На нее смотрели как на диковинную зверушку, никто ее не обидел, наоборот, ее жалели, но жалели именно как зверушку.

Теперь их уже много прошло, немок, прислуживающих, убирающих помещения, берущих белье в стирку. Что-то тягостное и неприятное в их молчаливой работе, в безнадежном непонимании того, что произошло и происходит. Если б они знали, вернее — признавали хоть одно то, что их мужья и родственники вот так же были у нас в России, так же давали стирать свое солдатское белье,— да не так же, а гораздо грубее, с гораздо большим подчеркиванием права победителей,— если б хоть это они понимали. Но похоже, что они ничего не понимают, кроме того, что они несчастные, согнанные со своих мест, бесправные люди завоеванной страны, люди, которым мыть полы, стирать, убирать, услуживать, а кому — не все ли равно: тому, чья сила.

* * *

Вдруг вспомнилось, не то привиделось во сне, но с утра живу под впечатлением того, как ходил когда-то на станцию Пересна за книжками, в волостную библиотеку. По возрасту — мальчик-полуюноша, время года — предсенокосное, относительно свободное от работ по хозяйству. Зеленая рожь, прохладный ток стежки под босой ногой, ощущение свежей рубашки на теле, здоровья, свежести во всем мире. И надо же было вспомнить все это здесь, в поломанном войной городишке Восточной Пруссии!

Рядом с этим вспомнил уже сам, сознательно, как с братом Костей ездил в ту же Пересну на мельницу впервые. Таскали мешки к весам, ночевали в ожидании своей очереди, ели холодную баранину... Не знаю, как брат, но я был полон необычного и радостного чувства взрослости в связи с выполнением такого хозяйственного, серьезного дела, не замечая, что уже в том, что нас двое помольщиков с одним возом, есть что-то детское.

Там-то я слушал слепого Сашку, что пел по старой памяти про царицу и Распутина, припевая после каждого разоблачительно-непристойного куплета:

Это правда, это правда,
Это правда все была...

Потом, вспоминая, дошел до возвращения домой, где никто особенно не приветствовал нас и не дивился — все так, как и надо. И покамест я рассказывал дома про мельницу, про большой завоз, очередь и немалые трудности помола, брат по-будничному отпрягал коня и занимался на дворе всем другим, что положено.

СОЛДАТСКАЯ ПАМЯТЬ

В июле сорок первого года Алексей Федорович Богданов оставил должность бухгалтера приискового продснаба в Сибири и с тех пор воюет.

Весь свой боевой путь, от русского городка Демидова до земель Восточной Пруссии, где сейчас стоит его пушка, он помнит досконально, шаг за шагом, число за числом. Может быть, дело здесь отчасти в навыках его довоенной профессии, которая любит точность и аккуратность. А вернее всего сказать — не так легко забыть то,

что отмечено особыми боевыми метами в жизни человека.

Богданов стоит у своей четвертой за войну пушки. Одна у него была подбита до того, как он успел произвести выстрел, с другой он расстался, когда был сам ранен, третью разбили немецкие самоходки,— и все это, этапы боевой жизни, навсегда осталось в памяти.

Носит Богданов три ордена и медаль. И каждая награда не такое событие солдатской жизни, чтоб забыть, когда и где оно произошло. А разве воину, пострадавшему от вражеского снаряда или бомбы, не врубается в память навсегда место и время ранения или контузии?

Алексей Федорович не так молод, ему возле сорока, но он из тех русских крестьянских самородков, что обладают большим упорством, любознательностью и неуклонным стремлением к овладению какой-либо специальностью, делом, требующим настойчивости и терпения. Он заочно одолел высшую бухгалтерскую школу, стал работать по этой части и через несколько лет уже преподавал счетную науку на курсах, где среди слушателей была его жена, Татьяна Яковлевна, нынче заменяющая его на работе.

— Пошлите меня туда, где потруднее и помудренее,— попросил Богданов в военкомате.

Его послали в артиллерию. Положенный срок он усердно и пристально изучал это нелегкое искусство и прибыл на фронт наводчиком. Но здесь ему пришлось стать у пушки иного калибра и назначения, чем та, у которой он был на полигоне. Это его не смутило. Даже было интересно понять, схватить на ходу новое и особенное в деле, которое пришлось ему по душе. Огорчительно было то, что из этого первого своего боевого орудия ему не довелось выстрелить ни одного раза.

— Лучше б меня сперва ранило, но чтоб я успел пострелять из этой пушки,— говорил тогда Богданов, и ему можно было поверить.

Великое дело в бою — первая удача, первый удар, пришедшийся в точку. Но не в натуре таких людей, как Богданов, терять бодрость при первом неуспехе. Неуспех у него был под Демидовом, а под Духовщиной, из второй уже пушки, где он стоял наводчиком, были разнесены в пыль и щепки немецкий наблюдательный пункт и две пулеметные точки. Здесь Богданова ранило, и он ненадолго выбыл из строя.

Третья его пушка попала ему с легкой руки, как говорится. Возле деревни Ковалево, под Витебском, эта пушка-прямушка победила в поединке с таким же немецким орудием прямой наводки.

Зимой Богданов счастливо подвел перекрестие прицела под длинное, грязновато-белое туловище «Фердинанда», обстреливавшего шоссе Витебск — Сураж. «Фердинанд» попробовал было уйти с открытого места в кусты, но застрял, подбитый, утративший сразу свою зловещую внушительность. По шоссе взад и вперед пошли наши машины. В неписаной памятной книжке бухгалтера-артиллериста навсегда означен этот радостный час.

Перед летним наступлением выдались дни особенно напряженной подготовки. В них было вместе с тем и что-то предпраздничное, что-то похожее на те хлопоты и труды, с какими люди готовятся к страдной поре или к большим торжествам.

Лесом, в котором невозможно было найти ветку для маскировки — так он был оббит, обчесан огнем,— этим лесом Богданов с товарищами вытащил орудие на опушку, обращенную к противнику, и приготовился к стрельбе.

Для этого пришлось по ночам на ощупь прорубать и растаскивать завалы из обломанных, вывороченных с корнем и расщепленных как попало деревьев. По мшистой, кочковатой тропе таскать на себе снаряды, делать бессчетное количество концов туда и обратно, пригибаясь под разноцветными дугами, что чертили над головой трассирующие пули и осветительные ракеты. А когда позицию оборудовали и все было готово к стрельбе, нужно было, окаменев, ждать, не отвечая огнем на тревожный, что-то угадывающий огонь немцев, ждать сигнала. Зато все окупилось с лихвой, когда за артподготовкой, при которой каждый снаряд был точно приадресован цели, пошла пехота, начался разгром противника.

В районе Витебска пушке Богданова пришлось развернуться стволом на восток: шли бои на окружение и уничтожение немецких войск, что еще держались за город, но уже были обречены. Много может сделать даже одно орудие, когда оно вовремя и скрытно установлено на удобном взгорке и бьет по единственному шоссе, запруженному машинами, танками, артиллерией, войсками, охваченными паникой.

Многие подробности этих дней и ночей утрачены памятью воина за бессоньем, усталостью и горячкой боев,

но как забыть ощущение победы, радостное и достойное сознание своей силы и торжества... Одиночки, толпы и целые колонны сдающихся в плен немцев были уже совсем не в диковинку. Но вот случай, о котором Богданову, может быть, не раз придется рассказывать внукам.

Ночью к нему на позицию пришли и остановились, понурив головы, четырнадцать немецких коней-тяжеловозов: они лишились своих хозяев и искали, чтобы их кто-нибудь подобрал. Их подобрали, и это было кстати: батарее, где находился командир орудия Богданов, предстояло проделать двенадцатидневный марш вдогонку за своими войсками, что оставили Витебск у себя далеко позади, на востоке.

В бой вступил Богданов уже на границе Белоруссии с Литвой. По заданию командира полка он сжег пять домов, оттуда немцы вели огонь по нашей пехоте. Но через день его третью пушку разбили самоходки противника.

С четвертой пушкой Богданов перешел речку Шешупу, что отделяла Восточную Пруссию от нашей страны.

Здесь, под Вилюпеном, он был контужен, но быстро поправился и сейчас ведет огонь по немцам, стоя на немецкой земле.

Трудно сказать, что в лице человека связано с его профессией, но Алексей Федорович, немолодой по годам артиллерист, в погонах старшего сержанта, никак сейчас не похож на бухгалтера. Коротко остриженные волосы с заметным блеском седины на висках, простое, в добрых, но не бесхарактерных морщинках, несколько землистого цвета лицо. Такое лицо может быть и у колхозника, и у наркома, и у генерала, и у солдата.

И вот он сидит у немецкой печки, узкой и высокой, точно стенка, смотрит на пышный, малиновый жар догорающих плиток брикета, сидит русский крестьянин, человек интеллигентного труда, семьянин и воин. Он отдыхает, и на лице его выражение скромной задумчивости, какая бывает на лицах людей, которым не скучно наедине со своими воспоминаниями.

ГРЮНВАЛЬДСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Этими днями на одном из участков нашего фронта группировка немцев в составе десяти самоходных орудий, с десантом автоматчиков прорвалась к маленькой

деревушке Грюнвальде, где располагался медсанбат одной из наших дивизий.

В перевязочной и операционной палатах шла обычная напряженная работа. Десятки раненых готовились к эвакуации в госпитали.

Немецкие самоходки, с трех сторон окружив деревушку, открыли огонь по самому заметному из домов, на котором был белый флаг с красным крестом.

Невозможно даже на минуту предположить, что немцы не видели флага и стали бить залпами по деревушке с какой-нибудь иной целью, кроме подлой, изуверской расправы с беззащитными, вышедшими из строя бойцами.

Когда разрывы снарядов обрушили каменные стены домов, все, кто еще уцелел и мог как-нибудь передвигаться, стали выползать из палат, ища спасения на улице, в сенном сарае, за жидкими кустиками палисадников. Вражеские автоматчики бросились добивать их. Раненых расстреливали на земле, под ногами у лошадей, стоявших в сарае, поодиночке и группами.

Подстреленные лошади падали на убитых и недобитых людей. Живые в страшных мучениях, с сорванными повязками, пытались подняться из-под остывающих трупов.

Трудно, почти невозможно описать эту картину. Кощунством по отношению к памяти погибших мученической смертью наших товарищей была бы попытка сколько-нибудь преувеличить или приукрасить в словесном изложении то, что само по себе ни с чем не сравнимо в своей ужасной правде.

Командир медсанбата, майор медицинской службы Ковыршин, майор медицинской службы Арнольди вместе с начальником штаба медсанбата, старшим лейтенантом Квочкиным, водителями старшим сержантом Герасимовым и красноармейцем Присичем до последней возможности пытались спасти и защитить раненых бойцов, находившихся в момент нападения гитлеровцев в перевязочной и операционной палатах.

Отстреливаясь, они перебрались из развороченных снарядами помещений в подвал дома и продолжали отбиваться.

Тогда немцы ввели в подвал через пролом стены шланг, соединенный с выхлопной трубой самоходки, и наполнили помещение удушающим газом. Майоры меди-

цинской службы Ковыршин и Арнольди, старший лейтенант Квочкин и красноармеец Присич погибли в подвале в результате отравления окисью углерода.

Новое злодейство фашистов еще раз подтвердило, что методы и приемы умерщвления советских людей удушающими газами не составляют привилегии специальных войск гитлеровской армии — полицейских, карательных и тому подобных отрядов. К этим гнуснейшим и подлейшим методам и приемам прибегают и основные, линейные войска Гитлера.

Единственный уцелевший из находившихся в подвале людей, водитель Иван Степанович Герасимов, спасся благодаря случайному обстоятельству. В подвале был картофель. Из-под него натекла лужица грязной воды. Герасимов мочил в ней полу шинели и дышал через влажное сукно.

Герасимов посоветовал то же сделать товарищам, но одним это уже не могло помочь, а у других вместо шинели были стеганые куртки, они плохо пропитывались водой из той скудной лужицы.

Герасимов, рассказывая о пережитой трагедии, неизменно повторяет слова своего командира, майора Ковыршина, с которыми тот умер в подвале:

— Знали бы только наши товарищи, какою смертью мы погибаем!..

...Мы посетили место нового преступления фашистов, видели своды подвала, под которыми прозвучали предсмертные слова одного из героев-мучеников Грюнвальда, и повторяем их здесь как призыв к отмщению.

НАСТАСЬЯ ЯКОВЛЕВНА

В августе 1943 года немцы, отступая с Орловщины, забрали с собою население большой, в сто пятьдесят дворов, деревни Коренево Жиздринского района. Угнанная вместе со всеми, пятидесятипятилетняя Настастья Яковлевна Маслова, простая, малограмотная женщина, в великой этой беде утешалась одним: что она со своими, что есть с кем хоть слово сказать, что на миру и смерть красна.

Из двух ее дочерей старшая, тоже Настасья по имени, была за фронтом, в Красной Армии, работала не то официанткой в столовой, не то уборщицей, и вестей от нее,

ждать было нечего. А младшая, Анюта, находилась при матери, и вся материнская тревога обратилась на нее.

— Держись за меня, доченька,— говорила она ей неизменно в долгой и страшной дороге.— Держись, не отходи ни на шаг, главное — не гляди на *него,*— так она называла всякого немца, будь то конвойный либо какой высший чин, кто бы он ни был.— Не гляди и не гляди. Он у тебя спросит что-нибудь, а ты отвечай коротенько: не могу, мол, по-вашему,— а сама гляди куда-нибудь, хоть на ноги себе, боже спаси, не подымай глаз. Поднимешь чуточку, только посмотришь, что за идол,— он тебя тут и приметит. А так он и мимо пройдет, ты за общим счетом будешь, мало ли народу-то, господи...

И диво не диво, но эта сила материнской опаски за свое дитя сохранила их неразлучными на всех этапах от подворья колхоза «Красная звезда» на Орловщине до какого-то серого, песчаного побережья моря, где был расположен лагерь на семь с половиной тысяч душ.

Давно уже мать и дочь оторвались от своих однодеревенцев — немцы распределяли людей кого куда, разъединяя даже семьи,— и давно вокруг, в великом скоплении несчастного, невольного люда, вперемежку с русской речью слышалась и польская, и белорусская, и литовская, и иная речь.

Настасья Яковлевна не знала этих языков, не знала толком, что за страны такие, откуда все эти люди, но видела, что все люди страдающие и со всеми *он* творит что-то немыслимое, понапрасну жестокое, нечеловеческое. И ей всех было жалко.

В лагере, в страшной скученности, от непривычного промозглого, сырого климата, от голода и холода люди болели и умирали десятками и сотнями. За несколько месяцев там из семи с половиной тысяч, не считая, что еще сверх того прибывали, осталось в живых неполных три тысячи.

И, наверное, немолодая и не очень крепкая здоровьем Настасья Яковлевна умерла бы там от одного того, что видела за той проволочной загородкой, сидя на охапке каких-то грязных, перебитых с песком стружек, если бы у нее не было этой спасительной, простой и святой, неугасимой заботы об Анюте.

Она не позволяла себе прислушиваться к нытью в костях, к боли в спине, старалась не думать о еде, слабея от голода. Она чувствовала только, что при ней Анюта,

что как бы ни протянуть, только бы протянуть, не оставить девочку одну в такой дали от родной стороны, в такой безвестности и беззащитности.

Конечно, Анюта была не ребенок, она была крепче и, может быть, смышленей матери, она знала и как называется море, что шумит за лагерем, и какой город еще отбили наши у немцев, и многое другое.

По молодости лет она не могла безраздельно отдаваться тоске, беспрерывным горьким думам о своем положении; она способна была и улыбнуться порой, и с опасливым озорством передразнить осанку важного немца, что появлялся как-нибудь в лагере. Она, несмотря на голод и грязь, окончательно изнуряющую и принижающую человека, была молода и, сама еще не зная того, хорошела, хоть и была худа и бледна и обносилась до крайности.

Но это-то и было самое страшное. Ее могли приметить, и тогда уже ничто не спасло бы ее. Настасья Яковлевна знала, что допустить до этого нельзя, лучше погибнуть разом.

После долгих мук лагерного заключения их отправили в одно поместье вблизи города Прейсиш-Эйлау, на полевые работы. Всего таких работников было у помещика семнадцать человек.

Мать и дочь убирали навоз в кирпичном коровнике, копали гряды, делали всякую другую работу. В конце длинного дня они засыпали, похлебав, что дадут, в том сарае с каменным полом, куда убирались лопаты, железные грабли и вкатывались тачки.

Хозяин, пожилой немец в вязаной безрукавке, больше и куда ласковее говорил со своими лошадьми и коровами, чем с людьми, что спали в этом сарае.

Но все это можно было переносить. Труднее и больнее было терпеть другое. Запахнет подкошенным и подсыхающим клевером в чужом поле, на далекой, чужой земле,— и сердце, ко многому привыкшее, сожмется в такой горькой муке, что рассказать об этом можно только слезами.

Пройдет дождик, взбухнет пыль на дороге, встанет радуга или просто пропоет петух на заре,— хотя петухи и поют здесь не так голосисто,— да мало ли еще такого, что само входит в душу и говорит об одном, без чего человеку нет жизни и чего нет на свете дороже: о Родине, о свободе.

На этой усадьбе их и застало февральское, по-весеннему теплое утро, когда уже хозяин выехал с семьей в город, а стрельба, который день приближавшаяся с востока, подошла совсем близко. На подворье господ остались одни рабы. Немцы-военные заглянули на минутку в дом, сунули в повозки кое-что из живности и съестного и укатили.

Потом кто-то наблюдавший в маленькое окошечко каменного фронтона конюшни увидел русских солдат, шедших по полю в рост, чуть пригнувшись.

— Давайте что-нибудь белое вывесим, давайте скорей,— предложил один из нерусских пленников.

И уже засуетились было искать простыню в бесхозяйном доме, как нашлось, само собой родилось разумное, верное слово:

— Что же мы своим в плен сдаемся, что ли? Пойдемте так, как есть, навстречу. И давайте кричать будем, что мы свои...

Бойцы сразу поняли, в чем дело, и тут произошла встреча, о которой всю жизнь будут рассказывать и те, кто получил в этот день свободу, и те, кто принес ее родным людям на чужую землю.

— Тут уж я не могла на ногах устоять,— заканчивает шепотом от подступавших к горлу слез свой рассказ Настасья Яковлевна.— Села я вот так и плачу. Плачу и Анюту к себе зову: «Поди, Анюта, и помоги встать. Живы мы теперь с тобой, доченька».

И тут пошли они от своих к своим.

Артиллеристы дали им лошаденку, легко раненную.

— Запрягай, мамаша, укладывайся. Скоро и мы... Тогда, гляди, и дочку сосватаем.

В другом месте хлебом снабдили.

Мы беседуем с Настасьей Яковлевной на обочине дороги, на которой теснятся два встречных потока машин, колонн, обозов.

Порывистый ветер нет-нет и сыпанет с липовых веток крупной капелью, и лошадка вздрагивает крупом, когда брызги касаются небольшой, обсыхающей по краям ранки на верхней части ноги.

— Конек ничего,— говорит Настасья Яковлевна, наклонясь, чтобы достать край своего передника из-под полы русской нагольной шубенки, которая так странно и почему-то приятно выглядит здесь, под немецкими придорожными липами.— Ничего конек, только бы дошел...

Рядом с матерью стоит Анюта. И хотя одета она по-городски, но обличье, строгая и скромная повязка платка и вся стать девушки позволяют с первого взгляда угадать, что это одна кровь.

И в карих умных глазах Анюты за тенью усталости неуловимая, хорошая и словно виноватая улыбка: не то дочка смущается за мать, не то горда ею.

И в какой удивительной радостной сохранности остались эти простые русские женские души и лица после таких испытаний, мук, унижений...

Величавое их презрение к тому, у кого они были рабынями, даже в том, что на вопрос, как звали хозяина усадьбы, Анюта чуть пожимает плечами, а Настасья Яковлевна мельком бросает:

— Шут его... И в голове не держу. Пес и пес.— И спешит, спешит с материнской просьбой: — Запишите-ка себе дочку старшую. Может, встретите... Хоть знать будет, что мы с Анютой живы. Анастасия, значит, Григорьевна Маслова... Может, встретите...

КЕНИГСБЕРГ

Дощечки с надписями: «Проезда нет» и «Дорога обстреливается» — еще не убраны, а только отвалены в сторону.

Но очевидным опровержением этих надписей, еще вчера имевших полную силу, уже стала сама дорога. Тесно забитая машинами, подводами, встречными колоннами пленных немцев и возвращающихся из немецкой неволи людей, она дышит густой, сухой пылью от необычного для нее движения.

Липовые аллеи, прореженные и иссеченные артиллерией, всевозможное полузаваленное и вовсе заваленное траншейное рытье, воронки, нагромождения развалин — привычная картина ближних подступов к рубежам, за которые противник держался с особым упорством.

И на повороте свежая, не тронутая еще ни одним дождем, не обветренная дощечка указателя: «В город».

В город-крепость, в главный город Восточной Пруссии, в ее столицу — Кенигсберг.

Давно уже не в новинку эти стандартно-щеголеватые домики предместий, старинные и новейшей архитектуры здания немецких городов, потрясенные тяжкой стопой войны.

Но Кенигсберг прежде всего большой город. Многое из того, что на въезде могло сразу броситься в глаза — башни, шпили, заводские трубы, многоэтажные здания,— повержено в прах и красно-кирпичной пылью красит подошвы солдатских сапог советского образца, мутно-огненными облаками висит в воздухе.

И, однако, тяжелая громада города-крепости и в этом своем полуразмолотом виде предстает настолько внушительно, что это несравнимо со всеми другими, уже пройденными городами Восточной Пруссии.

И так же, как в зрелище развалин, закопченных огнем, в грудах щебенки, загромождающих улицы и проезды, мы не можем не видеть живого напоминания о разрушенных немцами городах нашей Родины, так же нельзя не видеть во всем этом живого подтверждения всесокрушающей ударной мощи нашего оружия.

— Почище Смоленска сработано,— вроде как шутки ради говорят бойцы, вступающие в улицы города. Но в усталом, суровом и прямом взгляде их глаз справедливое торжество и горделивое сознание собственной силы.

А сила эта во всем вокруг. И прежде всего в этом великом людском потоке, заполнившем узкие улицы чужого города своей слаженной, внутренне деловитой суетой, словами команды, своей родной речью, песнями, музыкой, привезенными невесть из какой глубины России, своим большим воинским праздником победы.

Пехота на машинах, на броне танков и самоходных орудий, шоферы, дружелюбно перебранивающиеся из дверцы в дверцу, регулировщицы в форменных белых, немножко великоватых перчатках, мотоциклисты, верховые и пешие,— смотришь и невольно думаешь в простодушном и радостном изумлении:

«А и много же, ах как много нас, русских, советских людей!

Так много, что хватает и на то, чтоб держать в полном рабочем порядке необозримый наш тыл, пахать землю и ковать железо; и на то, чтоб поднимать к жизни столько отвоеванных у врага городов и сел; и на то, чтоб пройти столько верст, занять столько городов и земель противника; и на то, чтоб в три дня штурмом сломить его сопротивление на таком вот рубеже, на такой точке, как этот город Кенигсберг; и на то, чтоб в первый же день по взятии города заполнить его такой массой людей и колес. На все хватает!»

Грохот боя, откатившийся уже далеко за город, не тревожит разнообразного, делового и праздничного шума и говора на марше по главной улице.

Каких только лиц солдатских здесь не увидишь! И усатые, будто бы сонливые, но полные энергичной выразительности лица пожилых, и молодые, но успевшие возмужать на войне, по-мужски загорелые и по-солдатски серьезные, а все-таки юношеские, и белокурые, с черныю копоти на висках, и чернявые, припорошенные серой и ржавой пылью, и иные...

И на всех лицах — отражение дня большой и гордой победы.

Но город, там и сям горящий, там и сям роняющий с шумом, треском и грохотом сдвинутую огнем стену, там и сям содрогающийся от взрывов,— чужой и враждебный город. Он таит еще в теснинах своих развалин и уцелевших стен, в подвалах и на чердаках злобные души, способные на все в отчаянии поражения.

Группа бойцов-автоматчиков полубегом в тесноте уличного движения пробирается к переулку, где из окошек-амбразур полуподвала в безумном упорстве, возможно не знающие о полном поражении, немцы еще ведут пулеметный и винтовочный огонь.

Угомонить их снаружи оказывается довольно трудно с помощью одного только пехотного оружия. Тогда с истинно русской щедростью на них отпускается три-четыре снаряда танковой пушки — по числу окошек.

Слышно, как гремят раздельно, твердо и жестко выстрелы в упор.

В переулке наступает, как у нас говорят, полный порядок.

У МОРЯ

До самого берега проехать на машине было нельзя. Оставалось каких-нибудь триста-четыреста метров, где не было ни дорог, ни объездов, ни даже проторенных троп. Местность представляла собой нечто вроде огромного двора, заваленного и захламленного всевозможным горелым и догоравшим ломом, трупами людей и лошадей и вдобавок перепаханного фугасками. Черепичная скорлупа битых крыш перемешалась с белой и синеватой землей, вывороченной из пластов, покоившихся на глубине ниже уровня моря, моря, что уже блеснуло-ва

безобразными зубцами обрушенных стен и ломаным лесом мачт, труб и вышек пристани.

Дальше можно было пройти только пешком, как прошли здесь наши, добираясь до немцев, стрелявших, по выражению одного бойца, *из воды,* стоя по колено, по пояс в прибрежном мелководье. Надо было прыгать с камня на камень, с брони всаженного в землю танка на гусеницу, расстелившуюся ровной дорожкой еще на пять шагов к морю, с гусеницы на бревна засыпанного блиндажа, по лошадиной туше, охваченной пламенем и уже затоптанной сапогами.

Наконец море у самых ног, море, окаймленное чуть видным леском знаменитой косы, замыкающей залив. Жаль, что оно не во всю свою ширь видно здесь.

Но все же море есть море. Голубое, близкое к цвету неба вдали и желтовато-серое, будто мыльное, у самого берега, оно тихо и мягко, но с присущей только морю скрытой силой и тяжелостью поталкивает в каменную стену мола.

Немецкая каска, залитая наполовину, покачивается на мели, то черпая воду через край, то сплескивая ее через другой. Погромыхивают пустые гильзы орудийных снарядов, перекатываемые волной.

Журчит своим порядком весенний ручей, нечистый, как будто крашенный кирпичной пылью. Мокрое тряпье, рвань и неизменная плесень серого пуха, намокшего и подсыхающего на солнце по всему берегу...

И все же море есть море, и его сырой и солоновато-мыльный, здоровый запах перебивает, если близко стоять, тяжелые запахи всяческой гари и разложения, столь знакомые всем на войне.

— А я, знаете, впервые его вижу, море,— признался с некоторым смущением офицер, чьи бойцы первыми вышли на этот берег и теперь охраняют его.— Все, знаете, как-то некогда было. То учеба, то работа, то служба, то война... Вот уже сорок лет округляется, а моря не видел, какое оно.

И очень многие, особенно молодые наши воины, с этого моря начали свое знакомство с тем, что составляет половину красы земной. У нас немало морей, но так велика страна, что можно прожить долгую жизнь, совершить не одно путешествие при современных средствах передвижения, прослыть заслуженно бывалым человеком и при всем том не успеть посмотреть моря...

Правее маленького городка с гаванью, которая была последней для немцев, припертых к воде, встретили мы на мысе Кальхольцер-Хакен троих наших бойцов, только что вышедших из боя, потому что не с кем уже было воевать на этом участке.

Невысокий, бледный от бессонья рядовой Михаил Медюк был из Белоруссии, сержант Николай Малышев, более видный, как говорится, *со щеки* парень, оказался волжанином, а высокий, но худощавый, под стать Медюку, Иван Шахлевич — не то из той же Белоруссии, не то с Украины.

Все трое — солдаты не первого года службы, люди, прошедшие из боя в бой от Москвы и Волги до этого Балтийского побережья, до этих болотистого вида камышей, откуда еще час назад в них стреляли немцы,— все трое видели море первый раз в жизни.

Может быть, лучше было бы увидеть его впервые не вдали от родины и не в горячке и напряжении трудного боя, а в мирное время, с террасы дома отдыха на крымском или кавказском побережье.

Но если суждено всякому человеку запомнить навсегда день и час первой встречи с морем, то добытая с бою встреча сухопутных русских, белорусских и иных советских людей с этим морем будет самой памятной и самой гордой датой их жизни.

Право, жаль, что оно в этих местах такое неказистое, болотистого вида, и не дает глазу того неоглядного простора, ограниченного только небом, какой обычно волнует душу на морском берегу.

И все же это море, какое оно есть, будет для тысяч наших людей самым памятным и прекрасным. Они дошли до него, сражаясь за свои земли, они увидели его как знамение конца одной из самых жестоких и щедрых славой битв Великой войны.

И разве не освящены эти воды тем, что мы пришли к ним, творя наше правое дело защиты Родины и возмездия за ее страдания? И разве эта земля, чуждая нам по всему, что было на ней, не полита кровью наших братьев? А о земле, что полита родной кровью, что пройдена нашими, советскими людьми в трудах и испытаниях долгих и страшных боев,— о такой земле мы долго будем вспоминать.

На взгорке, круто обрывающемся к мелководью поросшего камышом взморья, под березой, с трогательной

опрятностью насыпанный и выровненный могильный холмик. На нем еще даже нет того скромного знака памяти, какие сооружают на войне из белых досок, фанеры и медных снарядных стаканов. Может быть, в полуразбитом домике, что стоит на южном скате этого взгорка, сейчас составляется надпись на фанерной дощечке и заодно пишется извещение родным либо близким об одном из тех, кто уже не уедет отсюда со своим полком или батареей на другой участок продолжающейся борьбы.

Кругом праздник. В домике с осыпавшейся черепичной крышей кто-то нащупывает на оставленном немцами пианино какую-то нехитрую, но милую сердцу мелодию деревенского вальса. В далекой Москве уже написан и подписан приказ о завершении борьбы на этом побережье, на этом мысе с длинным и трудным названием Кальхольцер-Хакен. И в приказе не забыты торжественные и строгие слова о вечной памяти бойцам, павшим в боях за свободу и независимость Родины на любых рубежах, в любых землях, у любых побережий...

Пройдут годы и годы, и пусть имя воина, еще не обозначенное на белой либо красной дощечке намогильного знака, уйдет из обихода списков, упоминаний, скажем просто — забудется. Но чье-то сердце, чья-то неостывающая любовь и память — матери ли, возлюбленной или друга — долго и долго будет тянуться светлым лучом с восхода к этому безымянному взгорку над морем, к этой могиле под белой березой — родным нашим деревом, выросшим так далеко на западе.

САЛЮТ

Вот он, тот самый мыс, тот самый окаймленный камышистым мелководьем моря участок земли, где только что свершилась одна из самых памятных наших побед.

Берег моря всегда кажется краем света.

Особенно сильно это впечатление на чужом берегу чужого моря. А люди, сбросившие сегодня с этого берега, уничтожившие или забравшие в плен последних немцев, оборонявших его, прошли перед тем тысячи километров своей и чужой земли в жестоких боях с противником. И чувство «края земли», конца большого пути, на который не всякой жизни хватило, сладким и глубоким волнением наполнило их души.

Днем раньше на соседнем участке фронта выход к

морю ознаменовался стихийно возникшим салютом, который совпал по времени с одним из московских салютов. Здесь, на этом клочке земли, выход к морю означал полную победу над окруженными немцами, последний их час.

И вот — еще день, а все небо над побережьем в цветных дугах ракет, и в воздухе, уже не сотрясаемом гулом боя, немолчно висит тонкий и длинный свист, напоминающий звук летящей мины. То там, то там раскатисто и многоголосо возникает «ура», хотя это уже не тот грозный и особенный клич атаки, который раздавался здесь часом раньше. Это «ура» праздничное, веселое, как на больших наших народных торжествах.

Шел-шел, воевал-воевал русский труженик-воин, защитник Родины, матери единой у всех нас,— и вот уже впереди не фронт, а море, в котором плавают обломки «подручных переправочных средств», на которых остатки немецких войск из одного «котла» пытались перебраться в другой: бочки, автомобильные скаты, доски.

И когда смотришь на запыленные, усталые, с подтеками пота, но освещенные радостным волнением лица бойцов, идущих от моря навстречу нам по этой земле, что еще вся дымится неулегшейся осыпью боя, приходят на память картины сенокосной страды. Вот человек прошел с неослабным напряжением всех мышц широкий и длинный прокос, подбил пяткой косы последние клочья травы в конце его и, закинув косу на плечо, идет обратно, чтобы начать новый ряд. Работа не страшна, когда она идет споро и ладно,— второй раз не ходить по тому же месту.

И сколько уверенности сильных людей, сделавших одно дело и готовых к новым делам, в походке, в голосах и позах — во всем.

* * *

Когда воинская часть переезжает с одного участка фронта на другой в обычной обстановке, это не выглядит чем-то особенным. Но когда она едет отсюда потому, что противника здесь нет, он разбит,— это совсем иное.

Машина в машину движется по развороченной дороге колонна. Пушки убраны разноцветной материей, играют гармони, аккордеоны, даже губные гармошки подают голос; песня перебрасывается с машины на ма-

шину. Маленький боец в ватнике, не прислоняясь к борту, стоит в машине на согнутых напряженно ногах и, забавляя фронтовой люд, прекомично дирижирует какой-то тросточкой.

И во всем этом радостном возбуждении, в этом заслуженно горделивом марше — живое и явственное предвестие другого праздника, который будет самым большим и радостным за эти бессмертные годы, праздника полной и окончательной Победы.

УТРО ПРАЗДНИКА

Кому сколько доведется еще в жизни встречать этот праздник, тот столько же раз неизменно вспомнит с особым чувством день Первого мая, проведенный вдали от Родины, но в пору ее самых блистательных и гордых побед над противником. Да и сейчас в тысячах писем, что будут написаны в первые послепраздничные дни из Действующей армии в тыл, обязательно поместятся несколько строк, посвященных пережитому здесь празднику.

Каждый красный флаг, поднятый в эти дни, где бы это ни было на всем неизмеримом пространстве родной земли, напоминал сердцу о нашем победном знамени, водруженном в центре столицы врага.

Празднество, освященное многолетней традицией свободного советского народа и всех трудящихся мира, приобрело еще особую, высокую знаменательность. Это был, в сущности, уже тот самый праздник, которого мы столько ждали в муках и горе, в безмерно огромном труде почти четырехлетней борьбы за нашу свободу и независимость.

Об этом говорил, это знаменовал каждый наш красный флаг, где бы он ни развевался в честь майского праздника,— в Москве, снявшей маскировочные щитки и шторы с окон, в горящих городах Германии, в ближних и дальних тылах фронта, на своей и чужой земле.

И тот маленький восточнопрусский городок, в котором нам довелось в этот год встречать Первое мая, запомнится на всю жизнь. Как не написать сегодня же в письме к другу, родному и понятливому человеку, о таких, казалось бы, обыкновенных и малозначащих вещах, как наступление этого свежего весеннего праздничного утра в немецком городе!

В открытое окно еще врывалась прохлада утихшего ночью дождя, пахло молодой садовой травой и пылью с улицы, тщательно, по-предпраздничному, подметенной и убранной. И все вокруг уже было полно разнообразных звуков праздника, постепенно вступающего в свои права. Пела патефонная пластинка агитмашины о чем-то далеком и милом, но не потерянном, а обретенном после долгой тоски ожидания:

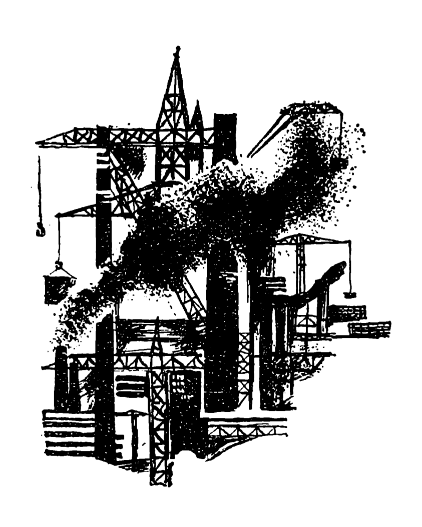
На заре, белым-бела,
В саду вишня расцвела...

С мостовой доносился дружный и ладный стук строевого шага колонны, направляющейся на парад. Шумели и рвали воздух с характерным энергическим звуком автомашины, взад и вперед проносившиеся по шоссе. Кто-то где-то в соседнем дворе или в противоположном доме поспешно приколачивал что-то, заканчивая хлопоты праздничных приготовлений. Низко над черепичными, целыми и обрушенными крышами с веселым и мощным ревом прошел самолет...

И ни один из этих и множества иных звуков не принадлежал чужой силе, которая не так давно угрожала всему дорогому нам на земле, нашим будням и праздникам, нашему труду и песням, нашему счастью. Это все были звуки нашей действенной силы, нашего движения, нашего праздника, уверенно разворачивающегося на большой улице — от Владивостока до Берлина и далее...

О многом можно и нужно рассказать в письме на Родину, коснувшись первомайского праздника, проведенного вдали от нее. Ибо этот день есть день, в котором слышалась великая сила и правда Родины, ее торжество над врагом и предчувствие для каждого отдельного сердца долгожданных, но уже недалеких встреч и заслуженной радости.

1942—1945



послевоенные рассказы и очерки

● В РОДНЫХ МЕСТАХ

Больших лесов здесь уже давно не было, а стояли, как у нас говорят, кормельки, откуда были и дрова, и жердь, и бревно на холодную и даже теплую постройку. Эти небольшие островки леса, разбросанные по взгорьям и разделенные где проезжей дорогой, где заболоченной лужайкой, где пахотным полем, очень украшали местность. Теперь этих кормельков нет, а вместо них пошло, как говорится, всякое лихо: кустарники, жирный малолетний осинник, высокая и глухая трава лесных пожарищ, крушина, полевая березка. Лихо это занесло старые вырубки, ляда и кое-где уже сомкнулось с темными зарослями бурьяна, дедовника и еще какой-то бурой дурной травы, в рост конопли поднявшейся на пепелищах.

Лучше ехать дремучим лесом, веселее, чем этой пустыней непролазного волчьего мелколесья с редкими и печальными приметами бывшего человеческого жилья. Там выглянет из зарослей груда обожженной глины — остатки печи из деревенского кирпича-сырца, там — облупившийся, голый и потемневший, как кость, ствол яблони, там вдруг мелькнет маленькое, с неровными краями зеркальце сажалки, а то, глядишь, обозначается старое сельское кладбище, и одиночество тех, что когда-то похоронены на нем, необычайно оттенено окрестным безлюдьем и тишиной.

И, наверное, лучше было бы не знать и не помнить, как здесь все было прежде, как хороша здесь была эта пора доброй осени с утренними дымами, встающими над лесом, с запахом сухой яровой и ржаной соломы, с постукиванием и скрипом колес по накатанным проселкам.

Не сразу осознаешь беспокойное и томительное ощущение, все сильнее вступающее в душу с приближением к тому клочку этой задичавшей и чужеватой теперь земли, где прошло детство, где отцы и матери на памяти нашей еще были молоды... Это ощущение большого времени, предстающего точно в разрезе, со многими своими слоями...

Вот такою, должно быть, выглядела эта земля, когда значилась она по бумагам «хутором пустоши Столпово» и когда впервые пришли сюда наши отцы в самом начале века. Они застали на месте срубленных еще ранее больших казенных лесов такое же дикое мелколесье. При них та часть этого мелколесья, что не пошла под раскорчевку, стала лесом, который мы помним с детства и после которого теперь вновь пошли заросли. Разница только в том, что отцы наши не видели здесь следов прежней жизни, не слышали даже дальних отголосков такой разрушительной и кровавой войны, да еще в том, что нынешнему мелколесью, может быть, уже не стать лесом...

Сердце настороже, оно избегает вбирать в себя всю силу множества ощущений и впечатлений, рвущихся к нему. Оно словно знает, что ему не справиться с ними сразу.

Едешь по этим заросшим красноватой муравой неверным дорожкам и с мнимой легкостью пропускаешь места и местечки, освященные такой дорогой и незаменимой памятью. Памятью детских лет, ранней дружбы, первой книги, прочитанной здесь в годы хуторского пастушества, памятью первых приездов сюда городским гостем и, наконец, недавней памятью вступления на эту землю с частями одной дивизии в такой же свежий и ясный денек осени 1943 года.

Война обживает и преображает на свой однообразный лад любую местность, любой край, и я это особенно остро чувствовал, когда подъезжал в тот день к родным пепелищам со стороны Ельнинского большака, вдоль которого шла дивизия.

Не говорю сейчас о волнении, с каким я ожидал того дня и наконец увидел древние, по преданию «екатери-

нинские», дуплистые, частью усохшие либо обгорелые березы большака, близ которого пас когда-то коров, купался с ребятами, ходил по грибы. Но я помню, как меня томило и удивляло то, что все, кроме меня, шли по этим местам, как и по всяким иным, никак не отличая мое Загорье от тысяч других деревень и деревушек, что лежали на их большом боевом пути. И уже совсем странно и даже обидно мне было слышать привычные с детства названия искаженными перестановкой ударений. Я не вдруг уверился, что во всем этом ничего нарочито неуважительного или обидного не было. Просто — война.

Она лишает всякую местность ее особливого облика. Всякое своеобразие пейзажа, очарование того или иного уголка земли отступает на задний план перед однообразием военных дорог, изгибами и пересечениями траншей, уродством пожарищ, воронок, руин.

У войны своя память, свои приметы и сравнения.

Я ночевал в двух-трех километрах от пепелища моего бывшего дома на немолоченых снопах мокрой ржи, под кое-как натянутой плащ-палаткой, сквозь которую дождь сеял в лицо мелкой водяной пылью. И никак не мог настроиться на воспоминания детства: ночевок на сене или в поле, в ночном. Вспоминалось иное, ближайшее: где и когда я ночевал за войну, какой был обстрел, как приходилось похуже, чем под этой прошибаемой дождем плащ-палаткой.

Когда я в тот раз ступал по полям и кустарникам Сельца, Загорья или Столпова, в сущности, это не были они, поселения и земли, заключавшие в себе мир моего детства и ранней юности.

Это не было Сельцо, Загорье или Столпово, а были тылы дивизии, артиллерийские позиции наступающих войск, скрытное, но все же видимое многолюдье фронта с его порядками, бытом и всеми приметами, знакомыми по множеству других мест, где бывал я впервые в жизни. И отцовская сторона в тот день казалась даже более оживленной, чем сейчас, спустя два года, хотя тогда не все еще жители вышли из окрестных кустов и овражков, и меня на подворье узнала в лицо одна женщина — жена Кузьмы Иванова, нынешнего председателя колхоза, Пелагея Николаевна.

В особой обстановке той встречи, когда еще в трех километрах, за Огарковским болотом, шел бой, не могло так тесно и глубоко уложиться в душу все печальное,

что я увидел своими глазами на Загорьевском подворье и узнал от оставшихся в живых односельчан. Этому мешали волнение и потрясение самой встречи, какая возможна поистине только раз в жизни.

Теперь, два года спустя, встреча была иной. Приехал человек в колхоз, как приезжал не раз до войны. И впечатление разоренности, бедности, голого человеческого горя, оставленного немцами на этом подворье, почти без всяких помех наполнило душу. Оно было тем сильнее и собраннее, что теперь уже были видны первые признаки возрождения жестоко и дико поломанной и потоптанной жизни.

Они, эти признаки, еще как те жидкие деревца, что посажены на могилах, только-только принялись и еще не могут скрыть своей тенью осевших от дождей, потрескавшихся от ветра бугров...

Перед глазами у меня пустынное, неровное поле, где пепелища бывших строений обозначены зарослями бурьяна, дедовника и крапивы, обвалившимися ямами погребов и еще приметными щелями, в которых загорьевцы укрывались от немецкой авиации.

На этом поле десяток избенок под соломенными, толстыми, необлегшимися крышами с торчащими в сторону будущих сеней концами решетника. Вместо сеней соломенные, на один скат, полушалашики. Я не знаю строения печальнее и непригляднее избы без сеней в открытом поле. И все, что стоит на усадьбе колхоза, спланированной и застраивавшейся здесь еще до войны, стоит так, что трудно определить хотя бы главный порядок поселка.

Только видя это, можно понять, как дорого здесь всякое усилие рук, всякое, хотя бы малое умение, каждый отесанный и положенный в связь с другими отрезок дерева, каждый столбик, вкопанный в эту оголенную и приунывшую землю.

На ней — все сначала: с какого ни есть закутка, с куска дикой глины, оформованной в самодельной формовке, с колышка, затесанного топором.

Дует несильный, но уже захолаживающий ветер; шуршит невыкошенная и мало потоптанная скотиной, обчесанная ветром, сухая трава; доносится глухой и не в лад прерывающийся стук вальков на току — сыромолотом оббивают лен; повизгивает и поет где-то под одним из соломенных полушалашиков тоскующий поросенок;

с тонкой хрипотцой, силясь изо всей мочи, возглашает что-то печально-деловитое петушок-однолеток...

Мы сидим с Мишкой Мартыненком на бревнышке у нового, только что заведенного под крышу сруба. Левая нога Мишки в тяжелом солдатском ботинке лежит, упираясь каблуком в землю, протянутая так, словно он собрался поискать чего-то в глубоком кармане заношенных ватных штанов. Она кажется длиннее его здоровой ноги, точно чужая, и я невольно думаю, как, должно быть, хлопотно с этой ногой залезать на леса постройки, на крышу.

— Неужели все сам, Михаил Мартыныч? — спрашиваю я, называя так Мишку потому, что передо мной пожилой, усталый мужчина с занесенными седой щетиной щеками и подбородком. А помню я его молодым парнем, еще игравшим с нами, ребятишками, в лапту на Святой неделе.— Неужели все сам?

— Ну, как же не сам? Сам. Оно же и видно, что сам. — Он улыбается, как будто конфузясь за свою работу.— Сам, брат.

Говорит он медленным бодрым баском, с нарочитой важностью, смягчающей невольную похвалу себе.

— Отвага,— говорю я, пытаясь поощрить Мартыныча к более подробной беседе о его первом опыте плотничества.

— Да нет, какая отвага! — возражает он.— Жить надо, а негде. Видал, как мы с Фрузой живем? Банька — она же ветхая, волков боязно, ночью придут, разорят...

Мне знакома в его речи манера своеобразной угрюмой шутки, и последнее замечание я считаю к делу не идущим, хотя уже порядочно наслышался здесь о волках. Я хочу допытаться, как все-таки он отважился взяться самолично за постройку избы, не будучи плотником, и как он справлялся с этой задачей. Известна поговорка, что всякий мужик — плотник, но практически это означает не более как умение загородить какой-нибудь хлевушок, сменить прогнившую половицу в сенях, собрать готовую постройку, размеченную бревно за бревном на старом месте.

— Ну что ты хочешь,— с усталой и грустной рассудительностью, оставляя шутливый тон, говорит Мартыныч.— Пришел вот в прошлом году с этой лялькой,— показывает он на свою ногу, — жить негде. Ну и давай я

думать, как строиться. Кузьма говорит: «Леску подтянуть поможем, а больше что ж? Ты не плотник, и я не плотник. Ты инвалид, а я уже стар, мне и председателем бегать через силу». И верно. Ну, начал я строиться. А хорошо сказать — начал. Начни — закурить надо для начала, а покамест огня добудешь...

И, как бы желая показать начальную трудность строительства, Мишка достает кремень, кресало, мягкий тряпичный шнур, продетый сквозь гильзу обрезанного винтовочного патрона, и начинает высекать искру.

— Нет,— он отстраняет мои спички,— ветер, с одной все равно не прикуришь.— И, поймав искру на кончик шнура, машет им, чтоб гуще затлелся, и наконец подносит к потухшей у него в зубах папироске.— Вот, брат. А какой же я, правда, плотник? Сроду не был. Но, думаю, нет же таких крепостей,— продолжает он опять с той же нарочитой важностью,— нет же таких крепостей... Я вот на войне шофером стал и машину с пушкой водил почем зря, а до войны понятия не имел за баранку сесть.

И начинается неторопливый его рассказ с оттенком даже некоторого удивления перед собственной дерзостью. Точно человек сам до сих пор не может поверить, что изба, стоящая рядом, настоящая изба с четырьмя углами,— действительно дело его рук, его смекалки, терпения и хитроумия по нужде.

Я смотрю на серый от дождей осиновый сруб, густо законопаченный бледно-зеленым мхом, на довольно аляповатые углы «в чашку», на низко спущенные застрехи соломенной крыши — колосом вниз — и вижу, может быть, еще более того, что рассказывает мне строитель. Я читаю эту историю возведения дома от первого до последнего венца и до гребня крыши человеком, не имевшим ни опыта в этом деле, ни порядочного инструмента, ни, наконец, достаточной физической силы. Ни одно бревно не легло само на место,— его нужно было окорить, окантовать, поднять, перекатить, впустить в чашки углов и вновь вывернуть, выбрать в нем паз так, чтобы оно плотно пришлось по нижнему, горбылем легло в выемку, кривизной было пригнано по кривизне,— словом, нужно как бы надеть это бревно на бревно, пригнать до неподвижности. И если настоящему плотнику приходится вволю понянчиться с каждым бревном, то во сколько раз увеличивалась и осложнялась эта работа для человека, взявшегося за топор плотника впервые...

Мы обходим избу вокруг, и разговорившийся Мартыныч уже спешит предупредить иное мое замечание или даже мысль, возникающую при осмотре строения. Похоже, что он, такой спокойный, рассудительный и не обольщенный своим мастерством человек, все-таки не хочет оставить ни одного изъяна или упущения, не показав, что он знает о них.

— Угол, конечно, не по шнуру, но он еще и не обрезан как следует. Это не главное. Лишь бы стены ровные. Осина. Виду она не имеет — не ель, не сосна. И цвет — чуть намокла из-под коры, потемнела. Виду того нет. А лежать — под крышей сто лет пролежит. Дожди, знаешь, дня не было, чтобы не пробрызнул. Ослизнет бревно — жди, покамест опять обвянет, а то за него и не взяться. Да с кем взяться? Малец меньший поможет, а то Фруза, когда свободна. Она и рада и готова, но одно, что женщина, а другое — больная рука. Другой раз тащим с ней бревно: она правой рукой не может взяться, а я на левую ногу опереться избегаю, а тяжесть — двум здоровым мужчинам впору. Ну, поглядим друг на друга — два калеки, засмеемся с горя, но только смех, сам понимаешь какой. А Фруза, глядишь, и в слезы, у нее это сейчас... Да я и о себе скажу: слаб стал, тоже вспомнишь...

Я знаю, какую незалечимую рану в сердце носят они со своей Фрузой, но он обрывает на этих последних словах, сказанных почти шепотом, и, справившись с собой, ведет дальше речь о постройке.

Я слушаю этого с детства знакомого мне человека, о котором знаю почти все, что можно знать о деревенском жителе. Работящесть и несколько угрюмая положительность отличали его с давнишних колхозных времен. Замуж за него вышла Фруза, девушка грамотная, красивая и любительница читать книги. С годами они сжились, хватили вместе всего, что приходится на долю обзаводящихся своим домом молодых по выделе из общего двора. Пошли у них дети, и дети были на радость. Старшая дочь их, Женя, помню, удивила меня, когда приезжал я сюда незадолго до войны, и своим редкостным сходством в лице с матерью, и редкостной жаждой к ученью, к книжкам — опять же материнской чертой. Помню, разводит девочка самовар, а огонь в нем что-то не берется, и она, раскрасневшись, голубоглазая, темнобровая, как Фруза, стоит над ним, чуть вобрав голову в

плечи, с застенчивостью, не то связанностью, за которой легко угадывается материнский характер, крепкий, порывистый и добрый. И помню, как она, помогая матери собирать на стол, по одному взгляду ее срывалась с места что-нибудь принести, подать, убрать. И всякий раз девочка возвращалась к книжке, раскрытой на подоконнике.

В сорок втором году в мой фронтовой адрес как-то дошло письмецо Михаила Худолеева, лежавшего тогда в госпитале после ранения. Не жаловался он ни на что, но тоска по своим, оставшимся под немцами в полной безвестности, горечь солдатского сиротства проникала все это письмецо.

А в сорок третьем году я по случайности попал в дивизию, которая шла на Смоленск и очищала от немцев мои родные места. Фрузы я в Загорье не встретил — сказали, что она, спасаясь от угона в плен, подалась с младшими детьми к какой-то далекой родне. А про Женю я узнал, что она помогала партизанам. Какая это была помощь, в подробности неизвестно, но когда стала гореть изба Худолеевых, подожженная немецкими карателями, то начали рваться патроны. Немцы, видя такую улику, стали загонять людей в огонь, стреляя из автоматов. И Женя кинулась к ним, что-то крича по-немецки и заслоняя собой остальных женщин и детей. Что она кричала, никто тогда разобрать не мог. «Она была такая гордая и так их всегда ненавидела»,— вот в точности слова, которые я много раз слышал от моих односельчан о Жене. Похоронена она вместе с другими расстрелянными на огороде, неподалеку от того места, где теперь стоит сооруженная ее отцом изба...

И, читая историю этого дома по его венцам, я невольно диву даюсь: какая сила, какое терпение и стойкость духа нужны для того, чтобы, не хвастаясь бедами и еще с нередкой добродушной усмешкой над своим рукодельем, справиться с этим сложным, длительным, тяжелым трудом, который выпал человеку после всех мук и трудов на войне, после таких испытаний горя!

«Хороший ты человек, Михаил Мартыныч,— хочется мне сказать ему,— надежный человек...»

Но мы продолжаем осмотр избы, и я воздерживаюсь от какой-либо похвалы вслух, опасаясь, что она помешает серьезности и дружелюбной доверчивости, с какой Мартыныч все мне показывает и поясняет.

Порог дверей кажется слишком высоким оттого, что ступать через него приходится прямо с земли — вместо сеней только навес, притороченный одним краем к стене избы, а другим опирающийся на полуметровые столбики.

Притолоки дверей отструганы без особого блеска, и дверь к ним придется еще пригонять. Мартыныч признается, что в отделочных работах он не мог достигнуть настоящей нормы.

— Топор, один топор. Хоть бы тебе долотечко, стамесочка,— ничего! А тут уж требуется тонкость. Вот хоть бы и потолок,— он указывает мне на то, что я уже заметил и о чем не сказал, чтоб не огорчить мастера,— маленько я ошибся: средние матицы положил чуть выше, и потолок, видишь, посредине выше, чем по краям. Но я думаю, что беды большой нет...

— Воздуху больше будет, кубатура расширяется, — с ходу вступает в нашу беседу председатель колхоза Кузьма Иваныч.

Человек это еще бодрый и более подтянутый, чем мужики в его годы, хотя отпустил уже порядочную серобарашковую бороду. В молодости он живал в городах, работал полотером, и, должно быть, следующая его шутка, с которой он переступает порог, говорится уже не в первый раз:

— Поторапливайся, Мартыныч, стели паркет, по знакомству полы натру — будешь благодарить.

И Мартыныч возражает, как, может быть, не раз уже возражал на эту шутку:

— Спасибо, Кузьма Иваныч. Паркету настругать до зимы уже не успею, а вот если ты мастер коровьим дерьмом с глиной полы мазать, то прошу.

Оба смеются. И, обращаясь уже только ко мне, Мартыныч вздыхает без особого огорчения:

— Полов мостить нынче не буду. Сил не хватит.

И я только теперь соображаю, что доски для потолка не пиленные, а тесаные, и, чтобы получить две потолочины, человек должен был очень удачно расколоть чурбан надвое и все лишнее с этих плашек согнать топором в щепки. Так делали доски до изобретения продольной пилы. И Мартынычу пришлось наново постигать этот забытый человечеством способ.

— Поначалу,— говорит он,— полдня на доску уходило. Отобью шнуром линию, тешу-тешу — нет, обяза-

тельно криво получается. А теперь наладился — как по струне иду.

Это сравнение показалось мне отчасти смелым, когда я разглядывал потолок, напоминающий поверхность фронтовой дороги, мощенной расколотыми надвое бревнами, но оспаривать не хотелось.

Мне все более естественным казалось определить возведение этого незатейливого избяного сруба как некий подвиг. Подвиг простого труженика, хлебороба и семьянина, пролившего кровь на войне за родную землю и теперь на ней, разоренной и приунывшей за годы его отсутствия, начинающего заводить жизнь сначала, с жилья для своей семьи. И вот еще одна новая изба на колхозной усадьбе, отрадный знак возрождения жизни на этих опустошенных оккупантами землях...

— Значит, Мартыныч,— заключает Кузьма по-хозяйски,— теперь у нас есть свой плотник. Сказался. А то беда — никаких специалистов. Думал, пропадем совсем.— И в этом его выводе прямое житейское признание подвига Михаила Худолеева.

— Зачем пропадать? Нет! — отзывается на слова председателя Мартыныч и с какой-то, казалось бы, не свойственной ему лихостью провозглашает: — Жить будем, Кузьма Иваныч!

— Да, будем, Михаил Мартыныч, будем. Только, знаешь, забежал я сюда, сижу с вами, а сам еще в десяти местах нахожусь. Хозяйство. Крутись как хочешь. Поспевай: ах, туда, ах, сюда! И везде Кузьма нужен, а Кузьма один, и ноги у него уже не те... Вот даже и сюда, к Мартынычу, забежать надо: как он тут у меня мучается? Хоть я ему особо помочь не могу, а надо! И на ток надо. И вон там дед крышу кроет на амбаре — надо забежать, а то он прозябнет, слезет греться, а потом его опять поднимай. А-а?..

Но хотя при этом Кузьма Иваныч сорвал с себя шапку, сокрушенно махнул ею и умолк, как бы показывая, что, мол, все равно вы всего не поймете,— в его добрых, голубых, по-стариковски подернутых слезою глазах выражение обиды и раздраженности дополнялось оттенком смиренной и вместе горделивой озабоченности.

— Пойдемте, товарищи,— говорит Кузьма Иваныч, надевая шапку,— закусим чем бог послал. Бабы там собирают чего-то. Я, признаться, уже и за горючим спосы-

лал.— И заторопился объяснить, что это близко, лавка в Станькове, через болото.

— Кругом если, так это вон где, Станьково. Куда к черту! А оно — вот оно, Станьково-то. Раз — и там...

— Ну что ж, пойдемте, это ничего, хорошо. Только другой раз приедешь, то уж давай у меня, в моем, так сказать, новом доме.

* * *

Я вскоре простился с односельчанами, и бедная усадебка колхоза с застроенными и незастроенными пепелищами, с могилами Жени Худолеевой и других расстрелянных немцами людей моего родного угла осталась уже далеко позади. Но впечатление от всего, что я видел там, неотступно сопровождало меня вплоть до выезда с поселков на шоссе, ведущее в Смоленск, и в самом Смоленске. И за первым планом того, что мне кидалось в глаза на улицах города, неизменно стояла худолеевская изба.

Я знаю этот город с детства, с той поры, когда он еще не имел для меня иного названия, чем Город.

Я помню гораздо полнее и отчетливее, чем многое другое и не столь отдаленное во времени, свои первые поездки с отцом в этот город, еще единственный для меня, на телеге с картофелем или еще каким сельским товаром,— случалось это обычно по осени. Яркое сентябрьское солнце скромно и ласково грело землю, дорогу, ольховые кусты с застаревшей летней пылью на шершавой, изъеденной мошками листве. Ездили мы по Ельнинскому большаку, но верстах в шести от Смоленска мягкая дорога кончалась, шел булыжник Киевского шоссе,— грохот этой нескорой, тревожной и утомительной езды уже означал собой город.

Со стороны этого шоссе он открывается слишком медленно и, как говорят, вида не имеет. Гористый, овражистый, застроенный по уступам, он лучше всего выглядел со своим белым собором, темно-коричневой старой Стеной, когда, бывало, подъезжаешь к нему поездом. Ровная линия Днепра, лежащая вдоль привокзальных путей, выгодно подчеркивала изломы зеленых высот, выносящих дома и домики, церквушки и башни Стены вверх-вверх, так, что казалось — каждое здание города видишь целиком...

Дорога, по которой я возвращался из деревни в Смоленск, памятна мне еще особым, горьким и радостным волнением. Это Рославльское шоссе, откуда осенью 1943 года я увидел руины родного города, заволоченные дымами свежих пожарищ, в день его освобождения.

Я не видел Смоленска в первое лето войны, когда гитлеровцы жгли и разрушали его с воздуха, и для меня город в этот день выглядел так, словно бы он, не потухая, горел все эти два с половиной года. И казалось, что даже за такой срок непрерывной разрушительной работы огонь не сделал бы больше того, что можно было видеть глазами, знавшими город в целости. Не хочется все это вновь описывать. Насколько разнообразны и примечательны — каждый по-своему — города при жизни, в своем цветении, настолько похожи и скорбно однообразны они в своем уродстве, причиненном войной. Тяжелая, едкая пыль от взорванных зданий, безобразные конусы щебенки, наваленной с высоты первых и даже вторых этажей до середины улицы, стены с черными дырами выгоревших окон — все это видано и перевидано в своем удручающем однообразии. И, пожалуй, эта картина была по-своему еще печальнее тех зарослей и опустошения, что встретили меня в деревне.

Но нынче в первый раз я подъезжал к городу еще с одной, новой стороны — с Минского шоссе, откуда идет гладкая, под стать самой магистрали, десятикилометровая ветка. С высокой Покровской горы, приходящейся, пожалуй, вровень с главами собора, с того берега Днепра разрушенный Смоленск виден почти так, как я видел его с самолета У-2, пролетая здесь, когда фронт был еще неподалеку. Сверху кажется, что в городе нет ни одного уцелевшего здания. Но стоит спуститься к железнодорожному переезду — и город виден, как из окна вагона, когда московский поезд минует Сортировочную.

И отсюда он, как ни очевидны с первого же взгляда разрушения, как ни оголены склоны и уступы холмов, застраивавшихся большей частью деревянными домами, он — Смоленск!

Смоленск в своей суровой и печальной красе города — страдальца и воина, как будто постаревшего на сотни лет и снова из глубины веков несущего на себе это выражение суровости и печали, свидетельство пережитых испытаний. Ему действительно не в новинку и выгорать дотла и быть опустошенным, стоя на этом исконном пути

иноземных нашествий, устремлявшихся на Москву и Россию. Но все то уже смягчено было давностью, и для людей, живших в нем перед немецким нападением, он со своей Стеной не был только памятником, внушающим неизменно ощущение древнего времени, бывалых бедствий и славы. Он был просто городом, жилым домом, а не музеем. И тем внушительнее теперь его облик, как бы возвращающий нас ко времени польской осады или наполеоновского вторжения — событиям, запечатленным на камнях той же Стены, которая перестояла и немецкие бомбардировки.

Очень трудно передать то волнение, с каким человек приближается к городу, который был ему городом за все города, в котором он жил, учился, начинал думать о жизни широко и смело, как думается о жизни в юности. Такое чувство, как будто боишься узнать о чем-либо очень печальном или ждешь большой радости, которая должна вот-вот наступить...

Новый мост, сооруженный саперами на месте взорванного, ведет прямо в пролом Стены, и его настил смыкается здесь с мостовой главной улицы города — Советской. Она поднимается вверх, к центру, огибая подножие Соборной горы. Изношенные ступени лестницы, ведущей к главному входу в собор, начинаются от самого тротуара. Потемневшие плиты белого камня, обозначенные прорастающей в щелях меж ними травкой,— они не постарели, они все те же, что были,— старые, неровно вытоптанные, по форме напоминающие какие-то каменные чаши.

Правый тротуар улицы идет по краю глубокого оврага. Прежде и этот овраг был живописен: по склонам его лепились домики, садики с лестничками и тропинками вкривь и вкось снизу доверху. В глубине оврага, при его выходе к Днепру, есть старинный колодец, откуда весь город, лишенный водопровода, носил воду при немцах и в первые месяцы по освобождении — в ведрах, в чайниках, консервных банках. Выше овраг заслоняют дома-коробки, частью уже приспособленные под жилье.

Я специально проверил в этот свой приезд одно наблюдение, очень поразившее меня здесь в первый день после немцев.

Через пустые окна дома на левой стороне улицы, мне помнится, я тогда увидел Днепр, хотя прежде он никак не мог быть виден отсюда. Теперь какое-то ожившее на

втором плане строение заслонило этот пролом, и река опять скрылась. Как будто что-то стало на свое место, и это ощущение было отрадно. Это примерно то же, как если бы увидеть избу Мартыненка или иную избу на Загорьевской усадьбе уже с пристроенными к ней и покрытыми под одну связь сенями, чтобы дверь открывалась не в поле, а по-обычному и привычному — в жилой полусумрак пристройки...

В нескольких метрах от центрального пункта в городе — Часов — остается поворот вправо — Козловская гора. С этой улицей, начисто выгоревшей и разрушенной, у меня связано одно из самых дорогих и знаменательных на всю жизнь воспоминаний.

Там однажды я сидел на возу, не выпуская вожжей из рук, ожидал отца, скрывшегося за калиткой одного из домов, и читал и перечитывал вывески. Одну из них запомнил так, что мог бы и сейчас нарисовать ее, расположив буквы и слова точно, как они располагались на ней,— дужкой от одного нижнего края вверх и до другого нижнего края: «Клуб поэтов». Мальчиком я писал стихи и, зная, что все известные мне поэты давно умерли, чувствовал себя в этом смысле одиноким на свете...

Часы! Знаменитые смоленские Часы на углу Советской и Пушкинской — главном перекрестке города,— пункт, по которому определялись все направления и расстояния в городе: «от Часов», «пройдя Часы», «не доходя до Часов». От них осталась одна заржавевшая металлическая оправа с закопченным циферблатом.

В первую после немцев зиму, когда дул ветер, они, покачиваясь на своем железном стержне на уровне второго этажа углового дома-коробки, скрипели и ныли, терзая слух регулировщикам на перекрестке.

В ту зиму здесь на каждом шагу тебя преследовал такой удручающий звук: скрежет оборванной огнем жести, скребущей по жести, либо камню, либо по обгорелой балке. Висит где-нибудь на высоте третьего-четвертого этажа лист кровельного железа, оборванного и полусвернутого в трубку, и бубнит, скрежещет, грохочет там, вверху.

Нынче я не услыхал этого звука нигде в городе: нигде не висит зря ни одного обрывка жести — они где прилажены на своем месте, где вовсе сняты и пошли в дело при возведении окраинным жителем какого-нибудь до-

мишка, сарайчика или оградки участка, отведенного под застройку.

В центре города мертвых домов-коробок все еще остается больше, чем их возвращено к жизни. И нельзя представить себе, чтобы то, что возводилось, строилось и надстраивалось, лепилось, теснилось стеной к стене в течение многих десятилетий и даже столетий, могло быть восстановлено, хотя бы в своей главной массе, в каких-нибудь два года. Да еще из этих двух нужно вычесть те добрые полгода, когда фронт находился неподалеку, на линии Орша — Витебск. Еще весной сорок четвертого года город пережил несколько жестоких налетов немецкой авиации, и ее бомбы падали не только на руины трехлетней давности, но и на те считанные в городе здания, что уцелели от всех прежних бомбардировок.

Вглядываясь в то, как опустошенные и обезображенные огнем стены больших домов там и сям на протяжении улицы вновь приобретают жилой вид, начинаешь понимать, какая это тяжелая, сложная и многослойная громада — старинный город. Медленный, непрерывный, необозримый в своем объеме труд многих поколений людей! Время, обнимающее собой и первый камень, заложенный на месте Свирской церкви, одного из древнейших памятников русского зодчества, и нынешнюю кирпичную кладку, выравнивающую и ведущую вверх какую-нибудь выщербленную взрывом и закопченную огнем стену дома.

И есть особое удовлетворение в том, чтобы разобраться в унылой неразберихе разрушенных кварталов, найти свой ряд и план восстановления. Там — осветить вновь остекленные окна отремонтированного дома, а в ряду с ним хотя бы убрать щебенку и кривые, горелые балки, торчащие из развалин, а если не под силу, то хоть протянуть порядочный забор до следующего ожившего или оживающего здания. Там — образовавшийся на пожарищах деревянных домов пустырь ограничить стройным рядом молодых деревьев, посаженных в линию с улицей. Один дом будет точно таким, как он был до войны; другой только частью своего корпуса может быть возвращен в строй улицы или квартала; остатки третьего будут убраны. Но в этом незаполненном порядке отрадно угадывать закономерность и обязательность заполнения и будущей завершенности.

Можно все это сравнить с картиной строительства нового города среди нарытой земли, котлованов, груд леса и кирпича, зданий, уже поднявшихся от земли, и еще только заведенных фундаментов.

На окраинах города возобновление его выглядит еще более отчетливо. Там заново возникают небольшие, но довольно опрятного вида каменные домики вперемежку со стандартными деревянными домами разных типов и редкими, целиком сохранившимися либо уже восстановленными зданиями прежнего Смоленска...

Если думать, что жилые стены за долгое время вбирают в себя какую-то частицу тепла человеческой жизни, то, несмотря на дожди и метели, прошедшие за эти годы над руинами, сколько этого тепла и даже запаха прежней жизни заключено в новой кладке стен из кирпича, собранного на развалинах!

На эти дома глядишь с какой-то иной пристальностью, этот кирпич уже не просто кирпич — сформованная и обожженная глина,— на нем отпечаток старины, многолетней, порой многовековой службы, какая приходится на долю городского камня. Он и с виду не такой. В одной стене укладываются кирпичи таких различных по возрасту и назначению зданий — от современного, советской поры дома до старинной церкви. Они разного цвета: то более темные, если положены наружу той же стороной, что и прежде была наружу, то с белыми пятнами цемента или известки, то бурые, то коричневые, то серые. Незатейливостью кладки и цветом домики эти немного напоминают постройки, какие бывают у нас на юге — например, в Крыму. Строят их, как правило, те люди, что будут жить в них. Не один только Михаил Мартыныч, говоря «мой дом», будет произносить эти слова в их прямом, буквальном значении. Один домик глядит получше, на других заметнее отсутствие профессионального опыта: там стена не очень ровная, осела или раздалась, выпятившись вбок... Но таких совсем мало; должно быть, это самые первые образцы строительной самодеятельности.

Еще за редкость можно увидеть на этих семейных стройках мужчину, все это, по преимуществу, дело рук женских.

За Никольскими воротами, у Чертова рва, на стройке одного дома, поднявшегося уже так, что кирпичная кладка сомкнулась над проемами, оставленными для окон, я

увидел человека, который укладывал кирпич с заметной сразу же привычной ловкостью и даже легкостью. На мои вопросы он отвечал, не оставляя прилаживать один кирпич к другому и зачищать мастерком серую, замешанную на песке глину, что шла за цемент:

— Демобилизовался. Ехал, знаете, на родину. А тут у меня знакомые. Хотел у них узнать насчет своей семьи, потому что сведений никаких не имел. А тут они строиться начали, просят помочь. Я решил помочь, потому я хоть и не каменщик сам, штукатур, но дело мне это знакомо. Решил помочь.

Внутри постройки стояла еще не старая женщина и подкапывала лопатой раствор из песка и глины. Мне показалось, что она усмехнулась, слушая демобилизованного воина.

— Да, решил помочь вот,— заключил он, быстро и связно коснувшись и своей службы на войне, и прежней работы по специальности.— Решил помочь. Почему не помочь.

— Скажи лучше,— сказала вдруг женщина, усмехаясь, но не отводя глаз от работы,— скажи: нашел тут себе одну, и прижился, и дом стал строить...

Солдат не был польщен этим замечанием, как это могло бы быть с более молодым и более лихим на словах и в подобных делах человеком. Он заметно даже смутился.

— Да нет, что там! Просто, я говорю, ехал, а они мне знакомые. Ну, решил. Ну и живу покамест тоже, потому что где же приютиться. И о семье мне тут нужно еще хлопотать.

— Нашел, нашел, понравился тут одной. Что ж, специалист. Хоть кому так годится.

Я спросил, не она ли и есть эта «одна», привлекшая воина.

— Нет, где уж! — вздохнула она, может быть выражая сожаление, что все это только шутка.— Муж у меня тоже на фронте погиб. Трое детей, мать. Мы здесь раньше жили. А он, правда, помогает.

— Давай раствор,— прервал он ее,— чуть бы погуще надо, а то не вяжет...

И этот маленький, случайный пример доброго рабочего содружества солдата, еще не нашедшего своей семьи, и солдатки, потерявшей на войне мужа, опять привел мне на память избу Мартыненка, построенную само-

лично, и многое из того, что видано, слышано и передумано за эти годы великих утрат и великого утверждения нашей жизни...

За этим рвом — границей городской окраины,— совсем неподалеку от этой вновь возникающей городской улочки, уже виднеются светло-желтые соломенные крыши новых сельских построек.

А подальше, за горизонтом, не видимый отсюда, копается на новостройке неторопливый по нужде, обремененный инвалидностью, усердный труженик, недавний воин, Михаил Худолеев, представляющий в своем маломощном колхозе его строительную бригаду...

Но все вместе — и пятиэтажные здания, восстанавливаемые в центре Смоленска силами профессиональных строителей, и самодельные кирпичные домики новой городской окраины, и вновь отстроенный порядок пригородной деревушки, и Мартыненкова изба, ровесница не только этих строек, но и крупнейших послевоенных сооружений в стране,— все это вместе панорама великого всенародного труда, пришедшего на смену такому же великому воинскому труду.

Я взял самые крайние по маломощности, если их рассмотреть в отдельности, образцы этого труда, то, что мне случилось увидеть на моей смоленской родине, в деревне, в городе. Человек, посещающий родные места спустя годы — и какие годы! — после того, как он жил там, по-особому заинтересован во всем, что он видит. И приметливость у него, должно быть, несколько иная, чем у человека, впервые видящего этот город, это сельское подворье, или человека, видящего их изо дня в день.

Каждый дом, и каждый жилой закоулок, и каждое пепелище города или села, видевшего войну,— это разнообразные судьбы людей, целые истории любви и разлуки, невозвратимых потерь и разнообразных встреч. Никогда люди, каждый в отдельности человек, не видят столько новых людей и так легко не сходятся с людьми, как во время войны.

Мой родной город — он иной, хотя я и встречаю на улицах иногда знакомые с прежних лет лица. Многие из тех, что ушли отсюда в первые дни и недели войны на запад или на восток, не вернулись сюда. Многих оставшихся здесь мы не застали, когда город был возвращен стране. Много здесь и людей, заброшенных сюда какими-

либо путями войны. И для того, кто начинает здесь жизнь, город иной, чем для того, кто вступал здесь в жизнь когда-то, в довоенные годы.

Но город в целом начинает ту полосу своей возобновленной жизни, когда все уже течет привычным порядком — и движение на улицах, и толчея возле тесного здания кинотеатра, и будний и праздничный день с их приметами. Только заезжий и относительно досужий смолянин ходит здесь неторопливой походкой, заглядывается на развалины, припоминает, что где было когда-то и чего не было, задумывается над чем-нибудь, не идущим к его сегодняшней заботе и делу. Людям, что живут здесь и обживают этот город, уже это привычно. Они и по этим улицам, расчищенным от обломков зданий и осененным, по преимуществу, еще холодными стенами погубленных домов, ходят так же, как ходят люди в любом городе в магазины, в баню, на работу и с работы...

1946

● «КОСТЯ»

Рожь едва начинала наливать, когда мы вступили в Витебск, и у нее было еще неполное зерно, а фронт гремел западнее Вильнюса, в глубине Белоруссии и на литовских землях.

Светло-зеленая в низинах и более светлая на взгорках, рожь пахнет в такую пору и хлебом и сеном. Запах этот был особенно явствен там, где она, потоптанная, просыхала на горячей песчаной пыли объездов. Местами, у обочин, она была не просто потоптана или примята и даже не то чтобы обмолочена до срока, а смолота гусеницами и колесами, смолота вместе с мягкой остью еще подслеповатого колоса, молодой соломой и корнями. А местами по ней шли черные плеши от бомбовых разрывов,— веером лежит она далеко вокруг воронки и, живая, привалена тяжелым сбросом земли. И еще больнее видеть, как она, светло-зеленая во все поле, вблизи свежих пожарищ и дышащих жаром машинных остовов стоит бледно-желтая, перезрелая без поры, зряшная. Колос обгорел, молочно-нежное и мягкое, как муравьиное яйцо, зерно пересохло и сплющилось...

Но все это уже не вызывало гнетущего чувства, знакомого по сорок первому году. Все было по-иному. Жестокая стопа войны на этот раз задела кромку хлебов и трав только там, где дорога для нее оказалась слишком

узка. Там и сям она проложила свой след, оставила отметины огня, и тотчас за ней, в тылу, смыкались поля и луга, леса и заросли в своем могучем спокойствии цветения и роста.

Под вечер длинного и жаркого июльского дня, особенно растянувшегося для меня из-за больших переездов по незнакомым местам, я искал свое фронтовое хозяйство на окраине живописного западнобелорусского городка.

Ни одной нашей машины здесь не оказалось: или они еще не прибыли, или уже снялись и следовали за фронтом, а я с ними разъехался.

Воинских частей поблизости не замечалось, даже движение на шоссе становилось слабее,— все подбиралось, подтягивалось к передовой. Словом, мне некуда было деваться. Так я набрел на девушку, сидевшую на ступеньках крылечка во дворе большого деревянного, не то школьного, не то больничного дома, обращенного забитой крест-накрест парадной дверью к дороге.

Девушка была в потертой, неформенной кожаной курточке, перепоясанной ремешком, и сидела она, держась обеими руками за ремень немецкой полуавтоматической винтовки, как бы повиснув на нем, и, припав щекой к стволу оружия, тихо покачивалась.

Она подняла голову, когда я к ней подошел, и с приветливой протяжностью в голосе пригласила садиться, чуть подвинувшись на ступеньке. Я сел, закурил и сразу почувствовал большую сладость хоть такого отдыха и приятную свежесть вечера, которая здесь, в этом дворике, заслоненном от жаркой и пыльной дороги, была гуще и ощутимее еще потому, что внизу, под огородом, слышалась речка. На всей земле вокруг, по которой только что отгрохотал валом катящийся вперед фронт, установилась мягкая, ровная тишина и прохлада вечера. Только шумела вода недалеко справа, в проломе подорванной плотины. Но главная вода, должно быть, уже сошла, и теперь в шуме ее было что-то дремотно-мягкое, успокоительное.

Лицо девушки, бледное, с матово-золотистыми песчинками веснушек, светлыми, будто зеленоватыми от глаз ресницами и неяркими губами, было не то чтобы знакомо мне как лицо, но знакомо по общему своему тону и выражению.

— Си-жу,— сказала она протяжно и как бы вызывающе, но, впрочем, вполне дружелюбно по отношению к собеседнику.— Сижу. Раненых охраняю.— Похоже было, что молоденькая, маленькая девушка привычно предполагает во взрослом человеке снисходительную насмешливость к ней с ее полуавтоматом и гранатой-лимонкой, привязанной бечевкой к поясу.— А как же! Здесь наши раненые партизаны лежат.— Она кивнула на дверь, что была за нами, не оборачиваясь, а лишь вскинув головой и не выпуская из рук ремня винтовки.

Я не торопился уходить, отдыхая от дороги, от своих неудачных поисков и даже от мысли: где же я все-таки буду ночевать? И, может быть, связывая неуловимую, но чем-то приятную знакомость обличья девушки, ее протяжную, хотя вроде как не чисто русскую речь со всей скромностью и очень приветливой красой этого края, со светло-зеленой рожью, с говором женщин в освобожденных деревнях и с какими-то своими отдаленными воспоминаниями, я спросил ее, местная ли она.

— Белорусская? — переспросила и улыбнулась она.— А што? Што я на гетай мове говору? Нет, товарищ начальник. Это оттого, что я здесь два года, меж белорусов да с белорусами. Вот и все. Я заброшенная,— добавила она, помолчав, и вздохнула, как будто слово это означало именно покинутость ее, а не просто способ, каким она очутилась здесь, в недавнем глубоком тылу немцев.

В это время послышался слабый такой звук, как будто внутри помещения швырнули мячом в стену. Я бы не обратил внимания, но девушка сразу прислушалась и, с добродушной досадой покачав головой, сказала:

— Надо идти.

Она наклонилась, опустив винтовку к плечу, и обеими руками снизу вверх провела ниже колена по ноге, аккуратно и экономно перевязанной узким бинтом. Она была ранена и ступала этой ногой нетвердо.

Я решил посмотреть ее партизанский госпиталь. В коридоре и пустой проходной комнате было навалено сено, закиданное обрывками бумаг, какой-то разноцветной рванью, тряпьем, окурками. Сено было прошлогоднее, откуда-нибудь с чердака, и пахло не сеном, а смешанным стылым запахом, какой остается надолго в стенах любого помещения после немецких солдат.

В следующей комнате, кое-как прибранной, в углах, противоположных по диагонали, лежали двое раненых. Здесь было скучно, и меня сразу охватило то напряженное и неловкое чувство, которое приходит, когда осматриваешь такие места: стараешься удержаться от излишнего выражения участливости и в то же время хочешь, чтобы не очень заметны были твое здоровье, завидная свобода тела, не отягченного страданием.

Лежащий лицом к двери больной с повязкой на голове вежливо отозвался на приветствие и даже захотел привстать на постели, запахивая землисто-бледной рукой ворот нижней рубашки. Другой, остававшийся слева, когда я оглянулся на него, поспешно заговорил, указывая на своего товарища со злобой и торжеством:

— Вот он, пожалуйста! Я его знаю. Я его даже очень, слишком хорошо знаю, предателя.— Он вскинулся, быстро перебрав обеими руками вокруг, точно ища чего-то.

Он лежал в застиранной, совсем потерявшей цвет армейской гимнастерке с отложным воротничком, какие еще носили у нас в первый период войны.

— Убью! — шепотом сказал он, истратив все силы в первом порыве.

Я снова взглянул на того, к кому обращались эти угрозы. На лице раненого была улыбка, как бы призывающая не относиться всерьез к словам товарища, но были и страх и желание упредить неправильное заключение нового человека, объяснить что-то.

— Вот весь день так,— сказал он, не жалуясь, а скорее смягчая резкость выпада своего соседа.

Девушка в это время подняла на полу возле его койки солдатский ремень, берестовый портсигар, кружку из консервной банки, еще что-то, разбросанное, как будто здесь играли дети.

— Перестань, Прохоров, лежи смирно. Последний раз говорю.

— Костя! Дай мне винтовку. Я с ним лежать не буду, я его все равно чем-нибудь...

Я не понял, кто же здесь Костя, и подумал, что больной немножко бредит.

Мы вышли из нежилой, насыщенной пылью старого сена духоты на крыльцо.

Я спросил у девушки, что такое происходит между ее больными.

— Видите, я Прохорова знаю, а того почти не знаю. Может, он, правда, сперва был полицаем, а потом в отряд пришел, а может, он и в полицаях был по заданию. Этого я знать не могу, это все разберется. А раненый есть раненый.

Это был уголок того особого мира, о котором до нынешнего летнего наступления я знал только понаслышке да по описаниям, которые в большинстве делались понаслышке же. И мне все было дорого, что могла рассказать моя новая знакомая.

— Теперешнее мое ранение пустяковое,— начала она своим нарочито протяжным и будто усталым голосом.— А в правой ноге у меня осколок с прошлого года. В лесу было труднее заживлять рану. И вообще было трудное положение. А мы *их* до того довели, что *они* стали бросать против нас фронтовые части. А это, знаете, совсем другое дело, чем тыловые да всякие «белошивцы», полицейские. Они нас окружили, огромную территорию окружили, пустили в ход артиллерию и технику. Пошли цепью, прочесом по болотам, по лесам, ничего не пропуская. Тогда я была ранена в этих боях. Рана была тяжелая, но хуже всего, что я долго на снегу пролежала. Сколько я на снегу пролежала — можно умереть без всякого ранения.

Она неожиданно усмехнулась и как будто поежилась. От реки, снизу, шла вечерняя свежесть, хотя деревянные ступеньки крыльца еще были теплые на ощупь. В этой свежести, за которой уже начинается ночь, множество запахов раннеиюльской поры — красного и белого клевера, рябинника, медуницы, просто сена и ржи, пахнущей сеном и хлебом,— почти перебивало остывающий дух городских пожарищ за рекой, железной гари и тяжелый, всегда отдельный среди всех запахов запах трупов. Я слушал девушку, и все то, что она говорила о глухой зиме сорок третьего года, о своем первом ранении, представлялось давним, далеким, таким, каким здесь, в Западной Белоруссии, казалась зима подмосковной обороны или только что минувшая зима жестоких боев на линии Витебск — Орша. Я слушал и все отодвигал мысль о том, где мне сегодня ночевать.

— На войну я попала обманным путем. Я жила в Туле, училась. Мы с подругой для мамы подделали по-

вестку, будто бы повестка из военкомата. А мама поверила, хотя слез было много. Первое время я была санитаркой, а потом мы с подругой расстались: я запросилась в спецшколу — захотела к партизанам. А то на фронте и убьют — не увидишь, кто в тебя стрелял...

И она опять засмеялась, словно желая отстранить всякое предположение об особых, высоких мотивах ее желания попасть к партизанам и свести все к причуде.

— Вы ничего не слышите?

Я прислушался, стараясь отвлечься от шума воды.

— Да, стреляют. Только это не фронт. Фронт вот где,— указал я по дневной памяти,— и слишком далеко, пулемет не услышишь.

— Ихний станкач бьет, — спокойно определила она. — Прорываются где-нибудь. Я не знаю, что теперь им, немцам, делать, которые в лесах остались. Мы в лесу были дома — и то тяжело. Я, конечно, имела специальность. Я в боях была, только когда они на нас шли. А так — я подрывник. У меня счет — шесть эшелонов. А как же,— протянула она опять в нарочито горделивом тоне, хотя и без всякой видимой заботы о том, верю я ей или не верю.— Я по установке рапиды. Что такое рапида? Она — вот такая,— показала мне девушка в темноте приблизительно размеры полевого телефона.

За шумом воды на подорванной плотине, все отчетливее различая стрельбу в тылу, мы услыхали вскоре новый, приближающийся от фронта звук.

— Костя! — послышался из окна знакомый и раздраженно-беспокойный голос.— Чего он там летает?

— Ну, летает, а тебе что? Лежи, не шуми,— громко и строго сказала девушка.

И, оборотясь ко мне, как бы отозвалась на мой подразумевавшийся вопрос:

— Костя? А это мое партизанское прозвище. Смешное? А я привыкла. Я под этим именем и в сводке Информбюро выступала.— И, прислушиваясь, поспешила объяснить беспокойство Прохорова: — Знаете, наши ребята ничего не боятся, но самолетов не любят. Я сама скажу — боюсь до̀ смерти.— Звук самолета стал отдаляться, и она заговорила с оживлением и даже веселостью: — Меня один вокруг колодца гонял. Днем.

С одной стороны сухо, колодец на скате, а с другой — лужа, грязь. Как мне с той стороны ложиться, так в грязь. Вывалялась вся, как чучело. И не могу догадаться платок спрятать, платок на мне красный. Ну, так вот... Рапида устанавливается так, чтобы произошло соединение, когда колесо паровоза в данной точке соприкасается с рельсом. Это дело несложное, но при установке нужна большая аккуратность, и большое,— с наставительной серьезностью девочки-ученицы подчеркнула она,— большое присутствие духа. Да. Потому что такой участок дороги всегда охраняется. Тут и обход регулярный, и вышки с пулеметами, и гарнизоны,— вы видели, каких они тут крепостей понастроили, сколько одной проволоки накручено. А второе — что на полотне человек очень заметен, издалека даже. Я, первый раз когда влезла на полотно, думала, что я три часа там возилась, а это всего полторы минуты... Что это он? Опять?

Мы вместе прислушались. Самолет шел обратно на той же высоте, даже как будто ниже.

— Транспортный.— Она легонько тронула меня за руку. — Слушаем, слушаем, а это же транспортный. Это он своих окруженцев ищет. Почему только он их здесь ищет? Хотя здесь лесок порядочный!

— Страшно? — спросил я, чтобы обратить ее к рассказу.

— Да, нехорошо, конечно, если они здесь так близко. Главное, они оба лежачие,— она кивнула на дверь.— А вы про другое говорите — страшно? Я расскажу. Я расскажу, как первый раз была на задании.

Я очень хотел слушать, но меня отвлекал еще один запах, кроме запахов разных цветов и гари, запах знакомый и даже приятный, но как-то не идущий к окружающей нас обстановке.

— Запах? — Она подняла свое бледное личико, на котором теперь не видны были песчинки веснушек.— Это хлебом пахнет.

— Нет, хлебом, рожью — это отдельно, а вот еще чем-то.

— Я вам говорю: хлебом пахнет, а не рожью.

— Да, пожалуй, верно, горелым хлебом.

— Не горелым, а печеным хлебом.— Она усмехнулась: — Это вы в лесу без хлеба не сидели, а то бы не путали... Тут, наверно, недалеко походная хлебопекарня. Да слушайте вы,— с каким-то даже испугом она

наклонилась ко мне,— вы просто есть хотите. А я тут болтаю. Это мы сейчас организуем.

Я поспешно отказался, очень довольный тем соображением, что неподалеку должна быть полевая хлебопекарня. Это как-никак воинская часть, а следовательно, мне уже нечего было задумываться о ночлеге и прочем.

— Было это зимой, в сорок третьем году,— продолжала девушка.— Мы тогда находились в распоряжении «Истребителя», но где этот «Истребитель» находится, я не знала, конечно. Мы получили задание от нашего командира. Со мной шли двое хлопцев. Они выпили, потому, что очень волновались, а я — ничего. Если я иду на смерть, значит на смерть,— зачем же заранее изнурять-ся? — Это было сказано с той же беззаботностью относительно моего доверия или недоверия.— Страшнее всего знаете что? Ждать взрыва. Страшно, что вот он сейчас ухнет над тобой, и страшно, что никакого взрыва не будет. А мы уползать далеко не могли, мы должны дождаться взрыва и, как положено, обстрелять подорвавшийся эшелон зажигательными, добавить паники. Но еще страшнее, что взрыва не будет, что что-нибудь не так. А пока его нет, как бы там все аккуратно ни было сделано, все равно как бы ничего еще не сделано. Словом, такое состояние, что лежишь и рубишь зубами — ждешь. А когда по звуку от земли слышишь, что поезд идет и рельсы еще за два километра начнут пощелкивать, так это все равно как на тебя бомба идет, и по звуку ждешь — вот сейчас, вот сейчас... Н-ну!.. Дайте мне папироску, если еще есть. Я отнесу Прохорову, он спокойнее будет.

Я дал несколько папирос для раненых. Она наклонилась к спичке, держа папиросу в вытянутых с детской старательностью и еще более побелевших губах, и я опять увидел ее веснушки и слабо очерченные, светлые брови. Она легко поднялась, и, легонько опираясь на винтовку, ушла с прикуренной папиросой, и быстро воротилась.

— Ну вот. Слушайте. Как мы смотрели на всякий эшелон, что шел в ту сторону, к вам, к фронту! Мы имели радио, почти все сводки слушали, знали, что там делается, под Вязьмой или где. И вот, глядишь, несется туда составище — танки, пушки, ящики с боеприпасами, бомбы одна к одной, в сквозных футлярах. А ты глядишь

и считаешь. Да если бы польза самому поперек рельсов броситься — с радостью! И это не то что я такая сознательная, а всякий наш человек так только мог думать, и вы сами так бы думали и так переживали.

Она достала откуда-то из рукава курточки платочек — как-то странно и трогательно было видеть это — и, заслонясь рукой, вытерла глаза, стараясь заслониться и этим жестом, и своей беззащитной улыбкой из-под руки.

— Да. Эти двое хлопцев, что со мной были, они действительно волновались, а одного, по кличке Олег, кашель разобрал. Не может остановить кашель. Тогда я велела этому вот, Прохорову,— кивнула она на дверь,— полушубок расстегнуть и чтоб Олег ему в за пазуху кашлял. Но все равно мне кажется, что слышно за версту — бьет, как из бочки. И они просят: «Разреши нам еще из фляги потянуть»,— как дети, право. А я — нет и нет. «Нет, вы лучше после выпьете». И это все шепотом. А тут поезд — слава тебе господи, как по расписанию! А то уже минут десять оставалось до очередного обхода охраны. Н-ну!

Она глубоко вздохнула и выдохнула воздух. Воспоминания эти, по-видимому, были ей самой в новинку. Она как будто вернулась в свою Тулу, стала опять девчонкой, дочкой своей мамы, и рассказывает о том чудесном и страшном, что она испытала за эти два с лишним года в далеком партизанском краю, уже сама немало дивясь тому, что ей пришлось испытывать.

— Взрыв был такой, что, правду сказать, я думала, что ни земли, ни неба не осталось на свете. Это и был первый мой эшелон и, может, самый серьезный из всех шести эшелонов. Двадцать восемь «пульманов», как один, к черту, и дорога на сутки из строя вон! Об этом и в сводке Информбюро сообщали. Ну, ладно. А что было потом, после взрыва! Конечно, если б мы не были в мертвом пространстве, под насыпью, где взрывная волна прошла над нами, то нас бы сдуло, как пыль, хотя бы мы находились за тысячу метров. На хуторе, где нас ждали сани, обе двери — входную с улицы и ту, что во двор,— снесло с петель... Дали мы, правду сказать, не глядя куда, несколько очередей по все этой громозде́ на насыпи и под насыпью — и бежать. Хлопцы меня подхватили за рукава. Я и ноги не успевала переставлять — во-

локут. Но уже слышим — с наблюдательной вышки ударил пулемет, а вся эта луговина у них пристреляна. Соображаем, что напрямик нам не добежать до хутора,— уже пули стали посвистывать близко. Мы — к речке и бежать по речке, по льду. Речка петляет, это нам куда дальше, но зато мы как в траншее — за берегами, за кустами нас не видно... Правда, бежать еще труднее, чем по полю: где лед, а где снегом перемело так, что по грудь, а где вода под снегом. Добежали. Плюхнулась я в сани, только могла сказать, что, мол, хлопцы, погоняйте. Привалили они меня шубами, сами сверху — и по тройке... Н-ну?! — Она опять вскинула голову с небогатой гривкой русых прямых волос, и я, уже присмотревшись к ее лицу в темноте, увидел, что на нем словно бы заиграла краска, а в голосе слышалась взволнованность как бы вновь переживаемого счастья первой боевой удачи в самом ее разгаре.— Н-ну!.. Кони застоялись, намерзлись, с места взяли — только вожжи держи. Случись что-нибудь — завертка раскрутись или попадись что-нибудь на дороге,— дух вон и нам и коням. Знаете, сани не всё по дороге, а моментом от дороги полозья отрываются и опять об дорогу — тых-тых-тых! Летим. Один вожжи держит — Прохоров. Олег его обхватил за пояс, за него держится. Лежу — слышу, кричат чего-то. Просунулась из-под шубы — поют, поют, и не разберешь что: «Эй, гей, гей! Дай!» Одним словом, мчится тройка удалая. Я за руку одного ухватила, дергаю: «Не сходите с ума». Правда, перестали, но езда все та же. Рвем, рвем! Вся задача — подальше угнать, пока по свежему следу не бросились. А когда едешь один в поле зимней ночью, это всегда так — чудится, что и еще кто-то едет впереди либо сзади, и треск такой же идет от саней, и кони храпят. И нам, понятно, казалось, что за нами гонятся,— вся окрестность гремит и стонет. Давай, го-ни! Н-ну!..

Восемнадцать километров так! Теперь можете вы это представить: ночь, снег, лес поваленный и неубранный по сторонам дороги — это немцы так вырубали. Ночь, снег, иней, глушь невозможная, ни огонька в деревнях, ничего, тыща верст от фронта, вражий тыл, и вот мчится наша тройка удалая, а позади — я раза два поглядела,— позади, над лесом, над таким белым лесом,— он аж синий,— над лесом уже зарево, зарево...

Я хорошо представлял себе эту зимнюю картину,

хотя был глубокий летний вечер с дымными звездами — предвестием жары — и этим успокоительным, все более затихавшим бормотанием воды в проломе плотины.

— Потом я точно сознание потеряла от всех этих переживаний или укачалась, угрелась, может, даже задремала, а только слышу — мы стоим и меня зовут: «Костя, Костя, вылезай, Костя...» Вижу, кони не выпряжены, стоят во дворе, и коровником пахнет, а за стеной бу-бу-бу — говор густой мужской, разный. Меня позвали-позвали и ушли. Там двери хлопают, слышится даже, что печка топится, жарится что-нибудь, а мне неохота-неохота из саней вылезать: угрелась, лежу. Потом вышел кто-то: «Ах, вот где она! Где ты тут?» Раскопал шубу, взял меня за плечи, приподнял и, знаете, ка-ак меня поцелует. Пра-авда!

Она засмеялась, но как-то неуверенно, и опустила голову, вытягивая и словно поглаживая ремень винтовки.

— Ну и что же?

— Ну и все. Все уже рассказала вам, что надо и что не надо. Первый раз, когда идешь на задание, то, конечно, все это переживаешь, запоминаешь. Потом легче. Сколько уже? — Она поднесла левую руку к глазам, подсунув этим движением рукав своей курточки к локтю.— Дело к часу.

— Кто же это был, если можно спросить?

— Кто? А кто же его знает,— протянула она с нарочитой своей интонацией.— Правда, поцеловал, положил обратно,— она так и сказала: «Положил обратно»,— накрыл шубой и вернулся в избу. А я лежу, думаю: кто ж бы это такой был? Я догадалась, что мы приехали в штаб «Истребителя», но я там никого не знала. Подумать, что Олег или этот, Прохоров,— нет. Во-первых, от них бы самогоном пахло, а во-вторых, я бы не позволила. То есть я бы и этому не позволила, но он это сам и так внезапно, что я даже предположить ничего не могла. Приподнял за плечи, наклонился, смотрит в лицо, близко так посмотрел,— глаза добрые, даже задумчивые немного,— поцеловал — и все. И еще то,— голос девушки, как мне показалось, дрогнул и замедлился,— и еще то: никакой грубости он не позволил, ничего такого. А ведь я тогда была совсем еще девчонка, девятнадцать неполных. То есть, как вам это сказать,— она опять осторожно достала свой платочек,— я была не среди чужих людей, люди

были все свои, но ведь меня все это время никто и по имени не знал, всё «Костя, Костя», а какой же я Костя? Пустяки в общем. Не знаю я, куда мне вас девать, вы же очень устали. С больными положить — вы сами не захотите, а еще негде.

Я сказал, что отлично устроюсь у хлебопеков.

— Ладно, идите.— Она поднялась вместе со мной.— Я с вами попрощаюсь, только зайду погляжу на ребят.

И, чуть-чуть волоча ногу, опять прошла в дверь своего госпиталя. Я подождал ее на дороге, под слабой тенью тополевой аллейки. Она вскоре вышла.

— Вы знаете, этот Прохоров, он ранен был еще в первый день войны, в Бресте. И в плену был. И бежал, раненный. И в партизанах был много раз ранен. Конечно, ему обидно лежать с тем, кто, может, позже начал воевать. Но он, знаете, какой, он душу отдаст. Он меня подобрал, когда я в первый раз была ранена. Он, знаете,— она торопилась сказать все самое лучшее об этом человеке,— он *кадровый*...

Стали прощаться, и я еще раз решился спросить у нее, неужели она так и не узнала, кто ее поцеловал, когда лежала в санях. Она вздохнула и тихо, с грустной насмешливостью к своей будто бы проявленной слабости сказала:

— Я, конечно, тогда вскоре вылезла из саней и пошла в хату. Почему пошла — думайте как хотите. Пошла. Захожу — сидят разные люди, кто закусывает, кто курит, и самогонка на столе, но особого шуму нет. За столом сидит один, видимо прибывший «сверху», как говорят, сидит в гимнастерке без знаков различия, но с депутатским значком Белорусского Верховного Совета. Я это все рассмотрела потом подробно. Сидит, курит, записывает что-то в блокнот. А напротив него молодой парень, даже сказать — красавец, но с одной рукой. Это был знаменитый человек, его все очень уважали, я только не могу вам теперь сказать его фамилию. Но я же хорошо помню, что приподняли меня за плечи двумя руками. А подумать на депутата — нет. Не то чтоб уже так стар, но, знаете, солидный уже,— не то. Нет. Я всех там смотрела, засмеется кто-нибудь — на зубы гляжу, точно по зубам хочу угадать. И потом должен был этот, кто выходил к саням, посмотреть на меня как-нибудь, я так понимаю. Но меня встретили все хорошо, даже при-

поднялись, потеснились, усадили и стали угощать, как героиню дня, что ли, но никто не сказался... Ну, все-таки до свидания...

Больше мы не видались. Я переночевал в полевой хлебопекарне, где меня угощали чудесным хлебным квасом, и утром в кабине «студебеккера», груженного хлебом, поехал опять по дороге к фронту. Опять пошла рожь, местами потоптанная, местами хваченная огнем разрывов, рожь бледно-зеленая, но все более светлая по песчаным взгорьям.

1944—1946

● ПИСЬМА С УРАЛА

I. В КОЛХОЗЕ «ПЕРВОЕ МАЯ»

Если я вижу, что на приусадебном участке колхозника, край в край с грядками обычной огородной мелочи и борозденками картофеля, стыдливо теснится пшеничка, или ржица, или ячменек,— мне совершенно ясно, что бы мне ни говорили наперед об этом колхозе, как бы его ни расхваливали,— ясно, что колхоз неважный. Это неопровержимая улика. Колхозники здесь не заботятся об укреплении общего, артельного богатства и достояния. У такого «колхозника» есть отдельная от его трудовых обязательств и интересов в колхозе своя посевная и уборочная. Только вспашку здесь он производит не трактором и даже не всегда конным плугом, а лопатой или мотыгой, сеет из подола рубахи, а убрав урожай, обмолачивает его в сенях вальком и сушит на печке.

С этого, можно сказать, и началась наша беседа с председателем колхоза «Первое мая» Красноуфимского района Николаем Ивановичем Чащиным. Я попросту спросил его с первых слов, сеют ли колхозники хлеб на своих огородах, и обрадовался тому недоумению, с каким Николай Иванович возразил мне:

— Зачем?

Я видел, что Чащину, конечно же, доподлинно известно, зачем это делается, но хорошо было, что он имел возможность делать вид, будто не понимает зачем. И как бы подозревая приезжего в недостаточной осведомленности по части таких вещей, он начал было пояснять мне, как иностранцу:

— Огород или приусадебный участок, он, видите ли, существует у нас для другой цели. А именно для того, чтобы у колхозника было под рукой к столу всякое такое огородное. А рожь или пшеницу зачем же он будет сеять, для этого существует поле...

— Значит, не сеют, ни один человек?

— Понятия такого нет.

Дальнейшая беседа, ознакомление с годовым отчетом колхоза, показателями урожайности его полей, продуктивности стада и ценности трудодня окончательно убедили меня: я попал в хороший колхоз.

Принято почему-то извиняться перед читателем за привлечение цифрового материала или же исподволь и как бы невзначай подсовывать цифры читателю вперемежку с описаниями природы, диалогами и т. п. Но в данном случае я озабочен не художественностью изложения, а только достоверностью. И мне важнее всего, чтобы у читателя явилось по возможности отчетливое представление о том, что такое хороший колхоз в Предуралье, именно хороший, просто хороший, а не какой-нибудь исключительный, выдающийся.

Исключительным и выдающимся можно было бы назвать колхоз «Заря» соседнего Ачитского района, колхоз, описанный во множестве очерков и корреспонденций в свердловской и московской печати и заснятый в документальном фильме «Сто пять лошадиных сил». Там-то я собирался побывать, но мне помешало половодье — уже нельзя было проехать.

— Поезжайте тогда в «Первое мая»,— сказали мне в области.— Правда, того вы там не увидите, что в «Заре», такой, например, электрификации нет, но все же колхоз интересный.

И, должно быть, предполагая, что интересным для меня может быть лишь что-нибудь этакое, не совсем заурядное, мне сообщили, что в «Первом мая», между прочим, имеется водопровод, колхозная музыкальная школа и звероферма, где выращиваются черно-бурые лисицы.

Но меня больше интерссовало другое — коренные показатели экономической и организационной прочности колхоза и жизненного уровня колхозников. С того я и начал по прибытии в «Первое мая».

Уже в 1947 году колхозник получал на каждый вы-

работанный трудодень 2 килограмма хлеба, не считая денег, овощей и мяса.

Планом 1948 года предусмотрена выдача на трудодень 11 названий продукции.

Но доход колхоза не исчерпывается оплатой трудодня, хотя бы и высокой,— тогда колхоз просто съедал бы то, что он получает от своих полей, огородов и стада. Неделимый фонд колхоза в этом году составляет 738 тысяч рублей. Это основной показатель роста хозяйства, его развития в сторону более передовых и совершенных форм.

На средства неделимого фонда уже отремонтирована, вернее сказать, почти заново отстроена плотина на речке, создан большой пруд; построен водопровод протяжением труб в 4 километра с водоразборными будками и частичным разветвлением непосредственно в дома колхозников; построены образцовая зерносушилка, пожарный сарай и 17 новых домов для колхозников. В текущем году на капитальное строительство будет затрачено 636 тысяч рублей. Строится общественная баня; заготавливается местный камень — бутовый плитняк — на возведение каменного конного двора; приобретено и приобретается много скота лучших пород, много машин. Только на культурные нужды колхоза и расширение и оборудование детских учреждений отпускается 100 тысяч рублей. Все эти затраты имеют прямое отношение к оплате труда колхозника, они — существенная добавка к реальной стоимости выработанного им трудодня. О детских яслях и площадке, работающих круглый год, нечего и говорить — их значение слишком очевидно. Но и водопровод в колхозе «Первое мая» — это не просто новшество, а целый перелом в быту жителей села Александровского. С тех пор как существует село, воду брали из речки, а попытки вырыть колодцы не приводили к хорошим результатам,— дойти удавалось до грунтовых вод, почти не пригодных для питья. Колхоз на средства неделимого фонда пробурил 60-метровую скважину, установил насос, соорудил водонапорную башню, и послала она по трубам хорошую, чистую воду по улицам села. Нынче водопровод будет разветвлен по всем до единого домам, и хозяйке не нужно будет выходить к водоразборной будке — вода под рукой на кухне. Это очевидное высвобождение сил и времени, которые с пользой для себя и колхоза должны быть затрачены на колхозной работе.

Баня строится не потому, чтобы так уже негде было помыться людям; в любом огороде — своя черная банька. Но та банька отнимает у каждой семьи время и силы, ее нужно топить, держать для нее дрова, таскать воду. А тут колхозник и его семья могут без хлопот, придя с работы, помыться в бане, которая к тому же будет почище и где вода будет вольней,— мойся, сколько тебе влезет. Опять экономия сил и времени, удобство для колхозника и прямая выгода для коллектива.

Со всей очевидностью эта обстановка сказывается на трудовой дисциплине.

Ранним весенним утром мы прошли с товарищем по улицам колхоза. Все на усадьбе было в несуетливом и немноголюдном деловом движении. Стучал локомобиль на колхозной мельнице; визжала пила-циркулярка, где готовили березовую чурку для газогенераторов; тянулись подводы, груженные окоренным и окантованным лесом для новой бани; на скотных дворах и конюшнях, на семенном складе и по другим хозяйственным помещениям шла работа заведенным, обычным, устойчивым порядком.

Больше всего доро́га в колхозе эта привычность, заведенность трудового порядка, знание каждым своего места и своих обязанностей.

Накануне в колхозе был проведен пробный выезд в поле, который показал полную готовность лошадей, инвентаря и сбруи к весенне-полевым работам. У одной бороны оказался зуб, плохо закрепленный на месте; так об этом мы узнали вчера, едва только вылезли из саней у крыльца правления.

И во всех других отношениях готовность к весеннему севу свидетельствует о прочности заведенного и привычного хозяйственного порядка. Отборные семена в наличии с излишком. За зиму на поля вывезено около 14 тысяч возов навоза. Заготовлены минеральные удобрения. Наступающий сельскохозяйственный год обещает быть еще более доходным, сулит новые и существенные изменения в благосостоянии и быту колхозников, в самом облике колхозной усадьбы.

Я начал свое знакомство с колхозом с вопроса о роли приусадебного участка в экономике колхозного двора. И я должен был убедиться, что в этом колхозе идет сознательно направляемый процесс последовательного укрепления общественного хозяйства. Все, что построено, строится и затевается в «Первом мая», можно и должно

осмысливать в связи с этим процессом, обозначающим ведущее, новое и передовое в нынешнем развитии колхозного хозяйства. Активное видение своего завтрашнего дня, перспективность, соответствующая общим великим задачам послевоенной пятилетки,— характерная черта сегодняшней действительности колхозного села.

Очень важно, чтобы все планы, все наметки и затеи на будущее были разумно согласованы с основной задачей колхоза — укреплять и умножать артельное, общее хозяйство, получать наибольшие урожаи, давать государству больше хлеба и всяких иных продуктов, высоко оплачивать трудодень.

Я не был уверен, например, что идея асфальтирования улиц села Александровского, которую колхоз собирается осуществить в текущем году, является такой уж неотложной и первостепенной. Я высказал на месте эту свою неуверенность, и на меня накинулись, как на человека отсталого, не понимающего, что сейчас происходит уничтожение противоположности между городом и деревней и т. п. Особенно досталось мне от секретаря партийной организации, зоотехника Веры Тихоновны Пекунькиной — женщины, обладающей, в полном противоречии со своей тоненько и нежно звучащей фамилией, большим характером и энергией.

— Вы думаете, что только в Москве можно ходить по асфальту, а мы должны грязь месить? Почему вы так думаете?

Я пробовал сослаться на дороговизну асфальта, на возможность замены его каким-либо другим материалом. Можно, например, проезжую часть улицы замостить местным камнем, а тротуары сделать, как в небольших городах,— деревянные, дощатые, что для колхоза, имеющего и камень под рукой и свою лесораму, не составляет особо сложной задачи. Мне опять возражали, приводя различные доводы.

Разве не дорого уже то, само по себе, что такой спор мог возникнуть в отдаленном уральском колхозе, что он касался не каких-нибудь неопределенных предположений, а деловой статьи нынешнего плана и что, говоря о материальной стороне дела, эта затея вполне по плечу колхозу.

Невозможно осудить это стремление деревни быть не хуже города. Так же, как нельзя, видя над входом в небольшой еловый и пихтовый лесок, обнесенный деревян-

нюю оградкой, надпись «Парк культуры и отдыха колхоза «Первое мая»,— осмеивать простодушную претенциозность этой надписи. Так же, как нельзя недооценивать тот факт, что в колхозе около сорока детей под руководством приезжающей из города учительницы обучаются основам музыкальной грамоты.

Вечером в клубе мы слушали выступление хора самодеятельности под управлением демобилизованного офицера Николая Гавриловича Блаженкова, одного из Блаженковых, составляющих чуть ли не половину жителей Александровского.

Женщины, девушки и девочки — доярки, свинарки, няньки из детских яслей далекого от Москвы колхоза, укрывшегося за невысокой грядой поросших лесом гор Предуралья, люди, никогда не бывавшие в Москве, пели известную песню о ее прекрасных бульварах и мостах, шумных и веселых улицах и, как москвичи, называли ее своей родной, любимой. И пели об Амуре-батюшке, который был далеко-далеко на востоке, и о Днепре, который тоже был далеко на юго-западе, пели с чувством живейшего личного участия во всем, о чем говорили все эти песни великой, необъятной в своих пространствах родной страны.

II. О СТОЛИЦЕ И «ПРОВИНЦИИ»

— Да, время,— сказал инженер Дубровин, один из старожилов Уралмаша, показывавший мне завод.— Приехали мы сюда молодыми людьми, а теперь наши дети молодые люди.

Сказал он это как бы только о себе самом по свойственной еще далеко не старым людям манере подчеркивать свой возраст, но прозвучало это здесь совсем не как обычная фраза о быстротекущем времени. В этих словах нельзя было не услышать той сдержанной, не выпячивающейся гордости за себя, которая дается прямой и длительной причастностью к большому делу, годами, прожитыми не как-нибудь, не даром, а со смыслом и сознанием этого смысла.

Живое, глубоко волнующее ощущение наших исторических лет охватывает душу всякого, кто впервые приближается к главным воротам этого завода со стороны площади Первой пятилетки — центра города Уралмаша

или, точнее, нового, уралмашевского района города Свердловска. Когда-то эта площадь, носящая имя эпохи, уже отошедшей в прошлое вместе с юностью людей нашего поколения, была расчищена из-под леса на порядочном расстоянии от Свердловска. Но с годами расстояние между городом и Уралмашем все сокращалось: завод разрастался, рос и город, и теперь не только трамвайная линия, но и выравнивающиеся порядки всякого рода городских и заводских строений почти уже смыкают на середине этого расстояния совсем старый город и новый его район.

Дома, обступающие площадь широким полукругом и создающие ей вид настоящей городской площади, с расходящимися от нее радиальными улицами, дома эти выглядят по-разному. На них отразились строительные искания и новшества всех пятилеток, темп и дух времени. Но здесь нет ни одного дома, который был бы старше этой площади, и площадь — не старше домов, как это могло бы быть в городе векового возраста. Когда здесь не было домов, площадь была лесным массивом. Город, завод и площадь — ровесники. Давно-давно Уралмаш перестал быть новым заводом, уже выросли в разных краях страны заводы, оборудование которых сделано на Уралмаше, уже окраска домов здесь приобрела обветренный, потемневший от уральских непогод тон, уже выросли порядочные деревца на бульваре, но в обитых жестокими ветрами вершинах сосен, оставленных кое-где, еще живет какой-то отголосок глухого, древнего борового шума, что два десятка лет назад — до завода, до трамваев и автомашин — был здесь главной музыкой. Этот еле внятный отголосок дает живейшее ощущение такого недавнего как будто и такого уже далекого начала всего того, что привычно связывается с именем Уралмаша.

Во дворе завода литой глыбой возвышается танк-монумент, вздыбленный, устремленный,— образец оружия, что изготовлял завод в годы войны. В танке, герметически заваренном, находится знамя Государственного Комитета Обороны, врученное заводу, выпустившему 35 тысяч таких боевых машин. Но и это уже — памятник, уже история, время, сменившееся другим временем.

Большое время прошло с тех пор, как стоял здесь всевластный шум сосен и елей, до поры, как в ознаменование победы над врагом был воздвигнут этот мону-

мент, памятный знак героического труда уралмашевцев, но немалое время прошло уже и после этого события.

Идет третий год четвертой пятилетки, завод вновь строит заводы, и его доля участия в осуществлении послевоенного плана нашего мирного строительства не меньше того, что он сделал для свершения победы.

И весь в целом нынешний возраст завода, сравнявшегося своей славой со славой большого промышленного города, предстает ныне таким емким во времени, таким плотно уложенным день за днем в пределах своих почти уже двух десятилетий и таким исторически знаменательным.

И естественно, что слава одного из знаменитейших заводов страны — она и слава инженера Дубровина, как и его сверстников, его подчиненных и его начальников. С таким правом носят в себе люди славу своей воинской части, боевого корабля, особо важного и решающего участка фронта, где им пришлось воевать.

Но именно эта мимоходом сказанная инженером Дубровиным фраза, так пришедшаяся к первому моему впечатлению от Уралмаша, вызвала во мне без всякой видимой связи одно довольно неприятное воспоминание, с которым я уезжал из Москвы. Наверно, все дело в том, что инженер назвал себя молодым человеком в прошлом, просто употребил эти слова: молодые люди. Не хотелось бы мне ворошить это воспоминание, но ничего не поделаешь: оно мне сопутствовало в течение всей поездки по Уралу, при всех моих встречах и новых знакомствах,— никак я не мог с ним развязаться. Пусть читателю не покажется странным, что это письмо с Урала будет посвящено главным образом одной московской характеристике. Я не хотел бы откладывать это до другого раза.

Дня за три до отъезда из Москвы я сидел в гостях у моего старого приятеля и земляка вместе с его женой и их соседом по квартире, студентом-дипломником, кажется, электротехнического института. В нем вся суть, и поэтому о стариках здесь речь только попутная. Я боюсь осложнить вопрос частностями и деталями, вроде того обстоятельства, что этот студент-одиночка, какому, по традиции, полагается быть жильцом, снимающим комнату или угол у каких-нибудь стариков, был хозяином квартиры, а старики с дочерью-студенткой, отсутствовавшей в этот вечер, его жильцами. Но я просто не могу хотя

бы вскользь не упомянуть об этих подробностях, потому что иначе вся эта история носила бы условный характер выдуманного примера, свободного от затрудняющих изложение частностей, но зато теряющего в своей фактической достоверности.

Молодой человек вышел к нам из-за перегородки, разделявшей просторную комнату старинного дома на две так, что большая часть лепного круга на потолке с крючком для люстры приходилась на долю семьи моего земляка, но зато эта комната была проходной. Шкаф, ширмочка гармошкой и какая-то занавеска отделяли в свою очередь одну часть этой комнаты от собственно проходной части, где мы располагались за чайным столом. Я впервые был в этом жилье моих старых друзей по провинции, уже много лет кочующих в Москве с одной временной квартиры на другую.

Признаться, я обычно думал, когда встречался с кем-нибудь из этой семьи или просто вспоминал о ней, о том, что она могла бы лучше устроиться в городе, где жила когда-то, городе, правда, очень пострадавшем от немцев. Я даже слыхал, что городские организации приглашали вернуться моего учителя, человека заслуженного и очень популярного там, в городе, и при всех трудностях с жильем сулили отдельную квартирку. Но так уже эти люди привыкли, прилипли к этому своему незавидному столичному быту, что о возвращении на родину разговора с ними не получалось.

Приводились с их стороны всевозможные доводы, в числе которых был даже заслуживающий внимания: единственная их дочь Леночка, потерявшая за время войны два учебных года, доучивалась теперь в Москве, а старики не хотели помешать завершению ее образования. А там, мол, получит Леночка назначение, и мы с ней хоть на край света.

Я позволяю себе хотя бы в безымянном виде выносить все это из частной квартиры на страницы печати, между прочим, и потому, что друзья мои там не живут больше: выезд на дачу многих коренных москвичей позволил им снять на лето другую квартиру, а осенью они надеются снять какую-нибудь дачу на зиму.

Но, повторяю, речь идет не о стариках с их Леночкой.

Мы сидели за чаем и, как полагается при первом посещении гостем квартиры хозяев, говорили об этой квар-

тире, о высоте старинных потолков, неудобстве проходных комнат вообще, в частности этой, и однако же о том ее несомненном, с точки зрения хозяев, преимуществе, что она московская. Известен этот фетишизм любого столичного жилья, именуемого обычно уже не квартирой, а только площадью без всяких прилагательных, фетишизм, исповедуемый часто людьми, род занятий которых никак не обязательно связывает их со столицей, а скорее даже наоборот. И я не удержался, опять сказал что-то моим друзьям о возможности лучшего для них устройства в провинции.

— Бросим об этом говорить,— с раздражением прервал меня приятель, а его жена только покачала головой с грустным и решительным отрицанием всего того, что бы я ни говорил еще по этому вопросу.

Я примолк, но хозяин уже не мог меня так оставить неразубежденным, а лишь уступающим ему из соображений такта.

— Я стар, болен,— продолжал он,— мне поздно начинать все сначала. И вообще не обо мне, не о нас, стариках, толк. А вот ты спроси его,— кивнул он на перегородку, из-за которой и вышел потом сосед,— спроси его: поедет ли он из Москвы, молодой специалист, вся жизнь впереди, а спроси, поедет ли он на работу в провинцию, раз у него здесь эта комната?

Молодой человек в скромном свитере с молнийкой, расстегнутой над узелком скромного галстука, по-свойски устраиваясь за столом, тотчас заявил, не ожидая моего вопроса:

— Нет, в Москве я сидеть не собираюсь.

— Ну вот, а вы говорите: спроси,— с недоумением обратился я к старику.— Тут-то и спрашивать нечего: человек получил высшее техническое образование, специальность, зачем же ему сидеть в Москве, где и так людей много? Кстати, какая же у вас специальность?

— Котлы,— скромно, с очевидным знанием цены этому делу ответил молодой человек.— Котлы — моя специальность, хотя работать, пожалуй, придется не по специальности.

— Почему же? — спросил я, но старик с торжествующим ехидством предупредил ответ студента:

— Вот я и говорю, спроси его прямо: поедет ли он работать в провинцию или, как это теперь говорится, на периферию? Вот и спроси.

Я ждал, что скажет студент, и он с приметным спокойствием и выдержкой, сделав маленький глоток чая, сказал:

— Да, я сказал то, что вы слышали, и могу это повторить, но это, конечно, не значит, что я должен совсем уезжать из Москвы. Вовсе нет. Я буду выезжать...

Это уточнение явно не соответствовало категоричности и определенности первоначального заявления специалиста по котлам. Мой старый приятель смотрел на меня с назидательной улыбкой. А хозяйка стола, точно предвидя неприятное развитие разговора и желая разом покончить с этой темой, быстро, заученно, с досадливостью, какая сопутствует многократному повторению бесспорных, самоочевидных вещей, отчеканила, пристукивая ладошкой по краю стола:

— Никогда он из Москвы не уедет. И он прав: у него здесь площадь, у него здесь родные. Раз? Если он не уедет, он, молодой человек, может жениться на девушке, у которой тоже будет площадь. Две площади можно обменять на одну отдельную, и у них будет квартира в Москве. Два? Зачем ему забираться в какую-нибудь глушь, если он — молодой человек и у него такая ценная специальность — и вся жизнь впереди?

Право же, все вы рассуждаете, как моя Леночка,— она просто изводит его своими наставлениями. Это же у вас романтика у всех.

Самым примечательным для меня в этом безапелляционном заключении было то, что эта женщина, хозяйка, на которой лежала главная тяжесть изнурительных мелочных забот и хлопот столичного бесквартирного быта, казалось бы, должна была видеть все резоны в отъезде молодого человека на работу в провинцию и в возможности снять у него всю комнату с полным потолочным кругом и перегородкой на длительный срок. Нет, она видела всю силу и бесспорность прав хозяина «площади», восхищалась красотой его завидной доли, постигала сама и внушала другим разумность его поведения и заманчивость его перспектив. А может быть, она этой безапелляционностью своих выводов только отгоняла от себя, как наваждение, соблазн именно противоположных мыслей, затаенных и мучительных своей безнадежностью мечтаний и предположений души, истосковавшейся по постоянной прописке.

— Нет, дело, конечно, не в женитьбе,— с этим я спешить не собираюсь,— вежливо и солидно пояснил молодой человек.— Но дело в том, что меня затребовали из одного главка для работы в Москве.

— Ах, вот так. Значит, вы остаетесь в Москве независимо от вашего желания или нежелания. Вы просто оказались необходимы именно здесь, в столице?

— Да, но, конечно, я не имею ничего против...

И тут хозяйка в стремлении еще более подчеркнуть прочность положения молодого человека и его несомненнейшие права на получение должности в столице спроста брякнула:

— У него в главке дядя родной. Очень большой человек, очень большой.

— Какое это имеет отношение? — с неудовольствием пожал плечами молодой человек и, желая отметить простодушие в представлении хозяйки о его дяде, иронически повторил:

— Большой человек. Подумаешь.

— Но он достаточно большой человек, чтобы устроить племянника в Москве,— не преминул вставить старик.

— Ах, пусть будет так, по-вашему, не все ли равно в конце-то концов,— с комической подавленностью приложил племянник руку к груди,— что вы от меня хотите?

И, заговорив так, он разошелся, разошелся и говорил довольно долго и солидно, выявляя, между прочим, склонность к ироническим приемам речи, литературности оборотов и весьма напряженную манеру улыбаться этакой самоуверенной улыбочкой, предполагающей в собеседнике, стоящем на иной, чем он, точке зрения, только либо крайнюю наивность, либо притворство. Вы, мол, конечно, не дурак, но из политики, что ли, говорите противоположное. А вот я, мол, говорю, как оно есть на самом деле. И он говорил, что, хотя он и знает студенческую песенку, которую поют на прощальных вечерах выпускников: «Ты уедешь к северным оленям» и т. д., ни к каким северным оленям или медведям он уезжать не намерен, лучше он почитает о них в журнале «Вокруг света», лежа в пижаме на своей тахте в своей московской комнате. И что хорошие фильмы вроде «Сельской учительницы» он предпочитает смотреть в Москве, где они скорее появляются на экране, чем где-нибудь там, в «глубинке»,— он соответствующим образом сынтонировал это

выражение. И что он, так же как и мы, читал появляющиеся в «Комсомольской правде» статьи, в которых обличают выпускников, не желающих расставаться с Москвой и прибегающих ко всяческим уловкам и приемам, чтобы только уклониться от нежелательного назначения, но что статьи, фильмы, песенки — это одно, а действительность — другое. И что он не хочет тратить время на всякие бытовые заботы в тех краях, где ни газа, ни теплой воды, а хочет это время употребить для работы над собой, для совершенствования в избранной профессии в общих, именно в общих, а не его личных, интересах. И что он,— ну что ж ему делать, он так устроен,— не хочет ходить в кирзовых сапогах, в ватнике и вообще зарастать мхом и т. д.

Все это говорилось в тоне кокетливого изнеможения от необходимости повторять положения, сами собой разумеющиеся, и было заключено излюбленной формулой всех пошляков и циников всех времен и разрядов:

— Такова жизнь.

— Но позвольте, черт вас возьми,— не выдержал я,— вы же получали свое образование в годы, когда ваши сверстники либо воевали на фронте, либо в тяжелейших условиях трудились в тылу. Вас же не оторвали от вашей учебы — вы учились. И неужели вы не понимаете, что вы обязаны отслужить, отплатить народу и государству то, что затрачено на вас, отслужить там, где это нужнее для дела, для Родины, а не там, где это удобнее для вас лично. И чем же хуже вас ваши однокашники, которые поедут туда, куда их посылают, и, может быть, даже походят в кирзовых сапогах!

— Жить в общежитии по окончании института не разрешается,— невозмутимо разъяснил молодой ответственный съемщик квартиры, и я уже был готов на любую грубость, на то, чтобы обозвать его последними словами, но, увидев испуг хозяйки, менее всего желавшей такого оборота беседы, и смущение самого хозяина, воздержался и стал прощаться.

И вот дался мне этот молодой человек, засорил мне память на всю поездку, неотступно возникая передо мной по самой, казалось бы, далекой связи, вдалеке от Москвы и комнаты с разделенным на две неровные половины лепным кругом на потолке. Но дело, конечно, не в нем только.

Должно быть, это так у всех людей, разъезжающих и пишущих, что каждая поездка в новые места проходит под знаком какого-нибудь одного настроения или мысли на основе того, с чем впервые знакомишься, и отчасти тех догадок и предположений, с какими приезжаешь в новые места. Конечно, то, с чем впервые сталкиваешься, важнее в определении этого настроения или мысли, чем предварительные догадки, предположения, намерения и оценки.

Урал — край с заслуженно громким именем и край гордый, знающий себе цену. Он как-то дает об этом знать каждому, кто впервые знакомится с ним воочию, часто заранее уже подготовленный к такому восприятию края. Может быть, поэтому у многих, пишущих об Урале, заметна склонность как-то подольститься к старику особо восторженной манерой описаний. Тут обычно и звезды уральского неба, конечно же, горят огнем прославленных уральских самоцветов; и заводские огни, которые подобны звездам; и воздух, которым почему-то особенно сладко дышать, несмотря на обилие угольной сажи, выбрасываемой из города трубами мощных ТЭЦ, и т. п.

Все эти красоты, мне кажется, пишущие люди привозят с собой на Урал. Работающий в своих шахтах, рудниках, заводах, институтах и лабораториях деловой, серьезный Урал менее всего нуждается в такого рода принаряживании и приукрашивании. Ведь не цветом небес своих знаменит край. Выделять и разукрашивать обстановку — это, между прочим, словно бы стремиться приуменьшать значение трудового подвига людей, творящих главную славу Урала. Это почти то же, что, приехав на передний край фронта к людям, занятым своим трудным и серьезным делом и живущим в постоянном напряжении своих будней, начать вдруг восхищаться и умиляться чудными восходами и закатами, какие там бывают, или красотой местности, где проходит передний край. Верно, что и восходы с закатами, и пейзажи могут там быть сами по себе прекрасные, но не с этого надо начинать. Поэтому я и начал было с одного уральского заката, который действительно был очень красив,— горел под невысокой грядою покатых гор, поросших сухощавыми елями, но вспомнил, что не это меня больше всего занимало, и бросил.

Если, например, к Уралмашу подходить со стороны его внешнего обрамления, то знаменитый завод, чья

слава равна славе большого промышленного города, выглядит довольно неуютно. Трубы, корпуса, заборы, мостовые и улицы шумного городского предместья и тамсям редкие, маловетвистые сосны и пихты, посеченные ветрами и словно закопченные дымами завода. Это деревья не паркового вида, а такие, какие остаются обычно на лесовырубках, маловетвистые, выросшие в чаще и вдруг очутившиеся точно раздетыми на открытом месте, какие-то гнутые, невеселые. Но не этими же соснами и не своим жидковатым бульваром, разбитым на месте выкорчеванного леса, славен Уралмаш. И не первому внешнему впечатлению должен довериться новый в этих местах человек. К слову сказать, о первом впечатлении новичка, будь то экскурсант или прибывший сюда на работу и жительство человек, стоило бы тоже заботиться. Опыт показывает, какой разительный выигрыш во внешнем виде города, улицы, завода дает посадка хороших деревьев, как располагает к себе с первого взгляда городское, промышленное место, украшенное рядами или группами деревьев, именно деревьев, а не жалких прутиков, воткнутых кое-как в землю. И можно добавить, что новостройки последних лет выглядят в этом отношении выгоднее. Во дворе еще строящегося и уже выпускающего продукцию Уралхиммаша в свое время высажены и тщательно оберегаются тополя, и как хороши они там, как на месте! Но это только к слову.

Я хотел сказать об основном настроении или размышлении, занимавшем меня в поездке, не исключая при этом сопутствующего воспоминания о встрече с молодым москвичом, о котором мы уже многое сказали.

В кузнечно-прессовом цехе Уралмаша я смотрел как завороженный, подобно тысячам побывавших здесь до меня людей, на работу десятитысячетонного пресса, который обминал и формовал, как бы играючи, такие болванки стали, для транспортирования которых в соседний механический цех построены железнодорожные пути протяжением в несколько десятков метров.

Мне рассказывали о постройке на заводе прокатного стана для Ново-Тагильского металлургического завода. Стан этот весит что-то около 14 тысяч тонн, длина его 120 метров. А сейчас заводом осваивается производство нового вида продукции — экскаваторов, которые будут поднимать за раз по 15 кубометров грунта. Что это за мощность, можно себе представить, если учесть, что по-

камест у нас в массовом применении экскаваторы, поднимающие полкубометра земли, и эти мощные экскаваторы предназначены, в частности, для работы в копях нового Енисейского угольного бассейна, где добыча будет вестись открытым способом. При наличии богатейших залежей угля в этом бассейне такая добыча сулит в недалеком будущем целый переворот в топливном балансе нашего индустриального востока.

На Уралхиммаше я видел, как тяжелые и громоздкие машины делают сложнейшую аппаратуру, необходимую для производства пенициллина, деликатнейшего целительного аппарата.

Я не мог в самой малой мере представить себе, насколько универсально применяется механизация и автоматика процессов в современной металлургии, до того как не побывал, например, в мартеновском цехе Ново-Тагильского завода. Кажется, что людям уже остается наблюдать да читать показатели на приборах, ежесекундно характеризующих ход плавки, фиксирующих малейшие отклонения от заданной нормы.

И всюду, где я бывал на новых заводах, в самых разнообразных цехах, первым, поражавшим меня впечатлением была малолюдность. Работают станки, шумят печи, движутся краны, транспортеры, ленты конвейеров, а людей немного, только это все люди обученные, опытные, профессора своего дела. Иное можно видеть на старых заводах вроде Тагильского завода имени Куйбышева, где люди, может быть, не менее опытные и умелые, но механизмы, оборудование, дослуживающие свой век, и потому людей, видимого напряжения человеческих мускулов несравненно больше.

Правду говорят, что нынешний Урал несет в себе черты и самых новейших, возвещающих будущее способов производства, и самых старинных, давно уже принадлежащих истории заводской техники.

Года два назад при прорыве Висимо-Уткинской плотины обнаружился заложенный в ней чугунный цилиндр с железной цепью при нем. Разбили цилиндр — в нем оказалась медная трубка, а в медной — свинцовая, а в той тщательно упакованный сверток рукописных бумаг (их можно видеть в Н. Тагильском краевом музее). Эти бумаги были адресованы в 1862 году, при ремонте плотины, далекому будущему поколению, и сопроводительное к ним письмо подписано управляющим Нижне-Тагиль-

скими заводами и его двумя помощниками. В письме указано, что подобные свертки заложены и в других плотинах «около мертвого бруса» и что в них вложены такие же «сведения, относящиеся как до перестройки этих плотин, так и вообще до действия заводов».

«Сведения эти,— говорится дальше в письме,— должны показать картину настоящего положения заводов, показать, насколько и в чем именно будущее поколение ушло от нас вперед».

Авторы письма были очень обеспокоены тем, что бумаги будут рано обнаружены, и они просят «вскрывших этот сверток положить его обратно в малодоступное место. Чем более времени пройдет до следующего его вскрытия, тем более интереса представят данные, из которых можно вывести заключение о состоянии горного дела в наше время, может быть, очень и очень отдаленное для вскрывших свертки».

Среди бумаг — записка о состоянии Висимо-Уткинского завода, статистическая ведомость, расчетные тетради по поставке дров и угля, ассортимент выполненных заказов в течение недели и много других документов. Обнаружено все это действительно слишком рано, если иметь в виду желание тех людей адресоваться к пребудущим в веках поколениям. Но если бы они могли в своем небытии представить себе нынешнее состояние горнозаводского дела в их краю, то сравнение его с тем, что было при них, вышло бы далеко за пределы их представлений о далеких будущих временах. Да, время — можно тут повторить слова инженера Дубровина, но уже в смысле, обнимающем более длительный исторический период. Время, опрокинувшее представления наших отцов и дедов о времени и его вместимости.

Так вот о настроениях и размышлениях.

Как бы хорошо, как бы здорово было молодым, полным сил приехать сюда на Урал, вооруженными знаниями, обладающими специальностью, которая здесь нужна, и так-то красиво начать здесь жизнь с самого начала и продолжить ее с толком и пользой, вместе с развитием этого края, сулящим еще невиданные перспективы. Какая ширь, какие возможности для твоих способностей и талантов, если они у тебя есть,— а у кого же их нет в молодости.

Один солдат в исходе войны рассказывал мне без всякой похвальбы, как он являлся в военкомат, где шел разговор о том, в какой род войск его направить:

— А я говорю: пошлите меня к такому делу, чтоб потрудней и похитрей было. Чтоб у меня руки работали и голова не гуляла. Ну, тогда, говорят, иди в артиллерию.

В пору жизни, когда выбирают один из многих путей, в пору волнующего раздумья на распутье не заманчиво ли выбрать именно путь потруднее, край подальше, работу погорячее. Уехать туда, где ты более всего нужен, где тебя ждут, еще не зная твоего имени. И уехать не шутя, а надолго, на такой срок, чтоб деревца, посаженные там при тебе, стали деревьями, намеченные на карте новостройки — действующими заводами и обжитыми городами и твои гордые планы, юношеские мечты — совершившимися делами. И чтобы ты мог сказать себе на склоне, к возрасту итогов и выводов, сознавать с чувством гордого удовлетворения, дороже которого ничего нет для настоящего человека:

— Да, я не бегал от долгов, я был должен моему народу, живым и мертвым сынам его, и я платил долги, не просил отсрочки по бедности. И в том, насколько мы продвинулись к заветной цели, к мечте человечества, доля моего участия не может быть оспорена.

А что сможет сказать уже знакомый нам молодой человек, изучивший котлы для того, чтобы не заниматься ими, что он скажет себе, подводя итог лучшим годам жизни, проведенным так:

— Да, я не был прост, я старался устроиться, как мне удобнее, старался не замочить носков ни в какую погоду на улице. Я никогда не был против коммунизма, но понимал так, что по пути к коммунизму неплохо иметь плацкартное мягкое место. Приходилось изворачиваться, и свет был не без добрых людей. Правда, эти люди, помогавшие мне устраиваться так, чтоб меня ветром не продувало и чтоб мухи не кусали, даже эти люди не уважали меня, видя во мне свое подобие. Правда, я, никогда не будучи романтиком, не отказался бы, конечно, при всех прочих условиях от плацкартного места и пр., от того, чтобы считать себя человеком высокого долга и чтоб другие меня считали таким, а не просто шкурником и ловчилой. Черт его знает, почему это нужно человеку, а вот нужно как-то, даже тоскливо без этого...

Пусть, однако, не думает этот молодой человек, что

я хочу его запугать, как грешника муками ада, поздним чувством неудовлетворенности и раскаяния. Это была бы совершенно неблагодарная задача. Я вообще считаю, что по отношению к людям, подобным ему, не нужно никакой агитации, никаких воспитательных мероприятий. Этих людей, получивших от народа и государства нешуточную ссуду в виде образования и специальности, нужно попросту заставить платить, попросту послать их на работу туда, где они нужнее, не считаясь ни с какими дядюшками из главков и министерств.

И всякий раз я не мог при этом не вспомнить о моем московском молодом человеке, которому такая перспектива, как видно, не представляется сколько-нибудь заманчивой: ведь для этого он должен был бы расстаться со своей злосчастной «площадью» и, может быть, походить осенью и весной в грубых рабочих сапогах.

Офицер, который, окончив во время войны свое военное обучение, приобретя специальность, нужную фронту, стремился бы из-за своей «площади» или по другим каким мотивам застрять в управлении где-нибудь в округе и т. п., только бы не поехать на фронт, был бы явно плохой офицер, человек, недостойный своего высокого звания, и с ним бы не нянчились. Думается, что не меньшая мера общественного осуждения и практического воздействия должна быть обращена на инженера, увиливающего от выполнения своего прямого долга: работы на передовых участках промышленности, там, где его работа более нужна.

Что он будет делать, мой специалист по котлам? Он будет «выезжать»: т. е. будет инструктировать, учить кого-то «на местах», не имея возможности опереться на личный практический опыт.

Я вспоминаю одного из начальников цехов Уралмаша, человека на много лет старше этого молодого котловика. Мальчишкой он строил завод, потом стал работать на нем, начиная с самого скромного ученичества, и здесь же, без отрыва от производства за годы упорной учебы и работы приобрел специальность, стал инженером, крупным командиром на производстве. Естественно, что человек такого опыта, таких проверенных на практике знаний по праву мог бы «выезжать» для инструктирования и помощи на местах. Но почему эта роль должна принадлежать выпускнику, не работавшему на производстве, не отвечавшему за определенный участок, словом, зеленому юно-

ше в своей специальности,— непонятно и неестественно.

Впрочем, не пора ли читателю прервать меня: что, действительно, дался тебе этот молодой человек? Да такое ли это значительное явление нашей жизни? Характеризует ли поведение этого где-то выкопанного тобой молодого эгоиста-обывателя нашу образованную молодежь, огромные кадры молодых специалистов, благородно выполняющих свой долг, работающих на своих местах по всему лицу земли советской?

Мне кажется, что даже если бы то, что составляет предмет моей статьи, было бы исключительно единичным явлением нашей жизни, и тогда бы стоило обратить на него внимание, не дать ему укрыться за общей достойной характеристикой наших вузовцев и молодых специалистов. Но, по-видимому, это явление не столь уж исключительное. Кроме того, я пишу под живейшим впечатлением моих уральских встреч со многими представителями молодой интеллигенции различного рода занятий, людьми, по отношению к которым, как и вообще ко всем хорошим людям, поведение названного специалиста по котлам мне представляется вызывающим и наглым.

Около года назад в Тимирязевской академии проходила конференция читателей «Литературной газеты». В ходе большой открытой беседы там выявилось, что есть и там молодые люди, изучающие сельскохозяйственные науки с намерением применять их в Москве на какой-нибудь завалящей канцелярской должности. Я вспомнил об этом, когда встретился в Красноуфимском районе с зоотехником, воспитанницей Тимирязевской академии Верой Тихоновной Пекунькиной, имя которой я уже называл в первой моей корреспонденции с Урала.

Так бывает, что думаешь — заехал бог весть в какую глубину провинции и познакомился с самым что ни на есть кондовым провинциалом, а потом выходит, что вовсе не так. Мы разговорились с Верой Тихоновной, и я узнал, что работает она в этом районе уже свыше десяти лет, очень любит свою работу, совсем привыкла к этим местам, но сама москвичка, горожанка и более того — работала когда-то в одном московском издательстве помощником редактора. Работала, а потом решила, что работа эта не сулит ей серьезных перспектив, пошла учиться, окончила и, не задумываясь, а, вернее сказать, все обдумав и решив бесповоротно, поехала в провинцию. И вот, казалось бы, что, выполняя свою большую

роль в практической жизни большого и сложного хозяйства, она отвлекалась от науки, от книг и журналов, перестала, как говорится, работать над собой. Нет, именно этот практический опыт позволил ей собрать большой материал для научной работы по своей специальности. Не жалуясь на занятость, не сетуя на обстоятельства деревенской жизни, а как бы признавая себя виноватой, она говорила:

— Все почти готово, весь материал, наблюдения, записи, данные, а вот сесть сейчас написать все от заголовка до конца — трудно. Нужно заглянуть в книги, которые можно достать только в большой библиотеке, нужно бы поговорить, проконсультироваться, да все не вырвусь в Москву или хотя бы в Свердловск на недельку-другую.

Невольно подумаешь, что у таких людей есть куда более несомненное право и в Москве побывать, чем просто право ответственного съемщика квартиры в Москве, подобно нашему котловику. Скажем прямо: Москву надо заработать, духовные и литературные блага столицы не могут принадлежать тебе только по праву месторождения и постоянной прописки. У людей, живущих всю жизнь и работающих вне столицы, часто куда больше моральных и иных прав на нее.

В Тагиле ко мне пришли четыре девушки-десятиклассницы одной из школ города. Это не было праздное любопытство в отношении приезжего литератора, это было серьезное и трогательное отчасти желание «выяснить» некоторые вопросы литературной жизни: относительно «Молодой гвардии», относительно статьи одного критика о повести молодого писателя, затронувшего жизнь учащейся молодежи, относительно того, что пишет такой-то, и как понимать критику лирических стихов такой-то поэтессы. Разговорились, и я спросил девушек насчет их планов дальнейшей жизни по окончании школы. Оказалось, что все они хотят стать учительницами. Я спросил: не влияние ли это фильма «Сельская учительница»?

— Нет,— ответила одна из них, взглянув на подруг, молча поддержавших ее,— нет, но эта картина укрепила нас в нашем намерении.

В Москве из них никто не был ни разу, одна только проезжала Москву с родителями, когда была маленькая, такая маленькая, что ничего не помнит. И о Москве они

говорили с мечтательной нежностью, воодушевлением и скромными до минимума притязаниями:

— Перед тем как совсем уехать на работу, побывать бы в Москве на экскурсии, увидеть ее, побывать в театрах, музеях, проехать в метро, все посмотреть, чтобы было о чем рассказать, когда случится.

Слушая их, я опять подумал о моем молодом человеке с комнатой в Москве, о его замечаниях насчет «Сельской учительницы», о том, что никакими фильмами его не прошибешь и что у него на все про все готова его противная, томно-ироническая улыбочка, и что не миновать еще думать о нем, об этой новейшей разновидности пошлого индивидуализма и цинизма.

Краткое добавление. Статья уже была сдана мною в редакцию, когда я встретился на улице с моим земляком, бывшим жильцом молодого человека.

— А я, знаешь, был у него на днях,— вещички кое-какие оставались там. Представь, он уже работает.

— Где же?

— Да здесь, в Москве, в каком-то ведомстве. Уже в командировку выезжал куда-то под Москву, очень, говорит, интересная работа. Приехал на два дня и опять уехал.

— Однако гоняют его часто.

— О! — сказал мой земляк.— Это надо уметь. Он, брат, мне разъяснил, в чем дело. Его послали туда на два месяца, но со второго месяца суточные идут ему уже в половинном размере. Так он не дурак, он приехал в Москву, нашел причину, благо близко, а теперь как бы снова едет туда, и суточные опять у него без потерь. Ловок все-таки, надо признать. И молод, а ловок.

1948

● В ДЕРЕВНЕ БРАТАЙ

(Из албанских записей)

С белой, горячей, шуршащей жесткой щебенкой большой дороги, то вырубленной уступом в почти отвесных горных склонах, то пересекавшей долины, ровные, как поверхность озер, машина свернула вправо. Теперь мы ехали по дороге, которая была вдвое у́же прежней, и разъехаться со встречной машиной здесь было бы попросту невозможно. Впрочем, трудно было и предположить, что нам может повстречаться машина: дорога была очень мало наезжена; должно быть, по ней редко проходили даже сельские двуколки; она даже затравенела, затравенела, конечно, не так, как какой-нибудь наш проселок, но все же на ее каменистом грунте отчетливо обозначались две прерывистые полоски низкорослой колючей травки.

Но и здесь с одного из открытых поворотов я заметил глубоко внизу, метрах в пяти — десяти ниже дороги, ржавый, измятый остов обгорелой машины, как-то зацепившийся там за каменные торчаки крутого, как стенка, спуска в ущелье. Действия партизан вынуждали итальянцев и немцев выдвигать глубоко в горы свой боевой транспорт, где он подрывался на минах, подвергался обстрелу из засад, застревал на непроезжих участках полудорог-полутропинок, подобных той, по которой теперь пробиралась наша маленькая машина, едва ли не первая в этих местах после войны.

В километре с небольшим от деревни Братай, куда мы держали путь, машина остановилась, и опять шофер Коля заявил, что эта неприятность входила в его предположения, но он уже не уверял нас, как прежде, что через две минуты все будет в порядке.

Это был рослый албанец лет за пятьдесят, ревниво сохранявший за собой русскую ласкательную форму своего имени Нико, или Никол. В Влёре, влезая в его тесноватую для пятерых машину, настоявшуюся с опущенными стеклами под жестоким полдневным солнцем, я сказал что-то про баню. Коля восторженно закивал черной с проседью, стриженной под короткий ежик головой, заулыбался, широко открывая рот, где было всего-навсего два прокуренных, желтых резца, и причмокнул языком, как это делают албанцы в знак похвалы удачному, меткому слову.

— О! Баниа! Русска баниа! Хорошо!

Он знал и еще два-три слова на моем языке, как, впрочем, и на всех больших языках мира, и в данном случае был очень доволен завидной способностью общения с русским человеком без помощи переводчика.

— Баниа, баниа! — повторял он с наслаждением, обернувшись к нам с переднего сиденья и проводя широкой, черной от загара рукой по горячей обшивке автомобиля.

Однако все его оживление сразу пропало, когда он узнал, что мы едем в Братай. Он сделал уморительно грустную гримасу и, безнадежно разводя руками, заговорил на родном языке отрывисто, чуть ли не с раздражением:

— На этой машине в горы? Нельзя. Спросите кого угодно — нельзя. Машина не в порядке, дорога трудная, даже опасная. Все скажут — нельзя.

— Тогда зачем мы берем эту машину? Ведь есть другие.

Я уже взялся было за ручку дверцы, но меня удержало спокойствие моих товарищей, считавших необходимым, как я понял потом, дослушать Колю до конца. И выражение жалостливой растерянности на его лице сменилось вдруг решимостью, настоятельной энергией и убежденностью, предупреждающей всякие наши сомнения.

— Да, все скажут, что на этой машине ехать нельзя, но скажут те, кто еще не знает машины. А Коля гово-

рит, что вполне можно, и, может быть, только на ней и стоит ехать. Она, правда, имеет свои недостатки, но Коля знает их все наперечет как свои пять пальцев. И товарищи смогут убедиться, что, в сущности, эта машина даже лучше иной исправной, потому что там еще не знаешь, что в ней испортится, а тут все наперед известно!

Словом, желая всячески заверить нас относительно благонадежности своей машины, Коля с трогательным простодушием ставил нас в известность, что существуют и прямо противоположные мнения о ней, которые он был готов опровергнуть на деле.

Так мы и поехали.

Покружились, попетляли по крутым холмам, обступившим Влёру с северо-востока и сплошь покрытым оливковыми рощами, то теряя из виду море, то вновь обнаруживая его слева или справа на новом повороте, и наконец выехали на более выровнявшуюся дорогу, которую местами даже можно было видеть на километр-полтора вперед.

Я пропускаю все наши остановки в пути, все заливания радиатора водой из горных источников, все продувания бензопровода и прочие дорожные происшествия, ничуть не смущавшие знавшего все наперед Колю. Но теперь, в самом конце пути, Коля, как уже было сказано, собирался подольше заняться машиной, и мы, пожелав ему успеха, направились в Братай пешком.

Нас было четверо: секретарь местного партийного комитета Бекир Юсуфи, красивый человек лет тридцати, с прямым тонким носом и большими карими, умными и немного печальными, как почти у всех албанцев, глазами; поэт, секретарь Союза албанских писателей Шевкет Мусарай, очень сухощавый, много курящий человек лет за сорок; совсем молодой, рослый парень, переводчик Фикири. Фикири был старейшим из моих новых албанских друзей. Еще в Тиране, в день прибытия советской делегации на Конгресс албано-советской дружбы, при первой встрече выяснилось, что Фикири, студент Свердловского университета, прошедшей весной видел меня на университетском литературном вечере. Этого было достаточно, чтобы нам здесь, на албанской земле, встретиться как старым приятелям.

Какой отрадной предвечерней свежестью охватило

нас в тени от гор, после душной машины, еще как бы сохранявшей полуденный жар Влёры!

О дневной духоте напоминали только цикады, еще стрекотавшие в кустах, но уже не с той однообразной, металлической резкостью. Мы были довольно высоко в горах, хотя никто точно не мог сказать, сколько это метров над уровнем моря, и вечер своей прохладой, запахом свежеющей пыли прямо-таки напоминал наши деревенские вечера. Вместе с тем он был полон и своих особых примет — звуков, красок и запахов.

Деревня Братай лепилась по широкому склону от подножия большой черной горы до ущелья, на дне которого тихо, но явственно шумела река. Деревня была еще освещена заходящим солнцем — лучи его тянулись высоко над нашими головами, над затененной горным выступом дорогой. Нежно и грустно звякали жестяные колокольцы деревенского стада, неторопливо спускавшегося с гор к деревне. Пахло дымом, но не дымом от березовых или еловых головешек, а каким-то непривычным, душистым дымком от горных древесных пород. И еще пахло чем-то совсем знакомым, съедобным — это был, как я узнал потом, запах кукурузного хлеба, выпекаемого на улице, в куполообразных глиняных печурках. Мы были уже почти на околице деревни.

— Братай, Братай,— тихо, как бы про себя, сказал Бекир Юсуфи. Он был родом из этих мест, здесь ходил в партизанах, и, должно быть, это тихо повторенное название деревни по-особенному отзывалось в его душе.

Мне очень легко и сейчас представить лицо Бекира таким, каким оно было в те минуты. Прямые темно-русые, ровно зачесанные назад волосы, большой загорелый лоб. Легкий прямой нос, тонкие, но добрые и умные губы со вспыхивающей на них улыбкой растроганности и смущения. И особенно его глаза, карие большие глаза, в которых как будто отпечатлелись вековая горделивая скорбь и неподкупное достоинство народа, столько страдавшего и еще так недавно обретшего освобождение. В этих мягко блестевших глазах светилась такая нежность, такая возвышенная сыновняя любовь к этим горам, к реке, шумевшей глубоко внизу, к родной свободной земле, добытой кровью отцов и братьев.

— Братай...

Я еще раньше слышал от албанских товарищей, что это слово славянского корня. Может быть, единственно

по этому случайному признаку я выбрал деревню Братай из многих других деревень, чьи наименования были мне названы. И уже по дороге сюда я узнал от Фикири, что в албанском языке слова «коса», «лопата» существуют в том же значении, что и у нас, хотя, правда, только в значении орудий труда. И река, что шумела у подножия деревни Братай, называлась Шушиц, или, по-нашему, Шушица. А когда я просил пояснить мне буквальное значение этого слова, то Шевкет Мусарай вытянул губы трубочкой и воспроизвел звук воды, тихо катящейся по каменистому ложу: «Шу-шушу...»

Дыханием древнего времени, памятью давних, когда-то много раз утрачиваемых и вновь зарождавшихся связей мира веяло от этих простых, первоначальных, как лепет ребенка, слов и обозначений.

— Смерть фашизму! — услыхал я вдруг и чуть не вздрогнул.

Эти слова громко сказал, обращаясь к нам, внезапно спустившийся из кустов на дорогу пожилой албанец в тяжелых, домотканых суконных штанах, застегнутых у икр на пуговицы, в суконной жилетке и такой же куртке, небрежно вскинутой на левое плечо.

— Свобода народу! — быстро отозвался Бекир и протянул ему руку.

Я уже знал эти слова по-албански, этот пароль и отзыв партизанского времени. Но внезапность и торжественность этого возгласа в устах горца придали уже привычным слуху словам какое-то особое звучание, точно этот клич опознания своих донесся из боевых времен древности.

— Ту нят ета, ту нят ета! — приветствовал нас горец, что означает «здравствуйте» или, совсем дословно, «живите долго».

Это был пастух, он уже давно видел нас сверху и спустился, чтобы первым встретить гостей у входа в деревню.

Он пожал протянутую Бекиром руку, и затем они быстро приложились щекой к щеке, слева и справа. И, не разнимая рук и приблизившись лицами, они тихо, с выражением большой участливости друг к другу, поговорили о чем-то. Бекир представил всех нас первому из жителей деревни.

Фикири перевел слова пастуха:

— Он очень рад, что первым приветствует дорогих гостей деревни Братай.

Он проводил нас до ближних домов деревни. Там стояло человек десять мужчин, опираясь на длинные, гладкие рукоятки мотыг,— они только что пришли с поля. Несколько поодаль стояли две женщины с прялками в руках — албанки не расстаются с ними не только дома, но и в дороге. Лица их не были закрыты, что для мусульманской местности являлось отчасти вольностью. Одна из них, которая была постарше, курила толстую самокрутку.

Все поздоровались с нами за руку с непринужденной и вместе истовой вежливостью. Со многими из них, в том числе с пожилой женщиной, Бекир поздоровался, как с пастухом, по-родственному. Старший по виду из мужчин в белой суконной куртке сказал:

— Мы давно знаем и любим Советский Союз, но впервые видим в нашей деревне советского человека, жителя города Москвы, мы очень довольны.

С этими словами он приложил руку к груди и слегка наклонил голову; то же самое сделали все стоявшие в кругу, причем каждый перехватил мотыгу в левую руку и чуть-чуть отнес ее в сторону. Это было красиво и походило на некий воинский знак приветствия. Я даже подумал, что орудия труда у этих земледельцев не утратили и своего назначения как оружия. В их осанке, в согласном единообразии движений также сказывался древний воинственный дух и воинский опыт народа. Правда, теперь в одежде уже не было единообразия и строгой самобытности. Национальные, домашнего изделия шаровары, жилеты, пояса и шапочки сочетались с бледно-серым сукном трофейных френчей, с городскими летними безрукавками и джемперами на «молниях». Только на ногах преобладала самодельная обувь — наподобие мокасин или русских крестьянских чуней.

Фикири перевел мой ответ на приветствие, и вновь со сдержанной истовостью качнулся круг мужчин, и я еще раз услышал, что хозяева очень довольны оказанной им честью, и еще раз попросил Фикири передать мою благодарность за честь, оказанную мне такой радушной встречей.

Конечно, во всем этом обмене любезностями порядочно было церемонности, обязательности обряда. Но, видя лица моих хозяев, угадывая за сдержанностью и

принятой церемонностью обращения искреннейшее радушие, я ощущал нешуточную значительность момента и, конечно, сам был взволнован непредвиденной огромностью моего представительства. Я был первым советским человеком, которого видели эти люди. Они смотрели на меня с жадным, но уважительным и любовным вниманием.

Мы прошли всей толпой по улице деревни, где много домов стояло с выгоревшими оконными переплетами, без крыш или было вовсе разрушено. На выбитой козами каменистой площадке выше здания школы, ничем, впрочем, не отличавшегося от других деревенских домов, был разостлан коврик для гостей, а хозяева уселись вокруг.

И вот здесь, в глубине малоизвестной нам даже по книгам горной страны, в албанской деревне, несмотря на крайнюю непохожесть обстановки, мы вели беседу, какая могла бы происходить где-нибудь в белорусском или смоленском селе после освобождения от оккупантов.

Эта деревня была одним из тех мест, где оккупанты не могли удержаться длительный срок. Партизаны их изгоняли, и жизнь шла здесь по своим партизанским законам, подобно тому как в некоторых наших районах где-нибудь на Витебщине, задолго до полного освобождения края войсками армии, восстанавливалась Советская власть, действовали ее законы и учреждения. От времени до времени итальянцы, а затем немцы выдвигали в горы войска с артиллерией, танками, бросали авиацию, и тогда вся деревня, с женщинами, стариками и детьми, уходила дальше в горы. Покамест мужчины воевали, их семьи ютились в заносимых горными метелями землянках и пещерах. Деревня много раз подвергалась артиллерийским обстрелам и ударам с воздуха. Строения, сложенные, как я заметил, из камня, на простой глине вместо цемента или известки, так же легко было разрушить, как легко сжечь избы и сараи какой-либо нашей лесной деревушки. Оккупанты угоняли скот, забирали все, что могли забрать, в покинутом жителями селении.

Жизнь в Братай еще и сейчас бедная и скудная. Ее нельзя сравнить с жизнью наших колхозных сел, хотя бы разрушенных и сожженных до основания: маленькое и молодое албанское государство не могло оказать даже наиболее пострадавшим от войны районам такой помощи, какая была оказана Советским государством жите-

лям мест, пострадавших от немцев. Но я во время беседы, касавшейся многих житейских дел, не услышал ни одной жалобы на эту жизнь.

— Мы имеем теперь землю, и мы свободные люди,— говорили наши хозяева.— Погодите, мы будем жить хорошо.

Всякий советский человек на моем месте испытал бы то же, что я при этой встрече, и так же затруднился бы передать в коротких и точных словах испытанные им чувства. Я не представлял себе, что в деревушке, куда, может быть, со времени войны еще ни одна машина не добиралась, в сердцах простых людей, так сказать, глубокой албанской провинции живет такое отчетливое и ясное сознание зависимости своей победы над врагом от победы советского оружия и такая признательность нам за помощь в мирной жизни, такое трогательное почитание самого имени нашей страны.

Когда речь шла о разрушениях, учиненных в деревне карательными отрядами, была названа мечеть, и я, учитывая преобладание старших возрастов среди участников беседы, сказал, что, надо полагать, мечеть будет вновь отстроена. И прежде чем уяснил в словах переведенный мне ответ, я понял его по тому смеху, который вспыхнул среди правоверных.

— У нас есть гораздо бóльшая забота — построить новую школу,— а без мечети как-нибудь обойдемся.

Я вспомнил при этом и другой случай, показывающий, что среди албанцев мусульманского вероисповедания уже не редкость такое беззаботное отношение к заветам религии... Мы как-то осматривали развалины старинного замка на горе Петрели, вблизи Тираны. На эту гору вслед за нами поднялся молодой албанец с огромным барабаном за спиной. Был рамазан, или мусульманский пост, в течение которого пищу принимают только раз в сутки, в промежуток с девяти часов вечера до двух часов ночи. Барабанщик должен был дать боем сигнал всей окрестности ровно в девять часов. Однако за добрых полчаса до этого барабанщик, по предложению кого-то из наших товарищей, незамедлительно показал свое мастерство, лихо ударив в барабан. Когда мы затем, разобравшись, выразили сожаление, что по своему незнанию толкнули его на такой грех, он рассмеялся.

Желая нарушить односторонний характер беседы, я попросил Фикири поблагодарить его соотечественников

за все, что они рассказали о своей жизни, и узнать, нет ли у них вопросов ко мне. Мне казалось, что я буду засыпан разнообразными вопросами. Но прежде всего я не учел, что расспрашивать гостя о чем бы то ни было, особенно в первые часы знакомства, по обычаям не только албанского, но и многих других народов, считается неприличным, невежливым. В ответ на мое предложение я услышал еще раз слова о радости, которую доставил жителям деревни Братай своим приездом товарищ из Москвы. Впереди еще ночь и день и столько дней и ночей, сколько гость пожелает у нас остаться.

Переведя последнюю фразу, Фикири добавил от себя:

— Будет большая обида, если вы не останетесь ночевать.

Я охотно согласился, поблагодарил хозяев, но сказал, что утром мы должны вернуться в Влёру, где нас будут ждать члены советской делегации. После этого в кругу сидящих прошел какой-то легкий говорок, и старший обратился к Фикири.

— Они хотят немножко петь и танцевать,— перевел мне Фикири.— Если желаете, то нужно пойти на другое место.

Мы перешли на другую площадку, еще повыше, которая была выстлана каменными плитами, немного просевшими и перекосившимися от времени. Это был ток, где молотят хлеб, гоняя по кругу лошадей или мулов, и танцевальный круг одновременно, то, что у нас в деревнях называется пятачком. Пятачок этот помещался у подошвы каменного холма, может быть огромного цельного камня, скатившегося когда-то сюда с гор, заслоняющих деревню с юга. Уже совсем свечерело, и фигуры мужчин, взявшихся за руки и развернувшихся цепочкой, как это делается в коло, были подернуты легкой сумеречной тенью. Чего-то не хватало, чтобы начать действо. Бекир вышел из цепочки, подошел к ведущему, у которого правая рука была свободной,— это был опять же албанец в белой куртке,— и вот в этой руке у него развернулся каемчатый платочек. Я понял, что у людей, пришедших с работы, в хожалой, будничной одежде не оказалось этого малого атрибута пляски. Мусарай, Фикири и я присели в сторонке. Ведущий откашлянулся, но еще не запел, а сказал, как бы в третий раз повторяя слова приветствия:

— Мы очень довольны, что нам оказана честь... Мы

жалеем, что наши товарищи, павшие в боях за свободу, не присутствуют среди нас...

После этого он запел, и стало понятно, для чего он сказал последние слова: песня посвящалась памяти погибшего героя. Все подхватили и пошли цепочкой по кругу, притопывая в каком-то необычном ритме, разворачиваясь вполоборота друг к другу. Напев, напоминающий, как мне показалось, напевы наших кавказских горцев, печальный и мужественный, звучал в незыблемой тишине вечера и ближним эхом отзывался в горах.

Шевкет Мусарай склонился над блокнотом, устроив его у себя на колене, и с ухваткой опытного собирателя стал записывать, несмотря на сумерки. Это было нетрудно, так как каждая строка песни повторялась не меньше трех раз, как мне пояснил Фикири. Вот дословный перевод песни:

«Когда наша партия создавалась, баллисты [1] арестовали Лазе Нуро и посадили его в тюрьму. Но он и не подумал их бояться. «Я ненавижу врага»,— сказал он, и все честные люди говорят так. Поэтому с нами победа».

Когда мне переводили строку за строкой эту песню, я не мог сразу уловить соответствие ее слов с особенностями исполнения. Что, например, означает это яростное притопывание ногами при словах «и посадили его в тюрьму»? Оказывается, каждое колено пляски и бóльшая или меньшая энергия ее ритма восполняют как бы недостающие в песне слова. «И посадили его в тюрьму, низкие души, будь они прокляты» — вот так примерно должна была звучать эта строка в исполнении, хотя произносилась только первая половина строки. Поэтому текст песни не может дать представления хотя бы о том, как долго она поется. А по-албански эта песня укладывается в восемь строчек правильного четырехстопного хорея, скрепленных одной сквозной рифмой.

— Кто такой Лазе Нуро? — потихоньку спросил я у Фикири, предполагая, что это известное в стране имя.

— Лазе Нуро — уроженец этой деревни. Он погиб в боях с оккупантами. Его память чтут здесь, а песня о нем — одна из любимых песен в Братай. Вот сын Лазе Нуро. Бари! — подозвал Фикири мальчика, худощавого, стройного, лет девяти. Он только что спустился сверху,

---

[1] Баллисты — буржуазные националисты, прислужники оккупантов. *(Прим. автора.)*

с каменного холма, нависшего над площадкой. Там он сидел с другими ребятишками и смотрел и слушал, как поют песню о его отце, а приезжие быстро записывают ее в свои книжечки.

Всегда есть что-то милое и удивительно трогательное в том, как маленький человечек, ребенок, бойко говорит на неизвестном тебе языке. Дети в Братай, как всякие дети, не особенно придерживались принятых взрослыми канонических норм в обращении с гостем. Они стайкой сыпались вслед за мной, с нескрываемым любопытством разглядывая меня с ног до головы. Особенно их интересовали, как пояснил Фикири, моя украинская рубашка и летние полуботинки. Никто из взрослых, в соответствии с понятиями приличия, не спросил о моем имени, профессии и цели приезда в Братай, но дети, быстро войдя в контакт с переводчиком, с настойчивостью потребовали ответа на все эти вопросы.

Я, со своей стороны, задал им обычные в разговоре с детьми вопросы: как кого зовут, сколько кому лет, кто кем хочет быть, когда вырастет.

— Шофером, солдатом, милиционером, почтальоном, учителем,— односложно и без колебаний отвечали ребята на последний вопрос. А один мальчик, в трусиках, бахромками болтавшихся вокруг его ног, так же односложно и без колебаний сказал:

— Министром.

Мне даже показалось, что он при этом чуть пожал плечами, как бы добавляя к своему ответу слово «конечно».

Это вызвало восторженный, одобрительный смех и детей и взрослых. Немногословный Бекир Юсуфи, обратясь ко мне с заблестевшими в темноте своими карими красивыми глазами, горячо пояснил:

— Видите, он понимает, что в свободной, демократической республике можно, родившись в Братай, стать министром. Министры служат народу, и они должны быть из народа. Хорошо,— заключил он по-русски.

— Шум мир! Очень хорошо! — подтвердил я, тронув мой крайне скудный запас албанских слов, прибереrаемых для особых случаев.

И мы все смеялись, охваченные внезапным приливом волнения и растроганности.

Поблагодарив исполнителей песни, я спросил, кто является автором ее слов.

— Селим Хасани,— ответили мне и ответили так, что я счел неудобным показать, что это имя слышу впервые, и, кивнув головой, кое-как записал его в темноте.

— Нас просят зайти в дом,— сказал Фикири.

И мы, сцепившись руками, один за другим стали спускаться по узкой тропинке к ближайшему из домов в деревне.

Должно быть, то, что в популярнейшей среди балканских народов пляске коло люди крепко берутся за руки, происходит из привычной предосторожности горцев: если один оступится, его удержат другие в цепочке. Но еще я заметил в Албании, что рукопожатия здесь долгие и крепкие, и не редкость увидеть, что двое албанцев, приятели или просто добрые знакомые, поздоровавшись на улице или в дороге, долго стоят, не разнимая рук. А иной раз так и идут — рука в руке — и беседуют...

Мы направились к дому, возле которого уже стояла наша машина.

— Порядок, порядок! — докладывал нам Коля по-русски и говорил еще что-то по-албански, то и дело вставляя это излюбленное слово русских солдат и шоферов.— Порядок. Авто — порядок!

Мы свернули в ворота, низкие своды которых подпирали второй, жилой этаж дома — нижний служил клетью и сараем. По лестничке из каменных плит, вроде высокого русского крылечка, мы поднялись на свет фонаря, предупредительно вынесенного навстречу, и очутились в мощенных теми же плитами маленьких сенях, у которых со стороны двора стены не было. Это место называется диваном. Стены дома и каменная плитняковая кровля сохраняют здесь тень в продолжение почти всего дня.

Нас встретила хозяйка дома, вдова Шечере, женщина лет сорока пяти. Она поздоровалась с гостями за руку и, указав нам на открытую дверь той половины дома, где мы должны были расположиться, попросила извинить ее за беспорядок в доме. Время рабочее, она весь день в поле, а дома никого нет — ее сын и дочь учатся в городе. Сын скоро будет офицером. Это пояснение должно было, очевидно, послужить некоторым оправданием запущенности в доме, но никакой запущенности, конечно, не было.

Выдвигаемый нашими провожатыми вперед, я переступил порог комнаты, сплошь застеленной коврами, но лишенной какого бы то ни было подобия мебели. Я все как-то перезабыл из того, что приходилось читать или

слышать об обычаях домов подобного рода, и не догадался оставить обувь у порога, а когда сел в указанном мне углу, увидел, что все вступают в комнату в одних носках или босиком. Я быстро разулся, очень смущенный попыткой молодого албанца помочь мне в этом, и полуботинки мои были водворены на положенное им место. Никто из присутствующих даже бровью не повел, чтобы показать, что заметил мою оплошность. Врожденная вежливость и тактичность были проявлены и во всех других случаях, когда я делал что-нибудь невпопад по незнанию, а Фикири забывал или, опять же из вежливости, не хотел предупредить меня.

В комнате сидело человек пятнадцать или более, все курили и молчали. Потолка не было, и дым поднимался к щелям тяжелой плитняковой кровли.

Наконец ко мне обратился сидевший, как все, разутый, но в полной своей форме с красными погонами сельский милиционер.

— У него есть один вопрос.

— Пожалуйста! — обрадовался я.

— Он просит рассказать, как произошла Октябрьская революция,— перевел студент Свердловского университета, глядя на меня с таким участием, как будто я вытащил один из труднейших билетов на экзамене.

Понятно, что мой ответ наполовину состоял из оговорок относительно того, что настоящее освещение этого величайшего исторического события потребовало бы много времени. Все слушали с глубоким вниманием, и я не мог вновь и вновь не почувствовать того, что я для них не просто агитатор, с помощью переводчика сообщающий им некоторые уже более или менее известные вещи, а живой, натуральный человек из Советского Союза, из самой Москвы...

Беседа шла, подали кофе в маленьких нарядных чашечках, дым от сигарет и трубок стоял над головами плотным слоем. Но как будто собрание ждало чего-то. И я отметил про себя, что товарищ Бекир еще медлит достать припасенную им в эту дорогу бутылку вина.

— Смерть фашизму!

— Свобода народу!

Наклоняясь как бы от дыма, в незанятый правый угол комнаты прошел невысокий старик в какой-то ватной телогрейке и солдатской пилотке, пытливо и весело посматривающий в сторону гостей.

Все поднялись поздороваться со старшим в собрании.

— Селим Хасани,— представил его тот, кто до этого времени был старшим.— Партизан, дважды раненный. Сейчас ему шестьдесят восемь лет, он сторожит деревенскую кукурузу от диких кабанов, поэтому он опоздал немного.

— Да,— сказал Селим, расправляя усы и поглаживая седую щетину на впалых щеках и сухом подбородке,— я уже довольно стар. Таких стариков было только два в партизанах — я и еще один, он погиб в боях. Старая Береле лишилась мужа и сына.

— Эту женщину,— добавил от себя переводчик,— вы видели при входе в Братай — она стояла с другой, помоложе, и курила. Когда сын ее был убит оккупантами, муж сказал: «Теперь моя очередь воевать». И ушел в отряд.

— Это тот Селим Хасани,— спросил я,— что сложил песню про Лазе Нуро?

— Да, тот, но он сложил не одну песню. Он поэт, и ему принадлежат слова многих песен, что поют в Братай.

Старик сидел, как все, подвернув ноги пятками под себя, и, наклонив голову в заношенной пилотке, с добродушным, снисходительным лукавством вслушивался, что о нем говорили.

Бекир Юсуфи принес из машины бутылку, разлил коньяк по кофейным чашечкам, и когда, после обстоятельного тоста, все выпили, Селим откашлялся и посмотрел в сторону гостей.

— Он будет петь,— сказал Бекир.

Селим качнулся грудью к сидящим перед ним односельчанам и чуть подкинул вверх подбородок, как бы призывая всех изготовиться к песне, и, покачиваясь, запел:

Бевин и Цалдарис хотят поделить Албанию...

Я успел записать перевод этой первой строки и увериться, что речь идет именно о Бевине и Цалдарисе, а хор еще тянул ее, повторяя в третий и, может быть, четвертый раз. И тут нужно было смотреть на лица поющих.

Бевин и Цалдарис хотят поделить Албанию...

Лица при этом последовательно выражали и вопросительное недоумение, недоверие к самому факту подобного намерения, и затем возмущение, оскорбленность чувства, и, наконец, грозный протест.

А лицо Селима тем временем уже выражало некое хитрое торжество: пусть, мол, они собираются поделить Албанию, и следующая строка уже прямо оправдывала это торжество:

Мы имеем своих друзей — Россию и Сталина...

И хор подхватил эти слова, сразу воодушевляясь их уверенностью, и вместе с уверенностью уже здесь была насмешка над врагом по поводу его просчета: что, мол, съел? — так можно было бы передать русскими словами смысл этой мимики.

А во главе у нас стоит партия,—

говорилось в заключительной песне, и эта концовка звучала как слова клятвы, здравицы и воинственного вызова.

Песня сменяла песню, и нового человека в них поражало обязательное наличие непосредственного политически актуального содержания. Я попросил спеть какую-нибудь старинную песню, но и эта песня о турецком иге каким-то образом под конец обернулась к современности. Древняя форма выражения насущных нужд, дум и надежд народа органически служила выражению небывалого, нового сознания и была неразрывна с ним:

Товарищи, я буду петь недолго,
Но скажу точка в точку:
Пусть подохнут завидующие нам,
Те, которые были баллистами.

Песня имела успех. Селим Хасани был сам явно доволен ею и в дополнение к ней заявил на словах:

— Я слишком хорошо понимаю политику, и теперь меня в политике не собьют ни Трумэн, ни Бевин, никто.

Это было сказано так, как будто в задачу Трумэна или Бевина входило сбить в политике именно его лично, Селима Хасани. Безнадежность подобного намерения подчеркивалась хитрой и как бы сожалеющей об этих политиках улыбкой незыблемого в своих взглядах человека.

Я поднялся было, чтобы выйти подышать, но тут Селим запел снова:

Когда я был молод,
Я был журналистом...

Так именно перевел Фикири начало этой песни, и на лице у него самого было недоумение, почти растерянность.

— Я не знаю, что он хочет сказать: как он мог быть журналистом? — Ведь он неграмотный...

Дальше в песне говорилось о том, что Хасани писал статьи в газетах, разоблачал врагов и призывал всех честных людей бороться за свободу и строить новую, светлую жизнь.

Не желая, видимо, прямо уличать певца в мистификации, Фикири сказал, что советский гость не совсем понял слова песни. Селим, похоже, только этого и ждал.

— Разве это не правда, что я был бы журналистом при моем понимании политики, будь я только грамотным и помоложе годами?

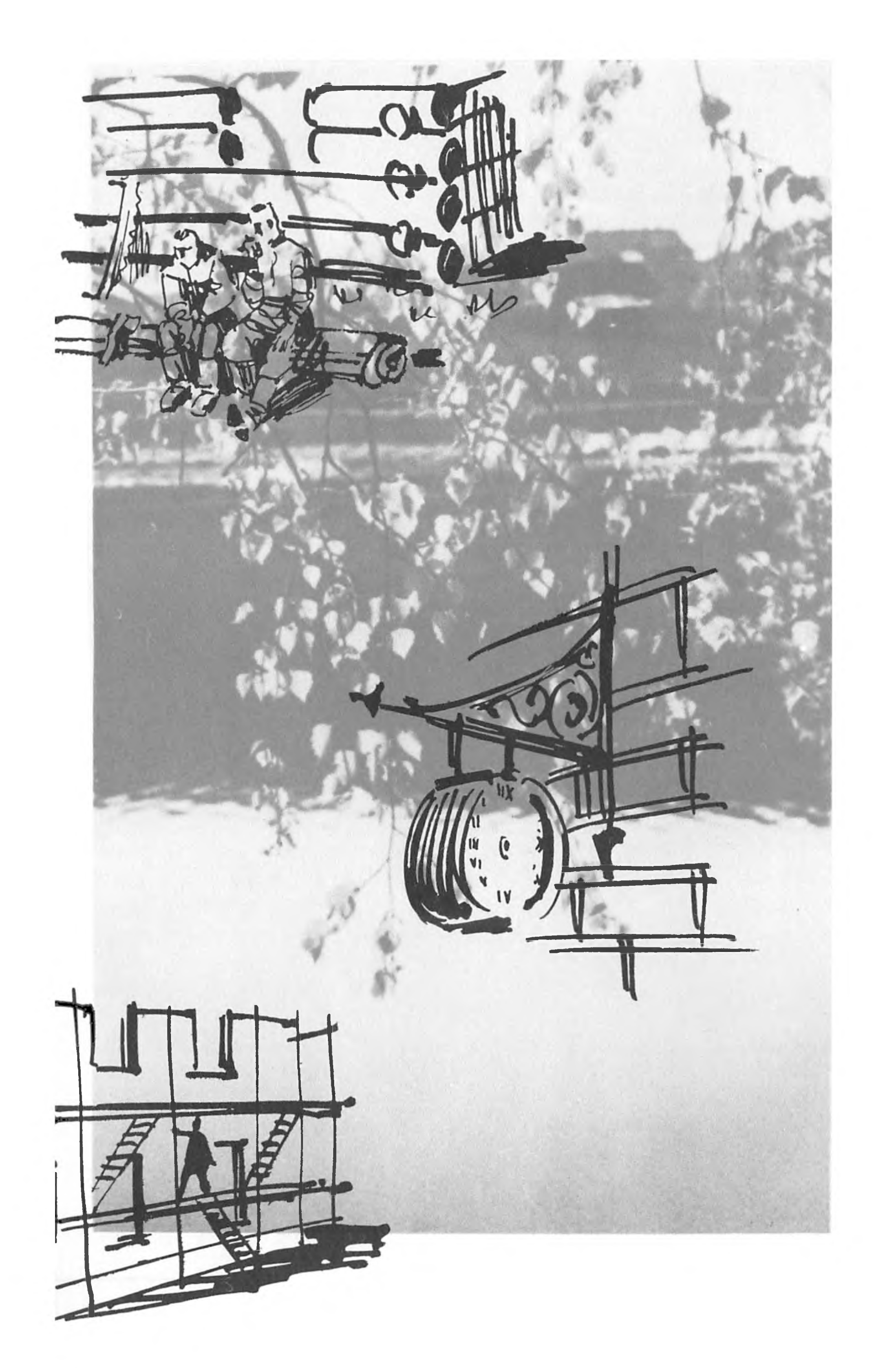
Я не умею передать словесный ход этого шуточного приема, употребленного Селимом, но там он вызвал веселый смех и характерное причмокивание языком — знак похвалы удачному острому слову.

Поэт сидел, удовлетворенно ухмыляясь и ревниво склонившись ухом в мою сторону, словно наблюдая за точностью русского перевода своих слов.

Нащупав у порога свои полуботинки, я вышел в открытые сени, называемые диваном. Из второй двери, выходящей на эту площадку, бил красный, встревоживший меня свет. Я заглянул туда. На полу комнаты дымились крупные красные головни большого костра, вокруг склонялись фигуры мужчин и женщин. На длинном деревянном вертеле, протянув во всю длину передние и задние ножки, жарилась баранья туша. Я сказал Фикири, вышедшему за мной следом, что если он знал об этой затее, то должен был помешать ей: ведь это не от избытка, я же только что слышал, что в деревне очень мало овец.

— Об этом нечего говорить: мы здесь только гости,— строго сказал Фикири.

Было уже далеко за полночь, когда подали этого барана, выставив на ковре низкий круглый столик. Бекир разлил береженый остаток вина из той же бутылки; до-





сталось, может быть, менее чем по одному глотку, но провозглашение тоста и поднятие бокалов происходило с большой торжественностью и соблюдением формы.

Селим, закусив со всеми, отсел от стола и начал опять потихоньку раскачиваться. Все перестали есть.

— Он сочиняет новую песню.

Селим, покачиваясь, шевелил губами и посматривал в мою сторону с каким-то особым, обещающим выражением веселого озорства.

— Он сочиняет песню для гостя.

Песня эта показалась мне похожей по началу и характеру исполнения на все другие, а судя по тексту, записанному мной, предполагаю, что в нее вошли строки из каких-либо других песен, но в ней действительно были слова о госте, прибывшем из Москвы в Братай, расспрашивающем о нуждах людей, о жизни.

Народ сбросил иноземное иго и строит новую жизнь. Но память суровых, неравных боев не покидает сердце поэта:

О, Албания многострадальная,
Какая ты мужественная,
В бой ты шла безоружной!

Кончив петь, Селим посмотрел на меня выжидательным взглядом, и Фикири, обменявшись с ним несколькими словами, сказал мне:

— Поскольку он знает уже, что вы тоже поэт, он думает, что вы споете что-нибудь в ответ на его песню. Скажите что-нибудь.

Я сказал, что, к сожалению, не умею слагать стихи так быстро, и Селим с ласковой недоверчивостью покачал головой, полагая, видимо, что я лишь из похвальной вежливости не желаю оспаривать первенство у него, старика.

Ужин кончился, подали воду для мытья рук, и народ стал расходиться. Селим остался после всех, внимательно смотрел, как нам стелили постели, изредка делал какие-то замечания,— мне пояснили, что по старшинству он считает себя обязанным убедиться, что гости хорошо устроены на ночь,— и только тогда попрощался с нами.

Когда мы прощались и он взял мою руку обеими своими сухощавыми руками и так держал ее, стоя передо мной и заглядывая снизу вверх мне в лицо, он показался много старше, чем прежде. Он, должно быть, порядочно устал, а ему еще нужно было идти на свой пост в поле.

Песни отзвучали, праздник его закончился, и новое выражение старческой грусти виделось теперь в его добрых, немного воспаленных глазах. Он держал мою руку и, кивком пригласив Фикири к разговору, спросил:

— Ты в Москве вспомнишь меня хоть раз или только здесь хвалил мои песни?

Это была шутка,— он и улыбнулся при этих словах,— но это была и просьба, и дружеский укор про запас.

Я указал на мою книжечку, в которой весь вечер записывал, и сказал, что не только буду помнить, но обязательно напишу о нем в газету.

Он усилил пожатие моей руки, встряхнул ее.

— Спасибо. Но ты пиши правду, ничего не придумывай от себя для украшения правды.— И вслед за тем глаза его оживились прежней лукавой искоркой, и он с профессиональной доверительностью подмигнул мне, как бы говоря, что мы-то, мол, с тобой отлично знаем, как это иной раз делается...

Затем он одной рукой наклонил легонько мою голову к себе, и мы приложились щекой к щеке слева и справа.

— Прощай. Живи долго.

Утром его не было в числе провожавших нас. Выпив по чашке кофе и наотрез отказавшись от завтрака, мы выехали из Братай, чтобы, пользуясь утренней тенью в горах, к раннему полудню попасть в Влёру.

* * *

Мне хочется здесь привести несколько строк из письма, полученного мною из Албании десять лет спустя после этой поездки в деревню Братай.

«У нас в Албании существует традиция писать письма советским людям по случаю месячника советско-албанской дружбы. Я решил написать именно Вам, дорогой Александр, чтобы напомнить, что мы с Вами встречались 10 лет тому назад, в 1948 году, когда Вы приехали с визитом в нашу страну. Вы посетили и деревню Братай, о которой писали в своей книге. В то время я был еще маленький, учился в начальной школе. Вы повстречались с большой группой детей нашей деревни и, к счастью, со мной. Ах! Как свежи воспоминания об этой встрече и нашей беседе в моей памяти! Мне она вспоминается именно такой, какой Вы описали ее в своей книге. Я был в коротких штанишках... В конце нашей беседы

Вы спросили меня, кем я хочу стать, когда вырасту, и я совсем по-детски ответил: «Хочу быть министром». Сейчас, конечно, Вы меня вспомнили.

Хочу рассказать Вам о моей жизни в течение этих 10 лет. После окончания начальной школы в деревне народная власть дала мне стипендию для продолжения образования. Таким образом, я окончил семилетнюю школу в городе Влёра. Там я ближе познакомился с Вами посредством Вашей поэмы «Василий Теркин». После окончания семилетки я окончил Сельскохозяйственный техникум в Тиране (в 1956 году). Условия здесь были созданы замечательные, особенно для пострадавших от войны. Хочу Вам сказать, что меня очень уважает семья за то, что во время войны, в горах, нашел пещеру с таким узким ходом, что немцы никак не могли отыскать нас, хотя стреляли из автоматов над самыми нашими головами...

Сейчас я работаю агрономом в сельскохозяйственном кооперативе Чепрат, недалеко от Влёры. Свою специальность я очень люблю; в то же время она высоко ценится нашим народом и партией. Мне нужно работать еще год, чтобы приобрести стаж, который требуется для поступления в высшее учебное заведение.

В этом письме я хочу Вам сказать, что в нашей стране произошли большие изменения. Непрерывно растет благосостояние народа. Мы понимаем и видим своими глазами вашу помощь, помощь нашего верного друга — Советского Союза. Мы высоко ценим дружбу с вами; сама наша жизнь не имеет смысла без вас.

В другой раз я напишу Вам на русском языке, потому что я прилагаю все силы, чтобы его изучить. Кончаю свое письмо к Вам, желая от всего сердца успехов в Вашей замечательной работе.

С уважением *Муедин Брокай.*

(Влёра, Албания. Сельскохозяйственный кооператив Чепрат.)»

1948

НА ХУТОРЕ В ТЮРЕ-ФИОРДЕ

Не помню, что я такое прочел в детстве о Норвегии, но с давних лет своеобразное очарование этой страны оживало в душе всякий раз, когда случалось что-нибудь читать или слышать о ней. И всегда она почему-то представлялась воображению либо зимней, обдуваемой снежными бурями в горах, либо осенней, в дымке мягкого, бессолнечного дня или под мелким серым дождем. А увидеть Норвегию воочию, с ее лесами, горами, фиордами и озерами,— хотя и в небольшой части, и на короткое время,— мне случилось ранней весной, всю в молодой, набирающей силу зелени, в свете майского солнца.

На другой день по прибытии нашей маленькой делегации в Осло один из наших норвежских друзей предложил нам поехать в Тюре-фиорд посмотреть норвежскую деревню. Мы уже успели посмотреть норвежскую деревню, расположенную на территории Народного музея в Осло: десятки изб из овально окантованных, в метр толщиной, черных от времени, точно вываренных в смоле, бревен; с лестничками на чердак или второй этаж, вырубленными в цельной колоде; с кровлями из дерна, густо прошитого молодой травкой, должно быть, поливаемой музейной прислугой. Эту деревню свезли сюда из разных районов страны, и представлены здесь постройки не моложе века, в том числе деревянная церковь, примечательная своей вертикальной, а не горизонтальной, как, например, у нас в деревянном зодчестве, вырубкой. Жи-

лые строения обставлены амбарами на высоких, причудливо обтесанных столбах с утолщениями кверху — чтобы не взобраться грызунам,— разными сарайчиками, навесами и обтянуты деревянными изгородями из черных же, натуральных жердей. В стране с трехмиллионным населением, принимающей до шестисот тысяч туристов ежегодно, не удивительна такая забота об иностранных гостях. Норвегию всех веков и всех районов, от севера до юга, нужно представить им компактно, в удобообозреваемом расположении, переписанной в каталогах, справочниках и запечатленной на фотографиях в альбомах, которые можно приобрести тут же, возле этих старинных изб с очагами без дымоходов.

В этой деревне, как почти во всяком музее, было скучновато, уставали ноги, и хотелось, чтоб всех этих построек было поменьше. Может быть, увидев какую-нибудь одну из этих изб где-нибудь на месте, в горах, стоял бы час и другой как зачарованный, рассматривая ее всю, бревнышко за бревнышком, а здесь что-то было не то: попадались на глаза знаки разметки бревен по номерам, что делают при перевозке, раздражала искусственная зелень дерновых крыш, похожих на газоны. Помехой натуральности впечатления было уже одно то, что избы стояли по необходимости тесно, именно как в деревне, тогда как известно, что в Норвегии деревень в нашем смысле нет — одинокие хутора или маленькие группы хуторских усадеб, трех-пятидворки в отдалении от других хуторов...

И вот мы едем. Профессор В. Н. Столетов, директор Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, искусствовед Н. И. Соколова и я — на заднем сиденье, а впереди, рядом с шофером машины советского посольства,— норвежский художник, предложивший нам эту поездку в Тюре-фиорд. Там, сказал он, живет его родственник — не то свояк, не то шурин.

Едем мы по узкой горной дороге, выдолбленной в каменистых откосах скал, над глубокими, темными расселинами с шумящими на дне их весенними потоками. Слева у нас почти все время в виду синий фиорд, похожий на широкую недвижную реку; он только изредка скрывается за каким-нибудь поворотом или темной стеной туннеля. Слева и справа впереди под облаками белые поля — снежные вершины гор. Это — Норвегия.

Но нестарые еловые леса по горам, белоствольные березки, одетые нежной и трепетной неполной зеленью,

рябинки с матово-серебристыми, только-только распускающимися листочками, ветлы с золотистыми шишечками их предшествующего листве цветения, молодая игольчатая травка на угретых солнцем местинках — все это такое знакомое, самое что ни на есть среднерусское, подмосковное, только вчера оставленное на родине. И хотя всегда, когда расстаешься с привычным представлением о местах, которых прежде не видел, бывает ощущение какой-то потери, эта потеря вознаграждалась тут трогательной и приветливой знакомостью в облике страны, которую знал лишь по книгам и еще вчера представлял себе совсем иной.

Еще вчера... Но воздушная трасса Внуково — Ленинград — Хельсинки — Стокгольм, ночная дорога в поезде Стокгольм — Осло, заботы и хлопоты первых часов на новом месте, новизна и обилие впечатлений уже очень отдалили это вчера,— казалось, уже прошло невесть сколько времени.

Живя на даче во Внукове, забываешь, что, в сущности, живешь на берегу бескрайнего воздушного океана, в мировой гавани, откуда ежедневно отправляются скоростные пассажирские корабли в ближние и дальние рейсы, конечные пункты которых разбросаны по всему свету.

Всего лишь за три дня до того, как отправиться в Тюре-фиорд, ранним утром 2 мая, мы поднялись на самолете с площадки Внуковского аэропорта. Это было праздничное утро, которому предшествовал праздничный день, прихвативший и добрую половину ночи: внизу, на земле, было малолюдно, длился отдых рабочего и служащего человека в отрадном предчувствии еще целого праздничного дня впереди. Видно было, что и пригородные поезда, и платформы станций еще пустуют по-праздничному. Только по берегам темной вихлястой речушки, перекрытой узкими, как дощечки, мостиками, можно было заметить фигурки рыболовов, да какой-то любитель своих садово-огородных затей по праздничному делу копался в реденьких светло-зеленых кустиках возле желтого домика стандартной конструкции. Все еще спало, все отдыхало на нашей родной, освещенной добрым утренним солнцем, нежно зеленеющей земле. Местами на ней были видны ломаные линии полуобвалившихся окопов минувшей войны, темные от стоящей в них воды воронки, подобные тем круглым, с выпуклыми краями впадинам на теле Луны, которые называют кратерами.

Праздничное безлюдье на утренней земле торжественно подчеркивали и как бы поясняли большие и малые флаги, свисавшие на фасадах станций, школ, сельских клубов и просто жилых домов,— флаги, украшавшие вчерашний день и с полным правом осенявшие нынешний, что еще весь, до ночи, был в запасе у наших соотечественников, родных и близких, друзей и знакомых. Еще им предстояло неторопливо, по доброму, сложившемуся порядку советских годовых праздников, вступить в этот день: отправиться за город или в веселую толчею парка, принять гостей у себя или отправиться в гости, погулять, послушать музыку и самим попеть в охоту, позасидеться, попровожаться под вечер — и все с таким освобождающим чувством полной законности, чуть ли даже не обязательности всех этих милых праздничных дел.

Настроение незавершенного праздника, от которого мы должны были оторваться через какие-нибудь два-три часа полета, простившись на время с родной землей,— это задумчивое и грустное настроение охватило всех нас понемногу. Даже самая короткая разлука с тобой, родная земля, заставляет в полной мере почувствовать, с чем расстаешься и что теряешь на этот короткий срок!

За Ленинградом пошли знакомые еще с финской войны очертания побережья Карельского перешейка, но вскоре замглились — сказывалось влияние моря; самолет набирал высоту, и вот уже внизу бесшумно заворошилось дымное, седое сено облаков, скрывающих землю. Когда она кончилась, своя земля, и ее сменила чужая, мы не заметили, не ощутили, находясь на борту своей, советской машины. Но вот в Хельсинках пришлось пересесть в самолет шведской компании с экипажем, не знающим ни слова по-русски, и все стало по-другому, кончился ранний праздничный полдень Родины, уступив место будничному полудню заграницы.

Когда самолет приземлился в Стокгольме, показалось удивительным, как он мог это сделать: кругом вблизи выступали приземистые гранитные, скупо поросшие елочками взгорья, гребни, откосы. Аэродром представлялся расположенным в скалах, и как будто все убранные с расчищенного места каменистые груды громоздились неподалеку, стесняя площадку.

И город, который мы бегло осмотрели до отхода ночного поезда на Осло, показался нам врубившимся в скалы, которые то высовываются где-нибудь в глубине обне-

сенного тяжелой гранитной оградой садика, то подпирают собою тесно сдвинувшиеся опрятные серые здания, выглядевшие от этого более многоэтажными, чем на самом деле, то загораживают конец какого-нибудь переулка, образуя тупик. Улицы лежат как бы в разных горизонтах: одна — пониже, другая — террасой выше, а третья пересекает их на высоте трехэтажного дома, и поток транспорта и пешеходов движется над вашей головой по каменному виадуку. На главной улице под колесами машин гремят и хлопают доски временного настила над каменистым котлованом — строится метрополитен. Строительство это выглядит по своему размаху игрушечным, но торосистые пласты скал, в которые врубаются проходчики, свидетельствуют о суровом трудовом упорстве людей, строящих эту первую в стране подземную железную дорогу, о терпении и созидательной энергии людей, чьи ближние и дальние предки камень за камнем воздвигли этот красивый, благоустроенный город в скалах.

Движение транспорта по левой стороне, вопреки порядку, принятому в большинстве стран мира, на первых порах очень смущает и затрудняет, когда идешь пешком: не в ту сторону смотришь, переходя улицу; и когда едешь на машине, то и дело охватывает ощущение неминуемой аварии.

Дующий с моря неласковый, сырой ветер прорывался в улицы, обволакивал какой-то суровой, неприветливой мглой громоздкие каменные стены королевского дворца, окаймленного глубоководными заливами. Жирные, разъевшиеся на городских отбросах чайки тяжело кувыркались перед окнами угрюмого дворца, где живет, говорят, сейчас только шестидесятивосьмилетний кронпринц — девяностотрехлетний король отдыхает где-то во Франции.

Прогуливаясь, мы обошли дворец с тыльной стороны и попали в ворота просторного круглого двора, вымощенного крупным булыжником и заставленного старинными пушками, ровесницами, по крайней мере тех, что Карл XII оставил у нас под Полтавой.

Был час развода дворцового караула. Эта церемония заняла несколько минут и представила для нас не лишенное занятности зрелище. По команде державшего руки за спиной офицера с брюшком, свисающим через ремень, около взвода немолодых, тяжеловатых мужчин в современной шведской военной форме с необычной, истовой напряженностью исполняли несколько причудливых ар-

тикулов с ружьями и строго рассчитанных переходов с места на место. Потом половина солдат, размахивая ружьями с примкнутыми штыками в правой руке, строем направилась в сторону дворцовых входов, а другая вдруг бегом, в беспорядке, бросилась в противоположном направлении, к низким, угрюмым помещениям внутри двора, должно быть, казармам. А эхо короткой заунывной команды, казалось, еще громыхало, перекатывалось в огражденном старинными каменными стенами дворе. Говорят, что эта церемония в особо торжественные дни проводится в старинном воинском снаряжении, чуть ли не в железных шлемах и панцирях, и ружья тогда заменяются тяжеленными алебардами. И говорят, что стоимость этих поистине невинных забав, содержание дворцовой стражи и многочисленной королевской челяди составляет серьезную сумму расходов в бюджете такой маленькой страны, как Швеция.

Вечер второго дня майских праздников застал нас в поезде, который к утру должен был прибыть в Осло. Оставалось залечь спать, и спать крепким, доверчивым к чужестранной подушке сном, без особой тревоги от обычной в путешествии мысли, что вот спишь, проезжая места, которых никогда не видел и скорее всего никогда уже не увидишь в жизни...

За окном в утреннем свете проходили леса, вспаханные делянки полей, станционные домики, миниатюрные, в одну улицу, городишки, примыкавшие к станциям и носившие названия станций, городишки, где главным зданием в ряду маленьких, тесно прижимающихся друг к другу, опрятных домиков всегда выступает аптека.

Все чаще и чаще стали поблескивать небольшие лесные озера и под колесами коротко погрохатывать мосты над озерными протоками или речками. Это была Норвегия, та самая, которую мы сегодня видели уже не из окна вагона, а из автомашины.

Но все знакомое в обличье страны — ельники вперемежку с белоствольными березками, зеленеющие подлески из осинника, рябинок, изредка липок,— все это, казалось бы внушавшее ощущение недальности родной земли, как раз почему-то внушало противоположное ощущение.

Я вспомнил свою прошлогоднюю поездку в Забайкалье и на Дальний Восток — расстояние от Москвы раз в десять дальше, чем до Норвегии. Но отсюда Москва,

Чита, Хабаровск и Комсомольск уже не представлялись такими удаленными друг от друга — они все были там вместе и все одинаково далеки, страшно далеки от нас, заехавших, казалось бы, не бог весть в какие заграницы.

...Проехав километров шестьдесят, мы спустились к фиорду. Это и был Тюре-фиорд с маленьким островком посредине, на котором располагался отель, один из множества подобных отелей в стране, где значительная часть населения разного достатка живет на заработок от иностранных туристов. Дорога свернула на дамбу, которая связывала островок с нашим и противоположным берегом.

Художник прошел в ресторан отеля, чтобы заказать на нашу компанию обед к тому часу, когда мы будем ехать обратно с хутора, что был уже невдалеке отсюда. Грешным делом, нам показалось несколько странным, что человек, отправляясь в гости к родственнику, заказывает обед в ресторане, но у каждой страны свои обычаи, свои понятия гостеприимства. К тому же мы не знали, в каком достатке живет родственник художника.

Вода фиорда подходила к самому фундаменту отеля, построенного на манер старинного замка, с цокольным этажом из могучих, необтесанных гранитных глыб. Задний дворик был выстлан плитками природного шифера, до самой воды. Из таких же плит были сооружены столики и скамьи возле них. По кромке берега росли высаженные здесь ирисы. Как везде, где нам пришлось побывать, в этой опрятной, трудолюбивой стране, озабоченной удовлетворением вкусов праздных приезжих, здесь во всем обнаруживалось стремление сочетать экзотическую, суровую дикость природы с удобствами и комфортом современного города. Суровую дикость скал над узким ущельем, наполненным морской синей водой, можно было созерцать, сидя в шезлонге на солнышке или под тентом в этом дворике, а в случае непогоды — из окна ресторана или сверху из уютной глубины жилых комнат отеля.

Когда машина выехала с дамбы на берег фиорда, вскоре справа от дороги загрохотала белая от пены горная речка, впадающая в фиорд. Она несла весенние воды с гор, где весна еще была в периоде таяния снегов, и со страшной силой билась в берега, в бетонные дамбы, защищавшие их на иных поворотах, обрушивалась на волнорезы с гребнем из рельсовых балок. По реке шел лесосплав, какой называется у нас молевым: бревна неслись

не связанными в плоты, а врозь, врассыпную, «молью». Их било, вертело, ставило на попа, сталкивало одно с другим, притирало к глыбистым каменным берегам, швыряло так и сяк,— казалось, до места назначения могут дойти одни щепки да переломанные, избитые, измочаленные чурки вместо этих гладких, окоренных в лесу, золотистых сосновых и еловых бревен. Однако наш спутник разъяснил, что бревна отлично доходят этой своей дорогой до места и там по отметке, которую ставит лесоруб на каждом бревне особым инструментом, их разбирают, подсчитывают и определяют выработку того или иного рабочего.

Река ревела, пела, шумела весенним шумом, в нее сбегали по-весеннему поющие мелкие ручьи и потоки с гор, и вся эта музыка так живо напомнила мне такую далекую от Москвы, а отсюда далекую одинаково с Москвой бурную Ингоду в Забайкалье, которую я видел золотой осенью прошлого года. Было солнечно и свежо, мы с товарищем, уроженцем тех мест, сидели на берегу Ингоды, прибивавшей к противоположному, правому, скалистому берегу свои невысокие, но сильные, светлые воды, и, закрыв глаза, можно было по звукам журчанья, курлыканья и шума воды представить себе весну, которой я никогда не видел на этой реке. Это особенность горных рек: их многоголосость от ледохода до ледостава несет в себе влекущее и трогательное весеннее звучание. И как за музыкой музыку я вспомнил теперь, по дороге к норвежскому хутору, что тогда, у Ингоды, под ее пение, я вспоминал гулкие в ущельях и раскатистые в долинах, обжигающе холодные реки далекой южной страны Албании, где побывал за год перед тем, в августе — месяце жестоких боев в соседней Греции, в районе горы Граммос. Там, на берегу одной из рек, берущих начало в Греции, о которых албанцы говорили, что их воды окрашены человеческой кровью, я слышал на расстоянии десяти — двенадцати километров грохот боев — горькое и гнетущее напоминание отгремевшей войны...

И еще подумалось: где бы ты ни побывал, какие бы страны и земли ни повидал — разве что за исключением тропических,— везде ты отметишь, что все это мог бы повидать и у себя на родине: так она велика, разнообразна и богата всем тем, чем может быть прекрасна земля на радость человеку.

Бесшумно прошел под колесами машины старинный,

монолитный, точно вырубленный в скале, мост, из-под которого рвалась вода притока реки, гремевшей справа, и машина свернула с асфальтового шоссе через железнодорожный переезд на узкий проселок, мощенный кремнистой щебенкой. У переезда, на крошечной деревянной платформе, стояла открытая со стороны путей будка, вроде тех, что когда-то у нас стояли в провинциальных городах на трамвайных остановках: трамваев было мало, спешить особенно некуда было — посиди на скамеечке под односкатной крышей, подожди. Здесь пассажиры в количестве хотя бы одного человека ожидают поезда, который останавливается у таких платформочек по требованию. Поезда в Норвегии игрушечные, составом в три-четыре вагона; некоторые железные дороги находятся в частном владении. Все мелкие путевые наблюдения на первых порах очень занимают: видишь совсем иной, чем наш, мир — мир маленькой буржуазной страны с чертами чего-то отжившего, провинциального, о чем наше поколение имеет представление главным образом по книгам да понаслышке от старых людей.

Показалась белая каменная стена большого сарая с подъездным каменным мостом-эстакадой к воротам в одном из фронтонов, где полагается быть сеновалу, и белые наличники окон небольшого домика, обшитого тесом и окрашенного в темно-брусничный цвет. Это была усадьба хутора, куда мы держали путь и где я впервые услышал некую часть одной истории, очень взволновавшей меня на все время пребывания в Норвегии.

Летней ночью к этому хутору в районе Тюре-фиорда спустился с гор бежавший из немецкого концлагеря русский военнопленный.

Это было давно, семь-восемь лет назад, и хозяин хутора, крупный, свежий пятидесяти-шестидесятилетний мужчина, рассказывая об этом нам, русским людям, обращается то к жене, то к своему племяннику, молодому человеку, за уточнением частностей. Даже похоже, что он нарочно подчеркивает давность этого случая, который не может быть памятен во всех мелочах ему, хозяину, занятому многими серьезными делами и хлопотами.

А нам, соотечественникам человека, что в ту ночь приходил на хутор, кажется, что это дело совсем не такой уже давности. Мы захвачены рассказом, нам дороги в нем все детали, каждое слово и оттенок. Нам с живостью

представляется все, как было, точно это случилось за день до нашего приезда на хутор.

Он спустился к хутору, наш русский, советский товарищ, бежавший из фашистского плена, вот с этой невысокой гранитной горы, видной нам из окна столовой, где мы сидим за кофе,— изнуренный голодом, ежеминутной смертельной опасностью, всеми тяжкими испытаниями отчаянного пути по безвестным горам и лесам вдали от Родины.

Собаки сразу учуяли в нем что-то необычное и тревожное для такого позднего часа и, дружно подступив, прижали его к каменной стене скотного двора.

Фигура человека с руками по швам, обозначившаяся на белой стене, выражала собою крайнюю беззащитность и вместе крайнюю, отчаянную решимость. Он стоял неподвижно, прижимаясь к стене спиной, локтями, запрокинутой головой, и только часто, порывисто дышал. Хозяин, встав из-за стола и отойдя к стене комнаты, наглядно представил нам позу, в какой он застал тогда человека, приблизившись к нему с электрическим фонариком.

Человек был одет в ветошь, давным-давно не брит и страшно худ. На оклик он отозвался на неизвестном хозяину языке,— это не был ни английский, очень распространенный в Норвегии, ни французский, из которого хозяин, человек бывалый и многому обученный, знал несколько фраз. Это не был и язык тогдашних оккупантов Норвегии. Хозяин угадал, на каком языке обращался к нему пришелец, унял собак, знаком пригласил человека следовать за собой и погасил фонарик. Проведя ночного гостя на кухню, он дал ему поесть и дал сигарету — редкостную в те времена вещь. Это был поступок, связанный с нешуточной опасностью для дома, для самой жизни хозяина — по следам беглеца каждую минуту могли нагрянуть гестаповцы. Хозяин и сам, может быть, не предполагал в себе способности на такое решение, но его ненависть к оккупантам оказалась в ту минуту сильнее его страха перед ними. В лице этого голодного, измученного скитаниями в чужих горах русского он отдавал дань признательности и уважения единственной в мире могучей и справедливой силе, в жестоком единоборстве противостоящей силе фашизма. В своем великом целом эта сила где-то там, в глубине русских земель, один на один, гордо и самоотверженно сражалась с несметными армиями гит-

леровцев, причиняя им тяжкий, все более ощутимый урон. В своей малой частности она была способна на дерзкое, немыслимое дело побега из плена противника, из-за многих рядов колючей проволоки на бетонных столбах, загнутых вверху внутрь ограды, из-под стражи с ее ручными и станковыми пулеметами, прожекторами, собаками, системой сигнализации,— из тех мест, которые одним своим наименованием внушали ужас окрестным жителям, в том числе хозяину этого хутора.

Русский не все съел из того скромного угощения, что было перед ним на столе. Он спросил, делая соответствующие знаки руками, может ли он остальное взять с собой — две-три холодных вареных картофелины в мундире, несколько листиков норвежского пресного хлеба, маленький кусочек сыру. Конечно, хозяин позволил, но больше он предложить не мог. В Норвегии едят мало, почти без хлеба, и даже не очень бедные люди экономят на еде. Это привычка, это бытовой уклад, естественный для страны, ввозящей девять десятых потребного ей хлеба.

Русский что-то горячо говорил, прикладывая руку к сердцу, но из всего, что он говорил, хозяин запомнил и усвоил одно слово — «спасибо». И чтобы что-то ответить на речь русского, он вслед за ним повторял это слово — «спасибо». И этот диалог теперь представлялся нам в своем истинном значении, хотя люди не понимали языка друг друга. «Спасибо, спасибо, спасибо тебе»,— говорил русский. «Нет, это тебе спасибо»,— отвечал норвежец. «Спасибо тебе, что ты не выдал меня, а накормил и приютил, как брата».— «Нет, это тебе спасибо, что ты воевал с фашистами, и спасибо, что ты убежал от них, и спасибо всем русским, что сражаются с нашим общим врагом».

Хозяин рассказывал по-норвежски, а его родственник, художник, привезший нас в этот дом, переводил все это на английский, а с английского на русский переводила Н. И. Соколова. И на всех этих языках как непереводимое звучало слово «спасибо». И еще одно — Иван. Так звали русского, а может, он только назвался, чтобы хозяину легче было понять: всем известно, что Иван — русское имя.

— Я заучил эти два слова,— говорил хозяин,— и когда русские у нас на севере перешли в наступление, очищая Норвегию от оккупантов, я всюду стал говорить:

«Спасибо, Иван! Иван, спасибо!» Я надеялся встретить того Ивана, но русские не дошли до наших мест. Сюда приезжали только отдельные офицеры, представители русской армии. Их встречали с цветами и музыкой, но по-русски к ним обращался только я. Я говорил им: «Спасибо, Иван! Спасибо, спасибо, Иван!»

И мы все трое были взволнованы, распознавая на слух в самой норвежской речи хозяина родные русские слова, произносимые, правда, на иной манер — «Иван» с ударением на первом слоге, а «спасибо» раздельно и с пропуском одного слога:

— Иван, спа-сбо.

Я вспомнил, что именно этими словами хозяин приветствовал нас у входа в свой дом, но мы тогда не поняли, что это по-русски.

Но почему он теперь всей манерой рассказа, странным похохатыванием старается придать той давней встрече с нашим соотечественником характер какой-то забавности? Неужели он не понимает, что *спасибо* — это именно то слово, которое он и должен был говорить нашим воинам, освободившим его родину от фашистов! Пусть он не знал значения этого русского слова, но разве он по-норвежски хотел им сказать что-нибудь иное? Вся Норвегия вместе с другими странами говорила нашей армии и стране спасибо за избавление от ига оккупантов, от мук национального унижения, от всего, что приносит война всем людям, кроме тех, которые наживаются на ней. Это слово звучало на обоих языках Норвегии [1] в речах политических и военных деятелей, писателей, священников, короля и министров. Оно было на устах у всего народа Норвегии. Оно запечатлено на страницах миллионов экземпляров печатных изданий. Оно вырублено на граните памятников, сооружением которых норвежский народ выразил свою признательность воинам Советской Армии, погибшим в боях за Норвегию. На одном из них, в Осло, так и написано: «Норвегия благодарит вас». В день нашего приезда мы принесли наш венок к подножию этого памятника и увидели там цветы, букетики скромного и трогательного подбора — фиалки вперемежку с веточками распускающейся березы. Нам сказали, что цветы здесь можно видеть всегда, их приносят про-

[1] В Норвегии существуют две разновидности языка — риксмол и лансмол. *(Прим. автора.)*

стые небогатые люди, мужчины и женщины, рабочие и студенты, служащие и ремесленники — люди, для которых надпись на этом памятнике не одна только надпись, а выражение их подлинного чувства.

В разговор неожиданно вступил племянник хозяина, молодой человек лет тридцати пяти. По-норвежски это именно молодой человек, так как средний возраст у норвежцев, вообще отличающихся долголетием, относится к пятидесяти — семидесяти годам. Это был высокий и ширококостный мужчина с синими глазами, белыми, точно выгоревшими бровями, крупным прямым носом и нежно-белой кожей лица, какая бывает у рыжеватых, слегка обсеянной веснушками. Руки его, очень большие, как у большинства норвежцев, были такие же белые и в веснушках с тыльной стороны ладоней. Он что-то сказал, явно относя свои слова к нам, но с переводом вышла заминка. Тогда он, краснея и с видимым усилием над собой, сказал еще несколько слов, обращаясь к художнику, который, вопросительно взглянув на хозяина, перевел:

— Он говорит, что, к сожалению, не все в Норвегии помнят, чем они обязаны русским солдатам. Многие стали это забывать.

Понятно, речь не могла идти о присутствующих, но хозяин с явным недовольством и почти вызовом откинулся на спинку стула. Видно было, что молодой человек в его глазах переступал некую грань родственной субординации и позволял себе слишком много, вмешиваясь в разговор. Видно было, как всегда все бывает видно гостям в отношениях хозяев, что хозяйка, маленькая безмолвная женщина с худощавым, чопорным и вместе испуганным лицом, встревожена недовольством мужа. Может быть, она хотела как-то поправить маленькую неловкость за столом и сказала, кивнув нам на племянника:

— Он тоже одного русского подобрал в лесу и нес его на себе несколько километров. Русский был ранен в ногу и очень-очень слаб.— Так перевел нам художник, и мы поняли, что она хотела поставить этот поступок в один ряд с поступком мужа, накормившего русского солдата у себя на кухне, и тем исключить возможность какого бы то ни было разногласия между ними.

И действительно, хозяин улыбнулся, закивал головой:

— Да, да, это тоже интересный случай. Расскажи.

Молодой человек начал рассказывать, и фраза за фразой нам было переведено следующее:

— Я работаю в лесу, лесоучетчиком. Я бо́льшую часть времени провожу в лесу. А в те годы вообще не хотелось выходить из леса. Этого русского я подобрал в лесу, километрах в тридцати отсюда и километрах в десяти от дома, где я живу. Нет, я не нес его на себе, но поддерживал его за талию, и он держался одной рукой за мою шею, а другой опирался на палку. Мы шли долго, потому что ему было очень трудно и, кроме того, мы не могли идти по дороге, шли все время лесом. Дома я его уложил на постель, промыл и перевязал ему рану — я это немножко умею делать, в лесу все нужно уметь делать. Он прожил у меня пять дней и в ночь на шестой ушел, ни за что не хотел остаться. Он говорил: «Войну нужно кончать, нужно кончать с фашизмом».

Я вывел его опять в лес, дал ему на дорогу что мог — хлеба, спичек, соли, немножко табаку. Я спросил его, куда он идет теперь, куда он так спешит. Мне было страшно подумать, что еще с ним может случиться в пути. «На Берлин»,— ответил он. Мы стали прощаться. Он обнял меня, и мы поцеловались, как братья. На Берлин — это я хорошо понял. Он и еще что-то говорил и много раз говорил мне спасибо. Это был большой, благородный человек. Его тоже звали Иваном.

Это было рассказано гораздо короче, но рассказано было все это, а может быть, и больше в подробностях, но я не могу это изложить иначе — многое нам было понятно из его скупых жестов, взволнованной и грустной интонации голоса, по блеску его больших синих глаз, в которых стояли слезы.

— Два Ивана,— сказал хозяин и засмеялся этому будто бы крайне занятному совпадению.

Я спросил, когда это было, и по времени вышло, что оба случая были в июле 1943 года. Какая же связь между ними? Не об одном ли лице идет речь?

— Ну что ж, вы, наверное, хотите посмотреть мое имение,— сказал хозяин, давая понять, что кофе окончен, и вместе с тем возвращая нас к той роли, какую он заранее определил нам: люди из-за границы — они должны что-нибудь осматривать, будь то музей, водопад, старинная церковь или скотный двор на его хуторе и самый хутор, который, было очевидно, он таки считает достойными обозрения.

На подворье возле маленького, пестро раскрашенного трактора возились двое мужчин в шерстяных безрукавках поверх рубашек с засученными по локоть рукавами, тоже «молодые люди» лет от тридцати пяти до сорока. Хозяин что-то сказал им, и они, оставив на траве инструмент и детали полуразобранной машины, отошли, с неловкой готовностью ответив на наше приветствие. Это были работники. Они вдвоем, как мы потом узнали от хозяина, обслуживали все его полеводство и животноводство — двенадцать гектаров обрабатываемой земли, семнадцать коров и пять лошадей. Кто-то из нас сказал, что уж больно мал трактор.

— Он достаточно велик для меня,— возразил хозяин с той заведомо мнимой скромностью, которую нельзя было воспринять иначе, как неприступное самодовольство собственника.— Он достаточно велик для меня, потому что он — мой...

Да, трактор был его собственный, и его собственный был каменный двор, к стене которого когда-то был прижат хозяйскими собаками человек, научивший его русскому слову «спасибо»,— двор с бетонными полами, семнадцатью грузными коровами, стоявшими и лежавшими на нем, пятью упитанными рабочими лошадьми, с кормушками, автопоилками, электрическим освещением, люками в потолке для подачи сена с сеновала. Все это было его собственное, этого обыкновенного пятидесяти- или шестидесятилетнего человека в темном костюме, белом воротничке, с румяным лицом пожилого здоровяка, заметно просвечивающими на темени русыми волосами, зачесанными назад, который по внешности у нас сошел бы и за преподавателя средней школы, и за бухгалтера крупного колхоза, и за районного врача, и за прораба строительства, и за редактора толстого журнала.

И с непривычки это было не то что занятно, а странно — в натуре увидеть человека, чьей собственностью, источником личного благосостояния являются эти коровы, лошади, трактор, хутор, надворные постройки, запасы кормов и накопленные за зиму груды навоза. А вот у его работников, которых он тоже числит своими, ему принадлежащими, с их двумя парами рук, умеющих доить коров, водить трактор, запрягать лошадей, чистить конюшню и коровник, пахать, сеять, косить,— у этих двух человек, мало чем отличающихся от него по

внешности, у них в этом мире собственности, освященной авторитетом высшей добродетели, ничего нет. Они у него получают жалованье, из которого он делает вычет за питание и помещение — отдельный домик наподобие сторожки, с двумя однокоечными опрятными комнатками и общей кухней-прихожей. В любое время этот один человек может лишить их обоих крова и заработка, потому что у них ничего нет, кроме их способности работать для выгоды хозяина. Они уже в серьезном возрасте, но оба холосты, потому что хозяин не станет держать семейных.

Кстати сказать, в числе трех миллионов населения Норвегии очень значителен процент людей, доживающих до глубокой старости холостыми и незамужними. Одинокие старцы-холостяки и девяностолетние фрекен — девушки — это как бы целый слой народонаселения. И единственная причина этого — материальная недостаточность, страх перед нищетой, бесприютностью, которые особенно горьки, когда отвечаешь не за одного себя. Знать бы об одном этом во всей реальности нашей рабочей и колхозной молодежи, которая влюбляется и женится, когда к тому есть основное условие — молодость,— и думать не думает о том, как потом прокормиться, одеться, где жить.

Ах, как это все обычно и привычно у нас и как оно предстает тебе во всем своем великом значении, когда осматриваешь хозяйскую квартирку двух работников-холостяков на норвежском хуторе! Опрятные, чистенькие комнатки с аккуратно заправленными постелями, с тумбочками, застланными одинаковыми салфеточками, и на каждой тумбочке по иллюстрированному журнальчику! «Скажите, что плохо, скажите, что все ваши колхозные трактористы имеют такие комнаты, и постели, и тумбочки?» — как бы вопрошает хозяин, раскрывая перед нами двери комнаток, отворачивая на кухоньке кран над раковиной, чтобы показать, что из него течет вода, включая и выключая свет без нужды. Да нет, мы не говорим, что плохо. Нет, хорошо, и хозяин вправе гордиться, услышав эту нашу оценку: ведь это все равно, что его похвалить, поскольку и это помещение — его собственность. Нет, не все еще наши трактористы живут в таких комнатках, но поди заставь их жить у тебя, доить твоих коров и подчищать из-под них ради твоей выгоды, в постоянном сознании, что ты по своему усмотрению

можешь их выгнать или оставить у себя. Жить в сознании, что впереди ничего — ни повышения заработка, ни радости жить, как положено людям с подругой, детьми, а только убыль сил, одинокая старость и смерть в неизвестном, чужом углу, потому что не станешь же ты держать у себя бесполезных тебе стариков, тебе нужны работники.

Но хозяин был очень доволен, что гости не сделали никаких критических замечаний относительно помещения для рабочих. Он был несколько обескуражен, когда, желая нас удивить своими автопоилками в коровнике, увидел, что для нас это не диковинка и что мы считаем недостатком отсутствие подачи теплой воды в коровнике — это так важно для зимнего содержания скота. И когда он похвастался рекордным у него удоем в пять тысяч литров от коровы в год, профессор В. Н. Столетов заметил, что в подсобном хозяйстве при Тимирязевской академии такой удой считается средним, а вообще у нас не такая уж редкость в колхозных стадах удои в семь и восемь тысяч литров. Процент жира в молоке норвежских коров профессор также нашел недостаточным, намного перекрываемым показателями в нашем колхозном и совхозном животноводстве.

После осмотра усадьбы хозяин повел нас по границе своих владений — пашни, лугов и леса, растущего на высокой, валунообразной горе, висящей над усадьбой хутора, той, с которой в решимости отчаяния спустился когда-то измученный голодом и холодом советский военнопленный.

Мы шли за хозяином по луговой дорожке, между посевами не пробившегося еще картофеля и уже набиравшей рост озими, и как это было похоже на то, как когда-то в нашей хуторской смоленской стороне водил иной хозяин гостей по своим полям с овчинку в весеннее либо летнее праздничное послеобедье, выхвалялся, важничал, учил жить на земле...

Мы обошли лес с пологой стороны горы — лес как лес: ели, сосны, березы, понизу, ближе к опушке, подлесок из осинника или орешника. Но вот, загибая к усадьбе, мы вышли на край горы и увидели внизу черепичные крыши построек, темный задворок с аккуратно выложенными серыми поленницами дров и дальше — до линии железной дороги с одной стороны, и не то речки или протоки с другой — весь как на ладошке земельный

участок хутора. Тут его владелец встал на камень, приходившийся нам по пояс, картинно взмахнул шляпой и с горделивым вызовом произнес два слова:

— Мое! Все!

Я попросил перевести ему, что когда-то давно, еще до нашей Великой революции, один русский мужик-хуторянин, говоря о размерах своего земельного участка, исходил из трех измерений. Он говорил: «В длину и ширину участок мой невелик, но зато, если взять его в глубину, он идет до самой Америки». Мужик, понятно, шутил и этой горькой шуткой показывал, что он видит всю убогость своего землевладения. Но на норвежца эта шутка произвела впечатление вдруг услышанной им простой и великой истины.

— Да, да,— закивал он головой, тыча указательным пальцем себе под ноги,— до самой Америки. Мое! Все!

И он засмеялся от радости этого открытия, которое внушало ему еще больше уважения к себе, землевладельцу, чьи угодья только на поверхности ограничены двенадцатью гектарами.

Хозяин свел нас с горы по хорошо изученной им тропинке, сбегающей с уступчика на уступчик. Он шел впереди и не хватался, как мы в иных местах, за ветки елочек или обнажившиеся корни сосен, там, где считал это необходимым, предупредительно протягивал руку Н. И. Соколовой, единственной даме в компании. Оставалось осмотреть луг, выходящий к неширокой и сравнительно спокойной для этих мест реке. Профессор Столетов сказал:

— Этот луг нужно улучшать, он уже замшел, и хорошей травы с него уже не получить.

— Я просто пускаю его под пастбище на лето.

— Это не решение проблемы. Луг нужно подсеять, внести удобрения. А сколько вы сеете клевера?

Хозяину этот разговор не пришелся по душе. Он сказал, что со своего участка он обеспечивает стадо кормами лишь в самой малой степени. Он корма покупает. Их привозят из-за океана. Концентрированные корма. Правда, в последнее время, в связи с общим повышением цен, привозные концентраты сильно вздорожали, и, что самое скверное, ожидается еще большее вздорожание...

В продолжение всей нашей беседы, касавшейся разнообразных вопросов, хозяин решительно, всем своим

видом, своим самодовольным хохотком выражал лениво-презрительное отношение к делам политики, убежденное безразличие к несовершенству мироустройства, к возможности новой войны, ко всему на свете, кроме своих коров.

Но тут мировая политика непосредственно смыкалась с удойностью его собственных коров, с доходностью его хутора. Ему было очень неприятно сознаться в этом и видеть, что мы, приезжие советские люди, как-то незаметно заставили его сделать признание, которого он не хотел делать. И теперь уже не он рассказывал нам о своем хуторе, а советский ученый-агроном, наш товарищ по делегации, путем примерных, но неопровержимых по сути расчетов выводил заключение о нерентабельности этого хозяйства. Если хутор не в состоянии кормить стадо, значит, это хозяйство нельзя назвать продуктивным. Его стадо — это просто мастерская по выделке молока из привозных, покупаемых за деньги кормов. Но если эти корма дорожают настолько, что выручка от молока едва сможет покрыть расходы на корма, ведение хозяйства становится бессмысленным. Не нужно было разъяснять хозяину, что экономика не одного этого хутора, но всей страны регламентируется внешней своекорыстной опекой вовсе не в интересах этой страны, которая обязана, например, покупать ненужное ей оружие устаревающих образцов и терпеть недостаток в жизненно необходимых товарах.

— Все это не нашего ума дело,— досадливо отмахнулся хозяин.— Пусть правительство думает обо всех этих планах и пактах. Я — маленький человек,— заключил он, как бы очерчивая некий магический круг: не впутывайте, мол, меня в большую политику, не отнимайте у меня моих иллюзий, не хочу, не желаю...

Но это уже не был убедительный тон человека, который говорил, что его трактор достаточно велик для него, а идея третьего измерения его угодий неожиданно приобретала печально символическое значение: действительно, этот хутор, если брать его в глубину, упирался в Америку.

Хозяин обрадовался, что разговор напоследок обратился к более отвлеченным темам.

Речь зашла о литературе.

— О, я люблю русскую литературу,— сказал хозяин.— Толстой, Достоевский...

Правда, в дальнейшем обнаружилось, что Льва Толстого он путает с Алексеем Николаевичем Толстым. Достоевского он читал в молодости — это была книга о том, как бедный студент убивает богатую старуху...

— Почему у вас запрещен Достоевский? Ведь, казалось бы, он касается таких социальных мотивов...

Это была одна из басен, которые в таком ходу за границей, и этому любителю русской литературы она давала право в упор задавать свой вопрос. Пришлось ответить, что это неверно и что Достоевский после революции издан у нас в неизмеримо большем количестве экземпляров, чем за все прежнее время, и что это все же не мешает нам в своем большом литературном наследстве по-хозяйски критически подходить к воззрениям или утверждениям того или иного из великих писателей. Я спросил, есть ли в доме что-нибудь из русских книг на норвежском или другом языке.

— Нет, я не настолько богат, чтобы покупать много книг. Впрочем, одна книга у меня есть.

Мы сидели на крыльце дома, хозяин встал и ушел за книгой.

Я сказал, что норвежскую литературу у нас издавна читают и любят.

— Да, у нас была хорошая литература,— серьезно и грустно сказал племянник хозяина,— а теперь нам за нее стыдно.

Я понял, что он имеет в виду Кнута Гамсуна и Сигрид Унсет. У нас известна история о том, как в дни оккупации Норвегии Гамсун, перешедший на сторону фашистов, стал по утрам находить в своем саду свои книги, заброшенные туда через забор с улицы. Их с каждым днем находилось в саду все больше и больше, несмотря на принятые квислинговскими властями меры для охраны покоя престарелого ренегата. Народ Норвегии возвращал прославленному писателю, изменившему родине, его книги, он не желал их читать и даже держать у себя. Подтверждение этой истории я увидел в том, как все, к кому из наших друзей в Норвегии мне случалось обратиться с вопросом о Гамсуне, отвечали односложно:

— Не знаю, что он пишет. Не читал. Не интересуюсь.

Когда Гамсуну исполнилось девяносто лет, реакционеры затеяли кампанию сбора подписей деятелей культуры и искусства, признающих нужным устройство юби-

лея. Кампания провалилась,— юбилей был частным делом юбиляра и тех, кто разделял его фашистские взгляды.

Изданную у нас в тридцатых годах Сигрид Унсет критики называли когда-то «норвежским Львом Толстым». Сопоставление, конечно, наивное, хотя нельзя отрицать талантливости этой писательницы, чьи идейные устремления и приверженности задолго до войны определили ее профашистскую позицию в годы тяжелых испытаний, выпавших на долю родины. Ее крупнейший роман «Кристин — дочь Лавранса» — это стилизованные, безжизненно натуралистические до этнографичности картины норвежского средневековья, песнь любви к ушедшему прошлому. Роман этот вспоминался мне, когда мы осматривали «норвежскую деревню» в Народном музее в Осло.

Хозяин вернулся с книгой в руках, похохатывая и лопоча что-то, что наш художник не стал нам переводить. Это была поганая книжка, состряпанная в недрах американской разведки и приобретшая одно время незавидную известность в результате судебного процесса в Париже. Факсимилированная подпись мнимого автора книжки была сделана латинскими буквами, и в сочетании с русским звучанием фамилии это было лучшим свидетельством ее «подлинности». Такой «литературой» американцы наводняют книжный рынок европейских стран, в частности Норвегии. Я уже знал, что не только многих лучших произведений советской литературы, известных в Норвегии по английским переводам, но и многих книг наших классиков нет на норвежском языке. А грубая, клеветническая фальшивка, подписанная именем уголовного типа с русской фамилией, переведена и издана в Бергене объемистым томом ценою в двенадцать крон и нашла своего покупателя и читателя в лице нашего хозяина.

Взглянув на книгу, мы возвратили ее владельцу. Он был разочарован — он, видимо, надеялся произвести гораздо большее впечатление на нас. Он точно собирался поймать нас на чем-то. Я долго не мог забыть его смеха, его развязной улыбки, обнажающей добротный протез челюсти, в котором для натуральности блестел даже один золотой, будто бы единственный мертвый зуб.

Судьба двух Иванов, двух моих соотечественников, может быть даже земляков, конечно, теперь уже не может

проясниться: добрались ли они до своих, живы ли они, довелось ли кому из них дойти до Берлина вместе со своими братьями по оружию? Но кое-что о них, а может быть и не о них, но таких же, как они, людях суровой и жестокой судьбы, замечательной силы духа, отваги и воли, кое-что мне еще удалось услышать в Норвегии.

В дни нашего пребывания в качестве гостей на конгрессе общества «Норвегия — СССР» в небольшом городке Хаслемуене, в ста шестидесяти километрах от Осло, состоялось открытие нового памятника советским воинам, погибшим на норвежской земле. Памятник был сооружен на братской могиле тридцати семи наших солдат и офицеров, замученных и расстрелянных гитлеровцами.

В 1943 году, в июле, двадцать советских военнопленных бежали из концлагеря, расположенного вблизи Хаслемуена. Это было неслыханно дерзкое, немыслимое дело, приведшее фашистов в неистовство. Двадцать человек в течение неизвестного срока провели подземный лаз длиной около ста метров, который и вывел их за проволоку, в лес.

Этот лаз был вырыт ложками, земля была вынесена в карманах и рассыпана на площадке лагеря. Местами он теперь обвалился, и можно видеть, что вели его на большой глубине, обходя скалу. Работать там можно было только по одному — это нора, в которой нельзя было даже развернуться; человек доползал до конца норы, набивал грунтом карманы или насыпал его за рубаху и задом выбирался обратно. Нужно еще учесть, в каком физическом состоянии были люди, отважившиеся на это дело и выполнившие его. Подкоп шел из барака лагерного «госпиталя», где содержались люди, дошедшие до самой крайности истощения, обессиленные незаживающими ранами. В день побега в лагере умерло семнадцать человек от голода и ранений, с которыми они прибыли в лагерь. Можно полагать, что это число не является исключительным для лагеря смерти. Лагерное начальство, взбешенное фактом побега, при котором все двадцать человек скрылись бесследно в лесу, к концу дня отобрало двадцать человек заключенных, и они были расстреляны. Так как семнадцать человек, умерших в этот день, еще не были зарыты, их зарыли заодно с расстрелянными, и на том месте теперь воздвигнут памятник.

Тысячи людей сошлись и съехались в этот день к могиле тридцати семи замученных советских военнопленных. Женщины поднимали детей на руки и держали их над головами людской толпы, чтобы показать им скромный гранитный обелиск, засыпанный весенними полевыми и садовыми цветами, под которыми спят вечным сном люди, принявшие на себя безмерную тяжесть воинского труда, страданий и смерти во имя своей далекой родины, во имя мира, во имя жизни и этих норвежских детей, и всего рода человеческого.

А те двадцать, что бежали из лагеря? Известно, по рассказам жителей, что их не настигли, ни одного не поймали, хотя за поимку их были обещаны награды, а за помощь, за приют, который был бы им оказан, была объявлена смертная кара.

Может быть, о двух из этих двадцати мы и слышали на хуторе в Тюре-фиорде?

1950

● ПЕЧНИКИ

О печниках, об их своеобычном мастерстве, исстари носившем оттенок таинственности, сближавшей это дело чуть ли не со знахарством,— обо всем этом я знал с детства, правда, не столько по живой личной памяти, сколько по всевозможным историям, легендам и анекдотам.

В местности, где я родился и рос, пользовался большой известностью печник Мишечка, как звали его, несмотря на почтенные годы, может быть за малый рост, хотя у нас вообще были в ходу эти уменьшительные в отношении взрослых и даже стариков: Мишечка, Гришечка, Юрочка...

Мишечка, между прочим, был знаменит тем, что он ел глину. Это я видел собственными глазами, когда он перекладывал прогоревший под нашей печи. Тщательно замесив ногами глину на теплой воде до того, что она заблестела, как масло, он поддевал добрый кусок пальцем, запроваживал за щеку, прожевывал и глотал, улыбаясь, как артист, желающий показать, что исполнение номера не составляет для него никакого труда. Это я помню так же отчетливо, как и тот момент, когда Мишечка влезал в нашу печь и, сидя под низкими ее сводами, выкалывал особым молотком у себя между ног, раскинутых вилкой, старый кирпичный настил. Как он там помещался, хоть и малорослый, но все же не ребе-

нок, я не мог понять: когда меня, простудившегося как-то зимой, бабка попыталась отпарить в печке, мне там показалось так тесно, жарко и жутко, что я закричал криком и рванулся наружу, чуть не скатившись с загнетки на пол.

Мне сейчас понятно, что невинный прием Мишечки с поеданием глины на глазах зрителей имел в основе стремление так или иначе подчеркнуть свою профессиональную исключительность: смотрите, мол, не каждый это может, не каждому дано и печи класть!

Но Мишечка, подобно доброму духу старинных вымыслов, был добр, безобиден и никогда не употреблял во зло людям присущие его мастерству возможности. А были печники, причинявшие хозяевам, чем-нибудь не угодившим им, большие тревоги и неудобства. Вмазывалось, например, где-нибудь в дымоходе бутылочное горлышко — и печь поет на всякие унывные голоса, предвещая дому беды и несчастья. Или подвешивался на тонкой бечевке в известном месте кирпич, и, по расчету, бечевка выдерживала первую, пробную топку печи, все было хорошо, а на второй или третий день она перегорает, обрывается, кирпич закрывает дымоход, печь не растопишь, и понять ничего нельзя, надо ломать и класть заново.

Были и другие фокусы подобного рода. Кроме того, одинаковые по конструкции печи всегда разнились в смысле нагрева, теплоотдачи и долговечности. Поэтому печников у нас, по традиции, уважали, побаивались и задабривали. Надо еще учесть, какое большое место в прямом и переносном смысле занимала печь в старом крестьянском быту. Это был не только источник тепла, не только кухня, но и хлебопекарня, и универсальная сушилка, и баня, и прачечная, и, наконец, излюбленное место сладостного отдыха после дня работы на холоде, с дороги или просто когда что-нибудь болит, ломит, знобит. Словом, без хорошей печи нет дома. И мне это досталось почувствовать в полной мере на себе, и я так много и углубленно думал до недавней поры о печках и печниках, что, кажется, мог бы написать специальное исследование на эту тему.

Мне отвели квартиру через дорогу от школы. Это крестьянская изба, подведенная под одну связь с двумя такими же избами, где жили другие преподаватели. Изба разгорожена на две комнаты, и перегородка при-

ходится как раз посредине большой, комбинированной печи, выступающей в передней в виде кухонной плиты, а на другой половине в виде мощной голландки. Эта печь и была долгое время причиной моего крайне угнетенного настроения, тоски и порой почти что отчаяния. Стоило мне в классе на уроке или в любом ином месте, на людях или в одиночку, за любым делом вспомнить о доме, об этой печи, как я чувствовал, что мысли мои путаются, я не могу ни на чем ином сосредоточиться и становлюсь злым и несчастным.

Эту печь очень трудно, почти невозможно было затопить. Еще плита так-сяк топилась, но плита не имела для меня, живущего покамест без семьи, большого значения. Но как только отваживались затопить голландку, чтобы согреть вторую комнату, где я работал и спал, нужно было открывать форточки и двери от дыма, наполнявшего всю квартиру, как в черной бане. Поначалу, видя растерянность сторожихи, я брался топить печку сам, но и у меня то же самое получилось. Дым валил из-за дверцы, из поддувала, сочился из незаметных щелей вверху печи и даже пробивался через конфорки плиты в передней. Всякий раз со стороны можно было подумать, что люди забывали открыть трубу.

Для растапливания этой печи было применено множество приемов и все богатство опыта и сноровки людей, имевших по должности своей дело с десятком, по крайней мере, действующих школьных печей.

Сторожиха Ивановна и ее муж, одноногий Федор Матвеев, помогавший ей, были настоящими мастерами этого дела. Притом у каждого была своя система или способ, прямо противоположные один другому, но одинаково приводившие к хорошим результатам. Коротко можно сказать, что Ивановна начинала с огня, а Матвеев — с дров. Я хорошо изучил эти два способа. Ивановна, маленькая, поворотливая, ухватистая женщина, зажигала в пустой печи трубочку бересты, горсточку стружек, обрывок газеты или несколько тонких лучинок и, добавляя по лучинке, по щепочке — что больше, то крупней,— выращивала живучий, сильный огонь, куда оставалось только подбрасывать полешко за полешком, пока дрова, изнутри прохватываемые пламенем, не подопрут под своды так, что уже и сунуть полено некуда.

Матвеев, наоборот, со свойственной ему, отчасти из-за инвалидности, медлительностью и основательностью сначала выкладывал в печи дрова, то в виде обычной клетки, то как-то крестообразно, то вертикально, шалашиком, выкладывал, пристраивал, перебирая поленья одно к одному, обдуманно, тщательно, всякий раз как бы решая некоторую конструктивную задачу. И только потом подводил под это сооружение огонь, используя ту же бересту, стружку или газетную бумагу. И получалось так же хорошо, как и у Ивановны. Печь вытапливалась быстро, дрова прогорали ровно, никогда не пахло угарным газом, и никогда печи не остывали раньше того, чем им полагалось. Но моя печь давала одинаково скверный результат при том и другом способе.

Я уже не шутя начинал думать, не устроена ли в этой печи какая-нибудь шутка, вроде тех, что делали мастера в старину.

Столкнувшись с этой бедой, я постепенно вызнал всю историю злосчастной печи. Оказалось, что из-за нее никто не хотел жить в этой квартире. Помучилась, рассказывали, преподавательница истории Мария Федоровна — бежала. Летом жила математичка Ксения Аркадьевна, когда еще была не отделана соседняя квартира, но к осени перебралась туда, едва дождавшись окончания отделки.

Сложена печь была немцами-военнопленными, а потом дважды перекладывалась разными случайными печниками, но все неудачно. Мне было просто неловко поднимать перед директором вопрос о новой переделке печи. Но, так или иначе, ее нужно было переделать, только бы недаром, в четвертый раз.

Есть, говорили, на всю округу один человек — Егор Яковлевич,— он мог бы сложить печь с гарантией, но он последнее время редко и неохотно берется: живет на пенсии как старый железнодорожник, у него свой дом, сад, огород; «не хочу» — и все. Посылали с его внуком из четвертого класса записку — не удостоил ответом; ходил к нему сам Матвеев раз, а другой раз видел его где-то на поселке — все то болен, то взялся уже работать в другом месте, а что дальше, там, мол, видно будет.

А дальше оттягивать уже было нельзя. Прошли Октябрьские праздники, дело пододвигалось к зиме — уже на своей квартире я мог только спать по фронтовой

привычке, ребячьи диктанты и сочинения я правил в учительской, когда все расходились. Вдобавок ко всему я очень опасался, что жена моя Леля, несмотря на мои решительные предупреждения, могла нагрянуть сюда с пятимесячным сыном до приведения квартиры в порядок.

Все эти соображения, решения и оттяжки совершенно изнурили меня. Меня мучила не только сама печка, но и то, что она была предметом разговоров, забот, планов и предположений всех преподавателей, директора, сторожей и, я уверен, учеников: ребята всегда все знают о нашей внешкольной жизни. Да и сейчас, когда вся эта пустяковая история с печкой давно позади, я сам чувствую, что повествую об этом не с легкостью изложения забавного случая, а с волнением и серьезностью, каких это дело, конечно, недостойно. Но спросите у любого, особенно у женщины-хозяйки, пользующейся печным отоплением, что такое дурная печь в ежедневной жизни человека, как это влияет на настроение, как отражается на работоспособности,— вам скажут, что от плохой печки можно в короткий срок постареть. А я именно смотрел на все злоключения с этой печью глазами моей жены Лели, городской, неопытной в трудном быту молодой женщины-матери, которой предстояло жить со мной в этой квартире.

В то утро, когда я проснулся ранее обычного от света, который вступал в окна от снега, выпавшего ночью, мне пришла как бы вместе с этим светом ясная, простая и, казалось, надежнейшая мысль.

Я вспомнил райвоенкома, майора, с которым познакомился и разговорился, когда приходил к нему, чтобы встать на учет как офицер запаса. Пойду, дурак, к нему, он мне поможет: стоит посмотреть по картотеке, у кого из военнообязанных в графе «специальность» указано «печник»,— вот и печник.

Майор принял меня в своем крошечном, как чулан, кабинетике, с тремя бревенчатыми и четвертой тесовой стенкой, отделявшей его от общей большой комнаты с деревянным барьером.

Простецкое озабоченное лицо майора с морщинами на лбу, которые подкатывались от бровей к густым темным волосам, делали его лоб низким и придавали как бы свирепое выражение, лицо это участливо вытянулось.

— Как вам сказать...— заговорил он, закуривая сигаретку.— Печник — такая профессия, что ее не всегда указывают. Сапожник, кузнец — это другое дело. А печник,— вдруг улыбнулся он, обнажая свои большие прокуренные зубы с широким краем верхних десен,— каждый солдат — сам себе печник. Сейчас посмотрим.

Оказалось, есть печники, но один из них инвалид, без руки, другой живет в самом далеком углу района, третий работает председателем большого колхоза — нечего и обращаться, четвертый — двадцать шестого года рождения; это и майор сказал, что печник должен быть постарше. Были и другие кандидатуры, отклоненные нами по тем или иным мотивам.

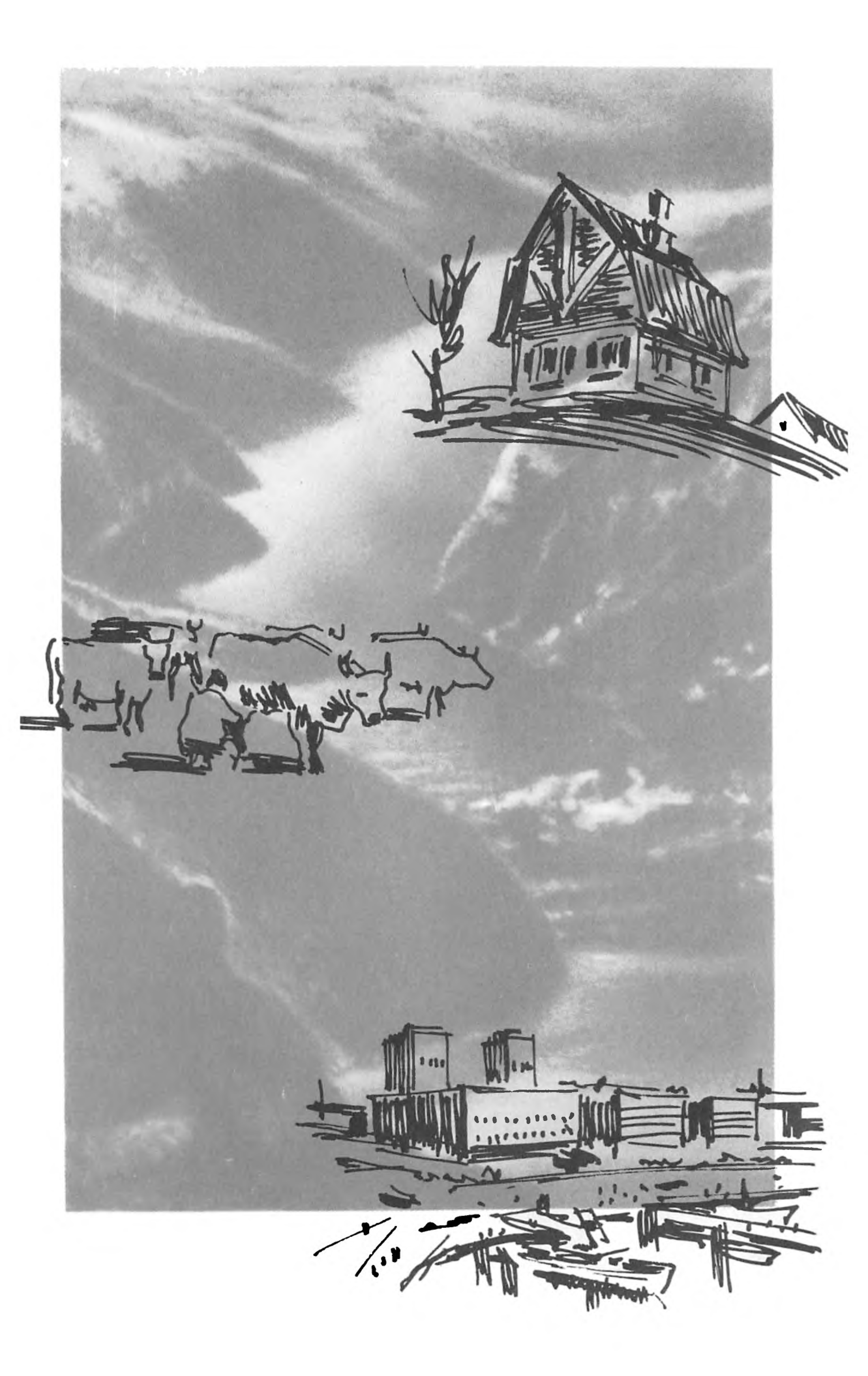
— Вы вот что,— посоветовал мне майор под конец, уже будучи в курсе всей моей истории,— вы сходите лично сами к этому магу и кудеснику, к Егору этому. Я тоже слышал, что мастер редкий. Сходите, поговорите. А не выйдет — давайте сюда, что-нибудь придумаем,— улыбнулся он опять своей большезубой улыбкой, исподволь прикрывая рот рукой, как это делают люди с потерянными спереди зубами, особенно женщины.

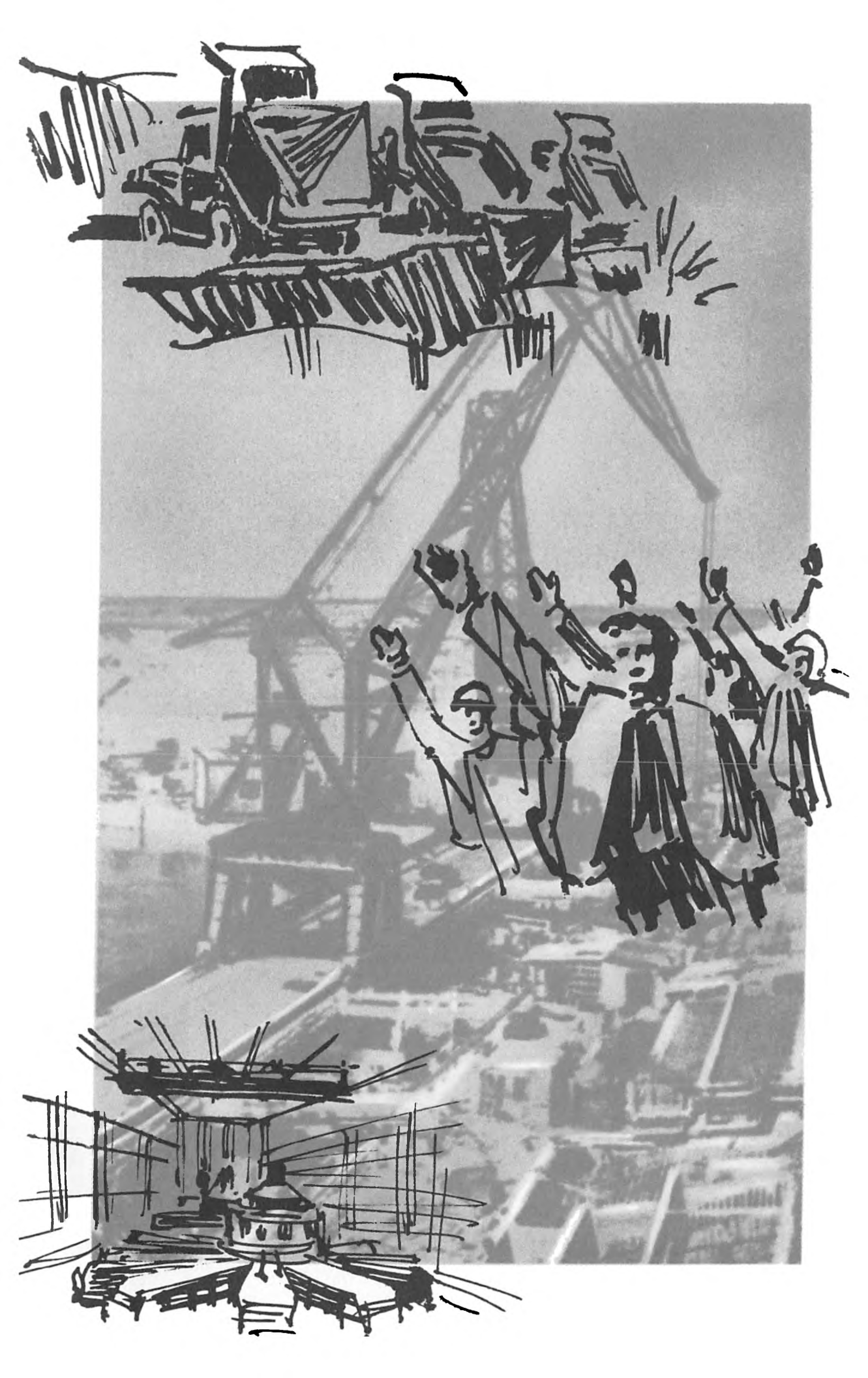
Это последнее его предложение при всей участливости майора прозвучало для меня как слово простой, ни к чему не обязывающей вежливости.

На другой день я направился к Егору Яковлевичу по грязной, скользкой обочине шоссе, вдоль которого располагается поселок. Снег, выпавший на незамерзшую землю, держался только в садиках и палисадничках, где не было ходьбы.

Было утро, на улицу еще мало кто выходил, и я этому радовался: я не хотел, чтобы все видели и знали, куда и зачем я иду. В то время у меня вообще было такое ощущение, как будто я хожу в тесных, мучающих меня сапогах, скрываю это, а все видят и знают мою беду, жалеют меня и немножко подсмеиваются надо мной. А я больше всего не терплю быть объектом жалости и насмешки. И эта чувствительность, мне кажется, особенно развилась во мне с тех пор, как я стал женатым человеком, главой семьи,— об одном самом себе такой речи не было.

А тут идешь, и тебе кажется, что все — и эта старуха в резиновых сапогах у колодца, и девочка, несущая хлеб под мышкой и жующая довесок, и два мальчика, поздоровавшиеся со мной на перекрестке,— все не только знают,





что я недавно женатый, неопытный и неуверенный в устройстве домашних дел человек, а, пожалуй, даже знают, что моя теща, городской врач, красивая и совсем еще не старая женщина, с некоторой натянутостью признающая себя бабушкой, относится ко мне не очень уважительно и что я ее не то стесняюсь, не то побаиваюсь. И что у нее в квартире мы с Лелей и ребенком помещались в меньшей, проходной комнатке, а она — в большой, отдельной.

Я мало верил в успех, заранее составив себе представление об этом человеке как обремененном стариковскими недугами и не очень заинтересованном в заработке. Хуже нет просить кого-нибудь сделать что-то, чего он не хочет делать или просто может не делать.

Свернув с наклонно натоптанной вдоль штакетника тропинки, где то и дело нужно было держаться за штакетник, чтобы не упасть, я прошел через калитку к застекленной веранде домика Егора Яковлевича.

Дверь на веранду оказалась запертой; через стекло я увидел, что там все завалено кочанами капусты, бурачками и морковью со срезанной ботвой. В одном окне дома показалось длинное строгое лицо со слабой, прозрачной бородкой, и жестом руки мне было указано, что нужно обойти кругом.

Я обошел дом, поднялся по грязным ступенькам открытого крылечка в сени и постучал для порядка в тяжелую, обитую какими-то тряпками дверь.

— Ну, ну! — отозвался изнутри хриплый, но довольно сильный голос.— На себя!

Я вошел в кухню, очень просторную, в два окна. У окна справа сидел за столом старик не старик, но уже в порядочных годах человек с длинным, строгим, нездорового, желтоватого цвета лицом и редкой, когда-то рыжей, а теперь от седины палевой бородкой. На столе стоял самовар, остатки, видимо, вчерашней закуски и пустая поллитровка. Человек спокойно и, как мне показалось, с подчеркнутым невниманием ко мне нарезал яблоко кружочками в стакан — чаевничал. Это и был Егор Яковлевич.

— Не могу,— коротко и с какой-то холодной грустью сказал он, едва я начал излагать свою просьбу.

Я стоял у порога и сесть мог бы либо у самого стола на свободном стуле, если бы меня пригласили, либо устроиться почти у самой двери на деревянном диване, за-

ставленном какими-то ящиками, валенками, цветочными горшками, хламом. Здесь я мог сесть без приглашения, хотя разговаривать отсюда было неудобно, как через улицу.

Все же я сел и стал опять ему излагать дело, стараясь, конечно, ввернуть, что наслышан о его славе мастера. Всю свою канитель с печкой я старался представить в нарочито смешном виде, упирая на собственную беспомощность и наивность в этих делах.

Но все это он слушал как нечто само собой разумеющееся и ничуть не интересное ему, не прерывая меня: мол, говори себе что хочешь и сколько хочешь, мне все равно, и так и так чай пить. Он даже и не смотрел на меня, а смотрел больше в окно — на непогожую, слякотную улицу, на свои садовые кустики, на всю эту мокредь и неприютность надворья, видеть какую даже приятно, когда сидишь за чайным столом, на привычном, излюбленном месте, в тепле, обеспеченном доброй, безотказной печкой. Да, он, видимо, знал цену этого утреннего стариковского часа с чайком и табачком, с неторопливым, небеспокойным и необременительным созерцанием и размышлением.

Я вскоре почувствовал, что в кухне очень жарко натоплено. «Реклама»,— подумал я и присовокупил к своему изложению еще одно подобострастное замечание насчет того, как тепло и как хорошо с улицы прийти в такое помещение.

— Нет, не возьмусь,— опять прервал он меня, отодвигая стакан с блюдцем и приступая к перекуру.

— Егор Яковлевич!

— Да что Егор Яковлевич, Егор Яковлевич! — вяло передразнил он, явно пренебрегая моим усердным величанием его по имени-отчеству.— Сказал — не могу. Ясно?

Я мог бы утверждать, что с такой крайней недоступностью и ленивым высокомерием со мной не мог бы говорить не только заведующий районным или областным отделом народного образования, но и любой высокопоставленный начальник с секретарями, телефонами и записью на прием. «Не могу, не возьмусь»,— и все. Самый суровый и недоступный начальник при этом все-таки должен был бы сказать мне, почему он не может удовлетворить ту или иную мою просьбу.

— Почему, Егор Яковлевич?

— А потому,— отвечал он, не повышая голоса и не меняя своей грустной и значительной интонации,— по тому самому, что Егор Яковлевич один, а людей много: тому надо и тому надо. У меня вот всего две руки,— развел он своими большими, костлявыми руками в коротких рукавах застиранной майки и коснулся высокого лба пальцами.— Две руки и одна голова, больше нету.

В этих жестах, как бы только упрощающих сущность дела применительно к уровню моего понимания, невольно виделось, что Егор Яковлевич далек от того, чтобы недооценивать свое значение.

— Но, Егор Яковлевич,— отважился я намекнуть,— вы, может быть, сомневаетесь относительно оплаты, так я хочу сказать, что я, со своей стороны...

— Да нет, что там оплата! — с небрежностью, слабо махнул он своей тяжелой, большой рукой.— Оплата моя известная, а говорю — не возьмусь. Сделаешь одному — другой придет. А лучше никому, и зато никому не обидно. Вот тоже вчера приходил человек,— указал он левой рукой, в которой держал папиросу, на пустую поллитровку,— приходил человек, так и сяк просил...

— А все-таки, Егор Яковлевич?..

— Я же вам русским языком говорю,— он опять отнес свою тяжелую кисть руки к пустой поллитровке, уже почти касаясь мизинцем стекла,— вот же человек приходил...

Он с такой убежденностью указывал мне на эту пустую бутылку как на обозначение некоего человека-просителя, что я невольно стал смотреть на нее, как бы видя уже в ней натурального человека, который так же, как и я, нуждался в добром расположении Егора Яковлевича.

И тут меня оживила простая догадка, которая должна была, подумал я, явиться мне еще раньше, с самого начала беседы.

— А что, Егор Яковлевич,— сказал я решительно, подходя к столу,— может быть, по случаю выходного дня...— Я приподнял легонько за горлышко пустую бутылку для вящей предметности.

Егор Яковлевич поднял на меня светло-голубые со стариковской краснинкой глаза, его губы чуть заметно улыбнулись.

— С утра не употребляю.— И в тоне этого отказа была уже не только недоступность, но и осуждение и назидательность.— С утра не употребляю,— еще тверже повторил он и, опершись о край стола, приподнялся, желая, очевидно, дать понять, что аудиенция окончена.— Правда, вчера был вот человек...

И я решил для себя, что я для него просто «человек», как и тот, что в образе пустой бутылки стоял на столе: нас много, а он один.

Он проводил меня до сеней и, стоя в раскрытых дверях, зачем-то сказал мне вслед, может быть, все же тронутый моей огорченностью:

— Буду мимо идти — зайду, может, как-нибудь...

— Пожалуйста,— машинально отозвался я, недоумевая, для чего, собственно, ему заходить ко мне.

От Егора Яковлевича шел я в самом тягостном настроении. Как будто я пытался сделать что-то недостойное, но был упрежден и уличен. В самом деле, зачем мне было ходить к этому Егору, просить его, заискивать перед ним, роняя свое достоинство! Пусть этим занимается кто хочет, не мое это дело. А что же было делать! Ждать, покамест директор «лично займется этим вопросом», покамест освободятся какие-то печники на станции, покамест приедет жена, не поладив с матерью, решит, что хоть в сарае жить, только вместе, а тут ничего не готово!

Я совсем приуныл, начал представлять себе мое положение в самом наихудшем свете, и так как винить когонибудь одного я не мог в этом, то я начал сетовать на несовершенства нашего хозяйствования.

Строим уникальные домны, где укладываются сотни марок кирпича, возводим сооружения, назначенные увековечить наше пребывание, наш труд на земле, донести далеким потомкам образ величия наших дел и стремлений, а сложить печку, обыкновенную печку, какие, наверное, знала еще Киевская Русь, сложить это обогревательное устройство в доме работника интеллигентного труда, преподавателя родного языка и литературы,— задача неразрешимая!

Я шел и развивал все более неопровержимую аргументацию в направлении нетерпимости и ненормальности такого положения. Одна за другой складывались в моей голове фразы, то лирико-патетические, то едко-иронические, проникнутые убедительностью, пафосом правды, ясной, как день. Я уже не сам с собой разговаривал, а как

бы слагал речь, которую я готовился напрямик сказать с некоей трибуны или в беседе с каким-нибудь большим, руководящим человеком. А может быть, это были строки и абзацы статьи, которая со страниц печати должна была со всей горячностью и прямотой поставить вопрос о внимании к нуждам сельской интеллигенции. Но этого мне уже было мало. Я уже затрагивал существующие формы и методы преподавания и т. д. и т. п. Постепенно, незаметно я уже оторвался от своей печки...

Мне так захотелось поговорить с кем-нибудь обо всех этих вещах, поделиться своими достовернейшими наблюдениями и неопровержимыми выводами, повторить вслух наиболее удачные места и выражения моей внутренней речи, щегольнуть цитатой, приведенной как бы между прочим, по памяти.

Я пошел к майору, не имея уже в виду его обещание «что-нибудь придумать» относительно печки, а просто так. Он жил неподалеку от райвоенкомата, в одной половине деревянного двухквартирного домика с двумя одинаковыми крылечками.

Мне сказали, что он уже в райвоенкомате, и я нашел его там, где было еще по-утреннему пустынно и тихо, в том же маленьком кабинетике. Он встал мне навстречу, быстро закрыв и сунув в стол какую-то толстую тетрадь. По моему лицу, возбужденному ходьбой и этими рассуждениями, должно быть, он подумал, что дела мои удачны.

— Ну, как?

Я рассказал о своем визите, причем теперь мне все уже представлялось в юмористическом плане, я неожиданно для самого себя изобразил картинно, как важничал Егор Яковлевич, как он пил чай, как отказал мне. Я даже показал его жест, обращенный к бутылке: «Вот приходил человек...» Мы посмеялись вместе.

— Да. Ну что ж,— сказал майор,— придется мне самому вам печь сложить.

— То есть как!

— А так, из кирпича! — засмеялся он, показывая свои большие зубы и поднимая руку ко рту.

Я только теперь, между прочим, отметил про себя, что в этой его улыбке было что-то очень располагающее и отчасти трогательное. Она сразу преображала его озабоченное, невеселое лицо.

— Так вы лично, что ли, будете класть печку?

— Лично. Заместителю поручил бы, но он не сможет.— Майор не без удовольствия наблюдал мою растерянность.— Завтра суббота? Завтра и начнем с вечера.

Все получалось так просто и в то же время не совсем ловко: как это майору, моему в некотором смысле начальнику, подряжаться ко мне на печниковскую работу?

— Не доверяете? Вы же заходили ко мне на квартиру, видели печку? Моя. Хозяйка довольна.

— Нет, зачем же! Спасибо, конечно! Но тогда уж нужно относительно всего договориться.

— Насчет гонорара? — с веселой готовностью подсказал он.— Не беспокойтесь, сойдемся.

— А все-таки?

— А все-таки оставим этот разговор. Еще не хватало, чтоб райвоенком кладкой печи прирабатывал к основному окладу! Дойдись такое до начальства — хо-хо!

— А если дойдет, что вы печи кладете?

— Это пусть доходит. В этом мне никто не указ. Я, например, сам все это шью,— он обмахнул себя рукой по кителю и брюкам,— получаю отрезы и шью. И на детей все верхнее шью. И вам мог бы сшить...

На другой день под вечер он пришел ко мне со свертком под мышкой; там были старые летние солдатские штаны и гимнастерка, а также печниковский молоток, железный складной метр, моток проволоки, какие-то бечевки.

Он осмотрел, обошел печку и плиту, потом взял стул, сел лицом к голландке посреди комнаты и стал курить, глядя на нее.

— Да-а...— сказал он после некоторого размышления.

— Что?

— Ничего. Грязи тут у вас много будет.

— Это пожалуйста. Ивановна подмоет.

— А дрова у вас есть? — спросил он.

— Дрова? Есть. А зачем?

— А вот затопить.

— Это когда вы новую печку сложите?

— Нет, сперва эту попробуем затопить.

Мне показалось, что он шутит или ничего не помнит из того, как я ему расписывал эту печку.

— Да вы же только дыму наделаете. Неужели вы мне не верите?

— Верю, верю. А надо затопить. Где дрова?

Дрова нашлись в коридоре, среди них полуобгорелые поленья, побывавшие уже в этой печи.

Майор снял китель и с такой уверенностью приступил к делу, что я уже готов был предположить, что мы с Ивановной чего-то недоглядели и потому нас всякий раз постигала неудача. И вот он сейчас затопит печь, и она окажется нормальной. Это было бы очень хорошо, но тогда вся моя история с этой печью выглядела бы совершенно смешно и нелепо.

Я просто обрадовался, когда увидел, что печь у майора задымила так же, как она дымила у Ивановны, Федора и у меня.

— Нет, товарищ майор,— сказал я.

— Что нет?

— Не горит.

— Вот и хорошо! Это нам и надо! — засмеялся он.— Как не горит, почему не горит — вот что важно.

Подтопа прогорела; крупные дрова, не занявшись, только потемнели; дыму нашло, как обычно. Майор вышел на улицу посмотреть на трубу. Я тоже вышел. Было еще светло.

Сколько раз я, затопив печку, выбегал так на улицу, напряженно всматриваясь, не покажется ли дымок из трубы! Я еще с детства помню, что если очень всматриваться, хотя бы с целью узнать, ставят ли дома самовар, то над трубой начинается некоторое дрожание воздуха, вот-вот явится дымок, и так-таки нет его.

Майор вернулся в квартиру, захватил моток бечевки с навязанной на конце тяжелой гайкой и полез по приставной лестнице на крышу. Я следил, как он, встав у трубы, начал спускать гайку в трубу и водить ею там, то опуская глубоко, с рукой, то приподнимая. Это было точь-в-точь как таскают «кошкой» ведро, оставшееся в колодце.

В это время шедший по дороге высокий мужчина в куртке с рыжим меховым воротником и косыми карманами на груди остановился и, держась левой рукой за козырек фуражки, стал смотреть на крышу. В правой у него была легкая палочка. Когда майор, выбрав бечеву из трубы, спустился, человек подошел поближе, и я увидел, что

это Егор Яковлевич. Он кивнул мне и, обращаясь к майору, спросил:

— Ну как?

— Черт ее знает! В трубе вроде ничего нет, а гореть не горит.

Можно было подумать, что они не только давно знают друг друга, но словно бы вместе были заняты этой незадачливой печкой. Мы вошли в квартиру, где еще было дымно, и майор с Егором Яковлевичем заговорили о печи. Они все время говорили *он*, имея в виду неизвестного мастера, клавшего печку.

— Морду ему набить,— с грустной убежденностью сказал майор.

Но старый печник примирительно возразил:

— Битьем тут не поможешь. Тут главное дело, что он не печник, а сапожник. Свести два дымохода — от плиты и от печки — это не его ума дело.— Говоря это, Егор Яковлевич водил по корпусу печи своей палочкой, как указкой, постукивая и точно ставя какие-то знаки.— Одно слово — сапожник.

Это было сказано так же, как если бы мастерство сапожника сравнивалось с чем-нибудь неизмеримо более сложным, например, с искусством, как у Пушкина: «Картину раз высматривал сапожник...»

Печники закурили и еще долго обсуждали вопрос. Они вели себя как доктора после осмотра больного, не стесняясь присутствием близких его, понимающих лишь с пятого на десятое их терминологию, недомолвки, пожимания плечами и загадочные начертания в воздухе.

— Не знаешь дела — не берись,— заключил Егор Яковлевич, как мне показалось, не без намека на присутствующих.

Майор безобидчиво пояснил:

— Я что? Я по домашности и себе печку сложил, хотя какой же я мастер! А если человек в таком затруднении,— кивнул он на меня,— надо, думаю, как-нибудь помочь.

— Конечное дело,— сказал Егор Яковлевич, довольный скромностью майора.— Помочь тоже надо, только чтобы потом еще помощи не просить.

— Егор Яковлевич! — Я вдруг вновь почувствовал в себе прилив некоторой надежды.— Егор Яковлевич, право же! А?..

Майор как нельзя лучше поддержал меня:

— А я бы уж у вас, Егор Яковлевич, за глинотопа. Мне даже не без пользы при таком мастере поработать, ей-богу так! — Он ощерил свою крупнозубую улыбку, прикрывая ее рукой с дымящейся в ней папиросой.

Нет, все-таки простые, заурядные люди в конце концов безошибочно находят пути к сердцам людей необыкновенных с их, казалось бы, безнадежной неприступностью.

— Ну что мне с вами делать? Надо помочь,— сказал мастер, и это «надо помочь» в точности походило на слова обычных резолюций наших начальников из района и области: «Надо помочь в части» того-то и того-то.

Егор Яковлевич сел на стул, как до него садился майор, перед печкой и, всматриваясь опять в нее, забывчиво бормотал себе под нос:

— Надо помочь, надо будет помочь...— И, взмахнув палочкой сперва в сторону майора, потом к печи, заговорил с какой-то нарочитой напевностью: — Так вот, друг милый, к завтрему ты мне эту дыру разберешь до кирпичика, и чтобы бою никакого, кирпичик к кирпичику сложишь. Понял?

Я отметил, что он говорил майору «ты», уже считая его в своем подчинении, хотя не мог не усмотреть висевший на стуле китель с майорскими погонами, и в этом он тоже походил на всякое наше начальство.

Майор сказал, что он сейчас же полезет на крышу; я, конечно, выразил готовность ему помогать, но Егор Яковлевич заявил, что на крышу лезть незачем.

— Труба ни при чем, нам и эта годится, только ее надо подвесить.

Этого не знал не только я, но и майор, как подвешивают трубы. Тогда Егор Яковлевич взял свою палочку за оба конца и разъяснил задачу с примерной популярностью, обращаясь опять-таки к одному майору:

— Возьмешь два таких брусочка, конечно, понадежнее, не меньше двух вершков. С чердака у трубы подобьешь плечики и вот так под плечики подведешь... Не только трубу, а и всю тебе печку вывесить можно. Как же ты разобрал бы печку в нижнем этаже, если во втором на ней другая? Все ломать из-за одной? Не-ет, брат...

И уже по этому первому практическому указанию я увидел, что старик не без оснований усвоил себе началь-

ническую роль. Я так и не успел завести речь об оплате, как он одним кивком простился с нами и вышел, порядочно наследив на полу своими валенками в самодельных галошах из автомобильной камеры.

К раннему вечеру мы с майором разобрали печку, оставив нетронутой плиту и подвесив трубу указанным способом. Я лично опасался, как бы с этим подвешиванием не случилось беды, но майор справился с задачей так уверенно, как будто ему это было уже не впервые. Вообще он, как я увидел, был из тех хороших мужчин, чаще всего военных, что умеют все и ко всякому делу приступают безбоязненно, исходя из того общеизвестного положения, что не боги горшки обжигают. Бруски, которые нам были нужны, он сделал из обрезка доски-шестидесятимиллиметровки, удачно расколов ее и выровняв топором, как фуганком. Печные дверцы, вьюшки, задвижки он с привычной сноровкой освободил из-под кирпичей и выпутал из концов проволоки, крепившей их в гнездах. Работать с ним было легко и приятно: он не угнетал неумелого и неловкого помощника своим превосходством, не раздражался и не подсмеивался, а лишь пошучивал изредка весело и необидно. Мы заготовили ящик для глины, глину, песок, чтобы все было под рукой, и, покамест умывались и переодевались, на примусе у меня закипел чайник.

— Чайку хорошо,— просто согласился майор, и мы с ним посидели в моей кухне-передней, где было почище, покурили, разговорились.

Майор посмотрел мои книги, перенесенные сюда, чтобы им не так пылиться, и, показав на растрепанный однотомник Некрасова, заметил, что его нужно переплести. И когда я сказал, что переплетчика здесь уж наверняка не найти, он вызвался переплести книгу и даже меня обучить этому делу. Конечно, без настоящего обреза под прессом не то, но все же книга будет сохраннее. Книги он любил с той нежной уважительностью и бережливостью, какая бывает только у читателей из самых простых людей. Жалкую мою библиотеку он перебрал всю, разглядывая томик за томиком, задерживаясь больше на поэзии. Я сказал, что он, наверное, любитель стихов, а это не так часто встречается среди, так сказать, неспециалистов. Он улыбнулся застенчиво и в то же время с отвагой, подчеркнутой шутливой заносчивостью тона.

— Чего же вы хотите, сам пишу стихи. И даже печатаю. Да!

— Очень хорошо,— сказал я и, не зная, что еще сказать, спросил: — Простите, а вы под псевдонимом выступаете, наверно! Я вашей фамилии что-то не встречал в печати.

— Нет, печатаю под своей фамилией, только не так часто. И потом это окружная газета, ну, еще и журнал «Советский воин», их тут вы не увидите.

С этими словами он как-то погрустнел, что заставило меня проявить больший интерес к его стихам. Я попросил его как-нибудь показать их мне. Он тотчас согласился и стал читать по памяти.

Здесь я хочу сделать оговорку, что не называю фамилии майора именно потому, что он печатается и, значит, кем-нибудь может быть установлено, что он и герой моего рассказа — одно лицо. А этого я решительно не хотел бы допустить, так как описываю его во всех натуральных подробностях. Я пробовал назвать его в рассказе вымышленным именем, но это как-то претило и не шло к нему, и я оставляю его просто майором.

Майор прочел несколько стихотворений, я их не помню: они были очень похожи на многое множество появляющихся в газетах и журналах стихов о целинных землях, солдатской славе, борьбе за мир, гидростройках, плотинах, девушках и маленьких детях — будущих сверстниках коммунизма — и, конечно, стихов о стихах. И они были не просто похожи невольной похожестью подражания, которого автор хотел бы избежать, но казалось, что его усилия как бы к тому только и были направлены, чтобы все у него было как у людей, как полагается быть в стихах. Об этом я ему не мог сказать: уж очень он мне был по душе своей добротой, товарищеской участливостью, умелостью на все руки и не деланной, а подлинной скромностью. Я сказал что-то насчет какой-то неудачной рифмы, замечание было совсем пустяковым.

— Нет,— возразил он тихо,— рифма, что же... Рифма у меня есть...— И, поправляя стопку книг, выложенных на краю стола, повторил раздумчиво: — Рифма-то у меня есть...— В этом возражении была грустная недосказанность: он сам, может быть, что-то знал о своих стихах такое, чего я не коснулся и, как ему казалось, не понимаю. И вдруг он заговорил, точно оправдываясь и упреждая чью-то оценку и выводы относительно его сти-

хов: — Вы знаете, я не настолько глуп, чтобы считать это уже вполне чем-то таким заслуживающим... Но я не боюсь труда, я упрям, как бык, я могу не спать, не есть и не пить, если мне нужно чего добиться... Я начал писать на войне, то есть не когда был в роте, а когда бывал ранен: как ранение, так и новая тетрадка стихов, как ранение, так и творческий отпуск.— Он засмеялся сам своей шутке и продолжал: — А мне везло: меня ранило четыре раза — и все не то чтобы легко, но и не так тяжело, как раз в меру, месяца на полтора в тыл. Попишешь, почитаешь вволю — и опять на фронт. Так и везло. Ну, и теперь у меня должность такая, что выходной день у меня всегда мой. А вечер? А ночь? Тоже мои. И, откровенно сказать, я без этого не могу, я за что взялся, должен постигнуть. Я не отступлюсь, покамест не постигну. Вроде этой печки, знаете. Вы думаете, я когда-нибудь учился на печника, курсы проходил? Но мне нужно было сложить печку, нанимать некого, да и нанимать мне, сказать откровенно, не по карману: семейка, славу богу, сам-семь. Так я что сделал? Я дважды складывал ее: первый раз сложил начерно, протопил, сообразил, в чем секрет, а потом разобрал, как вот мы с вами эту,— правда, та еще и не просохла,— и уже набело вывел. Топится. Может, Егор Яковлевич найдет что-нибудь, но топится, работает.— И он опять засмеялся, но как-то надвое: тут была и некоторая похвальба своей удалью, но и готовность признать, что все это только забавно.

В разговоре выяснилось, что были мы одно время на соседних фронтах, и этот весьма условный признак соседства в прошлом еще больше сблизил нас, вроде того, как сближает людей столь же условный признак отдаленного землячества. Я вышел проводить его немного, потом долго еще не мог уснуть в своей холодной и пыльной комнате с разобранной печкой. Мне приходило на мысль, что этот милый майор, занятый службой и обремененный семьей, пожалуй, не должен бы изнурять себя еще и стихами. Мне было ясно, что стихи эти не были, в сущности, выражением глубокой внутренней необходимости высказывания именно в этом роде речи. О войне он писал так, что для этого вовсе не нужно было провести четыре года на фронте и быть четырежды раненным; в стихах о некоем социалистическом ребенке полностью отсутствовал автор — отец пятерых детей; из стихов об освоении целины только и запомнилось мне, что «целина — потрясена»;

наконец, и в стихах о стихах было только повторение той истины, что стихи нужны в бою и в труде.

Может быть, он и писал все это только потому, что знал за собой способность освоить всякое новое дело, не только без специальной подготовки, но и без особого к тому влечения души. Но нет, скорее всего позыв к авторству развился у него уже очень сильно; можно было не сомневаться, что на этом пути его ждет еще немало разочарований и горечи...

Проснулся я от стука в окно над моей головой.

Стучали палкой, негромко, но требовательно. Это был Егор Яковлевич, хотя еще стояла настоящая темень. Я включил свет и открыл ему. Он был в той же куртке с воротником и с той же палочкой-указкой. Никакого инструмента и спецодежды с ним не было. Покамест я одевался и прибирался, он курил, кашляя, прочищал нос и плевался, разглядывая все, что было приготовлено для работы.

— Так, значит. Отдыхаем! Так,— говорил он в перерывах кашля и сморкания.

Было очевидно, что он очень доволен, застав меня в постели и придя раньше майора, за которым я уже хотел отправиться. Но майор опоздал против старика не более как минут на десять.

— Выходной же,— с улыбкой оправдывался он, развертывая свой сверток с рабочим костюмом.

— У кого выходной, а у нас с вами рабочий день,— холодно отозвался старик, назвав майора на этот раз на «вы», покамест он был еще в кителе с погонами. Но, может быть, эти слова относились и ко мне заодно с майором.— А вот что глину не замочили с вечера — это напрасно: больше месить придется. Ну, и теплой водички не мешало бы. Не из нежности рук, а чтобы раствор был вязче.— Раствор — так он и называл все время глину, размешанную с песком, приравнивая ее к цементу. Кряхтя, он присел на корточках перед фундаментом разрушенной печи, прикинул своей палочкой и сказал: — Четыре на четыре, больше не надо.

— Егор Яковлевич.— Майор протягивал ему свой складной метр.

Старик взмахнул палочкой.

— У меня вот тут все меры, какие нам нужно. А не веришь — можешь перемерить.

Но перемеривать не стали. Речь шла просто о том,

что основание печи будет четыре на четыре кирпича. Егор Яковлевич переложил трость в левую руку, а правой быстро, один за одним, выложил кирпичи насухую, без глины, по намеченному квадрату, встал и показал на них палочкой:

— Вот так будешь вести.— Потом взял из ящика комок замешанной нами с майором глины, размял в руке, поморщился и бросил обратно.— Надо еще чуть песочку. Куда, куда столько! Сказано — чуть. Вот и довольно. Размешай хорошенько.

Мы приступили к работе, и с самого начала для каждого определилось его место. Я замешивал глину, подносил и подавал кирпичи, майор вел кладку, а Егор Яковлевич,— я не могу подыскать более точных слов,— возглавлял все дело и руководил им, по-прежнему действуя палочкой, как указкой, присаживаясь, вставая, покуривая и покашливая. Порой он как бы и отвлекался от печи, высказываясь подробно и назидательно о пользе раннего вставания, о необходимости строжайшего воздержания от вина перед работой, о своем кашле, который у него особенно зол бывает с ночи, о качествах кирпича различного обжига и многих других материях. Но я видел, что за работой он при этом следит так, что ни один кирпич не лег на место без его зоркого, контролирующего глаза, а порой и палочки, как бы невзначай легонько стукнувшей по нему. Егор Яковлевич был в своей теплой куртке, а мы с майором одеты по-рабочему, в одних стареньких гимнастерках, уже разогрелись и вытирали лбы и носы об рукав у предплечья — руки у нас были перемазаны; Егор Яковлевич видел это и не преминул использовать для профессионального назидания.

— Вздохни, друг, закури.— Он с коварным радушием протянул майору свою пачку «Севера». Тот выпрямился и беспомощно развел руки.— Ага! Нечем взять? Должен руки сперва помыть? Так? А это значит, что ты еще не печник, а верно, что глинотоп.— Он сунул майору в рот папироску, дал прикурить и продолжал: — Зачем у меня должны быть обе руки в растворе? Нет, только одна, правая, а левая у меня должна быть всухé. Смотри.— Он отстранил палочкой майора, положил ее в сторону и только слегка, движением рук вверх, осадив рукава куртки, взял левой рукой очередной кирпич, а правую обмакнул в ведро с водой и захватил ею небольшой шлепок глины.— Вот! левой кладу, правой подмазываю и зачищаю. Понял? —

Он быстро положил ряд кирпичей, и хотя немного запыхался, но очевидно было, что на это дело он затрачивал гораздо меньше усилий, чем майор.— Левая всегда всухé! И тут не только то, что я свободно могу закурить, и утереться, и нос оправить, но и в работе больше чистоты. Нужен тебе, например, гвоздь — берешь гвоздь, очки или что другое. Ну, расстегнуть что-нибудь, застегнуть — пожалуйста.— Он показал, как он может все это сделать левой рукой.— А ты стой, как чучело в огороде.

Мастер наконец улыбнулся, очень довольный своим уроком и потому позволяя свои последние слова считать шуткой. Я очень был рад за майора: он не только не обиделся, но с восхищенной улыбкой следил за ходом изложения и показа, заслоняя рот рукой издали, чтобы не замазаться.

Он попробовал было действовать, как Егор Яковлевич, но вскоре же ему почему-то понадобилось переложить кирпич из левой руки в правую, и он сдался.

— Нет, Егор Яковлевич, разрешите уж мне так, как могу.

— Давай, давай,— согласился старик.— Это не вдруг. А другой и мастер ничего вроде, а всю жизнь так вот, не хуже тебя...

Я уверен, что он был бы огорчен и недоволен, если бы майору удалось сразу же перенять его стиль. Пожалуй, что и майор понимал это и не стал состязаться. Затем Егор Яковлевич, видимо разохотившись учить уму-разуму, поставил два кирпича на ребро, плотно, один к одному, и, занеся над ними руку, как бы собираясь их взять, предложил:

— Вот так, подними одной рукой.

Но майор рассмеялся и погрозил Егору Яковлевичу пальцем.

— Нет уж, это фокус старый, это я могу.

— Можешь? Ну, то-то же! А другой бьется-бьется — не может. Случалось, на пол-литра об заклад бились.

Фокус был в том, как мне показалось, что нужно было незаметно пропустить между кирпичами указательный палец, и тогда оба кирпича можно было легко поднять разом и переставить с места на место.

Упоминание о поллитровке заставило меня подумать об организации завтрака, тем более что уже совсем рассвело, было около девяти часов. Я сказал, что мне нужно

ненадолго отлучиться, и отправился на станцию, где закупил в ларьке хлеба, колбасы, консервов и водки. На обратном пути я зашел еще к Ивановне и получил от нее целую миску соленых огурцов — от них на свежем воздухе шел резкий и вкусный запах чеснока и укропа. Я был рад пройтись, распрямиться: у меня уже болела спина от работы, и я предполагал, что и майор отдохнет в мое отсутствие. Но, когда возвратился, я увидел, что работа шла без передышки, кладка уже выросла в уровень с плитой, уже были ввязаны дверцы и Егор Яковлевич был без куртки, в вязаной фуфайке, выкладывал первый полукруг сводов, а майор был вместо меня на подаче. Они работали быстро и ладно, майор едва поспевал за стариком, и притом они спорили.

— Талант должен быть у человека один,— говорил Егор Яковлевич, управляясь с делом так, что левая рука у него была «всухé».

Туловище его, обтянутое фуфайкой, казалось чуть ли не тщедушным при крупных и длинных, с тяжелыми кистями руках, похожих на рачьи клешни. Спор у них, должно быть, зашел с того, о чем речь была еще при мне,— с мастерства и стиля в работе,— но он уже выходил далеко за первоначальные рамки.

— Талант должен быть один. А на что нет таланта, за то не берись. Не порти. Вот что я всегда говорю, и ты это положи себе на память.

— Но почему же один? — возражал майор спокойно и с некоторым превосходством.— А Ренессанс — эпоха Возрождения? Леонардо да Винчи?

Егор Яковлевич, очевидно, слышал эти слова впервые в жизни и сердился, что не знает их, но уступить не хотел.

— Этого мы с тобой не знаем, это нам неизвестно, что там когда было.

— Как так неизвестно, Егор Яковлевич! — изумился майор, оглядываясь на меня.— Всем известно, что Леонардо да Винчи был художником, скульптором, изобретателем и писателем. Вот спросите.

Я вынужден был подтвердить, что действительно так оно и было.

— Ну, было, было,— озлился припертый к стене старик,— но было когда? До царя Гороха... Когда всяк сам себе и жнец, и швец, и в дуду игрец.

— Это вы уже в мой огород?

— Нет, я вообще. Другое развитие развивается, другая техника — все, брат, другое.

Я прямо-таки подивился историчности взглядов Егора Яковлевича и, высказав это вслух, прервал спор приглашением закусить.

За столом Егор Яковлевич наотрез отказался выпить.

— Это потом, когда затопим... Ты выпей,— обратился он к майору,— тебе ничего.

— Ну, а вы, может, все-таки?..

— А я все-таки не могу: на работе. За меня думать некому.

Майор не настаивал и не обиделся.

— Ну, так я и выпью стопочку. Ваше здоровье!

Мы выпили с майором. Разговор у нас с ним завязался опять о литературе. Коснулись Маяковского, о котором майор говорил с обожанием, то и дело вычитывал из него стихи наизусть с таким увлечением, что даже забывал заслонять рукой свою улыбку. А я думал о том, почему он при такой любви к Маяковскому сам пишет совсем по-другому — ровненько, опрятно, подражая всем на свете, но только не своему кумиру. Но я не спросил его об этом, а сказал только, что ознакомление школьников с поэзией Маяковского часто наталкивается на такие слова и обороты, которые идут вразрез с законами изучаемой ими родной речи. Майор возражал горячо и почти уже раздраженно, называя меня, хоть и в шутку, консерватором и догматиком.

Егор Яковлевич вяло ел, прихлебывая чай, курил и молчал отчужденно и горделиво, пережидая нашу беседу. «Если я этого ничего не слыхал и не знаю,— как бы говорил он всем своим видом, сопением и кряхтением,— так только потому, что все это мне без надобности и неинтересно, и наверняка пустяки какие-нибудь». Но когда мы упомянули Пушкина, он сказал.

— Пушкин — великий русский поэт.— И сказал так, как будто это он один только знает, дошел до этого своим умом и говорит первым на всем белом свете.— Великий поэт! Эх! — Он прищурился и тоже прочел с подчеркнутым выражением умиления и растроганности:

— Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?

— Это же Лермонтов,— засмеялся майор.

Но старик только покосился в его сторону и продолжал:

Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!

— Это же Лермонтова «Бородино»! — с веселым возмущением перебивал его майор и толкал меня локтем.

Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

Последнее слово Егор Яковлевич произнес громко, раздельно и даже ткнул пальцем в сторону майора: я же, мол, про то самое и говорю. И решительно не давал перебить себя:

— Эх! А «Полтавский бой»? «Горит восток зарею новой...»

— Вот это Пушкин, верно,— не унимался майор.— Только это поэма целая — «Полтава». А так это Пушкин.

— А я говорю, что не Пушкин? Кто же еще так мог написать? Может, Маяковский твой? Нет, брат!

— Маяковского тоже нет в живых. Что бы он еще написал, неизвестно.

— Хе! — Старик с величайшим недоверием махнул своей тяжелой рукой.

— Ну и корень вы, Егор Яковлевич! — Майор озабоченно покачал головой и сдвинул морщины на лбу под самые корни густого черного бобрика.— Ох, корень!

Старику, видимо, было даже приятно слышать, что он корень, но он тотчас дал понять, что и это ему не в новинку.

— Слава богу, восьмой десяток распечатал. Поживите с мое, тогда будете говорить.— Это уже относилось не к одному майору, но и ко мне, и ко всему нашему поколению.

Но майор и на этот раз не отказал себе хоть в малом торжестве своего превосходства:

— Корень, корень! А «Бородино»-то все-таки написал Лермонтов.

Егор Яковлевич ничего не сказал и, поблагодарив, встал из-за стола заметно подавленный. Я думаю, что он

сам смекнул свой промах с «Бородином», но признать это было для него нож острый, как и то, что он не слыхал про Леонардо да Винчи. Мне было его жаль, как всегда жаль старого человека, если он вынужден терпеть поражение от тех, у кого преимущества молодости, знания и памяти.

После завтрака работа пошла еще веселее. Печники оба стали на кладку: Егор Яковлевич — со стороны кухни, майор — со стороны комнаты, а я — на свое место. Но работа шла молча, если не считать односложных замечаний, относящихся только к делу. Может быть, это было следствием их недавних разногласий, в которых верх явно был за майором, но, может быть, сама кладка печи все более усложнялась: пошли разные «обороты», душники, вьюшки, подключение плиты к общему дымоходу, и это требовало особой сосредоточенности.

Я не пытался вывести мастера из этого молчания, потому что мне теперь, на подаче для двоих, было впору только поворачиваться. А когда они делали перекур, я спешил заготовить, пододвинуть все, что нужно, так, чтобы легче управляться. Корпус новой печи уже поднимался к дыре в потолке, над которой была подвешена старая труба, и он, будучи меньше в объеме, чем прежний, выглядел как-то непривычно и даже щеголевато. Обогревательные стенки печи и зеркало были выложены в четверть кирпича, то есть в один кирпич, поставленный на ребро. Когда Егор Яковлевич начал делать из кирпичей выпуск под потолок наподобие карниза, печь стала еще красивее, я уже мысленно видел ее побеленной: она будет прямо-таки украшением комнаты, когда все приберется и с приездом Лели переставится по-новому. Только бы она топилась как следует.

Для работы вверху нужно было подмоститься, пошли в ход мои табуретки, а затем и стол, который мы кое-как накрыли газетами. Теперь там, вверху, работал уже один Егор Яковлевич, и он был королем положения.

Когда ему понадобилось для карниза несколько кирпичей с выколотой четвертью, то есть с ровно выбитым углом, он велел это сделать майору. Майор испортил одну, другую кирпичину, за третью взялся, уже покраснев и надувшись, но и ту развалил на три части. Я ожидал нетерпения и язвительных замечаний со стороны

Егора Яковлевича, но он, казалось, отнесся даже сочувственно к неудачам ассистента:

— Кирпич дерьмовый. Разве это кирпич? Дай-ка сюда...

Он ловко подхватил кирпич левой рукой, которая до сих пор у него так и была «всухé», подбросил его, укладывая на ладони, и, легонько, точно яйцом об яйцо, тюкнув по нему молотком, выколол то, что надо. Так же у него получилось и с другим, и с третьим, и со всеми кирпичами, только иные он обкалывал не с одного, а с двух и больше осторожных ударов.

— Да-а! — сказал майор.— Вот это да! Ну, черт!

Но старый мастер желал еще быть и великодушным — он отнес завидную лихость своих ударов за счет неодинакового качества кирпичей.

— Попадается, что и ничего.— Однако не удержался от хитрой улыбки.— И, гляди, подряд сколько попалось...

Мы с майором расхохотались, посмеялся и сам Егор Яковлевич, и я увидел, что он был с лихвой удовлетворен за свое поражение в другой области. Мы вдвоем обслуживали его и просто любовались, как он кирпич в кирпич подводил кладку под края старой трубы, как потом были выбиты из-под ее плечиков бруски — и ничего ужасного не произошло, и все было как по шнуру, хотя Егор Яковлевич ни разу и за правило не взялся.

Сумерки уже притемнили комнату, когда Егор Яковлевич, кряхтя, слез со своих подмостков, и наступил торжественный момент опробования новой печи. Я хотел было включить свет, но Егор Яковлевич запротестовал:

— Ни к чему. Огня не увидим, что ли?..

Он опустился перед печью, но не на корточки, а на колени, и сел на задники своих огромных валенок, как сидят обыкновенно мужики в санях, возле костров или вокруг общего котла на земле. Выложив на сырой еще решетке щепочки и легкие чурочки, он вытер спичку, но не поднес тотчас к подтопе, а зажег клок газеты и сунул его в маленькую дверцу поддувала внизу и только потом сгоревшую до самых его ногтей и загнувшуюся крючком спичку ткнул под мелкие, курчавые стружки. Газета быстро сгорела в поддувале, а в печи костерок разгорался медленно, слабо,— я боялся дышать, глядя на него,— но разгорался. В полном молчании мы все трое

смотрели на него. Вот он пошел и пошел веселее, охватывая уже и щепочки покрупнее,— да, поначалу это было так у меня и в старой печке, а вот что дальше будет? Егор Яковлевич подкладывал дровишки, располагая их по методу Ивановны, огонь цеплялся за них все увереннее и живее, и дальше — больше, печь запылала ярко и весело, и это было особенно красиво и приятно в сумерках, заполнявших комнату. Егор Яковлевич тяжело поднялся с колен.

— Ну, с новой печкой вас! — сказал он и стал в рабочем ведре мыть руки.

Так вот почему он не дал мне включить свет: так огонь в печи был виднее, красивее. Егор Яковлевич был поэт своего дела.

Когда мы с майором умылись и переоделись, я не без тревоги приступил наконец к вопросу о том, какую оплату Егор Яковлевич желал бы получить. «Моя оплата известная»,— помнил я его слова и был готов на все, но меня тревожило то, что я не знал, хватит ли у меня наличных денег для расчета на месте. Печка горела отлично, уже были сунуты крупные дрова, и они занялись, и все было так хорошо, что я забыл выбежать и посмотреть, идет ли дым из трубы: идет, раз печка не дымит.

— Ну, что об этом толковать,— как-то отмахнулся Егор Яковлевич от вопроса,— что об этом толковать...

— Нет, а все же, Егор Яковлевич, я вас очень прошу сказать: сколько вы должны получить?

— Ну, сколько ему, столько и мне,— опять же не то всерьез, не то так просто сказал он, показывая на майора.— Вместе работали. Да и вас еще надо в долю: помогали.

— Егор Яковлевич,— вмешался майор,— тут у нас другие совсем отношения, другие счеты, мне ничего не полагается. Я сказал наперед, что ничего не возьму, поскольку не специалист...

— А я ничего не возьму, поскольку специалист. Понятно? Есть о чем толковать! Давайте-ка лучше по случаю запуска печи... Теперь уж и я не откажусь...

Я попытался соврать, что, мол, оплата эта, в сущности, для меня ничуть не обременительна, что бóльшую часть суммы заплатит школа, но тут Егор Яковлевич прервал меня строго и обидчиво:

— Вот это вы уже совсем зря говорите, чтобы я еще со своей школы деньги взял... Не настолько я бедный, слава богу, и этого никогда не позволю...

Может быть, эта обидчивость у него явилась из досады, что майор и в этом вопросе упредил его, отказавшись от денег заранее, но, так или иначе, разговор этот мне пришлось прекратить.

Майор все это слышал и, когда мы сели за стол, уставился на Егора Яковлевича каким-то странным — веселым и вместе смущенным — взглядом, посмотрел-посмотрел и вдруг спросил:

— Егор Яковлевич, ты на меня не сердит за что-нибудь? — Вопрос был необычным уже по одному тому, что майор обратился к старику на «ты».— Ну, может быть, я как-нибудь обидел тебя или что?

— Нет, почему же так? — удивился тот и, точно впервые видя его, в свою очередь осмотрел майора в его кителе с погонами и трехэтажной колодкой орденов и медалей.

— Чем вы меня могли обидеть? Работали вместе, все хорошо, ссориться нам с вами незачем вроде...

Теперь Егор Яковлевич говорил майору «вы»: по-видимому, он считал, что тот уже не находится под его началом, как это было во время работы.

— Ну ладно. Хороший ты человек, Егор Яковлевич, не говоря уже, что мастер. Давай выпьем с тобой, будь здоров!

— Будьте здоровы!

Они чокнулись, точно между ними и впрямь что-то было и наступило примирение и взаимная радость.

Потом постучалась Ивановна — она усмотрела дым из моей трубы,— следом приволокся и сам Матвеев; они тоже выпили с нами, хвалили печку и хвалили в глаза Егора Яковлевича. Он выпил три стопки, раскраснелся, расхвастался, что он клал, бывало, и может сложить не только простую русскую печку или голландку, но и шведскую, и круглую — «бурак»,— и камин, и печку с паровым отоплением, и что никто другой так, как он, не сделает, потому что у него талант, а талант — дело не частое. Пожалуй, он маленько стал нехорош, громок, но когда я хотел налить ему еще, он решительно накрыл рукой стопку.

— Норма!— И стал прощаться.

Я вызвался было проводить его — не только из-за его заметного охмеления, но и надеясь все же сговориться с ним по дороге о какой ни есть оплате. Но он церемонно поблагодарил за угощение, нашел свою палочку и раскланялся.

— Провожать меня? Я не девка...

— Корень все-таки! — сказал вслед ему майор.

И мы еще посидели, поговорили. Ивановна принесла новых дров для завтрашней топки и стала прибирать в комнате. Печка подсохла, даже немного обогрела комнату, и на душе у меня было так хорошо, как будто во всей дальнейшей жизни мне уже не предстояло никаких неприятностей и затруднений.

1953—1958

● ЗАМЕТКИ С АНГАРЫ

Неверно, конечно, что писатель смотрит, изучает или знакомится с чем бы то ни было с непременной задней мыслью все это описать, использовать, обратить в дело, а иначе будто бы и смотреть ему незачем, да и некогда.

Ему бывает очень интересно многое, что вовсе не входит в его ближайшие писательские планы: встречи, события, книги, зрелища каждодневной жизни, свои и чужие воспоминания и самые далекие от нынешней его работы мысли и соображения. Более того: если уж и есть такие писатели, что каждый свой шаг, каждое соприкосновение с жизнью соразмеряют с практической задачей тотчас или потом когда-нибудь, но обязательно «ввести», «дать» это в своих писаниях, а не просто по-человечески заинтересованы этим, то здесь вообще, по-моему, добра ждать не приходится.

С этого не претендующего на новизну утверждения, что писатель тоже человек, я неспроста начинаю свой рассказ о нынешнем моем заезде на Братскгидрострой в дни перекрытия Ангары. Это был именно заезд, а не специальная поездка. Я как раз давно уже собирался и наконец собрался поехать на Дальний Восток, в Приморье, где никогда не бывал в жизни. В Братске же я был, видел эту знаменитую стройку — пусть еще в самом ее зачине,— и, кроме того, перекрытие Ангары, первое ее перекрытие у Иркутска, я от начала до завершения во

всех подробностях видел в пятьдесят шестом году и даже описал в книге «За далью — даль». И хотя я отнюдь не имел теперь в виду описывать еще одно перекрытие великой сибирской реки, мне просто захотелось увидать и эту картину, и я с радостью воспользовался возможностью завернуть туда с моей дороги.

Перекрытие должно было начаться 20 июня, как указывалось в телеграмме, приглашавшей прибыть к этому дню в Братск. Уже с десятых чисел месяца газеты ежедневно сообщали о ходе работ, непосредственно предшествующих перекрытию,— отсыпка той части верховой перемычки левобережного котлована, которая вела к настилу моста на железобетонных сваях, сооруженного еще зимой. С этого моста строителям предстояло перекрывать Ангару, то есть загружать ее на всю глубину в проране шириной в сто десять метров камнем, щебенкой, гравием, песком.

Я сел в самолет ТУ-104 во Внукове около шести часов вечера 18 июня и в Иркутске был к утру 19-го, наступающему там на шесть часов ранее московского. Мне посчастливилось сразу получить место в иркутском самолете, отправлявшемся в Братск, от которого меня теперь отделяли какие-нибудь полтора часа полета. Еще в самолете я узнал от секретаря обкома партии Б. Е. Щербины, что прилечу, как говорится, к шапочному разбору: намечавшееся на 20-е число перекрытие началось уже вчера. А по пути с аэропорта от самого начальника строительства, усталого, но празднично довольного И. И. Наймушина, уже услышал, что камни отгружаемой гряды «банкета» скоро должны показаться на поверхности. И хотя я испытывал чувство некоторого сожаления, что опоздал к началу операции, но не видел в этом для себя большой беды, так как не был на этот раз связан обязательствами «оперативного отражения» событий. Однако же, как все, был взволнован этим необычайным их ускорением, которое как бы связывалось в какой-то мере с разницей в московском и иркутском времени, и, как все, нетерпеливо спешил на место действия. Как и почему все это получилось, мне еще не было известно, я еще мог думать, как и думали тогда многие приезжие, что это просто «сюрприз», сделанный строителями в канун предстоящего Пленума ЦК. Обо всем в точности я узнал только часом позже в штабе перекрытия, откуда успел еще увидеть завершение операции, живо пробудившее во мне

впечатления сходных, хотя вовсе не точно таких же моментов одоления Ангары под Иркутском.

Штаб помещался в специальном тесовом павильончике, сооруженном, не без претензий на изящество, в виде остекленного теремка, на круче насыпного «острова», послужившего первоначальной опорой строителям на реке в Падунском сужении. К самому подножию теремка примыкал правым своим въездом мост, на который непрерывно, хотя неторопливо и как бы даже мешкотно, въезжали двадцатипятитонные самосвалы, разворачивались кузовами против течения и сбрасывали свой груз в ревущую и кипящую воду.

Я видел Ангару в этом месте ее сужения между левобережной горой Пурсеем и правобережной Журавлиной грудью (снимки этих гор, называемых также то скалами, то утесами, теперь густо мелькали в печати, на киноэкранах, в телевизионных передачах), когда река еще бестревожно проносила в этих воротах свои быстрые воды с каемками пены, добегавшей с Падуна, и все мне здесь было в новизне. Все — и этот «остров» на середине реки, целая насыпная гора, оплетенная, как корзиной, венцами выступающих из воды «ряжей», и правобережный котлован со всеми строительными нагромождениями в нем, и гигантская выемка в диабазовой круче Пурсея, в которую впущена будет левобережная оконечность плотины, и этот мост на сваях, вогнанных в дно еще зимой со льда, и тяжко провисающие над рекой, над стройкой, со скалы на скалу тросы, кабели и провода, и часть бетонного фундамента самой плотины у правого берега...

Вода гремела, пенилась, выгибалась и завивалась туго натяженными, толстыми, как поток из огромной трубы, и совсем тонкими жгутами-фонтанами перед самим мостом, под мостом и за ним, в нижнем бьефе. Но она так же гремела, ревела и пенилась и там, где ее не удерживали, а, наоборот, давали выход,— в водосливных бетонных рукавах фундамента плотины в правобережной части русла. Фундамент был впущен, уже навечно, в скальное дно реки под защитой такой же, как возводимая нынче, временной перемычки, подорванной строителями только вчера.

А я был здесь, когда еще к этому месту прокладывали в полувыемках горы над водой «бечевники» — подъездные пути — и «сверлили» дно, видел только что извлеченные из многометровой глубины каменные кругляши —

керны — толщиной до двух обхватов... Тогда с берега на берег можно было попасть только паромом или катером...

Все навороченное и нагроможденное здесь было для меня ново, хотя и знакомо, похоже и привычно по фотографиям и кадрам кинохроники, по многочисленным описаниям стройки за эти годы, а главное — по впечатлениям, памятным мне с Ангары под Иркутском.

Знакомыми тяжелыми и звучными ударами камня о камень отзывался каждый новый сброс с моста. Мгновенные, столбообразные, в белой осыпи выбросы воды, радуга от этой осыпи, почти не потухающая в непрерывности отгрузки, от края до края прорана. Перекрещения изгибающихся тугих струй придавленной камнями воды. Поистине непередаваемые и немыслимые по разнообразию тона̀ ее расцветки: тут и нежнейшая зелень весенней лиственницы, и золотистая голубизна неба, и вдруг темная, сгущенная вишневость, и еще бог весть что! Запах воды — свежий, насыщенный мельчайшей водяной пылью, как на морском побережье в часы штормового прибоя,— только запах не тот солено-йодистый, а речной, пресный, близкий запаху летнего дождя, земли, травы, мокрого песка...

Все, все это было знакомым, все было так, как уже запечатлелось в памяти, и все-таки то, что делалось теперь,— делалось по-другому.

«Все так и все не так»,— отмечал я тогда же, сидя в теремке штаба и жадно всматриваясь, вслушиваясь и вникая во все, чтобы не пропустить, не проронить ничего.

Все эти впечатления похожести были, понятно, отрывочными, разрозненными, и только нынче я могу примерно свести их к некоторым объясненным мне и усвоенным в наглядности моментам и обстоятельствам.

Первое, что здесь нужно было увидеть, в отличие от Иркутского перекрытия,— это мост, с которого шла отгрузка банкета. Отгрузка шла с твердого моста на опорах — металлических трубах, залитых бетоном; он не плясал и не прогибался, как тот наплавной, или понтонный, мост под Иркутском, на который не могли взойти такие большегрузные самосвалы. Это позволяло здесь подвозить и сбрасывать в три, в четыре, в пять раз более тяжелые скальные глыбы, чем формованные бетонные «кубы», или «сундуки», что подвозились и сбрасывались

с того понтонного моста. Заградительная мощь здешнего материала отгрузки определялась еще и тем, что вес диабазовой глыбы при равном объеме с бетонным «кубом» превышает вес его больше чем вдвое. Но и объем их был на иных заездах таков, что эти глыбы в шутку и не в шутку сравнивались приезжими зрителями с тем камнем, на котором возвышается в Ленинграде фальконетовский Петр.

Такие глыбы со впущенными в них заранее стальными петлями толщиной в руку для зацепления их крюком подъемных кранов и даже нанесенными на их более ровных боковинах лозунгами: «Перекроем Ангару», «Миру — мир» и т. п.— подвозились и сбрасывались поодиночке. Каждый такой сброс вызывал восторженные вскрики и одобрительные возгласы, как это бывает при удачной стрельбе, и дружные, хоть и слабо слышимые здесь, аплодисменты из «ложи» и «ярусов» штабного теремка, с моста, с берега и даже с «галерки» — вершины Пурсея, где теснились, оберегаемые металлической оградкой над самым обрывом, зрители — местные, окрестные и приезжие. Все напряженно следили за тем, как встанет или повернется такая штука на гребне банкета, через который, пружинисто выгибаясь, неслась вода,— устоит ли на месте, подастся ли под напором и скатится вниз к сваям моста, защищенным специальными кожухами — «подушками» — из листовой стали с гравийной засыпкой.

Глыбы поменьше доставлялись самосвалами по две и по три за раз, иногда перевязанными тросом, наподобие переметных сум,— перекинуть их через плечо вряд ли было бы под силу и самому Илье Муромцу. Это было опять же новшество и делалось для того, чтобы камни при сбросе ложились кучнее, не скатывались вниз, а сцеплялись и переплетались на гребне каменной гряды, которая все отчетливее выступала на поверхности рваных, пенящихся волн. Можно было видеть, как иногда такая связка от удара камнем о камень раскатывалась врозь — стальной трос, угодив на какой-нибудь заостренный край, разрывался, как бумажная бечевка.

Вслед за глыбами еще поменьше, что шли уже по пятку на кузов, прибывал и отгружался просто крупный бут, иногда пополам со щебенкой, и щебенка с гравием, и просто гравий или песок с более крупной примесью.

Дежурный инженер штаба или сам главный инженер стройки А. М. Гиндин, бессменно находившийся в теремке, направляли этот разнообразный поток отгрузочного материала, подобно тому как управляют в бою огнем различной мощности и назначения. Эти короткие и точные задания и распоряжения штаба передавались на мост через радиорепродукторы.

— На третий пролет самую крупную фракцию! — И можно было видеть, как очередная машина с одиночной глыбой или связкой разворачивалась и сбрасывала свой груз на третий пролет.

— Не давать мелкую фракцию на третий и второй пролеты! — Вслед за приказанием всходившие на мост машины со щебенкой и гравием разворачивались к другим пролетам.

— Еще на третий пролет крупную фракцию, самую крупную!

Слух, привычный уже к словам вроде «банкета», имеющим здесь до странности далекое от их другого значения — значение гидротехнических терминов, воспринимал еще и эту «фракцию».

От времени до времени, впрочем редко, репродукторы оглашали замечания и иного характера.

— Машина двадцать пять — двадцать семь! Товарищ водитель, вам не стыдно?

Может быть, тот водитель еще и знать не знает, отчего ему должно быть стыдно, но переспросить он не может, а разъяснение уже гремит, и все, сколько есть людей на этом главном и решающем сегодня участке стройки, слышат тот же покрывающий все шумы и звуки голос назидания и упрека:

— Вам не стыдно на мост въезжать с такой загрузкой? Вы бы уж просто порожняком катались взад-вперед...

Все пишущие торопливо заносят эту реплику в свои блокноты, и, наверно, она уже записана на пленку, и все это будет напечатано в газетах, и передаваться по радио, и греметь в кинохронике — все, и номер машины. Хотя, право же, можно предположить, что водитель ее проштрафился как-нибудь ненароком и парень он не хуже всех других, что работают здесь с восьми часов вчерашнего вечера, отказываясь уступить место смене. Впрочем, может быть, и со стороны штабного руководства немногие такие реплики были отчасти данью щегольству, опять

же простительному в обстановке, когда все идет так хорошо и здорово. Есть такие дни, часы всеобщего душевного подъема, единства радостного возбуждения в труде, когда невозможно представить себе чье-нибудь нарочитое уклонение от коллективных усилий, стремление только показать, что он держится за общий гуж, но не тянуть его на деле. А это были именно такие часы на стройке Братской ГЭС к середине дня 19 июня, когда завершалось, по общепринятым технологическим показателям, перекрытие Ангары в ее Падунском сужении.

Как же получилось, что это событие произошло на сутки ранее срока, назначенного для начала его? Отвечая на этот вопрос нам, группе литераторов и журналистов, А. М. Гиндин сказал:

— Ангара сама позаботилась о досрочном ее перекрытии...

Дело было в том, что строителей поторопила большая прибыль воды в верховье реки и в самом Байкале в связи с таянием снегов в Восточных Саянах. Эту воду по-местному называют «большой» и еще «черной» водой, потому что она, заполняя большие площади, как и наша весенняя полая вода, мутна, окрашена смытым ею грунтом, несет мусор лесов, полей и затопленных поселений. Эта нынешняя «черная вода» дала о себе знать ранее ее обычных сроков, в часы, когда строители, завершив все подготовительные к перекрытию реки работы, приступили к пробной отгрузке банкета. Было восемь часов вечера 18 июня, все шло нормальным ходом, а через два часа метеорологическая служба сообщила о надвигающейся с верховья угрозе. Прибытие «черной воды» к Падунским воротам совпадало со сроком, назначенным для перекрытия реки, и начинать операцию 20 июня уже было бы безрассудным риском. Ожидать же спада воды — означало бы срыв графика всех работ и такую потерю времени, которая вообще исключила бы возможность перекрытия в нынешнем году.

Штаб принял решение считать пробную отгрузку камня началом самого перекрытия. Для продолжения работ ночью все было наготове, и, таким образом, по принятому теперь на стройке выражению, «генеральная репетиция превратилась в постановку».

Так обстояло дело, завершившееся на мосту, на берегу и на «острове» праздником большой, веселой победы.

Праздник так же был похож и не похож на торжество иркутских строителей. Так же, как КП иркутского перекрытия размещался не в специально отстроенном павильоне, а в будке сторожа у моста, и митинг там проводился не с трибуны, а с большого самосвала МАЗ, взошедшего порожняком на наплавной мост. Здесь все было, как говорится, на другом уровне, и, может быть, не совсем случайны даже эти названия групп управления операцией в одном случае более скромным КП, а в другом — штабом. И время суток было разное, что для меня было еще одним памятным оттенком различия этих торжеств по столь сходному поводу. Там, под Иркутском, это произошло ранним утром, солнце только что показывалось, все лица были бледны, на них вместе с радостью завершения трудного и необычного дела были виднее следы бессонной ночи, и самый митинг был немноголюден: в нем участвовала только ночная смена да немногие энтузиасты из зрителей-«представителей», в частности корреспонденты. Здесь торжество состоялось в середине дня и было актом, гораздо лучше подготовленным и обставленным, ожидаемым уже с утра,— и музыки, и речей, и гостей по такому дневному, обеденному времени было много больше.

Среди гостей был прилетевший специальным самолетом видный американец, миллионер и политический деятель, посол США в СССР во время минувшей войны Аверелл Гарриман со своими спутниками. Это не могло не быть лестным чувству строителей, и оно выразилось в веселых и дружественных приветствиях, обращенных к знатному заокеанскому гостю.

Я дважды мельком видел Гарримана на стройке и мало чего могу сказать об этом почтенном человеке, несмотря на порядочный возраст предпринявшем свою поездку в глубину Сибири. Первый раз — когда он неторопливо поднимался по двум-трем маршам узкой дощатой лесенки в помещение штаба, высокий, прямой, сухощавый, в светло-сером костюме, обтягивавшем небольшую сутулость его плеч, никак не сказать — старик,— пожилой, подтянутый мужчина. По правде сказать, не одному мне тогда не очень понравилось, что, едва поздоровавшись с нами, поднявшимися ему навстречу, он устремился самолично открывать фрамугу окна с видом человека, которому нечем дышать в такой прокуренной клетушке. И второй раз, когда он сходил по той же лесен-

ке к машине, тесно окруженный людьми с чисто русской готовностью чуть ли не качать его. Было жаль, что он так-таки только помахал рукой, не сказав двух-трех слов обычного в таких случаях приветствия. «Хотя бы поздравил все-таки,— говорили потом иные.— Ведь не обязательно ему было тут же признавать коммунизм, но хоть бы поздравить с праздником...» Другие, правда, объясняли это усталостью немолодого человека с дороги, занятостью, разницей во времени, сказывавшейся и на всех нас, приезжих, словом, оценивали его сдержанность снисходительнее.

Между тем праздник не обошелся и без тревоги, призвавшей участников его как бы по команде «в ружье» занять свои рабочие места и еще и еще добавить камня в перемычку, возвышавшуюся уже над водой почти вровень с мостом. «Большая вода» знала свой час и не замедлила прибыть к Падунским воротам, устремляясь на новую перемычку и все сооружения, загромождая верхний бьеф плавником — бревнами, досками, хворостом, всем своим попутным «сносом» с верховья. Но дело уже было сделано, и хотя были тревожные распоряжения, телефонные звонки, короткое возбуждение, вызванное возможной опасностью, но никаких изменений совершившегося это уже не принесло.

Иная картина была, невольно вспоминал я, когда еще в ходе самого перекрытия под Иркутском возникла угроза обрушения исподволь подмытого насыпного берега,— и средства борьбы были скромнее, и опыт куда меньший...

Все было так и уже совсем по-другому, и мне по отдаленнейшей связи приходило на ум, несмотря на несоизмеримость масштабов событий, что нельзя, например, значение самых блистательных наших побед во втором периоде Великой войны равнять со значением и отзвуком в человеческих сердцах разгрома войск противника, скажем, в Подмосковье или даже где-нибудь под Ельней в 1941 году...

* * *

В представлении читателя, знакомого с делом лишь по газетным лирико-патетическим описаниям работ по перекрытию рек при строительстве гидроэлектростанций, эта операция означает как бы завершающий, итоговый момент стройки. Река перекрыта, стихия покорилась че-

ловеку — останется там кое-какая мелочь, доделки. Это далеко не так на самом деле.

Прежде всего перекрытие — это совсем не всегда одно и то же не только в отношении различных рек, но даже одной реки, как в нашем случае в отношении двух строек Ангарского каскада.

Перекрытие реки — это только первое, необходимое условие проведения всего сложнейшего комплекса работ по сооружению плотины, не говоря уже о станции; хотя бывает и так, как, например, при постройке Иркутской ГЭС, где перекрытие происходило, когда здание станции было уже возведено и через нее, хоть и «вхолостую», были направлены поднятые перемычкой воды.

Перекрытие, отсыпка банкета, сооружение перемычки — это еще не плотина. Это обычно лишь ограждение места, где будет возведена известная часть, отрезок плотины. Правда, в скобках сказать, в иных случаях и отсыпка банкета означает возведение самого, так сказать, корпуса плотины, как это было на строительстве Волжской ГЭС.

В Братске, после того как в правобережной части реки был огражден поперечной перемычкой (от берега до продольной перемычки, нынешнего «острова») необходимый участок, создано мелководье и откачана вода, в котловане был возведен фундамент части будущей плотины. К началу нынешнего перекрытия, как я уже упоминал, эта поперечная перемычка была взорвана, и вода бросилась в специально оставленные проемы, или «прорези», в фундаменте — для водослива (впоследствии они будут закрыты и сольются с монолитом железобетонной плотины). Без этого отвода, пропуска воды у правого берега, немыслимо было вообще приступать к перекрытию реки в левобережье. Тот участок реки, что огражден нынешним перекрытием ее,— это место котлована, где будет уложен фундамент левобережной части плотины и самого здания будущей Братской ГЭС.

Словом, перекрытие перекрытию рознь. Я с готовностью допускаю, что эти мои пояснения подобны тем чертежам или схемам, что люди чертят спичкой на папиросных коробках, щепочкой на земле или каким-нибудь прутиком на снегу, обсуждая запросто вопросы стратегии и тактики на войне или рассказывая, как, по каким улицам и переулкам пройти по данному адресу. Но для меня, как свидетеля таких значительных моментов на

двух ангарских стройках, вся эта сторона попросту была очень интересна.

Я сказал, что перекрытие — это чаще всего лишь первое условие многосложных работ на гидростройке. Но, конечно, это такое условие, которое означает и завершение известного этапа строительства и, в сущности, является решающим. Так это было на строительстве Иркутской ГЭС, где перекрытию Ангары предшествовала почти завершенная постройка плотины и здания станции, и в Братске, где перекрытие явилось подступом к возведению плотины и станции. Как бы ни были сложны и многообразны эти работы, в дальнейшем у них уже характер как бы нормального строительства «на суше». Непрерывное воздействие титанической силы воды, не позволяющей располагаться на ее пути с такими затеями, устранено до известной степени.

До известной степени — это необходимо подчеркнуть. Когда на обратном пути из Братска я побывал на ныне действующей Иркутской ГЭС, где строителями уже сдавались эксплуатационникам последние отделочные работы, мне показали главный машинный зал, зал пульта управления и все другие помещения станции, уходящие несколькими этажами глубоко вниз, иные на много метров ниже дна реки. И, осматривая эти подземные галереи и камеры различного назначения, так называемые потерны, я впервые почувствовал всю значительность того известного мне и ранее факта, что покоренная река никогда не смиряется окончательно, на какие бы прочные запоры ее ни взяли. Я видел эти крепостной мощности бетонные стены и перекрытия со следами тесовой опалубки на них, этот темно-серый, навечно уложенный здесь камень, все время потеющий, с отметинами в местах недавней «инъекции» крепчайшего раствора, вводимого в малейших случаях просачивания. Мне во всей наглядности было разъяснено моими спутниками, что угроза со стороны реки, мирно и трудолюбиво несущей свою нагрузку, где-то там, вверху, вращающей турбины и подобные гигантским стволам мачтовых сосен турбинные валы,— угроза эта не прекращается ни на один час в течение всей жизни электростанции как сооружения...

Посещение этой станции, между прочим давно уже снабжающей своим током строительство Братской ГЭС, этой стройки в ее завершении, особые оттенки настроения людей, чьих рук делом она является, и людей, в чьи

руки переходит, стоили бы того, чтобы рассказать обо всем подробнее. Но я и так несколько отвлекся и нарушил и без того весьма условную последовательность своего изложения.

В большинстве мы, люди, так или иначе пишущие о великих стройках, победах человека над природой и многом другом, требующем серьезного знания предмета, знаем страшно мало, поверхностно и с необыкновенной отвагой беремся рассказывать о любых делах и событиях, не затрудняясь не только что углубленным изучением, но хотя бы усвоением для себя в основных чертах сути дела.

Я забыть не могу, как однажды в этот мой заезд в Братск вынужден был слышать из соседней комнаты передачу по телефону в Москву информации одного корреспондента. Сколько здесь было готовых не только слов и оборотов, но целых периодов повествовательной речи, картинок будто бы с натуры, обязательных в своей однотипности диалогов. Тут и «наступившие горячие дни строителей Братска», и «непокорная красавица Ангара», и крикливо-ораторское единоначатие фраз, посвященных строителям: «Это они... Это они...», и «задорный смех курносой крановщицы», и явная путаница понятий перемычки и плотины и пр. и т. п. И ни одного живого слова, подсказанного тем, что сам увидел на месте и чем был действительно поражен или растроган, ни слова, свидетельствующего о том, что человек мало-мальски разбирается в особом характере данной стройки, данного перекрытия реки. Боже мой, думалось мне, зачем он, бедняга, летел такую даль, спешил на место, перебивался кое-как в смысле ночлега и стола в переполненном приезжими поселке, когда все то, чем он занимал теперь телефонную линию протяжением около шести тысяч километров,— все это, за исключением разве что нескольких цифр и случайных имен собственных из его блокнота, он мог преотличнейшим образом написать, не выезжая из Москвы! Нет сомнений, что такой парень не откажется одним из самых первых корреспондентов отправиться на Луну или какую другую планету и со всей оперативностью даст оттуда свою информацию, но боюсь, что и она будет подобна его корреспонденции из Братска.

Один из руководителей строительства, инженер, крупнейший специалист по гидростроению, показывал на правом берегу нам, людям печати, на другой день после перекрытия «подсобные хозяйства» стройки.

Между прочим, он сказал, что из двадцати двух тысяч людей различной квалификации и просто разнорабочих, занятых теперь на строительстве, только полторы тысячи работают в самом Падунском сужении — на сооружении плотины и станции или проведении подготовительных работ на месте. Все остальные двадцать с лишним тысяч работают на них, на эти полторы тысячи. Они рубят в тайге и распиливают на лесозаводах лес, добывают камень, песок и гравий в карьерах, сортируют его, вяжут арматуру, изготовляют бетон, бетонные блоки, балки, детали всех форм и размеров, строят дороги, жилые дома и общественные здания, электрическую и водоканализационную сеть, расчищают необозримую, протяжением почти что до Иркутска котловину будущего водохранилища-моря, строят дороги и даже поливают их[1].

— Вот бы вчера нам знать эти цифры,— сказал один наш товарищ. (Он имел в виду переданные вчера по телефону и телеграфу итоговые корреспонденции о перекрытии.)

И вдруг инженера, этого в высшей степени интеллигентного, выдержанного и благообразного, далеко не молодого уже человека, вряд ли за все годы на этой стройке выругавшегося грубым словом,— вдруг его, как говорится, прорвало.

— А надо, батенька, интересоваться, знать, а не знаешь — спросить, допытаться, а не бежать без головы на телеграф, потолкавшись полчаса на котловане, подхватив какую-нибудь случайную хреновину! — И пошел, и пошел, неожиданно скрепляя речь прямо-таки немыслимыми в его устах словечками.— Это вам не «Ангара, Ангара — перелив серебра»,— процитировал он, передразнивая меланхолический тон каких-то стишков, сгоряча уже путая неповинного корреспондента с их никому не известным автором и кипятясь все больше.— «Волны с тихим ропотом ударяются в грудь железобетонного тела плотины»,— опять дразнясь, привел он образчик некоей художественной прозы.— Вы что думаете, это я сам придумал? — обратился он уже ко всем нам.— Это я собственными глазами прочел в очерке об Иркутской стройке. Но я-то знаю, что Иркутская плотина насыпная, гравий-

[1] Дороги здесь проложены в каменистом и сыпучем грунте, они хороши и без покрытия асфальтом или бетоном, но в сухое время пыль просто не давала жить, отражалась на работе транспорта. На поливке занято свыше двадцати машин. *(Прим. автора.)*

но-песчаная. А? А вы — «железобетонное тело». Вот где будет действительно железобетонное тело,— он показал на весь проем Падунских ворот, будущую плотину,— а там — извините!

В нем прямо-таки кипели обида, раздражение и негодование человека, знающего и любящего свое сложное и трудное дело, о котором так с налету, поверхностно и порой безграмотно информируют страну и весь мир. Но вскоре он внезапно перешел на свой обычный, вежливый, располагающий тон и, дружески коснувшись плеча злополучного журналиста, извинился:

— Вы меня, голубчик, простите, я не о вас лично, но вообще-то бывает еще, к сожалению, так. Простите.

Мы все смеялись при этом горячем выпаде против нашей корпорации, смеялись с тем большей готовностью, что никто из нас, в том числе и попавший под удар корреспондент, даже и без заключительной оговорки инженера не принимал его слов на себя лично...

* * *

Должно быть, у каждого из нас, кто бывал на больших стройках, на целине, в отдаленных краях страны, как в былую пору на разных фронтах, возникает особое чувство при встречах с уроженцами той же местности, что и ты, занесенными разными судьбами в эти далекие края, на эти участки фронта, на площадки этих строек. Такое чувство — не обязательно дань сентиментальным склонностям души, воспоминаниям юности, волнующей памяти давно покинутых родных мест, хотя, конечно, и это не исключается начисто. Но дело в том, что при этих встречах все расстояния и масштабы, вся значительность пройденного народом пути и всего прожитого тобою выявляются вдруг с особой отчетливостью и наглядностью.

Я люблю эти встречи с земляками и всегда запоминаю их с благодарным чувством. Они помогают мне скорее «осваивать» душой любые далекие края родной земли с их новизной и непривычностью, воспринимать их как вовсе не такие уж и далекие, раз и тут есть наши, «смоленские рожки». И такие встречи готовит мне каждая моя поездка,— я затрудняюсь вспомнить хотя бы одну, когда бы их не случилось. Похоже, что земляков моих, уроженцев Смоленщины, так уж много, что хватает для представительства во всех обширных краях родной зем-

ли, на всех знаменитых стройках, как хватало их на все участки огромного фронта Отечественной войны, а также для заграницы и, само собою, для Москвы, Ленинграда и других больших городов. Конечно, так же дело обстоит и в отношении всех других земляков, помимо моих, и это так знаменательно для времени, для нашего века невиданных потрясений, перемен, многоразличных перемещений людских масс, сближения краев и местностей, севера и юга, запада и востока, вовлечения в этот необозримый поток всех слоев, языков, профессий и возрастов двухсотмиллионного населения страны.

И нынешний мой заезд в Братск, по пути на Дальний Восток, опять-таки не обошелся без встречи с еще одним земляком-смоленцем.

Ранним июньским утром я, по излюбленной привычке к таким прогулкам в новых местах, вышел из коттеджа, как здесь принято называть эти полутораэтажные особнячки, где ночевал, пользуясь гостеприимством его хозяев, на улицу Набережную поселка Постоянного. Это название улицы, здесь уже привычное, во всех очерках и корреспонденциях неизменно сопровождается пояснением, что до берега Ангары отсюда еще далеко и что расположена улица на берегу будущего Братского моря, на горе, выходящей знаменитым Пурсеем к реке и строящейся гидростанции. По склону этой горы, вправо к Ангаре, в разреженной порубками и точно буреломом захламленной тайге, располагается «дикий» поселок — избушки-времянки, большею частью индивидуальной постройки,— ныне снимающийся с места, как все в этой зоне предстоящего затопления. А еще ниже, в неширокой долине реки, по левому берегу самого Падунского порога, лежал палаточный городок — первый поселок, вернее сказать — лагерь строителей, разбитый там, когда еще здесь не было деревянных строений, если не считать расположенной выше по течению старинной сибирской деревушки. Я еще застал этот городок летом пятьдесят шестого года, с самодеятельными кухоньками возле палаток и лепившимся здесь уже семейным бытом при всех неудобствах и неуюте этого временного поселения. Там давно уже не осталось ни одной палатки, люди перебрались в поселок, в двухэтажные, многоквартирные дома с центральным отоплением, водопроводом, канализацией и даже горячей водой, хоть и не на всех еще улицах. Правда, на пути из палаток в этот поселок Постоянный для некоторых жи-

телей, главным образом семейных, был еще «дикий» поселок, но и в тех избушках-времянках жизнь была уже несравненно терпимее, чем в палатках, особенно в суровые зимние месяцы.

Первым моим земляком в Братске был старик плотник, приехавший погостить к сыну, невестке и дочери, жившим в одной из тех палаток на десять — двадцать человек, и задержавшийся, чтобы срубить для молодых избу. Приехал он сюда из Читинской области, куда переселился в самом начале века, и собирался вернуться домой, к старухе, в забайкальские места, привычно считая уже их своей родиной.

И вот теперь я встретился еще с Иваном Евдокимовичем Матвеевым, тоже плотником из той же бывшей Бизюковской волости на Смоленщине, только покинувшим родные места в иную пору — в конце двадцатых годов.

Я заговорил с ним в это утро у самого обрыва скалы Пурсея. По раннему часу нас только двое и было здесь у новенькой железной оградки, побеленной, но уже заметно позахватанной. Оградка предусмотрительно была наведена здесь на металлических трубочных столбиках, впущенных в скалу по самому краю обрыва стодвадцатиметровой высоты. Отсюда жители Братска и все дальние и ближние приезжие люди смотрели, как шло перекрытие реки, смотрели все время — даже ночью — при свете прожекторов.

Теперь перемычка, вчера только приостановившая воды Ангары в проране между левым берегом и насыпным «островом» посредине реки, засыпалась поверх загородивших реку многотонных глыб диабаза «мелкой фракцией». Косая гряда насыпи верхним краем уже подпирала настил моста, с которого вчера самосвалы сбрасывали свой груз, и уже бульдозеры с обоих берегов своими тяжеловесными лемехами распихивали, разгребали, ровняли эту гряду, исподволь развертывая ее в ширину, превращая в проезжее полотно гребли.

— Сделано дело, ничего не скажешь,— сказал этот еще незнакомый мне пожилой человек в рабочих штанах и куртке, не оборачиваясь ко мне, не отрываясь, как и я, от картины завершения операции.— Сделано. Ни один Гарриман ничего не возразит...

Мне понравился выразительный оборот речи, в котором имя Гарримана, упомянутое по связи с его вчерашним посещением стройки, уже как бы не означало имени

собственного, а лишь сторонний взыскательный суд содеянному в эти дни на Ангаре, суд, который, может быть, и хотел бы придраться к чему-нибудь, да не сможет. И еще мне послышалось что-то неуловимо знакомое в интонации или выговоре этих слов, позволившее мне предположить в этом человеке своего земляка.

Так и завязалась наша беседа, которая тем и хороша была, что можно было говорить, спрашивать что-нибудь или самому отзываться на замечание собеседника без особой последовательности, с перерывами, паузами и стоять, опираясь на перильца железной оградки, высоко над развернутой внизу картиной. Эта нынешняя картина Падунских ворот Ангары в дымке, пронизываемой ранним, но уже горячим сибирским солнцем, по отдаленности казалась спокойной, как панорама какого-нибудь городского привокзального района или завода в летний утренний час. Доносилось только погромыхивание кузовов самосвалов и бульдозерных лемехов, почти такое же будничное и привычное слуху, как работа городских снегоуборочных машин.

И эта дымка, стоявшая над Ангарой, над «островом» с веселеньким теремком, над мостом и перемычкой и двигавшимися по ним машинами — не понять из чего состояла: из речного тумана, строительной пыли, выхлопных дымов или мельчайшей осыпи брызг от кипящей у правого берега Ангары.

Так мы стояли, смотрели, переговариваясь, покуривая для защиты от мошки. Я не вытаскивал блокнота и авторучки, не спешил спросить и записать фамилию, профессию, должность, словом, не намечал в моем случайном собеседнике того «пожилого рабочего», без которого не обходится почти ни один так называемый производственно-строительный очерк. И, поддерживая нашу нетороплнвую и необязательную беседу, я был еще занят разными своими соображениями и отвлечен одним своим воспоминанием.

(Я точно вновь видел перед собой эту картину более чем двухлетней давности. Там, внизу, у подножия отвесной диабазовой стены Пурсея, где едва можно было пройти у самой воды, мы с товарищем вдруг оказались лицом к лицу с маленькой девочкой лет двенадцати, державшей в обнимку огромный, как сноп, букет длинных и крупных лесных цветов. «Откуда ты, прелестное дитя?» — обратился к ней мой спутник, журналист и в меру

начитанный человек. Она улыбнулась, кивнув головой вверх, и просто ответила: «Оттуда». Мы увидели только страшную крутизну за выступом скалы и не могли поверить, что девочка спустилась оттуда. Но больше ей откуда же было взяться? Я и теперь как бы раздумывал об этом...)

Словом, для моего собеседника я был одним из множества столичных и других приезжих, прибывших на популярнейшую в стране стройку, и разговор наш, чего бы он ни касался, носил свободный, непреднамеренный характер.

— Нет,— возразил Иван Евдокимович на мои слова о том, что уж очень много этой мошки́,— нет, вы бы приезжали сюда в пятьдесят шестом году. Вот то была мошка. А это — что!

Он только изредка неторопливо обводил рукой с дымившейся в ней папиросой вокруг лица и за ушами, тогда как я еще и кепкой отмахивался. Я не сказал ему, что именно в пятьдесят шестом году был здесь и, при всех других отмеченных мной переменах, в отношении мошки́ не вижу большой разницы.

— Нету даже сравнения,— продолжал он, исполненный презрения к нынешней мошке́.— Куда! Как-никак целый город вырос, тайга отодвинулась, столько машин, движения! А она не любит всего такого. И потом — с ней же борьба ведется большая.

Я деликатно выразил сомнение в эффективности этой борьбы. Когда я начал свою сегодняшнюю прогулку с улицы Набережной, в воздухе вместе с чудесной хвойной свежестью все еще держался со вчерашнего вечера запах дуста с соляркой и еще чего-то, чем окуривают здесь улицы со специальных автомашин. Иван Евдокимович сказал, что мошка́ больше набрасывается на новых людей, и я вспомнил про себя одну девушку, с которой встретился на правом берегу в том же пятьдесят шестом году. Девушка была техником-строителем, она делала свои пометки и записи в тетрадке, держа в левой руке маленькую, вроде цветка, веточку, изредка обмахиваясь ею, тогда как большинство людей, работавших мастерком или топором, держали под рукой целые веники и то и дело стегались ими с раздражением и яростью. Были действительно ужасные дни, когда нормы выработки недовыполнялись против обычного на тридцать и сорок процентов, и это учитывалось при исчислении заработка. Тогда не

мудрено было, как говорили строители из новоприбывших, в забывчивости крайнего раздражения и пораниться топором, не то что другое. И эта милая девушка, со своей отчасти даже кокетливой веточкой, на мое замечание о такой малой ее озабоченности самозащитой, с улыбкой сказала, что она сибирячка, а «мошка́ своих знает». Я подумал тогда, что ее начальственное положение и авторитет специалиста могли в значительной степени опираться на эту завидную даже для мужчин неуязвимость.

Видя в Иване Евдокимовиче человека, приобвыкшего в этих местах, я, между прочим, спросил его, не собирается ли он построить себе здесь дом, раз уж и дело в своих руках, и лесу кругом пропасть.

— Нет,— он с грустным пренебрежением покачал головой.— Устал...

И я услыхал от него краткую, но такую емкую историю его жизни, помеченной, как памятными рубежами, домами, построенными им для себя и своей семьи собственноручно в столь различных и далеко отстоящих одно от другого местах страны.

— Последний поставил в Свердловской области, в леспромхозе работал. А леспромхоз, смотришь, лес вырубил и подался на новый участок. Пришлось за четверть цены продать. А то еще я в Заполярье — Верхоянск знаете? — лет пятнадцать проработал. И там дом оставил. Ну, и на родине — само собой, хоть и немудрящий, правда, был домишко, скорей сказать, изба наша смоленская. Так что — строиться еще раз — нет уж... Квартира хорошая, три комнаты, кухня — чего еще?

Я подивился, что у него такая квартира в поселке, где, как я знал, каждый метр жилой площади учтен и предназначен с не меньшей точностью, чем в Москве. Это он понял как недоверие к его словам и, кивнув вполоборота к поселку, коротко предложил:

— Зайдите посмотрите,— может, вру.— Так же кивком головы он дважды показал в сторону стройки, когда называл своих сыновей — слесаря-монтажника и шофера. Он точно видел их там, внизу, на своих местах. Оказалось, что живут они все вместе — отец, мать и сыновья с женами и двумя маленькими детьми. Но квартира от этого не теряла в его оценке — хорошая, отдельная, трехкомнатная,— и на мое замечание о том, что, пожалуй, она уже тесновата на три семьи, возразил:

— А почему? Теплей.

— Значит, топят слабо?

— Зачем слабо! Как полагается топят, градусник в каждой квартире.

— Да, но дома-то деревянные, тонкостенные, из бруса? — Я допытывался. Меня уже как бы задевало это неукоснительное довольство всем, о чем бы ни зашла речь.

— Это мужик наш смоленский так считал, что чем толще бревно закатить, тем лучше. А я вам скажу,— при этом он легонько ткнул себя большим пальцем правой руки в грудь,— я вам скажу, что дом из бруса — самое лучшее дело. Пригнано все, как сундучок. Опять же штукатурка изнутри. Откуда же будет холод?

Я не мог не посчитаться с тем, что это говорит уже не просто житель, а мастер, хотя мастер этот отчасти еще оставался смоленским мужиком, полагающим по старозаветным навыкам быта, что теснота жилья — неоспоримое благо. На нашей с ним родине так и говорилось о большой избе при малой семье: «Волков там гонять — только!» Любопытно, что в Бизюковской волости, откуда был родом Иван Евдокимович, волости, издавна знаменитой далеко за пределами не только Дорогобужского уезда, но и всей Смоленской губернии, собственные постройки бизюков, как их называли, вовсе не отличались особой справностью или красотой отделки. Этим мастерам, строившим двухэтажные городские дома, школы, выводившим двух- и трехъярусные срубы деревянных церквей, купеческих дач со всевозможными затеями,— им просто некогда было заняться с душой своими домами, а главное — жить в них было некогда. Уходили они на заработки ранней весной и до глубокой зимы — «с поста до рождества». Со святок до конца масленицы отдыхали, прилаживали что-нибудь по дому, гуляли, играли свадьбы и, лихо отгуляв масленую, опять отправлялись в отход. И только что женившийся парень, уходя с артелью, покидал до нового рождества молодую жену,— представить себе нельзя было, чтобы он остался с бабами дома. Дома оставались женщины с детьми и стариками глядеть за хозяйством, пахать и засевать какой ни есть надельчик. Женщины делали всю мужскую работу, даже косили, хотя это было у нас в довоенные времена не принято, городили изгороди, покрывали крыши. И крыши были большею частью неказистые, соломенные —

колосом вниз, а не под «гребенку». Все у бизюков уходило на главное в жизни — заработок на стороне. Понятия профессиональной славы, мастерства у них были очень высокие, ревнивые. А привязанность к дому, к крестьянствованию много меньше, чем у людей, живших только с земли. Наверно, и это способствовало массовому уходу таких мастеров из деревни в города и на далекие стройки в пору первой пятилетки, уходу уже с семьями, с полным отрывом от земли и оседлости в родных местах, и, наверно, делало этот отрыв менее болезненным, чем в других случаях.

Иван Евдокимович в двадцать восьмом году вместе с отцом, с которым уже не первый год ходил на заработки, отказался от деревенского надела, получил нужные справки в сельсовете и с тех пор навсегда распростился со своей бизюковщиной. Закончив свой неторопливый и немногословный рассказ, он вздыхает, еще раз с убежденностью отклоняя идею собственного дома в Братске:

— Устал. Годы не те. Хватит.

— А что за годы? — спросил я, предполагая, что он намного старше меня, и не без грустного удивления узнал, что совсем не намного — ему едва перевалило за пятьдесят.

— Какие же это еще годы! — заметил я, как бы ободряя только его, земляка и почти что сверстника.

— Да годы не годы, а так скажу: помахал топором порядочно. С четырнадцати годков как пошел, так и пошел. На одной той войне сколько чего понастроил, хотя оно и невидное теперь. Опять же — переживания большие.

О своих переживаниях он сказал так же просто, как говорят о своей специальности или местожительстве, ничуть не кичась ими, а лишь отмечая как факт: переживания были большие. Но за этими простыми и такими обычными, расходными в изустной речи словами громоздились в одной человеческой судьбе десятилетия непрерывного и нелегкого труда, переезды из конца в конец огромной страны, перемены климатов, всего бытового уклада, вокзальные ночевки, фронтовые ночи и дни, землянки, бараки, случайные очаги, потери близких, множество испытаний. И сверх всего — бесчисленное количество лесу — сырого, из воды, и сухого, как кость, круглого и пиленого, бруса и досок, тесу и горбыля,— лесу, пере-

катанного, перенянченного руками, обработанного топором, пилой и рубанком. Где тот Смоленск, а где Верхоянск, где Литва или Подмосковье и где этот Братск в глубине Сибири! — и везде что-то делано этими самыми руками, везде дерево, побывавшее в них и легшее на место.

Мне врубилось в памяти, как Иван Евдокимович сказал, хотя я не от него первого услыхал это выражение: «Шея тоньшает...»

Я присмотрелся к нему, опиравшемуся рядом со мной на ограду. В негустых русых, отчасти бронзоватых волосах седины было немного, только на висках и за ушами. В неподстриженных рыжеватых усах вовсе ни сединки, а подбородок был со свежего бритья чист и гладок. Но затылок, который больше всего был у меня перед глазами — Иван Евдокимович только изредка оборачивался ко мне,— затылок был сухощавый, разделенный глубоким ровком надвое вдоль, в перекрестных морщинах загорелой и подвижной кожи на двух как бы жгутиках в палец толщиной. Я невольно вспомнил затылок покойного отца, такой знакомый до последней морщинки и черточки...

«Шея тоньшает»,— так именно определяется возраст много потрудившегося человека. И вообще в народном, трудовом представлении шея — главный показатель силы, выносливости и — смотря какой затылок — благополучия, зажитка, сытости. «А что ему, когда у него загривок — во!» — при этом показывают рукой как бы бугор на затылке. «Куда ему! Шея уже во — вытянулась»,— и свешивают голову наподобие вялого цветка на стебле.

Но и говоря, что у него шея тоньшает, Иван Евдокимович не видно было, чтобы жаловался или пенял на судьбу. Пожалуй, здесь больше было оттенка независимости человека сильного, не нуждающегося в самообольщении. Но отчасти было уже и стариковское хвастовство, когда о нынешней своей данности говорят с заведомым принижением, чтобы еще больше оттенить свою былую незаурядность удали и силы.

Коснулись мы и житья-бытья, заработков, снабжения, поселкового транспорта — всего того, с чем человек, будь он самым возвышенным энтузиастом, сталкивается каждодневно и постоянно, по крайней мере его семья, его жена или мать, всякая женщина, ведущая дом, хо-

зяйство. За первые сутки моего гостевания в Братске я не мог не убедиться, что в столовых пища неважная, заправляемая по преимуществу консервами, в магазинах те же консервы, а если что другое, так очереди, что кое-какой рынок есть лишь в старом Братске, в тридцати километрах. Я видел, что в цветочных ящиках на балконах новых домов Постоянного произрастает большею частью узкоперый лучок, вряд ли имеющий декоративное значение. От мальчика, несшего сегодня с Ангары с нарочитой горделивой небрежностью кукан, густо унизанный тоненькими, как колоски, плотвичками, я узнал, что его выходы в такую недетскую рань на рыбалку, кроме чисто спортивного, носят и практический интерес, как добавка к однообразному небогатому столу семьи. Вчера еще я наблюдал, как разбирали строители знаменитой гидроэлектростанции скверное бочковое пиво, прибывшее на площадку по случаю торжества перекрытия Ангары...

Но Иван Евдокимович и тут держался неподступно, с неохотой соглашался, что да, трудности еще есть, но не такие уж серьезные, а главное — их куда меньше, чем прежде, в недавние времена стройки. И даже раза два посмотрел на меня спокойными и чуть насмешливыми светло-синими глазами. Я усмехнулся про себя, в шутку предположив, что, по странности, хоть мы и оказались уже с ним земляками, не принимает ли он меня за Аверелла Гарримана или кого-нибудь из сопровождавших его лиц. Но в этих светло-синих, блеклого василькового цвета глазах мелькала какая-то своя, отдельная, далекая от нашего разговора, мысль, может быть, воспоминание или соображение с оттенком грусти.

Свой заработок Иван Евдокимович определил в 1700—1800 рублей и, подумав, сказал, что иной месяц и до двух тысяч. Я знал, что заработки здесь большие, но две тысячи для плотника мне показалось некоторым преувеличением, что, кстати, вполне согласовывалось с позицией моего собеседника в отношении местной жизни. Он не выказал свойственной мастерам, знающим себе цену, склонности пожаловаться на низкие расценки или недостаток работы по специальности.

Это была та самая, всегда трогательная и, в сущности, замечательнейшая черта наших хороших людей, которая западала мне в сердце и ранее, до встречи с Иваном Евдокимовичем, и после нее, в продолжение всей моей по-

ездки по новым для меня местам. Она выражается в том, что люди, подобно добрым и гордым хозяевам, не хотят говорить гостю с первых же слов о всяких мелочных неурядицах и недохватках в их дому, а ревниво и настойчиво обращают его внимание на то, что составляет главный их жизненный интерес и предмет их чести. Они готовы даже чуточку прихвастнуть, преувеличить благополучие своего дома, чтобы только не показаться перед гостем людьми незадачливыми, достойными жалостливого участия. В Иване Евдокимовиче я узнавал именно эту манеру, это стремление хозяина показать свой дом с лучшей, завидной его стороны, отнюдь, впрочем, не впадая в пустое хвастовство и заносчивость. Его домом, городом, местожительством и делом жизни его, как и его сыновей, и всей семьи, был теперь Братск, эта стройка, этот поселок Постоянный. И пусть приезжий столичный человек не подумает о нем, своем земляке, Иване Евдокимовиче Матвееве, что он живет здесь уныло и скудно, что город еще вовсе не город, что все тут не дай бог как плохо, непримайчиво и буднично и что только в Москве могут жить умные и удачливые люди. Нет, он, Иван Евдокимович, между прочим, не так прост, не так себя дешево ценит, чтобы окореняться надолго в местах незавидных, второстепенных, не сулящих ничего значительного. Он мог бы поискать по себе другие, более подходящие и интересные — он человек бывалый, сведущий и блюдущий свой интерес отлично. Так примерно, приблизительно можно толковать эту черту, манеру поведения таких людей, каким предстал мне в нашей утренней беседе Иван Евдокимович.

Иван Евдокимович сообщил, что здесь, на строительстве, он работает не плотником, а столяром-инструментальщиком. Я не знал в точности, что это за квалификация, и он пояснил с терпеливой назидательностью и даже чуть заметным упреком:

— Все, что из дерева относится к рабочему инструменту, делает столяр-инструментальщик. Возьмем, например, самую простую вещь,— он помедлил, как бы подыскивая, какую назвать самую простую вещь, доступную пониманию слушателя,— топорище. Да,— подтвердил он,— самое простое топорище. Что такое топорище? Полено, затесанное в виде рукоятки для топора.— Он уже обернулся и, стоя спиной к оградке, выбросил вперед правую руку, как бы обхватившую топорище.— Конечно,

вы скажете: плевое дело. А поработайте денек — узнаете, что такое топорище. Можно и руки набить, и мозоли вот такие нагнать, и дела вполовину не сделать.— Он развел руками и презрительно выпятил губу, показывая горесть и срам такого положения.— Это топорище? Нет. Это и есть полено дров. А то топорище, когда оно твое в руке, и топор сам в ход просится, и — пустишь его — куда надо влипает. Вот так, в струнку! — поднятая ребром правая ладонь наметила в воздухе некую единственно мыслимой точности линию.— Вот что такое топорище.— Последние слова были сказаны самым победительным и непререкаемым тоном, исключающим всякое иное понимание предмета.— А что такое топор? — с внезапным ехидством в голосе тихо спросил Иван Евдокимович и тотчас ответил на вопрос уже с другой, строгой интонацией преподавателя: — Топор — начало всему на любой стройке. Как говорится, самый первый колышек топором затесывается и забивается...

И далее, если бы я не знал этого ранее, то узнал бы, так сказать, из первых уст знатока дела, что никакая механизация не исключает топора, что без него ни за что не обойтись ни при постройке сарая, ни при возведении дворца и что топор — этот незаменимый инструмент — без топорища просто заостренный кусок металла, как и заостренный камень дикаря тогда лишь стал каменным топором, когда был впервые закреплен в расщепе дубины.

— Вот что такое топорище,— заключил Иван Евдокимович.— И все другое так...

Эта энергия и даже горячность пояснения, предполагающая чью-то обидную недооценку топорища, могла бы показаться смешной, не будь она выражением глубокой убежденности, добытой сорока годами непрерывного опыта собственных рук...

— Пора и мне,— сказал Иван Евдокимович, заметив, что я взглянул на часы.— Будьте здоровы! Надолго к нам?

И мы еще прошли вместе, поговорили и еще раз приостановились на шоссе, где оно идет с горы под уклон, к Ангаре, и берегом поворачивает влево, к подножию Пурсея.

Я сказал Ивану Евдокимовичу, что из него мог быть отличный лектор по столярной и плотничьей части, и он, не скромничая, согласился.

— А как же! Приходится. Вы моих «студентов» не только здесь найдете — по всей Сибири и там у вас, на западе. Сколько угодно.

Он так и сказал: «у вас, на западе», как там говорят обо всем, лежащем по эту европейскую сторону Урала, и это звучало немного странно в устах земляка.

И вдруг он спросил:

— А что, рожь уже, наверно, белеет там?

— Белеет,— сказал я.

— Беле-ет,— мечтательно повторил он.— Да. Родная сторона, как ни хотите...

И мне показалось, что я разгадал ту затаенную мысль, что держалась в его глазах почти все время: встреча со мной, должно быть, навела его на воспоминания о давно покинутых местах, о детстве и ранней своей деревенской юности.

— А что, Иван Евдокимович, тянет?

— Тянет,— просто признался он.— Иной раз вот как...

— А почему бы не собраться да съездить однажды?

— Да ездил. Вернее сказать, заезжал, как на курорт ездил — путевка была в Сочи. В пятьдесят первом году. Но как-то не то! — Он махнул рукой, показывая, что говорить об этом сейчас не стоит, да и не скажешь в малых словах.

— А все же что не то, Иван Евдокимович?

— Все не то получилось. Во-первых, погода не та — осень. А еще, хоть я и не думал там застать кого из своих, из родни или так просто, но все же — одна местность без тех людей, хоть и родная... Не то. И потом, сказать откровенно, очень уж там плохие дела были в колхозе. Большое уныние... Теперь-то, может, получше стало, а тогда — нет, невозможная картина. Это моих бы ребят туда, так они б узнали, какая бывает жизнь. Да! Ну, все-таки до свидания.

Ему нужно было вправо, к поселку, а мне — влево, к реке. «Вот,— подумал я, прощаясь с ним,— час назад я знать не знал, что есть такой человек на свете со всеми его делами и думами, семьей, профессией, прошлым и настоящим, и уже час целый говорил с ним как с давним знакомым. И не обязательно он должен был оказаться моим земляком, он мог быть уроженцем любой другой местности. Собственно земляческое, смоленское сказалось в нем только под самый конец беседы, когда я разгадал, как мне подумалось, что было в грустноватом взгляде

его блекло-синих, точно выгоревших от солнца глаз. Но и до того еще, до этих его слов о белеющей ржи, мне казалось, что я уже его, как говорится, постиг во всей полноте и давным-давно знаю. А выходит, еще не знал, не увидел такой стороны души этого сдержанного и не склонного к особым излияниям человека, как нежная и печальная дума о родных местах».

Но едва я успел так подумать и мысленно остановиться на том, что теперь-то уж он мне ясен и виден вполне и все это можно будет так и записать, как Иван Евдокимович вновь удивил меня.

— Я все-таки,— сказал он уже совсем на прощание,— думаю все-таки опять на Север податься.

— Как так? С чего вдруг?

— А так. Надо еще поработать на Севере. Что мне? Семеро меня не обсело, как говорится. Детей взрастил, на путь вышли, они уже сами по себе. И я опять сам по себе, вольный казак. А что?

— Да так, почему же Север? Все-таки и годы не те ваши.— Теперь уже я ему напоминал об этом и сказал, что более понятным было бы его намерение податься на родину. Все же, мол, климат здешний суров, там помягче, опять же — память...

— Нет, про здешний климат вы говорите напрасно. Климат неплохой, зима сухая, бодрая, никакой простуды. Но Север — все-таки. Ого! — с каким-то затаенным восхищением протянул он.— Север — превыше!

— Превыше — чего?

— Всего.

«Север зовет»,— вспомнил я название какого-то давнего произведения полярной беллетристики.

— Превыше всего. Разве я говорю, что здесь плохо? Но поработать можно еще и там. Годика три еще или пяток поработать, а потом, конечно, можно махнуть и туда. Когда уже старость подберется поближе...

Тут мы простились, и я так-таки не мог с уверенностью отдать себе отчет, говорил ли он о Севере как о деле решенном или так только, на словах помечтал: а что, мол, если махнуть... И не мог бы я сказать, чем его манил этот Север: красотой ли своих снегов и полярных сияний, или большими заработками, или же просто памятью трудных, но славных лет, выпавших на лучшую часть жизни. Известно, что солдат с гордостью и отрадой

удовлетворения вспоминает не только подвиги, но и тяжкие лишения, пережитые им.

Во всяком случае, мой земляк был уже совсем не тот плотник-отходник, скорее крестьянин, чем рабочий, а кадровик из той строительной гвардии, что, перемещаясь из конца в конец страны, отстраивает и обживает новые города и поселки и передвигается дальше, чтобы вновь начинать с «первого колышка». И, конечно, здесь было стремление подольше задержаться на позициях пусть не молодого, но и не столь старого возраста: дом, прочный причал, окончательная оседлость — для иных людей предстает как сама старость...

Я спустился к Падуну, повернул налево по широкому шоссе, заполненному почти непрерывным потоком машин, и вскоре был в том самом месте у подножия Пурсея, где два года назад встретил маленькую сибирячку с огромным букетом таежных цветов.

Когда я здесь дважды уже проезжал на машине, мне и на память не пришла эта девочка — до того все было непохоже и ново: шоссе, движение, в стороне краны со стрелами, склонявшимися к заготовленным глыбам «самой крупной фракции». Теперь, проходя пешком, я не только с точностью определил это место, но, взойдя на мост и обернувшись, хорошо рассмотрел оттуда, с середины реки, и ту расселину в скале, по которой, хоть и с трудом, человек мог спуститься к подножию Пурсея. Это было приятно, как бывает приятно с некоторым напряжением вдруг восстановить в памяти досадно затерявшуюся куда-то строчку стихов, какое-нибудь имя или дату.

Но после мне стало ясно, что и эта маленькая, мимолетная радость возобновления в памяти на время утраченной картинки, виденной здесь ранее, была лишь частицей куда более сложного радостного чувства «узнавания», которым я был полон в эти дни в Братске. Ни одна местность или край, город, стройка — словом, тот или иной новый участок жизни не дается мне, так сказать, с одного раза. Это подобно тому, как многие из нас воспринимают музыку вполне лишь при повторном ее звучании.

А для меня еще тем было дорого это чувство, что оно дополняло собою мое уже многолетнее, сознательно накапливаемое в душе «узнавание» всех этих краев страны на восток от Урала.

Как-то в машину, с которой я на полминуты застрял на мосту еще в часы перекрытия реки, быстро заглянул молодой человек в белом по-праздничному воротничке и в галстуке, с красной повязкой на рукаве пиджака, перекинув флажок из правой в левую руку и что-то по-свойски сказав шоферу, поздоровался со мной,— должно быть, узнал по пятьдесят шестому году. И, уже отпрянув от нашей машины и взмахнув флажком, давая дорогу встречному потоку, приятельски подмигнул мне и не то спросил — ответить бы я уже не мог, мы уже тронулись,— не то просто выкрикнул:

— Значит, за далью — даль? За Иркутском — Братск?..

Что слова «за далью — даль» означали название моей книги, сомнений не могло быть. И я не впервые уже был смущен поощрительной уверенностью, с какой знакомые и незнакомые люди на стройке и еще по дороге к ней давали мне иногда понять, что они вполне в курсе моих литературных намерений и целей моего пребывания здесь в эти дни. Не хочу сказать, чтобы мне это было совсем неприятно,— приятно, конечно: читали, слышали, желают тебе доброй удачи,— но всякий раз эти вопросы, замечания и пожелания оставляли в душе какую-то тревожную неловкость.

Люди, знавшие меня по первому приезду или знавшие только, что я описал в «Далях» иркутское перекрытие Ангары, понимали мое нынешнее появление здесь как безусловно, так сказать, целевое. Мне задолго до перекрытия напоминали о нем, уведомляли о предполагаемых сроках его, и я соответственно отзывался, имел эту поездку в виду. И теперь я видел, что для людей, с которыми я встречаюсь, оно как-то само собой разумеется, зачем я сюда приехал, хотя из деликатности не все так прямо и высказывали это, как тот славный молодой человек на мосту. С их стороны было вполне естественным считать, что я должен описать, и конечно же в стихах, нынешнюю картину одоления Ангары, и описать по возможности ярче и подробнее, чем иркутскую. Это, казалось бы, само собой явствовало не только из того, что тут и объем работ больше, и проектная мощность станции в пять раз выше, и сама операция проведена, может быть, лучше, четче, во всяком случае, в меньший срок (тут за девятнадцать часов, там, помнится, за двадцать восемь). Но и сами места, условия стройки давали здесь

куда более очевидный поэтический материал: отдаленность, суровая красота горного и таежного пейзажа, романтически звучащие наименования: скала Пурсей, Журавлиная грудь, порог Падун, о котором, кстати, ты еще ранее написал стихи, задолго до полного разворота великой стройки. Однако все это не могло стать моей нынешней литературной задачей.

И стихи, которые я передал 19 июня из Братска в «Правду», как бы указывали на их прямую связь с опубликованным там же в свое время описанием иркутского перекрытия Ангары.

Река пропела все сначала,
Ярясь на новом рубеже,
Как будто знать она не знала,
Что уступала нам уже...

Мне даже нелегко, как-то стеснительно было объявить моим хозяевам, что я гость заезжий, что я только так завернул и теперь должен ехать дальше. Получалось, что и главный мой интерес на этот раз не здесь, а впереди, где-то еще в дороге. А я очень хорошо представляю себе, как это может быть обидно и пусть даже понятно, но все-таки неприятно, что человек может еще интересоваться чем-то другим, помимо этой стройки, которой люди ее уже отдали четырехлетний труд, часть своей жизни, и связывают с ней все самое значительное в их настоящем и недалеком будущем. Они привыкли слышать, читать и сами говорить, что эта стройка — одна из крупнейших в семилетке, стройка мирового масштаба, что Братск через несколько лет будет крупным промышленным центром, городом, может быть, областным центром, и всему этому начало — дело их рук, первые годы строительства, палаточный городок с его бивуачно-лагерным бытом, перенесенные лишения, мошка́, морозы, работа зимой под открытым небом...

С такими примерно чувствами и мыслями я покидал Братск, отправляясь на пароходе «Фридрих Энгельс» вверх по Ангаре, до Иркутска, откуда намерен был поездом продолжать мою дальнюю дорогу. Но что я должен был бы сказать, как поступить иначе? Я приезжал сюда не потому именно, что это были дни «сенсации», привлекшей на короткий срок внимание людей печати и радио, кино и телевидения, литераторов из столиц и других мест страны,— этой «тесноты» я отчасти даже боялся,— а

приезжал потому, что часто думал об этой стройке по прежней памяти, следил за всем, что появлялось о ней в газетах и журналах. Мне просто казалось невозможным проехать мимо, не увидеть этих мест в их теперешнем виде, да и перекрытие ожидалось необычное. И мне это было любопытно само по себе, совершенно безотносительно к тому, в какой мере и форме оно, может быть, будет использовано в моей литературной работе.

И я был очень доволен этим моим заездом, приумножившим мои душевные запасы «узнавания» новых мест, без чего я вообще не мыслю себе написать о них что-либо стоящее в стихах или прозе.

1959



статьи

● АРКАДИЙ КУЛЕШОВ

ПОЭМА «ЗНАМЯ БРИГАДЫ»

Зимой 1942 года в одной московской квартире собрался дружеский кружок писателей послушать белорусского поэта Аркадия Кулешова, прибывшего с фронта с новой поэмой в полевой сумке.

Первоначальное знакомство с этой вещью — одно из самых ярких и дорогих для меня литературных воспоминаний военного времени.

Як ад роднай галінкі
  дубовы лісток адарваны,
Родны Мінск я пакінуў,
  нямецкай бамбёжкаю гнаны...

Это были первые строки поэмы «Знамя бригады», ныне переведенной М. Исаковским на русский язык и получившей уже широкое признание.

Покамест он не начал читать, я, как и другие товарищи, по собственному опыту знавшие трудности фронтовых условий работы, просто дивился тому, как в этих условиях человек нашел время и силы написать такую большую вещь, которая к тому же не могла даже идти в зачет его работы в газете, так как была написана на белорусском языке. Но с первых же глав поэмы, прочитанных автором, стало ясно, что он просто не мог не на-

писать ее. Это было слово, которое не ждет особых внешних условий, чтобы явиться из сердца поэта, а даже скорее всего и естественнее может явиться тогда именно, когда трудно.

И чем дальше читал Кулешов, тем все чаще мы просили повторить отдельные места и порывались заглянуть в рукопись своим глазом, еще раз убедиться, что они есть на самом деле, эти за душу берущие, простые и полные большой новизны и силы слова и строки. И самое начало поэмы — почти перефразировка лермонтовских строчек — приобрело в сочетании со всем остальным убедительную законченность и свежесть, утратив оттенок литературной зависимости.

Большинство из нас, слушателей, по своей переводческой практике достаточно знали белорусский язык, чтобы в полную меру на слух воспринимать поэтическое произведение. И, пожалуй, для всех, кто впервые познакомился с этой поэмой в оригинале, и поныне она продолжает жить на своем родном языке, хотя уже давно существует прекрасный, очень бережливый перевод Исаковского, которым я буду пользоваться в этой статье при всех цитатах.

В самом общем смысле поэма эта была голосом сердца, полного боли за родную белорусскую землю, плачем по ней и горячей светлой веры в ее силы к борьбе, в ее освобождение. И голос этот прозвучал еще тогда, когда не только вся Белоруссия находилась под игом немецко-фашистских захватчиков, но и много русской земли на восток от нее.

Сюжет поэмы несложен и очень характерен для первого периода войны, периода тяжелых отступательных боев Красной Армии с превосходящими силами противника.

Боец-белорус Алесь Рыбка, от лица которого ведется повествование, вместе с другим бойцом, Никитой Ворчиком, выносят знамя бригады, окруженной и разбитой немцами. На руках у бойцов раненый комиссар бригады. Долгим и трудным путем они пробираются к фронту и через фронт, к своим, как святыню оберегая знамя — символ возрождения воинской части для борьбы и победы.

Скорбные картины жизни оставшегося за фронтом края, детали потрясенного войной быта, выход из окружения — все это, как и многое другое, было тогда как

предмет поэтического изображения совсем внове и воспринималось с особенной живостью. Но дело здесь не в одной новизне материала, а в том особом чувстве, которое вообще приходит, когда черты близкой нам действительности мы видим правдиво преображенными средствами поэтического слова. Известно, что, как бы ни была тяжела и горька сама по себе эта действительность, мы, видя ее вдруг схваченной и закрепленной в формах искусства, испытываем удовлетворение, даже радость, какую приносит всякое познание.

Попробуем, как это ни трудно, рассказать вкратце содержание поэмы своими словами и тем самым хоть частично коснуться ее собственно поэтической ткани, ее формы. Конечно, нельзя говорить о ней, не прибегая к ее стиху, очень своеобразному и емкому, с одинаковой силой несущему и неторопливо-повествовательную интонацию, и народно-поговорочный оборот, и беллетристически свободный, отчетливый диалог. И трудно уберечься от цитирования целых страниц и глав. Все это необходимые в таких случаях оговорки, но существенное содержание любой, даже самой своеобычной по форме поэтической вещи рассказать можно. Более того, самое это свойство вещи быть пересказанной словами обычной речи — есть едва ли не первый признак ее поэтической существенности и подлинности.

Герой поэмы покидает свой город Минск уже после того, как его семья, гонимая войной, ушла в деревню, в родные места Алеся Рыбки, по которым ему потом придется проходить, выбираясь из окружения со знаменем бригады, зашитым в солдатском ватнике. Рыбка прощается со своим домом:

Что сказали мне вещи,
Когда я задумал уйти.

Эти две строчки, данные в тексте разрядкой, как и в других подобных случаях, служат в композиции поэмы как бы заголовком следующего за ними отрывка. Выписанные последовательно, эти двустишия-заголовки представили бы нечто вроде поэтического конспекта всего произведения.

В неожиданно сказочной, условно-лирической форме, родственной народно-песенным приемам речи, идет разговор с вещами покидаемого жилья.

Ложки, миски, книги, игрушечный конь на колесиках — вещи, оставленные хозяйкой, спешившей спасти своих малышей, просят хозяина взять их с собою, хотят служить ему ту же добрую службу, что и до войны, и символизируют память мирной жизни, радость и сладость ее... Кукла просится в дорогу, говоря, что не доставит хозяину больших хлопот:

Тяжко детям идти,
Утомляет дорога большая,
Я ж пойду куда хочешь с тобой,—
Ведь я неживая.
Просят малые есть либо пить,
Пыль сухая им рот забивает,
Я ж не буду просить,—
Я ведь кукла, ведь я неживая.
Самолеты с чужой стороны
Налетают, детей убивая,
Мне ж они не страшны,
Не опасны,— ведь я неживая...

Это первый мотив поэтического плача о родной земле, о семье и доме, о детях — самом дорогом в нашей жизни, на чью долю в войне приходится столько невыразимых по своей бессмысленности, жестоких мук. С этого в избранной им форме поэт начинает свое проклятие войне, ее вдохновителям и зачинщикам. С этим же мотивом он подойдет и к завершению поэмы в эпизоде встречи солдата в окружении с мальчиком-беженцем, которому воин-скиталец отдает последнюю кроху хлеба из своего НЗ.

Вряд ли можно указать в нашей литературе этих лет на более сильно сказанные слова о детях, о горькой боли отцовских и материнских сердец в суровую годину войны!..

Новое двустишие-заголовок предваряет картину разрушений, причиненных городу первыми налетами немецкой авиации:

Чем меня моя улица встретила,
Что на улице происходило.

За этой улицей поэт закрепляет в стихе ее название Ново-Московской, за подъездом своего родного дома — номер девятый. Все это дорого, потому что со всем этим нужно проститься и потому что все это уже зияет увечьями, нанесенными огнем и взрывной силой вражеских бомб...

В июле 1944 года, в первые часы по освобождении Минска нашими войсками, я пробирался меж новых и старых, трехлетней давности, развалин-пожарищ города, и мне приходили на память строки кулешовской поэмы об улице, которая «...стала... как в минуты обвала средь горных ущелий доро́га...», и та клятва, что произносил Алесь Рыбка, покидая некогда этот город, уходя на восток:

Я тебе обещаю,
Родным пепелищем клянусь,
Что с дороги нигде не собьюсь.
Я вернусь. Я вернусь.

Но до исполнения этой клятвы поэт не доводит свое повествование. Оно посвящено событиям первого лета войны, самым печальным ее сторонам, и это оправдано не только временем написания поэмы.

Духовная сила народа способна поэтически сказаться не только и, может быть, даже не столько в песне торжества и победы, но и в песне горя и скорбного гнева, в котором — бессмертие и непобедимость народа.

И мы следуем за событиями, о которых говорит эта горькая и мужественная песня о воинском знамени, не испытывая ущербного чувства оттого, что в ней недостает победного этапа войны — нашего наступления. Эти события мы угадываем и видим в том, что им предшествует.

Алесь Рыбка сражается в рядах бригады, стоящей насмерть на своем рубеже. Наступает момент, когда «надо знамя спасать, не оставить его на глумленье», и Алесь вместе с наводчиком, последним из перебитого расчета искореженной немецким снарядом пушки, захватив знамя, выносит из боя на шинели своего раненого комиссара. Этот момент с его тоской смертельной опасности, тревогой за целость знамени и жизнь комиссара, с памятным герою на всю жизнь ощущением росного утра, прохладной стежки в конопле дан сжато и выразительно. Бойцы выходят к ручью. Дорога забита немцами, вспаханное поле не сулит спасения. И вот строки, которые сродни устно-поэтической народной форме заклинания или заговора при их современной интонационной окраске:

Что ж, ручей, выручай,
Уведи нас далеко-далеко
И кустами плотней закрывай

От немецкого ока.
Мы несем комиссара, и ты
Сделай так, чтоб он выжил,
Чтобы чаще стояли кусты,
Чтоб росли они гуще и выше.
Помоги нам его донести,
Поспособствуй, где можно;
Встретишь вражеский пост на пути —
Обогни осторожно.

И тотчас за этим заклинанием — беллетристически точные описательные строчки:

Точит камешки, роет пески
Неумолчно ручей беззаботный.
Тихо хлюпают сапоги
По воде по холодной.

Так разнообразны и гибки голосовые средства поэта, всякий раз соответствующие предмету и характеру повествования.

Ручей приводит бойцов с их ношей в глубь леса, к избе лесника, где их встречают с радушием и лаской.

Сторожка, лесник, лесничиха — все это настолько традиционно-обязательный мотив обстановки в белорусской поэзии, что Кулешова можно было бы даже упрекнуть в этом, не будь глава написана с покоряющим блеском и свежестью.

От внимания гостей, например, не уходит то, что под застрехой у хозяина восемь исправных кос.

Мы с хозяином косим,
Но об этом не спросим...
. . . .
Потому что, придут ли с войны
Лесниковы сыны,
Мы не знаем
И тревожить его не желаем.

Это сообщает особый оттенок отношений лесника с лесничихой к судьбе нашедших у них приют воинов, и об этом сказано экономно, исподволь, опять же в духе народно-песенной образности.

А ответная скромность хозяина, которой он платит своим гостям, выражена в поэме с оттенком горестной и мужественной иронии, тем же стихом, но уже без всякой условно-поэтической иносказательности и так верно и метко в отношении времени, особых обстоятельств встречи советских людей разного общественного положения.

Видит наши мозоли лесник,
Лица в каплях обильного пота,
И уж знает старик:
Мы от сельской отвыкли работы.
. . . .
Как мы жили и где
И посты занимали какие,—
Он об этих не спросит делах,
Ждать не станет ответа.—
Знает так, что на прежних местах
Нас теперь уже нету.

И наконец строки о прощанье со стариками, собравшими Алеся и его товарищей в путь «от заводи тихой» с той же родительской тревогой и участьем, с какими, должно быть, провожали на войну сыновей...

Всех подряд обняла нас Прасковья,
И губы ее задрожали.
— Как родимых сынов, я,
Товарищи, вас провожаю...

С этой страницы одна за другой идут картины трудного пути на восток по горестно притихшей, печальной земле родного края, отрезанного от большой Советской родины линией далекого фронта. И каждая из этих картин и встреч рождает в сердце читателя то скорбное и гневное, то щемяще-горестное, но всегда не малое, не случайное чувство. Автор как бы и не заботится вовсе об этом, он ведет свой рассказ с почти простодушной мнимой незатейливостью, включая в него по ходу событий и времени то эпизод, то простое наблюдение, то песню либо легенду, то свой собственный лирический возглас. Но как важно для него все, что он видит и слышит по пути, как он зорок и чуток ко всему существенному в жизни родной стороны, какая большая за всем этим мысль,— тревожная, любовная, горячая, страстная мысль о Родине, о суровой судьбе, выпавшей на ее долю.

Словами как будто древнего женского голошенья говорит он о жите, по которому прошла жестокая стопа современной войны:

Ой, скосили его пулеметы,
Под корень скосили!
Сапогами немецкой работы
Его молотили.
Танки, сталью покрытые,
Жито мололи.
Вражьи кони копытами

Хлеб замесили на поле.
Тесто кровью враги поливали,
В самом пекле пекли-выпекали.
И лежит, словно камень,
Хлеб немецких пекарен.

Только настоящему поэтическому таланту под силу, пользуясь такой подробной метафоричностью, удержаться от дешевой формальной игры приемом и остаться в пределах меры, подсказанной искренним лирическим чувством.

С легкостью, которой автор обязан очень удачно избранному и разработанному стиху (лишь изредка несколько ослабевающему и вялому), переходит он от этого стилизованного плача о потоптанном жите, символизирующем гибельность вражеского нашествия, к эпизоду свадьбы, где требуется совсем другая, повествовательно-драматическая манера. Там много лиц, голосов, действия. Староста Медведский, «подлиза немецкий», женится на девушке, выходящей за него, чтобы спасти от смерти старика отца. Свадьба обрывается партизанским выстрелом «в затылок иуде», то есть жениху, актом народной расправы с предателем. Здесь многое по молодости таланта наивно, начиная с фамилии Медведский, которая ни за чем больше не нужна здесь, как только для посредственной рифмы.

Но в этой главе хочется отметить, во-первых, то место, где произносится тост и стих непринужденно переходит в присловье здравицы:

— Пью
Я за женку свою,
А вторую я пью
За удачу свою,
За честное застолье,
За богатое поле,
Чтоб гречка цвела,
Чтоб речка текла,
Чтоб хлеба над рекою
Вилися трубою!

А во-вторых, драматический момент, когда старик музыкант, отец девушки, выходящей ради него замуж, играет на этой свадьбе:

Тут по струнам скрипач,
Как потерянный, водит.

Не «Лявониха» — плач
У бедняги выходит.

В обеих выдержках, самих по себе ярких, примечательно еще вот что. В первом случае строчка «чтоб хлеба́ над рекою вилися трубою» является цитатой из знаменитой песни «Бывайте здоровы», существующей у нас в переводе того же М. Исаковского. Это довоенная народная белорусская песня советских лет. Слова ее были написаны одним сельским учителем в первые годы строительства колхозной жизни и приобрели затем повсеместное распространение. В незатейливо-шуточной форме пожелания хозяевам от гостей, уезжающих с колхозной пирушки, в ней выражена большая любовь к родному краю, радость совместного и дружного труда на свободной земле, уверенность людей в своем будущем и многое другое, как это всегда бывает в хорошей песне.

Аркадия Кулешова русский читатель знал до войны по двум-трем книжечкам лирических стихов, но главным образом по его поэме «В зеленой дуброве». И поэма эта была написана, если можно так выразиться, по песне «Бывайте здоровы», органически развилась из нее и, подобно ей, славила колхозный труд и достаток мирной сельской жизни. Тот же стих, тот же тон и содержание. Даже этот запев «Будьте здоровы, живите богато» «заверстан» в тексте поэмы.

«Лявониха» же — это национальная старинная плясовая белорусов. Ее затейливый, ухарски озорной и плавный и нежный, где надо, характер напева и самих слов хорошо выражает одну из важных сторон поэтической души народа, его духовного облика. Белорусы вообще народ глубоко поэтический. Почти каждый город и каждая река, протекающая по их земле, наделены осмысленным легендарным происхождением. Здесь можно было бы вспомнить замечательную сказку о реках-братьях Днепре и Соже, предание о возникновении города Могилева, положенное Янкой Купалой в основу его поэмы «Могила льва», или поверье о том, что реки созданы птицами, тонко и выгодно использованное Аркадием Кулешовым в лирическом стихотворении «Моя Бе́седь».

Связь этих мотивов заслуживает внимания не только потому, что, например, песни «Будьте здоровы» и «Лявониха» в любом напоминании в дни войны звучали ут-

верждением национального духа захваченной, но непокоренной Белоруссии, были частью существенного содержания поэмы, ее впечатляющей эмоциональной силы. Дело еще в том, что связь этих мотивов указывает отчасти и на то, откуда и как взялся и развивается своеобразный и уверенный голос поэта.

Кулешову в «Знамени бригады» еще понадобятся слова пожелания мирной песни «Будьте здоровы», только они прозвучат не в устах подгулявших гостей при веселом разъезде, а в устах воина, оставляющего родные края, дом, близких в глубоком тылу вражеских войск и уходящего в безвестность войны. Он уходит, послушный суровому и благородному долгу, с верой в победу правого дела, выраженной в надежде на возвращение:

Бывайте здоровы,
Назад меня ждите!

Центральными по своему содержанию в поэме могут быть названы главы о ночлеге у вдовы Лизаветы и о предательстве Никиты Ворчика.

Ночью Лизавета обходит всех троих ночлежников, устроенных порознь — в хате, в клети, в сарае. К трогательному гостеприимству простой деревенской женщины примешивается любовь и жалость и даже надежда на завидную долю, которая вдруг пригрезилась ей в это грозное и безнадежно неуютное время:

Села рядом со мной Лизавета.
— А зачем вам шататься по свету? —
Говорит она, тихо вздыхая...
. . . .
Оставайся со мной честь по чести,
И пойдем мы с тобою вместе
По спокойной, ровной дорожке —
Ни войны тебе, ни бомбежки...

Люди большого долга отклоняют «сватовство» Лизаветы, хотя, оторванные от своих, лишенные достоверных сведений о положении на фронте, они, по существу, не могут опровергнуть ее слов о том, что немцы уже дошли, может быть, до Урала,— правду они узнают потом, когда удастся послушать партизанское радио.

Для тысяч и тысяч наших людей, оставшихся в окружении и выходивших из него, решение вопроса о том, продолжать ли идти в надежде где-то догнать фронт или

оставаться, как тогда говорили, «в зятьях» у какой-либо вдовы, или солдатки, или даже у собственной жены,— решение этого вопроса было экзаменом на воинскую, гражданскую и политическую зрелость. Вопрос этот решался людьми наедине со своей совестью. И то, что в подавляющем большинстве случаев он был решен так, как его решает герой кулешовской поэмы, было одним из самых несомненных свидетельств жизненной прочности советского строя, высокого морально-политического уровня наших людей.

В сущности, речь шла о сопротивлении или несопротивлении черным силам иноземного нашествия, о сопротивлении или попытке обрести «тишину и покой» путем примирения с неотвратимой будто бы действительностью фашистского ига.

Кулешову удалось в этой главе сказать очень много о том периоде войны, когда еще возможность самого выбора одного из двух разных путей была налицо. Достигнуто это простыми средствами правдивого слова о жизни, без умаления силы того, чему противостоит сознательное чувство долга. Образом искушения, тихо и вкрадчиво подбирающегося к уставшей в безрадостных скитаньях душе солдата-«окруженца», предстает «добрая вдова» Лизавета:

Я и в хате была — не спится,
Я и в клеть зашла — не лежится,
И сюда вот пришла я, вдовица...
Дозволь примоститься.

Реалистическое чутье поэта помогло ему не остановиться на том, что все, к кому обращено искушение чарами «тишины и покоя», устояли против него. Порог родного дома, обманчивая сладость тихой семейной жизни в стороне от войны влекут Никиту Ворчика, когда он со своими спутниками идет по земле отцовских мест. Ночью Ворчик, спавший с Алесем под одной ватной курткой, в которой было зашито знамя, покидает товарищей, оставив Алеся раскрытым. Приходит час самого тяжкого из испытаний на пути героев поэмы. Пропало знамя, которое они несли с надеждой увидеть под ним ряды возрожденной бригады, знамя, спасение которого было целью их скитаний. В самые горькие, трудные минуты пути их поддерживало наличие при них воинской святыни, ради сохранения которой стоило переносить лишения, любые

трудности и опасности, даже унижение переодевания — потерю воинской внешности. Приходит догадка о том, что Ворчик поддался искушению «тишины и покоя» отчего дома. Но зачем он унес куртку, в которой зашито знамя?

Автор позволяет читателю последовательно предположить, что Ворчик не захотел делить с товарищами заслугу спасения знамени и решил один перейти фронт; что он просто «жить пожелал, как живет Лизавета»; что, наконец, он задумал у немцев купить себе «тишину и покой» выдачей бригадного знамени. Алесь Рыбка с комиссаром застают Ворчика в отцовском дому в страшном потрясении горем: его жена, понуждаемая гитлеровцами к позору, удавилась, оставив мужу записку с просьбой отомстить за нее. Всей этой сложной, сгущенной трагичности достало бы на целую повесть. Кажется, что и выхода из нее нет. Ворчик отвечает товарищам, что он ушел ночью и захватил куртку просто так, полагая, что они и без нее обойдутся, просто забыв о знамени, зашитом в ней, иными словами:

Он забыл — понимаем без слов —
Все на свете:
Кровь товарищей, славу бойцов,
Что клялись перед знаменем этим...

Он забыл это, и с ним кончено, он не может рассчитывать и на участие товарищей в постигшем его семейном горе. Он и горя этого недостоин, оно не его, это святое, высокое горе, а тех, кто был честен в исполнении долга, кто способен был до конца отдать кровь и жизнь делу священной борьбы.

И сказал комиссар:
— Пошли! —
Старики вслед нам молча глядели.
Мы им правду сказать не могли,
Огорчать не хотели.
Пусть не знают вовек
О позоре их сына,
Пусть решат, что пошел человек
Отомстить за них,
За Марину,
И за дом родной, и за сад,
И за грушу, и за малину.
Пусть с наградой назад
Ожидают старые сына.
Им и сын ничего не сказал,

Покидая родимую хату.
Ничего он в дорогу не взял,
Только взял под навесом лопату...

Может быть, только временем и особыми условиями написания поэмы можно объяснить, что к этим окончательным по силе выражения строчкам Кулешов добавляет еще несколько излишне разъяснительных строк о гуманности сурового приговора изменнику. Автор, к сожалению, не в одном этом случае несколько ослабляет «ударность» своих поэтических удач ненужными добавлениями либо преувеличениями и детализацией. Но важно, что и здесь, на этой картине исполнения приговора чести, он не обрубает концов темы. Он сообщает ей новый оттенок, заставляя Алеся Рыбку, подобно Ворчику, пойти мимо родного дома, изведать в пути на себе самом острый, хотя в сущности иной, соблазн близости семьи, всего дорогого сердцу. Ему до страшной боли хочется зайти к своим, обнять их, проститься, может быть, навсегда, ибо он знает, что впереди еще долгая, полная трудов и опасностей дорога войны. Но он удерживается. «Что ж, зайду,— рассуждает он,— на радость, что ли? Принесу жене и детям свою муку, свои слезы — зачем? Их и без того довольно». И его решение достойно большой и любящей души, лишающей себя обманчивого счастья такой встречи во имя счастья подлинного, хотя до него не близко.

Нет, не этак приду я в свой дом,—
В новой каске приду, со штыком,
Не скитальцем и не бедняком,—
А войду я хозяином в дом...
. . . .
Будет время ребячьих утех,
Будет смех — я принес им смех;
Будут слезы — я детям принес
Каску, полную радостных слез...

А покамест он посылает дорогим и близким свою любовь, свою боль и надежду:

Бывайте здоровы,
Назад меня ждите!

Два слова о заключительной главе поэмы.

Герои проходят линию фронта, вступают на свободную советскую землю, вынося знамя бригады.

Перед нами Родина снова!
И сказать не могу я ни слова,
Лишь губами к земле приник
И целую ее молчаливо...

Это ощущение родной земли, выраженное так немногословно, истово и вместе с тем застенчиво, особо дорого еще потому, что речь идет о Большой Родине, о всей советской земле.

Подобно цимбалисту, которому в поэме посвящена вставная песнь-легенда, поэт, проделавший в личной судьбе весь горестный путь отступления от западной границы до предместий Москвы, не забыл ни о чем дорогом и единственном:

И весь край белорусский родной,
Все, что пело, росло и цвело в нем,
Захватил он в дорогу с собой,—
Все вместил в своем сердце сыновнем.

Эту сыновнюю любовь, давшую поэту силы пропеть свою горькую и мужественную песню расставанья и надежды на возвращение, мы видим не в отрыве от священного чувства любви ко всей советской земле.

На долю белорусского народа во все времена выпадало первым встречать непрошеных пришельцев с запада, первым терпеть бедствия и муки от вторжения чужеземных войск. Избавление всегда приходило с востока, будь то в дни этой войны, или в недавнее время войны с интервентами, или в самом начале прошлого века, в Отечественную войну 1812 года.

И белорусский народ хорошо знал это. Борьба белорусов — в партизанских ли отрядах, в рядах ли частей и соединений Красной Армии — против немецких оккупантов составит гордые и поучительные страницы истории этого народа. Развившийся в горькой нужде, среди суровой природы и наконец начавший жить по-человечески, этот народ в Великой Отечественной войне оценил самой высокой и благородной ценой все, что ему дала Советская власть: стал сражаться за нее, за свое право идти вперед по пути, избранному бесповоротно.

Обо всем этом в той мере, какая дана поэзии, говорит поэма белоруса Аркадия Кулешова.

Большая существенность, историческая значительность содержания в сочетании с богатством самостоятельных и органически национальных средств формы

дают право назвать это произведение Кулешова народной поэмой.

Эта удача пришла к нему потому, что и собственной личной судьбой, и мотивами своего довоенного творчества он был связан с судьбой и душой своего народа в самом характерном их выражении. Следуя своим старшим землякам-поэтам — Янке Купале и Якубу Коласу, Аркадий Кулешов сумел поэтическим слухом уловить новые звуки народной песни, пришедшие с новым временем, и сочетать их с литературной формой, опирающейся на достижения не только родной белорусской поэзии...

Нет сомнения, что тот же материал, те же тематические данные послужат в будущем созданию более совершенных произведений о великой поре нашей борьбы против немецко-фашистского нашествия.

Но неповторимая свежесть впервые сказанного об этой борьбе подлинно поэтического слова не отнимется у лучших произведений, написанных в годы самой борьбы. Поэма Кулешова безусловно принадлежит к этому ряду произведений.

1946

ЗРЕЛОСТЬ ТАЛАНТА

Аркадий Кулешов из того поколения белорусских поэтов, которое выступило еще при жизни Янки Купалы и Якуба Коласа. Много лет назад он написал небольшое стихотворение «Моя Бе́седь». Название этой безвестной речки Беседь, протекающей где-то на Гомельщине, нет-нет и мелькает с тех пор в стихах Кулешова, всякий раз как бы напоминая первоначальный деревенский адрес его поэзии, которая между тем выходила на всё более обширные территории. В ее активе еще до войны была уже поэма «В зеленой дуброве», написанная стихом популярнейшей белорусской песни тех лет, звучавшей в русском переводе по всему Союзу: «Будьте здоровы, живите богато...»

И хотя в поэме, как и в этой песне, отразилась одна только сторона довоенной колхозной жизни — праздничная,— ее живой народный песенный лад и склад речи, живописность картин родной природы, меткость деталей сельской жизни в ее обновленном обличье и теперь еще способны вызывать дружелюбное внимание читателя,

чего не скажешь о многих и многих стихотворных произведениях такой давности.

Грянула война, с первого часа обрушившая на Белоруссию свой жестокий удар, и у поэта, оторванного от родной земли и прошедшего в рядах армии горький путь отступления, еще в ходе войны нашлись иные, полные скорбного и мужественного трагизма слова о суровой судьбе родного края и всей советской земли, о доблести ее сынов, о тех испытаниях духа, которые не каждому дано было пройти с честью.

Поэма «Знамя бригады», написанная в 1942 году и вскоре в переводе М. Исаковского ставшая достоянием русских читателей, явилась общепризнанным достижением советской поэзии военных лет, ничуть не утратившим своего значения и поныне. Об этой поэме много писали, но это из тех поэтических созданий, у которых в запасе такая емкость содержания и такая, не вся на поверхности расположенная, сила выражения, какие не раз еще привлекут внимание ценителей и истолкователей.

Аркадий Кулешов неразрывно связан с белорусской поэтической традицией, хорошо знает ее основу — богатейший фольклор, но он жадно приник и к другим животворным источникам. В молодости он много и увлеченно переводит Пушкина, Лермонтова, Шевченко. Вряд ли нынешний интеллигентный белорус, захотев перечесть «Евгения Онегина», обратится к переводу Кулешова,— он возьмет самого Пушкина, но в свое время эта работа имела большое культурное значение. А какая это была школа для молодого поэта, какие неожиданные открытия делает он в своих стихах под непосредственным воздействием этих могучих влияний! Достаточно указать на столь своеобразную ритмику «Знамени бригады», которой он, по собственному признанию, обязан Лермонтову. Не бесследным был для Кулешова и опыт русской советской поэзии.

«Знаменем бригады» талант поэта прочно заявил о своих возможностях в сюжетном лирико-эпическом жанре. Вслед за этой поэмой Кулешов наряду со сборниками стихотворений публикует несколько поэм, посвященных послевоенной тематике. Наиболее значительные из них «Новое русло», «Только вперед», «Грозная пуща». Все шире диапазон содержания поэзии Кулешова, давно вышедшей за пределы локальной сельской темы, все увереннее стих, разнообразнее ритмические решения. Он не ос-

танавливается на достигнутом однажды, снова и снова с большей или меньшей удачей отрывается от самого себя вчерашнего, чтобы стать сегодняшним и завтрашним. Далеко позади, в отступившей давно за черту поэтической юности остается его неприметная деревенская речка Беседь, которой он дал имя в литературе.

Конечно, автор ведет один счет своим писаниям: для него, как для родителя, и незадачливые дети, за редкими исключениями, остаются родными и дорогими. Другой счет им ведут критика и история литературы, помечают своими знаками подъемы и спуски. Но есть еще третий счет писаниям всякого подлинно талантливого автора — это счет, который ведет само время, счет наиболее строгий, выборочный и привередливый. Но зато уж самый верный и неподкупный. И если на этом счету за четверть века — а это целая поэтическая жизнь — удержались пусть не все, пусть только главнейшие и безусловные по удаче творения, это уже немалое дело, счастливая судьба поэта.

Новая книга лирических стихов Аркадия Кулешова появилась в 1964 году после некоторой паузы в неизменно продуктивной работе поэта. Можно было отнести это за счет перенесенной им длительной болезни, можно было считать и просто временной заминкой, какие почти неизбежны у серьезного писателя, тем более в эпоху, которая на каждом своем крутом повороте обязывает сознание художника освоить этот поворот во всей глубине.

Но какая же это радость, раскрыв новую книгу поэта, которого издавна знаешь и любишь, увидеть сразу, что пауза или заминка были лишь предвестием нового и сильного рывка вперед и уверенного подъема его поэзии.

Есть у поэта свой надел целинный
Среди еще не вспаханных полей,
Где, борозды вздымая, гнет он спину
От первых дней и до последних дней.
. . . .
Есть сердце, что в пути не охладело,
Оно словам дает тепло и свет.
Нет без него заветного надела,
Нет зрелых мыслей. Да и жизни нет.

Не всегда вровень со зрелостью возрастной идет зрелость творческая, и когда они смыкаются — лучшего нельзя пожелать поэту. И вовсе не беда, что эта творче-

ская зрелость идет как бы в нарушение жанровой иерархии, явившись в данном случае в виде книги лирических стихов, а не новой поэмы. Бывает и так, бывает и этак. По цельности мысли, органичности тона и отчетливой завершенности тематического круга эта книга далеко оставляет позади иные поэмы того же автора. А эта свободно текущая лирическая речь — как бы раздумье вслух,— как она экономна в словах, классически подтянута, дисциплинированна без напряженности, строга без сухости и прозрачна, хоть и достаточно сложна.

Некоторые из поэм Кулешова несли на себе один из простительных грехов поэтической молодости — длинноты, нерасчет в объеме отдельных частей — и более тяжкий грех — прозаизмы, отягчающие стих не свойственной ему нагрузкой. Последнее более всего относится к поэме «Грозная пуща», где прозаическая распространенность и детализация повествования — сами по себе даже интересные и выразительные — часто вступали в явные противоречия с возможностями стиха, который предназначен, по Гёте, «сообщать предметам мощь и крутизну».

«Новая книга» Аркадия Кулешова решительно свободна от этих изъянов, она — образец полного владения годами вырабатывавшейся поэтом формы. Но не одно это позволяет назвать «Новую книгу» книгой настоящей зрелости самобытного и яркого таланта. Обширность идейного горизонта, освоение необычных для прежнего Кулешова вечных (это слово почему-то принято заключать в кавычки), общечеловеческого значения тем: жизни и смерти, любви и творчества, судьбы и долга поэта, прошлого и настоящего, настоящего и неизмеримых далей коммунистического будущего — вот что главным образом обозначает новый этап в поэзии Кулешова — одной из вершин советской поэзии в целом. Каким, например, естественным, непринужденным образом входит в круг его лирических размышлений, становится предметом поэзии такая новизна, как современные представления о вселенной, ставшие значительной частью нашего мироощущения в годы великих успехов в изучении космоса. Несчетное множество стихов посвящено этой вновь открытой теме, но, когда к ней обращается поэт, не отделяющий ее от других, в равной мере волнующих его тем, мы видим образцы истинного поэтического ее освоения.

Когда в полет, как мирные снаряды,
Отправятся большие корабли,

Мы, люди, будем размышлять: а надо ль
Искать иные земли для Земли?
И нужно ль, совершая круг прощальный,
На нас взирать пилотам с вышины,
Как будто фильм смотреть документальный
В печальный миг, уже со стороны?
Пусть им, по неизвестной нам причине,
Вернуться не дано на космодром,
Объятым сном космическим в кабине
Иль где-то отыскавшим новый дом.
Но подтвердят полетов безупречность
Наш век двадцатый и грядущий век,
И будет фильм Земли смотреть не вечность
Глазами звезд своих, а человек.

И вот что еще особо примечательно в «Новой книге». Здесь нет никаких словесных, фразеологических эквивалентов понятия «культ личности», нет номинально этой темы, мотивов, успевших во многих нынешних стихах уже стать общим местом. А между тем вся эта свобода лирического изъяснения, эта несдавленность тона, смелость неожиданного сближения строгой мысли и простой сердечности — их не отнесешь к иному, чем наши дни, периоду — они принадлежат нынешнему времени и порождены им.

Далеко по жизненному опыту, по мастерству и идейной зрелости ушел Аркадий Кулешов от того поэта, который, может быть, с чуточку нарочитой скромностью когда-то готов был обойтись без Волги и Камы, одной только этой родной и милой Беседью. Но раскрываем книгу на одной из страниц, где помещены стихи, посвященные возвращению автора из поездки в Америку:

Опять стою, объятый чувством странным,
Гляжу на след, бурлящий за кормой,
Как будто я плыву не океаном,
А Беседью — желанною рекой.

По Беседи плыву! Как мальчугану,
Судьба решила мне ее послать.
Река родная за руку, как мать,
Ведет меня домой по океану.

Многозначительно и трогательно это вдруг возникающее видение далекой родной реки, протянувшейся бороздой через океан и ведущей к берегам великой Советской родины. Нет, малая родина поэта не покидает его и не по-

кинута им — она кровная часть Большой Родины, с которой мы неразлучны в самых далеких странствиях по Земле и даже за ее пределами — в пустынном космосе.

Я не ставил себе задачей предуведомить читателя относительно всего того, что он найдет в «Новой книге» Аркадия Кулешова, но беру на себя смелость сказать, что если он раскроет ее на любой странице, то вряд ли удержится, чтобы вслед за одним стихотворением не прочесть второе и третье, а то и всю подряд книгу.

1964

● О БУНИНЕ

I

Русский писатель Иван Алексеевич Бунин, умерший в Париже в 1953 году, при жизни не был знаменитым писателем в обычном смысле этого понятия. Имя его никогда не становилось знамением литературного направления, «школы» или просто моды. Присвоение И. А. Бунину в 1909 году звания почетного академика императорской академии наук, в глазах передовых читателей, само по себе в то время не могло вызвать к нему симпатии. В среде демократической интеллигенции еще памятен был исполненный достоинства отказ Чехова и Короленко от этого почетного звания в связи с отменой Николаем Вторым решения академии о присвоении такого же звания М. Горькому. Точно так же и Нобелевская премия, присужденная Бунину в 1933 году,— акция, носившая, конечно, недвусмысленно тенденциозный, политический характер,— художественная ценность творений Бунина была там лишь поводом,— естественно, не могла способствовать популярности имени писателя на его родине.

За всю долгую писательскую жизнь Бунина был только один период, когда внимание к нему вышло за пределы внутрилитературных толков,— при появлении в 1910 году его повести «Деревня». О «Деревне» писали много, как ни об одной из книг Бунина ни до, ни после этой повести. Но нельзя переоценивать и этого исключительного в бунинской биографии случая. Отсюда еще далеко было до того, что называется славой писателя, под-

разумевая не полулегендарную прижизненную славу Толстого или Горького, но хотя бы тот обширный и шумный интерес в читательской среде, какой получали в свое время произведения литературных сверстников Бунина — Л. Андреева или А. Куприна.

Бунин только теперь обретает у нас того большого читателя, которого достоин его поистине редкостный дар, хотя идеи, проблемы и самый материал действительности, послуживший основой его стихов и прозы, уже принадлежат истории.

Вышедшее несколько лет назад пятитомное собрание сочинений И. А. Бунина (весьма неполное и несовершенное) тиражом в двести пятьдесят тысяч экземпляров — цифра космическая в сравнении с заграничными тиражами бунинских изданий — давно разошлось. Кроме того, выходили однотомники прозы, выходили «Стихотворения» Бунина в большой и малой сериях «Библиотеки поэта», отдельные издания лонгфелловской поэмы «Гайавата» в его классическом переводе — их уже не найти в книжных магазинах. Все это говорит, конечно, прежде всего о небывалом, в смысле не только количественном, росте читательской армии на родине поэта, покинутой им когда-то в страхе перед разрушительной силой революции, перед мыслившимся ему попранием ею святынь культуры и искусства, всеобщим одичанием. И еще эти факты свидетельствуют о принципах новой, социалистической культуры, исключающей в отношении к подлинным произведениям искусства какое-либо подобие мстительного чувства к их авторам, некогда отвернувшимся от нее и даже ронявшим себя до мелочных, обывательски озлобленных суждений о ней.

То, что, как сказано, слава не пришла к Бунину при жизни, не означает, однако, что он не имел значительного круга своих читателей и почитателей. Нынешнее признание его огромного таланта, значительности его вклада и заслуг в развитии русской прозы и поэзии не является открытием нашего времени. И при жизни Бунин пользовался уважением даже таких его современников, как Блок и Брюсов, чьи эстетические взгляды и творческую практику сам он начисто отвергал. Обожаемый Буниным Чехов со свойственной ему сдержанностью, но очень благосклонно оценивал еще совсем молодого Бунина и дарил его дружеским расположением. Но совершенно исключительным вниманием Бунин пользовался со стороны

М. Горького. М. Горькому принадлежат самые высокие оценки, самые щедрые похвалы таланту Бунина, какие когда-либо к нему относились.

До конца дней М. Горький в своих печатных и изустных высказываниях неизменно называл имя Бунина в ряду крупнейших имен русской литературы, настоятельно советовал молодым писателям учиться у него. Он по-человечески очень любил Бунина, хотя и знал за ним «барскую неврастению» и огорчался неспособностью его направить свой талант «куда нужно».

В письмах Горького к Бунину то и дело проявляется что-то глубоко трогательное, полное бережливой нежности и восхищения — вплоть до самоотверженной готовности признать за ним первенство в искусстве. «Вы только знайте, что Ваши стихи, Ваша проза — для «Летописи» и для меня — праздник,— писал ему Горький в 1916 году.— Это не пустое слово. Я Вас люблю — не смейтесь, пожалуйста. Я люблю читать Ваши вещи, думать и говорить о Вас. В моей очень суетной и очень тяжелой жизни Вы, может быть, и даже наверное — самое лучшее, самое значительное... Вы для меня — великий поэт, первый поэт наших дней».

Пусть некая степень этих оценок может быть отнесена за счет, так сказать, широты натуры и склонности к увлечениям великого собирателя и воспитателя литературных сил. Но, пожалуй, ни одно из многочисленных «увлечений» Горького не было таким длительным и прочным.

Бунин отвечал ему выражением чувств признательности и дружеской преданности.

«Мы в отношениях, во встречах с Вами чувствовали эти минуты — то настоящее, чем люди живы и что дает незабываемую радость. Обнимаю Вас и целую крепко — поцелуем верности, дружбы и благодарности, которые навсегда останутся во мне, и очень прошу верить правде этих плохо сказанных слов!»

Только спустя много лет, после того как в 1917 году их дороги навсегда разошлись, Бунин назовет свою дружбу с Горьким «странной», а в своем литературном завещании, прося не печатать, не издавать его писем, сделает неожиданное признание: «Я писал письма почти всегда дурно, небрежно, наспех и не всегда в соответствии с тем, что я чувствовал,— в силу разных обстоятельств (один из многих примеров — письма к Горькому...)».

Но это уже особая черта старого Бунина, поправлявшего Бунина прежнего и отрекавшегося от связей и симпатий своей лучшей поры.

У нас, к сожалению, еще не выпущено в свет ни одной значительной монографической работы, посвященной И. А. Бунину, его художественному опыту, в немалой степени сказавшемуся на культуре современной русской прозы и стиха. Но можно утверждать, что опыт этот не прошел даром для многих наших мастеров, отмеченных — каждый по-своему — верностью классическим традициям русского реализма. Разумеется, ни Шолохов, ни Федин, ни Паустовский, ни Соколов-Микитов, осваивая в своей литературной молодости, вкупе со всем богатством классического наследия, опыт Бунина и высоко оценивая искусство этого мастера, не могли разделить его идейных взглядов, его известных пессимистических настроений.

То же можно сказать и о более молодом поколении советских писателей, прежде всего о Ю. Казакове, на чьих рассказах влияние бунинского письма сказывалось, пожалуй, в наиболее очевидной степени. Из совсем молодых, начинающих прозаиков, нащупывающих свою дорогу не без помощи Бунина, назову В. Белова и В. Лихоносова. Но круг писателей и поэтов, чье творчество так или иначе отмечено родством с бунинскими эстетическими заветами, конечно, значительно шире. В моей собственной работе я многим обязан И. А. Бунину, который был одним из самых сильных увлечений моей юности.

Словом, Бунин не есть сегодня некая академическая величина, которой отдается от случая к случаю дань почтения. Он именно в наши дни приобретает все более широкий круг читателей, его наиболее ценные и безусловные художнические принципы — реальная, действенная часть живого и многосложного современного литературного процесса.

II

Говоря о Бунине, нельзя не начать с главного обстоятельства его литературной и житейской судьбы, которое на долгие годы определило и известную скудость высказываний нашей критики об этом художнике, рассматривающей его обычно отдельно, вне ряда классических ма-

стеров русской литературы конца XIX — первой половины XX веков, и смутность, отрывочность представлений о нем до недавнего времени в среде читателей. Не все, помнившие его в 20-х, в 30-х годах по книжкам собрания сочинений в приложении к дореволюционной «Ниве», даже знали, что этот писатель еще жив, но живет в эмиграции, и среди написанного им за эти десятилетия есть замечательные произведения, но немало и такого, что могло вызывать лишь сожаление о судьбе художника.

Эмиграция стала поистине трагическим рубежом в биографии Бунина, порвавшего навсегда с родной русской землей, которой он был, как редко кто, обязан своим прекрасным даром и к которой он, как редко кто, был привязан «любовью до боли сердечной». За этим рубежом произошла не только довременная и неизбежная убыль его творческой силы, но и само его литературное имя понесло известный моральный ущерб и подернулось ряской забвения, хотя жил он еще долго и писал много.

Был ли этот губительный для художника шаг в данном случае печальным недоразумением, результатом стечения внешних обстоятельств, просто ошибкой? На этот вопрос приходится ответить отрицательно.

Оказавшийся непоправимым поворот личной судьбы Бунина в годы великого исторического перелома в судьбе его родины еще издалека, то более, то менее внятно, подсказывается строем и духом его творений в первые три десятилетия его писательской жизни, главным образом в период между двумя революциями. Я не говорю, что такая же «предопределенность» в отношении выбора между родиной, ставшей советской, и чужбиной вынашивалась и Куприным, и Зайцевым, и Шмелевым, и другими русскими писателями, эмигрировавшими в годы революции,— здесь могли быть и были случайности. Но Бунин наиболее яркая и цельная из них писательская индивидуальность — пути и этапы его развития более значительны, его трагедия заслоняет собою сходные трагедии и судьбы.

Расхожие определения и характеристики Бунина как «певца оскудения и запустения», «дворянских гнезд», «усадебной печали», «осенней грусти увядания», конечно, поверхностны и неполны, но они не были неверными по существу. Эти мотивы его поэзии очень органичны и ни-

как не являлись данью литературной моде. Многими литературными современниками молодого Бунина они уже воспринимались как старомодные, отзвучавшие до него. «Эта внезапно ожившая элегичность,— писал Короленко в 1904 году,— нам кажется запоздалой и тепличной. Прежде всего — мы уже имели ее так много и в таких сильных образцах. В произведениях Тургенева этот мотив, весь еще трепетавший живым ощущением свежей раны, жадно ловился поколением, которому был близок и родствен... И не странно ли, что теперь, когда целое поколение успело родиться и умереть после катастрофы, разразившейся над тенистыми садами, уютными парками и задумчивыми аллеями, нас вдруг опять приглашают вздыхать о тенях прошлого, когда-то наполнявших это нынешнее запустение».

Но именно в этой исторической запоздалости элегических мотивов Бунина, мне кажется, заключена их особливая, индивидуальная природа, не говоря уже о том, что до таких подробностей и крайностей в изображении «запустения» добунинская литература не добиралась. Даже «Оскудение» С. Атавы-Терпигорева живописует еще довольно оживленный и разухабистый, хотя и катастрофический, по существу, период прожигания и проматывания помещиками всяческих «выкупных», «закладных» и деньжонок, вырученных от продажи частично или полностью земель, лесов, а то и наследственных хоро́м, период афер, прожектов и малоуспешных попыток переустройства хозяйства на «образцовый» лад. Еще было не так близко до натурального разорения и самой неприглядной бедности.

Бунин родился спустя почти десять лет после реформы. Детство и юность его были свидетелями надвигающейся на семью безнадежной нужды. Отец поэта, по-барски разгульный, беспечный на самом пороге этой бедности, мастерски поющий под гитару «Где ты закатилось, счастье золотое!», не только не вызывает в сыне осуждения или упрека, но наполняет его юношеское сердце чувством нежности и обожания. «Не судья тебе я за грехи былого...» О былом благополучии и знатности рода Буниных будущий писатель знает и по семейным преданиям, по «гербовнику» и по литературным источникам. «Я происхожу из старинного дворянского рода,— пишет Бунин в своих автобиографических заметках,— давшего России немало видных деятелей, как на поприще госу-

дарственном, так и в области искусства, где особенно известны два поэта начала прошлого века: Анна Бунина и Василий Жуковский, один из корифеев русской литературы, сын Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальхи».

То обстоятельство, что среди предков Бунина были известные литераторы, он особо подчеркивает,— это связывало его с истоками дворянской культуры, с предтечами и старшими современниками самого Пушкина, своеобразный культ которого в доме Буниных исходил от матери, любившей читать детям («Певуче и мечтательно, на старомодный лад») стихи великого поэта.

Древний дворянский род, в прошлом оставивший столь заметный след в национальной культуре, и захолустный, степной хутор, доведенное до полного упадка хозяйство, заложенные ризы с икон, нависающие сроки уплаты процентов по закладным на имение, унижения перед лицом соседей, местных властей, крестьян. Дети еще при родителях, под родной, хотя и протекающей при каждом дождике крышей, но какая их ждет судьба? Старший брат Юлий, единственный окончивший курс в университете, отбывает дома, после тюрьмы, высылку под гласным надзором за участие в кружках народнического толка; Евгений бросает гимназию, женится на дочери управляющего соседним имением; Иван уходит из четвертого класса гимназии.

Бунин с юности живет в мире сладчайших воспоминаний — и своих воспоминаний детства, еще осененного «старыми липами», еще лелеемого остатками былого помещичьего довольства, и воспоминаний семьи и всей своей среды об этом былом довольстве и красоте, благообразии и гармонии жизни. «Дух этой среды, романтизированный моим воображением, казался мне тем прекраснее, что навеки исчезал на моих глазах...»

Спустя много лет, уже в эмиграции, Бунин забывает, что крушение милого ему мира русской помещичьей усадьбы происходило на его глазах, задолго до Октябрьской революции и большевиков, которым он адресует свои обвинения в разрушении «красы земной», в попрании наследственных святынь его детства, его памяти. Как будто он и не был свидетелем того, как на подворья этих усадеб запросто въезжали на дрожках «князья во князьях» — Лукьяны Степановичи, Тихоны Красовы, Буравчики и множество подобных им, приторговывали остат-

ний лесок, землицу, а то и саму усадьбу. Феноменальная памятливость писателя в иных случаях ему явно изменяла.

Поэзия, литературный труд представились молодому Бунину как единственно надежное убежище от «ужаса» и «низости», ожидавших его, недоучившегося гимназиста, «недоросля из дворян», в перспективе жизни. И не только и не столько в материально-правовом отношении, сколько в смысле избежания духовного убожества и пошлости мира лавочников и мелких службистов.

Великая русская литература, по понятиям Бунина, была знаменем дворянства, его культуры, его роли в исторической жизни общества. Но дворянин Бунин выступает в литературе с большим историческим опозданием: там уже занимает прочное место целая плеяда родившихся не «под старыми липами», не в наследственных усадьбах, а в мещанских, поповских и мелкочиновничьих домах, даже в мужицких избах. А идти по пути Толстого с его отказом от привилегий и предрассудков дворянства — это не было судьбой таланта Бунина.

В своеобразной надменной отчужденности Бунина от «низкой» и «ужасной» среды есть что-то похожее на гонор захудалого шляхтича: чем он беднее, тем больше этого гонора. Смолоду Бунин еще отдает известную дань демократическим настроениям: уважительно отзывается о поэзии Некрасова, пишет восторженную рецензию на стихотворения И. С. Никитина, противопоставляя его здоровый, «дворницкий» реализм декадентствующим современникам. Но с годами он все далее отходит от этих настроений своей молодости, правда, до конца дней не отступая от своего резко отрицательного, саркастического отношения ко всякого рода «истам» в русской поэзии, доходя здесь и до явных крайностей, как, например, в позднейшей оценке Брюсова, Блока, Маяковского, Есенина.

В интервью газете «Голос Москвы» в 1912 году Бунин говорит об эволюции своих идейно-политических взглядов или увлечений молодости: «Прошел я не очень долгое народничество, затем толстовство, теперь тяготею больше всего к социал-демократам, хотя сторонюсь всякой партийности» [1].

---

[1] Здесь и ниже газетные интервью И. А. Бунина цитируются по публикации А. Нинова. *(Прим. автора)*

Конечно, «тяготение к социал-демократам» не следует понимать более глубоко, чем близость его в эти годы с М. Горьким. Самое верное здесь — слова об отстранении от «всякой партийности».

В «Жизни Арсеньева» Бунин пишет: «...Я просто не мог слушать... когда мне проповедовали, что весь смысл жизни заключается «в работе на пользу общества», то есть мужика или рабочего. Я из себя выходил: как, я должен принести себя в жертву какому-нибудь вечно пьяному слесарю или безлошадному Климу, да и Климу-то не живому, а собирательному... в то время как я действительно любил и люблю некоторых своих батуринских Климов всем сердцем и последнюю копейку готов отдать какому-нибудь бродячему пильщику...»

Несомненно, что «своего батуринского Клима» Бунин любит и готов с ним поделиться последней копейкой — все это не расходится с этикой гуманного помещика, несущего «отеческую» заботу о «своем Климе». Но было бы неправильным на этом и поставить точку, то есть сказать, что Бунин только и выражает в своих сочинениях это духовное единство помещика и мужика, равно причастных родной земле, национальному укладу, традициям.

Дело в том, что «свой батуринский Клим», изображенный художником в правдивых чертах его бытия и сознания, он уже тем самым становится «собирательным Климом», от этого не уйти, если не уходить от правды жизни, не фальшивить, не лгать. Подлинный художник менее всего волен исказить реальную действительность в соответствии со своими более или менее прочными, но далекими от истины взглядами и убеждениями.

Бунинские образы крестьян и крестьянок наделены такими чертами индивидуальности, что мы, как это бывает только при соприкосновении с настоящим художеством, забываем, что это литературные персонажи, плод фантазии автора. Это живые «батуринские» мужики и бабы, старики и старухи, батраки и отбившиеся от рук «хозяева», неудачники и несчастные «пустоболты». Но они же — во всем своем единичном «батуринском» обличье — теперь уже не только «батуринские» со всеми их бедами и муками, надеждами и отчаянием, уже представители не одного своего «Батурина» и не только одного Подстепья, но всей русской деревни начала века.

Когда Анисья Минаева («Веселый двор»), покинув

пустую избу, в полуобмороке от истощения бредет в жаркий, цветущий летний день за двадцать верст к сыну, пустоболту и бродяге, пристроившемуся наконец на «место» в лесной караулке, она для нас как бы не литературный персонаж, а именно та, живая Анисья, каким-то чудом из горькой, мученической своей и безгласной, безвестной жизни занесенная на страницы книги. Ее материнская печаль и материнская нежность к беспутному сыну, оставившему мать без крошки хлеба, ее страдания вызывают у нас прежде всего не восхищение мастерски написанным портретом, а просто душевный порыв, страстное желание помочь этой бедной женщине, накормить, приютить ее старость. Но вместе с тем эта женщина, бредущая проселками и полями, шатающаяся от слабости, жующая какие-то травинки («Горох еще и не наливался. Кабы налился, наелась бы досыта — и не увидал бы никто»), предстает нам и как образ всей нищей, «оголодавшей» деревенской Руси, бредущей среди своих плодородных полей, плутающей по межам и стежкам.

Эта дорога матери к сыну, к слову сказать, написана так, что остается в памяти как одна из самых потрясающих страниц русской классической прозы, и нечего пытаться пересказать своими словами «основное содержание» таких страниц: в них все так плотно, так слитно и незаменимо, что нет, кажется, ни одной строки, ни одной ноты их музыкального течения вне этого «основного содержания».

В отношении людей мужицкого мира в дореволюционных деревенских вещах Бунина все симпатии и неподдельное сочувствие художника на стороне бедных, изнуренных безнадежной нуждой, голодом (почти все его деревенские герои, между прочим, постоянно хотят есть, мечтают о еде — о краюхе хлеба, луковице, картошке с солью), унижениями от власть или капитал имущих. В них его особо трогают покорность судьбе, терпение и стоицизм во всех испытаниях голода и холода, нравственная чистота, вера в бога, простодушные сожаления о прошлом. К людям, так или иначе уже порывающим с этим исконным крестьянским миром, узнавшим соблазн отхожих заработков на фабрике, в городе, на железной дороге, недовольным, непоседливым и «вольным на слова» с их идеалом: «не пахать, не косить, девкам жамки носить...» — Бунин беспощаден. Дениска из «Деревни» — один из таких ненавистных Бунину людей. Примечатель-

но, что не у кого другого, а именно у Дениски автор обнаруживает сверток «литературы», где вкупе со всякой лубочной дрянью находится и брошюра «Роль пролетариата», причем автор заставляет Дениску по его безграмотности исказить второе слово этого заглавия — «проталерията», а также назвать все это вместе «кляповинкой разной».

Бунин искренне любит своих деревенских героев, людей, придавленных «нуждишкой», забитых, замордованных, но сохраняющих свою исконную безропотность, смиренномудрие, врожденное чувство красоты земли, жизнелюбие, доброту, непритязательность. Он не унижает их снисходительным — сверху вниз — взглядом и не идеализирует их в сусально-народническом духе, не умиляется по-барски незамысловатостью их понятий — он описывает их так же, как и обитателей усадеб, не подбирая иных, «пейзанских» красок. Но он все же любит их, покамест они остаются «детьми», и в них не пробуждается чувство хотя бы недоумения перед очевидной несправедливостью мироустройства, то есть покамест у них не пробуждается самостоятельное человеческое сознание. Тут они становятся для него чуждыми и ненавистными Денисками или людьми вроде Аверкиева зятя из «Худой травы».

Бунин любит изображать людей пожилых и старых, близких ему памятью о прошлом, которое они склонны видеть больше с хорошей стороны, забывая обо всем дурном и жестоком,— близких и своей душевной настроенностью, чувством природы, складом речи, куда более поэтичным, чем у молодых, с их развязностью на городской манер, непочтительностью и цинизмом.

Светел и трогателен батрак Аверкий, добр и благороден Захар Воробьев, простодушный и милый деревенский богатырь. Замечателен и портрет своего рода сельской знаменитости стовосьмилетнего Таганка, которого в семье уже забывают накормить или сменить ему рубаху. Образ этой крестьянской старости с ее покинутостью и беззащитностью, с униженной в лице ее самой человеческой природой («За пять-то годов вошь съест. А то пожил бы»), опять же независимо от воли художника, предъявляет страшный счет обществу, социальному устройству жизни, он взывает к справедливости.

Конечно, это особое пристрастие Бунина к старым людям деревни легко вывести из барского, дворянского

представления о гармонических отношениях господ и мужиков в прошлом, которые и ныне в пору разорения и утраты благообразия деревенской жизни, равно — и мужику и помещику — дороги своей устойчивостью, мудрой простотой, довольством. Но когда перед нами встает со страниц книги исполненный жизни и убедительности образ, мы не обязательно тотчас же «расшифровываем» его «социально-классовую природу» — мы воспринимаем и запоминаем его, он становится частью нашего знания о мире и людях.

Я встречался с героями Бунина как со старыми знакомцами, когда впервые читал его книги — я их уже видел и запечатлел в памяти моего деревенского детства и ранней юности. Видел их я и среди людей деревни в незабываемую пору ее великих потрясений и перемен — в канун и в первые годы коллективизации, разъезжая по своей Смоленщине с корреспондентским удостоверением от газеты. Видел молчаливых и несколько благостных Аверкиев в должностях конюхов, скотников, ночных сторожей; безответных колхозных Однодворок, наделенных непостижимой «двужильностью» и такой ладной бабьей удалью в любой работе и во всех тяготах жизни; беспечных «пустоболтов», табакуров и бездельников Серых и Егоров Минаевых, вечно околачивающихся в конторе правления, любителей сходок, собраний, толчеи и горлодерства на людях; видел «древних деньми» Таганков и Иванушек среди бурного деревенского мира тех лет; видел, конечно, и тех людей новой деревни — энтузиастов, агитаторов и вожаков из самой крестьянской массы, которых Бунин не мог ни видеть, ни предвидеть.

Однако еще в 1903 году Бунин чутким ухом художника хорошо расслышал те новые интонации в крестьянских голосах, которые уже не только не оставляли сомнений относительно противопомещичьих настроений, но были явными признаками предгрозового времени. Достаточно напомнить о таких рассказах, как «Золотое дно» или «Сны», печатавшихся в сборнике «Знание» под общим заглавием «Чернозем» и очень высоко оцененных скупым на похвалы Чеховым.

Свидетельство художника о назревавших в канун революции настроениях крестьянской массы тем более значительно, что художник этот был не только далек от революционных взглядов, но всей душой связан с тем миром помещичьих усадеб, для которых «красные пету-

хи», упомянутые в «Снах», были грозным, памятным со времен пугачевщины знамением.

Чуткость и острота восприятия Буниным процессов, происходивших в деревне в канун, во время и после революции 1905 года, пожалуй, нигде не сказывается в такой недвусмысленности, как в главном произведении его «деревенского цикла» — повести «Деревня».

«Деревня», написанная в 1909—1910 годах, в период наибольшей близости Бунина с Горьким, означила наивысшую степень сближения бунинской музы с современной действительностью в ее реальном развороте.

Повесть эта для читателей и критики, в частности, марксистской, явилась неожиданностью, опровергнувшей привычные представления и суждения о Бунине. «Кто бы мог подумать,— писал В. Воровский,— что утонченный поэт, увлекавшийся в последнее время столь далекими от нашей современности экзотическими картинами Индии... поэт вообще несколько «не от мира сего», по крайней мере, не от болящего мира наших дней,— за что, вероятно, и удостоился академических лавров,— и вдруг чтобы этот поэт написал такую архиреальную, «грубую» на вкус «утонченных господ», пахнущую перегноем и прелыми лаптями вещь, как «Деревня».

«Деревня» перенасыщена материалом действительности, современным первой русской революции, отголосками общероссийских политических событий, толками, слухами, предположениями, полными бурных надежд и горьких разочарований тех лет. Здесь все: и пылающие вдалеке помещичьи усадьбы, и попытка мужицкого самоуправства в самой Дурновке, принадлежащей теперь Тихону Красову, правнуку крепостного, затравленного борзыми помещика Дурново; и «озорство» на дорогах, и бегство помещиков в города, и казачьи сотни, вызванные для защиты их, и конституция, и монополия на водку, и рассказы о хитроумных дипломатических маневрах министра «Вити» (Витте), и ночные страхи имущих, и беспечная, разгульная удаль неимущих, и необозримое половодье народного недовольства, медленно входящее в берега «правопорядка».

Густота и плотность жизненного материала в повести поистине необычная и для самого Бунина, и для того классического, как бы замедленного строя повествования, какого он при всем очевидном своеобразии его письма держался ранее. Он всегда предпочитал рассказывать о

том, что было вчера, что минуло и чему уже подведен какой-то итог,— на всем у него милый его художническому сердцу элегический отпечаток воспоминания. Здесь он словно бы еще и не выбрался из сумятицы и горячки революционной поры, из ее многолюдства и разноголосицы, споров и пересудов. Кажется, что повесть написана в те самые дни и месяцы, а не четыре-пять лет спустя.

В «Деревне» не много героев с именами и прямым участием в событиях, развивающихся в ней,— гораздо больше безымянного сельского и уездного люда, мужиков, покупателей в лавке Тихона Красова, нищих, странников, уездных торговцев, девок и баб на поденщине, ночных сторожей,— и почти все они что-то вспоминают, о чем-то рассказывают, называют множество людей, которые в натуре не появляются на страницах повести.

Сгущение темных красок в изображении деревенской действительности иногда кажется даже переходящим в крайности, в выборочное экспонирование уродств, жестокости, цинизма и кретинизма. Тут и сходные с нравами диких племен примеры сживания со свету стариков в семьях как раз не бедных; и «уступка» жен мужьями по сходной цене; и дикая похвальба «пустоболта» Серого тем, как он хитро выслеживал дочь, «снюхавшуюся» с парнем Егоркой, да и «прихватил», и «всю поясницу ей изрубил» «кнутиком похоженьким», и Егорку заставил жениться.

Было бы несправедливым сказать, что только Бунин, в силу своей принадлежности к дворянскому классу, видел деревню той поры в таком мрачном свете. Младший его современник, писатель из крестьян Иван Вольнов, в своей автобиографической «Повести о днях моей жизни», стремился как бы «перекрыть» Бунина по части всяческих «ужасов» деревенского быта. Конечно, и у Бунина и у Вольнова особая «беспощадность» в показе деревни и мужика в значительной степени была здоровой реакцией на идеализированное и слащавое освещение этого материала в поздненароднической литературе. Но своеобразное полемическое «антибунинское» заострение деревенской темы у Вольнова состояло в утверждении им особых прав на эту тему в литературе: не барину, мол, писать о темных сторонах мужицкого мира, мы тут лучше знаем всю, так сказать, подноготную.

Однако сопоставление бунинской «Деревни» и вольновской «Повести» как художественных свидетельств о «правде деревенской жизни» более выгодно для «барина» Бунина, чем для «мужика» Вольнова.

Первый, при всей его «беспощадности» следуя художественному такту, избегает подавать деревенские «ужасы» в непосредственной картине. Живьем ободранный мужиками бык бегает у Бунина «за сценой», в изустной молве,— это слух, полулегенда той поры «деревенских беспорядков», но не прямое утверждение автора («Ночной разговор»).

У Вольнова же все мужицкие «художества» — дикое пьянство, избиение жен и детей, истязания животных, смертоубийства и т. п. подаются как зарисовки с натуры, как эпизоды, свидетелем которых был сам автор, ведущий свое повествование от первого лица. И странная вещь: эта «натуральность» ослабляет у читателя впечатление реальности описываемого, подлинности свидетельства. Например, при несомненном соответствии исторической правде в общем смысле, картины погрома барской усадьбы, нагромождения трупов крестьян и охраняющих усадьбу солдат расхолаживает какой-то своей условностью, неправдоподобием.

Это стремление удивить, поразить читателя необычайностью «правды-матки» о деревенской действительности, даже рассмешить его несообразностями и крайней глупостью поступков и речей крестьян долго держалось в приемах изображения деревни нашими так называемыми крестьянскими писателями. Менее других был подвержен этой слабости своеобразного щегольства «мужицким колоритом» суровый и достаточно «беспощадный» С. Подъячев. Но она, эта слабость, с очевидностью сказалась позднее, например, в «Брусках» Ф. Панферова с их натуралистическими излишествами описаний, воспроизведением местных речений и т. п.

Название повести Бунина соответствует «концепции», высказываемой наставником Кузьмы Красова, уездным чудаком и философом Балашкиным, о том, что Россия вся есть деревня, и, таким образом, безнадежно горькие судьбы дикой и нищей деревни — это судьбы России. «Повесть моя,— говорил Бунин в своем интервью «Одесскому листку» в 1910 году,— представляет собою картину деревенской жизни, но, кроме жизни деревни, я хотел

нарисовать в ней и картины вообще всей русской жизни».

Глубокий пессимизм повести, безрадостные ее картины и подразумеваемые выводы сейчас представляются в значительной степени тогда уже подготовившими автора к разрыву с родиной. В период после «Деревни» он еще напишет много замечательных по мастерству рассказов и много стихов, но некий свой решающий духовный перелом Бунин пережил и выразил в «Деревне».

В ту пору он еще умеет трезво и резко оценивать политическую современность и неприемлемое для него искусство периода реакции. «Часто думалось мне за эти годы,— говорит он в 1914 году,— будь жив Чехов, может быть, не дошла бы русская литература до такой пошлости, до такого падения. Как бы страдал он, если бы дожил до 3-й, до 4-й Думы, до толков... о Саниных... до гнусавых кликов о солнце, столь великолепных в атмосфере военно-полевых судов, до изломавшихся, изолгавшихся прозаиков, до косноязычных стихотворцев, кричащих на весь кабак о собственной гениальности, до той свирепой ахинеи, которая читается теперь писателями по городам под видом лекций, до дней славы Пуришкевича, Распутина, Макса Линдера, слона Ямбо и Игоря Северянина».

Позднее, в августе 1917 года, в письме к Горькому он уже склонен себя считать провидцем исторических судеб России под иным знаком: «Чуть не весь день уходит на газеты... И ото всего того, что я узнаю из них и вижу вокруг, ум за разум заходит, хотя только сбывается и подтверждается то, что я уже давно мыслил о святой Руси».

III

При все том, что сказано о «деревенских» вещах Бунина, об отразившейся в них ограниченности взглядов автора, они на поверку оказались более долговечными, чем его произведения, посвященные собственно «вечным» темам — любви, смерти. Эта сторона его творчества, получившая преимущественное развитие в эмигрантский период, не составляет в нем того, что принадлежит в литературе исключительно Бунину. Там реализм его делает заметные уступки модернистским поветриям, то есть то-

му, от чего Бунин в своих высказываниях открещивался до конца дней и чему противостоит все здоровое, земное в произведениях его наиболее продуктивной творческой поры.

Но и во многих лучших вещах, при всем своем эстетическом здоровье, приверженности реалистическим традициям, богатстве жизненного материала, он не свободен от той несколько эстетизированной философичности, которая невольно сближала его с ненавистным ему «модным» искусством упадка. Уже его ранний рассказ «На край света», посвященный расставанию с родными местами переселенцев, отправляющихся с семьями в далекий неведомый путь на новые земли, заканчивается характернейшей для Бунина апелляцией к бесконечности вселенной и безмолвию исторической древности.

«И только звезды и курганы слушали мертвую тишину на степи и дыхание людей, позабывших во сне свое горе и далекие дороги. Но что им, этим вековым молчаливым курганам, до горя или радости каких-то существ, которые проживут мгновение и уступят место другим таким же — снова волноваться и радоваться и так же бесследно исчезнуть с лица земли? Много ночевавших в степи обозов и станов, много людей, много горя и радости видели эти курганы. Одни звезды, может быть, знают, как свято человеческое горе!»

Этой красивой концовкой вдруг как бы снимается вся острота ответа на земной вопрос о бедственной крестьянской судьбе, о безмерных народных страданиях.

«Звезды» и «курганы», безмолвно взирающие на муравьиные беды и печали людей, становятся неизменными атрибутами всей бунинской поэзии. Они как бы освобождают сознание художника от ответственности за все неустройства и бедствия рода человеческого и в том числе за судьбу не только «собирательного», но и «своего батуринского Клима». В самом деле: о чем толковать, о чем хлопотать и тревожиться перед лицом вселенной и вечности, перед лицом неизбежной смерти?

«Люди совсем не одинаково чувствительны к смерти,— говорит Бунин в «Жизни Арсеньева».— Есть люди, что весь век живут под ее знаком, с младенчества имеют обостренное чувство смерти (чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни)... Вот к подобным людям принадлежу и я».

«Обостренное чувство смерти» именно «в силу столь же обостренного чувства жизни» было, как известно, отнюдь не чуждо и Толстому и Достоевскому. Но оно не освобождало их от обязательств перед «преходящими» бедами и муками людей, от ответственности — пусть своеобразно понимаемой — за судьбы человечества, не служило укрытием для душевного эгоизма, как это было у значительной части русской интеллигенции в годы реакции после революции 1905 года. У Бунина есть немало общего с настроениями и философией этой интеллигенции.

Основное настроение стихотворной лирики Бунина — элегичность, созерцательность, грусть как привычное душевное состояние. И пусть, по Бунину, это чувство грусти не что иное, как желание радости, естественное, здоровое чувство, но у него любая, самая радостная картина мира неизменно вызывает такое состояние души.

Я не знаю ни у кого из русских поэтов такого неотступного чувства возраста «лирического героя»,— он как бы не сводит глаз с песочных часов своей жизни, следя за необратимо убегающей струйкой времени. Все ценнейшее, сладчайшее в жизни он видит, только когда оно становится воспоминанием минувшего.

И тебя так нежно я любил,
Как меня когда-то ты любила...
Все как было. Только жизнь прошла...

Правда, поэзии Бунина в высшей степени присуще постоянное стремление найти в мире «сочетанье прекрасного и вечного», обрести желанную непреходящесть, укрепиться хотя бы в чувстве вселенского и, так сказать, всевременного единства жизни, слиться с этим единством, раствориться в круговороте природы, в смене бесконечной чреды веков.

Пройдет моя весна, и этот день пройдет,
Но весело бродить и знать, что все проходит,
Меж тем как счастье жить вовеки не умрет...

В напряженном самовнушении этого чувства слиянности отдельного, личного существования с «вечностью» и «бесконечностью» поэт обращается к образам древности, видит свое «я» обогащенным тысячелетиями, сохранившими на слое пыли в древнеегипетской гробнице следы человеческой ноги...

Смерть и любовь — почти неизменные мотивы бунинской поэзии в стихах и прозе. Любовь — причем любовь земная, телесная, человеческая,— может быть, единственное возмещение всех недостач, всей неполноты, обманчивости и горечи жизни. Но любовь чаще всего непосредственно смыкается со смертью и даже как бы одухотворена ее близкостью в своей краткости и обреченности. Любовные сюжеты у Бунина чаще всего разрешаются смертью. Иногда такие развязки любовных историй кажутся даже искусственными, неожиданными эпилогами, как, например, в «Лике».

Бунину представляется пошлым развитие любви в браке, в семье. В той же «Лике» герой со страхом и возмущением думает о возможности появления у них с возлюбленной детей — тут конец любви и вообще «ужас и низость», как в перспективе мелкочиновничьей карьеры, нарисованной поэту в юности старшим братом и заставившей его разрыдаться.

Смерть как завершение любви предпочтительнее «пошлости» возвращения к будничной реальности после «солнечного удара» негаданной встречи или законного брака после первоначальной запретной близости. Любовь, продолжающуюся в браке, даже в старости, способной на верность и нежность, Бунин замечает только у простых людей,— например, у батрака Аверкия и его старухи, на руках которой он умирает.

В чеховской «Даме с собачкой», где в самом заглавии объявлено нечто пошловатое, любовная история начинается с заурядного курортного знакомства, с незамедлительной близости, которая и не предполагает быть ни чем иным, как курортным эпизодом. Но этот эпизод, вопреки обычной, утвержденной в мировой литературе схеме — в начале красота и восторг зарождающегося чувства, в конце скука и пошлость,— этот эпизод вырастает в настоящее большое чувство, противостоящее пошлости и ханжеству и бросающее им вызов.

Бунину чуждо подобное решение любовной коллизии, у него любовь по самой своей сути обречена в конце концов либо на пошлость, либо на смерть.

Перед лицом любви и смерти, по Бунину, стираются сами собой социальные, классовые, имущественные грани, разделяющие людей,— перед ними все равны. Аверкий из «Худой травы» умирает в углу своей бедной избы; безы-

мянный господин из Сан-Франциско умирает, только что собравшись хорошо пообедать в ресторане первоклассного отеля на побережье теплого моря. Но смерть одинаково ужасна своей неотвратимостью. Между прочим, когда этот, наиболее известный из бунинских рассказов толкуют только в смысле обличения капитализма и символического предвестия его гибели, то как бы упускают из виду, что для автора гораздо важнее мысль о подверженности и миллионера общему концу, о ничтожности и эфемерности его могущества перед лицом одинакового для всех смертных итога.

Суходольская дворовая девушка Наталья, безумно влюбившаяся в молодого барина Петра Петровича, крадет принадлежащее ему зеркальце, крадет, не сознавая своего поступка, и, жестоко наказанная этим же Петром Петровичем, остриженная и с позором отправленная на дальний пустынный хутор пасти гусей, до конца жизни преданно обожает его, молится за него. И здесь главное для Бунина не в бесчеловечной жестокости крепостных времен, хотя он и не смягчает ее, а в этой удивительной способности простой крестьянки на такую большую, безответную и самоотверженную любовь, перед властью которой все равны. Так, барин из «Грамматики любви», влюбленный в свою крепостную и имевший от нее сына, после смерти ее сходит от любви с ума, создает в доме своеобразный культ памяти покойной возлюбленной и умирает с ее именем на устах.

Поздний Бунин в «Митиной любви», «Деле корнета Елагина», в книге «Темные аллеи» и многих рассказах уже нередко с заметной болезненностью и чуждой великим образцам русской литературы натуралистической «пряностью» сосредоточивается на этих неизменных мотивах любви и смерти. Тема любви, при всем мастерстве и отточенности стиля, приобретает порой у Бунина уж очень прямолинейно чувственный характер и выступает в форме эротических мечтаний старости. Тема же смерти все более обволакивается религиозно-мистической окраской.

Разумеется, здесь сказывалась не одна только «социально-классовая природа» поэта. Здесь и возраст, обостривший и без того «обостренное чувство смерти», и модные влияния западной литературы, и особые условия жизни вне родины, отрешенности от больших вопросов народной жизни, наконец одиночество.

Если есть люди с «обостренным чувством смерти», причем люди, представляющие не обязательно лишь классы, покидающие историческую сцену, то большинство людей на свете, по условиям своей каждодневной жизни, изнурительного труда, озабоченности прокормлением семьи, сведением концов с концами, не всегда могут себе позволить роскошь отвлеченных размышлений о таинстве смерти. Мысли о смерти там неотрывны от опасений за судьбу близких и могут нести в себе лишь горечь жизненных тягот, безнадежности усилий, потраченных на то, чтобы прожить по-человечески. Философические углубления в проблемы смерти как таковой чаще занимают тех, у кого нет иных — больших или малых, но более неотложных задач и забот.

Правда, немалое количество людей, даже и свободных от забот о куске хлеба на завтрашний день, с привычной бездумностью на словах, что, мол, все смертны, все там будем, вообще не впускают в круг своих размышлений полной реальности собственного конца или полагают, что если смерть и неизбежна, то к ним она придет, по крайней мере, в удобное для них время. Не думаю, чтобы эти люди представляли собой социалистический идеал духовного развития. Такая беззаботность в иных случаях, в час испытания реальностью смерти, нередко оборачивается животным трепетом перед ней, готовностью откупиться от нее чем угодно — вплоть до предательства. Я не хочу, конечно, сказать, что люди с обостренным чувством смерти во всех случаях лучше людей, лишенных этого чувства. Но ясное и мужественное сознание пределов, которых не миновать, вместе с жизнелюбием и любовью к людям, чувство ответственности перед обществом и судом собственной совести за все, что делаешь и должен еще успеть сделать на этом свете,— позиция более достойная, чем самообман и бездумная трата скупо отпущенного на все про все времени.

Никогда смерть не будет безразличной для человеческого сознания, ни при каком идеальном общественном устройстве и самой счастливой личной судьбе. Но нераздельность человека и человечества, между прочим, выражается и в том, что утверждено народной мудростью: на миру и смерть красна. Какую-то долю — большую или меньшую — этого неизбежного бремени отдельного человека берут на себя его близкие и те «далекие», для кото-

рых он честно потрудился на земле и выполнил свой долг перед ними.

Наедине с самим собой — понятно, не в смысле физического, а нравственного одиночества — с этим испытанием человеку справляться гораздо труднее. Нужны мостки, которые соединяют одного со всеми или многими, ему подобными, нуждающимися и заслуживающими, как и он, участия и поддержки перед неизбежным порогом — далек ли он, близок ли.

Тема эта сама по себе не только не противопоказана художнику, но можно даже сказать, что ни один из великих так или иначе не обходился без нее в своем творчестве. И раз уж зашла речь об этом предмете, занимающем такое большое место во всей поэзии Бунина, я позволю себе привести здесь две цитаты, может быть, и не обязательные для данного изложения, но запечатлевшиеся в памяти, подобно дорогим и незабываемым строчкам стихов, произведениям возвышенной поэтической мысли.

В глубокой старости Лев Толстой, всю жизнь проживший в неотступных и напряженных размышлениях о смерти, записывает в своем дневнике:

«Смотрел, подходя к Овсянникову, на прелестный солнечный закат. В нагроможденных облаках просвет, и там, как красный неправильный угол, солнце... И подумал: нет, этот мир не шутка, не юдоль испытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, кто после нас будет жить в нем».

Такой же поэтической силы полна мысль Достоевского, когда он, словами одного из своих героев, рисует картину возможного в будущем счастья людей, которое будет способно заменить собою иллюзорное прибежище веры в загробную жизнь.

«Они работали бы друг на друга, и каждый отдавал бы всем все свое и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле — ему как отец и мать. «Пусть завтра последний день мой, думал бы каждый, смотря на заходящее солнце, но все равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их» — и эта мысль, что они останутся, все так же любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече».

Замечательно, между прочим, что оба эти мужественные и жизнеутверждающие высказывания двух столь различных в своей гениальной индивидуальности писателей как бы подсвечены этими лучами заходящего солнца — образ, обычно привлекаемый в искусстве для выражения идеи конца, печали, прощания.

Среди написанного Буниным в эмиграции много прекрасных в целом произведений или страниц, ради которых можно принять и менее значительные, и даже просто отмеченные знаком возраста, естественного угасания сил художника. Но когда читаешь подряд его вещи эмигрантского периода, то при всем их мастерстве, отделанности, доведенной до высшей степени, невозможно отстранить впечатление, что ты это уже читал раньше, что художник извлекает из своей памяти недосказанные прежде подробности, а иногда и просто повторяется.

Конечно, может быть, здесь сказывается особая острота впечатления от первого знакомства с Буниным, которого я читал и усердно перечитывал в молодости по его «нивскому» собранию сочинений, но все же нельзя не отметить, что заграничные его вещи отличаются некоторой «обезжиренностью» или дистиллированностью,— это уже не та родниковая вода, выражаясь словами Толстого, от которой зубы ломит. И, в сущности, не удивительно: ведь для него «часы жизни остановились» в смысле пополнения запасов памяти новыми впечатлениями той жизни, которую он только и мог описывать.

Мы, например, еще по дореволюционной автобиографии писателя знаем трогательный эпизод, где юноша Бунин возвращается с почты, перечитывая в полученном там журнале свое первое напечатанное стихотворение, и по дороге через лесок собирает ландыши. Этот же эпизод рассказан с некоторыми изменениями и в «Арсеньеве» и ему же посвящено стихотворение «Ландыш»...

Но это еще не предмет для упрека художнику — могут быть излюбленные мотивы, к которым он не раз и не два возвращается. Хуже, когда он возвращается к написанным вещам, поправляя их в соответствии со своими позднейшими настроениями и взглядами.

«Поправок» и купюр в известных читателю вещах немало в собрании сочинений издательства «Петрополис», вышедшем в 30-х годах. Иногда это одна опущенная или замененная строка, но часто и такие малые, как бы толь-

ко стилистические исправления подсказаны очевидным стремлением вытравить в прошлом Бунине элементы демократических оценок явлений и фактов описываемой действительности.

Что же касается вновь написанного в эмиграции, помимо общеизвестных крупных произведений, как «Жизнь Арсеньева», «Митина любовь», «Дело корнета Елагина» с их общеизвестными достоинствами и изъянами, помимо таких превосходных рассказов, как «Солнечный удар», там есть вещи, настолько принижающие талант Бунина, что славное литературное имя его обязывает нас оставить их за бортом даже такого вместительного издания, как нынешнее собрание сочинений.

Странно видеть по датам некоторых вещей, что они написаны в сложные, полные драматизма периоды в жизни родины поэта, а посвящены порой бог весть каким далеким от всякой жизни темам: «таинственным» любовным причудам, «страшным случаям», анекдотам ушедшего в небытие времени. Такие темы немало занимают места в книге «Темные аллеи» и других рассказах последних лет. И надо всем этим — как застоявшийся дым — тоска безнадежная, болезненное переживание старости, страх смерти, неотступная дума о ней.

Небезызвестный В. Набоков, отрасль знатнейшей и богатейшей в России семьи Набоковых, представитель верхушечной части эмиграции, литератор, пишущий на английском языке, в своей автобиографической книге «Другие берега», переведенной им самим на русский, рассказывает, между прочим, о встречах с Буниным. «Его болезненно занимали текучесть времени, старость, смерть...» Со снисходительной иронией сноба и космополита Набоков рассказывает, как Бунин пригласил его в ресторан (это было вскоре после Нобелевской премии) «для задушевной беседы». «К сожалению,— пишет Набоков,— я не терплю ресторанов, водочки, закусочек, музычки — и задушевных бесед... К концу обеда нам уже было невыносимо скучно друг с другом».

В заключение В. Набоков незаметно переходит на пародирование бунинского стиля, выказывая, как и положено эпигону, незаурядные способности к имитации: «...В общем до искусства мы с ним никогда и не договорились, а теперь поздно, и герой выходит в очередной сад, и полыхают зарницы, а потом он едет на станцию, и звезды грозно и дивно горят на гробовом бархате, и чем-

то горьковатым пахнет с полей, и в бесконечно отзывчивом отдалении нашей молодости отпевают ночь петухи».

Легко себе представить, на какой холод и отчужденность натолкнулся старый писатель в лице этого младшего своего современника и бывшего соотечественника. Человеку преуспевающему, довольному собой, рисующемуся тем, что, мол, занятия энтомологией, открытие на земном шаре нового, еще одного вида бабочек, составляют больший предмет его честолюбия, чем литература,— этому человеку, отказавшемуся даже от родного языка, не понять было мучительной тоски настоящего поэта по родной земле, ее степям и речкам, перелескам и овражкам, снегам и ранней весенней зелени, по родной речи в ее живом народном звучании.

Это была смертельная тоска, и дело уже представлялось непоправимым — писатель сам углубил разрыв с отчизной.

В своих «Воспоминаниях», где, в частности, представлена целая портретная галерея русских советских писателей, он уже спорит не с нами и не нас критикует, нас просто нет,— и обращается не к русскому, хотя бы даже эмигрантскому читателю, а к некоей третьей стороне, способной принять все дурное и злопыхательское, что можно о нас порассказать в ослеплении старческой раздражительности. Это — крайность падения, и потому так тяжело об этом говорить, сохраняя симпатии и уважение к Бунину.

Нет, дело не просто в том, что этот писатель прожил полжизни в эмиграции. В эмиграции смолоду и до конца дней жили и умерли на чужбине Герцен и Огарев, и эта пора была расцветом их талантов, откликавшаяся славой и почитанием на родине их и во всей Европе. В эмиграции жили целые поколения русских революционеров. В эмиграции много лет жил и работал Ленин.

Все дело в том, что родину можно покидать только ради нее самой, ради ее свободы и всенародного блага. И тогда жизнь вдалеке от нее, самая трудная, не страшна и может давать высочайшее удовлетворение чувством неразрывности с ней. У Бунина такого чувства быть не могло, и последствия этого были губительны для него,— нет надобности быть здесь столь же подробным, как при рассмотрении того Бунина, который остается для нас выда-

ющимся мастером, достойным своих великих предшественников в русской литературе, приобщившим к достояниям нашей национальной культуры свою заметную и незаменимую долю.

Здесь я так или иначе касался тех сторон творчества Бунина, которые могут в иных случаях вызвать недоумение или внутреннее возражение у нынешнего читателя, особенно у впервые открывающего для себя этого художника. Но даже тогда, когда речь идет не о «мотивах», не об оттенках ущербных настроений Бунина, с наибольшей отчетливостью выступающих в заграничных вещах, но и об отдельных недвусмысленно антидемократических, реакционных его высказываниях, мы не можем теперь просто вычеркнуть их в тексте произведений. Это было бы все равно что вычеркивать, например, в «Воскресении» Толстого цитаты из Евангелия, приводимые в конце этой книги, хотя они там представляются достаточно фальшивыми.

Однако всему есть предел. Бунинские писания, подобные его дневникам 1917—1919 годов «Окаянные дни», где язык искусства, взыскательный реализм, правдивость и достоинство литературного изъяснения просто покидают художника, оставляя в нем лишь иссушающую злобу «его превосходительства, почетного члена императорской академии наук», застигнутого бурями революции и терпящего от них порядочные бытовые неудобства и лишения,— эти писания мы решительно отвергаем. Я, например, не вижу необходимости останавливаться на этих «Днях», не уступающих в контрреволюционности более известным у нас «Дням» Шульгина.

Здесь мы должны были выбирать: либо, отвергая Бунина — реакционера, белоэмигранта, в политических воззрениях скатывавшегося до самого затхлого монархизма, отвергать и все прекрасное, что было создано его талантом; либо, принимая все лучшее в нем, что составляет достояние нашей национальной культуры, нашей русской литературы, отвергнуть все то темное, эгоистическое и антигуманистическое, что он говорил и писал, когда переставал быть художником. Выбор этот давно сделан, и мы по праву сосредоточиваем внимание и интерес на чудесном поэтическом даре Бунина, который, как всякое подлинное явление этого рода, всегда остается не до конца разгаданным, не полностью истолкованным и оттого не менее пленительным.

IV

Бунин родился, вырос и определился как художническая натура «в том плодородном Подстепье, где древние московские цари, в целях защиты государства от набегов южных татар, создавали заслоны из поселенцев различных русских областей, где благодаря этому образовался богатейший русский язык и откуда вышли чуть не все величайшие русские писатели во главе с Тургеневым и Толстым» («Автобиографические заметки»).

У него не было возможности явиться в литературе первооткрывателем неизвестных до него этнографических богатств родного края — ландшафта, народных типов, социально-исторических особенностей, как, например, у Мамина-Сибиряка с его горнорудным и заводским Уралом, где новизна жизненного материала сама по себе имела ценность оригинальности даже при более или менее непритязательной форме. Усадебная, полевая и лесная флора Орловщины, типы мужиков и помещиков этой полосы были не в новинку русской литературе уже со времен «Записок охотника». Но это была его родная полоса, он ее по-своему и задолго до знакомства с литературными ее отражениями воспринял, впитал в себя, а этот золотой запас впечатлений детства и юности достается художнику на всю жизнь. Он может многообразно приумножать его накоплением позднейших наблюдений, изучением жизни в натуре и по книгам, но заменить эту основу основ поэтического постижения мира невозможно ничем, как невозможно заменить в своей памяти родную мать другой, хотя бы и самой прекрасной женщиной. Тот мир, который с рождения окружал Бунина, наполнял его дорогими и неповторимыми впечатлениями, уже как бы не принадлежал только ему — он уже был широко открыт и утвержден в искусстве художниками, ранее Бунина воспитанными этим миром. Бунин мог только продолжить их, развивать до крайнего и тончайшего совершенства в деталях, частностях и оттенках великое мастерство своих предшественников. На этом пути меньший талант, чем бунинский, почти с неизбежностью должен был «засахариться», утончиться до эпигонства и формализма. Бунину удалось сказать свое слово, которое не прозвучало в литературе повторением сказанных до него слов о его родной земле, о людях, живших на ней, о вре-

мени, которое, правда, не могло не быть у него иным по сравнению со временем, отраженным в творениях его учителей в литературе.

Бесспорная и непреходящая художническая заслуга И. А. Бунина прежде всего в развитии им и доведении до высокого совершенства чисто русского и получившего всемирное признание жанра рассказа или небольшой повести той свободной и необычайно емкой композиции, которая избегает строгой оконтуренности сюжетом, возникает как бы непосредственно из наблюденного художником жизненного явления или характера и чаще всего не имеет «замкнутой» концовки, ставящей точку за полным разрешением поднятого вопроса или проблемы. Возникнув из живой жизни, конечно, преображенной и обобщенной творческой мыслью художника, эти произведения русской прозы в своих концовках стремятся как бы сомкнуться с той же действительностью, откуда вышли, и раствориться в ней, оставляя читателю широкий простор для мысленного продолжения их, для додумывания, «доследования» затронутых в них человеческих судеб, идей и вопросов. Может быть, зарождение этого жанра прослеживается и из большей глубины по времени, но ближайшим классическим образцом его являются, конечно, «Записки охотника».

В наиболее развитом виде эта русская форма связывается с именем Чехова, одного из трех «богов» Бунина в литературе (первые два — Пушкин и Толстой).

Бунин, как и Чехов, в своих рассказах и повестях пленяет читателя иными средствами, чем внешняя занимательность, «загадочность» ситуации, заведомая исключительность персонажей. Он приковывает вдруг наше внимание к тому, что как бы совершенно обычно, доступно будничному опыту нашей жизни, мимо чего мы столько раз проходили, не остановившись и не удивившись, и так бы и не отметили для себя никогда без его, художника, подсказки. И подсказка эта нисколько не унижает нас, как на экзамене,— она является в форме нашего собственного, совместного с художником открытия. Отсюда — наше повышающее самооценку чувство равенства с художником в чуткости, прозорливости, тонкой догадке. Словом, это и есть тот контакт читателя с писателем, приобщение некоему волнующему секрету, известному только им двоим, которые означают, что их встреча про-

изошла при посредстве настоящего художественного произведения. Кто из нас бессознательно не ликовал, упиваясь какой-нибудь заветной страницей «Войны и мира» или «Анны Карениной»: «Ах, как это мы с Толстым хорошо и верно видим, понимаем!» Недаром иногда люди свою способность к восприятию произведений искусства принимают за способность создавать их, и это так нередко бывает жизненной драмой человека.

О взаимоотношениях художника со временем можно сказать, что он никогда не бывает влюблен только в свое, нынешнее время без некоего идеального образца в прошлом. Художнику дороги те черты его времени, которые связывают это время с предшествующим, продолжают традиционную красоту его, сообщают настоящему глубину и прочность. В любой новизне своего времени художник ищет связей с милой его сердцу «стариной». Слабый художник при этом впадает в обычный грех идеализации прошлого и противопоставления его настоящему. У сильного художника лишь обостряется чувство новизны, которая может ему представляться неполноценной, лишенной красоты, уродливой, неправомерной исторически, но она для него — реальность, на которую закрыть глаза он не может.

Идеалом Бунина в прошлом была пора расцвета дворянской культуры, устойчивости усадебного быта, за дымкой времени как бы утрачивавшего характер жестокости, бесчеловечности крепостнических отношений, на которых покоилась вся красота, вся поэзия того времени. Но как бы ни любил он ту эпоху, как бы ни желал родиться и прожить в ней всю свою жизнь, будучи ее плотью и кровью, ее любящим сыном и певцом, как художник, он не мог обходиться одним этим миром сладких мечтаний. Он принадлежал своему времени с его неблагообразием, дисгармоничностью и неуютностью, и мало кому давалась такая зоркость на реальные черты действительности, бесповоротно разрушавшей все красоты мира, бесконечно дорогого ему по заветным семейным преданиям и по образцам искусства.

Из всех ценностей того уходящего мира оставалась прелесть природы, менее заметно, чем общественная жизнь, изменяющейся во времени и повторяемостью своих явлений создающей иллюзию «вечности» и непреходящести, по крайней мере, хоть этой радости жизни. Отсю-

да — особо обостренное чувство природы и величайшее мастерство изображения ее в поэзии Бунина.

Своих читателей, независимо от того, где они родились и выросли, Бунин делает как бы своими земляками, уроженцами его родных мест с их хлебными полями, синей черноземной грязью весенне-осенних и белой, тучной пылью летних степных дорог, с овражками, заросшими дубняком, со степными, покалеченными ветром лозинами (ракитами) вдоль гребель и деревенских улиц, с березовыми и липовыми аллеями усадеб, с травянистыми рощицами в полях и тихими луговыми речками. Особыми чарами обладают его описания времен года со всеми неуловимыми оттенками света на стыках дня и ночи, на утренних и вечерних зорях, в саду, на деревенской улице и в поле.

Когда он выводит нас в раннее весеннее легкоморозное утро на подворье захолустной степной усадьбы, где хрустит ледок, натянутый над вчерашними лужицами, или в открытое поле, где из края в край ходит молодая рожь в серебряно-матовых отливах, или в грустный, поредевший и почерневший осенний сад, полный запахов мокрой листвы и лежалых яблок, или в дымную, крутящуюся ночную вьюгу по дороге, утыканной растрепанными соломенными вешками,— все это приобретает для нас натуральность и остроту лично пережитых мгновений, щемящей сладости личного воспоминания.

Подобно музыке, ни одно из самых восхитительных и волнующих явлений природы не усваивается нами, не входит нам в душу с первого раза, покамест не открывается нам повторно, не становится воспоминанием. Если нас трогает нежная игольчатая зелень весенней травки, или впервые в этом году услышанные кукушка и соловей, или тоненькое и печальное кукареку молодых петушков ранней осени; если мы блаженно и растерянно улыбаемся, вдыхая запах черемухи, распустившейся при майском холодке; если отголосок далекой песни в вечернем летнем поле прерываст строй наших привычных забот и размышлений,— значит, все это доходит до нас не впервые и вызывает в нашей душе воспоминания, имеющие для нас бесконечную ценность и сладость как бы краткого возвращения в нашу молодость, в годы детства. Собственно, с этой способности к таким мгновенным, но памятным переживаниям начинается человек с его способностью любви к жизни и к людям, к родной земле и

самоотверженной готовностью сделать для них что-то нужное и хорошее.

Бунин — не просто мастер необычайно точных и тонких запечатлений природы, он великий знаток «механизма» человеческой памяти, в любую пору года и в любом нашем возрасте властно вызывающий в нашей душе канувшие в небытие часы и мгновения, сообщающий им новое и новое повторное бытие и тем самым позволяющий нам охватить нашу жизнь на земле в ее полноте и цельности, а не ощущать ее только быстрой, бесследной и безвозвратной пробежкой по годам и десятилетиям...

По части красок, звуков и запахов, «всего того,— выражаясь словами Бунина,— чувственного, вещественного, из чего создан мир», предшествующая и современная ему литература не касалась таких, как у него, тончайших и разительнейших подробностей, деталей, оттенков.

В старости Бунин вспоминал в своей насквозь автобиографической «Жизни Арсеньева»: «...Зрение у меня было такое, что я видел все семь звезд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги...» Поистине «внешние чувства» как средства проникновенного постижения чувственного мира у него были феноменальны от рождения, но еще и необычайно развиты с юных лет постоянным упражнением уже в чисто художнических целях.

Звяканье гайки, ослабшей на конце оси дрожек,— какая это случайная, необязательная мелочь, но из-за этого звука мы запоминаем столь значительный приезд мещанина — арендатора барских садов в разоряющуюся усадьбу, даже забыв его имя. Шум кустов под ветром, «как будто бегущих куда-то»,— именно бегущих куда-то, это и нам так всегда казалось, а Бунин только напомнил,— шум поразительный по выражению глубокой печали какого-то пастушеского полевого одиночества и сиротства. Отличить «запах росистого лопуха от запаха сырой травы» — это дано далеко не каждому, кто и родился, и вырос, и жизнь прожил у этих лопухов и этой травы, но, услышав о таком различении, тотчас согласится, что оно точно и ему самому памятно.

О запахах в стихах и прозе Бунина стоило бы написать отдельно и подробно — они играют исключительную

роль среди других его средств распознавания и живописания мира сущего, места и времени, социальной принадлежности и характера изображаемых людей. Исключительно «душистый», элегически-раздумчивый рассказ «Антоновские яблоки» как бы непосредственно навеян автору запахом этих плодов осеннего сада, лежащих в ящике письменного стола в кабинете с окнами на шумную городскую улицу. Он полон этих яблочных запахов «меда и осенней свежести» и поэзии прощания с прошлым, откуда лишь доносится старинная песня подгулявших «на последние деньги» обитателей степных захолустных усадеб.

Помимо густо наполняющих все его сочинения запахов, присущих временам года, деревенскому циклу полевых и иных работ, запахов, знакомых нам и по описаниям других классиков,— талого снега, весенней воды, цветов, травы, листвы, пашни, сена, хлебов, огородов и тому подобного,— Бунин слышит и запоминает еще множество запахов, свойственных, так сказать, историческому времени, эпохе. Это запахи веничков из перекати-поля, которыми в старину чистили платье; плесени и сырости нетопленного барского дома; курной избы; серных спичек и махорки; вонючей воды из водовозки; москательных товаров, ванили и рогожи в лавках торгового села; воска и дешевого ладана; каменноугольного дыма в хлебных степных просторах, пересеченных железной дорогой... А за выходом из этого деревенского и усадебного мира в города, столицы, за границы и далекие экзотические моря и земли — еще множество других разительных и памятных запахов.

Эта сторона бунинской выразительности, сообщающая всему, о чем рассказывает писатель, особую натуральность и приметность — во всех планах, от тонко лирического до едко саркастического,— прочно прижилась и развивается в нашей современной литературе — у самых разных по природе и таланту писателей.

Правда, можно было бы возразить, что Бунин не является тут первооткрывателем. Уже в 80-х годах прошлого столетия Эдмон Гонкур сетует в «Дневнике» на то, что вслед за «глазом» и «ухом» в литературе появляется «нос» как средство постижения действительности. Он имеет в виду в первую очередь Золя с его «носом охотничьей собаки», принесшего в литературу «антиэстетические» запахи городского рынка и т. п. Однако бунин-

ские «обонятельные» приемы выражения вполне независимы от французского натурализма и никогда не запечатлевают крайностей «неблагоухания».

К слову сказать, современная западная литература, помимо прочих внешних чувств, широко пользуется физиологическим «вкусом» (кажется, это пошло от М. Пруста). Хемингуэй, Ремарк, Генрих Бёлль с утонченной детализацией фиксируют ощущения своих героев при разжевывании пищи, питье, курении. Но здесь уж можно говорить о некоторой замене чувств ощущениями. Бунину это чуждо.

Бунин, как, может быть, никто из русских писателей, исключая, конечно, Л. Толстого, знает природу своего Подстепья, видит, и слышит, и обоняет во всех неуловимых переходах и изменениях времен года и сад, и поле, и пруд, и реку, и лес, и овражек, заросший кустами орешника, и проселочную дорогу, и старинный тракт, обезлюдевший с прокладкой «чугунки». Бунин предельно конкретен и точен в деталях и подробностях описаний. Он никогда не скажет, например, подобно некоторым современным писателям, что кто-то присел или прилег отдохнуть под деревом,— он непременно назовет это дерево, как и птицу, чей голос или шум полета послышатся в рассказе. Он знает все травы, цветы, полевые и садовые; он большой, между прочим, знаток лошадей, и их статям, красоте, норову часто уделяет короткие, запоминающиеся характеристики. Все это придает его прозе, да и стихам особо подкупающий характер невыдуманности, подлинности, неувядаемой ценности художнического свидетельства о земле, по которой он ходил.

Но, понятно, если бы его изобразительные возможности ограничивались только этими, пусть самыми точными и артистичными картинами и штрихами, значение его было бы далеко от того, какое он приобрел в русской литературе. Человека с его радостями и страданиями как объект изображения ничто не может заменить в искусстве — никакая прелесть одного только предметно-чувственного мира, никакие «красоты природы» сами по себе.

Когда сам Бунин в большом стихотворении «Листопад», именуемом обычно поэмой, в мастерски развернутой сложной метафоре,— лес — терем вдовы Осени перед зимой,— с яркой и даже щеголеватой живописностью дает все краски осеннего леса («лиловый, золотой, баг-

ряный»), но ограничивается безотносительным к человеческим делам и думам этой поры настроением красивого увядания и угасания природы, то как ни хвали эту живопись, она оставляет впечатление какой-то мертвенности, попросту не берет за живое...

Непреходящая художественная ценность «Записок охотника» в том, что автор в них менее всего рассказывает о собственно охотничьих делах и не ограничивается описаниями природы. Чаще всего только по возвращении с охоты — на ночлеге — или по пути на охоту происходят те встречи «охотника» и волнующие истории из народной жизни, которые стали таким незаменимым художественным документом целой эпохи. Из охотничьих же рассказов и очерков иного нашего писателя мы ничего или почти ничего не узнаем о жизни и труде деревень или поселков, в окрестностях которых он охотится и ведет свои тончайшие фенологические наблюдения над дневной и ночной жизнью леса и его обитателей, над повадками своих собак и т. п.

Бунин отлично, с детских лет, по крови, так сказать, знал всякую охоту, но не был таким уж завзятым охотником. Он редко остается один в лесу или в поле, разве что скачет куда-нибудь верхом или бродит пешком — с ружьем или без ружья — в дни одолевающих его раздумий и смятений. Его тянет и в заброшенную усадьбу, и на деревенскую улицу, и в любую избу, и в сельскую лавку, и в кузницу, и на мельницу, и на ярмарку, и на покос к мужикам, и на гумно, где работает молотилка, и на постоялый двор, словом, туда, где люди, где копошится, поет и плачет, бранится и спорит, пьет и ест, справляет свадьбы и поминки, пестрая, взбаламученная жизнь поздней пореформенной поры.

О глубоком, пристальном, не из третьих рук полученном знании этой жизни Буниным можно сказать примерно то же, что о его знании на слух, на нюх и на глаз всякого растения и цветения, заморозков и метелей, весенних распутиц и летних жаров. Таких подробностей, таких частностей народной жизни литература не касалась, полагая, может быть, их уже лежащими за пределами искусства. Бунин, как мало кто до него в нашей литературе, знает житье-бытье, нужды, житейские расчеты и мечтания и мелкопоместного барина, часто стоящего уже на грани самой настоящей бедности, и «оголодавшего» мужика, и тучнеющего, набирающего силу сель-

ского торгаша, и попа с причтом, и мещанина, скупщика или арендатора, шныряющего по деревням в чаянии «оборота», и бедняка учителя, и сельских властей, и барышников, и пришлых с севера, из еще более оголодавших губерний, бродячих портных, шорников, косцов, пильщиков. Он показывает быт, жилье, еду и одежду, ухватки и повадки всего этого разношерстного люда в наглядности, порой близкой к натурализму, но как истинный художник всегда знает край, меру — у него нет подробностей ради подробностей, они всегда служат основой музыке, настроению и мысли рассказа.

Первый признак настоящей доброй прозы — это когда хочется ее прочесть вслух, как стихи, в кругу друзей или близких, знатоков или, наоборот, людей малоискушенных — реакция таких слушателей иногда особенно показательна. Мы можем только пожалеть, что так редко прочитываем вслух рассказ или хотя бы страничку-другую из рассказа, повести, романа наших современников — в кабинете ли редакции, в кругу ли семьи или на дружеской вечеринке. Это у нас как-то даже не принято, и сами прозаики, увы, не настаивают на этом. А ведь в былые времена прозу вслух читал, например, Толстой — «Питомку» В. Слепцова, «Душечку» Чехова,— и не по одному разу! Можно вспомнить еще, что рукопись «Бедных людей» Достоевского Григорович с Некрасовым прочли в один присест, чтобы в ту же ночь разбудить молодого автора и поздравить с удачей.

Мы же, не успев прочесть в журнале или книге новую вещь видного прозаика, часто вполне удовлетворены бываем пересказом кого-нибудь из читавших ее и сами пересказываем прочитанное, не испытывая потребности прочесть вслух отрывок. Конечно, этого нельзя объяснить только наличием радио, телевизора и кадров профессиональных чтецов. То, что проза наша лишена такой активной, незаменимой формы распространения, как непрофессиональное чтение вслух, объясняется заметным упадком ее культуры. Мы долго придавали мастерству письма лишь второстепенное значение и с готовностью прощали несовершенство формы, если содержание составляло ценность человеческого документа или новизны жизненного материала. Но подтверждается старая истина, что невнимание писателя к форме способно обернуться невниманием читателя к содержанию

Использование диалогов для изложения обстоятельств

действия и характеристик персонажей, неразличимость авторской речи с речью героев, к стилю которой автор подстраивается, наконец, растянутость, развертывание повести или романа на материале, способном поместиться в небольшом рассказе, и т. д.— где уж тут читать вслух сходные у разных авторов по письму и языку повествования, амузыкальную, будто с кочки на кочку перескакивающую речь.

Нельзя не остановиться на той отчетливо выраженной у Бунина индивидуальности письма, по какой вообще в русской прозе различаются ее великие мастера,— на особой музыкальной организации, если можно так выразиться, этого письма. Мы знаем эту опознавательную в отношении великих наших мастеров особенность: Гоголя, Тургенева, Толстого, Чехова развитой читатель узнает и отличит на слух с полустраницы, прежде того как уловит детали содержания. Это та музыка, связующая отдельные слова в предложении, предложения в периоде, периоды в главе, главы в дальнейшем укрупненном членении повествования, которую читатель сознательно или бессознательно принимает и невольно следует ей. Сколько раз случается видеть, как человек, читающий книгу про себя, чуть заметно шевелит губами и чуть заметно покачивает головой, подчиняясь беззвучному ритму, заключенному в раскрытой перед ним странице. Это почти то же, что музыкант, читающий про себя нотную запись какого-либо сочинения, с которым он знакомится впервые или возобновляет его в памяти.

Эта музыкальная оснастка большой русской прозы ничего общего не имеет с так называемой ритмизованной прозой, невыносимой для сколько-нибудь взыскательного слуха, безотносительно к содержанию — будь то Златовратский или Андрей Белый.

Природа высокой музыкальной организации прозы — в ритмической основе живой человеческой речи со всеми интонациями, соответствующими предмету ее и степени эмоционального наполнения.

В одной из самых ранних вещей Бунина, о которой я уже упоминал в другой связи, в рассказе «На край света», с большим успехом прочитанном автором в Петербурге на литературном вечере в пользу переселенцев, уже с определенностью звучит музыка бунинской прозы.

И главное в этом рассказе, содержащем в себе лишь

один-два намека на индивидуальные судьбы,— это вовсе и не рассказ с точки зрения даже свободных понятий жанра,— главное в нем — эта негромкая, сдержанная, но густая, глубокая музыка народной трагедии. Его невозможно цитировать, этот и скорбный и торжественно-строгий рассказ, потому что, выбирая из него отдельные строки, прерываешь удивительно целостную его тональность, и сами эти строки, выпадая из нее, утрачивают в своем звучании, деревенеют.

Но это маленький, в три-четыре странички, рассказ молодого, в сущности, как мы говорим, начинающего писателя. А вот крупнейшее произведение зрелого таланта — «Деревня». Она уже основной своей музыкой выделяется из всей прозы Бунина. В противоположность различным вариациям лирико-раздумчивой, замедленной и как бы однозвучной интонации других вещей, здесь с первой строки пролога, краткой мужицкой родословной, взят строгий и жесткий ритм: «Прадеда Красовых, прозванного на дворне Цыганом, затравил борзыми барин Дурново...» И вся повесть идет в энергическом, нервном, необычном для прежнего Бунина темпе.

Бунин вошел в русскую литературу со своей музыкой прозаического письма, которую не спутаешь ни с чьей иной. Говорят, что так четко определиться ритмически в прозе помогло ему то, что он еще и поэт-стихотворец, всю жизнь писавший наравне с прозой стихи, переводивший западную поэзию. Но это необязательное условие. У Бунина, превосходного поэта, стихи все же занимают подчиненное положение. Толстой же и Чехов никогда не писали стихов, но кто может отрицать магическую — свою особую у того и другого — музыку их прозаической речи!

Бунин всегда осознавал и в своих суждениях подчеркивал эту музыкальную сторону прозаического письма. В интервью «Московской газете» в 1912 году он говорит, что вообще не принимает «деления художественной литературы на стихи и прозу». Поэтическое единство прозаической и стихотворной речи он видит в сближении их основных особенностей и взаимном обогащении: «...Поэтический язык (в смысле стихотворный.— *А. Т.*) должен приближаться к простоте и естественности разговорной речи, а прозаическому слогу должна быть усвоена музыкальность и гибкость стиха».

Он и чисто внешним образом подчеркивал принципи-

альное единство этих двух родов литературы: во многих своих сборниках и даже в «нивском» собрании сочинений он перемежал повести и рассказы стихами. Это могло выглядеть лишь как выражение независимости от тогдашних общепринятых установлений и традиций. Но для самого Бунина это было и своеобразной декларацией верности пушкинскому и лермонтовскому примеру, являвшим гениальное совершенство в обоих основных родах литературного творчества. И по существу бунинская стихотворная поэзия, по крайней мере, непосредственно примыкающая к прозе тематически, близка ей и общим настроением, и сходными средствами образного выражения, и всей словесной фактурой.

Стихи Бунина, при их строгой традиционной форме, густо оснащены элементами, характерными для его прозы: живыми интонациями народной речи, необычными для стихов того времени реалистическими деталями описаний природы, быта деревни и мелкопоместной усадьбы. В них можно встретить такие немыслимые по канонам «высокой поэзии» прозаические подробности, как тазы, подставляемые под капелью с потолка в запущенном барском доме с дырявой крышей («Дворецкий»), или «клочья шерсти и помет» на месте волчьих свадеб в зимней степи («Сапсан»).

Однако если вообще проза и стихи являются из двух основных источников всякого настоящего художества — из впечатлений живой жизни и опыта самого искусства, то о стихах Бунина можно сказать, что они более наглядно, чем его проза, несут на себе отпечаток традиционной классической формы. Не забудем, что Пушкин, Лермонтов и другие русские поэты пришли к Бунину не через посредство школы и даже не через посредство книги самой по себе, а восприняты и впитаны в раннем ребячестве, может быть, еще до овладения грамотой, из поэтической атмосферы родного дома. Они его застали в детской, были семейными святынями, на их портреты он «смотрел, как на фамильные». Поэзия была частью живой действительности детства, влиявшей на душу ребенка, определявшей его склонности и дорогие на всю жизнь эстетические пристрастия. Образы поэзии имели для него такую же личную, интимную ценность впечатлений детства, как и окружающая его природа и все «открытия мира», сделанные в этом возрасте.

Только самого раннего Бунина коснулись влияния современной ему поэзии. В дальнейшем он наглухо отгораживается от всяческих модных поветрий в поэзии, держась образцов Пушкина и Лермонтова, Баратынского и Тютчева, а также Фета и отчасти Полонского, но оставаясь всегда самобытным.

Конечно, неверно было бы думать, что он так-таки ничего и не воспринял в своем стихе от виднейших поэтов его времени, которых он всю жизнь ругательски ругал, оценивая всех вкупе и как бы не видя разницы между Бальмонтом и Северяниным, Брюсовым и Гиппиус, Блоком и Городецким.

В развитии русского стиха после застойно-эпигонской поры «конца века» заслуги символистов бесспорны. Они расширили ритмические возможности стиха, много сделали по части его музыкального оснащения, обновления рифмы и т. п. Бунин не смог бы стать тем, чем он стал в поэзии, если бы только буквально следовал классическим образцам. И неверно, когда говорят, что стихи его будто бы ритмически однообразны, однотонны. Он пользуется по преимуществу основными классическими двухсложными, реже трехсложными размерами, но он наполняет их таким интонационным и словарным богатством живой «прозаической» речи, что эти «ходовые» размеры становятся его, бунинскими, размерами. Он вовсе не чужд и таким ритмическим поискам, которые выходят далеко за пределы привычных звучаний, например:

Как все спокойно и как все открыто!..

Это ближе всего к уникальному в русской поэзии ритму тютчевского «Как хорошо ты, о море ночное...».

Или белые стихи, ритмическим строем своим как бы предсказывающие, как это ни парадоксально, Пастернака:

Набегает впотьмах
И узорною пеною светится,
И лазурным сиянием реет у скал на песке...

А какая изумительная энергия, краткость и «отрубающая» односложность выражения в балладе «Мушкет»:

Встал, жену убил,
Сонных зарубил своих малюток,
И пошел в туретчину, и был
В Цареграде через сорок суток.

Можно было бы еще указать на такие неожиданные ритмические образцы, как своеобразный трехсложный размер «Одиночества» («И ветер, и дождик, и мгла...»), как «Старик у хаты веял, подкидывал лопату...» или «Мужичок» («Ельничком, березничком...»), «Аленушка в лесу жила...» и многие другие. Но главное, конечно, не в них, а в том, что поэзия Бунина, долго представлявшаяся его литературным современникам лишь традиционной и даже «консервативной» по форме, живет и звучит, пережив великое множество стихов, выглядевших когда-то по сравнению с его строгой, скромной и исполненной внутреннего достоинства музой сенсационными «открытиями» и заявлявшими о себе шумно до непристойности.

Наиболее жизнестойкая часть стихотворной поэзии Бунина, как и в его прозе, это лирика родных мест, мотивы деревенской и усадебной жизни, тонкая живопись природы.

Уже менее трогают стихи, посвященные темам экзотического Востока, античности, библейским мотивам или сюжетам древних мифологий, былинно-сказочной русской старине, хотя и здесь остается в силе редкостной выразительности бунинский язык.

Без похвал этому языку, как, впрочем, и описаниям природы, не обходится ни одно высказывание о Бунине. И хотя обе эти материи в отдельном их изложении способны вызвать убыль читательского внимания, но без них действительно не обойтись, говоря об этом мастере. Рассказывают, что, слыша похвалы своему языку, Бунин обычно отшучивался: «Какой такой особый язык у меня; пишу русским языком, язык, конечно, замечательный, но я-то тут при чем?» И хотя за этой шуткой чувствуется горечь художника, которому всегда обидно, так сказать, выборочное признание его достоинств, но, по существу, это очень верно, что у писателя не может быть иного языка, чем его родной язык, язык его народа. Однако у писателя не только может, но и должен быть язык иной, чем у других писателей. И сам Бунин умел строго различать и предпочитать язык одних языку других мастеров слова.

«Хороший колоритный язык народа средней полосы России, — говорил он в 1911 году, — я нахожу только у

Гл. Успенского и Л. Толстого. Что касается ухищрения и стилизации под народную речь модернистов, то это я считаю отвратительным варварством».

Нужно отдать должное его объективности, в данном случае в оценке языка. Он приравнивает чуждого ему по идейной направленности Г. Успенского к одному из своих трех «богов» — Л. Толстому.

Язык Бунина — это язык, сложившийся на основе орловско-курского говора, разработанный и освященный в русской литературе целым созвездием писателей — уроженцев этих мест. Язык этот не поражает нас необычностью звучания — даже местные слова и целые выражения выступают в нем уже узаконенными, как бы искони присущими русской литературной речи. И мы, читатели, уроженцы иных областей, обычно с трудом расстающиеся с привычными с детства словечками и речениями родных мест и с неприязнью относящиеся к замене их иными, порожденными в другой языковой стихии, легко принимаем особенности речи Бунина, густо, как и у Тургенева и у Толстого, пересыпанной областническими словами. Нужно сказать, что после справедливой и своевременной критики М. Горьким языковых неряшеств и крайних увлечений областническим словарем в нашей литературе мы так долго и тщательно ограждали ее от «местных речений», просто сводя дело к нивелированию слога в соответствии с омертвелыми понятиями «правильного языка», что добились той нередко удручающей безъязыкости прозы, когда она воспринимается как перевод с иностранного.

Местные слова, употребляемые с тонким уменьем и безошибочным тактом, сообщают стихам и прозе Бунина исключительную земную прелесть и как бы ограждают их от «литературы» — всякого рифмованного и нерифмованного сочинительства, лишенного теплой крови живого народного языка.

«*Обломный* ливень» — непривычному слуху странен этот эпитет, но сколько в нем выразительной силы, дающей почти физическое впечатление внезапного летнего ливня, что вдруг хлынет потоками на землю точно с обломившегося под ним неба.

«Листва *муругая*» для большинства читателей как будто бы требует пояснительной сноски — какой это цвет, муругий? Но из целостной картины, нарисованной в небольшом и прекрасном стихотворении «Зазимок», и без

пояснений очевидно, что речь идет о поздней, жесткой, хваченной морозами коричневатой листве степных дубняков, гонимой свирепым ветром зазимка.

Точно так же — редкое, почти неизвестное в литературном обиходе слово «глудки» совершенно не нуждается в пояснении, когда мы его встречаем на своем месте: «смерзшиеся глудки со стуком летели из-под кованых копыт в передок саней». Но слово-то какое звучное, весомое и образное — без него куда беднее было бы описание зимней дороги.

Занятно, что в цейлонском рассказе «Братья» Бунин называет туземную пирогу уж слишком по-русски — *дубок*, и, однако, это не портит колорита тропического островного побережья: что пирога, что дубок — это долбленная из цельного ствола лодка, и словечко это только как бы напоминает, что этот рассказ, такой далекий по содержанию от орловско-курской земли, пишет русский писатель.

В «Господине из Сан-Франциско» этот певец русских степных просторов, несравненный мастер живописания родной природы, свободно и уверенно ведет за собой читателя по комфортабельным салонам, танцзалам и барам океанского парохода, по тем временам являвшего собой чудо техники. Он спускается с ним к «мрачным и знойным недрам преисподней... подводной утробе парохода... где глухо *гоготали* исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени...»

Попробуйте заменить это простонародное, почти вульгарное слово «гоготали» правильным «хохотали» — и сразу ослабевает адское напряжение этих котлов, устрашающая мощь пламени, от которой содрогается подводная часть корпуса парохода-гиганта, сразу утрачивается сила остальных слов о полуголых людях, загружающих топки углем... А слово-то взято опять же из запасов детской и юношеской памяти, из того мира, откуда вышел художник в свои далекие плавания. Эта память в отношении родной речи, картин природы и сельского быта и бездны всяческих подробностей былой жизни у Бунина удивительным образом сохранялась и в течение целых десятилетий, проведенных им вне родины.

Бунина нельзя не любить и не ценить за его строгое

мастерство, за дисциплину строки — ни одной полой или провисающей — каждая, как струна,— за труд, не оставляющий следов труда на его страницах.

В смысле школы, в смысле культуры письма в стихах и прозе молодому русскому, и не только русскому, писателю невозможно миновать Бунина в ряду мастеров, чей опыт попросту обязателен для каждого пишущего. Как бы ни был этот молодой писатель далек от Бунина по своим задаткам и перспективам развития своего дара, в начальной своей поре он должен пройти Бунина. Это научит его постоянному чувству великой ценности родной речи, уменью отбирать нужные и незаменимые слова, привычке обходиться малым их числом для достижения наибольшей выразительности — короче, уважению к делу, за которое взялся, к делу, требующему неизменной сосредоточенности, и уважению к тем, ради которых делаешь это дело,— к читателям.

Серьезнейшую тревогу внушает беззаботность относительно формы у наших молодых писателей, отчасти поощряемая критикой, отчасти — примером старших товарищей по роду литературы. С ходу пишутся толстенные романы, потому что нет времени написать, довести многократным возвращением к начатому до совершенной отделки, в меру дарования автора, небольшой рассказ. Пишутся огромные поэмы, и, чтобы добраться до полноценной строфы или строки, там нужно «перелопачивать» вороха слов, строк и строф необязательных, случайных, подвернувшихся как бы при опыте импровизации, зарифмованных с такой приблизительностью и неряшливостью, что созвучия, как полуоборванные пуговицы, держатся на одной ниточке.

Бунин — по времени последний из классиков русской литературы, чей опыт мы не имеем права забывать, если не хотим сознательно идти на снижение требовательности к мастерству, на культивирование серости, безъязыкости и безличности нашей прозы и поэзии. Перо Бунина — ближайший к нам по времени пример подвижнической взыскательности художника, благородной сжатости русского литературного письма, ясности и высокой простоты, чуждой мелкотравчатым ухищрениям формы ради самой формы. Если уж говорить все до конца, так придется сказать и о том, что Бунин бывает иногда чрезмерно густ, как «неразведенный бульон», по замечанию Чехова о ранних его рассказах. Однако опасность излишней сгущен-

ности прозы и стихов нам меньше всего сейчас угрожает; как раз нехватка сгущенности, сжатости, подобранности, экономичности письма — главная наша беда сегодня.

Нынешнее собрание сочинений И. А. Бунина, наиболее полное из всех выходивших в свет до сих пор, надо полагать, не залежится на складах подписных изданий и полках магазинов и библиотек. Конечно, и оно не может рассчитывать на безусловный прием у всякого читателя. Читательская масса многослойна, пестра, неоднородна. Для людей, прибегающих к печатной странице как средству только отдыха и отвлечения от каждодневных забот и обязанностей, ищущих в книге хитро завязанного сюжетного узелка, причудливых перекрестий любовной интриги, мелодраматических коллизий и успокоительной округленности концовки, то есть всего того, что отстоит поодаль от реальной серьезной жизни, ее вопросов и требований, и широко используется в мировой практике изготовления духовного продукта, который принято называть чтивом,— для таких читателей сочинения Бунина могут и не представить ценной находки, не дошло еще до того. Нужно еще оговориться, что Бунин, конечно, не всегда обладал той магией доходчивости, какая была, скажем, у Чехова, равно пленяющего и самого искушенного, и в самой малой степени подготовленного читателя без привлечения примитивных средств занимательности.

Я не хотел бы здесь быть понятым так, будто я противник вообще занимательности в художественном произведении, сюжетной собранности и насыщенности действием или будто я не знаю у величайших наших художников страниц, исполненных напряженного драматического характера и просто увлекательности в лучшем смысле этого слова. Но я с детских и юношеских лет знавал страстных читателей книг, с уверенностью ставивших «Князя Серебряного» А. К. Толстого или исторические романы Григория Данилевского выше «Войны и мира», да и теперь еще не такая редкость читатель, предпочитающий «Поджигателей» Н. Шпанова «Тихому Дону», хотя, может быть, не всегда высказывающий это свое предпочтение из опасения быть осмеянным.

Бунин — художник строгий и серьезный, сосредоточенный на своих излюбленных мотивах и мыслях, всякий раз решающий для самого себя некую задачу, а не при-

ходящий к читателю с готовыми и облегченными построениями подобий жизни. Сосредоточенный и углубленно думающий художник, хотя бы он рассказывал о предметах по первой видимости малозначительных, будничных и заурядных,— такой художник вправе рассчитывать и на сосредоточенность, и даже некоторое напряжение, по крайней мере, поначалу, со стороны читателя. Но это можно считать необходимым условием плодотворного «контакта» читателя с писателем, имея в виду, конечно, не одного Бунина, но всякого подлинного художника.

1965

● О ПОЭЗИИ МАРШАКА

I

В 1957—1960 годах было выпущено Гослитиздатом первое собрание сочинений С. Маршака в четырех томах. Помню, как, просматривая первый том с дарственной надписью Самуила Яковлевича — книгу в шестьсот с лишком страниц, снабженную по всей форме солидного подписного издания портретом автора и критико-биографическим очерком,— я, при всей моей любви к Маршаку, не был свободен от некоторого опасения. До сих пор эти стихи, широко известные маленьким и большим читателям, выходили под маркой Детиздата малостраничными, разноформатными книжками, которым и название-то — книжки — присвоено с натяжкой,— их и на полке обычно не ставят, а складывают стопкой, как тетрадки. Но эти детские издания пестрели и горели многокрасочными рисунками замечательных мастеров этого дела — В. Конашевича, В. Лебедева и других художников, чьи имена на обложках выставлялись обычно наравне с именем автора стихов.

Как-то эти стихи будут выглядеть здесь, под крышкой строго оформленного приземистого тома, который не только можно поставить на полке рядом с другими, но и где угодно отдельно,— будет стоять, не повалится? Не поблекнут ли они теперь, отпечатанные на серых страницах мелким «взрослым» шрифтом, вдруг уменьшившиеся объемом и лишенные обычного многоцветного сопровож-

дения? Не случится ли с ними в какой-то степени то, что так часто случается с «текстами» широко известных песен, когда мы знакомимся с ними отдельно от музыки?

Но ничего подобного не случилось. Я вновь перечитывал эти стихи, знакомые мне по книжкам моих детей и неоднократно слышанные в чтении автора,— страницу за страницей, и они мне не только не казались что-то утратившими в своем обаянии, ясности, четкости и веселой энергии слова,— нет, они, пожалуй, даже отчасти выигрывали, воспринимаемые без каких-либо «вспомогательных средств». Стих, слово — сами по себе — наедине со мною, читателем, свободно располагали не только своей звуковой оснасткой, но и всеми красками того, о чем шла речь, и они не были застывшими отпечатками движений, действия, но являлись как бы самим движением и действием, живым и подмывающим.

Это свойство подлинной поэзии без различия ее предназначенности для маленьких или больших, для книжек с красочными иллюстрациями или изданий в строгом оформлении, для чтения или пения. Недаром строки по-настоящему поэтичной песни заставляют нас иногда произносить их и просто так, когда песня уже спета; вслушаться в их собственно словесное звучание.

Первое собрание сочинений С. Маршака вышло тиражом триста тысяч экземпляров. Количество подписчиков на то или иное издание — это своеобразный читательский «плебисцит», и его показатели в данном случае говорили об огромной популярности Маршака.

Трудно назвать среди наших современников писателя, чьи сочинения так мало нуждались бы в предисловиях и комментариях. Дом поэзии Маршака не нуждается в громоздком, оснащенном ступеньками, перильцами и балясинками крыльце — одном для всех. Он открыт с разных сторон, его порог везде легко переступить, и в нем нельзя заблудиться.

Здесь невозможны такие случаи, как, скажем, при чтении Б. Пастернака или О. Мандельштама, по-своему замечательных поэтов, где подчас небольшое лирическое стихотворение требует «ключа» для расшифровки заложенных в нем «многоступенчатых» ассоциативных связей, намеков, иносказаний и умолчаний. Тем более что Маршак — как редко кто — сам себе путеводитель и лучший толкователь идейно-эстетических основ своей поэзии.

Но дело не в этом только, а скорее всего в том, что произведения разностороннего и сильного таланта Маршака никогда не были предметом сколько-нибудь резкого столкновения противоположных мнений, споров, нападок и защиты. Говоря так, я не беру в расчет стародавние попытки «критики» особого рода обнаружить и в детской литературе явления «главной опасности — правого уклона» и с этой точки зрения обрушившейся было на популярные стихи С. Маршака и К. Чуковского, но получившей в свое время решительный отпор со стороны М. Горького.

Высказывания литературной критики о Маршаке различаются по степени чуть более или чуть менее высоких оценок. И высказывания эти, чаще всего приуроченные к очередным премиям, наградам или юбилейным датам поэта,— дело прошлое,— уже приобретали характер канонизации, когда стиралась граница между действительно блестящими и менее совершенными образцами его работы.

Литературный путь С. Я. Маршака не представляется, как у многих поэтов и писателей его поколения, расчлененным на этапы или периоды, которые бы различались в коренном и существенном смысле. Можно говорить лишь о преимущественной сосредоточенности его то на стихах для детей, то на переводах, то на политической сатире, как в годы войны, то на драматургии или наконец на лирике, как в последние годы жизни. Но и здесь нужно сказать, что он никогда не оставлял полностью одного жанра или рода поэзии ради другого и сам вел именно то «многопольное хозяйство», которое настойчиво пропагандировал в своих пожеланиях литературным друзьям и воспитанникам.

Маршак, каким мы знаем его с начала 20-х годов, с первых книжек для малышей, где стихи его занимали как бы только скромную роль подписей под картинками, и до углубленных раздумий о жизни и смерти, о времени и об искусстве в лирике, завершающей его литературное наследие,— ни в чем не противостоит самому себе. В этом смысле он представляет собою явление исключительной цельности.

По внешнему признаку Маршак кончает тем, с чего обычно поэты начинают,— лирикой; но эта умудренная опытом жизни и глубоким знанием заветов большого искусства лирическая беседа с читателем вовсе не похожа

на запоздалые выяснения взаимоотношений поэта со временем, народом, революцией. Он начал свой путь советского писателя зрелым человеком, прошедшим долгие годы литературной выучки, не оставив, однако, за собой значительных следов в дооктябрьской литературе. Ему вообще не было нужды на глазах читателя что-то в своем прошлом пересматривать, от чего-то отказываться. Не связанный ни с одной из многочисленных литературных группировок тех лет, не причастный ни к каким манифестам, не писавший никаких деклараций в стихах или прозе, он, попросту говоря, начал не со слов, а с дела — скромнейшего по видимости дела — выпуска тоненьких иллюстрированных книжек для детей.

Почти полувековая работа С. Я. Маршака в детской литературе, художественном переводе, драматургии, литературной критике и других родах и жанрах не знала резких рывков, внезапных поворотов, неожиданных открытий. Это было медленное, непрерывное — в упорном труде изо дня в день — накопление поэтических ценностей, неуклонно возраставшее с годами. Его слава художника, упроченная этой последовательностью, чужда дуновениям моды и надежно застрахована от переменчивости литературных вкусов.

Маршак освобождает своих биографов и исследователей от необходимости неизбежных в других случаях пространных толкований путей и перепутий его развития или особо сложных, притемненных мест его поэзии. Если бы и нашлись места, требующие известной читательской сосредоточенности, то это относилось бы к Шекспиру, Блейку, Китсу или кому другому, с кем знакомит русского читателя Маршак-переводчик, которому заказаны приемы упрощения или «облегчения» оригинала.

Но при всей видимой ясности, традиционности и как бы незамысловатости приемов и средств Маршака, он мастер, много думавший об искусстве поэзии, заставляет всматриваться и думать о себе не менее, чем любой из его литературных сверстников, и куда более, чем иные сложные и пересложные «виртуозы стиха».

И это обязывает, говоря о нем, по крайней мере, избежать готовых, общепринятых характеристик и оценок. Чаще всего, например, при самых, казалось бы, высоких похвалах таланту и заслугам художника, у нас наготове услужливый оборотец: «один из...» А он-таки просто один и есть, если это настоящий художник, один без всяких

«из», потому что в искусстве — счет по одному. Оно не любит даже издавна применяемой «парности» в подсчетах и распределении его сил, о которой с огорчением говорил еще Чехов, отмечая, что критика всегда ставила его «в паре» с кем-нибудь («Чехов и Короленко», «Чехов и Бунин» и т. д.). В нашей критике в силу этого принципа парности долгое время было немыслимым назвать С. Маршака, не назвав тотчас К. Чуковского, и наоборот, хотя это очень разные люди в искусстве, и каждый из них — сам по себе во всех родах и жанрах их разнообразной литературной работы.

Мои заметки — это даже не попытка критико-биографического очерка или обзора, охватывающего все стороны и факты жизни и творчества С. Я. Маршака. Это лишь отдельные и, может быть, не бесспорные наблюдения, относящиеся к его разнообразному наследию; отчасти, может быть, наброски к литературному портрету. Для многих из нас, близко общавшихся с ним, знавших Маршака — замечательного собеседника, видевших его, так сказать, в работе и пользовавшихся его дружбой,— он как бы часть собственной жизни в литературе, в известном смысле школа, которая была ценна не только для тех, кто встречался с ним зеленым юношей.

II

Я не сразу по-настоящему оценил высокое мастерство детских стихов С. Я. Маршака. Причиной было скорее всего мое деревенское детство, которое вообще обошлось без детской литературы и слишком далеко отстояло своими впечатлениями от специфически городского мира маршаковской поэзии для детей.

«Детский» Маршак раскрылся мне в полную меру достоинств этого рода поэзии через Маршака «взрослого», в первую очередь через его Роберта Бернса, в котором я почувствовал родную душу еще в юности по немногим образцам из «Антологии» Н. Гербеля, а также через столь близкую Бернсу английскую и шотландскую народную поэзию в маршаковских переводах, через его статьи по вопросам поэтического мастерства и, наконец, через многолетнее непосредственное общение с поэтом.

Нельзя было не сравнить того и этого Маршака и нельзя было не увидеть удивительной цельности, единства художественной природы стиха, выполняющего очень не-

сходные задачи. В одном случае — веселая, бойкая и незатейливая занимательность, сказочная условность, рассчитанная на восприятие ребенка и не упускающая из виду целей педагогических, в лучшем смысле этого понятия; в другом — лирика Бернса, веселая или грустная, любовная или гражданственная, но простая и односложная лишь по внешним признакам и насыщенная сугубо реальным, порой до грубоватости и озорства содержанием человеческих отношений.

Но и тут, и там — стих ясный и отчетливый в целом и в частностях; и тут, и там — строфа, замыкающая стихотворное предложение, несущая законченную мысль, подобно песенному куплету; и тут, и там — музыка повторов, скрытное искусство выразительной речи из немногих счетом слов,— каждая строфа и строка, как новая монета, то более, то менее крупная, вплоть до мелкой, разменной, но четкая и звонкая.

В прочной и поместительной строфе:

В этот гладкий коробок
Бронзового цвета
Спрятан маленький дубок
Будущего лета,—

«спрятана» и вся «Песня о желуде», написанная Маршаком задолго до его перевода бернсовского «Джона — Ячменное Зерно». По мне, она явно сродни стиху знаменитой баллады. Хотя здесь хорей, а там ямб, но это как раз самые любимые и ходовые размеры детских и недетских стихов и переводов Маршака. Правда, может быть, на это сближение наводит отчасти и содержание «Песни», близкое идее неукротимости произрастания, жизненной силы.

Конечно, это первый пришедший на память пример, указывающий на родство стиха Маршака в очень различных его назначениях. Но и на многих примерах самый пристальный анализ поэтических средств Маршака «детского» и «бернсовского», как и вообще Маршака-переводчика, я уверен, только подтвердил бы их исходное единство, к которому, разумеется, несводимо все разнообразие оттенков, зависящих от возрастающей сложности содержания.

Я лишь клоню к тому, что Маршак исподволь был подготовлен ко встрече с поэзией Бернса. Он сперва обрел и развил в себе многое из того, что было необходимо для

этой встречи и что обеспечило ее столь бесспорный успех,— сперва стал Маршаком, а потом уже переводчиком великого поэта Шотландии. Но никак не хочу сказать, что работа над детскими вещами была лишь своеобразной школой, готовившей мастера для «взрослых» вещей. Ее значение прежде всего в ней самой — в наличии среди детских стихов настоящих шедевров этого рода поэзии, которым принадлежит любовь многих — одного за другим — поколений маленьких и признательная память взрослых читателей.

Подготовкой С. Я. Маршака к выступлениям в детской литературе, периодом, когда складывались основы его, как говорится, эстетического кодекса, были годы, о которых он рассказывает в автобиографической книге «В начале жизни». По счастливой случайности стихи гимназиста Маршака, прибывшего в Петербург из города Острогожска, обратили на себя сочувственное внимание В. В. Стасова, а также Горького и Шаляпина, принявших непосредственное участие в жизненной судьбе юного поэта,— устроивших, ввиду предрасположенности его к туберкулезу, в Ялтинскую гимназию на свой счет. Но этот период, так сказать, литературного «вундеркиндства» Маршака еще далеко отстоял от появления его первых книжек для детей и приобретения литературного имени. Еще были годы ученья на родине и в Англии, куда он отправился юношей,— годы разнообразной малозаметной литературной работы — от переводов до репортажа, но главное — годы непрерывного накопления знаний, изучения языков, отечественной и мировой поэзии, в которой он потом всю остальную жизнь чувствовал себя поистине — как дома.

Я не думаю, что мечтой его литературной юности было стать именно детским поэтом. Тут были и попутные увлечения организацией детского театра, и, может быть, даже чисто внешние житейские поводы, как необходимость заработка, что отнюдь не означало пониженных требований к себе.

Вспоминаю, как на первых порах знакомства с С. Я. Маршаком, когда я приехал в Москву в середине 30-х годов, уступая его настоянию, показал ему одну из моих двух книжек для детей, выпущенных Смоленским издательством. Я не придавал им серьезного значения, но все же волновался.

Привычным рабочим жестом отсунув очки на лоб и

близко-близко поднося страницу за страницей к глазам, он быстро-быстро пробежал книжку, и, надо сказать, это были памятные для меня минуты испытания. Это — как если бы я отважился «показать» И. С. Козловскому что-нибудь из моего «народно-песенного репертуара», имевшего в дружеском кругу почти неизменный успех.

Маршак уронил руку с зажатой в ней книжонкой на стол и глубоко вздохнул, точнее — перевел дух. Он был очень чуток к тому, что говорят о нем самом, и хорошо знал весомость своих приговоров предложенным на его суд вещам,— ему было нелегко выносить их. Он заерзал в кресле, нервно почесал за ухом и заговорил, спеша, порывисто, умоляюще, но с непререкаемой убежденностью:

— Голубчик, не нужно огорчаться, но это написал совсем другой человек, не тот, что «Страну Муравию».

— Это написано до «Муравии».

— Все равно, голубчик, все равно. Здесь нет ничего своего, все из готовых слов.

Я очень жалел, что вдруг так уронил себя в его глазах этой книжечкой, и, стремясь как-нибудь увернуться от его жестоких слов, переменить разговор, сказал, что, мол, ладно, о чем тут говорить: ведь это же так, собственно, по заказу, для... Я тогда не то чтобы вполне разделял понятия моих литературных сверстников, изнуренных непробиваемостью редакционно-издательских заслонов и не считавших зазорной невзыскательность в выполнении «заказной» работы, будь это хотя бы и стихи для детей, но и не видел в таких понятиях особого греха. А главное, я не предполагал, с каким огорчением и еле сдерживаемым возмущением могут быть восприняты Маршаком эти мои слова: «для... по заказу», тем более что они относились к стихам, предназначенным для детского чтения.

В дальнейшем я имел возможность много раз убедиться, что строжайшим правилом всей его литературной жизни было безоговорочное отрицание того допущения, будто в искусстве одно можно делать в полную силу, а другое, как говорится, по мере возможности. Это было для него немыслимо так же, скажем, как для человека искренней и глубокой веры по-настоящему молиться лишь в церкви, а в иных местах наспех и как-нибудь. Конечно, не всякая задача в равной степени может волновать, но всякая, самая скромная, неукоснительно требует честности и хотя бы профессиональной безупречности выполнения. Это было для Маршака законом, которого он не преступал,

касалось ли дело заветного, годами вынашиваемого замысла или телефонного заказа из газеты сделать стихотворную надпись под карикатурой, отозваться фельетоном на подходящий факт международной жизни или написать по просьбе издательства «внутреннюю» рецензию на рукопись.

Маршаку очень было по душе свидетельство одного мемуариста о том, как П. И. Чайковский отчитал молодого композитора, пожаловавшегося ему на судьбу, что вот, мол, приходится часто работать по заказу, для заработка.

— Вздор, молодой человек. Отлично можно и должно работать по заказу, для заработка, например, я так и люблю работать. Все дело в том, чтобы работать честно.

Но успех С. Я. Маршака в детской литературе основан был, конечно, не на одной его истовой честности в работе над тем, за что он брался,— без этого вообще ничего доброго не может выйти. Здесь сыграл свою решающую роль подготовительный период, школа усвоения лучших образцов классики и фольклора, всего того здравого, демократичного, жизнелюбивого, что всегда отличает подлинно великую поэзию, будь то Пушкин или русская народная сказка и песня, Бернс или английская и шотландская народная баллада. В те дореволюционные годы молодому поэту так легко было нахлебаться всяческой модной усложненности, невнятицы и изысканности, которые могли бы подготовить для него только судьбу эпигона, последыша искусства, чуждого большой народной жизни, и, естественно, опрокинутого революцией.

Но и одной защищенности от модных влияний, развитого вкуса и здоровых пристрастий было бы недостаточно для того, чтобы успешно заявить себя в этой же специфической области литературы. Детская литература в досоветские времена, кроме немногих общеизвестных хрестоматийных образцов в наследии Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Толстого, Чехова да еще кое-кого из неперворазрядных авторов, была объектом приложения по преимуществу дамских сил, совсем в духе того, как об этом безжалостно писал Саша Черный:

Дама сидела на ветке,
Пикала: — Милые детки...

Детская поэзия была заведомо прикладной и не шла в общелитературный счет. Здесь нужен был еще особый

склад дарования и отчасти педагогического мышления, знание психологии ребенка и подростка, уменье видеть в них не отвлеченного «маленького читателя», а скорее, собственных детей или детей своего двора, которых знаешь не только по именам, но и со всеми их повадками, склонностями и интересами.

Трудно даже вообразить в детской поэзии голос таких талантливейших сверстников Маршака, приобретших известность гораздо раньше его, как Ахматова, Цветаева или Пастернак. Высокая культура стиха, мастерство их поэзии неоспоримы в истории нашей литературы. Но эта поэзия отмечена, при всем очевидном своем новаторстве, некоторым традиционным знаком «бездетности» ее лирических героев. Она обладает развитой силой слова в выражении чувств, обращенных к возлюбленному или возлюбленной, в живописании тончайших переживаний любви, ее обретений и утрат, но мир интересов и понятий того, кто, как говорится, является плодом любви — счастливой или несчастливой,— мир ребенка для нее как бы не существует. Так же и с тонким чувством природы, вообще предметным наполнением этой поэзии,— там сколько угодно памяти детства и «детскости» в способах видения мира, но не той, какая доступна детям.

Я назвал бы в этом ряду поэтов не менее сложного, чем даже Пастернак, О. Мандельштама, но вдруг обнаружил, чего никак нельзя было предположить, что он выпустил в первой половине 20-х годов несколько детских книжек в стихах. Однако при всем том, что талантливый поэт, даже выступая в несвойственном ему роде, не может не обронить нескольких удачных строф, стихи эти оставляют впечатление принужденности и натянутости. Как будто оставлен был этот взрослый добрый и умный человек на весь день в городской квартире с маленькими детьми, в отсутствие их родителей, и умаялся, стремясь занять их стихами о свойствах и назначениях предметов домашнего обихода: примус, кран, утюг, кастрюли и т. д., сочинил даже целую сказку о двух трамваях — Клике и Траме, но все это по необходимости, без подлинной увлеченности. Есть и «полезные сведения», и юмор, и подмывающий ритмический изгибец:

Мне, сырому, неученому,
Простоквашей стать легко,
Говорило кипяченому
Сырое молоко...

Но все это скорее способно привлечь взрослых выразительностью исполнения, чем заинтересовать ребят. Попытки эти никак на дальнейшей работе поэта не отразились.

У Есенина, поэта — в противоположность Мандельштаму — феноменальной популярности у взрослых читателей, не было, кажется, и попыток заговорить с детьми на языке своей поэзии, и вообразить этот разговор, пожалуй, еще труднее.

Не помню, чтобы из Д. Бедного что-нибудь закрепилось в детском «круге чтения», хотя, казалось бы, это поэт подчеркнуто простой и общедоступной речи, к тому же большой знаток народного языка, фольклорной поэзии, и не только из книжных источников. Его стихотворная речь имела в виду самого простого, даже неграмотного, но зрелого жизненным опытом человека — рабочего, крестьянина, красноармейца,— постигающего прежде всего политическую остроту этой речи.

У Маяковского детские стихи были одной из форм его целенаправленной агитационной поэзии, но с маленьким читателем он говорил слишком рассудочно и с натугой человека, как бы подбирающего слова малознакомого ему языка. Здесь он далеко не достигал уровня своего мастерства.

Все это говорится, чтобы подчеркнуть особую сложность и трудность искусства детской поэзии, если ее рассматривать не как «прикладную отрасль» литературы, а в одном ряду с поэзией как таковой.

Если сказать, что детская поэзия прежде всего не терпит, например, неясности, неотчетливости или усложненности содержания, то вряд ли это будет ее особым условием, которое было бы вовсе не обязательным вообще поэзии. Но здесь, в поэзии, обращенной к читателю на первых ступенях постижения им мира через образную силу родного языка, условие это является непременным. Детям не свойственно тщеславие того рода, которое часто заставляет взрослых притворяться заинтересованными и даже восхищенными тем, что им, на поверку, попросту непонятно. В чем другом детям свойственно и притворство, и лукавство, но не в этом: они не способны удерживать внимание на том, чего не понимают. Их не увлечь подтекстом, если текст сам по себе оставляет их равнодушным.

Так же и с отвлеченностью или беспредметностью содержания, которых не выносит детская поэзия. Она все-

гда — в стихах ли, в прозе ли — непременно что-то сообщает, о чем-то повествует, как всякая сказка, заключает в себе какую-то историю, случай, даже анекдот. Например, анекдот о том, как «дама сдавала багаж» и что обнаружилось на месте его назначения; он и не выдает себя за доподлинную быль, но занятен последовательным изложением обстоятельств, при которых «маленькая собачонка» вдруг превратилась в большую собаку.

Читатель детской книжки умеет ценить в ней, так сказать, безусловность информации. Если речь о цирке, то какие там восхитительные чудеса представляются, хотя бы и с явными преувеличениями в стиле цирковой афиши; если о зоопарке, то должны быть «портреты» натуральных зверей с их характерными повадками; если о пожаре, то как он возник, какую представляет опасность и как с ним справляются пожарные.

Дидактичность и элементарная познавательность — в самом назначении детской книжки, но это книжка — не замена другим средствам обучения и воспитания. Пленить своего читателя назойливым нравоучительством или одним только сообщением ему полезных вообще сведений она так же не в состоянии, как и «проблемный» роман, который преподносит нам в образной форме материал, принадлежащий обычным средствам технической или иной пропаганды. Но в последнем случае дурная тенденциозность все же не столь безоговорочно отвергается, как в первом, где читатель свободен от многих условностей «взрослого» восприятия. И он несравненно более чуток и неподкупен в отношении малейшей фальши, натянутости и упрощенности подлаживающейся к его «уровню» стихотворной или прозаической речи. Она отталкивает его так же, как дурная манера иных взрослых в обращении к детям — шепелявить и сюсюкать.

Во многих смыслах детская книжка — это взыскательнейший экзамен для поэзии вообще, насколько она обладает своими изначальными достоинствами ясности, существенной занимательности содержания и непринужденной энергии, естественной, как дыхание, мерности и «незаметности» формы.

Сказки Пушкина, хотя они не предназначались для детей, Маршак считал наивысшим образцом детской поэзии. Эта часть пушкинского наследия, прямо идущая от русской народной сказки, была для него не менее дорога, чем «Евгений Онегин» или лирика великого поэта. Его

наблюдения над стихом сказок поражают зоркостью, обращенной к таким предельно простым случаям, где, казалось бы, уже совсем нечего искать:

Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.

Его восхищал лаконизм этих строчек, где разом, без отрыва пера от бумаги, нарисовано вверху огромное небо, а внизу огромное море. Он отстаивал неслучайность того, что небо помещено в верхней, а море в нижней строчке. Это верно, и невольно приводит на память строку ребячьего описания моря, отмеченную Чеховым: «Море было большое».

Как часто Маршак цитировал строки из «Сказки о царе Салтане» о выходе из бочки младенца-богатыря Гвидона, исполненные веселой энергии, «пружинистости» действия:

Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся,
Понатужился немножко:
«Как бы здесь на двор окошко
Нам проделать?» — молвил он,
Вышиб дно и вышел вон.

Здесь «ударность» последней, прекрасно «инструментованной» строчки: «Вышиб дно и вышел вон» — действительно звучит подобно заключительному возгласу считалки в детской игре.

Ритмическую «счетность» своих стихов для малышей Маршак даже подчеркивает разбивкой, при которой на строку приходится одно, два коротких слова. Его «Мяч» с точностью передает ритмику ударов, падений и подскакиваний мяча от начала до конца игры, а четверостишие «Дуйте, дуйте, ветры в поле...» дает как бы четыре полных оборота крыла ветряной мельницы.

Стих Маршака «работает», усложняясь с возрастом читателя, следуя за ним от простенькой считалки и песенки детского сада, от сказки, которую ребенок постигает на слух в чтении старших, и к открытию им первоначальной радости самостоятельного чтения и освоения — ступенька за ступенькой — все более значительного содержания.

Солнечна и радостна возникающая из немногих слов картина радуги:

Солнце вешнее с дождем
Строят радугу вдвоем —

Семицветный полукруг
Из семи широких дуг.
Нет у солнца и дождя
Ни единого гвоздя,
А построили в два счета
Поднебесные ворота.

Быстро проносятся один за другим двенадцать месяцев «Круглого года» — каждый со своими «опознавательными» знаками — и завершаются двенадцатью ударами часов кремлевской башни. Все они еще предстанут в более сложной образной оснастке перед подросшим читателем детской поэзии Маршака и зрителем пьесы-сказки «Двенадцать месяцев», но до этой встречи подрастающего читателя со своим поэтом — будет еще и «Пожар», и «Почта», и «Багаж», и «Рассеянный», и «Детки в клетке», и «Цирк», и «Мистер Твистер», и «многое множество», по любимому выражению Маршака, разных русских и иноземных, смешных и серьезных сказок и рассказов в стихах, песенок, шуток и прибауток. «Детский» Маршак — это целый обширный, многоголосый и многокрасочный мир поэзии. Стих его не боится слов простых, обычных; напротив, в нем не помещаются слова бьющей на эффект «поэтической» окраски; он избегает «редких» эпитетов, излишней детализации.

«Подлинная, проникнутая жизнью поэзия,— пишет Маршак в одной из своих статей о мастерстве,— не ищет дешевых эффектов, не занимается трюками. Ей недосуг этим заниматься, ей не до того. Она пользуется всеми бесконечными возможностями, заложенными в самом простом четверостишии или двустишии, для решения своей задачи, для работы».

Это сказано о стихах Пушкина и Некрасова, и это в первую очередь нужно отнести к непременным требованиям поэзии для детей. Сюда следует отнести, в частности, требование ритмически выраженной в стихе пунктуации, без чего невозможна естественность, «ладность» поэтической речи.

Маршак любил приводить строчку Плещеева: «И, смеясь, рукою дряхлой гладит он...»,— где запятая перед словом «рукою» не спасает — все равно ритмически получается: «Смеясь рукою...»

Стих детской поэзии вовсе не чуждается юмора, веселого, удачного словесного озорства и даже рискованной лихости:

По проволоке дама
Идет, как телеграмма

Эти строчки Маршака, очень понравившиеся Маяковскому, в свое время вызывали протест со стороны педагогического педантства: телеграмма и дама-канатоходец, конечно же, «идут по проволоке» совсем по-разному и т. п. Но ведь и строчки ершовского «Конька-горбунка»:

Братья сеяли пшеницу
И возили в град-столицу:
Знать, столица та была
Недалече от села,—

с очевидной дерзостью меняют местами эти населенные пункты,— конечно же, село располагалось неподалеку от столицы, а не наоборот. Пушкин не мог не оценить «веселое лукавство» этих глубоких по смыслу строчек. Есть литературное предание, что первая строфа «Конька-горбунка» была написана Пушкиным. Так это или не так, но строфа как бы подготовляет только что приведенные строчки размашисто-условным, в духе народного балагурства, определением места действия:

Против неба — на земле.

Рискованное двустишие Маршака представляется вдруг вылетевшим из уст ребенка, который уже слышал от старших, что телеграммы идут «по проволоке», и, увидев в цирке канатоходческий номер, «обобщил» даму с телеграммой.

Безупречность, смысловая ясность и отчетливость, строгий отбор на слух и вес каждого слова, навык «забивания гвоздя по самую шляпку» с успехом применены были Маршаком в его работе на взрослого читателя в годы Отечественной войны. Не раскрывая книги, можно по старой памяти газетных страниц тех дней привести хлесткие сатирические стихи, построенные опять-таки из немногих счетом слов и повторов:

Кличет Гитлер Риббентропа,
Кличет Геббельса к себе:
— Я хочу, чтоб вся Европа
Поддержала нас в борьбе!
— Нас поддержит вся Европа! —
Отвечали два холопа...

Стихи-плакаты:

Лом железный соберем
Для мартена и вагранки,
Чтобы вражеские танки
Превратить в железный лом!

Это четверостишие открывается и закрывается одними и теми же словами. Но сто̀ит, не меняя ни одного слова, переставить строчки четверостишия:

Чтобы вражеские танки
Превратить в железный лом,
Для мартена и вагранки
Лом железный соберем! —

и мы видим, что при полной сохранности «смысла», вместо энергии и движения, здесь уже только изложение, стих утрачивает «пружинистость» и становится «полубезработным»,— содержание лишается силы. Вот что означает требование, чтобы в строфе нельзя было ничего переставить или подвинуть.

Поэзия Маршака взращена на доброй русской, пушкинской основе, и поэтому она оказалась способной обогатить и нашу детскую литературу множеством прекрасных образцов мировой поэзии: детскими песнями, сказками, шутками и прибаутками разных народов. В наибольшем объеме представлена у него Англия — «Дом, который построил Джек», «Шалтай-Болтай», «Гвоздь и подкова» и множество подобных чудесных вещиц. Но и другие страны и народы, советские и зарубежные, перекликаются в детской поэзии на русском языке под пером Маршака. Одна эта заслуга — в духе русской, пушкинской традиции «усвоения родной речи» (выражение Белинского) разнообразных иноязычных богатств поэзии — могла бы составить поэту прочную славу в нашей литературе.

Иногда трудно в поэзии Маршака провести четкую грань между «оригинальным» и переводным, между мотивами русского фольклора и фольклора иноязычного. Например, сказку «Король и пастух» он называет переводом с английского, но сюжетом она полностью совпадает со «старинной народной сказкой», изложенной в стихах М. Исаковским под заглавием «Царь, поп и мельник», едва ли даже предполагавшим, что она может быть иною, чем русской.

Часто Маршак даже не указывает, какому из «разных народов» принадлежит то или иное произведение народной поэзии, которому он сообщает новую жизнь на русском языке, сохраняя, впрочем, характерные приметы его иноязычной природы. Маршак указывает, что в основу его драматической сказки «Двенадцать месяцев» «положены мотивы славянской народной поэзии», но, точнее, она, как выражаются ученые люди, восходит к чешской народной сказке, в свое время пересказанной Боженой Немцовой и изложенной Маршаком сначала в прозе. Окончательно претворение фольклорных мотивов сказки в драматургической форме явилось произведением вполне самостоятельным и оригинальным, полным света, добрых чувств и глубокой мысли. Недаром оно впервые было поставлено на сцене МХАТа и имеет одинаковый успех как у юных, так и у взрослых читателей и зрителей.

Мировая литература знает много случаев, когда замечательные произведения, первоначально предназначенные не для детей, становились впоследствии любимыми детскими книгами, например «Дон Кихот», «Робинзон Крузо», «Путешествие Гулливера». Реже случаи, когда произведения, адресованные именно детскому читателю, становились сразу или позднее книгами, в равной степени интересными и для взрослых. Здесь в первую очередь можно назвать сказки Андерсена.

«Двенадцать месяцев» Маршака — один из таких случаев. По видимости непритязательная история, где судьба знакомой по многим сказкам трудолюбивой и умной девочки-сироты, гонимой и травимой злой мачехой, сказочным образом перекрещивается с судьбой ее ровесницы — своенравной, избалованной властью девочки-королевы,— вмещает в себе, как это часто бывает в настоящей поэзии, ненароком и такие моменты содержания, которых автор, может быть, и в уме не держал. Таким мотивом звучит в этой пьесе мотив власти, не ведающей себе пределов, положенных даже законами природы, и уверенной, как эта маленькая капризница на троне, что она может в случае надобности издавать свои законы природы. Увлекательно, непринужденно и весело показывает действие пьесы-сказки провал этих притязаний девочки-деспота, ограниченных, правда, детским желанием иметь в новогодний праздник подснежники.

То, что мы называем детской литературой, детской поэзией, часто смешивая эти понятия с представлением

о «валовой» продукции Детиздата, в сущности, застает нас всех еще на самой ранней поре нашего бытия. Впервые поэзия звучит для нас из уст матери напевом полуимпровизованной колыбельной, называющей нас по имени, или сопровождаемой счетом на пальцах детской ручонки коротенькой сказочкой о том, как «сорока-ворона кашку варила, деток кормила...» Здесь еще и сорока с вороной идет заодно, и стихи заодно с прозой.

Но без этого первоначального приобщения младенческой души к чуду поэзии даже самая драгоценная память человеческая — память матери — была бы лишена тех слов и мотивов, которые с годами не только не покидают нас, но становятся все дороже. И мы тем более и явственнее — с признательной нежностью — слышим их в своем сердце, чем шире, разнообразнее, богаче за всю нашу жизнь были наши встречи с поэзией и музыкой. Потому что те простейшие слова и мотивы есть не что иное, как первообраз искусства, они — из самой его природы и несут в себе главные и, в сущности, неизменные признаки и свойства подлинного искусства: его ясность и прямодушие, немногословность и живописность, его доброту и шутку, легкий упрек и наставление.

Этим и определяются, в самом общем смысле, особые эстетические и нравственные требования, которые ставит детская поэзия перед теми, кто пытается заявить себя в этом роде искусства. Разумеется, эти требования отнюдь не противопоказаны никакому другому искусству, рассчитанному хотя бы и на самый зрелый вкус и высокий уровень понимания, но, повторю еще раз, здесь они непременны.

Ни «Сказки» Пушкина, ни даже некрасовские «Стихотворения, посвященные русским детям», как и другие образцы классики, не относились к собственно детской поэзии,— она еще не выделилась в литературе в самостоятельный род. К тому же круг детского чтения усвоил и закрепил за собою столько целых вещей и отрывков из произведений классики, вовсе не имевших его в виду.

Все это дает повод иным из нас считать детскую литературу как бы не вполне законным литературным родом. Но одним из самых бесспорных и всемирно признанных достижений советской литературы за ее полувековую жизнь, ее расширением средств своего влияния на читателя является как раз этот ее род — развитая детская литература во всем ее жанровом многообразии.

В становлении и развитии этого рода литературы С. Я. Маршаку по праву принадлежит особое место как критику, редактору детской литературы, собирателю и воспитателю ее разнообразных сил и талантов. Здесь едва ли найдется имя поэта или прозаика, которое не было бы в свое время замечено, поддержано или даже выведено им в люди.

Но прежде всего, говоря без обиняков, Маршак первым в русской литературе посвятил главную часть своей большой жизни, выдающегося поэтического таланта именно детской литературе, которая до него не имела далеко того безусловного общелитературного значения, какое имеет ныне. При этом не только не беда, что он, так сказать, не поместился целиком в собственно детской литературе и при высоко развитом профессионализме литератора не остался «профессионально детским» писателем, а, наоборот, это лишь свидетельство широты и подлинности его творческих прав в художественной литературе.

Это никак не могло помешать творческой сосредоточенности Маршака в пределах детской поэзии и драматургии, критике и редакторской деятельности. Он был человеком, как принято выражаться, полной самоотдачи в искусстве, с какою бы его ветвью он ни был связан. Годы и десятилетия отдавал он напряженному до истовости труду, накапливая все то поэтическое богатство, которое мы теперь именуем Маршаком — «детским», и никогда не ставил эту свою работу, с какими бы то ни было оговорками, ниже любой другой, даже если это была работа над переводом классических образцов мировой поэзии.

Я начал речь о детской поэзии Маршака с признания, что оценил ее по-настоящему, обратившись к ней внимательнее после встречи с Бернсом в его переводах. Русская и мировая народная поэзия, Пушкин и Бернс и многое другое в отечественных, западных и восточных богатствах поэтического искусства, с ненасытностью детства и юности усвоенное на всю жизнь,— вот что определило его художническую взыскательность и подготовило мастера стихотворной беседы с детьми. И там лишь практически закрепились его пристрастия к немногословной, ясной и емкой смыслом строфе, чтобы в ней уже ничего нельзя было «ни убавить, ни прибавить».

III

С усвоенным и развитым в работе над стихами для детей навыком доведения строки и строфы до полной, необратимой отчетливости, Маршак приступил к своему Бернсу, поэзия которого была главной любовью всей его литературной жизни и явилась счастливейшей возможностью приложения его особого «переводческого» дара.

Я умышленно ставлю это слово в кавычках. Маршак много переводил, переводы составляют, пожалуй, большую половину его стихотворного наследия. Но он не любил слово «перевод», особенно «переводчик», всячески избегал их и обычно свои новые переводы называл новыми стихами, когда читал их при встрече с друзьями. Он не принимал слов самого Пушкина о Жуковском, что тот был бы переведен на все языки, когда бы сам меньше переводил.

Жуковского он ценил очень высоко, вычитывая из него при случае на память целые страницы, так же и других русских мастеров поэтического перевода — И. Козлова, М. Михайлова, В. Курочкина.

Он был до мелочей привередлив и настойчив по части обозначений при печатании его переводов — часто вопреки принятому в данном издании единообразию,— фамилия его должна была стоять сверху, слово «перевод» заменялось по-старинному обозначением: «Из Роберта Бернса», «Из Вильяма Блейка» и т. п.

В литературной жизни не редкость, когда мастер недостаточно ценит наиболее сильную сторону своего дара и очень чувствителен к тому, что преимущественное внимание читателя и критики относят к этой именно стороне. С известными оговорками можно сказать, что и у Самуила Яковлевича была эта слабость недооценки своего редкостного дара приобщать русской речи образцы иноязычной поэзии на таком уровне мастерства, когда становится немыслимой иная русская интерпретация данного произведения,— скажем, Бернса.

На правах дружбы, я позволял себе подтрунивать над его невинной привередливостью по части обозначений «перевод» или «из...», но всегда, и особенно теперь, когда подо всем, написанным его рукой, подведена черта, считал и считаю, что он имел-таки право на эти претензии в отношении своей работы.

«Чтобы по-настоящему, не одной только головой, но

и сердцем понять мир чувств Шекспира, Гете и Данте,— говорится в статье Маршака «Портрет или копия?.. (Искусство перевода)»,— надо найти нечто соответствующее в своем опыте чувств... Настоящий художественный перевод можно сравнить не с фотографией, а с портретом, сделанным рукой художника. Фотография может быть очень искусной, даже артистичной, но она не пережита ее автором».

Сонеты Шекспира — наиболее удаленный от нашего времени образец мировой поэзии, явившейся нам в русской интерпретации Маршака. И надо сказать, неуловимый холодок этой классической удаленности все же в какой-то степени набегает на эти превосходные творения Шекспира. И Маршаку в работе над этими переводами действительно нужно было иметь «нечто соответствующее в своем опыте чувств». Нет необходимости подробно объяснять, какой опыт взыскательного мастера живет, к примеру, за строчками-переводами семьдесят шестого сонета.

Увы, мой стих не блещет новизной,
Разнообразья перемен нежданных.
Не поискать ли мне тропы иной,
Приемов новых, сочетаний странных?

Я повторяю прежнее опять,
В одежде старой появляюсь снова,
И кажется, по имени назвать
Меня в стихах любое может слово

Все это оттого, что вновь и вновь
Решаю я одну свою задачу:
Я о тебе пишу, моя любовь,
И то же сердце, те же силы трачу.

Все то же солнце ходит надо мной,
Но и оно не блещет новизной.

Это все к тому, что Маршак не любил слов «перевод» и «переводчик». Действительно, обозначение «перевод» в отношении поэзии чаще всего в той или иной мере отталкивает читателя: оно позволяет предполагать, что имеешь дело с некоей условной копией поэтического произведения, именно «переводом», за пределами которого находится недоступная тебе в данном случае подлинная прелесть оригинала. И есть при этом другое, поневоле невзыскательное чувство читателя,— готовность прощать этой «копии» ее несовершенства в собственно поэтическом

смысле: уж тут ничего не поделаешь,— перевод, был бы только он точным, и на том спасибо.

Однако и то и другое чувство могут породить лишь переводы убого-формальные, ремесленнического толка, изобилие которых, к сожалению, не убывает со времен возникновения этого рода литературы.

Но есть переводы другого ряда, другого толка.

Русская школа поэтического перевода, начиная с Жуковского и Пушкина и кончая современными советскими поэтами, дает блистательные образцы переводов лучших произведений поэзии иных языков. Эти переводы прочно вошли в фонд отечественной поэзии, стали почти неразличимыми в ряду ее оригинальных созданий и вместе с ними составляют ее заслуженную гордость и славу. И нам даже не всякий раз приходит на память, что это переводы, когда мы читаем или слушаем на родном языке, к примеру, такие вещи, как «Будрыс и его сыновья» Мицкевича (Пушкин), «Горные вершины...» Гёте (Лермонтов), «На погребение сэра Джона Мура» («Не бил барабан перед смутным полком...») Вольфа (И. Козлов), песни Беранже (В. Курочкин) и многие, многие другие. При восприятии таких поэтических произведений, получивших свое, так сказать, второе существование на нашем родном языке, меньше всего задумываемся над тем, насколько они «точны» в отношении оригинала.

Я, читатель, допустим, не знаю языка оригинала, но данное произведение на русском языке волнует меня, доставляет мне живую радость, воодушевляет меня силой поэтического впечатления, и я не могу предположить, что в оригинале это не так, а как-нибудь иначе, я принимаю это как полное соответствие с оригиналом и отношу мою признательность и восхищение к автору оригинала наравне с автором перевода,— они для меня как бы одно лицо.

Словом, чем сильнее непосредственное обаяние перевода, тем вернее считать, что перевод этот точен, близок, соответствен оригиналу.

Памятные слова на этот счет сказал И. С. Тургенев, касаясь вопроса о качестве одного из переводов «Фауста»:

«Чем более перевод нам кажется не переводом, а непосредственным, самобытным произведением, тем он превосходнее... Такой перевод не может быть неверным...»

И, конечно, наоборот, чем менее иллюзии непосредственного, самобытного произведения дает нам перевод,

тем вернее будет предположить, что перевод этот неверен, далек от оригинала.

Здесь я мало могу добавить к тому, что сказано было в моей рецензии на книгу «Роберт Бернс в переводах С. Маршака» много лет назад. Прежде всего хочется сказать, что эти переводы обладают таким очарованием свободной поэтической речи, будто бы Бернс сам писал по-русски да так и явился без всякого посредничества перед нашим читателем. И наш советский читатель уже успел узнать и полюбить и запомнить многое из этой книги, представляющей собрание поэтического наследия Р. Бернса, задолго до ее выхода в свет по первоначальным публикациям переводов С. Я. Маршака в журналах и отдельных его сборниках. Это — классическая баллада «Джон — Ячменное Зерно» — гимн труду и воле к жизни, борьбе людей труда, поэтически уподобленным бессмертной силе произрастания и плодоношения на земле. Это — гордые, исполненные дерзкого вызова по отношению к паразитической верхушке общества строки «Честной бедности» или «Дерева свободы» — непосредственного отклика на события Великой Французской революции. Это — нежные, чистые и щемяще-трогательные песни любви, как «В полях, под снегом и дождем...» или «Ты меня оставил, Джеми...» Это — восхитительный в своем веселом озорстве и остроумии «Финдлей» и, наконец, эпиграммы, которые вполне применимы и в наши дни ко всем врагам трудового народа, прогресса, разума, свободы и мира.

И понятно, что тот успех, который приобрели переводы Маршака из Бернса в широких кругах советских читателей, объясняется не только поэтическим мастерством их исполнения, о чем будет еще сказано, но и прежде всего самим выбором оригинала.

Роберт Бернс совсем не напоминает непритязательного идиллика сельской жизни, смиренного «поэта-пахаря», писавшего «преимущественно на шотландском наречии», как считали либеральные биографы.

Зато вот как зорко рассмотрел и безошибочно угадал поэтическую силу Бернса его величайший современник Гёте, переживший шотландского поэта на несколько десятилетий (слова эти записаны Эккерманом, автором книги «Разговоры с Гёте»):

«Возьмите Бернса. Что сделало его великим? Не то ли, что старые песни его предков были живы в устах на-

рода, что ему пели их еще тогда, когда он был в колыбели, что мальчиком он вырастал среди них, что он сроднился с высоким совершенством этих образцов и нашел в них ту живую основу, опираясь на которую мог пойти дальше? И далее. Не потому ли он велик, что его собственные песни тотчас же находили восприимчивые уши среди народа, что они звучали навстречу ему из уст женщин, убирающих в поле хлеб, что ими встречали и приветствовали его веселые товарищи в кабачке? При таких условиях он мог стать кое-чем!»

И лорд Байрон, скептический и высокомерный в отношении именитых современников, записал в своем «Дневнике» спустя много лет после смерти шотландского поэта:

«Читал сегодня Бернса. Любопытно, чем он был бы, если бы родился знатным? Стихи его были бы глаже, но слабее — стихов было бы столько же, а бессмертия не было бы. В жизни у него был бы развод и пара дуэлей, и если бы он после них уцелел, то мог бы — потому что пил бы менее крепкие напитки — прожить столько же, сколько Шеридан, и пережить самого себя».

Бернс — народный певец, поэт-демократ и революционер, он дерзок, смел и притязателен, и его притязания — это притязания народа на национальную независимость, на свободу, на жизнь и радость, которых единственно достойны люди труда.

Советскому поэту на основе достижений отечественной классической и современной лирики удалось с блистательным успехом довести до читателя своеобразие исполненной простоты, ясности и благородного изящества бернсовской поэзии. Переводы С. Я. Маршака выполнены в том словесном ключе, который мог быть угадан им только в пушкинском строе стиха, чуждом каких бы то ни было излишеств, строгом и верном законам живой речи, пренебрегающей украшательством, но живописной, меткой и выразительной.

Небезынтересно было бы проследить, как развивался и совершенствовался «русский Бернс» под пером различных его переводчиков, как он по-разному выглядит у них и какими преимуществами обладают переводы Маршака в сравнении с переводами его предшественников. Позволю себе взять наудачу пример из «Джона — Ячменное Зерно». Вот как звучит первая строфа баллады у М. Михайлова, вообще замечательного мастера, которому,

между прочим, принадлежит честь одного из «первооткрывателей» Бернса в русском переводе:

Когда-то сильных три царя
Царило заодно.
И порешили: «Сгинь ты, Джон —
Ячменное Зерно!»

Очевидно, что лучше бы вместо «царей» были «короли», что наверняка более соответствовало и оригиналу; неудачно и это «заодно», вынужденное словом «зерно»; слова, заключенные в кавычки, по смыслу — не решение, не приговор, как должно быть по тексту, а некое заклинание. Кроме того, Михайлов рифмует через строку (вторую с четвертой), тогда как в оригинале рифмовка перекрестная, и это обедняет музыку строфы.

У Э. Багрицкого:

Три короля из трех сторон
Решили заодно:
— Ты должен сгинуть, юный Джон —
Ячменное Зерно!

Здесь — «короли» вместо «царей»; это лучше, но что они «из трех сторон» — это попросту неловко сказано ради перекрестной рифмовки; «заодно» здесь приобрело иное, чем у Михайлова, правильное звучание; формула же решения королей выражена недостаточно энергично, лишними, не теми словами выглядят «должен» и «юный».

У Маршака:

Трех королей разгневал он,
И было решено,
Что навсегда погибнет Джон —
Ячменное Зерно.

Кажется, из тех же слов состоит строфа, но ни одно слово не выступает отдельно, цепко связано со всеми остальными, незаменимо в данном случае. А какая энергия, определенность, музыкальная сила, отчетливость и в то же время зазывающая недосказанность вступления.

Этот небольшой пример с четырьмя строчками показывает, какой поистине подвижнический и вдохновенный труд вложил поэт в свой перевод, чтобы явить нам живого Бернса.

Может показаться, что не слишком ли скрупулезно и мелочно это рассмотрение наудачу взятых четырех стро-

чек и считанных слов, заключенных в них. Но особенностью поэтической формы Бернса как раз является его крайняя немногословность в духе народной песни, где одни и те же слова любят, повторяясь, выступать в новых и новых мелодических оттенках и где это повторение есть способ повествования, развития темы, способ живописания и запечатления того, что нужно. Особенно наглядна эта сторона поэзии Бернса в его лирических миниатюрах, и Маршаку удается найти конгениальное выражение этой силы средствами русского языка и стиха.

Иные из этих маленьких шедевров прямо-таки, кажется, состоят из четырех-пяти слов, меняющихся местами и всякий раз по-новому звучащих на новом месте, порождая музыку, которой ты невольно следуешь, читая стихотворение:

Ты меня оставил, Джеми,
Ты меня оставил,
Навсегда оставил, Джеми,
Навсегда оставил.
Ты шутил со мною, милый,
Ты со мной лукавил —
Клялся помнить до могилы,
А потом оставил, Джеми,
А потом оставил!

Простая, незатейливая песенка девичьего горя, простые слова робкого упрека и глубокой печали, но нельзя прочесть эти строки, не переложив их про себя на музыку.

Маршаку удалось в результате упорных многолетних поисков найти как раз те интонационные ходы, которые, не утрачивая самобытной русской свойственности, прекрасно передают музыку слова, сложившуюся на основе языка, далекого по своей природе от русского. Он сделал Бернса русским, оставив его шотландцем. Во всей книге не найдешь ни одной строки, ни одного оборота, которые бы звучали как «перевод», как некая специальная конструкция речи,— все по-русски, и, однако, это поэзия своего особого строя и национального колорита, и ее отличишь от любой иной.

У которых есть, что есть,— те подчас не могут есть,
А другие могут есть, да сидят без хлеба.
А у нас тут есть, что есть, да при этом есть, чем есть,—
Значит, нам благодарить остается небо!

В этих двух предложениях шуточного застольного присловья, где многократно повторен и повернут коренной

русский глагол — «есть» и где все совершенно согласно со строем русской речи, может быть, одно только последнее слово — «небо», тоже чисто русское слово, в данном своем значении вдруг сообщает всему четверостишию особый оттенок, указывает на иную, чем русская, природу присловья.

Такая гибкость и счастливая находчивость при воспроизведении средствами русского языка поэтической ткани, принадлежащей иной языковой природе, объясняется, конечно, не тем, что Маршак искусный переводчик,— в поэзии нельзя быть специалистом-виртуозом,— а тем, что он настоящий поэт, обладающий полной мерой живого, творческого отношения к родному слову.

Без любви, без волнения и горения, без решимости вновь и вновь обращаться к начатой работе, без жажды совершенствования — нельзя, как и в оригинальном творчестве, ничего сделать путного и в поэтическом переводе. Маршак одинаково поэт, вдохновенный труженик — когда он пишет оригинальные стихи и когда он переводит. Поэтому его Бернс кажется нам уже единственно возможным Бернсом на русском языке,— как будто другого у нас и не было. А ведь не так давно мы, кроме нескольких уже порядочно устаревших переводов XIX века, да «Джона» и «Веселых нищих» Багрицкого, исполненных в крайне субъективной манере, да слабой книжки переводов Щепкиной-Куперник, переводчицы, может быть, и отличной в отношении других авторов,— кроме этого, ничего и не имели. А значит, мы не имели настоящего Бернса на русском языке, того Бернса, цену которому хорошо знали еще Гёте и Байрон.

Бернс Маршака —свидетельство высокого уровня культуры, мастерства советской поэзии и ее неотъемлемое достояние в одном ряду с ее лучшими оригинальными произведениями. Знатоки утверждают, что ни в одной стране мира великий народный поэт Шотландии не получил до сих пор такой яркой, талантливой интерпретации.

Вряд ли кто станет оспаривать, что мастер, представивший нам русского Бернса и многие другие образцы западной классики, вправе был чураться звания «переводчик», отстаивать самостоятельную поэтическую ценность своего вдохновенного, чуждого ремесленнической «точности», подлинно творческого труда. Эту заслугу нельзя ограничить интересами читателей, не знающих иностранных языков,— речь идет не о переводе политиче-

ского документа или научно-технической статьи. Я знаю людей, которым и Бернс, и английская народная баллада вполне доступны в оригинале, но они также испытывают особого рода наслаждение, воспринимая их в той новой языковой плоти, какую им сообщил талант Маршака.

Над своим Бернсом Маршак работал, то целиком сосредоточиваясь на нем, то отвлекаясь другими замыслами и задачами, с конца 30-х годов и до последних дней жизни. Но некоторые стихи он пытался переводить еще в юности и вновь обратился к ним в свою зрелую пору. Поэзия Бернса была для него счастливой находкой, но не случайным подарком судьбы: чего искал, то и нашел. Прирожденный горожанин, детство и юность которого не ступали босыми ногами по росяной траве, не знали трудовой близости к природе, не насытили память запахами хлебов и трав, отголосками полевых песен, он обрел в поэзии Бернса ее «почвенность», реальность народной жизни — то, чего ему решительно недоставало для приложения своих сил. И он вошел в поэтический мир шотландского поэта, чтобы раскрыть этот мир и для нас в наибольшей полноте и цельности.

Но расслышать, почувствовать особую прелесть поэзии неродного языка можно только при условии крепких связей с родным. В двустишии «Переводчику» Маршак формулирует строгий завет переводческого дела:

Хорошо, что с чужим языком ты знаком,
Но не будь во вражде со своим языком!

Он часто повторял, что успех поэтического перевода определяет не только знание языка оригинала, но в первую очередь знание и чувство языка родного.

IV

Взыскательность, обостренный слух к особенностям и тончайшим оттенкам слова родной речи были у С. Я. Маршака удивительны и ничего общего не имели с пуристической нетерпимостью к порождаемым живой жизнью языка цепким неологизмам, метким и выразительным «местным речениям», когда они оправданы незаменимостью.

В его работе «Ради жизни на земле» есть поражавшие меня наблюдения над языком «Теркина». По совести, я сам далеко не всегда предполагал за тем или другим сло-

вом, оборотом стиха моей вещи такие оттенки значения, которые обнаруживал этот человек иного возраста, иной жизненной и литературной школы, чем я. Да, книга, страница прозы или стихов были для него ближайшей реальностью, но через эту «книжность» он, как, может быть, никто из современников, умел распознавать и угадывать реальность живой жизни и более всего любил и ценил в поэзии подлинность этой натуральной, «сырой» действительности.

Мало ли у нас литераторов, отмеченных знаком «книжности», постигающих и принимающих действительность лишь в ее сходстве с образчиками, какие дает книга, и глухих к тому, что является из самой действительности, чтобы, в свою очередь, стать «книгой», но «книгой», какой до нее не было.

Маршак, при всей его приверженности классическому наследию, верности лучшим традициям искусства поэзии, был полон холодного презрения к поэзии книжной, изощренной, рассчитанной на вкус немногих знатоков и ценителей. Но его невозможно было подкупить и той «общедоступностью», которая достигается потрафлением дурному вкусу, ходовой банальностью или всплесками новаторства ради новаторства.

Он многое мог и умел, но еще более знал и понимал в поэзии. Она была поистине «одной, но пламенной страстью» всей его жизни.

Его подвижническое, иначе трудно назвать, неусыпное трудолюбие и преданность работе, поразительная обязательность высокого профессионализма — были и остаются для многих из нас строгим напоминанием и упреком, благородным образцом «несения литературной службы».

В собрании сочинений С. Маршака читатель может встретить, наряду с блестяще выполненными вещами, вещи более слабые или отслужившие свое, уже принадлежащие времени, но он не найдет ни одной строки, написанной небрежно, не в полную меру сил, заведомо «проходной».

У Томаса Манна есть очень верные слова о том, что перед каждым зрелым художником в определенный период встает реальная опасность не успеть. Не успеть многого из того, на что он еще способен.

Редко бывает так, чтобы писатель завершил все начатое, исчерпал свои замыслы и планы и, как говорят в на-

роде, убрался с полем, прежде чем перо выпадет из его рук.

Самуил Яковлевич Маршак сознавал эту опасность не успеть, хотя не любил говорить об этом, и очень спешил в последние свои годы, отягченные не отступавшим от него недугом. Спешил писать и даже спешил печататься, спешил прочесть в кругу друзей новую строфу или страницу, чуждый олимпийского безразличия к мнениям и суждениям. Жизнелюбец, подвижник каждодневного литературного труда, он нуждался в живом сегодняшнем печатном или устном отклике на свою работу. Это сообщало ему силы, скрашивало нелегкие дни его вынужденного затворничества — в стенах своей рабочей комнаты, в палате больницы или санатория.

В статье «Право на взаимность» он пишет:

«Искусство ждет и требует любви от своего читателя, зрителя, слушателя. Оно не довольствуется почтительным, но холодным признанием. И это не каприз, не пустая претензия мастеров искусства. Люди, которые вложили в свой труд любовь, имеют право на взаимность. Требовательный мастер вправе ждать самого глубокого и тонкого внимания к своему мастерству».

Одной из особенностей литературной судьбы Маршака, как уже было сказано, является то, что период лирического освоения мира, сосредоточения сил на этом жанре, представляющем, так сказать, привилегию молодости,— этот период пришелся у него на годы, когда обычно слабеет или вовсе затухает жар поэтической мысли. Эту пору лирической активности писателя отделяет от его юношеских опытов более чем полустолетие, в течение которого читатели узнали, признали и полюбили Маршака — автора популярнейших книжек для детей, Маршака — драматурга, сатирика, первоклассного переводчика, публициста и литературного критика. В этой лирике поэт опирался на богатейший опыт всей своей жизни в литературе, в первую очередь, конечно, на опыт переводческой работы, сделавшей достоянием русской поэзии столько образцов западной классики.

Обращение к лирико-философическому жанру в поздней зрелости, точнее сказать, в старости, у Маршака отмечено глубиной и ясностью мысли, юношеской энергией интонации, непринужденной живостью юмора, и если грустью, то не расслабляющей и безнадежной, но по-пуш-

кински светлой и умудренной, мужественно приемлющей неизбежное.

Все умирает на земле и в море,
Но человек суровей осужден:
Он должен знать о смертном приговоре,
Подписанном, когда он был рожден.
Но, сознавая жизни быстротечность,
Он так живет — наперекор всему,—
Как будто жить рассчитывает вечность
И этот мир принадлежит ему.

«Наперекор всему» — этот гордый девиз человеческого духа целиком совпадает со словами «несмотря ни на что», которыми Томас Манн в своей статье о Чехове отдает дань восхищения творческой энергии русского писателя, под гнетом смертельного недуга не опускавшего рук и продолжавшего работать.

Старость — не радость, но и ее должно переживать, не роняя достоинства, не впадая в жалобную растерянность, отчаянное озлобление, и даже уметь с удовлетворением воспользоваться некоторыми преимуществами этого возраста. Иго старости опустошает душу и низводит человека до уровня биологического вида тогда, когда он переживает самого себя, то есть утрачивает интерес к безостановочному развитию жизни, к лучшим стремлениям новых поколений, не видит в них продолжения порывов своей наиболее деятельной поры.

В русской поэзии примером такого ужасного завершения долголетней жизни человека отнюдь незаурядного, отмеченного умом, образованностью и талантом, служит старческая лира князя П. А. Вяземского, некогда друга Пушкина, человека близкого декабристским кругам, затем отнесенного судьбой в реакционный лагерь, достигнувшего высоких чинов члена Государственного совета, сенатора. В зрелости и старости он не только был враждебно непримирим к освободительным идеям, развивавшимся в обществе и революционно-демократической литературе,— он отвергал даже «Войну и мир» как произведение, «измельчающее» величие победы русского оружия в 1812—1814 годах.

Незадолго до кончины, восьмидесятилетний старец, он со своеобразным самоуничижительным упоением подводит итоги своего жизненного пути:

Жизнь наша в старости — изношенный халат:
И совестно носить его, и жаль оставить...

Жизнь так противна мне, я так страдал и стражду,
Что страшно вновь иметь за гробом жизнь в виду;
Покоя твоего, ничтожество! я жажду:
От смерти только смерти жду.

Сопоставление судьбы поэта прошлого века князя Вяземского и советского поэта Маршака в пользу последнего само по себе предмет не столь уж «актуальный». Но мы касаемся одной из тех тем лирической поэзии, которые остаются неизменно актуальными для нее на любых этапах и при любых условиях жизни человеческих обществ. Все дело в том, какое особое преломление, присущее только данной поре общественного развития, данному языку и поэтической традиции получают вечные (это слово зачем-то у нас снабжается кавычками) темы.

«Лирика последних лет» С. Маршака, конечно, несет на себе печать возраста, недугов, невеселых дум и предчувствий,— противоестественным было бы отсутствие в ней этих мотивов. Но как при всем этом Маршак полон жизненных интересов, какую высокую цену он определяет быстротекущему времени, как много у него связей с живым сегодняшним миром, насыщенным мыслями и страстями людей.

В столичном немолкнущем гуде,
Подобном падению вод,
Я слышу, как думают люди,
Идущие взад и вперед.

Проходит народ молчаливый,
Но даже сквозь уличный шум
Я слышу приливы, отливы
Весь мир обнимающих дум.

Это мог сказать только поэт, обладающий развитой привычкой думать, а не просто пропускать через сознание пестрые, разрозненные впечатления. В жизни, близость конца которой все время дает о себе знать, ему до всего дело, у него есть желания, безотносительные к своей личной судьбе, он глубоко озабочен, так сказать, нравственным тонусом своих современников, и опыт большой жизни дает ему право на добрые наставления — вкупе как бы строки завещания старшего друга перед близкой разлукой с более молодыми.

Старайтесь сохранить тепло стыда.
Все, что вы в мире любите и чтите,
Нуждается всегда в его защите
Или исчезнуть может без следа.

Да будет мягким сердце, твердой — воля!
Пусть этот нестареющий наказ
Напутствием послужит каждой школе,
Любой семье и каждому из нас.

Как вежлив ты в покое и тепле.
Но будешь ли таким во время давки
На поврежденном бурей корабле
Или в толпе у керосинной лавки?

Неизменно мысль его обращена к судьбе искусства, к добытым в труде, а не усвоенным понаслышке его заветам:

Питает жизнь ключом своим искусство.
Другой твой ключ — поэзия сама.
Заглох один,— в стихах не стало чувства.
Забыт другой,— строка твоя нема.

Четверостишия, посвященные теме искусства, чаще всего — категорическое утверждение одной из любимых мыслей поэта.

К искусству нет готового пути...
Искусство строго, как монетный двор...

Дождись, поэт, душевного затишья,
Чтобы дыханье бури передать...

К этим и другим излюбленным мыслям Маршак обращается и в своих литературно-критических статьях и заметках, в своих изустных беседах с молодыми и немолодыми собратьями по перу.

Мы помним, как он восторгался в статье о «Сказках» Пушкина двустишием:

Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.

Среди «лирических эпиграмм» мы встречаем вещицу, явно подсказанную пушкинским двустишием, но обладающую самостоятельной прелестью лаконической композиции:

Пусть будет небом верхняя строка,
А во второй клубятся облака,
На нижнюю сквозь третью дождик льется,
И ловит капли детская рука.

Но подобные частные условия утверждаемой Маршаком поэтики подчинены главному, объемлющему их завету правдивости искусства:

Как ни цветиста ваша речь,
Цветник словесный быстро вянет.
А правда голая, как меч,
Вовек сверкать не перестанет.

Запоминаются с первого раза взвешенные, обдуманные и чеканно выраженные наблюдения и предупреждения поэта относительно «секретов» мастерства. Музыка — первооснова поэзии, но для нее губительна та музыка, что вылезает

...наружу, напоказ,
Как сахар прошлогоднего варенья.

Маршак — самозабвенный поборник строгой отделки стиха, однако он против окостенения формы, против «чистописания»:

Но лучше, если строгая строка
Хранит веселый жар черновика.

А какой бесповоротной, убийственной формулой звучит двустишие, заостренное против одного из тлетворных соблазнов литературной жизни:

Ты старомоден. Вот расплата
За то, что в моде был когда-то.

Лирика Маршака обнаруживает некоторые совсем скрытые до последней поры возможности его поэзии.

Так, в стихах для детей не просматривалось собственное детство автора,— точно бы он сам носил тогда, как его герои и читатели, пионерский галстук. Мотивы природы, смены времен года выступали в условной, отчасти подчиненной интересам спортивного сезона форме.

В лирике Маршак впервые обращается к памятным впечатлениям детства, решающего периода почти для всякого художника в смысле накопления тех запасов, к которым он обращается всю остальную жизнь, лишь пополняя их позднейшими приобретениями, но никогда полностью не исчерпывая и не меняя целиком.

Я помню день, когда впервые —
На третьем от роду году —

Услышал трубы полковые
В осеннем городском саду...

И помню праздник на реке,
Почти до дна оледенелой,
Где музыканты вечер целый
Играли марши на катке...

Поэт благодарен тем давним впечатлениям, открывшим для него... «звуковой узор»,

Живущий в пении органа,
Где дышат трубы и меха,
И в скрипке старого цыгана,
И в нежной дудке пастуха...—

«звуковой узор», в котором жизнь «обретает лад и счет».

Юные читатели, как известно, не жалуют вниманием описания природы, также и автор популярнейших книжек для детей не навязывал им этой обязательной «художественности». Но, оставшись лицом к лицу со старостью, с испытаниями недугов возраста, он переживает повышенное чувство мира природы.

Возраст один у меня и у лета,
День ото дня понемногу мы стынем...

Все же и я, и земля, мне родная,
Дорого дни уходящие ценим.
Вон и береза, тревоги не зная,
Нежится, греясь под солнцем осенним.

Неожиданно появляются в этих стихах Маршака и березка-подросток, глядящаяся в размытый след больших колес, и кусты сирени, что «держат букеты свои напоказ, как держат ребята игрушки»; и озаренные летним утренним солнцем «стены светлые, и ярко-желтый пол, и сад, пронизанный насквозь жужжаньем пчел».

И какими освобождающими от бремени годов, болезней и горьких раздумий являются стихи, в которых это бремя вдруг запечатлено, выражено с победительной насмешкой над ним, над самим собой:

Вечерний лес еще не спит.
Луна восходит яркая,
И где-то дерево скрипит,
Как старый ворон каркая.

Все этой ночью хочет петь.
А неспособным к пению
Осталось гнуться да скрипеть,
Встречая ночь весеннюю.

Нельзя, между прочим, не заметить в скобках, что такая сложная, требующая немалого напряжения психофизиологических сил форма жизнедеятельности, как творчество, оказывается возможной и тогда, когда этих сил уже явная нехватка, и при том, что предметом творческого выражения могут быть самое тяжкое состояние духа, отвращение к жизни, отчаяние, как это мы видели на примере поздней лирики П. А. Вяземского. По содержанию этих его стихов, казалось бы, уже не стоит делать никаких усилий даже для того, чтобы пить утром кофе, одеваться и т. п. А между тем этот одолеваемый безнадежной хворостью, от «смерти только смерти» ждущий старик, напрягая память и воображение, вызывает к жизни в определенном ладу и ряду слова и строки, добивается их послушного построения, наибольшей выразительности, находя в этом труде некую горькую усладу.

В этом смысле С. Я. Маршак в своей прощальной лирике яснее и понятнее. Он ищет в ней опоры, достойного примирения с неизбежным, обращаясь в окружающем его мире картин и идей к самому дорогому для него в жизни, как бы ни близка она была к финалу. И хотя он говорит:

Мир умирает каждый раз
С умершим человеком,—

но он не хочет на этом поставить точку, он хорошо знает, что только человечество в целом есть человек, что на месте выпавшего звена цепь жизни смыкается, он верит, что

Не погрузится мир без нас
В былое, как в потемки.
В нем будет вечное сейчас,
Пока живут потомки.

Нужно ли говорить, что Маршак не мог не чувствовать той мощной душевной опоры, какую давало ему сознание огромной общественной значимости его работы в литературе, связь с многомиллионной армией читателей, наибольшую часть которых составляли те, кому принадлежит будущее.

В ритмике, языке, интонациях негромкой, сосредоточенной речи, в стремлении к афористической завершенности лирических миниатюр Маршака нетрудно заметить следы опыта его переводческой работы. Можно даже сказать, что он обнаружил в себе лирика в практическом, рабочем соприкосновении с высокими образцами миро-

вой лирической поэзии, в первую очередь — Бернса и сонетов Шекспира.

Но этот опыт здесь смыкается с живой потребностью личного высказывания, исповеди сердца и проповеди самых дорогих для поэта нравственных и эстетических заветов. Это сообщает лирике Маршака самостоятельную ценность, как принято у нас выражаться, «самовыражения», если, конечно, не придавать этому слову, как некоторые, значения греховности. Искренность этого лирического самовыражения особо скрепляется тем, что носитель ее не молодость, более подверженная соблазну подражания вдруг возникающей моды, а возраст, которому уже незачем казаться чем-нибудь,— ему важнее всего быть самим собой. Это одно из бесспорных преимуществ старости,— пусть не очень веселых.

Как это нередко бывает, С. Я. Маршак долго болел, слабел, а умер почти что внезапно, как бы уронив перо на полустроке и сообщив особую знаменательность незадолго до того написанной прекрасной строфе:

Немало книжек выпущено мной,
Но все они умчались, точно птицы.
И я остался автором одной
Последней, недописанной страницы.

1951—1967

• ПОЭЗИЯ МИХАИЛА ИСАКОВСКОГО

Огромное большинство людей, вовсе не чуждых навыкам общения с книгой, далеко не всегда являются читателями стихов. Речь не о Западе, где стихотворная поэзия для многих давно уже старомодный род литературы и отношение к ней чаще всего снисходительное. Речь идет о нашей читательской аудитории с ее общепризнанным повышенным интересом к искусству поэзии, с нашими неслыханными тиражами стихотворных книг, с переполненными залами литературных вечеров и невозможным в иных странах количеством литераторов, зарабатывающих на жизнь стихами. Так необъятно велика читательская армия в нашем обществе, что постоянные читатели, любители поэзии, именно стихов, при всем том, что уже сказано, составляют лишь отдельную часть этой армии.

И первым опознавательным признаком значительного поэтического явления, приобретающего характер явления общественного, можно считать то, что такие-то стихи читают уже и люди, обычно стихов не читающие. Приводя здесь это давнее мое определение, я вовсе не утверждаю, что такой показатель непременно означает и подлинную поэтическую ценность стихов. Бывает по-всякому, и не редкость, когда более или менее длительное внимание читателей, включая тех, что обычно стихов не

читают, завоевывают стихотворные изделия сомнительного качества. Это происходит, когда иные стихотворцы потрафляют простодушным невзыскательным понятиям и вкусам дешевой общедоступностью, или в силу фактора моды, понуждающей читателей с претензиями порой даже к притворному восхищению тем, что импонирует им как раз своей предназначенностью не для всех, а лишь для достигших известного уровня, искушенных.

Известно также, что иногда подлинно высокие образцы поэзии не сразу получают широкое признание, и значение их возрастает лишь со временем. Стихи Ф. Тютчева, например, при жизни поэта были известны и высоко ценимы в крайне узком кругу избранных, тогда как стихи Н. Некрасова были на устах у всей читающей России, но высокомерно отвергались тем самым узким кругом почитателей тютчевской музы. Однако именно Некрасов, вслед за Пушкиным, вторично открыл поэзию Тютчева для читателей своего «Современника». Правда, по тогдашним понятиям литературной субординации, он относил Тютчева к «второстепенным поэтам», но кто нынче употребит это определение, даже имея в виду сравнение с поэзией Пушкина, Лермонтова и Некрасова. Словом, речь идет лишь о первой примете значительности поэтического явления, при отсутствии которой разговор может иметь скорее внутрилитературный, специальный характер, не затрагивающий интересов и настроений больших общественных слоев. Такая примета сопутствует явлениям поэзии самого различного толка — от Д. Бедного до Е. Евтушенко, как бы мы ни относились к тому или другому.

Поэзия Михаила Исаковского, бесспорно, обладает этим опознавательным признаком, хотя она никогда не была тем, что называется модой. Более того, она не вызывала особых литературных споров и не являлась предметом хотя бы кратковременного исключительного внимания к ней критики, как это нередко случается в поэтических биографиях. Разве что был в самом начале ее сознательного пути один жесткий порожец, который ей посчастливилось успешно переступить. Это — когда по выходе первой книги стихов Исаковского «Провода в соломе» — она была раскритикована А. Лежневым, но вслед за тем решительно поддержана М. Горьким в его «Рецензии», которой с тех пор не минует ни одна большая или малая работа, посвященная этому поэту. Словом, эта по-

этическая судьба складывалась без особых эксцессов. И тем не менее повторяю, стихи Исаковского — несомненный образец поэзии не для одних любителей и знатоков, но для всех читателей, даже весьма далеких от развитых литературных интересов, и в нее стоит всмотреться попристальнее.

Примерно с середины 20-х годов в смоленской газете «Рабочий путь» одно за другим стали появляться стихотворения Исаковского, составившие потом основной цикл книги «Провода в соломе». Это были «Докладная записка», «Ореховые палки», «Хутора», «Радиомост» и другие образцы его, так сказать, повествовательной лирики, которая с газетной страницы нашла кратчайший путь к читателю, хотя бы еще только к читателю-земляку.

Интерес к этим стихам отнюдь не ограничивался только кругом людей, имеющих какие-нибудь литературные притязания, пробовавших свои силы в стихах и прозе,— хотя таких было уже и в ту пору немало. Это был куда более широкий круг провинциальной интеллигенции — учителей, местного студенчества, комсомольских активистов и культпросветчиков города и деревни. Стихи Исаковского звучали для них чем-то очень знакомым и даже свойским, что, может быть, в первую очередь располагало к себе земляческие чувства читателей.

Так или иначе, еще до выхода в Госиздате его первой книги Исаковский в своих краях пользовался завидной известностью. Это читательское признание поэта счастливым образом опережало суждения и оценки в литературных сферах. И хотя жил он тогда в Смоленске и работал в редакции той самой газеты, где печатались его стихи, он не считался смоленским поэтом, в отличие от нас, местной литературной молодежи. Пусть стихи его, лишь изредка появлявшиеся в московских газетах и журналах, самой литературной Москвой еще почти не замечались, у читающей провинции были на этот счет свои понятия: «И Москва печатает». Это была, как после выражался сам Исаковский, слава в губернском масштабе, но слава, которой могла бы позавидовать иная столичная знаменитость из выступавших на вечерах в нашем городе.

В «Рабочем пути» были напечатаны почти все стихи молодого Исаковского, ныне известные по многократным

переизданиям, сборникам, хрестоматиям, листкам календарей, в изустном песенном обиходе. Именно со страниц «Рабочего пути» пошел Исаковский, какого мы все теперь знаем.

Его первым читателям были знакомы имена виднейших поэтов тех лет, но ни тематикой, ни самим строем стиха поэзия Исаковского не напоминала ни Д. Бедного, ни Маяковского, ни Безыменского или других комсомольских поэтов. Смыкалась она очевидным образом лишь с некоторыми мотивами есенинской музы, и об этом нужно сказать с самого начала.

Лирика Сергея Есенина в свое время была огромным общественным явлением именно в смысле всеобщности охвата ею самых разнообразных читательских кругов. У нее были почитатели, которые даже и не читали ее сами с печатного листа, а знали со слуха в изустной передаче, нередко под баян или гитару. Есенина читали, переписывали и знали наизусть представители самой разнородной социальной принадлежности — от людей искусства, научной интеллигенции до нэпманских дочерей и квартирных хозяек, произносивших имя поэта для пущего шика через «э» оборотное. Явления поэзии иногда приобретают характер явлений моды, но по-настоящему значительная поэзия в моде не растворяется и ею не исчерпывается.

Лирика Есенина, помимо тех стихов, что становились явлениями моды нередко антиобщественного духа, несла в себе общезначимые ценности поэзии — покоряющую искренность выражения человеческих чувств: любви, утрат возраста, с особой остротой переживаемых в молодости, памяти детства, чувства природы, сыновней привязанности к родной земле.

Непринужденное изящество формы, во многом, надо сказать, обязанной открытиям Блока, музыкальность, рискованная близость к жестокому романсу — все это и многое другое сообщало поэзии Есенина общедоступность и вместе импонирующую читателю исключительность. Стихи его были распространены широчайшим образом и в самой передовой части нового общества — студенчества, комсомольских работников и всех тех, кого я уже называл, говоря о читателях Исаковского. И здесь его читали и перечитывали, но старались делать это потаенно (вроде выпивки, считавшейся делом «несовместимым» и даже запретным). Вообще влияние есенинской

поэзии на молодежь было почти повальным — оно до сих пор еще отзывается в стихах, поступающих в редакции журналов и газет самотеком. Но в те годы оно приобретало нередко формы настоящего психоза: среди подражателей Есенина были следовавшие его примеру даже в выборе трагического конца, были настроения — и не только среди литературной молодежи,— получившие название «есенинщины».

Но не об этих крайностях идет речь, когда мы говорим о поистине феноменальной популярности Есенина, которая может быть объяснена особыми обстоятельствами нашего развития и, конечно, не меньше обязана своей исключительностью этим обстоятельствам, чем ему самому, хотя бы и с его редкостным лирическим даром.

Она находила живейший отклик в разных пореволюционных прослойках и группах, главным образом городских, среди людей потрясенной или ущемленной судьбы, потерявших привычные жизненные связи и видевших в будничных заботах и призывах времени лишь «будничность», «прозу». Такие настроения, осложненные житейской неустроенностью всякого рода, приходили для многих на смену романтическому подъему периода гражданской войны и вместе были обращены к идеализированному миру тишины и успокоения, каким чаще всего представляется усталой или надорванной душе горожанина мир деревни, хотя бы по воспоминаниям детства.

Под влиянием Есенина в поэзии 20-х годов валом шли стихи о деревне — как милой и чем-то обиженной обители с ее серыми избушками, подсвеченными белизной березок. Это был мир в порядочной степени условный.

Пореволюционная деревня, поделившая помещичьи луга и земли, почти заново отстроившаяся за счет самовольных порубок в «лесах местного значения», была охвачена жизнедеятельным порывом, шедшим, правда, не в одном направлении. Тут и хуторизация, имевшая особо широкое развитие на Смоленщине, и опытное интенсивное хозяйствование читателей и подписчиков журнала «Сам себе агроном». Но были и успехи сельскохозяйственной кооперации, были товарищества по совместной обработке земли, прививавшие начальные навыки артельной жизни и служившие предвестием будущей коренной перестройки деревни на основе коллективизации, об особом характере и темпах которой тогда, правда, еще не было предположений.

Есенин не мог не отметить своим поэтическим зрением и чутьем эти новые черты и веяния сельской жизни и отнесся к ним в стихотворении «Русь советская» с добрыми чувствами, но и с настроением невольной отчужденности.

...Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

Деревня была полна молодежи, привлекаемой комсомолом, школой, сетью изб-читален ко всякого рода культурным начинаниям — самодеятельным спектаклям, концертам и иным затеям, к чтению книг и газет. Молодежь эта не только не чуралась города, но всячески тянулась к нему, стремясь по возможности подражать ему и в одежде, и в оборотах речи, и в приемах ухаживания.

Все это представляется мало соответствующим лирике, настойчиво вызывавшей умиленно-меланхолические представления о неизменных в своем идеализированном убожестве сельских краях. Но именно такая лирика олеографической деревни была очень распространенной в 20-х годах под влиянием известных есенинских мотивов.

Деревня жадно тянулась ко всему, что хоть какой-то частью приобщало ее к городу, культурным началам труда и быта, быстро привыкала к новинкам, несмотря на скепсис и опасливое недоверие людей отсталых или таивших своекорыстные мечтания, враждебных новому,— сельскохозяйственным орудиям заводского изделия, электросвету, радио, газете и книге, разнообразным формам культурно-просветительной самодеятельности, освобождалась, хоть и в наивных порой и грубых формах, от духовного гнета церкви. Все это становилось реальным днем деревенской жизни. Но для поэзии, как бы по инерции, нерушимой оставалась деревня вчерашняя, с одними ее «пригорками и ручейками», «ветхими крышами», «кипенью черемух» и прочим условно-поэтическим реквизитом старозаветности. И чем более очевидно вживались на селе начала «непоэтичной» новизны, тем милее и дороже для поэтического видения были черты «Руси уходящей». В этом смысле очень показательна эволюция такого поэта, как старший современник Есенина Петр Орешин, в первые годы после Октября выступавшего с огненно-красными песнопениями революции, а к середине 20-х го-

дов плодовито развившего минорно-идиллические мотивы деревни, далекой от современности. Такими же мотивами, отчасти есенинского толка, отзывались и стихи более молодых и более чутких к новшествам формы В. Наседкина и Н. Зарудина, которому принадлежало много раз цитированное в печати позднейших лет двустишие:

Хорошо это счастье — поплакать
Над могилкою русской души...

Все это говорится к тому, что заявить о себе в ту пору новому поэту, занятому деревенской темой и разрабатывающему ее в духе противоположном, хотя и с очевидным усвоением некоторых приемов и интонаций есенинского стиха, и не просто заявить, а обрести успех у читателей — было под силу, во всяком случае, таланту крупному и самобытному.

Одно из самых памятных и дорогих для меня впечатлений ранней юности — выступление Исаковского со своими стихами на губернском съезде селькоров, где я был делегатом.

Исаковского я не только знал уже по стихам, но и был наслышан о нем, как об уроженце соседнего Ельнинского уезда, выходце из простой крестьянской семьи, и эта литературная судьба земляка волновала меня чрезвычайно. И нынче, говоря о нем, мне трудно полностью отстраниться от собственной биографии — таким значительным в ту пору было влияние на меня поэзии да и личности Исаковского.

На вечернем заседании вдруг было объявлено, что выступает поэт Михаил Исаковский со стихами, посвященными съезду. Откуда-то из задних рядов мимо меня, сидевшего близко к проходу, прошел к трибуне высокий, узкоплечий и чуть сутулый человек в очках, державший коротко остриженную темноволосую голову как-то немного набок. Часто литературная слава или известность сопровождается отличительными чертами индивидуальной внешности, даже одеждой, становящейся образцом для подражания. В Исаковском решительно ничего не было похожего на русокудрость есенинского типа, подчеркнутую элегантной манишкой и галстуком. Была на нем не то суконная, не то шерстяная, как и брюки, темно-

синяя гимнастерка или блуза с глухим отложным воротничком и свободным пояском из той же материи. Высокий, очень белый лоб и узкая белая кисть руки, поднятая к очкам с некоторым даже изяществом привычного жеста, как-то неожиданно сочетались с простецкими крупными чертами смуглого лица и были совсем не крестьянскими. Но все это вместе представлялось мне таким, каким и должно быть, и даже большие, в роговой оправе очки казались мне тогда решающей принадлежностью облика поэта.

Поднявшись на трибуну, Исаковский, вопреки торжественности момента, сказал, что стихов, посвященных нашему съезду, у него нет, он прочтет просто стихи, какие у него есть,— эта неподкупная точность, до педантичности, отвержение всякой претенциозности во всем, даже в мелочах, за годы знакомства, а затем дружбы с поэтом раскрылись мне как одна из характерных его особенностей.

Не стану описывать, как было встречено чтение Исаковским стихов, чтобы не впасть в преувеличение, вызывая в себе вновь тот жар мальчишеского обожания, с каким я слушал тогда поэта. Правда, там был не только я с моими порывами, там был полный зал делегатов — тот самый актив читателей-земляков: учителя, политпросветчики, избачи,— была такая должность,— комсомольские работники, письмоносцы; виднелись и живописные бороды сельских грамотеев и законников от сохи, выступавших в смоленских газетах, главным образом, с обличительными материалами.

Негромким, в меру напевным голосом, произнося, однако, все слова с подчеркнутой правильностью, Исаковский начал известное мне и, должно быть, многим другим в зале стихотворение «Матери»:

Не думай, мать, об убежавшем сыне —
Я лучших дней у жизни не прошу.
Всегда, всегда к Октябрьской годовщине
Я благодарные стихи пишу.

Пишу про те скрипучие полати,
Где по ночам ворочалась нужда.
Пишу о том, что к нашей низкой хате
Плывут огни по медным проводам...

Сама по себе тема Октября в стихах тех лет уже была привычной и обычной в праздничных номерах газет и

журналов, чаще всего не выходя из штампов испытанной лозунговой «словесности». Стихи эти уже воспринимались как дань заведенному порядку. Были и в Смоленске мастера такой дежурной патетики, даже не скрывавшие, что это «служба», заработок, газетные, как тогда говорилось, стихи, а «для души» слагавшие нечто весьма далекое от темы революции и не имевшее сбыта на страницах провинциальной печати.

Новизна и нешумливая оригинальность поэзии Исаковского, сразу принятая читателем, заключалась в том, что его печатавшиеся в газете стихи были в то же время стихами «для души», для себя, были тем заветным и главным лирическим словом поэта, за которым не может таиться в запасе слово иное, не имеющее выхода к читателю лишь по внешним условиям.

Бесспорно, что стихотворение «Матери» вызвано к жизни появившимся ранее знаменитым есенинским «Письмом матери» («Ты жива еще, моя старушка?..»). Нельзя преуменьшать силу лирического звучания этих едва ли не самых популярных в те годы строк Есенина.

Но какое наглядное различие в выражении сыновних чувств, во всем настроении того и другого послания. Сердечность и теплота сыновнего чувства у Есенина безусловна, хотя при позднейшем прочтении нельзя уклониться от впечатления некоторой условности.

Исаковский тоже не доклад читает своей матери, не говорит слов, к которым мать, старая крестьянка, могла бы отнестись с холодком или недоверием, хотя нельзя не заметить здесь известной заданности агитационного порядка. Но один крестьянский сын обращается к матери со своей усталостью от жизни, ищет у нее прибежища от своих душевных утрат и разочарований; тут нет речи о том, что в материнской избушке могли быть «скрипучие полати, где по ночам ворочалась нужда», и «вечерний несказанный свет» не совместим с тем светом, что «по медным проводам» течет к «низким хатам».

У другого крестьянского сына — ничего общего с пропащей долей, забубенной надорванностью. У него чувство глубокой удовлетворенности человека, обязанного революции достойной судьбой, и матери он хочет открыть глаза на то новое и светлое, что коснулось уже ее собственной жизни.

Родная мать, молящаяся небу!
Родная мать, покорная судьбе!

Скажи, не ты ль приклеивала хлебом
Портреты Ленина в своей избе?

И вечерами, примостившись к свету,
Не ты ль стыдливо просишь у снохи
Прочесть тебе ту самую газету,
В которой сын печатает стихи?

Мне уже приходилось говорить однажды, что я не испытывал в юности того увлечения поэзией Есенина, какое было в те годы повальным. Я познакомился с ней, будучи жителем деревни, и ее печаль об уходящей, во многом идеализированной деревенской жизни, какою она представлялась поэту за временем, расстоянием и особыми обстоятельствами его биографии, не могла найти непосредственного отклика в сердцах моего поколения сельской молодежи. Нельзя сказать, чтобы мы не любили деревню, питали пренебрежение к земледельческому труду или томились там скукой, как это получило распространение среди молодежи позднее. Но мы всей душой стремились к ученью, к городской жизни, отсвет которой ложился и на наш сельский быт. Я и мои литературные сверстники рвались к той городской жизни, с высот которой, пожалуй, готовы были и попечалиться о прелестях деревни, растроганно вспоминать о «вечернем несказанном свете», курящемся над ее избушками. Но, живя в избушках, где еще не был забытым предметом домашней утвари светец для лучины, мы не могли не видеть куда большей поэзии в огнях, проникающих в наши избушки по «медным проводам», что было в те годы еще редким чудом деревенского быта.

Есенинское опоэтизирование старой деревенской Рязанщины адресовалось не к этой Рязанщине,— оно имело в виду восприятие другой читательской среды,— по крайней мере, утратившей связь с деревней и хранящей о ней сентиментальные воспоминания.

Весьма сдержанный и скупой на полемические изъяснения в стихах, Исаковский в 1927 году обрушивает на богемствующих в духе моды поэтов «подъесенинского» толка суровое обличительное слово:

Тянут где-то песенку одну:
Дескать, мир тебе, родная хата;
Дескать, мы у города в плену
И в поля не может быть возврата;

Дескать, жизнь — полнейший кавардак,
А душа безрадостна и мглиста...
И поэты шествуют в кабак,
Чтоб всю ночь рыдать под гармониста.

Позднее этот распространенный тип «подъесенинского» стихотворца получил известную пародийную характеристику:

Ох, сглодал меня, парня, город...

А. М. Горький в своей «Рецензии», вполне основательно сопоставляя поэзию Исаковского с поэзией С. Есенина, говорит об Исаковском как о певце новой советской деревни, не противостоящей городу, а идущей на «смычку» с ним.

Действительно, первозначная тема и материал основного цикла «Проводов в соломе» — новые черты в жизни пореволюционной деревни, закрепление в образном слове неоспоримых ее примет,— будь то «доклад из Совнаркома» и «невидимые скрипки», впервые услышанные людьми захолустной деревушки («Радиомост»), или стук молотилки «за речкой на общественном гумне», или столбы электропроводки, шагающие «вдоль деревни», «чтоб у каждого — звезда под потолком»...

Это явилось подлинным открытием Исаковского в русской поэзии, которая после Некрасова не выдвигала крупных талантов, обращенных преимущественно к деревенской теме,— поэзия Есенина в этом смысле нуждается в оговорках.

Суриковско-дрожжинская муза осталась далеко за чертой войн и революций, хотя поэт-пахарь Спиридон Дрожжин еще жил в своей деревне Низовке и слагал свои незамысловатые стихи и песни.

Имя Демьяна Бедного — самое популярное в солдатских и крестьянских массах поэтическое имя первых лет революции — к середине 20-х годов не только в городе, но и в деревне тускнеет. Материал новых отношений в деревне не породил в его поэзии ни песен, ни басен, ни фельетонов, которые бы, как некогда, были у всех на памяти.

Виднейшие поэты начала века касались этой темы мимоходом, лишь по связи со своими, у каждого особыми, решениями «темы России».

В 20-х годах, когда Исаковский выходил на свою дорогу, понятие «крестьянский поэт» было по справедливо-

сти не в чести, если иметь в виду, например, такие издания, как журнал «Жернов», собиравший в своем особом закутке не вырывавшихся из безвестности крестьянских, точнее сказать, крестьянствующих поэтов. Занятные опыты Павла Радимова,— он более известен как художник,— воспевавшего в гекзаметрах натуральность сельского быта, не тронутого никакими историческими потрясениями, были заведомо обречены на крайне узкий читательский интерес.

Иван Доронин, пришедший, по его много раз цитированным строчкам, «машину примирить с нежными степными васильками», был провозглашен одно время певцом именно смычки города с деревней, но пел ее «утомительно и длинно» и, точно поверженный этими словами Маяковского, к началу 30-х годов замолк.

Для самого Маяковского, выросшего и встретившего революцию в огромной, крестьянской по преимуществу стране, где сложнейшей исторической задачей этой революции была как раз перестройка мелкособственнического хозяйства и сознания мужика в социалистическом духе, деревенская жизнь не была тем материалом, которым поэт владел бы с уверенностью и свободой. Неправомерно было бы ставить в упрек тому или иному поэту то, чего он не охватил своим душевным зрением — по тем или иным объективным или субъективным причинам.

Но можно отметить, что деревня, откуда революция вербовала в ряды строителей нового общества самый многочисленный контингент и индустриальных рабочих, и воинов своей армии, и новой интеллигенции,— долго оставалась вне сосредоточенного внимания виднейших поэтов, тогда как советская проза имела уже многие значительные произведения, посвященные этой теме.

Яркие и своеобразные таланты Пастернака, Асеева, Светлова и многих других поэтов обладали исключительно зрением интеллигентных горожан на ту часть мира, что носила название деревни и не была для них, как и для Маяковского, хотя бы предметом воспоминаний детства.

Для них она была той стороной действительности, значение которой они могли осознавать, но она не могла представить для них собственно поэтического интереса. Даже тонкое и проникновенное чувство природы у Пастернака нигде не выходит за черту созерцательного отношения к ней, ни одним краем не соприкасается с поэ-

зией труда на земле, ни одной нотой не перекликается с отголосками полевой песни. Его поэзия, как и поэзия многих его современников, не была непосредственно задета и величайшим, полным трагических коллизий переворотом в жизни деревни, отразившимся многообразными последствиями на жизни всего общества.

Багрицкий в своей «Думе про Опанаса» коснулся сложных борений крестьянской души на ее драматических распутьях в годы гражданской войны. Эта замечательная поэма, формой своей отдавшая известную дань увлечению неповторимым стихом Шевченко, стала одним из тех случаев, когда за названием произведения само собой живет имя автора, хотя бы оно и не было названо, и точно так же за именем автора тотчас подразумевается его произведение, вышедшее за пределы внутрилитературного счета. Но между этой поэмой и существенными мотивами позднейшей жизни пореволюционной деревни была еще дорога нехоженая и, не в упрек будь сказано,— упущенная из виду большинством талантов советской поэзии.

На эту дорогу и вступил, вернее — проложил ее Михаил Исаковский своими «Проводами в соломе».

И дело не в том, что Исаковский избрал преимущественным предметом поэтического изображения только что обозначившиеся черты новой сельской действительности,— хотя он и здесь почти никем не был предупрежден.

Не сам по себе жизненный материал новой деревни заключал в себе новизну и оригинальность его поэзии. Главное было в том, что новшества, причудливо и непривычно, а то и вовсе грубо и аляповато вторгавшиеся в жизнь деревни, взламывая ее вековечный уклад, традиции и навыки, отнюдь не отпугивали его, сына старой деревни, но были ему милы и дороги, и он с истинным душевным волнением отмечал их, вводил, так сказать, в поэтический обиход.

«Ореховые палки». Вспоминаю, какою необычной свежестью возведения буднично-прозаической подробности в поэтическое достоинство веяло от самого этого заглавия и от неторопливой, простой, будто бы совсем и не стихотворной интонации:

Когда июль раскидывал навес
И золотилась рожь
От солнечной закалки,
Отец мой шел по воскресеньям в лес
И вырубал ореховые палки.

Или стихи о «радиомостах», протянувшихся «к деревням и селам из столицы», в край, что был «от мира отгорожен сумрачным безмолвием болот». Или «Вдоль деревни» — песня еще об одном невиданном чуде, пришедшем в мужицкие избы.

Искренняя радость восприятия деревенской новизны, как неуклонного осуществления революции в каждодневной жизни, открыла слуху поэта и новизну в языке народа, и лексику, принесенную в его строй годами невиданных исторических потрясений и перемен. Может быть, за целые столетия не впитывал язык такого количества новых слов и фразеологических оборотов, как за эти годы, когда взрослая мужская деревня побывала бог весть на каких фронтах, в каких городах, наслушалась митинговых ораторов, агитаторов, докладчиков и сама уже не могла обходиться без тех словесных формул, что усвоила со слуха, с газетной страницы, с плакатов, листовок, воззваний, из директив новой власти и практики бурно развивавшихся на местах различных форм общественной жизни.

В стихотворении 1925 года «Докладная записка», одном из самых первых произведений ленинской темы в нашей поэзии, речь идет о том, как в глухом селе, где «творили богачи свои особые законы», «сельсовет у бедняка забрал последнюю корову» и как отчаявшегося в беде этого мужика наставляет солдат, пришедший «с передовых позиций».

— Я,— говорит он,— научу,
Где правду отыскать людскую.
Ты,— говорит он,— Ильичу
Пиши *записку докладную.*

Не жалобу, не просьбу или прошение, не просто письмо, наконец, а докладную записку. Солдат, может быть, ротный писарь, во всяком случае, грамотей из своих,— не чиновник, извечно отделенный от мужика казенным барьером,— внушает попавшему в беду мужику, что он в Советской республике не тот жалкий проситель, что робел и унижался перед всяким «присутствием», но личность, гражданин, которому невозбранно сноситься с главой своего государства в порядке деловой переписки. Речь солдата не лишена известного щегольства выраже-

ниями канцелярского обихода. Но эти слова и выражения идут у него вперемежку с исконными ходовыми словами народной речи.

Товарищ Ленин разберет
И *в долгий ящик* не положит.

И далее:

А если сам ты *не горазд,*
Пера не брал, быть может, в руки,
Так я тебе *составлю враз,*
Как полагается *в науке.*

Мужик еще обходится своим деревенским запасом речевых средств, принимая как должное превосходство «писучего» человека, и, однако, позволяет себе что-то заметить и простодушно подсказать ему в процессе совместного сочинения «докладной записки»:

— Ты не мельчи... Пиши крупней,
Чтоб Ленин все увидел сразу...

Для мужика и для самого солдата неуловим тот отчасти комический характер «научного» составления докладной записки на имя Ленина по столь житейской и личной надобности. Но он очевиден для автора, представителя новой, народной интеллигенции. Слух его уже насторожен против наивной неразборчивости, с которой народная речь тех лет неизбежно перегружалась вторгавшимися в нее неологизмами, политическими терминами, часто иностранной корневой основы, канцеляризмами, сокращенно-сложными словами — названиями бесчисленных организаций и учреждений, штампами агитационно-пропагандистского обихода. Революция не чуралась новых слов, заключавших в себе новые, неизмеримо расширявшиеся понятия и представления. И народ, даже, может быть, не понимая значения иного, отдельно взятого слова декретов, докладов газетных статей, отлично разбирался, куда клонится речь в целом, чей она бережет интерес.

Не удивительно и наивное стремление сельских грамотеев выразиться, особенно в письменном виде, звончее и значительнее обиходной речи («докладная записка»!). Самой фамилией в нынешнем ее виде Исаковский обязан инициативе старшего брата, причастного одно время к волостному делопроизводству и добавившего к простецкой фамилии Исаков окончание — «ский».

Широкое бытование в народной речи слов и выражений, ранее неслыханных, порой труднопроизносимых, объясняется только тем, что слова эти несли в себе подлинно большое содержание небывалых перемен в народной жизни. Они отражали и всеобъемлющую («в мировом масштабе») обширность ближайших перспектив нашей революции, которые воодушевляли юность нынешних пенсионеров.

Шли годы, преходящие элементы речи, слова-времянки отпадали, входили в обиход на более или менее длительный срок другие слова и фразеологические затвердения. Но в пору, когда устанавливался поэтический голос Исаковского, было в новинку и очень импонировало растущему читателю то обезоруживающее и незлобивое пародирование поэтом языковых штампов, которое началось у него именно с «докладной записки». Вообще это едва ли не первое в нашей поэзии стихотворение о Ленине, в котором, в отличие от общепринятой в то время патетической или торжественно-ораторийной интонации, появляются строки, способные оттенком простодушно-претенциозного изъяснения в прямой речи вызвать улыбку. Юмор исподволь и безо всякого искусственного напряжения проступает в основной лирико-повествовательной манере Исаковского, и это одна из подкупающих черт его поэзии. Нет нужды иллюстрировать это положение специально подобранными цитатами,— юмор не любит такой фиксации.

Но сейчас я говорю о юморе, более обнаженном и отчасти заданном в стихах, построенных на пародировании тех причудливых и оборачивающихся комическим эффектом словосочетаний, когда язык газетных передовиц, докладов, директив и т. п. выступает в сочетании с элементами речи совсем другого, так сказать, неофициального обихода.

Тут и письмо влюбленной девушки секретарю комсомольского комитета, где строки о «дальнейших директивах» и «живом руководстве» перемежаются строчками о том, что

У нас теперь по перелескам
Такой хороший листопад.

И любовные признания парня:

Ой, понравилась ты мне
Целиком и полностью.

И «соловьи — поэты *сельского масштаба»* и «чайный стакан *социального зла»,* выпиваемый к случаю председателем сельсовета, и история о том, как комсомолец, увлекшийся дочерью мельника

...в июньскую полночь синюю
Искривил комсомольскую линию.

В пародийной окраске этих и многих других примеров использования Исаковским протокольно-газетных оборотов в языке не содержится сатирических оттенков. Это мягко-иронический, ни для кого не обидный тон, подрывающий, однако, магическую, заклинательную силу претенциозно-казенных штампов речи, выводящий их из строя.

Сходные, но совершенно иной природы и самостоятельного развития интонации присущи лирике Светлова. Кстати сказать, другого примера сближения этой стороны Исаковского в советской поэзии, по-моему, не находится, если не считать младших современников, развивавших позднее именно эти приемы его поэтического письма, когда сам Исаковский уже все реже обращался к ним. Только изредка эти приемы еще вплетаются в поэтическую ткань совсем другой природы и ведут к нарушению цельности ее лирической или патетической основы, как, например, выражение «цепные собаки *довоенного качества»* в «Поэме ухода».

Процитированные выше строки — у нынешнего читателя, особенно молодого,— разумеется, уже не вызовут того оживления, какое они вызывали в свое время. Дело просто в том, что с развитием культуры и образованности многие перлы официозно-протокольной лексики и фразеологии былых годов вышли из употребления. Лирико-юмористические стихи Исаковского отразили процесс преодоления или изживания этих элементов речи,— процесс столь же длительный и многослойный, как и повышение общекультурного уровня в стране. Остаточные, но все еще живучие образцы языковых причуд и новейших «блестков» питают в наше время в печати специальные подборки в «уголках юмора», например, раздел «Нарочно не придумаешь» в «Крокодиле».

Эта, так сказать, побочная и недолговременная линия поэзии Исаковского, интересна главным образом не сама по себе, а в смысле сближения стихотворной речи с различными слоями живого языка современности. С годами

поэт все реже пользуется одиозными случаями неправомерных словосочетаний, характерных для малограмотной, но претенциозной речи, перестановок ударений в словах (*«географи́я жизни» «ро́маны» вместо «романы»* и т. п.). Исаковский все свободнее в освоении и подчинении строю стиха оборотов прозаической деловой речи, приобретающих у него непринужденность лирического выражения:

Без всяких планов и программ
Я, бывший деревенский житель,
Люблю бродить по вечерам
У закипевших общежитий.

Но, «бывший деревенский житель», он опирается на толщу развитого в веках богатейшего крестьянского языка, к которому умели прислушиваться величайшие мастера отечественной литературы. Исаковский знает цену этому богатству, но слух его, сына своей эпохи, не закрыт и для привнесенных временем, порой неожиданных публицистических построений.

Две подряд строфы одного стихотворения, но какой различной словесной фактуры и самой тональности — не в ущерб единству содержания:

Я целый год живу в такой глуши,
Где даже песни бойкой не услышишь.
Болото. Лес. Речные камыши
Да серые соломенные крыши.

Порой медведь, как закадычный друг,
Придет, в калитку постучит от скуки...
У нас считали самодельный плуг
Последним достижением науки.

Замечательно в этом смысле и стихотворение «Хутора», написанное не по отвлеченному побуждению, а как отклик на актуальное явление деревенской жизни, приобретшее особую остроту в середине 20-х годов именно на Смоленщине,— массовые выходы крестьян на хутора по образцу столыпинских.

Помню, с каким щемящим и вместе радостным чувством читалось тогда это стихотворение,— написанное точно специально для нас, хуторян. И теперь я распознаю в нем многие отличительные особенности стиха Исаковского, его неторопливый, основательный, как бы вовсе и не стихотворный, но такой емкий и выразительный лад:

Проплывали дни и вечера
Без больших забот и без тревоги.

Было в общем сорок три двора
По обеим сторонам дороги.

Жили вместе. Было все с руки.
Только вдруг — скандал из-за покоса.
И тогда решили мужики
Каждый двор поставить на колеса.

Сколько нужно слов и подробностей, чтобы сказать то, что выражено одной этой строкой о решении мужиков «каждый двор поставить на колеса», то есть разбиться деревне на хутора, разметить плотничьим мелком и разобрать строения по бревнышку, уложить их на двухосные «раскаты» и вывезти в открытое поле или кустарниковые заросли, где тебе отведен участок!

Здесь и плачь и радуйся один,
Что ни делай — сам себе вояка...
Здесь у каждого земли свой клин
И своя сердитая собака.

На угрюмой и недоброй басовой струне звучат дальше строчки:

«Дескать, нас не беспокой, не тронь,
Нам плевать на суету мирскую...»

И вдруг ее сменяет другая струна, звучащая по-иному, печально вопрошающая:

Отчего ж вечерняя гармонь
О широкой улице тоскует?..

Мы привыкли к этим стихам или забыли их (а кто и вовсе не слыхал и не читал) за шумом и звоном самоновейших лир, столько раз уже сменившихся. Но это факт, что до Исаковского наша поэзия не говорила на таком внятном и полнокровном языке реализма о болях и тяготах деревенской жизни, не впадая ни в традиционную жалостливость, ни в бездумное бодрячество голых призывов.

В дореволюционные годы в хуторской (или отрубной) форме землепользования реакционные правители страны стремились обрести для себя опору в борьбе против волнений и бунтов крестьян, связанных еще «мирской» круговой порукой, интересами сельской общинности. Исаковский говорит по поводу хуторизации в советский период, но имеет в виду, конечно, старые хутора, «застывшие», «как стога несвезенного сена», то есть уже с

потемневшими от времени крышами, и причину размежевания, более характерную для прежней деревни,— «скандал из-за покоса».

Освоение темы новой деревни обострило у Исаковского художественное видение всех мрачных сторон деревни, старой, уходящей, но еще не ушедшей. Поэт свободен от иллюзий памяти, приукрашивающей прошлое,— у него с ним свои суровые счеты. Детство и ранняя юность его прошли в такой безнадежной скудности бедняцкого дома, что нужен был еще исключительно счастливый случай, почти чудо, чтобы природные задатки поэтического его призвания смогли осуществиться. Нужно было так случиться, что на выпускном экзамене в сельской школе, где отлично отвечавший близорукий, болезненного вида мальчик прочел по предложению учителя стихи своего сочинения, обратил на себя внимание присутствовавшего там члена уездной управы, интеллигентного и просто доброго человека М. Н. Погодина, который взял на себя хлопоты о его дальнейшей судьбе.

Про Исаковского нельзя сказать, чтобы он питал отвращение и ненависть к старой деревне и видел одни ее темные стороны, как это бывало с выходцами из той же среды. Но у него нет в поэтической памяти отзвуков хотя бы относительного довольства, благообразия в быту крестьянского двора среднего достатка.

Даже о поре детства, оставляющей на всю жизнь память радостей, возможных и в самом бедном деревенском быту, много лет спустя он рассказывает с горечью и невольным возражением Некрасову на его строки из «Крестьянских детей», взятые эпиграфом к своему «Детству»:

> Играйте же, дети! Растите на воле!
> На то вам и красное детство дано...

Безнадежно пересказывать своими словами эти строфы грустного поэтического рассказа о напрасных призывах к мальчику его детства погулять, позабавиться с одногодками: он бы так хотел, но ему то свиней пасти, то братишку нянчить, то просто не в чем выйти из хаты на зимнюю улицу.

И заканчиваются эти стихи о безрадостной доле крестьянского мальчика, мимо которого проходило все, чем красна пора детства, словами сомнения в реальности минувшего:

Ушло мое детство, исчезло, пропало.
Давно это было, давно...
А может, и вовсе его не бывало,
И только приснилось оно.

Исаковский обладает глубоким чувством родной природы и поэзии сельского труда, и разлука с деревней для него не «как с гуся вода».

Все та же даль, все та же синева,
Но болен я утратою вчерашней:
Я потерял крестьянские права
И на луга родные, и на пашни.

Это одно из лучших стихотворений Исаковского, впервые напечатанное в 1926 году, считалось тогда в критике слишком близким мотивам есенинской поэзии. Но теперь, через сорок с лишним лет, оно представляется мне по существу своему свободным от этого упрека. В нем выражено настроение, присущее множеству людей, принесших в город впечатления жизни, какою жили отцы, деды и прадеды. И подобно тому, как почти любой человек не может не испытывать грусти, прощаясь даже с плохой старой квартирой — там безвозвратно осталась часть его жизни,— в душе людей, сменивших деревенское житье на городское и лучшее, остается место для грустного чувства какой-то утраты.

Мне говорил на сходке бородач:
«Тебе не быть уж больше деревенским,
Без черного труда и неудач
Ты проживешь, Васильич, и в Смоленске...»

Здесь, может быть, слышится и еще одна, особая нота, звучащая независимо от намерений автора. Практически-житейская оценка судьбы «без черного труда» не совпадает с более высоким чувством сыновней привязанности к родным местам и чувством некоторого смущения преимуществом «писчей должности» перед долей деревенского жителя.

Но при всей душевной привязанности к деревенскому миру, при этой светлой памяти его картин, звуков и отголосков Исаковский, как уже сказано, чужд идиллически-умильным представлениям о нем. Мысль поэта реалистична, она углубляется в прошлое, вновь и вновь обращается к старой деревне с ее историческими бедами и нуждами, безземельем, малоземельем и худоземельем,

может быть, затем, чтобы подчеркнуть значение того, что принесла революция в крестьянскую жизнь и что за нынешними неурядицами и несовершенствами не всегда ценится людьми.

Тема земли, как основы основ крестьянского бытия, во всех ее разветвлениях и подробностях, занимает поэта и в самый канун коллективизации, и в ходе потрясений и новшеств, пришедших с нею в деревню.

В цикле «Минувшее» предметом поэтического освоения становятся разнообразные и, казалось бы, доступные лишь прозе стороны горького сельского быта предреволюционной поры: разорение и запустение крестьянских дворов, откуда «уходят все, кому уйти возможно», переселенческие мечтания о Сибири, где

...жизнь совсем иного рода:
Там не народ страдает без земли,
А там земля тоскует без народа.

Мне очень памятны эти порывы и моего отца, и родни, и соседей податься на вольные земли,— отец даже выезжал однажды на «смотрины» этих земель, хотя местность, где я рос, не страдала уж таким крайним малоземельем и заболоченностью, как Ельнинские края Исаковского. И памятно, как читались в нашей семье его «Переселенцы», когда эти планы и намерения были оставлены и переживались уже как едва не совершившаяся непоправимая ошибка.

Скрипит и плачет на ходу
Обоз по выбитой дороге,—
Вся жизнь сегодня на виду,
Вся жизнь положена на дроги...

Совершенно нетронутый поэзией бытовой и словесный слой облекает Исаковский в полные горькой иронии, четкие, запоминающиеся с первого чтения строфы о судьбе и тех пасынков «земли-мачехи» «безродной», что покинули ее в чаянии городских заработков.

Оттого и вечера глухи,
И не льются бойкие припевки.
В города сбежали женихи,
И тоскуют одиноко девки.
Денег ждут суровые отцы,
Ждут подарков матери родные,
Но везут почтовые гонцы
Только письма, письма доплатные...

В скобках заметим: образ этого унылого деревенского малолюдья и девичьего одиночества как-то неожиданно смыкается с той картиной, что рисуют материалы недавних лет об убыли сельского населения на Смоленщине. Тут, однако, та разница, что нынче сбежавшие в города женихи не только не намерены «считать шпалы» в направлении к дому, но заражают своим примером и невест, а то и суровых отцов и матерей родных, которые вслед за детьми подаются на городские хлеба. Времена иные, и как все по-разному, в сущности, при внешней похожести явлений.

Тема переселенчества получает еще один горько-иронический поворот в стихах о конечном «переселении» со скупой на урожай земли в ее же лоно, то есть на погост.

Жизнь не всех лелеет под луной.
И, глаза накрывши полотенцем,
Каждый год — и летом и зимой —
Шли и шли сюда переселенцы.
Каждый год без зависти и зла
Отмерялись новые усадьбы,
И всегда сходилось полсела
Провожать безрадостные свадьбы.
. . . .
И земля, раскрыв свои пласты,
Им приют давала благосклонно.

Но не «без зависти и зла» шли споры за землю, которая «пришла» наконец с революцией. Правда, та же тема земли, представлявшей всю вкупе неразрешимую сложность и муку крестьянского бытия в прошлом, теперь уже проецируется и в плане новых суждений и предположений пооктябрьской деревни:

Земля! Да нету с ней порядка,
И нет, и не слыхать...
А может, правда,— в том разгадка,
Чтоб сообща пахать?

Поэт еще неоднократно и настойчиво будет обращаться к этой теме, казалось бы, уже заслоненной материалом новой действительности, и эта настойчивость, некогда смущавшая даже благожелательных критиков Исаковского, теперь представляется вполне оправданной и органичной. Это была внутренняя необходимость для певца новой деревни доскональной сведения счетов с прошлым на пороге нешуточного переворота

всего уклада жизни, традиций, вековых привычек и навыков. Поэт взыскательно всматривается в минувшее, закрепляя память пережитого им вместе с народом, чтобы убедиться окончательно перед неясным еще и тревожным будущим, что, во всяком случае, оставшегося позади жалеть нечего и цепляться там не за что. Но, как почти всякое прощание, и прощание с отжившим и безрадостным миром старой деревни не может быть легким. Где-то еще в Библии сказано, что и пепелище костра, у которого путник провел ночь, он покидает с грустью, но это чувство не может остановить его в намеченном пути.

Мотивы прощания с прошлым в поэзии Исаковского не ограничиваются стихами с заголовками и подзаголовками «Минувшее», «Из прошлого», «Из старых тетрадей»,— они живут и в его вещах, посвященных самому разрыву крестьянской души с этим прошлым. И нет ничего странного в том, что музыка и здесь не плясовая, хотя прощание здесь с «хуторской Россией», оставляемой навсегда, ради лучшей жизни.

В этой сумрачной хате
для меня ничего не осталось,
Для моей головы
эта темная хата низка...
Здесь у каждой стены
приютились нужда и усталость,
В каждой щели шуршит
тараканья тоска...

И естественно, что в цитируемой «Поэме ухода» куда сильнее и безусловнее выражено то, с чем человек прощается, чем то, ради чего он прощается. Для выражения безысходной мужицкой тоски поэт располагает неограниченным запасом непосредственных впечатлений собственного детства и юности, а также всеми мощными средствами самой народной поэзии и языка, несущих в себе врубившиеся в память, лаконичные и неотразимые формулы, добытые многовековым опытом страданий и поисков.

Но когда он подходит в этой поэме к рубежу, за которым — новая, сулящая свет и радость жизнь на родной земле, новизна эта, еще не взрастившая в народном сознании таких доводов, таких формул в пользу ее, которые бы не уступали по силе выражения прежним,-

новизна эта иногда предстает в некотором напряжении и декларативности.

Точно так же и в «Разговоре с лошадью», датированном уже 1932 годом, покамест он касается древней трудовой дружбы мужика и коня, со всеми положенными на их долю испытаниями,— тут и незаменимость слов, и верность интонации:

Сколько лет мы тащили свой воз неуклюжий
В стороне от прямого пути!
И всегда, понимаешь,
Возвращались к тому же,
От чего собирались уйти.

. . . .

Трудно было забыть свой соломенный остров,
Трудно было с мужицкою спорить судьбой,
Если, кроме церквей, кабаков и погостов,
Ничего мы не знали с тобой.

А когда речь доходит до «колхозной конюшни», тут не обходится без декларативности, доводов и утверждений, близких газетной передовице: «высокое солнце», «просторный прославленный век, о котором все лучшие люди мечтали», и т. п.

В поэме «Четыре желания», самой крупной по объему вещи Исаковского, где рассказывается о неисполнившихся при жизни батрака Степана Тимофеевича его мечтах купить сапоги, прокатиться по железной дороге, жениться на любимой девушке и выучиться грамоте, чтобы прочесть «справедливую книгу»,— горечь этой судьбы, обманутых надежд забитого жизнью человека выражены в стиле своеобразной народной притчи. Здесь получает наиболее полное выражение давняя тема Исаковского, исподволь пробившаяся во многих отдельных стихотворениях («На смерть соседа», «Разговор с лошадью», «На реке», «Об отце»). Эта тема непримиримости поэта с мыслью о бесследности, безгласности жизни на земле поколений ее тружеников, низведенных бесправием, невежеством и нуждой до уровня бессознательных существ, причем не отмечающих свой срок пребывания в мире. Судьба отцов и дедов предстает здесь уже не только в плане социальных претензий и счетов народа, но и неисчислимых духовных потерь, понесенных им в условиях многовекового существования вне исторической жизни. И слово поэта, обращенное к памяти поколений людей труда, безгласно ушедших из мира, не дождав-

шихся светлой поры, когда найдена «справедливая книга» о правах тружеников земли на счастье, приобретает силу скорбно-торжественного призывного заклинания:

Вставай же, Степан Тимофеевич!
Вставайте, раздетые, босые,
Чьи годы погибли бесследно,
чьи жизни погасли во мгле,
Чьи русые кудри не чесаны,
чьи темные хаты не тесаны,
Чьи белые кости разбросаны
по всей необъятной земле...

Правда, пафос утверждения нового, что пришло к нынешним труженикам колхозных полей — наследникам всех тех бесследно ушедших поколений,— носит более словесный характер, близкий ораторской речи с присущими ей приемами несколько стилизованной образности.

Но и самые привычные, «обкатанные» лозунговые слова можно произносить по-разному: и не затрачивая на них, как говорится, ни синь пороха собственного душевного тепла, и, наоборот, наполняя их и вновь оживляя собственной убежденностью и верой. И мы не вправе пенять поэту, что он не обходится без таких слов: он и здесь не оставляет сомнений в своей глубокой искренности, и эти слова призыва к живым и мертвым идти «последним походом в последний решительный бой» — для него не просто слова, за ними и глубокая вера в правоту нашего дела, и священная память ушедших.

Да и кто из нас так-таки и обходился без таких обязательных слов, если не просто стоял в стороне в созерцательном ожидании менее требовательных времен, а был, как говорится, призванным решать те же задачи, что стояли перед народом, перед первым его поколением интеллигенции! Это было время, требовавшее и от поэзии напряженных усилий и нередко жертвы неукоснительным совершенством формы в стремлении ближайшим образом отозваться на то воодушевление и энтузиазм, которыми были охвачены люди, шедшие на неизмеримо бóльшие жертвы во имя великой идеи.

Поэт, если только речь идет о подлинном поэте, далеко не так волен в своих темах и мотивах, как это иным кажется, и он бывает органически не в состоянии спеть

ту песню, которую подсказывают ему извне, не закончив той, что необходимо должна быть допета. Снова и снова подходит Исаковский к актуальной теме дня с глубоких его тылов, расправляясь с минувшим, которое противостоит этому нынешнему дню.

В 1941 году, перед самой войной, он как бы подводит итог своим затянувшимся счетам с прошлым:

Я вырос в захолустной стороне,
Где мужики невесело шутили,
Что ехало к ним счастье на коне,
Да богачи его перехватили.
. . . .
Я вырос там среди скупых полей,
Где все пути терялися в тумане,
Где матери, баюкая детей,
О горькой доле пели им заране.
. . . .
Я думаю о прожитых годах,
О юности глухой и непогожей,
И все, что нынче держим мы в руках,
Мне с каждым днем становится дороже.

Как я уже говорил, новая быль советской деревни широко открыла глаза поэта на уходящий мир деревни старой, которая теперь представлялась со всей своей натуральной предметностью, бытовым обликом, традициями и понятиями отчасти уже какой-то небылью.

Нужна была революция со всеми ее решающими последствиями, чтобы и дореволюционная деревня отразилась в русской поэзии с той скорбной ее неприглядностью и доскональной верностью жизненной правде, с какими она не могла быть отражена, когда представляла собой не прошлое, а настоящее, не отдаленную временем небыль, а самую очевидную быль.

Я имею в виду поэзию стихотворную. Русская проза издавна с особой пристальностью изучала деревню и живописала ее, по крайней мере, со второй половины прошлого века до самого Октября, можно сказать, день за днем вела ее сложную и суровую, пусть не всегда и не во всем достоверную летопись. Но в стихотворной и песенной поэзии после Некрасова пореформенная деревня не обозначается произведениями, которые могли бы хоть приближенно равняться общеизвестностью со стихами и песнями великого поэта.

Иван Бунин, видевший глазами прозаика деревню конца прошлого и начала нынешнего века во всей ее, так сказать, подноготности, с не меньшей зоркостью, чем даже такие писатели из крестьян, как Ив. Вольнов и С. Подъячев, в стихах своих касался жизни мужицкого двора крайне редко и как бы только издали. Еще молодым он написал, например, рассказ «На край света», посвященный переселенческой трагедии,— это почти стихи по сгущенности лирического настроения, подчеркнутой музыкальности. Но трудно представить, чтобы такая или подобная тема деревенской жизни была поднята им в стихах. Стихотворная поэзия, так или иначе касаясь деревни, все более отклонялась от существенности, социальности и «постановки вопросов».

Наступившая в молодые годы Исаковского быль пореволюционной деревни открыла в нем своего поэта, дала ему тот особый, как бы не существовавший до него мир образов и мотивов, каким отмечается приход в литературу подлинного поэта. Годы шли, и вслед за предвестием, предположениями и первоначальным, разрозненным опытом («А может, правда,— в том разгадка, чтоб сообща пахать?») грянула на село куда более резкая быль коренных перемен всей крестьянской жизни. Коллективизация во всем переплетении ее сложностей, разнородных настроений крестьянства — от небывалого воодушевления и энтузиазма сельских активистов всех возрастов, особенно молодежи, до растерянности, недоумений, отчаяния и озлобленного сопротивления новому,— эта великая историческая пора не могла не сказаться на литературе и искусстве. В поэзии — одних она заставила умолкнуть с их «подъесенинскими» и иными мотивами идеализации деревни; других, не зевая, перестроиться соответствующим образом и наскоро сочинять хотя бы частушки, узурпируя эту привилегию самой деревни; третьих позвала к сосредоточенному осознанию новых явлений и серьезным поискам средств для их выражения.

Между 1928 и 1937 годами Исаковский, никогда не отличавшийся особой плодовитостью, пишет и печатает больше обычного. В эти годы написана поэма «Четыре желания» и многие другие стихотворения того же тематического круга, а также песни, занимающие

в 30-х годах все большее место в творчестве Исаковского.

О стихах этого периода, посвященных наиболее значительным темам и почти совсем свободных от «пережиточных» пародийных приемов формы, можно сказать, что они, как принято выражаться, не равноценны, но и там есть немало вещей, полных неподдельного лирического пафоса.

Наши звезды плывут,
    непогожую ночь сокрушая,
Разгоняя осеннюю черную тьму,
Наша жизнь поднялась,
    словно песня большая-большая,—
Та, которую хочется слушать
И хочется петь самому.

«Догорай, моя лучина...»

Начиная со стихотворения «Подпаски», которым открывалась его первая книга стихов, Исаковский с особой охотой прибегает к образам старости, колхозных и доколхозных, живых и покойных «дедо́в» с их умудренным немногословием, раздумьями о жизни, взыскательными оценками ее. Их множество на страницах книг Исаковского, этих носителей «веселого лукавства ума и живописного способа выражаться». Это пристрастие к старикам, отмеченное, впрочем, не у одного только Исаковского, можно объяснить той выгодой для художника, что старикам у нас издавна позволяется бо́льшая, чем молодым, свобода суждений, иногда самых критических и независимых. Но, пожалуй, вернее будет видеть в этом пристрастии ту выгоду для поэта и прозаика, что в образах стариков с наибольшей наглядностью выступают «оба пола времени» — прошлого и настоящего, взаимно оттеняющие свои характерные черты.

Старики Исаковского — неизменно симпатичные, лояльные характеры, выявляемые поэтом с сыновней любовью, чуткостью и терпимостью к их слабостям. В доколхозных стихах лишь изредка слышится голос отчужденной и не приемлющей новшеств старости,— вроде того «хуторского»: «...Нас не беспокой, не тронь,— нам плевать на суету мирскую...» Но в стихотворении «Враг» поэт «предоставляет трибуну», как некогда принято было в критике говорить о таких случаях, непримиримому врагу колхозного строя со всеми его библейскими пророчествами конца света и практикой открытой борьбы не остановившими, конечно, хода истории.

Ты говорил, что в мир идет невзгода:
Земля не будет ничего родить,
Скоты и звери не дадут приплода,
И птицы гнезда перестанут вить;

Народ не выйдет ни пахать, ни сеять,
И зарастут поля полынью и тоской;
По всем дорогам матушка Расея
Пойдет к Москве с протянутой рукой;

Ты ожидал — погаснет пламя горнов,
Замрут машины, станут корабли,
И вся страна придет к тебе покорно
И свой поклон отвесит до земли...
. . . .
Своих друзей ты созовешь на праздник,
Своих врагов согнешь ты, как тростник...
Готовя нам египетские казни,
Ты просчитался здорово, старик!..

Стихотворение написано в 1935 году, когда с победой колхозного строя стала очевидной несостоятельность всех вражеских пророчеств о «конечной гибели России». Процесс этот был трудный и сложный, и конечно же нет нужды отрицать, что иные из этих своекорыстных упований и предсказаний, хотя бы в частности и на известный срок, могли иметь соответствия в действительности. Были же и неурожаи, и гибель скота, и невыходы колхозников на работу, и зараставшие полынью поля, и паломничество деревенских жителей в города за хлебом, и многое другое. Не могло обойтись и без ошибок, усугубленных к тому же воздействием самовластной воли. Однако просчет враждебных предсказаний был не в частностях и деталях, а в основном и главном — в победительной силе идей, воспринятых народными массами, и в историческом трудовом творчестве этих масс, вдохновленных и руководимых Коммунистической партией.

Как часто это бывает, что иные поэтические произведения выходят в свет не в тот самый час, когда они произвели бы наивыгоднейшее впечатление на читателя! И более того: несомненно, что появись такие стихи, как цикл Исаковского, посвященный дореволюционной деревне, не в 20-х, а в 900-х или 10-х годах, они имели бы куда более острую непосредственную актуальность. Но дело в том, что они не смогли появиться не только по

субъективным, но и по объективным обстоятельствам, о которых уже отчасти сказано.

Во многих случаях поэтические произведения, так сказать, не синхронны явлениям жизни, которые отражены в них. Это — не закон, исключающий примеры счастливых совпадений, каких немало и в советской поэзии вообще, и у Исаковского в частности. Но сколько примеров того, как поэзия, в нарушение календаря политической жизни, сдвигает с места его числа или объединяет их с другими, предшествующими или позднейшими числами и при этом бывает награждена несомненной удачей.

Широко известное стихотворение Исаковского «Русской женщине» появилось в год победного окончания Отечественной войны, и в нем речь поэта пользуется формой прошедшего времени.

...Да разве об этом расскажешь —
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..

Образ русской женщины издавна привлекал Исаковского, что легко увидеть по многим его стихам и песням, и это один из мотивов, связующих его поэзию с некрасовской традицией. И в 30-х годах появляются «Юбка (Рассказ колхозницы Маруси...)», «Как вошла в приемный зал (Случай на призывном пункте)», «В лесном поселке (Письмо девушки)», «Спой мне, спой, Прокошина (Памяти моей матери)», «В гости приехала дочь»... Все это о советских матерях, дочерях и невестах. Среди них большой горечью и нежностью трогает стихотворение, посвященное памяти матери поэта. Во всех стихотворениях воспевается женщина-труженица, колхозница или работница, ее не всегда заметный и не всегда в полной мере ценимый самоотверженный труд, хотя именно в эти годы повторялись известные слова о том, что «женщина в колхозе — большая сила». И если бывает, что читатель ждет от поэтов стихов на определенную, затрагивающую его тему, то стихов, которые бы подняли героический, подвижнический образ русской женщины-колхозницы, уже и в 30-е годы ждали, и такой счет среди многих других предъявлялся нашей поэзии.

Но этот обобщенный образ русской женщины в стихотворении Исаковского, посвященном ее беспримерному

трудовому подвигу в годы войны, явился, когда уже суровейшие испытания этих лет миновали, уступив, может быть, место другим, но уже не таким безмерным. Непосредственно эти стихи поют славу женщине-солдатке, ее неоценимому вкладу в дело победы. Но нельзя не видеть в этом образе опыта и выучки, приобретенных женщиной в годы первых пятилеток на стройке колхозов, заводов, у станка и дома в заботах о семье, о детях, в напряжении повседневного быта, в тяготах и лишениях, всегда в первую голову выпадавших на ее долю. Только здесь уже она

...со своею судьбою
Осталась один на один.

Это стихи из таких, которые цитируются не столько в подтверждение каких-то положений, сколько просто из желания дать им самим по себе прозвучать, лишний раз попасться на глаза читателю,— так они поразительно живы и сегодня.

Ты шла, затаив свое горе,
Суровым путем трудовым.
Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим.

. . . .

За все ты бралася без страха,
И, как в поговорке какой,
Была ты и пряхой, и ткахой,
Умела — иглой и пилой

Рубила, возила, копала —
Да разве же все перечтешь?
А в письмах на фронт уверяла,
Что будто б отлично живешь.

Бойцы твои письма читали,
И там, на переднем краю,
Они хорошо понимали
Святую неправду твою.

И воин, идущий на битву
И встретить готовый ее,
Как клятву, шептал, как молитву,
Далекое имя твое...

Поразительное дело: привычные слуху слова газетно-пропагандистского обихода вступают здесь в соединение со словами такой сердечности, точно обращены они к родной матери, любимой жене или сестренке. И вместе с

тем этот образ сам собой выходит за рамки портрета жены, матери или сестры такого-то солдата и приобретает обобщенно-символическую монументальность образа матери, подруги и сестры советских воинов, чье имя для них было поистине клятвой и молитвой. Прошло более четверти века со времени появления этих стихов в печати, но они в полной мере сохранили свой лирический жар, и я уверен, что читатель не посетует на меня за приведенные здесь почти полностью строки этого маленького шедевра.

Я начал эту статью о поэзии Исаковского с замечания о том, что показателем общественной значительности стихов является интерес к ним со стороны того большинства читателей, которые, как правило, стихов не читают.

Но есть и еще показатель — с другой совсем стороны. Если заядлый стихолюб, знаток тонкостей формы утрачивает в отношении взволновавших его стихов профессиональную способность тотчас заметить в них наличие глагольных и других банальных рифм или, скажем, слов и оборотов прозаически-газетного порядка и т. п.— это тоже очевидная победа поэзии, не рассчитанной на вкусы знатоков и сладкоежек формы.

Легко было представить, как воспринимались приведенные стихи людьми большого читательского круга, в том числе теми, что обычно стихов не читают. Но я имел возможность неоднократно убедиться, что и на людей, как говорится, хлеб приевших по части анализа формы, они производили впечатление, исключавшее отдельное рассмотрение формальных особенностей. Что же это — результат полного безразличия поэта, озабоченного лишь содержанием, к форме? Нет, это просто случай того единства формы и содержания, когда они порознь не существуют. Однако это полное слияние обеих сторон происходит именно из первоочередной и преимущественной озабоченности поэта тем, о чем он хочет сказать, из необходимости выразить словами серьезную мысль и глубокое непритворное чувство, которым он не может не поделиться с читателем.

Соотношение этих сторон, вообще говоря, близко тому, о котором сказано у Л. Толстого в замечании о том, как пел дядюшка молодых Ростовых в незабываемой картине вечера у него в Михайловске после охоты.

«Дядюшка пел так, как поет народ, с тем полным и наивным убеждением, что в песне все значение заключается только в словах, что напев сам собой приходит и что отдельного напева не бывает, а что напев — так только, для складу. От этого-то этот бессознательный напев, как бывает напев птицы, и у дядюшки был необыкновенно хорош».

Разумеется, у поэта предпочтение содержания форме не может быть таким наивным или бессознательным, но что «отдельного напева не бывает» — это верно в отношении формы стиха так же, как и то, что не бывает отдельного содержания.

Форму поэзии Исаковского чаще всего называют простой, традиционной. Но понятия простоты и традиционности весьма условны, и когда они относятся к конкретному явлению искусства, здесь не должно быть недоговоренности, скольжения мимо существа дела. Простоту и традиционность стихов Исаковского нельзя характеризовать теми же расхожими понятиями, что и стихи, скажем, Д. Бедного. Здесь иная природа, иное качество.

Простота стиля Исаковского не результат его приспособления к некоей «простоте» читательского восприятия. Это избранный поэтом, наиболее соответствующий содержанию способ и характер выражения, достигнутый в сознательных поисках и усилиях. Мало кому известно, что в своей юности Исаковский не избежал и нарочитой усложненности, и вычурности, и иных дешевых эффектов в духе литературных поветрий, по счастью, быстро и безвозвратно преодоленных. Недаром он в титульном обозначении «Проводов в соломе» назвал их «первой книгой стихов», как бы отграничиваясь от всего, что было написано за десяток лет со времени первого опубликованного в 1914 году ребяческого стихотворения «Просьба солдата».

Он обрел свой строй, свой склад поэтической речи, смело черпающей слова и обороты современного разговорного языка, в том числе заведомые «прозаизмы», в сочетании с музыкальной основой, идущей по преимуществу от народной песни.

И когда голос его окреп, поэт упорно и последовательно развивал его самобытную силу, чураясь, как стыда, чуждых ему всех разновидностей формализма, влия-

ний быстротекущей моды. Но и в образцах классической поэзии он видел именно образцы, высокие создания поэтической мысли, а не образчики, по которым можно кроить и сшивать их подобия.

Иные критики Исаковского, всячески одобряя содержательную сторону его поэзии, куда как более сдержанны и опасливы, когда касаются мастерства его формы. Между тем она, будучи действительно простой и даже традиционной, обладает своеобразной цельностью, позволяющей распознать голос автора с двух — четырех строк, и вместе неожиданными и смелыми нарушениями «простоты и традиционности».

Когда же в ночь над городом луна
Гудит широким полевым набатом,
Меня зовет родная сторона,
Опять зовет к дымящимся закатам.

И сердце жадно ловит этот зов,
И у смоленских каменных порогов
Я слышу звон косы и дальний скрип возов
По запоздалым луговым дорогам.
(«Все та же даль...»)

Исаковский может самую лирическую интонацию перебить вдруг грубоватым народным выражением, почти ругательством, передающим, однако, тоску деревенского одиночества и заброшенности с особой силой:

Выйдешь в поле,
а в поле — ни сукина сына,—
Хочешь пой,
Хочешь вой,
хочешь бей головой ворота̀!..
(«Поэма ухода»)

Известно, что лучшие стихи заставляют читать их только так, как они должны бы звучать из уст автора, и попробуйте прочесть эти строфы «Запева» к «Четырем желаниям», лишив их грустной напевной замедленности, раздельности слов в строке:

Весной на заре
гармонисты играли страдание,
Сады задыхались
От яблонь, черемух, и слив,
И в теплые ночи
нарядные девушки шли на свидание
По темным задворкам
под лунный разлив.

Сходились, встречались с любимыми на поле,
Где тропы безлюдны,
а зори весной широки.
От счастья смеялись и пели,
от горя молчали и плакали,
И грустно на память
дарили платки.

«Детство», написанное размером «Крестьянских детей» Некрасова и, как сказано, вносящее свою поправку в наблюдения классика, поражает, между прочим, деталью, немыслимой в классической поэзии:

И, палочкой белой взмахнув на прощанье,
Ушло мое детство опять.

Белая палочка — неизменная принадлежность летних забав деревенского детства, очищенная от коры орешина или ивовый прутик,— не было в русской поэзии такой трогательной и милой подробности.

Но не диво приводить строчки и строфы,— их нашлось бы сколько угодно,— и приведенных по разным поводам уже немало, никакие цитаты не могут заменить целостного впечатления, какое складывается в течение многих лет у читателя, встречающего своего поэта всякий раз как старого друга.

До сих пор речь шла об Исаковском — авторе стихов, существующих как стихи, то есть на печатных страницах газет, журналов, книг, сборников, в исполнении профессиональных артистов и чтецов из коллективов самодеятельности, эстрады, по радио и телевидению, а изредка и в записях чтения этих стихов самим автором. Популярность поэзии Исаковского, неотрывная от его имени, весьма широка и устойчива на протяжении трех-четырех десятилетий, хотя и предполагает известный уровень специальных интересов читателей и слушателей. Но эта популярность не может идти в сравнение с повсеместным распространением песен, написанных советскими композиторами на стихи Исаковского. Там уж поистине его поэзия доходит не только до тех, кто обычно стихов не читает, но и до тех, кто вообще-то редко что-нибудь читает.

Трудно представить себе человека, который бы не знал, не слышал и даже не мог бы при случае сам подтянуть хоть какую-нибудь из таких современных песен,

как «Катюша», «И кто его знает...», «Прощание» («Дан приказ: ему — на запад...»), «В прифронтовом лесу», «Огонек» («На позиции девушка...»), «Враги сожгли родную хату» или «Снова замерло все до рассвета...», «Летят перелетные птицы».

Однако, чем лучше песня, чем чаще и охотнее ее поют и слушают, тем менее приходит на ум, что она кем-нибудь написана,— она для большинства знающих слова и поющих ее — просто есть на свете, родилась и живет как бы сама по себе.

Если говорить о песнях, дошедших до нас из далекого прошлого, распевавшихся нашими отцами и дедами, как, например, песня о Ермаке («Ревела буря, дождь шумел...»), «Славное море — священный Байкал...», «Есть на Волге утес...», «Из-за острова на стрежень...», то о них только из специальных источников можно дознаться, что слова первой написаны поэтом-декабристом Рылеевым, второй — сибирским ученым и поэтом середины XIX века Давыдовым, третьей и четвертой — поэтами Навроцким и Садовниковым. Причем нередко бывает, как в трех последних случаях, что широко известная и столь долговечная песня — вообще единственное уцелевшее в памяти народной произведение поэта, имени которого эта память сохранить не смогла, да и не была этим озабочена, считая любимую песню просто своей. И такая «узурпация» авторских прав народом, может быть, и есть самая завидная судьба поэтического произведения. Такова уж особенность песенного жанра: наиболее удачная песня поэта всегда как бы стремится оторваться от имени своего автора, утратить эту свою «частную» принадлежность и приобрести несравненно большую и значительную, а именно — стать тем, что мы называем народной песней.

Песни Исаковского — в ряду самых распространенных и любимых в народе. Для их исполнения не нужно ни особого торжественного случая, ни специального собрания людей, ни особой обстановки. Их поют в праздники и в будни, поют в городе и в деревне, поют со сцены концертного зала и в скромной домашней обстановке, поют на прогулке, на людях и в одиночку.

Но особой примечательностью поэтической судьбы Исаковского, выделяющей его среди поэтов, пишущих песни, или «авторов текстов», является то, что песни его, при всей их неслыханной распространенности, вовсе не

обязательно утрачивают имя автора. Многие не менее известные песни советских поэтов достигают того предела популярности, когда имя автора, еще при жизни его, не связывается с данной песней,— мало ли кому она может принадлежать. Но песни Исаковского более прочно прикреплены к его поэтическому имени. Недаром и Андрей Малышко в своих заграничных стихах, рассказывая о том, как где-то в Оклахоме негры пели славную «Катюшу», не забыл подчеркнуть: «Ту, что Исаковский написал...»

Конечно, эту особенность бытования песен Исаковского следует прежде всего отнести на счет всеобщей грамотности, возросшей культуры, широчайшего внедрения в жизнь печатного слова, но вместе с тем и благодаря тому, пожалуй, что есть здесь и доля признательности народа любимому поэту.

Конечно, и у песен — пора их самого цветения бывает различной длительности; для немногих она повторяется через какие-то сроки, и только в единичных, исключительных случаях длится без перерывов,— ближайшие примеры: «Ревела буря» и «Славное море», обаяние которых, кажется, неподвластно времени со всеми его переменами общественных вкусов и настроений.

Не будем гадать, какой из песен Исаковского, вышедших за черту одного сезонного цветения, суждено вновь и вновь возрождаться; неоспоримый факт, что уже в течение более трех десятков лет многие из них — непременная часть народно-песенного репертуара. Они входят в соприкосновение с поэтической энергией самих народных масс, служат объектом подражаний, переложений (одних «Катюш» зафиксировано свыше сотни), строчки их становятся «крылатыми», то есть используются в фразеологическом обиходе современного языка, широко цитируются, иногда и без указания имени автора.

Но нет оснований рассматривать порознь или противопоставлять один другому эти, так сказать, два вида поэтического существования Исаковского в литературе — собственно стихотворный и песенный. Все дело в том, что эти стороны неразрывны, они — одно поэтическое целое. И секрет необычайного, покоряющего успеха песен Исаковского, как это приходилось уже отмечать, в том, что в большинстве случаев это — истинно поэтические создания, они живут не только в слиянии с написанной композитором музыкой, но оставляют еще воз-

можность произнести, повторить их строки или строфы просто так, как стихи, как слова, сами по себе обладающие впечатляющей силой. Это не подтекстовка к готовой мелодии, как это сплошь и рядом бывает с песнями. Само по себе написание стихов и для готовой музыки дело не предосудительное, но стоит попробовать прочесть слова иной самой модной песни, чтобы увидеть, какой невзыскательный и бессодержательный набор слов может скрываться за хорошей музыкой. Именно это имел в виду еще Пушкин при описании легкого санного пути:

> Как стих без мысли в песне модной,
> Дорога зимняя гладка.

Слова песен Исаковского — это, за немногими исключениями, стихи, имеющие самостоятельное содержание и звучание, живой поэтический организм, сам собой как бы предполагающий ту мелодию, с которой ему суждено слиться и существовать вместе. Исаковский — не «автор текстов» и не «поэт-песенник», а поэт, стихам которого органически присуще начало песенности, что, кстати сказать, всегда было одной из характернейших черт русской лирики.

Эта черта сближает Исаковского как автора популярнейших песен с классиками русской поэзии: Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым, стихи которых поются, что называется, через страницу. И среди них столько стихов, ставших широко известными народными песнями (тоже часто утратившими принадлежность именам своих великих авторов). Это поэтические произведения, созданные без обязательной их песенной предназначенности, но потом призвавшие к себе и музыкальную их интерпретацию.

И удачи авторов песен на стихи Исаковского — композиторов Захарова, Мокроусова или Блантера в том, что они, при всем различии их музыкального письма, обладают уменьем угадать мелодию, которая таится в строчках поэта, «прочесть» и передать ее нам уже на языке своего искусства.

Вспомним еще раз, теперь уже по прямому поводу, замечание Л. Толстого о том, что в народе песня поется с «убеждением, что в песне все значение заключается только в словах». Но это убеждение может держаться лишь на том, что в словах имеется содержание, они говорят о чем-то значительном и волнующем. Именно волне-

ние, происходящее от «слов», обязывает их петь, а не просто произносить.

Ермак тонет в Иртыше, и эта трагическая гибель мужественного воина никогда не перестанет вызывать в нас сочувствие и пробуждать через слова песни те высокие чувства, которые становятся доступными даже людям обычно не слишком отзывчивым в этом отношении.

То же и «Славное море» — история человека, бегущего с каторги,— там тоже слова полны содержания, драматического напряжения, буйной радости человека, охваченного порывом к свободе.

Потому-то и видит народ все значение песни в словах, что слова народной песни не бывают пустопорожними,— они о чем-то повествуют, о чем-то вещают, чего-то хотят, чего-то просят,— попросту они содержательны.

Слова лучших песен Исаковского содержательны, пусть даже это содержание забавное, шуточное, что, между прочим, не редкость и в народной песне, или раздумчиво-лирическое и трогательное. Но вершинные его вещи этого жанра, приобретшие широчайшую известность, поражают значительностью, сосредоточенностью и глубиной гражданской, патриотической мысли.

Каким неподдельным достоинством мужества звучат эти такие негромогласные слова солдатской готовности ко всему:

Пусть свет и радость прежних встреч
Нам светят в трудный час,
А коль придется в землю лечь,
Так это ж только раз.

. . . .

Настал черед, пришла пора,—
Идем, друзья, идем!
За все, чем жили мы вчера,
За все, что завтра ждем...

Это из стихотворения «В прифронтовом лесу», ставшего песней еще во время войны.

А вот послевоенная песня «Летят перелетные птицы»; форма ее, выразительные средства предельно просты и, кажется, без труда явились сами по себе.

Летят перелетные птицы
В осенней дали голубой,
Летят они в жаркие страны,
А я остаюся с тобой.

Из каких, кажется, незамысловатых, простых слов возникает эта строфа. А смотрите — последняя строка этой первой строфы становится первой строкой следующей строфы-куплета:

А я остаюся с тобою...

Всего только, что «с тобою» вместо «с тобой». Но это неожиданно и так по-песенному непринужденно дает развитие и подтверждение сказанному в предыдущей строфе:

А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна!
Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна.

Без всякого видимого усилия расположены слова и строки, говорящие о нежном чувстве привязанности к родной земле и вместе с тем выражающие и более широкое историческое содержание:

Немало я стран перевидел,
Шагая с винтовкой в руке,
И не было горше печали,
Чем жить от тебя вдалеке.

Следующая строфа построением строк как бы целиком повторяет эту, но содержание уже куда значительнее:

Немало я дум передумал
С друзьями в далеком краю,
И не было большего долга,
Чем выполнить волю твою.

И подобные словам клятвы или воинской присяги заключительные слова, связанные внутренними повторами:

Пускай утопал я в болотах,
Пускай замерзал я на льду,
Но, если ты скажешь мне снова,
Я снова все это пройду.
Желанья свои и надежды
Связал я навеки с тобой —
С твоею суровой и ясной,
С твоею завидной судьбой.

При всей уже профессиональной наметанности глаза и натренированности слуха не вдруг отмечаешь, что зарифмованы эти строки через строчку, то есть рифмуют-

ся только вторая с четвертой. А когда отмечаешь, то видишь, как это в данном случае хорошо, какую свободу дает нужным словам и как, в сущности, усиливает роль рифмы.

Удивительно послевоенное стихотворение Исаковского, тоже ставшее широко известной песней «Враги сожгли родную хату», сочетанием в нем традиционно-песенных, даже стилизованных приемов с остро-современным трагическим содержанием. С какой немногословной и опять-таки негромогласной силой передана здесь в образе горького солдатского сиротства великая мера страданий и жертв народа-победителя в его правой войне против вражеского нашествия!

И каким знаком исторического времени и невиданных подвигов народа — освободителя народов от фашистского ига — отмечена эта бесконечно печальная тризна воина на могиле жены:

Он пил — солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
«Я шел к тебе четыре года
Я три державы покорил...»

Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

В 1932 году, в статье о Маяковском и Пастернаке «Эпос и лирика современной России», дающей восторженную оценку обоим поэтам, Марина Цветаева отмечает у них «...одно общее отсутствие: объединяющий их пробел песни. Маяковский,— говорит она,— на песню не способен, потому что сплошь мажорен, ударен и громогласен... Пастернак на песню не способен, потому что перегружен, перенасыщен и, главное, единоличен. В Пастернаке песне нету места, Маяковскому самому не место в песне. Поэтому блоковско-есенинское место до сих пор в России «вакантно». Певучее начало России, расструенное по небольшим и недолговечным ручейкам, должно обрести единое русло, единое горло... Для песни нужен тот, кто, наверное, уже в России родился и где-нибудь под великий российский шумок растет. Будем жить».

Разумеется, я не пытаюсь зачислить Исаковского на указанное Цветаевой «вакантное» место,— могу только

отметить, что это сказано ею, когда еще ни одно его стихотворение не было положено на музыку и просто не были еще написаны те стихи, что стали в последующие годы всенародно популярными, известными и за пределами родины, песнями. Так или иначе, для меня несомненно, что «певучее начало России» обрело в Исаковском в эти сложные, грозные и великие десятилетия слишком заметное русло, чтобы назвать его «небольшим ручейком». Но об истинных размерах этого русла и его долговечности гадать нечего — «будем жить».

Со времени «Рецензии» М. Горького об Исаковском написано много,— эта библиография заняла бы несколько страниц. Среди этих книг, статей и рецензий выделяются работы В. Александрова, А. Македонова, Н. Рыленкова, рассматривающие поэзию Исаковского не только в русле его главной темы, но в русле советской поэзии, куда он давно вошел со своей темой и самобытными средствами стиха. Но до сих пор остается в силе немногословный и сдержанный отзыв А. М. Горького: «Стихи у него простые, хорошие, очень волнуют своей искренностью». Выше уже говорилось насчет условности понятия «простоты», но горьковская «Рецензия», написанная более сорока лет назад, имела в виду лишь первую книгу Исаковского «Провода в соломе».

Искренность — это слово, казалось бы, не требующее особых истолкований, еще не так давно в нашей критике было мишенью опасливых и настороженных суждений, как понятие абстрактно-моральное, в котором таится то ли объективизм и аполитичность, то ли еще что-то не менее предосудительное. Впрочем, и другое слово — правда — применительно к художественной литературе совсем еще недавно вызывало столь же опасливые суждения.

Грустно вспоминать об этом, потому что такие суждения вольно или невольно заслоняли от читателя ту несомненную истину, что все лучшее в полувековом развитии нашей литературы обязано именно этим исходным принципам художнического отношения к действительности — искренности и правдивости.

Михаил Исаковский — один из самых наглядных примеров верности этим принципам.

Он искренен и правдив, приветствуя радостной песней советскую новь деревни еще на самой заре этой нови, еще в самых первоначальных ее осуществлениях, так же

как искренен и правдив, показывая прежнюю деревенскую жизнь во всей ее тоскливой неприглядности. На старую деревню он смотрит непрощающим взглядом своего детства и юности, с особой остротой переживавших все ущемления и унижения бедняцкой доли.

Он правдив и искренен, когда в заглавном стихотворении книги «Мастера земли» от страстного желания видеть родную, скупую на урожай землю преображенной трудом ее мастеров, поет славу их золотым рукам, их радости при виде картины, которая в годы создания колхозов была, конечно, больше поэтической проекцией будущего, чем непосредственным отражением настоящего.

Он искренен и правдив в своей неизменной любви к людям как старой, так и новой деревни, старым и молодым,— обо всех у него находятся добрые слова, иногда оттененные незлобивой шуткой.

Бывают стихи более или менее совершенные по так называемому мастерству,— стихи как стихи, все на месте. Но они как бы не принадлежат исключительно их автору, не дают представления о его подлинной личности, морально-этическом его, как говорится, кодексе. Дело не в том, что читателю непременно нужно знать, что за человек этот автор. Личность автора в ее главных и решающих чертах обязательно сказывается в его творениях, и читатель обязательно это чувствует. В поэзии нельзя притвориться взволнованным, если не взволнован по-настоящему, чувствующим так-то, если не чувствуешь так на самом деле. Такие чудеса невозможны, чтобы заставить других через посредство построенных тобой в известном порядке слов и строчек испытать те чувства, которых ты сам не испытал.

Лирика Исаковского свидетельствует о цельности его душевного склада, о скромности и достоинстве, о добром, отзывчивом сердце, не склонном, однако, к сентиментальности, вернее, защищенном от нее врожденным чувством юмора. Личный облик поэта представляется в органическом единстве с его творчеством. И поэтому голос его всегда искренен, даже тогда, когда он служит преходящему, газетно-публицистическому назначению.

Об Исаковском можно сказать, что у него есть слабые стихи. Он говорит иногда слова готовые, взятые из привычного слуху лексикона газет, но о нем никогда нельзя

сказать, что он говорит слова, в которые сам не верит. Может быть, в этом заключается редкостное обаяние его поэзии в целом.

Целостный дух и склад его поэзии, характеристические черты ее формы как нельзя более близки духу и складу народного труженического характера, чуждого горлопанству и краснословию, более способного высказаться на деле, чем на словах, отнюдь не лишенного, однако, чувства юмора.

Мне как-то трудно представить себе мир, запечатленный в созданиях поэта, без того, чтобы в том всякий раз особом мире были и «географические» отпечатления этой особенности — свой край, город, село, река, дорога. У Исаковского все это налицо: и село Оселье, и город Ельня, и река Угра.

Мне кажется свидетельством какой-то неполноты освоения поэзией действительности, когда она обходит такие, всякий раз обладающие свежестью и неповторимостью явления мирового кругооборота, в котором проходит жизнь, как смена времен года, многоликий и неисчерпаемо прекрасный мир природы.

И для меня немалую долю обаяния поэзии Исаковского составляет то, что в ней, как в памятных с детства хрестоматийных стихах классиков, есть свои весны и зимы, свои дымящиеся закаты сенокосной поры и спелые нивы лета, свои цвета, звуки и запахи осени.

Я касался в этой статье стихов, составляющих главную тему поэзии Исаковского, но у него есть немало стихов и отличных, другого плана, где более выступают описательно-пейзажная сторона или мотивы лирики личного чувства («В глуши», «В заштатном городе», «Не прошу иного, не гонюсь за славой...», «Весна» и др.).

Лирика зрелых лет Исаковского во многом обязана его песенному опыту, и лучшие ее образцы полны удивительно сердечной нежности и человеческой доброты. Слова, взятые из самого, казалось бы, банального обихода, звучат у него с нежданной свежестью и новизной:

Услышь меня, хорошая,
Услышь меня, красивая —
Заря моя вечерняя,
Любовь неугасимая!

Это строки 1945 года, когда схлынуло напряжение войны и сказывалась потребность мотивов самой жизни, раздумья, обращенного к личной судьбе и времени.

Опять печалится над лугом
Печаль пастушьего рожка.

Какая прелесть эта «печалящаяся печаль» в своей непринужденной смелости выражения, почерпнутой из народно-песенного источника, но без тени стилизации.

И далее:

У этих сел, у этих речек,
На тихих стежках полевых
Друзей давнишних я не встречу
И не дождусь своих родных.
. . . .
Какого ж здесь искать мне чуда,
Моя родная сторона!
Но я — твой сын, но я — отсюда,
И здесь прошла моя весна.

Прошла моя незолотая,
Моя незвонкая прошла.
И пусть она была такая,—
Она такая мне мила.

Поэт обладает способностью даже в самой непритязательной на первый взгляд форме как бы ненароком отозваться на острые и глубоко существенные стороны народной жизни. Вот песенка не песенка, лирическая зарисовка позднего гулянья «трех ровесниц», поджидающих обещанной парнями встречи.

А уж сумерки спускаются,—
До дому не пора ль?
И все чаще три ровесницы
Посматривают вдаль.
. . . .
А на небе нет ни месяца,
Ни месяца, ни звезд...
И пошли обратно девушки,
Обижены до слез.

Три высоких, чистых голоса
Над речкой поплыли:
«Что ж вы, мальчики-обманщики,
Забыли — не пришли?!»

Эту простенькую, частушечного лада вещицу с ее как бы шуточной интонацией можно по внешнему содержанию отнести и к довоенной поре, и к еще более давним временам сельской жизни. Но написана она в самом начале 50-х годов, когда еще горькая память войны ска-

зывалась в особой горечи послевоенного деревенского девичества — преизбытке невест и нехватке женихов.

И стихи, в которых как будто и нет речи об этом, пронизаны болью за судьбу «ровесниц» с их сердечной обидой и робким упреком:

«Что ж вы, мальчики-обманщики,
Забыли — не пришли?!»

Так в незатейливой и почти что пасторальной форме «Трех ровесниц» вмещается содержание, может быть, не меньшей жизненной остроты, чем в таком сильном стихотворении Исаковского послевоенных лет, как «Враги сожгли родную хату».

С годами Исаковский все чаще пользуется как отправным приемом фольклорными мотивами. Он много уделял внимания переложению и обработке старинных русских, а также украинских и белорусских песен и сказок. Образчиком такой работы является сказка «Царь, поп и мельник». Сказка никакой особой нагрузки в себе не несет,— в ней автор попросту любуется отвагой и остроумием простого человека в противопоставлении этих качеств похвальбе и трусости «служителя культа» и высокомерной претензии на глубокомыслие самого земного владыки.

Ограниченный в своей творческой активности давней и тяжелой болезнью глаз и вообще не отличающийся крепким здоровьем, поэт в последние годы редко выступает с новыми стихами. Но делу поэзии он продолжает служить с большой пользой и своими статьями, и письмами по вопросам поэтического мастерства, составляющими уже книгу, неоднократно переиздаваемую. В ней многолетний опыт мастера реализуется в добрых советах и критике молодых (и не только молодых!) поэтов. С неизменной верностью своему, как говорится, эстетическому кодексу, ставящему на первое место существенность, правдивость и искренность содержания, выступает как вдумчивый и взыскательный наставник по праву не только возраста, но и бесспорного творческого авторитета. Эта сторона деятельности поэта еще ждет подробного рассмотрения и достойной оценки в нашей критике.

Большое место в литературной работе М. В. Исаковского занимает поэтический перевод. Он переводил с ук-

раинского, белорусского, венгерского, итальянского и других языков. Хочется особо отметить мастерство его переводов из Тараса Шевченко и Леси Украинки («Лесная песня»), Янки Купалы и Аркадия Кулешова, а также многих стихотворений венгерского классика Шандора Петефи.

Говоря об Исаковском, я, надеюсь, избежал претенциозных эпитетов,— самый характер его таланта и личности не позволяет и в этом отношении даже дружеских преувеличений. То, что давно сказано мною об особом влиянии поэзии Михаила Исаковского на меня в пору литературной юности, я могу здесь лишь повторить с еще большей объективностью нынешнего своего возраста.

Но, главное, эта бóльшая объективность позволяет мне думать, что поэзия Исаковского, какая она есть, независимо от того, позволят ли ему его нынешние недуги добавить к ней что-нибудь новое, была и будет одним из самых безусловных, общепризнанных достижений нашей поэзии в полувековом пути ее развития.

1949—1969



ПИСЬМА

В. С. С-ву

Дорогой В. С.!

Получил Ваше письмо, в котором Вы отвергаете ранее принятый Вами план редактирования Вашей рукописи Е. Н. Герасимовым и просите меня ознакомиться с первой и пятой частями в нередактированном виде. Я покамест ознакомился лишь с первой редактированной частью. Должен сказать, что при всех симпатичных данных изобразительного порядка, живости видения деталей, очевидном знании деревенского быта и т. п.,— при всем этом — даже отредактированная опытной рукой часть рукописи мне представляется еще весьма сырой, растянутой, расползающейся по швам. Боюсь, что Вам уже успели настолько вскружить голову похвалы некоторых товарищей, что Вы плохо себе представляете, как обстоит дело в действительности. Вы уже смело и свободно в отношении своей рукописи употребляете слово «роман», а мне кажется, что о романе там еще говорить рано. Я, между прочим, очень хотел бы прочесть какой-нибудь Ваш рассказ, очерк, что-нибудь небольшое, чтобы вообще судить о Ваших возможностях, которые очевиднее были бы, так сказать, на «малом поле». Конечно, я прочту то, что Вы пришлете (Е. Н. запросил у Вас рукопись) в том виде, как Вы представите, сравню с редак-

цией Герасимова и т. д., но мне хотелось бы, чтобы Вы не считали дело таким простым, как оно Вам кажется сейчас.

Итак, жду рукопись первой части,— пятую можно покамест не высылать.

Желаю Вам всего доброго.

19 июля 1958 г.

Э. Г. А-ян

Дорогая Элеонора Георгиевна!

Повесть «Девушка из министерства» прочел с интересом и удовольствием. Вы действительно пишете все лучше и лучше, талант Ваш приобретает все большую уверенность умелости, мастерства и силы. Немногим дано так убедительно и непринужденно развить заурядную историю любовного пробуждения девушки в годах, что она, эта история, становится фокусом, отражающим большое многообразие и сложность жизненных переплетений, и дает, так сказать, воздух времени. Вещь полна света и любви, может быть, это происходит еще от особого настроения любви к детям, которое исходит отовсюду и очень подкупает. Словом, мы печатаем эту повесть и уверены, что читатель будет ею доволен.

Правда, вещь эта не обошлась без излюбленного Вашего мотива женского непрощения в любви, некоего упоения чувством неуступчивости, почти что возмездия за недостаточную бережность в любви — пусть она даже, как в нынешнем случае, происходит из наиболее благородных причин (привязанность художника к делу своей жизни — искусству). В этом смысле — повесть у Вас опять «женская», что несколько ограничивает ее, как мне лично кажется. Но это уже разговор, не имеющий отношения к вопросу о напечатании вещи в журнале. А вот что мне, как и моим соредакторам, представляется некоторым частным и легко устранимым изъяном повести: история с отказом старика Ваграма переехать в новую квартиру из старой фамильной лачуги. Пусть он говорит все, что говорит у Вас, т. е. что ему жаль покидать эту лачугу, освященную памятью отцовских и дедовских трудов, детства и т. п. Пусть даже ходит с этим к министру, но не нужно немыслимых в наши дни слов отказа от новой квартиры. Только и всего. Это Вы можете сделать, не уступая ничего существенного, не

поступаясь правдой, не фальшивя,— наоборот, если оставить так, как есть, то ощущения некоторой фальши читателю не избежать. Такова моя просьба. Все дело в том, что это небольшое движение пера Вы должны сделать как можно быстрее (если, конечно, Вы согласны сделать его), так как рукопись должна быть сдана в набор в самое ближайшее время.

Всего Вам доброго. Все, что будет у Вас нового, присылайте нам.

24 июля 1958 г.

А. М. Т-ну

Уважаемый А. М.!

Задержка с ответом на Ваше письмо и стихи объясняется крайней моей занятостью. Все мое время уходит на чтение и редактирование материалов, предназначенных в очередные книжки журнала.

Просмотрел я Ваш «Сказ про богатырей стороны пяти морей». Должен огорчить Вас: я решительный противник всяческих «сказов», «сказок» и т. п. в применении к современной теме. Я считаю все такие стилизации под ершовского «Конька-Горбунка» на материале сегодняшней советской действительности фальшивыми и никому не нужными. Отсюда Вам должна быть понятна моя оценка и Вашего «Сказа». Поверьте мне, что это — не поэзия, это вольное упражнение в хореическом размере, которое выглядит как пародия (а ведь Вы это всерьез):

По решенью Исполкома
Возвели четыре дома.
В городке народ неглуп:
Есть решенье строить клуб...
И т. д.

Один из «богатырей» Ваших «в работе скор».

То неделю он в колхозе
Иль по делу в Совнархозе,
То Совет о стройке ГЭС
И реформе Эм-тэ-эс...

Право же, такие стихи писать легко, а читать тяжко. Вот, примерно, все, что могу сказать Вам. Не огорчайтесь, если можете, прямотой моего отзыва, но говорить иное — значило бы обманывать Вас, а следовательно, не уважать.

Желаю Вам всего доброго.
Рукопись возвращаю.

29 июля 1958 г.

В. И. Ф-ву

Дорогой В. И.!

Книгу получил, спасибо. Из новых стихов, к сожалению, не смог ничего отобрать для «Нового мира». Основная беда: мелковато все по мысли, случайно: «кружева», «качели», «тополя» — что вижу, то и зарифмовываю. Ни одно стихотворение не свидетельствует о сколько-нибудь серьезной необходимости его написания,— можно было и не писать эти стихи.

Рукопись с моими пометками возвращаю.

Всего Вам доброго.

15 августа 1958 г.

М. П. П-ву

Дорогой М. П.!

Стихи Ваши мне, как помнится, действительно передавали когда-то из ЦДСА, но почему я Вам не написал, уже не помню, может быть потому, что не Вы обращались ко мне, а некий «методический кабинет». Теперь я получил уже от Вас лично рукопись поэмы «На ростани» и вот отвечаю. Должен огорчить Вас: поэма слабая, стих ее вялый, строку пятистопного ямба Вы кое-как заполняете словами, среди них так много лишних. Да и самый этот пятистопник как-то не в ладу с материалом — школа, экзамены, школьно-вузовская лексика, для всего этого он громоздок. Проще говоря, поэма скучна, а это беда большая при всех добрых намерениях Ваших показать обретение места в труде, счастья в жизни вчерашними «детьми», ныне молодыми людьми.

О напечатании ее в «Новом мире» не может быть и речи. Не могу Вам и советовать «дорабатывать» ее — вся ее «фактура» такова, что, пожалуй, лучше этого не делать. Частности можно поправить, но общий ее порок растянутости, многословия, вялости не устранить. На вопрос Ваш о том, стоит ли Вам писать, не отвечаю, потому что не знаю, не беру на себя этого. Бывает, что начинают и слабее Вашего, а толк получается — и наоборот. Было бы очень легко входить в литературу, зара-

нее обеспечив себя такой «гарантией» относительно успеха. Дело покажет.

Желаю Вам всего доброго.

Рукопись возвращаю.

15 августа 1958 г.

Е. К-ко

Дорогой тов. Е.!

Из того, что я отклонил Ваши стихи, показавшиеся мне слабыми, Вы делаете вывод о моем стремлении «не пустить» Вас в «большую поэзию». Это странно и несерьезно. Во-первых,— сие от меня не зависит,— я могу напечатать или не напечатать стихи в редактируемом мною журнале, а это далеко не одно и то же, что «пустить» или «не пустить в большую поэзию». Во-вторых, нехорошо предполагать такое стремление («не пустить») в человеке, которого, как Вы пишете, всегда уважали. И, наконец, самое главное: вхождение или невхождение «в большую поэзию» всего более и непосредственно зависит от Вас самих, а не от кого другого.

Желаю Вам всяческих успехов, охотно прочту Ваши новые стихи и, если они будут хороши, напечатаю в «Новом мире».

16 августа 1958 г.

Н. Д. К-к

Дорогой Н. Д.!

Случилось так, что, прочитав Вашу рукопись и подготовившись к беседе с Вами, я не дождался Вас и найти не мог ни телефона, ни адреса. В письме, конечно, я могу лишь бегло коснуться того, о чем собирался говорить подробно. Так вот — по пунктам.

1. В отличие от «Летописи», которая была от первого лица, в «Приморской стороне» язык и стиль пожиже; видимо, освоение третьего лица повествования, более сложного типа, проходит не без потерь. Письмо в «Приморской стороне», я бы сказал, более «райгазетное», маловыразительное.

2. По содержанию.— Очень плохо, что с первых страниц мы уже видим, что столичный гость в колхозе — Стариков — эгоист и «ревизионист», а проще говоря, человек своекорыстный, пошлый и дурной. Дальнейшие

обоснования этой характеристики уже представляются излишними.

3. Кульминационный разговор двух друзей на острове на тему о том, что важнее: работа в колхозе или над диссертацией о Г. Веерте, отдает неприятным душком противопоставления «низового» труда — интеллигентному, «народа» — «интеллигенции». «Мы, озерские, за тебя отвечаем» и т. п.— тут что-то в духе «кочетовских рабочих», которые берут на себя ответственность за секретаря горкома («Братья Ершовы»).

4. Есть хорошие картины «островной» жизни, труда животноводов, отдельные черты жизни колхоза, но в целом нет того, что было в «Летописи»,— достоверности свидетельства, несомненности того, о чем говорит автор. Словом, беллетристика вместо художества.

Вот, примерно, по каким пунктам могла идти у нас беседа, но в письме, к сожалению, не могу быть более подробным.

Стоит ли продолжать повесть? Не берусь решить этот вопрос. Во всяком случае, дайте ей немного полежать, подумайте, отойдя от нее немного.

Желаю всякого добра.

25 сентября 1958 г.

М. Н-ву

Дорогой тов. М.!

Новые Ваши стихи по словесной и ритмической структуре почти безупречны. Вы, как говорится, набили руку, и этим выражением я не хочу сказать ничего дурного. Это очень важно — обрести уверенность в форме, естественность выражения. Заметно, что Вы работаете сознательно и упорно. Это хорошо. Но овладение формой как таковой, без овладения, так сказать, высотами идейного содержания — это даже еще не полдела, а, может быть, только четверть дела. Я хочу сказать, что объем содержания этих стихов очень уж скромен. Лето лучше весны, годы идут, мы стареем и т. п.— все это, согласитесь, не такие уж богатые добытки мысли. Еще Пушкин говорил, что на одних воспоминаниях об ушедшей юности далеко не уедешь. Словом, стихи вполне приличные, их можно напечатать в местном альманахе, в одном из сибирских журналов, но выходить с ними на трибуну большого всесоюзного журнала не стоит — для такого выхода надо уж собрать запас повесомее.

Рукопись возвращаю, хотя это и не в наших правилах.

Надеюсь, что к неудаче с этими стихами Вы отнесетесь по-мужски, не впадая в уныние.

В дальнейшем — присылайте все, что будет Вам представляться более значительным.

Желаю всяческих успехов.

25 сентября 1958 г.

С-ву

Дорогой тов. С.!

Как я уже сообщал Вам телеграммой, в 11-й книжке мы публикуем большой цикл Ваших чукотских стихов. В нем — «Праздник в тундре», про девушку-каюра, «Олени любят соль», про самолет над скалой (я не все заглавия помню, а рукопись в наборе — нет под рукой), о дружбе с чукчей, который в пургу не дает герою погибнуть, и еще что-то. Словом, это будет серьезным дебютом в большой печати. Стихи мне и моим соредакторам очень нравятся. Мы надеемся, что они будут замечены и читателем и критикой. Мне известно, что некоторые из этих стихотворений печатались в местных изданиях, но оговаривать это обстоятельство при опубликовании их в «Новом мире» я не вижу надобности. А вот просьба: подумайте, нельзя ли найти общий заголовок, например, «Стихи с Чукотки». Если согласны или предлагаете что-нибудь другое — телеграфируйте немедленно.

Если у Вас явятся какие-либо поправки к названным стихам, опять же телеграфируйте, а следом, авиапочтой, присылайте новые варианты. У меня же покамест нет в этом смысле к Вам претензий.

В ближайшие недели, может быть, ко времени съезда писателей РСФСР, мы вызовем Вас в Москву,— мне хотелось бы с Вами поговорить о Вашей работе и т. д. Хорошо, если Вы к этому времени приведете в порядок свое «наследие» в рукописном и печатном виде, еще лучше, если к тому же привезете что-нибудь новое, но не будет — не торопитесь.

Желаю Вам всего доброго, а главное, здорового спокойствия в отношении всяческих невзгод жизни — без них не обойтись, дальше они могут быть и еще куда серьезнее, так что нужно к ним привыкать смолоду. Будьте здоровы. Сообщите Ваше отчество. Александр Григорьевич шлет Вам свой привет.

1 октября 1958 г.

А. Ф. Б-ну

Уважаемый А. Ф.!

Статья «Письма фронтовиков» о «Василии Теркине» печаталась очень давно,— с тех пор писем пришло несоизмеримо больше. Но они лежат частью в моем архиве, частью в других местах — и ознакомить Вас с ними не представляется покамест возможным. Этим письмам уделено внимание в моей статье «Ответ читателям «Теркина», которая печаталась в качестве приложения к отдельным изданиям «Теркина» и моим двухтомникам. Но ее под рукой у меня нет. В библиотеке Вы ее можете найти.

Посылаю Вам — за неимением более солидного издания — мою последнюю по времени выхода книжечку в серии «Библиотека «Огонька».

Желаю Вам всего доброго.

6 октября 1958 г.

П. С. В-му

Дорогой П. С.!

Должен Вас по необходимости предупредить, что, послав мне рукопись в «частном» порядке, Вы, как и другие авторы, поступающие так, проигрываете в отношении сроков получения ответа. Проще сказать, у меня теперь нет ни часа времени, когда нечего было бы читать из редакционных запасов. Таким образом, рукописи, не проходящие через редакцию, залеживаются у меня очень долго. В отношении Вашей рукописи это тем более возможно, что Вы сами любезно уведомляете меня о «несовершенстве», «робости и беззубости» и т. п. Вашей повести. Естественно, что в первую очередь я должен читать вещи смелые, острые и совершенные по форме — хотя бы по заверениям их авторов.

Если не возражаете, я передам Вашу рукопись на прочтение кому-нибудь из моих сотрудников, наиболее близких мне по взглядам и вкусам,— это ускорит решение вопроса. А нет — не взыщите,— ждите. Итак, остаюсь в ожидании выражения Вашей воли, с приветом и добрыми пожеланиями.

10 октября 1958 г.

А. И. У-ко

Уважаемый А. И.!

Стихи Ваши такие, каких очень много пишется молодыми (и немолодыми) людьми, т. е. стихи, в которых видна главная забота автора, чтобы все было «как у людей», как в других стихах, известных из печати,— заботы о внешних приметах так называемой литературно-технической грамотности — соблюдении размера, рифмы, обязательной «образности». Отсюда и обязательность словаря, не своего, а взятого из стихов же: «зори», «росы», «косы», «пороши», «березки» и т. п. Преодолевание этой чужой, заемной, а следовательно — мертвенной фактуры стиха (под этой фактурой я разумею словарь, ритмические интонации, «образность») и обретение своей — дело нелегкое. Не имею возможности быть более конкретным,— стихов получаю так много,— но, может быть, Вам послужат на пользу мои построчные замечания на некоторых Ваших вещах (на всех я не сделал этого по недостатку времени, но просмотрел их — они не лучше).

Если у Вас будет что-нибудь, что Вы сочтете для себя чем-то новым, присылайте.

Желаю всего доброго.

Рукопись возвращаю.

4 ноября 1958 г.

Л. Н. З-вой

Уважаемая Л. Н.!

Вы пишете, что несколько лет назад уже получили от меня отзыв на свои стихи, и отзыв хоть и неблагоприятный, но прямой, не уклончивый, и, так или иначе, внушавший Вам доверие. В расчете на такое доверие я отвечаю и на этот раз на Ваше глубоко искреннее письмо, сопровождающее чуть ли не целую книжку стихов.

С горечью вполне понятной Вы говорите о том, что, мол, годы идут, что Вы уже не так молоды, а все еще числитесь в «молодых» и, хуже того, Вас уже как бы лишают своего внимания и заботы те литературные «инстанции», которым надлежит заниматься собственно молодыми, молодыми по возрасту. А Вы уже говорите не только от себя лично, а и от имени, так сказать, своих сверстников, людей одинаковой литературной судьбы. Вы говорите о том, что консультанты и рецензенты разноречивы и полны профессиональной черствости, что трудно

пробиться в большую печать, а между тем печатаются стихи нисколько не лучше Ваших, порой, может быть, даже хуже и т. д.

Все это так, если относить все за счет причин, лежащих вовне, но, может быть, стоит взглянуть на это дело и с другой стороны.

Я просмотрел присланные Вами стихи,— пусть Вас не смущает это слово «просмотрел», которое как бы свидетельствует о небрежном ознакомлении,— многолетний опыт «просматривания» дает мне некоторое право утверждать, что я умею это делать, и большой ошибки не совершу, не «просмотрю» в том смысле, что не увижу.

Стихи хорошие, вполне искренние и достаточно умелые, не из тех, когда нужно говорить о неумении, о режущих слух словесных неловкостях. Все так. И тематически все, что вполне законно: преобладание «чисто женской» темы — темы любви, память несовершившегося счастья, горечь утраты и стремление обрести «мир души» в усвоении каких-то иных, кроме минувшего чувства, привязанностей, радостей и удовлетворения (в работе, в общении с людьми, которым Вы нужны и которые Вам необходимы), и отголоски душевной боли, и естественное желание и ожидание еще возможного счастья самой любви («Как помню я твою заботу» и др.). Касаются стихи и других, более «объективных» тем, подсказываемых действительностью наших дней (лучше «Канун 1959 г.»).

И все это, повторяю, на уровне стихов, которые можно и напечатать.

Но, скажу прямо, можно и не напечатать и беды не будет. Так только и нужно смотреть на это: будет ли беда, большая ли потеря, если не напечатать,— и если нет беды, то и можно с легким сердцем не печатать. И не нужно ссылаться на то, что печатаются порой и худшие стихи,— все бывает, но велика ли честь оказаться не хуже посредственности.

Все это я говорю в объяснение того, что не смог сейчас отобрать для «Нового мира» ни одного из Ваших стихотворений. Вы вправе посетовать и на мою «черствость», но это уже такая наша редакторская доля. Однако Вы можете, по крайней мере, верить мне, когда я скажу, что, по-моему, Вы вот-вот напишете что-нибудь такое, что выйдет из Вашего ряда, явится «новым качеством», и тогда я буду рад напечатать Ваши стихи.

Рукопись возвращаю с некоторыми моими пометками при чтении.

Попробуйте прислать что-нибудь и из Вашей прозы, а новые стихи — само собой.

Желаю успеха.

21 ноября 1958 г.

Я. И. Г-ву

Уважаемый Я. И.!

Вашу «Повесть о земляке» мы напечатать не сможем: при очень посредственном стихе такой объем — дело безнадежное. Главная беда вещи — просчет в отношении ритмическом. Различные стихотворные размеры не «освоены» Вами, не стали Вашими,— все время слышишь, угадываешь этот размер отдельно от Вашего содержания:

— Что расселся, Семен, как чахоточный дед? —
Все играют, и ты поиграй на...—

невольно читается «на мотив» образца:

— Не пора ль, Пантелей, постыдиться людей
И опять за работу приняться...

Несоответствие ритмического письма содержанию вообще разительное:

И как бешеный мечется в воздухе мяч,
Так Наташе и прыгает в руки...

Согласитесь, что динамику игры этот размер передает подобно тому, как бывает в кино при замедленном движении ленты («лупа времени»), когда, скажем, скачущие во весь опор кони еле перебирают ногами.

Точно так же (беру еще пример наудачу) противоречит ритмический строй содержанию в строчках:

Ночь. И зеленые трассы
Режут с кустарника ветки,
Стонут от злости осколки,
«Тигр» за снегами ворчит...

Я не говорю о том, что в приведенных строчках, как и во всей вещи, неблагополучно не только с ритмической стороны («Чахоточный дед», осколки, стонущие «от злости»). Недостаточное развитие, так сказать, слуха на стих — главная Ваша слабость. Это сообщает всей поэме

впечатление прозаичности, вялости, растянутости и способно уморить самого терпеливого читателя.

Быть более подробным не имею физической возможности, но если Вы захотите меня понять, то Вы из этого моего письмеца можете понять очень важный «секрет». Я бы даже так сказал, чтоб верно угадать, каким размером о чем можно писать,— это все равно, что написать вещь наполовину.

Не огорчайтесь, пожалуйста, прямотой моего замечания,— иначе должен был бы кривить душой.

Всего доброго.

28 ноября 1958 г.

В. И. Б-цу

Уважаемый В. И.

Я внимательно прочел Вашу рукопись и должен сказать прямо, что во многом она меня очень огорчила. Человеческий опыт, страдания, испытания действительной своей биографии Вы стремитесь изо всех сил облечь в форму беллетристического произведения, а от этого теряет в достоверности все, что Вы рассказываете. Читатель вправе сомневаться относительно того, что по самой своей сути должно быть представлено ему как факт, документ, свидетельство без скидок на «художественность». И не могу не заметить, что художественность эта сама по себе далеко не первого сорта.

Читателю в данном случае интересно и ценно то, что действительно было на самом деле, а не то, что могло быть, но могло и не быть. Представьте себе, что человек, побывавший на Луне, от которого все ждут точных, фактических, подробных сведений о том, что там и как, вдруг стал бы вместо этого писать роман на материале лунной действительности. Конечно же, мы предпочли бы этому роману достоверный, фактический рассказ о Луне, будь этот роман хоть расхудожественным произведением. Так и в Вашем случае — с той разницей, что Вы не один побывали «на Луне», т. е. есть люди, которые не потерпят малейшей неточности в отношении того, что было ими там пережито. Да и память тех, кто не возвратился оттуда, взывает к точности, достоверности свидетельства о муках, перенесенных ими, обо всем, что должно остаться в сознании живущих, обращающих ныне свои усилия к тому, чтобы это не могло повториться.

Сейчас мне сказали, что Вы ответили согласием соответственно поработать над рукописью (Ваша телеграмма в ответ на письмо Закса). Но и в нынешнем виде рукопись Ваша просто, на мой взгляд, испорчена «беллетристикой», вносимой Вами в фактический материал, и в таком виде она не представляет интереса для журнала. Ваше дело — решить, как с этим быть: освободить ли вещь от «беллетристики», привести ее в соответствие с понятием о жанре воспоминаний военнопленного или искать редакцию другого журнала или издательства.

Вот все, к сожалению, что могу сказать Вам по существу.

По частностям я мог бы быть очень подробным, но ведь если Вы не принимаете основное требование редакции, изложенное в письме т. Закса, то это не имеет смысла.

В случае, если бы Вы решили переработать рукопись в указанном плане, прошу сообщить — не могли бы Вы приехать в Москву для конкретных переговоров.

Желаю Вам всего доброго.

10 декабря 1958 г.

И. Р. Ш-чу

Уважаемый И. Р.!

Рукописи Вашего романа «Горячие сердца» и повести «Аня» залежались в редакции так долго по той причине, что Вы настоятельно просили, чтобы прочел их непременно я, не передавая никому другому из сотрудников. Просьба эта обычная со стороны молодых (а иногда и не молодых) авторов, присылающих свои рукописи в редакцию. Исходит она из того наивного представления, что будто бы в редакциях все работники, кроме главного редактора, только затем и сидят, чтобы «резать» талантливых авторов, «не пущать» их в литературу. Представление вздорное, но это, между прочим, к слову.

При беглом первоначальном ознакомлении с Вашими рукописями я, имея в этом деле некоторый опыт, увидел, что о напечатании их не может быть и речи. Занятый чтением материала, предназначенного для очередных книг журнала, я отложил Ваши рукописи на неопределенное время. Я передал их одному из лучших, опытнейших наших рецензентов. Он дал отзыв, исключающий возможность напечатания или «доработки» этих Ваших рукописей, но в целом весьма доброжелательный и подробней-

ший. Мне отзыв показался весьма убедительным в соответствии с тем впечатлением, какое я получил от рукописей, но я придержал его, вспомнив о Вашем условии, до поры, когда сам смогу прочесть от начала до конца. Так я и сделал теперь в отношении повести «Аня» и не вижу необходимости читать подряд еще и 354 стр. романа, знакомого мне в общих чертах.

Повесть «Аня» — надуманная история «любви с первого взгляда» студентов Алексея Морозова и Ани, их разлуки по причине отъезда Алексея на Дальний Восток, измены его Ане и сближения с Наташей, а затем приезда на место действия Ани, неудачных родов и тяжелой болезни Наташи, самоотверженной заботы Ани о ее ребенке, вспыхнувшей вновь любви Алексея к ней, Наташиной драмы по ее выздоровлении и полной ликвидации «конфликта» благодаря взаимной самоотверженности сторон и намечающемуся сближению Наташи с врачом, излечившим ее от смертельной болезни,— повесть эта, скажу Вам прямо, находится вне литературы. Это — беспомощное подражание литературной форме, которое дается с тем большей легкостью, что автор не имеет представления о серьезности литературного труда, пользуется в сюжете, стиле, языке самыми невыносимыми схемами и штампами, просто мало начитан, даже, простите меня, малограмотен.

Таким образом, я увидел, что отзыв нашего рецензента куда более мягко и осторожно оценивает Вашу работу, чем это вынужден сделать я.

Я не имею возможности быть подробным, детально разбирать Ваши рукописи — это, на мой взгляд, отлично сделано рецензентом.

Вас удивляет, что уже четыре издательства (или редакции журналов) отклонили Ваши вещи, а удивляться-то не приходится. Я не уверен, что Вы смогли бы написать хотя бы небольшой хороший рассказ или очерк,— это очень нелегкое дело, а тут Вы предлагаете сразу роман и повесть, написанные, по-видимому, одновременно, так как они датированы одним годом и чуть ли не одним месяцем.

Поверьте мне, что не желание обидеть и огорчить Вас (это очень неприятно делать), а, напротив, уважение к Вашей профессии инженера, работающего в одном из отдаленных и суровых районов, который мне, как и Ваш Ангарск, отчасти знакомы в личном смысле,— только это

заставляет меня быть столь резким в оценке Ваших литературных опытов.

С уважением.

12 января 1959 г.

М. Щ-ну

Дорогой тов. Щ-н!

Вопрос, который Вы ставите в своем письме, обычный вопрос молодого автора, обращающегося к более опытному в литературе человеку. И ответить на него по-настоящему, не обиняками, трудно, почти невозможно. И я обычно не берусь отвечать на него. Откуда, в самом деле, я могу знать, должны Вы или не должны продолжать писать? Кто, кроме Вас, может решить этот вопрос? Я лишь одно замечу, пусть это будет жестковато, что вопрос этот происходит от желания «легкой жизни». Пусть, мол, некий дядя скажет мне, стоит ли мне рисковать, стоит ли ставить на карту судьбу? А ведь, зная наперед — стоит или не стоит,— очень легко было бы избирать дорогу жизни. А эта дорога — литературная — она попросту не может быть легкой, не бывает, по крайней мере, до сих пор таких случаев не было. Так что оставим этот вопрос открытым. Если Ваше призвание глубоко, то что бы и кто бы Вам ни говорил, наперекор ему Вы пойдете своим путем, а если нет, то как бы Вас ни поощряли — толку не будет.

Что касается Ваших поэм «Судьба» и «Ты и знакомые твои»,— в них есть какие-то черты воспроизводимого в стихотворной форме жизненного опыта, ранних раздумий, но все это еще неотчетливо, многословно, школьнически подражательно (особенно «Ты и знакомые твои»).

Мой совет: погодите с поэмами, это Вам еще не под силу, покажите себя определившимся мастером в жанре небольшого стихотворения, приучите себя к четкости, ясности выражения, к дисциплине словесного строя. Когда получится что-нибудь, что Вам покажется отличающимся от стиха этих поэм,— присылайте.

Желаю всего доброго.

Рукопись возвращаю.

14 января 1959 г.

Л. Н. В-му

Дорогой тов. В-кий!

Ваши стихи долго залежались в редакции именно потому, что Вы хотели, чтобы ответил Вам только я, а я читаю не только стихи, да и стихов всегда — штабеля.

Стихи цикла «Пушкинская земля», вообще говоря, вполне приличные, их легко напечатать в любом месте, особенно если приурочить к какой-нибудь пушкинской дате. Но раз уж Вы ко мне с ними обратились, то скажу прямо: они вроде серии тех «художественных» открыток, что посвящаются каким-либо достопримечательным местам с их памятниками, живописными окрестностями и т. п.

Их идейно-содержательный, как говорится, вес — весьма невысок.

Растет береза год от года
И барбарис цветет опять;
И только Пушкина природа
Еще не может воссоздать.

Кажется — куда как хлестко, а вдумайтесь сами: не «еще не может», а вообще не может, да и не должна этого делать — зачем был бы еще раз Пушкин? Если же речь идет вообще о гениальном художнике слова, то природа после Пушкина уже подарила нам их целую плеяду и еще, даст бог, подарит.

Когда же Вы хотите в этих стихах дать приметы нынешнего времени, то получается тоже не очень густо.

Да, точно так же стелются луга,
Такой же ветер ходит меж стогами,
Но только эти пышные стога
Сегодня сложены не рабскими руками.

Уже с 1861 г. стога складывались не рабскими (в смысле не крепостными) руками. Маловато это для нынешнего дня.

Или:

Хлынул с **центров** и окраин
Гул моторов, звон копыт...

В письме Вы говорите, что Вам «поэтический возраст» не позволяет бить челом тирану — сиречь зав. отделом поэзии. А пишется все же не с центров, а из.

Не обижайтесь — но стихи, так или иначе связанные

с именем Пушкина, должны быть во всех смыслах безукоризненны.

Что будет нового — присылайте.

14 января 1959 г.

С. Т.

Присланные Вами стихи попросту никуда не годятся, и о напечатании их не может быть речи. Мне кажется, что вообще Вы напрасно занялись этим делом в столь преклонном возрасте и связываете с этими занятиями надежды определенного порядка. Литература — дело трудное, суровое, она требует всей жизни человека и, в первую очередь, лучшей ее части — молодости — для образования и труда, да и то далеко не всегда опыты и усилия в этой области увенчиваются успехом. Конечно, никто Вам не может запретить заниматься писанием стихов, раз это доставляет Вам известную радость на досуге, но я советовал бы Вам поберечь свою старость и не вступать в пространную и безнадежную «полемику» с редакциями и литконсультантами, справедливо оценивающими Ваши стихи как непригодные для печати.

Вот все, что, к сожалению, могу сказать Вам по поводу Ваших стихотворных упражнений. Рукопись возвращаю.

26 января 1959 г.

А. Я. Т-ну

Уважаемый А. Я.!

Ничего не имею против включения известных Вам строф частушечного характера из «Страны Муравии» и «Василия Теркина» в Ваш сборник частушек, но с обязательным указанием источника. В противном случае я буду выглядеть этаким «заимствователем» из кладезя народной поэзии, каковым я не являюсь. В названных поэмах не содержится ни одной заимствованной из фольклора строфы-частушки, хотя, конечно, они навеяны образцами фольклорной поэзии.

Желаю Вам всего доброго.

7 февраля 1959 г.

Т. И. Е-ву

Дорогой тов. Е-в!

Отношения землячества обязывают меня говорить правду, а не наоборот. А, по правде говоря, стихи «Про лесника Игната» — стихи слабые. «Пой, фандыр» тем только и отличаются от множества заурядных стихов о гармошке, что ей дано осетинское название. «Березка под Моздоком» — свидетельствует о Ваших добрых чувствах к родным краям, но по выполнению очень банально и сентиментально:

Березку белую...
Лелеяла казачка целый год —

никто этого не делает, это — не розовый куст или виноградная лоза. А дальше — нелепость:

И поднялась кудрявая под небом...

Это в один-то год? Словом, не годится.

11 февраля 1959 г.

П. В. К-ну

Уважаемый тов. К-н!

Я не вижу необходимости полемизировать с Вами по поводу высказанной мною в речи на XXI съезде партии мысли о непротивопоказанности такой формы собственности, как книга, личная библиотека при коммунизме.

Что касается рассказа «Один день при коммунизме», то, ознакомившись с ним, я считаю, что это либо крайняя наивность, либо пошлая пародия на коммунизм в обычном для такого рода «заглядываний в будущее» духе.

С рукописью «Гзавели — город угляной» я также ознакомился. Для печати это решительно не годится. Около пяти тысяч строк посредственных стихов — это не подарок для читателя. Более подробно о рукописи не буду высказываться, пользуясь Вашим разрешением «пробежать» ее при наличии «свободного часа». Свободных часов у меня, действительно, мало.

Желаю всего доброго.

13 февраля 1959 г.

В. А. К-ву

Дорогой В. А.!

Прошу меня простить, но анкет, подобных Вашей, я получаю в последние годы порядочно, и меня даже огорчает немного то, что такие люди, как Вы, предполагают, будто я в состоянии писать столько раз в отдельности свою автобиографию или заметки вроде «О стране Муравии» или «Ответ читателям «Теркина». Конечно же, это просто невозможно. Более того, я не совсем уверен при заполнении мною таких анкет, что это существенно необходимо для работы исследователя или популяризатора моих работ. Мне кажется, что все это дешево стоит: что думал автор, когда приступал к работе над такой-то вещью, каким числом датировано то-то и то-то, в каком издании впервые появилось и т. п. Дешево стоит, мало весит, с точки зрения прямой и самой трудной нужды истолкования того, что есть, что стало литературным фактом, объективно существует в сознании читателей, вошло в какой-то мере в духовный обиход народа. А все эти «разыскания», и право же, лучше оставить на долю тех, буде они найдутся, «разыскателей», которые будут заниматься этим делом, по крайней мере, самостоятельно, без помощи «объекта» их разысканий.

Может быть, я резковато все это сказал, прошу еще раз извинения, но по-иному отнестись к Вашей «анкете» я не мог.

2 марта 1959 г.

В. А-ко

Дорогой тов. А-ко!

Ваш первый «засыл» как-то не удержался у меня в памяти (я очень много получаю стихов), но с нынешним я внимательно ознакомился, как и с Вашим искренним и серьезным письмом немолодого «начинающего».

Не могу сказать, что стихи Ваши «только плод дикой иллюзии бездарного интеллекта», как предположительно характеризуете их Вы сами. Но прежде всего о том, что очевидно уже из этой приведенной мною Вашей фразы. Вы — не очень грамотный человек, хотя и учитель,— не очень с точки зрения общелитературной нормы. Вы, например, пишете: «посылаю Вам 3 стиха». Это ужасно. Во-первых, «стих» — это строка стихотворная, во-вторых, обозначение количества цифрой,— это с точки зрения

культуры письменной (да и устной) речи недопустимое «просторечие». Далее, «у отмели гулко плеснул осетер» — речь, видимо, идет об осетре, именно потому «осетер», что «костер» в конце рифмующейся строки заставляет Вас искать это слово так, как не простительно было бы Вашему ученику, чью тетрадь Вы проверяли бы.

Согласитесь, что уже одних этих «улик» Вашей малограмотности достаточно было бы для того, чтобы отложить Ваши стихи в сторону.

Но я их читаю, ищу то существенное, что побуждает Вас, как Вы сообщаете в письме, проводить бессонные ночи в труде, в поисках нужных строк и слов.

Это существенное — единственно только — чувство ушедшей молодости, сожаление о неполноте счастья в жизни, грусть. Но, как это ни жестоко, я напомню Вам слова великого Пушкина о том, что на одних воздыханиях об ушедшей молодости в поэзии далеко не уедешь. Это было ясно еще тогда, когда общественная роль поэзии далеко еще не была той, какая ей принадлежит ныне. Словом, в идейно-содержательном плане Ваши стихи — стихи «для себя», не более того. Но что это за стихи по выполнению и форме? Вот я нахожу, может быть, единственную сносную строфу:

И любо пожать чью-то теплую руку,
И, встретившись, может, впервой на веку,
Поведать всю душу случайному другу,
Подсевши с отрадой к его огоньку...

И вдруг концовка этого стихотворения:

Колышет осина гнездо золотое,
И птенчики-листья во сне шелестят...—

это так излишне «образно», натянуто и исполнено такой красивости, что и разбирать в подробности нет сил.

Скажу Вам прямо: сорок лет не шутка, «начинать» желательно бы, будучи помоложе, ибо на «обучение» должно уйти много лет, этого не миновать. Я бы, по совести, посоветовал Вам попробовать свои силы в прозе,— там прямое содержание более очевидно. Впрочем, я понимаю, что советы давать — с колокольни камешки бросать...

Вот все, что могу сказать Вам по поводу письма и стихов.

Желаю Вам всего доброго.

2 марта 1959 г.

И. И. Щ-ву

Дорогой И. И.!

Прочитал я внимательно Вашего «Никанора». Буду говорить без обиняков: это вещь вчерашнего дня, хотя отнюдь не хочу ей отказать в некоторых достоинствах языкового порядка, в некоторых частных удачах стиха.

Мне даже кажется, что написана она давно, может быть, в 30-х годах, а теперь только подновлена, «подогрета».

Дело не просто в том, что сюжетная схема слишком напоминает «Страну Муравию» (поиски крестьянином бесколхозных краев).

Не сошелся клином свет:
Где-нибудь колхозов нет...

А в том, что решение вопроса осуществляется на **тогдашнем** уровне понимания и представлений: достаточно вступить в колхоз — и все само собой разрешается, счастье обретается в наглядном целом.

Однако, согласитесь, что некоторые из острейших вопросов, занимавших сознание и чувства Никаноров и Моргунков, до сих пор, на пороге 30-летия колхозного движения, еще не решены, а те, что решены — не в таком виде, как это представлялось многим, в том числе Вам, в свое время. (Возьмите вчерашнюю редакционную статью в «Правде» — «Против вредной торопливости» ...— право же, она некий отголосок статьи «Головокружение от успехов».)

Поэма всем своим строем народной притчи, сказа, полусказки возвращает нас к тем словам нашей былой агитации и пропаганды колхозного строя, с которыми мы ныне не можем подходить к крестьянину, между прочим, что он уже давно не крестьянин, он знает и понимает гораздо больше и вернее того, что содержалось когда-то в наших словах.

Возможно, что в свое время, в 30-х годах, поэма могла увидеть свет. Но дожила бы она до наших дней как поэтически-действенное произведение? Думаю, что нет. Не тот уровень решения вопроса — заниженный, примитивный, «демьяно-бедновский», если хотите — уровень, преодоленный уже давно нашей литературой, какова бы она ни была во всех своих слабостях.

Вот так, дорогой И. И. Не посетуйте за резкость отзыва,— кого уважаю, с тем только так, на полную прямоту могу говорить.

Рукопись направляю Вам.
Не забывайте, звоните, заходите.

6 марта 1959 г.

П. П. О-му

Уважаемый П. П.!

Вы пишете: «А что делать нам, старикам, как не писать воспоминания?» Я согласен, что это занятие вполне к лицу Вам как по возрасту, так и по характеру биографии. Но прислали Вы мне не воспоминания, которые могли бы составить известный интерес, а стихотворное переложение библейской легенды о «сотворении мира». Это как раз не представляет интереса, и, если Вы спрашиваете, «продолжать или не портить бумагу», то, на мой взгляд, можно и продолжать, если это доставляет Вам удовольствие, но рассчитывать на использование подобного материала в печати не приходится. Это вчерашний день поэзии, той, что шла в кильватере антирелигиозных фельетонов Д. Бедного и заполняла некогда страницы соответствующих изданий — «Безбожник» и т. п. Ныне и методы антирелигиозной пропаганды иные. А читать это, по совести говоря, просто скучно.

Рукопись возвращаю.

9 марта 1959 г.

Л. В. В-ву

Уважаемый Л. В.!

Получил Ваши рассказы вместе с сопроводительными материалами (рецензии Ф. Левина из «Знамени» и Р. Валаева из «Нового мира»).

Вы сетуете на рецензента нашего журнала, критически отозвавшегося на Ваши рассказы, и высказываете не очень вежливое и не очень скромное предположение относительно того, что «консультанты хорошо оберегают меня, редактора «Нового мира», от сатирических вещей, написанных русским народным языком и, главное, со знанием «конкретной обстановки».

Я внимательно прочел эти Ваши вещи и нахожу, что рецензенты оценили их недостаточно строго, со скидкой, как говорится. На мой взгляд, оба рассказа попросту слабы в литературном отношении безотносительно к сатирическому жанру. В «Мельнице» речь идет о заведо-

мом дураке и хапуге — прорабе, который вопреки проекту, вопреки элементарным техническим расчетам и т. п. строит плотину на глазок и, конечно же, терпит фиаско — плотину сносит силой воды. Все это до того примитивно, нарочито, что уже с первых строк ясно и читать скучно. А скука — страшнейший враг всякого жанра, не исключая и сатирический.

Идея второго рассказа «Неоспоримый факт» целиком выражена в эпиграфе: «Во многих коммунальных домах входные двери ни в мороз, ни в метель не закрываются». Но Вы осложняете это положение анекдотом о «рационализаторском предложении», предусматривающем строительство домов без входных дверей. «Сюжета» этого едва хватило бы для одной шуточной фразы, но Вы на нем строите рассказ, и опять-таки все совершенно ясно с самого начала, и, кроме чувства неловкости за человека, рассказавшего несмешной анекдот, ничего не испытываешь по прочтении этого произведения.

Беда Ваша в том, что Вы плохо думаете о читателе, не предполагаете, что он достаточно умен, имеет возможность сравнения Ваших рассказов с тем, что ему довелось читать, скажем, у Чехова, Щедрина или Ильфа и Петрова, М. Кольцова и др.

Судя по Вашему письму, Вы — относительно начинающий, состояли в переписке с видными писателями, словом, бывалый начинающий. Поэтому я считаю возможным говорить с Вами без обиняков: рассказы Ваши не свидетельствуют о серьезных способностях к литературной работе, а нескромные сообщения о том, что рассказы в такой-то аудитории были приняты хорошо («Было много смеха»), или о том, что покойный М. Зощенко нашел у Вас «такой мягкий хороший юмор»,— простите меня,— отдают самохвальством, которое, увы, не может помочь главной беде — повлиять на оценку Ваших рассказов редакцией.

Не в Вашу пользу говорит и «оснащение» переписки копиями рецензий и т. п.

Рукописи возвращаю, хотя это, по объему их, и не является обязательным для редакции.

9 марта 1959 г.

А. В. М-му

Дорогой А. В.!

Стихи прочел и обрадовался: они очень мне симпатичны. Из северного цикла напечатаем «Реченьку», «Заполярный дождь», «Если любишь» и «Оленя», если в последнем Вы исправите два местечка:

1. «Покачивались **дымками** костры»...— дымка — это не дымок, Вы, вероятно, имеете в виду этакое колебание воздуха, как бы такие струйки,— это хорошо, но нужно точнее.

2. «...**только лишь** из книг».

Словом, стихи незаурядные, настоящие. Меньше мне понравился Смоленский цикл. Что будет нового — присылайте.

Прошло так много лет, что, по правде сказать, не помню о наших с Вами встречах,— не обижайтесь, а просто напомните мне. Что и как Вы сейчас? Не нужно ли деньжонок? Мы могли бы Вам дать под стихи. Связались ли Вы со смоленскими писателями? С Рыленковым?

Будьте здоровы.

Пишите.

8 апреля 1959 г.

Г. Г. Ш-ну

Г. Г. Ш-н

Ваши претензии ко мне по поводу отвергнутой редакцией Вашей рукописи несостоятельны. Вы пишете: «Рукопись романа «Русь» я послал Вам, поэту Твардовскому, а Вы даже не полистали ее». Дело в том, что рукопись Вы не адресовали мне лично, сопроводительного письма ко мне не написали, более того, рукопись Вы передали через И. А. Саца. В этом нет ничего зазорного, и редакция, согласно Вашему желанию, передала рукопись на первую рецензию самому И. А. Сацу. Вслед за тем роман был прочитан редактором отдела прозы А. И. Кондратовичем, и на основании двух рецензий было составлено направленное Вам письмо. Вот как было дело. Что же касается меня лично как главного редактора, то я о Вашей рукописи знал лишь из давнишнего (прошлогоднего) письма Б. А. Энгельгардта, рекомендовавшего ее «Новому миру». Помнится, что я ответил Б. А. в том смысле, что вряд ли такой журнал

современной тематики, как «Новый мир», проявит большой интерес к роману на дореволюционном материале. Я, действительно, не читал романа, но отклонение рукописи без участия в каждом случае главного редактора — это дело не такое редкостное,— иначе было бы неизвестно, для чего еще существуют редколлегия, отделы редакции и т. д.

Безусловно, Вы, как всякий автор, вправе обращаться ко мне (при несогласии Вашем с заключением отдела) и просить меня прочесть рукопись заново, и я был бы не вправе отказать Вам.

Но, во-первых, Вы меня об этом не просите, а во-вторых, тон и характер Вашего обширного письма — его крайняя развязность, самохвальство (Вы позволяете себе сближать оценку своего романа с оценкой «Войны и мира»!) и оскорбительные выпады не только по моему и сотрудников «Нового мира» адресу, но и по адресу всей советской литературы,— этот тон и характер исключают проявление какого бы то ни было дальнейшего интереса с моей стороны к Вашей рукописи и к Вам лично.

8 апреля 1959 г.

Л. С. ПЕРВОМАЙСКОМУ

Меня очень порадовали твои рассказы. Я вообще очень ценю и люблю в поэте-стихотворце способность поэтического изъяснения не только на собственно «поэтическом», стихотворном языке. И, между прочим, эта способность — свидетельство в пользу поэта даже тогда, когда в ней он проявляется с неожиданно другой стороны, как бы даже противоречащей его стихотворному письму.

Рассказ «Любисток» — прелесть по искренности, невыдуманности (по крайней мере, впечатлению невыдуманности, которое, конечно, дороже самой невыдуманности как таковой), прозрачности и целомудренности. Да, это рассказ о том, что дорого душе поэта, что он хочет передать только так, а не иначе, и если это кому-нибудь не нравится, то и пусть, а я это люблю, храню в сердце, это — мое, иным, как есть, оно быть не желает.

Второй рассказ тоже хорош, но где-то во второй половине есть «перебор добродетели»,— это когда речь идет уже о чужой теще, заботы о которой возлагаются на героя, и без того уже благородного в своей любви к жен-

щине, которая старше его на 10 лет, и ее детям. Да, впрочем, «перебор», может быть, начинается уже там, где болезнь падчерицы, самоотверженность героя в уходе за ней и чудодейственное исцеление больной.

Я, конечно, предвижу, что ты мне скажешь: это все так и было в действительности, это с натуры, невыдуманное, но я лишь повторю тебе то, что уже выше сказал о цене невыдуманности.

Все это я говорю тебе о втором рассказе не к тому, что он не может быть напечатан в таком виде, а к тому, чтобы подчеркнуть преимущества перед ним рассказа о первой любви. Там, между прочим, за исключением одной строчки (о красной ленточке на груди Любы, что как «струйка крови»), нет ничего от излишеств «живописности», красивословия и сентиментальности, свойственной некоторым украинским писателям. А во втором рассказе это есть и немного сахаринцу есть.

Еще вот что. Кузнец, у которого твой герой стоит на квартире, мне знаком и памятен по твоему изустному рассказу (еще при покойном А. А. Фадееве) о его праздничном обеде и отдыхе под грушей. Это бы мог получиться, как мне кажется, тоже отличнейший рассказ. И так помалу, может быть, завязался бы некий автобиографический цикл... Но это я уже за тебя начинаю планировать.

Я только по-дружески просил бы тебя, если, конечно, «Дурень» не напечатан еще по-украински, поубавить в нем добродетели (например, можно было бы перевозить к себе в семью не чужую тещу, а свою мать, которая, кстати, уже «приняла» свою необычную невестку; можно было бы обойтись без самолета с больной падчерицей на борту и московских профессоров). Но оставлю это целиком на твое усмотрение.

Жму твою руку, поздравляю тебя и желаю тебе только здоровья — все остальное зависит от самого себя.

10 апреля 1959 г.

С. А. О-му

Многоуважаемый С. А.!

Прежде всего прошу простить мне задержку с ответом на Ваши письма и рукописи.

Я внимательнейшим образом прочел одно за другим все стихотворения Вашей книги «Шлак» (название, кста-

ти, весьма неудачное). Конечно, я не буду говорить о литературно-технических изъянах и т. п. мелочах. Эти стихи определенного уровня поэтической культуры, усвоенной не с налету, не в порядке моды, а в результате всей жизни, духовного развития, развития эстетических вкусов и пристрастий довольно уже немолодого человека (как я понял, Вам возле 60 лет). Более того, эти стихи — не юношеская дань преходящему увлечению, я не спорю, что они некая жизненная Ваша необходимость. Им Вы на протяжении многих лет вверяли свои мысли, чувства, сердечные потрясения и выводы жизненного опыта. Вы их писали в силу искренней потребности, не связывая этого с надеждами на ближайший успех, материальную выгоду и т. п. Все это для меня совершенно очевидно,— Вы не зауряд-начинающий, стремящийся любой ценой добиться опубликования своих стихов и уверенный в том, что этого достаточно для того, чтобы осчастливить человечество и самому быть счастливым.

И я проявил бы неуважение к Вам, если бы покривил душой, говоря о Ваших стихах, начал бы Вам советовать расширить свой тематический круг, поближе встать к современности и т. д. и т. п. Нет, я Вам этого говорить не буду, ибо понимаю, что все это были бы пустые слова в данном случае. Вы всей своей душой, мироощущением, навыком чтения, так сказать, потребления поэзии принадлежите ее минувшему дню. Источник Ваших стихов не жизнь грубая, трудная, сложная и прекрасная сама по себе, не ленинградская блокада, которой в книге посвящено два весьма посредственных стихотворения, даже не Ваша «фатальная» и «тютчевская» любовь, нет,— хорошие книги, вроде «Дон Кихота», хорошие и, увы, плохие стихи (для Вас есть Тютчев, но есть и Бальмонт). Ваши стихи — отражение с отражения. Мне странно и даже как-то неловко читать стихи, датированные днями ленинградской блокады и посвященные всему, чему угодно, но не этим дням. Мне неловко читать Ваши любовные стихи, в которых Вы играете в «последнюю любовь»,— потому что я знаю «Последнюю любовь» Тютчева. Ваша поэзия — Ваше частное дело,— вот в чем беда с точки зрения возможности опубликования Вашей книги. Писание стихов доставляет Вам радость, освобождает Вас лично от груза невысказанных переживаний, облагораживает Ваши помыслы и желания в Ваших собственных глазах, но не более того.

Случилось так, что Вы не из жизни своей, как всякая жизнь, неповторимой и особенной, создавали Ваши стихи, а, наоборот, под «ранжир» излюбленных поэтических форм подгоняли Вашу жизнь, чувства, впечатления, не только не нарушая этого «ранжира», но стремясь именно к его сохранению. Отсюда мое, читательское, ощущение, что все это я уже читал где-то, только там было в первый раз и лучше.

Я знаю, как жестоко я говорю с человеком, доверившим мне «святая святых» своего душевного мира, но я хочу верить, что Вы поймете и меня: я не могу иначе, откровенность за откровенность. Ведь не за консультацией же Вы ко мне обратились, не за мелочными «секретами ремесла», а за мнением, оценкой, судом нелицеприятным и правдивым.

Это, конечно, не все, что я мог бы Вам сказать, но думаю, что и этого достаточно Вам, чтобы чувство расположения ко мне у Вас сменилось совсем другим чувством. Что делать — такова наша редакторская доля в иных случаях.

Желаю Вам всего доброго и, как Вы мне, прежде всего здоровья, остальное, Вы правы, приложится.

С уважением.

13 апреля 1959 г.

Б. Ш-ву

Дорогой тов. Ш-в!

Из тетради «новых стихов» я затруднился выбрать что-нибудь для «Нового мира», разве что «Трактористы» в сокращенном виде, но и это без особого чувства находки.

Вы сами хорошо (по смыслу, но не по форме, несколько косноязычной) говорите в стихотворении «Огонь» о том, что писать становится трудней, когда уже некий «аванс» Вам выдан читателем. Действительно, после первых Ваших стихов в печати, стихов непритязательных по средствам выражения, но свежим, так сказать, достоверным по материалу и основному тону. Вы стали метаться туда-сюда, ища новых мотивов, пробуя иные ритмические лады. Это хорошо, это лучше, чем если бы Вы держались за самый первоначальный свой успех и старались идти уже проложенной борозденкой. Но тут Вас ждут еще не-

малые трудности. Сейчас Вы ищете, пробуете — но еще не нашли. По опыту своему и множеству других примеров я знаю, как не вдруг обретается новая, более глубокая борозда.

В поисках иных для себя ритмических ходов Вы покамест впадаете в готовую колею чужих, связанных с иным содержанием ритмов.

Так, например, стихи «Сверху снова с утра угостило снежком...» или «Вот дано мне на сердце деревню любить...» слишком очевидно зависимы от привычных слуху никитинских «Не пора ль, Пантелей» или «Эх, приятель, и ты, видно, горе видал...» А это не годится. Никакое новое содержание (материал) не пробьется к жизни через чужой, рожденный для другого содержания ритм. Это, конечно, не значит, что Вы должны изобретать новые размеры, как это думают или делают некоторые «новаторы» от стиха. Это значит, что любой классический размер должен быть Вами «освоен», приведен в соответствие с содержанием, чтобы он даже не напоминал его (этого размера) другие образцы. Это опять же нелегко, но это одна из самых существенных, решающих тайн поэзии.

Стихи с юмористической окраской — слабоваты, юмор напряженный, несвободный («Незнакомый парень», «След»).

Итак, оставляю в портфеле «запас», стихотворение «Трактористы» в том виде, как оно сокращено мною. Тетрадку возвращаю. Не унывайте, я уверен, что я ничего особо нового против того, что Вы уже сами понимаете, не сказал Вам.

Будьте здоровы.

17 апреля 1959 г.

Г. М. Т-ву

Г. М.

Мне нечего прибавить к тому, что я уже говорил о Ваших стихотворных опытах. Я не вижу прогресса у Вас, прежде всего — в отношении грамотности. По письму Вы — человек малограмотный, делающий грубые орфографические ошибки (покажите Ваше письмо и стихи кому-нибудь из учителей русского языка!), не имеющий понятия о пунктуации. О стихах же с литературной точки зрения судить просто невозможно. Вы выдумываете та-

кие словечки и выражения, как «лоптастые поля», «потрепанные» или «потресканные» руки, «сухоядный» и т. п.

Если Вы настаиваете, чтобы я сказал, стоит ли Вам заниматься писанием стихов, я вынужден прямо Вам сказать, что, по-моему, не стоит, во всяком случае, не стоит их рассылать по редакциям газет и журналов, а потом сетовать на литконсультантов и редакторов по поводу их «нечутких» ответов.

18 апреля 1959 г.

И. П. Ш-ву

Уважаемый И. П.!

Ваше письмо, стихи, посвященные мне, и рассказ «Счастливая старость» были направлены Вами в редакцию газеты «Труд», откуда их прислали мне, и у меня они тоже ожидали очереди, так как я получаю огромное количество подобного материала.

Этим объясняется такая задержка с ответом.

Теперь по существу дела. Рассказ «Счастливая старость», хоть и взят, как говорится, из жизни, не может быть напечатан по причине его крайней литературной беспомощности и просто малограмотности изложения. Ваш герой Яков Иванович для Вас — лицо живое, действительное, но в силу неопытности Вашей он для читателя не представляется таким живым и действительным лицом. Тысячи раз о таких стариках-пенсионерах можно было прочесть в газетных заметках, ничего нового Вы не сообщаете читателю.

И, скажу Вам по правде, как рассказ, так и Ваши стихи с литературной точки зрения очень слабы. «Поправить» это невозможно, научить Вас, малограмотного человека, писать литературные произведения — дело безнадежное. Нужны годы и годы упорного труда и учения, не говоря уже о таланте, чтобы просто овладеть уменьем правильно и выразительно излагать свои мысли, впечатления и наблюдения.

Мне кажется, что Вы уже не в том возрасте, чтобы начинать все с самого начала, и я не советовал бы Вам связывать с Вашими литературными занятиями в часы досуга слишком большие надежды, тем более что у Вас есть неплохая профессия. Лучше быть отличным слесарем-монтажником, чем плохим писателем. Простите за прямоту, но это так, и обманывать Вас относительно Ва-

ших возможностей в литературе считал бы неуважением к Вам, рабочему человеку и бывшему фронтовику.

Желаю Вам всего лучшего.

Рукопись возвращаю.

22 апреля 1959 г.

Н. С. П-ву

Уважаемый Н. С.!

Очень не хотелось бы мне Вас огорчать,— потому что я знаю, какой это труд написать вещь объемом в две-три тысячи стихотворных строчек, как Ваша «Поэма о спутниках»,— но приходится огорчить: поэма не может быть напечатана. Более того, я не вижу возможности «отметить те ее недостатки», которые можно было бы исправить,— она в целом своем литературно несостоятельна.

Попросту говоря, нет никакой необходимости излагать в посредственных, хотя почти всегда грамотных технически стихах то, что всем известно (или доступно) из газетных сообщений, научно-популярных брошюр и даже фильмов о Попове или Циолковском. Эта задача совершенно непродуктивная, зряшная. Кроме того, изложение это ведется в таком архипрозаическом стиле, что только известное звуковое совпадение окончаний строк — рифмовка — напоминает читателю, что это — по намерению автора — стихи.

Вот Вы повествуете об А. Попове:

И Александр примером брата
Заполучить его (аттестат зрелости) спешит.
Потом идет в университет
На тот же самый факультет,
Где за два года до того
Окончил Павлов курс его...
И Чебышев и Менделеев
Там открывали новый путь,
И Бутлеров свой план лелеял
В строенье тел перевернуть
Уж обанкротившиеся взгляды...

Разве это поэзия? Нет, конечно, это стихоподобный набор слов, фраз, имен. И такого рода цитаты можно было бы приводить с любой страницы Вашей рукописи.

Прошу не сетовать на прямоту — говорю Вам чистую

правду: вещь Ваша не имеет никакой литературной ценности.

Рукопись возвращаю.

22 апреля 1959 г.

М. А. Б-ву

Тов. М. Б-в!

Повесть в стихах «Без отца, без матери» в «Новом мире» не может быть напечатана. Не имея возможности входить в подробный анализ ее, скажу только, что основной ее порок — скука, чему немало способствует однообразный, вялый пятистопный хорей, которым написана повесть. Вообще говоря, необходимость избрания автором именно такого-то жанра должна быть доказана самой вещью. Именно этого нет в Вашей стихотворной повести, все время думаешь, почему бы автору не изложить судьбу своего Вовки доброй честной прозой, поскольку этот материал для него, автора, памятен и дорог, зачем это излагать в условной, затрудненной форме стиха, когда многое утрачивается просто из-за необходимости втиснуть то или иное положение, факт в стихотворную строфу.

Кроме того, не могу не сказать к случаю, что большие стихотворные вещи требуют большого опыта, подготовки, проверки себя на «малом поле».

Желаю всего доброго.

Рукопись возвращаю.

24 апреля 1959 г.

Е. Т. Х-вой

Уважаемая Е. Т.!

Вы обратились ко мне со своими стихами как к «справедливому судье», чей совет, как Вы пишете, для Вас будет окончательным. «Стоит ли мне продолжать?» — ставите Вы, как и тысячи других авторов стихов, этот обязательный вопрос. Обычно я отвечаю на этот вопрос в том смысле, что его может решить так или иначе только сам автор. У меня нет оснований, по ознакомлении с Вашими стихами, ответить Вам как-нибудь иначе. Стихи слабые, литературного значения не имеют, но кто же Вам может запретить «продолжать», если это занятие Вам по душе украшает Вашу жизнь, доставляет

известную радость. Только мой совет — не стоит связывать с этими занятиями, под влиянием доброжелательных слушателей или читателей Ваших стихов, надежд на «реализацию» их в печати.

Желаю Вам всего доброго.

24 апреля 1959 г.

А. И. Н-ву

Дорогой А. И.!

Помочь Вам в опубликовании Ваших стихов, к сожалению, не могу, так как стихи весьма слабые, по форме и по содержанию, похожие на зарифмованные заметки из районной газеты. Да и насчет родного языка не все благополучно:

Посмотрите на наш колхоз:
Что ни месяц — постройка новая.
Кукуруза **родилась** (ударение!) толковая,
Поднялась она в наших краях.
Продаем молока излишки.
В общем, денег в колхозе не нет...

Это нужно удумать — сказать «не нет» вместо того, чтобы сказать «есть». А дальше — совсем не к месту строки:

А в кармане моем есть книжка —
Это мой партийный билет.

Не обязательно такие стихи посылать в столицу, думаю, что и в Петровске есть люди, которые скажут Вам, что это — не поэзия.

Никто, конечно, не собирается отнимать у Вас «возможность писать стихи», пишите, если это Вам доставляет радость, в этом ничего зазорного нет, но ставить вопрос о напечатании их или издании отдельной книжкой — рановато. Не спешите.

Желаю Вам всего доброго.

24 апреля 1959 г.

В. А. П-ву

Дорогой тов. П-в!

Вы пишете в сопроводительном к новым стихам письме: «если плохо, то не отвечайте». Так бы я и сделал, ибо новые стихи Ваши не порадовали меня, но в самом пись-

ме есть то, что заставляет меня ответить Вам. Вот уже третий раз за недолгий срок Вы меняете адрес: то Вы в Крыму, то на родине в Смоленщине, то в Казахстане. «Охота к перемене мест» — дело хорошее, особенно в молодости, но боюсь, что именно из-за этой своей «непоседливости» Вы и не получили среднего образования,— Вы — сын учительницы, как мне помнится, т. е. человек из интеллигентной семьи, с которого и спрос должен быть большой. А теперь Вы жалуетесь на судьбу, на то, на се: мол, всюду худо, непорядки, несправедливости и т. п. Допустим, что все это так, но я должен сказать Вам, считая Вас человеком способным кое на что, что нет на земле таких мест, где бы нас ждали идеальные условия, где бы тотчас, с первого дня все в нашей жизни пошло бы легко и удобно и т. д. И нужно быть мужчиной, тов. П-в, пора быть взрослым человеком, чтобы по-взрослому, а не по-ребячески относиться к трудностям (недоумение и горечь «перенесовершенствами» жизненного устройства — это тоже трудности и немалые!), которых не избежать нигде. Так я должен Вам сказать, потому что Ваш тон вызывает меня на это. А это тон плаксивый: вот, мол, я же родился, чтобы жить при социализме, а вы мне ставите такие трудные задачи. Простите, но это тон маменькиного сынка, недостойный. Возьмите себя в руки, не поддавайтесь расслабляющей сласти уныния и «разочарования»,— этак далеко не уедешь. А стихи, действительно, так себе, написаны без большой душевной потребности, а так — чтобы написать что-нибудь. Но и в них есть то «кое-что», что заставляет меня заниматься Вами, например, в стихах «На стройке», но мало, вяло и не доработано.

Желаю Вам всего доброго. Будет что новое — присылайте.

19 июля 1959 г.

О. М. Бушко

Дорогой тов. Бушко!

Я внимательно прочел Ваши новые стихи. Мне кажется, хотя я плохо помню прежние, что в них есть определенный прогресс: большая серьезность замысла, стремление сказать что-то существенное, общезначимое. В этом отношении выделяется стих «Я упреков не слышал...». Его можно было бы и напечатать, но, по-моему, спустя

столько времени после войны, тема «виноватости» уцелевших и живущих перед памятью павших звучит уже несколько натянуто: жизнь идет, и эти «счеты», если они и были возможны когда-то, уже снимает, — напоминать о них — вряд ли на пользу.

И вот что покамест мешает Вашим стихам: рассудочность, рационалистичность. Думать нужно, без этого нет поэзии, но построениями чисто «головного» порядка не заменить живого впечатления и эмоции, порожденной им.

Возьмем стихотворение «Молоко». Тема или идея его вполне хороша сама по себе: взаимопризнательность людей в коммунистическом труде, в общественном единстве их усилий, деятельности. Но в конкретном образе это у Вас не получается.

...девушка на рынке
молоко подаст мне в теплой крынке...

Вслушайтесь в эти слова: «рынок» и «крынка». На рынке молоко продается, и то, что девушка не берет денег с Вашего «лирического героя», выглядит с одной стороны натяжкой, фальшивинкой (ведь она **продает** на **рынке** общественное достояние, продукт колхозного труда, и в жизни угостить этим молоком приглянувшегося ей парня она может лишь за свой счет), а с другой стороны: что же тут коммунистического — угостить крынкой молока,— это в деревенском обиходе за сотни лет до коммунизма было вполне обычным делом. И далее, смотрите, слова очень коварны, они выдают Вас с головой: «из крынки» — значит не «с фермы», где будто бы работает Ваша героиня, там понятия «крынки» нет, там — бидон и т. п., а от своей единоличной коровы — пережиточного, так сказать, обстоятельства в социализме. Иными словами, девушка Ваша поступает совершенно в духе старинной красной девицы, угощающей доброго молодца. Ну и все, но Вы хотите убедить меня, читателя, что речь идет о некоем коммунистическом начале. А я не верю, чувствую фальшь и натяжку. Это — не придирки. Это замечание относительно важности живого достоверного впечатления в основе, которое нельзя подменить общим, хотя бы и вполне благонамеренным, но «головным» построением.

Не имею возможности быть более подробным, но уверен, что говорю о самом существенном недостатке Ваших стихов, коснувшись лишь одного этого двустишия.

В заключение повторяю, что работаете Вы серьезно,

не ищете легких путей, размышляете — это хорошо, но вполне хорошо будет лишь тогда, когда это будет сопутствовать живым, «первоначальным» впечатлениям и чувствам. Без этого далеко Вы не уйдете, и это, может быть, самое трудное в поэзии.

Рукопись возвращаю.

1 августа 1959 г.

И. В-ку

Дорогой товарищ В-к!

Прочел Ваши стихи. Кое-что от поэзии в них есть, но они еще очень захламлены языковыми погрешностями, неловкими оборотами речи, чужими, бессознательно «присвоенными» «ходами», интонациями. Слишком заметно влияние Вашего «любимого поэта» — от этого нужно освободиться, искать в себе самого себя.

Одно стихотворение оставлю в запасе «Нового мира», — возможно, оно будет напечатано. Не спешите писать, спешите читать и думать.

Желаю всего доброго.

10 августа 1959 г.

Н. Н. А-су

Уважаемый Н. Н.!

Прочел Вашу повесть «Достоевский у смертного порога» не без интереса. Действительно, написано это хорошо, умело, с тонким знанием и чувством письма Достоевского, но все же это не более как стилизация, изящная подделка. Когда я читал, меня не покидало ощущение, что я это уже читал ранее, что это для меня не новость, а повторение чего-то уже известного. Правда, я органически не переношу «биографический жанр». Мне всегда казалось странным и совершенно непродуктивным что-либо беллетристическое о Толстом, Достоевском, Пушкине, Лермонтове. Они себя написали так, как никогда никому уже не написать, а главное, не нужно.

Совсем непонятным для меня является Ваше определение повести, как «написанной на основе... романа». Простите, но это звучит как-то до крайности неловко.

Дата стодесятилетия со времени разгрома кружка Петрашевского — дата, что называется, не круглая, так что и это обстоятельство по журнальным условиям не

может оправдать появления в «Новом мире» Вашей повести.

Рукопись возвращаю.

17 августа 1959 г.

В. А. В-ну

Уважаемый В. А.!

Ваша готовность «с одинаковым удовлетворением услышать и «Да» и «Нет» в отношении Ваших рассказов о Чехове» сама по себе свидетельствует о невысокой самооценке написанного. Не имею оснований разубеждать Вас, хотя могу сказать, что рассказы написаны грамотно, стилистически опрятно,— их можно бы и напечатать и, наверное, их охотно напечатают в будущем году, по случаю столетия со дня рождения А. П. Чехова.

Но дело в том, что писать рассказы из жизни великих писателей (и это я не первому Вам говорю и повторяю) занятие безнадежно пустое, ненужное. Великие писатели, в их числе А. П. Чехов, описали себя, свою эпоху и свою среду с несравненно большим знанием предмета, чем кто бы то ни было другой после них, не говоря уже о таланте и преимуществах сказанного впервые перед сказанным вторично, повторением известного. По самому Чехову, документам и свидетельствам современников я, читатель, знаю гораздо больше того, что Вы мне сообщаете в своих рассказах о писателе. Они для меня лишь свидетельство о том, что Вы тоже читали Чехова, его письма и общественные высказывания о нем, и что Вы хороший, интеллигентный читатель с развитым вкусом, чувством стиля, наконец, любовью к Чехову. Но все это, простите меня, еще не делает читателя писателем. Литература не может происходить из самой же литературы. Хорош был бы Чехов, если бы он писал рассказы из жизни своих любимых писателей, стараясь воспроизвести их письмо, стиль и т. д. Я хочу сказать, что Чехова-то и не было бы. Вот все, примерно, что могу сказать о Вашей рукописи. Я не к тому веду, чтобы Вы поняли все это, как мое «Нет» в отношении Ваших литературных возможностей. Почему бы Вам не попробовать написать что-нибудь не из жизни знаменитого писателя, а просто из жизни, той, которая всего ближе и интереснее Вам?

Желаю всего доброго.

20 августа 1959 г.

В. И. Кочеткову

Дорогой В. И.

Книжечку получил, спасибо. Я ее прочел, есть очень симпатичные стихи, но, скажу прямо, что некоторая ровность (чаще говорят о неровности) книжки в целом создает не совсем благоприятное впечатление. Тем более что заключительное стихотворение

...фельдмаршальского жезла
В литературном ранце не ношу —

как бы и оправдывает такую, очень уж непритязательную ровность. Если мечтать стать Шекспиром, то хоть К. будешь, а если на К. равняться, то и К. не получится. Конечно, нельзя мечтать стать кем-то, это и не нужно и вредно, но мерить свое иным, вершинным мерилом, необходимо.

Еще должен сказать, хотя и не мне бы говорить об этом, что зависимость Вашего стиха, ритмов и пр. от известного поэта очень видна с первого же взгляда. Это нужно преодолевать.

Не берите такие пустопорожние, не имеющие ни цвета, ни запаха, ни звона слова, как шевелюра, силуэт, контур и т. п. И не нужно острить — «дятел-терапевт», «молния-редактор» и т. п. Это немного под раннего Исаковского и вообще стоит 15 коп.

Будьте здоровы. Новые стихи присылайте в «Новый мир».

Жму руку.

24 августа 1959 г.

О. М. Л-ну

Уважаемый О. М.!

Судя по Вашему «Обращению» ко мне, написанному от лица Теркина, человек Вы, к сожалению, недостаточно грамотный вообще и вовсе неопытный в литературном письме (дело это трудное, требующее многих лет выучки и труда, помимо даже таланта).

Поэтому скажу Вам откровенно: вряд ли под силу Вам будет, как Вы предполагаете, «писать рассказы о войне» и тем самым обрести материальную поддержку. На это надеяться с Вашими данными не стоит.

Желаю всего доброго.

23 сентября 1959 г.

Л. В. П-му

Дорогой Л. В.

Стихи — и «детские», и «взрослые», по правде говоря, весьма посредственные — попросту, неумелые.

Разве стоит любить понемногу?
Разве стоит по-малому жить? —

вопрошаете Вы и, желая сказать, что большое и малое неравноценны, заключаете строфу (и стихотворение) явной нелепицей:

Разве можно большую дорогу
И тропу на весы положить?!

Нельзя, конечно. Кто же взвешивает такие «предметы» на весах?

Подробно разбирать все стихи не имею времени, и, главное,— не вижу в этом, к сожалению, нужды.

24 сентября 1959 г.

В. С-ву

Дорогой В.!

Я не телеграфировал насчет поэмы, потому что, вопервых, она не давала мне оснований послать поздравительную телеграмму,— я воспринял ее весьма сдержанно — и, во-вторых, потому что мне казалось, что к моменту получения моего письма Вы уже сами к ней, поэме, несколько поостынете, отойдете от повышенной самооценки, какая, по себе знаю, почти неизбежна в первое время по окончании новой вещи. У Вас же, кроме того, из письма угадываются и еще какие-то обстоятельства, способствующие оптимизму (это, конечно, хорошо само по себе).

Поэма содержит в себе гораздо больше строф и строк, чем это представляется необходимым в соответствии с ее содержанием. Более того, даже в каждой почти строке есть лишние слова. Простите меня, но я позволю себе мысленно перевести Ваш стих из пятистопного в четырехстопный ямб и — боже мой — насколько все экономнее, спорее, лучше. А это беда, когда чувствуется, что стих идет «в разбежку» — так нашивают доски или тес, когда материала недостаточно.

Лучшее место — это заполярная любовь, откапывание снега и пр.

А центральный момент — убийство каким-то мужем своей жены, женщины, заглянувшей в душу Вашего «лирического героя» откуда-то из ранней юности и как бы уже приготовившейся для счастья,— дан скачком, мельком как-то. Я знаю из Ваших писем об этом трагическом случае, который Вас, по-видимому, очень потряс, но это потрясение не передается мне, читателю поэмы.

Пишу так кратко и, может быть, грубовато потому, что я на отлете из Москвы, заканчиваю в спешке разные дела.

С этой поэмой советую просто подождать. Я был бы рад ошибиться, но дайте ей полежать в столе — ведь она у Вас написана не «ко дню» в смысле календарном или ином каком.

Желаю Вам всего доброго.

30 сентября 1959 г.

В. Ш-ту

Уважаемый В. Ш-т!

Стихи не только вполне литературно приемлемые, но и очень симпатичные мне чем-то. Однако скажу прямо,— Вы об этом меня и просите в своем письме,— что появляться Вам вдруг в печати с такими стихами, не содержащими в себе ничего нового по отношению к традиционной русской лирике и целиком ей принадлежащими по форме, стилю и тону, не стоит. Они как будто из других времен доносятся до слуха. Я не берусь, конечно, советовать Вам: берите, мол, новую тематику, учитесь тому-то, пишите так-то и т. п. Все это можете решить и выбрать для себя только Вы сами.

За стихи, посвященные мне, спасибо!

Желаю Вам всего доброго.

13 января 1960 г.

Е. В. С-ву

Дорогой Е. В.!

Я внимательно просмотрел Ваши стихи. В общем, несмотря на некоторую подражательность формы (Исаковский, Олейник, «Теркин»), они производят симпатичное впечатление. Человек Вы, по-видимому, хороший, болезненно внимательный и нетерпимый к фактам действительности, которые ждут еще своего полного искоренения

(пьянство, взяточничество, равнодушно-формальное отношение к нуждам и страданиям людей — «О сельской торговле», «Хабарница», «Хирургия»). Не лишены Вы и чувства юмора, порой Вам удается выразиться метко, характеристично. Есть отдельные неудачные строчки и в стихах несатирического порядка.

Но для большой печати, к сожалению, все это еще не годится. Стихи Ваши слишком привязаны к единичным местным фактам, в них многое может быть понятно лишь для круга местных людей, знающих, о чем и о ком речь. Словом, все это на уровне стенгазеты. Расстояние от этого уровня до того, что называется литературой, поэзией,— очень значительно. А человек Вы, как мне показалось, уже немолодой. Не знаю, имеете ли Вы возможность начинать все с самого начала, т. е. проходить длительный путь чтения, самообучения без гарантии успеха. Думаю, что Вам полезно было бы связаться с местной литературной организацией, кружком, редакцией газеты, чтобы узнать и усвоить множество вещей, о которых ни в каком письме всего сообщить невозможно.

Желаю Вам всего доброго.

Рукопись возвращаю.

27 апреля 1960 г.

Е. К. В-ной

Уважаемый тов. В-на!

Прочел Ваш рассказ, присланный Вами вместе с письмом-рецензией из редакции «Нового мира», где он был отклонен.

Рассказ весьма слабый. Беда не в том, что героине Вашей, девушке, не выдержавшей какие-то экзамены и путешествующей со своей тетей по Волге, нечего делать, а в том, что Вы, автор, не знаете, что с ней делать.

Одного поверхностного противопоставления лишенной трудовых навыков девчонки из обеспеченной интеллигентной семьи тете Рите, некрасивой, но наделенной добродетелями трудового человека, мало, да и противопоставление это слишком наглядно с первых слов.

Также недостаточны, примитивны и не без фальши «отзвуки», так сказать, широкой народной жизни, данные в репликах и отрывках бесед пассажиров за окном каюты, в разговоре соседей по столику в ресторане и т. д.

Обретение же героиней неопределенно хорошего на-

строения под воздействием то ли плакатно-символического сновидения (девушка в красном платье), то ли впечатлений осмотра Сталинграда, то ли, наконец, чтения Тургенева — не составляет собой никакого события даже этой маленькой и неинтересной жизни.

Цитата из Тургенева, кстати сказать, просто ни к селу. Простите меня, но смысл слов Тургенева о России в данном случае страшно далек от «умонастроения» Вашей героини, просто недоступен ей. Там речь идет совсем, совсем о другом, чего и Вы, автор, видимо, не поняли вместе со своей героиней. Словом, рассказа, произведения нет. Есть набросок «от нечего писать», свидетельствующий между прочим о некоторых литературных данных автора (хороша, например, избушка на плоту, как бы оторвавшаяся от деревенского «порядка» и уплывающая по реке).

Подробно его разбирать нет смысла, как и не было смысла Вам писать письмо в объеме четверти самой рукописи с обличениями, направленными против рецензента редакции. Рецензия действительно не ахти, но в Ваших интересах было бы увидеть прежде всего, что рассказ не ахти.

Ничего необычного нет в Вашей апелляции к домашнему адресу редактора. К сожалению, большинство авторов — из молодых и немолодых, потерпев неудачу, укрепляются в совершенно неверном представлении о том, будто бы в редакции все, кроме редактора, стоят для того, чтобы «не пущать» талантливые вещи.

Желаю Вам всего доброго.

24 апреля 1960 г.

С. Л. В-ру

Уважаемый тов. В-р!

Отзыв редакции «Нового мира» на Ваши стихи обидел Вас и подсказал Вам раздражительно-иронический тон Вашего письма ко мне. Но стихи, о которых речь идет, на мой взгляд, действительно «не отвечают требованиям», не годятся для напечатания в журнале в силу их очевидных несовершенств: нарочитой замысловатости и вместе примитивности, беспомощности. Вдумайтесь хотя бы в такие Ваши строки:

Мы гордимся тобою, Цека.
Партии нашей мозг и рука.
Ты ведешь к коммунизму
Партия счастья Отчизны.

Все понятно и почти правильно, но не вижу, что же здесь от поэзии?

Может быть, по-вашему, поэзия содержится в следующих строчках:

Шепчет голос тот внутренне-жгучий:
Дай ответ, дай ответ, дай ответ.
Возомнил, знать, себя наилучшим —
Святых нет, святых нет, святых нет.

Но я, читатель, более или менее квалифицированный, недоумеваю: что про что, как это понимать.

Претенциозность, чаще всего сопутствующая недостаточной общей культуре, неотчетливости мысли, назойливо проступает в Ваших стихах, и это не может не производить неприятного впечатления, хотя, например, мне и понятно, что все это от молодости, по крайней мере — литературной.

Несколько отчетливее других сихотворение «Гимн слову». В нем есть неплохие строчки, но как только Вы сравниваете слово с **ватином,** желая сказать, что оно и крепче металла и в то же время может быть мягче мягкого, так я вижу, что **слово-**то Вы недостаточно хорошо **слышите,** иначе бы не употребили такое плохое сравнение, не слышите, что **ватин** в данном контексте не годится решительно.

Вот, примерно, все, что могу сказать Вам и что, впрочем, могли бы Вам сказать многие другие, кто ознакомился бы с Вашими стихами. Но самое главное — не нужно ждать, что скажут другие, нужно самому думать и учиться понимать,— этого ничем не заменить,— нет таких консультаций и таких редакций.

Желаю вам всего доброго.

31 мая 1960 г.

Ю. П. Д-ну

Дорогой Ю. П.!

Не в первый раз мне приходится говорить молодым (и немолодым) авторам, которые, подобно Вам, спрашивают: «Стоит ли мне писать?» и т. п.— говорить, что на

этот вопрос ответить может только сам тот, кто его ставит. Собственно говоря, в этом-то и весь «секрет» — взять на себя решение этого вопроса, этот немалый риск и ответственность. Это — мера личности, мера желания и стремления, готовности испить чашу любых испытаний и, может быть, не быть вознагражденным ничем, кроме самого труда. Словом, на этот вопрос я никогда не берусь отвечать, кроме тех случаев, где явная безграмотность и неосновательная претензия.

В стихах Ваших есть хорошие места, строчки, строфы, но есть еще много чужих, готовых слов стихотворного обихода, есть та средняя литературная грамотность, которая таит в себе опасность одеревенения, застоя. Время покажет, что будет с Вами, достигшим уже известной легкости стихотворного изъяснения, но еще не имеющим, на мой взгляд, того, что отличает уже настоящую поэзию,— необходимости этого изъяснения, бескорыстного (я Вас не подозреваю в «корыстности» в обычном смысле) страстного желания самовыражения.

Когда это придет — кто же, опять-таки, может сказать?

Желаю Вам всего доброго.

Рукопись возвращаю.

30 июня 1960 г.

М. В. С-ку

Дорогой тов. С-к!

Я прочел Ваши стихи, направленные мне Вами по домашнему адресу после того, как они были отклонены редакцией «Нового мира».

В сопроводительном письме Вы просите «оценки, указания мастера, пусть резких, но убедительных формулировок».

Но беда в том, что резкие оценки весьма редко бывают убедительны для того, к кому они относятся, и я боюсь, что мало чем помогу Вам, сказав по чистой правде, что стихи Ваши «Слушая Ван Клиберна» и др. плохие стихи, каких в каждой редакции штабеля.

Подробно же входить в анализ таких стихов я просто не имею физической возможности, ибо нет автора, присылающего стихи (и не только стихи) в редакцию, который бы не требовал или не просил при этом, чтобы они были прочитаны мною.

Отклонение этих стихов рецензентом, я считаю совершенно правильным (тут пересылка этих стихов ко мне на квартиру ничего изменить не может), а Ваш заносчивый и пренебрежительный тон по отношению к рецензенту совершенно недопустим.

В самом деле, Вы пишете: «Я спрашивал (!) мнения авторитетного... а получил ответ и оценку (точнее — отписку) от сотрудницы, имя и компетенция которой в области поэзии мне и моим товарищам неизвестны».

Но ведь и Ваше имя и компетенция в области поэзии были совершенно неизвестны рецензенту до того, как он ознакомился с Вашими стихами. Что же отсюда следует?

А между тем то обстоятельство, что т. И-ва, ознакомившись с первыми двумя стихотворениями («Клиберн» и «Перед поэмой»), на мой взгляд, написанными «от нечего писать», претенциозными и банальными, запросила еще для ознакомления и другие стихи, отнюдь не свидетельство «отписочного» отношения к Вам, наоборот — внимательного и благожелательного. И то, что она, ознакомившись с этими новыми стихами, нашла их слабыми и посоветовала Вам «подумать над более значительными темами» — опять же — вполне правильное заключение.

Подумайте-ка вместе со своими товарищами над такими, например, Вашими строчками;

«Выпал снег **пушистой пеленой...»**
«Провода, **звеня, заиндевели.—**
Лунный серп под берегом плывет...»

«И снова твой образ мне сердце связал
В тугой узелок...»
«**Я сдерживал влагу** несдержанных слез
И слушал **ритмический гул колес...»**

Достаточно. Разве не ясно и без особой «компетенции в области поэзии» (в которой, впрочем, мне Вы не отказываете, поскольку спрашиваете именно моего «авторитетного» мнения), разве не ясно, что Вы еще в том периоде стихописания, когда, что подвернулось, то и идет в строку: и чужие, готовые, ставшие уже пошлыми слова, и малограмотный оборот, и этакая «красивость», и что угодно.

Я считаю, что в одном рецензент допустила безусловно ошибку — когда посоветовала Вам предложить в местную газету стихи о Клиберне по случаю его приезда в СССР на гастроли. Я бы этого Вам не посоветовал.

Пишу Вам так распространенно, несмотря на крайнюю мою занятость, потому что, к сожалению, Вы не единственный случай такой огорчительной претензии (со стороны начинающего) на особое к себе внимание без достаточных к тому оснований. К сожалению, весьма характерным для авторов, подобных Вам (им же несть числа), является и высокомерно-пренебрежительное отношение к скромным и добросовестным рецензентам, которым, например, я многим обязан в своем развитии в пору юности.

Хотел бы, чтобы Вы пораздумали над этим моим письмом и показали его своим товарищам,— это, мне думается, было бы не без пользы.

Желаю Вам всего доброго.

14 июля 1960 г.

А. Г. К-се

Дорогой тов. К-се!

Я не беру на себя ответственности сказать, стоит ли писать, кому бы то ни было. Это должен решить единственно тот, кто ставит такой вопрос.

Стихи у Вас незаурядные, бойкие, но большой необходимости их появления еще не чувствуется, то есть они могут быть, могли бы и не быть. Но и это ни о чем еще не может свидетельствовать окончательно в отношении человека Вашего возраста.

То, что Вы сомневаетесь в правильности своего пути, в своих силах — это хорошо, без этого художника быть не может. Но и это не есть гарантия чего-нибудь определенного в смысле большего успеха.

Словом, пишите, если пишется, не отказывайте себе в этой радости, если это для Вас радость. Но не понуждайте себя соображением о том, что, назвавшись груздем, нужно лезть в кузов.

Как видите, ничего облегчающего я Вам не говорю, потому что, если бы это было возможно — наперед знать — «стоит ли?» — как бы все было легко и неинтересно.

Желаю Вам всего доброго.

21 июля 1960 г.

Д. В. Б-му

Уважаемый Д. В.!

Стихи Ваши производят в общем приятное впечатление. Чувствуется, что привлекают Вас хорошие образцы

поэзии, что Вы внимательно читали Пушкина, Тютчева, Фета, кое-кого из современников.

Но в отношении содержания, наполнения строк и строф мыслью, рождающейся из соприкосновения с живой жизнью,— остается, как говорят, желать большего. Покамест что — Ваши стихи и, скажем, Ваша работа арматурщика — разные, не соприкасающиеся миры. Отсюда отсутствие того, о чем Вам было бы обязательно нужно, необходимо написать. Ведь осень, хотя бы и Болдинская,— это не открытие, это дают книги, стихи. И нужно знать, что от одной любви к стихам поэзии не возникает, хотя она, конечно, опирается, как всякое искусство, на собственный предшествующий опыт. Но тот опыт, то есть прекрасные создания ее в прошлом — они возникали не из одних только книг, но из жизни. Умение угадать поэзию в повседневной «непоэтической» действительности, может быть, главный и труднейший секрет.

Присылайте — что будет у Вас нового.

Желаю удач.

23 июля 1960 г.

В. П-ву

Дорогой тов. П-ов!

С интересом прочел Ваши стихи,— в них, безусловно, наличествуют данные, говорящие о Вашем не случайном влечении к поэзии.

«Свадьбу» и «Поминки» можно бы и напечатать, но жаль, что они в одной ритмической (не без Блока!) интонации. Можно бы и «Высоту» напечатать, но нужно поправить два-три места и снять никчемушную разбивку строчек.

Всего бы лучше, если найдется добавить еще что-нибудь и вместе с исправленными этими стихами прислать заново.

Ваш озорной прием с присылкой старых стихов главного редактора «Нового мира» в редакцию и отклонение их литконсультантом не должны всерьез убеждать Вас в том, что якобы все дело в том, кем стихи подписаны и т. п.

Желаю успехов. Присылайте стихи, озоровать больше не следует.

5 августа 1960 г.

М. А. Н-ву

М. А. Н-в

Использование такой исключительной, индивидуальной, с исчерпывающей полнотой прозвучавшей в классическом произведении, неповторимой формы, как онегинская строфа,— дело безнадежное. Это хорошо понимал уже М. Ю. Лермонтов, не случайно взявший в свое время эту строфу лишь для «Казначейши» — произведения особого ряда.

В дальнейшем все попытки использования этой формы «всерьез» естественно не имели успеха.

В наши дни эта форма своей обманчивой легкостью привлекает лишь очень наивных людей. Жаль, что и Вы поддались этому соблазну. Как бы Вы ни исхитрялись, все равно, поэма Ваша звучит пародийно и тем самым «серьезное» ее содержание погашается.

Советую Вам воздержаться от опубликования ее в печати, если даже будет такая возможность.

Не огорчайтесь, бывает.

19 августа 1960 г.

И. М. К-ву

Дорогой И. М.!

Я давно прочел Вашу «Деревню Карды», но что-то помешало мне ответить Вам в свое время. Теперь я вновь просмотрел это стихотворение и вот что могу сказать о нем.

Оно по настроению и интонации примыкает к обширно представленной в нашей поэзии «лирике родных мест» — «Анна Снегина» и др. вещи Есенина, отчасти Исаковский, отчасти «Поездка в Загорье». У Вас есть строчки симпатичные, свидетельствующие о некоторых данных поэтического оформления своих впечатлений, но в целом — слишком очевидна зависимость от названных образцов, хотя время, приметы его у Вас другие — самые сегодняшние.

Что же касается, так сказать, идейной стороны, то Ваши лирические сетования по поводу того, что в родных местах мы бываем чаще в качестве «гостей», чем «хозяев»,— это все опять же дань традиционному в поэзии мотиву, который никак уже не согласовать с объективной, исторически прогрессивной картиной. «Назад, в деревню

Карды, к земле-матушке» — этот лозунг в расширительном толковании не может звучать с жизненной убедительностью для представителей всего, скажем, Вашего поколения, которому достаточно дел и задач и за пределами «деревни Карды». И Ваша собственная судьба — не живое ли подтверждение этого? А если бы она, Ваша личная судьба, и противоречила этому, то опять же это не закон.

Все это в целом сообщает Вашему стихотворению, при очевидной его искренности, характер некоторой наивности, сентиментальности и упрощения.

Желаю всего доброго.

4 октября 1960 г.

Г. И. К-ну

Дорогой товарищ К-н!

Ваше обширное, взволнованное и «сугубо личное», как Вы пометили на конверте, письмо обязывает меня ответить Вам, хотя приложенные к письму стихи не дают мне оснований уже сейчас предполагать в Вас серьезные данные поэтического свойства. Стихи, каких великое множество пишется в Вашем возрасте и на какие отзываться подробно я не имею сил, и, по правде говоря, не считаю необходимым. Стихи подражательные, перепевающие то, что уже тысячи раз было сказано другими молодыми авторами. Ваши претензии к литконсультантам также дело обычное со стороны молодых авторов, наивно предполагающих, что консультант (или кто бы то ни было) может и должен обучить тому, чему можно научиться лишь самому, и то при наличии дара в результате длительного труда, ученья, жизненного опыта. А, судя по письму, у Вас этого еще так ничтожно мало, что, только желая Вам зла, я стал бы помогать «просочиться в печать» (Ваше выражение) Вашим стихам. И более всего мне кажется ошибочным Ваше откровенно презрительное отношение к учебе в техникуме связи. Поверьте мне, что даже в интересах Ваших литературных мечтаний самое разумное, что Вы можете и должны сделать, так это хорошенько учиться в своем техникуме. Ибо здесь — Вы можете непоправимо упустить время, а в отношении стихов, если Вам дано в них проявиться, у Вас еще все впереди.

Вот вкратце то, что могу сказать Вам, оставляя без анализа то, в чем без труда разберется любой литера-

турно грамотный человек, который ознакомится с Вашими стихами.

Вы просили меня быть «строгим и беспощадным», я старался быть, сколько возможно, мягким, но, как видите, письмо получилось достаточно жесткое. Ничего не поделаешь.

Желаю успехов.

18 октября 1960 г.

С. П. Ш-ру

Дорогой тов. Ш-р!

К сожалению, Ваши стихи «Павловский парк», на мой взгляд, не более как зарифмованная страничка из путеводителя, перечисляющая достопримечательности этого парка и настолько перенасыщенная названиями его различных уголков, именами античных богов, знаменитых зодчих и т. п., что понуждает Вас приложить к стихам целую страницу подстрочных примечаний.

Что касается качеств самого стиха, то он слишком архаичен, отзывается чем-то очень далеким от наших дней, от культуры современного стиха. Не хочу быть придирчивым, но и в технических деталях стиха такие допущения, как рифмовка слов «пора» и «бытия», хотя это уже отнюдь не архаика, но просто плохо.

Простите мне прямоту этой оценки, но я не считаю возможным лукавить в том, что касается серьезного дела, в данном случае поэзии.

Желаю Вам всего доброго.

10 ноября 1960 г.

С. И. А-ву

Дорогой С. И.!

Я не смог отобрать что-нибудь из присланных Вами стихотворений для «Нового мира». Все стихи, при их известной литературной грамотности, не поднимаются над так называемым средним уровнем.

Главной Вашей бедой, на мой взгляд, является очевидная недостаточность общей культуры, усвоения высоких образцов поэзии. Вы еще не пропустили, так сказать, через свою душу по-настоящему, для себя, как великую радость постижения прекрасного, поэзии ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Некрасова, ни Тютчева и Баратын-

ского, ни многих других. Это — что касается только поэзии стихотворной. И не проделав этой работы над собой, или, лучше сказать, с самим собой, выявиться в чем-нибудь подлинно значительном в поэзии невозможно.

Желаю Вам в этом деле всяческих успехов.

11 ноября 1960 г.

В. С. Ж-ву

Дорогой В. С.!

«Ветераны» — стихотворение симпатичное, но уж очень невеселое, до жалостливости, а это уж ни к чему. И, кроме того, ударная Ваша строчка-цитата «Потихоньку, шажком...», мне кажется, несостоятельна в данном ритмическом контексте, так как приходится произносить «поти́хоньку». И еще: «Не поседев, друзья мои уходят» — плохо, так как, во-первых, поседение среди ветеранов дело вовсе не редкое. И, во-вторых, читается, конечно, «Не посидев», что сообщает строке совсем не тот смысл.

Желаю всего доброго.

6 декабря 1960 г.

А. М. Абрамову

Уважаемый Анатолий Михайлович!

Простите, что отвечаю с такой задержкой во времени,— тому причиной было мое длительное отсутствие (был в санатории), затем переезд на новую квартиру, перепахавший все мое бумажное хозяйство, а также каждодневная суета быстротекущей жизни.

Я вполне разделяю Ваш взгляд на читательские суждения о литературе как на существенную часть того, что в целом мы называем «критикой». Правда, и здесь не все чисто и не все ясно; бывают письма, поразительные по глубине и верности оценки литературных явлений, бывают казеннообразные, стандартные «отклики», к каким приучают людей газеты, «организуя» от времени до времени подобный материал, бывают просто глупые и т. д., но в целом этот поток нельзя не принимать во внимание.

Писем я получаю со времени появления в печати «Теркина» очень много. Более того, «Теркин» вызвал еще и большую массу стихотворных посланий, подражаний,

«продолжений» и т. п. Одно время я стал было подбирать этот «фольклор», но потом как-то запустил. «Дали» вызвали подобный же поток писем и стихов. Корреспонденция эта очень разная, хотя главная, решительно преобладающая количественно масса ее — похвалы и приветствия. Но есть всякое, вплоть до анонимок оскорбительного и хулиганского характера. Главный приток писем по «Далям» относится ко времени моего опубликования заключительных глав, поэтому они у меня в приличной сохранности и доступности.

Конечно, я не против того, чтобы открыть Вам доступ к этим письмам, и даже думаю, что они будут для Вас небезынтересны. Но есть один деликатный момент — это возможность использования Вами их в печати. Я не могу (...) публиковать их по своему или чьему-нибудь выбору. Это, мне кажется, более удобно делать п о с л е, если кому понадобится. Но об этом мы поговорим на словах. И, наконец, самое главное: не приезжайте ради этого специально, это может меня поставить в неловкое положение, а Вас ввести в протори времени и капитала. Будет оказия приехать — звоните, заходите, но не специально.

Дайте что-нибудь и для «Нового мира».

17 апреля 1961 г.

М. П. Т-ву

Дорогой М. П.!

Должен сказать Вам прямо: Ваша «Большая Москва» — вещь совершенно неудачная. Не говоря уже о фальшивом, сентиментально-безжизненном сюжете, достаточно обратиться к стиху, каким написана поэма, чтобы увидеть, что оценка моя неопровержима. Вам все время отказывает слух, и Вы допускаете такие немыслимые звукосочетания, что, как говорится, нарочно не придумаешь: «Бил ливень», «Зыбь зданий», «Стул толкнул», «Пил сын», «Постскриптум», «Муж сжал», «Ел с дымом», «Чушь прешь» и т. д. и т. п. без числа.

Отдельные, нет, не отдельные, а многие и многие строчки строфы звучат просто пародийно.

Стал листок пятернищею бурою,
Буквы в душу впивались, звеня...
Всплыл в памяти случай типичный...
В слепящей капроновой блузке,

Как лебедь стояла жена...
Тихонько подкрался и стиснул
Капроновый этот туман...
Ярко-красные ногти искрились
И искрилось в бокале вино...
Обойдя шум парчового ветра...
Подошел, сел рядком с женихом...
Мои дочурки-то росли как!
Мы к нежной жизни их вели
На той клубничке да на сливках,
С того и розы расцвели...
Шел взять Иван Калерии такси...
Девчат майор приемам обучал...
Жарко протер мышц студеную дрожь.
Не-ет! — поднялась, гневно дрогнула бедрами,
А тебя, дочку папы, к станку бы! —
Из башки быстро вышибло б дурь...
Муж молчал, мачтой встав перед нею...
Да вот горе — туже все с финансами —
Меньше стал Ванюха **зашибать...**

Впрочем, не только выписать все многообразные примеры такого рода, но и подчеркнуть в тексте все я не мог, да и нет в этом необходимости: если из приведенных образчиков косноязычия, безграмотности, пошлости и просто стихотворной беспомощности, взятых мною из текста поэмы, Вам не ясно, что дело со стихом у Вас обстоит весьма плохо, то уж тут ничем не поможешь. Прочесть 86 страниц таких стихов можно только по обязанности редактора,— читатель этого делать, конечно, не стал бы.

Не ясно ли, что браться Вам за вещи такого объема, хотя бы и в соавторстве с другим поэтом (что касается меня, то в соавторство в поэзии я не верю, за исключением, может быть, таких случаев, как юмористика), не под силу.

Как бы я ни старался выбрать слова, которые были бы менее обидны для Вас, суть остается та же.

20 мая 1961 г.

Е. М. Ч-ву

Дорогой Е. М.!

Ознакомившись с Вашими стихами, я не нахожу оснований настоятельно рекомендовать Вас в Литературный институт. Помимо того, что стихи, скажу прямо, посредственные, речь ведь идет не о зеленом юноше из десятилетки, а о взрослом человеке, капитане Советской Армии.

Мне кажется, что Литинститут это не та дорога, на которую Вам следует вступать. Нет таких институтов, которые выпускали бы поэтов, подобно тому, как выпускают инженеров, агрономов и т. п. Думаю, что поступление в какое-нибудь другое учебное заведение было бы для Вас делом более стоящим. Получение серьезного образования и специальности не помешало бы Вашим литературным интересам, а скорее способствовало бы им.

Впрочем, конечно, Вы должны решать по своему разумению.

Желаю всего доброго.

22 мая 1961 г.

А. М. Р-ну

Дорогой А. М.!

Прочел Ваше хорошее, задумчивое и отчасти грустное письмо. Пожалуй, оно и не могло не быть несколько грустным,— память фронтовых лет отпечатлелась в Вашей душе, как, впрочем, и у всех, кто обладает этим странным и довольно обременительным аппаратом — душой,— отпечатлелась особым, непреходящим образом. Сколько я знал людей из нашей литературной или журналистской братии, для которых война была страшна тем, что там можно вдруг быть убитым или тяжело раненным. А потом — как с гуся вода. Для них война прошла тотчас по ее окончании. Они ее «отражали», когда это требовалось по службе, а потом стали «отражать» послевоенную жизнь, как ее полагалось отражать по уставу мирных лет. Но — бог с ними, представителями этого животного племени,— это я отвлекся, тронутый Вашим письмом.

Мне очень дорого, что Вы — мой, так сказать, однокашник по фронту, прошедший тем же путем, только с неизмеримо большей «выкладкой» (это я говорю совершенно искренне, ибо терпеть не могу, когда литераторы и журналисты, прошедшие войну в этом качестве, говорят «я воевал» и т. п.), мне очень приятно, что при чтении книги «Родина и чужбина» у Вас не явилось противительного чувства: не то, не так, не о том. Конечно, «Родина и чужбина» — это не более как «Страницы записной книжки» вперемежку с некоторыми статейками и очеркишками, которые я печатал в своей фронтовой газете. Спрос с нее не может быть особо строгим, но все же спрос

искренности и правдивости — один для всего, что выходит из печати. Я рад, что Вы, человек, имевший наибольшее право предъявить моей книге такой спрос, нашли, по-видимому, что книга выдерживает такую проверку.

Что касается грюнвальдского эпизода, то я совершенно согласен с Вами, что он у меня описан весьма приблизительно. В Грюнвальде я был спустя два-три дня после трагедии, никого из переживших ее я не видел, а мне нужно было «отозваться» на это событие по условиям фронтовой газеты, хотя бы в самой общей, «пропагандистской» форме. В таком виде, как она была в газете, эта статейка и помещена в книге, чтобы не миновать этого эпизода по соображениям несовершенства формы изложения.

Может быть, Вы захотели бы мне помочь восполнить недостаток достоверности и фактичности этих страниц книги, развив несколько то место Вашего письма, где Вы говорите, что «трагедия в Грюнвальде происходила несколько не так, как это описано у Вас». Я бы мог просто подключить к своему тексту при новом издании это Ваше свидетельство, за Вашим именем, примерно так, как это сделано мною во втором издании в отношении комбата Красникова и «албанского мальчика». Был бы Вам очень признателен, но не понуждайте себя, если не захочется.

«За далью — даль» Вы, конечно, получите, как только выйдет (скоро) новое хорошее, иллюстрированное (Верейский!) и наново выверенное и отчасти исправленное издание в «Советском писателе». Покамест же посылаю Вам «Родину и чужбину», хоть она у Вас и есть. Откликнитесь письменно или по телефону. Был бы рад с Вами встретиться.

Ваш А. Твардовский

P. S. Экземпляр Вашей газеты возвращаю — для Вас это, конечно, бесценный листок, и пусть он хранится у Вас, тем более, что он, наверно, из комплекта.

29 мая 1961 г. **Т. М-ко**

Дорогой тов. М-ко!

Поэма Ваша (помнится, что было сравнительно небольшое стихотворение, которое мне показалось неудачным) мне решительно не понравилась. Может быть, от-

части вина перевода, но стих поэмы очень плох, неряшлив, много неточных, порой безграмотно употребленных слов,— я попытался было подчеркивать, но оставил это дело, так как нужно было бы исчеркать всю рукопись.

Не думаю, что «подверстание» строк известных песен разных ритмов к стихам одного и того же четырехстопного ямба — находка.

Что же касается содержания, тона, то все это как-то нарочито жалостливо и, главное, не чувствуется необходимости появления на свете этой вещи.

Рукопись возвращаю.

2 июня 1961 г.

А. П. Ч-ву

Дорогой тов. Ч-ов!

Вы напрасно обращаете ко мне упрек насчет романов, «в которых все гладко»,— я их не писал.

Относительно трудностей с устройством на работу после несчастья, пережитого Вами, могу лишь сказать, что они в московских условиях вполне понятны: людей Вашей специальности, по-видимому, достаточно,— иначе никто бы не считал основанием для отказа Вам в приеме на работу судимость в прошлом, да еще снятую.

Выводы Вы должны сделать сами.

Во всяком случае, Вы переоцениваете мои возможности, предполагая, что я в силах предписать, что ли, «чтобы было так, как написано в романах», а не так, «как есть в действительности».

Кстати сказать, в романах молодые люди чаще всего уезжают на периферию — на целину, в Сибирь, на Дальний Восток и там обретают простор для применения своих сил и способностей.

Почему бы, например, Вам, молодому, не обремененному семьей человеку, не поехать на периферию, где Ваша специальность, конечно, нужней, чем в столице.

Желаю Вам всяческих успехов.

4 июля 1961 г.

Б. А-ну

Дорогой тов. А-н!

Мне очень неприятно говорить Вам то, что я вынужден сказать по поводу рукописи Вашего «романа в стихах», но поскольку Вы в сопроводительном письме просите именно меня высказаться о нем и связываете с этим

высказыванием «все свои надежды», я не счел себя вправе просто передавать эту рукопись кому-нибудь из работников редакции. Между прочим, и потому, что Вы наверняка не поверите другим товарищам, станете жаловаться на них, как это обычно делается, сетовать на «бюрократизм», «зажим талантов» и т. п. Впрочем, может быть, Вы и мне не поверите, но так или иначе я обязан сказать Вам все по-прямому.

Первая книга романа в стихах «Вспаханная залежь», представленная 441 строфой «онегинской», т. е. 14-строчной,— это, как Вы сообщаете, одна шестая задуманной Вами «Эпопеи».

Уже один объем вещи — устрашающий. Известно, что в литературе чаще всего такие широчайшие «полотна» являются следствием неумения справиться с малой задачей, неумения написать небольшое стихотворение, или рассказ, очерк, простую корреспонденцию. Именно тому, кто не умеет возвести простого деревенского сруба избы, представляется легким и возможным построить многоэтажный дворец со всеми сложнейшими архитектурными задачами.

Ваш случай для меня совсем не новость: десятки и сотни таких «Эпопей», написанных в детской самонадеянности создать нечто равное «Евгению Онегину» или «Войне и миру», пришлось мне на моем литературном веку рассматривать и возвращать (или не возвращать) их авторам.

В своем письме Вы настоятельно и подробно опровергаете возможные сравнения Вашей строфы с онегинской, и напрасно делаете это. Никому в голову не придет сравнивать «Вашу» беспомощно-подражательную строфу с пушкинской. Да, «Ваша» строфа в точности воспроизводит «конструкцию» строфы онегинской (в смысле чередования строк с женскими — мужскими окончаниями):

А	В
В	В
А	А
В	В
А	В
А	А

Но это доступно любому школьнику, «проходившему» «Онегина» по программе. А по существу стиха — Вы эту

«конструкцию» заполняете беспомощными строчками, лишенными отчетливой смысловой связи, которые выглядят как пародии, что, конечно, не входило в Вашу задачу.

Любви восторженные думы
Не перестали волновать
Ум зрелый, но давно угрюмый
И не способный забавлять
Надеждой легкой и стыдливой
Мечтанье девушки красивой
О том, что нет теперь в крови
Животворящего любви
Невыносимого страданья,
Причуд веселых и простых,
Довольно нежных и живых;
Что нет теперь уж упованья
Приметам (?) девственной души
В сей упоительной глуши.

Не вижу необходимости построчно разбирать и «анализировать» эту «Вашу» начальную строфу,— поверьте мне на слово, что это безнадежно плохо, смешно до жалости. А не хотите — не верьте. Я потратил некоторое время на ознакомление с Вашей рукописью, чтобы Вы не потратили годы на эту пустую затею, желая Вам добра.

Но вольному — воля.

Рукопись возвращаю.

20 июля 1961 г.

Г. М-та

Г. М-та

Вам не удавалось встретиться со мной (я последнее время почти не бывал в редакции), но это не беда, хотя, конечно, я рад бы видеть Вас и беседовать с Вами. Не беда — в смысле Вашей задачи встретиться со мной, чтобы получить мое одобрение Вашему труду, посвященному моей работе в литературе. Я давно уже сознательно и непреклонно принял за правило, что я менее всего судья в этом вопросе, и отказываюсь выносить свои мнения или оценки в такого рода случаях. Я даже привычно употребляю в таких случаях несколько форсистую по форме, но совершенно правильную по сути дела фразу: вообразите, что я уже давно умер,— как бы Вы тогда поступили с работой обо мне? Но дело даже не в этом, а в том, что суждения автора о своих писаниях — вещь

условная и малонадежная. Единственно верным источником и предметом для выводов о творчестве любого писателя является лучшее из написанного им и приобретшее уже, так сказать, объективное существование. Здесь автор более всего является самим собой в самом существенном смысле, а то, что он может добавить к этому «на словах», недорого стоит,— верьте мне — это так! К этому еще можно добавить, что участие автора в судьбе того, что о нем пишут, дело, на мой взгляд, вообще не очень удобное в смысле этическом.

10 августа 1961 г.

Н. А. Ч-ко

Дорогой тов. Ч-ко!

Мне переслали Ваше письмо сюда, в санаторий, и я, ознакомившись с ним, отвечаю Вам, хотя и вижу, что мои советы на Вас не оказывают никакого воздействия.

По Вашим письмам мне кажется, что Вы — человек нервнобольной, усталый и издергивающий себя «понуждением к писанию», как Вы сами сообщаете.

Я — не врач, не мое дело говорить Вам о том, какой непоправимый вред здоровью, вплоть до психического расстройства, может причинить Вам это «самопонуждение» к литературной работе. Но я — литератор, имеющий порядочный опыт в этом деле, могу Вам с точностью сказать, что из «самопонуждения» ничего доброго получиться не может. Вы никогда не научитесь ничему в литературном деле, если будете так налегать на количество. Ведь такое писание — без разбора, без оглядки на то, как оно получается,— имеет и медицинское название — графомания. И как со всякой болезнью, с ней нужно бороться. Подобно тому, как пьяница, чтобы выздороветь, должен перестать пить водку, так и графоман должен прекратить свою «работу», потому что добрых результатов она не даст, если только не прервать этот полубессознательный процесс на более или менее длительный период, с тем, чтобы, отдохнув, оправившись, по-трезвому взглянув на плоды своих прежних усилий, начать работать на других основах.

Мой Вам совет: прекратите Ваши литературные занятия полностью на год. Приналягте на чтение, но и здесь нужно знать меру. Что читать? Что хотите, но лучше всего (для овладения культурой письменной речи)

русскую классическую литературу. Если у Вас есть возможность поступить в вечернюю школу взрослых, обязательно поступите — Вам, человеку, по-видимому, со способностями усвоения, это будет весьма полезно даже в смысле Ваших замыслов на будущее.

Итак, время, которое Вы сейчас тратите на писание беспомощных в литературном смысле «сочинений»,— лучше тратьте на ученье, на чтение, т. е. на то, что более всего нужно для Вас в настоящее время.

Обратитесь к врачу, может быть, он скажет, что важнее всего Вам сейчас просто отдохнуть — тогда я со своими советами отступлю в сторону.

Желаю Вам всего доброго, более всего — здоровья.

14 августа 1961 г.

Е. С. М-су

Уважаемый Е. С.!

Вряд ли Вы могли найти человека, менее меня сочувствующего идеям и практике «эпопеизации» былин. Я давний и убежденный противник таких затей, и, следовательно, обращаясь ко мне со своей просьбой об оказании Вам помощи в продвижении Вашей «Страницы про Владимира Красно солнышко...», Вы можете получить только подтверждение тех мнений, которые Вам уже приходилось слышать.

Не Вы первый беретесь за эту работу по «пересозданию» былин. Соблазнительная легкость этой задачи равна ее безнадежности. Это все равно, что пытаться превратить, например, разорванную в геологические времена цепь горных отрогов в цельный единый горный хребет или гряду островов, вроде Курильских, в материк. Да и — зачем? — вот что главное. Нужды в этом никакой нет. Былины обладают определенной (и очень высокой) художественной ценностью как подлинные произведения устной поэзии, как памятники этого искусства. Искусственное объединение их, а значит, и присочинение каких-то «связок» и изъятие каких-то «не монтирующихся» частей — все это не более как фальсификация хотя бы и с самыми добрыми намерениями и любовью к этой поэзии.

У меня лично такого рода «опыты» не вызывают никакого интереса, чтобы не сказать больше того.

Конечно, никто не вправе запретить Вам заниматься этими опытами «эпопеизации», но сколько-нибудь серьезного литературного значения они иметь не могут.

Вот все, к сожалению, что могу сказать по поводу Ваших затруднений с продвижением в печать Вашей работы.

С уважением.

14 августа 1961 г.

М. П. К-ну

Дорогой М. П.!

Хотя в «Новом мире» весьма трудно появиться тому, что бывает отмечено признаком «под Твардовского», мы на редколлегии решили сделать для Вас исключение. Влияние «Далей» на Вашу стихотворную речь очевидно, но у Вас много того, что подсмотрено своим глазом, что заимствовано больше от той действительности, которая питала «Дали», чем от самой книги. Хочется думать, что внешняя зависимость, похожесть Вами будет преодолена, а зоркость и слух в жизни разовьются.

Но над этим своим наброском Вы должны поработать. Я примерно почеркал Ваш текст, на худой конец можно было так и пустить, но лучше Вы сами перебелите все это, пропустите через себя еще раз, может быть, придут и новые удачные строки и подвергнутся замене неудачные строки и слова.

В двух-трех местах я обращаю Ваше внимание на как бы технические погрешности: нельзя новую строфу, четверостишие или двустишие делать того же «пола», что последняя строка предыдущей строфы, четверостишия, двустишия. Почему? Постарайтесь догадаться сами, а не догадаетесь, поверьте тому, что подсказывают великие образцы: «Онегин» (весь Пушкин!), «Горе от ума»,— там эта дисциплина музыки строжайше соблюдена. В наши времена — в стихах на этот счет полный разврат, но этому следовать не нужно. Между прочим, в «Далях» Вы не найдете ни одного случая нарушения этого закона.

«Клим» Вам не нужен, не нужно вовсе в Вашей картине путейского рабочего дня собственное имя — без этого легко обойтись. Не знаю, может быть, обойтись и без «бритвы»,— подумайте,— не длинновато ли и не «литературновато» ли?

Пожалуй, озаглавить бы лучше «У нас в Сибири» или в этом роде, а «Рабочий день» — скучно, невыразительно. Вот, примерно, и все. Поработайте и присылайте.

Желаю успеха.

9 ноября 1961 г.

Болотное — это станция? Поселок? Укажите.

А. Ф. К-ну

Уважаемый А. Ф.!

Буду с Вами совершенно откровенен: вопросы современной фольклористики в том смысле, как они понимаются Вами, не могут заинтересовать редакцию «Нового мира». Что же касается меня лично, то я давний и убежденный противник так называемого «современного фольклора», всяческих «коренных поворотов» в нем и, в частности, идей «обучения и воспитания мастеров современного народного творчества» — «частушечников», «сказителей» и т. п. В эпоху всеобщей грамотности, широчайшего распространения печати, радио, телевидения, в эпоху развитой «письменной» литературы, все эти обращения к формам «былин», «сказов» и прочее мне представляются искусственными, навязанными живой жизни и поэтому неправомерными.

Не имею возможности быть подробным в деталях и частностях этой проблематики, но главное и основное здесь в неверном и вредном противопоставлении «народного» творчества частушечников и других «ненародному» творчеству поэтов и писателей, слово которых пользуется широчайшей популярностью в народе.

Достаточно знать, что мастерству современной устной (будто бы устной) поэзии обучает поэт Иван Доронин, на работу которого ссылаетесь Вы, чтобы увидеть, что дело тут не чистое, ибо чему доброму может научить человек, некогда числившийся в поэтах, давным-давно ничего сам не пишущий и обучающий ныне «народному творчеству».

Прошу простить мне резкость, но я не хочу с Вами лукавить: предложенные Вами материалы «Новому миру» решительно не подходят. Рукописи возвращаю.

Вам же лично желаю доброго здоровья и всего самого лучшего.

21 декабря 1961 г.

И. М. Б-ву

Дорогой тов. Б-в!

Что я Вам писал «года два тому назад» и что за стихи Вы мне прислали,— конечно, не помню,— почта моя немалая.

В ныне присланных стихах есть элементы поэтического выражения, искренность чувства, например, в стихотворении о северном лете («Наш июль пока еще не прожит»). Жаль только, что философические сентенции, вроде «в этом мире все не вечно» и т. п., не могут произвести впечатления новизны и глубины. Еще Пушкин говорил, что на воспоминаниях об ушедшей юности далеко не уедешь.

Там же, где Вы пытаетесь выйти за черту этой ограниченной философичности, у Вас получается что-то или совсем банальное: «Пиши о том, что сны тревожит...» или крайне претенциозное:

Мои стихи с землею слиты,
В них есть расплавленный металл...

Это просто плохо.

Письмо Ваше показалось мне нескромным, неприятным по тону и смыслу: «Помогите мне отдать людям то, что я за 30 лет сделал для них», «Я убежден, что мои стихи нужны людям...» и т. п.

Не следует так говорить о себе и своих литературных опытах, весьма еще несовершенных.

Вы рекомендуете мне читать Ваши стихи только тогда, когда у меня будет хорошее настроение. Но ведь и самое хорошее настроение может быть испорчено плохими стихами, не правда ли? Наоборот, нужно, чтобы стихи были способны вернуть читателю хорошее настроение, если он его почему-то потерял.

И, наконец, странно, что Вы присылаете мне стихи не те, «которые нужны людям» и написаны на «более значительные темы», а только эти, которые Вы сами считаете не лучшими из написанных Вами.

25 декабря 1961 г.

С. С. Б-кой

Дорогая тов. Б-кая!

Прочел Вашу заметку насчет родовых женских окончаний в словах, обозначающих профессию, общественное положение и т. п. в современном обществе.

Вы справедливо указываете на одну из тех «неувязок» в современном литературном языке, которые порой способны даже раздражать сколько-нибудь взыскательный к родной речи вкус.

Действительно, «врач вошла», «судья сказала» и т. п. это ужасно, и нередко вертишься-изворачиваешься, чтобы найти выход в таких случаях. Но вы напрасно связываете это с вопросом, так называемым, о неполноте «женской эмансипации» у нас, будто бы находящей здесь выражение. Женщина врач оскорбится, если ее назвать врачихой (хотя за глаза называют и без всякого оттенка пренебрежительности). Назовите старшего повара Макарову поварихой — она обидится. Наконец, Вы, автор (не авторша же!) заметки, указываете в своем письме, что Вы «научный работник» (не работница!) и «старший научный сотрудник» (а не старшая научная сотрудница). И далее, Вы из принятой у нас ложной скромности не указали своего имени-отчества (хотя ко мне обращаетесь по имени-отчеству), и я вынужден обращаться к Вам, как и к мужчине: «Дорогой товарищ», ибо такое незыблемое слово нового общества, как товарищ, не поддается «размораживанию» его мужского окончания (полублатное «товарка» не в счет). Вот Вам и «ретроградская практика торможения развития женских родовых окончаний»!

По-видимому, дело в том, что закрепление мужской формы окончаний в рассматриваемых случаях связано с подчеркиванием значительности, степени уважения и т. п. На это нельзя смотреть ни с «женской», ни с «мужской» точки зрения. (Никакого ущемления равноправия здесь нет и в помине.)

Простите, что отзываюсь на Вашу просьбу так кратко.

Желаю Вам всего доброго.

31 мая 1962 г.

Кр-вой

Дорогой товарищ Кр-ва!

Мне очень приятно, что темой своей дипломной работы Вы взяли мою поэзию в чешских переводах. Однако я, к сожалению, мало чем могу быть Вам полезен в этом деле, так как чешского языка, как, впрочем, и других иностранных языков, не знаю и потому лишен возможности судить о достоинствах и недостатках чешских переводов моих стихов и поэм.

Отвечаю на Ваши вопросы.

Мой взгляд на художественный перевод вообще кратко изложен в моей статье «Роберт Бернс в переводах С. Маршака» (см. 4-й том моего Собрания сочинений или 3-й том Собрания сочинений С. Маршака). Добавить к тому, что там сказано, можно было бы бесконечно много, но все же самая суть там изложена.

Собственно говоря, там же содержится и мой ответ на второй Ваш вопрос — точно или свободно нужно переводить.

Можно даже сказать так, что точным может быть только свободный перевод, а перевод буквальный никогда не может быть точным в существенном.

Думается, что переводить меня вообще очень трудно, так как язык моих стихов весьма часто отклоняется от «нормативного» литературного языка, несет в себе много труднопереводимых оборотов, в том числе идиоматических. Стих мой сложен, несмотря на видимую «простоту», насыщен интонациями разговорной живой речи — все это весьма трудно для перевода.

Быть переведенным (и не испорченным!) с русского на другой язык — большое и редкое счастье, какого неизвестно сколько ждать. Что говорить о нас, смертных, когда и Пушкин еще, как мне известно, ни на французском, ни на английском, или немецком не имеет своего Маршака (я имею в виду конгениальные переводы С. Маршака из Бернса).

Особенно трудно переводить меня, как мне кажется, именно на славянские языки — здесь близость этих языков бывает очень обманчивой и ставит перед переводчиком дополнительные трудности. Это я знаю по опыту моих переводов Т. Г. Шевченко на русский («Гайдамаки» и др.).

Вот, пожалуй, и все, что могу сказать Вам по вопросам, поставленным в Вашем письме.

Добавлю еще, что, по моему мнению, как, впрочем, и по мнению наших лучших мастеров художественного перевода, в первую голову — Маршака, знание языка оригинала, конечно, необходимо для переводчика, но еще большее значение имеет знание им родного языка.

И, наконец, переводчик поэзии должен быть поэтом, хотя бы в собственных оригинальных стихах он и не был бы ярок, но обладал бы способностью поэтического проникновения в самое существо переводимого им оригинала.

Все это, конечно, не открытия. Желаю Вам успеха в Вашей работе.

19 июня 1962 г.

М. И. Х-вой

Уважаемая М. И.!

Я прочел Вашу повесть «Все настоящее — трудно». Должен Вас огорчить: для печати она не подходит. К сожалению, не всегда наше «личное, глубоко выстраданное» становится столь же значительным и для других, как для нас самих. Не скажу, чтобы рукопись Ваша страдала явными погрешностями против общепринятых законов письменной речи, — в этом смысле она, может быть, даже слишком «правильна» и «вполне литературна». Но это скорее личный человеческий документ, чем произведение художественное.

Я не думаю, что дело можно поправить выполнением «указаний редактора» и читательских «критических замечаний», которые Вы прилагаете.

Очень часто бывает, что нашу способность восхищаться художественным произведением мы принимаем за способность и создавать художественное произведение.

Рукопись возвращаю.

Желаю вам всего доброго.

9 января 1963 г.

В. Т. Ф-ву

В. Т.

Прочел Вашу прозу и стихи. Не обижайтесь, все это еще очень плохо. У вас много отваги, но мало литературной опытности и, просто скажу, грамотности.

К месту и не к месту Вы спешите употребить усвоен-

ные недавно из книг «научные» слова и обороты вроде: «внешние атрибуты»; «мистика — это непонятый реализм»; «они (религии) нереальны, потому что они реальны» (?); «монистическое меню»; «основной период моего пребывания дома падает на заготовку дров»; «она представлялась мне овечкой, на которую точат нож, а она не реагирует»; «руки из картонных мечей превращаются в налитые силой члены, гордые своей способностью работать» и т. д. и т. п.

Я не говорю уже о содержании Ваших рассказов — это сумбурное, лишенное какого-то внутреннего плана изложение случайных фактов, наблюдений. Едет, например, человек в деревню к матери, выпивает там несколько раз, рубит дрова, отсыпается и уезжает. Что к чему и зачем — не понять. В другом случае — «портрет» какой-то вздорной «тети Марии Петровны», которая «большую половину своей жизни» валяется в постели, голой ходит по комнате, смотрится в зеркало, «испытывает чувственное наслаждение от созерцания представленной бесформенности», а может быть, и «занимается чем-нибудь более низким». Все это решительно никуда не годится.

О стихах ничего не скажу — это тоже сумбурные в своей вычурности нагромождения кое-как зарифмованных строчек, разбирать их более подробно не вижу необходимости.

21 марта 1963 г.

М. В. К-вой

Уважаемая М. В.!

Простите, что отвечаю на Ваше хорошее, умное, душевное письмо с таким запозданием. Почта у меня очень большая и при наличии основных моих обязанностей по журналу и пр. (а еще иной раз я вспоминаю, что я — писатель, и пытаюсь что-то писать) мне никогда не удается выйти из задолженности перед своими корреспондентами. Скажу также, что письма, подобные Вашему, т. е. затрагивающие многие сложные вопросы литературы в связи с жизнью, — письма, ответ на которые приходится часто откладывать до «свободной минуты», — не редкость. Словом, винюсь, но, может быть, заслуживаю снисхождения.

Отвечать Вам «казенно, общими фразами» не хочу и не буду, а ответить пространно, обстоятельно — это нужно

было бы написать бог весть сколько, куда более, во всяком случае, Вашего обширного письма.

Кроме того, согласитесь, что ставить хорошие, правильные вопросы несколько легче, чем давать на них ясные, исчерпывающие ответы. Слишком легко было бы жить на свете, если бы было иначе. Кроме того, наставительно-поучающий тон, почти неизбежный в таких случаях, противопоказан мне: сам так же, примерно, как и Вы, живу, работаю, читаю, размышляю, порой недоумеваю, ищу ответов на «проклятые вопросы», ошибаюсь, наверно, но в уныние не впадаю, как, впрочем, и Вы, судя по Вашему письму.

Не желая Вам польстить и тем самым уклониться от ответов по пунктам, скажу, что Вы не менее моего знаете и понимаете сами, что к чему в нашей жизни. Ни одной фальшивой ноты, расслабленного «смятения души» я не усматриваю в Вашем письме. Вы честный, думающий попартийному человек, не уклоняющийся от личной ответственности за все, что проходит сквозь ум и сердце. И давай Вам бог сил и здоровья.

Не могли бы Вы мне прислать копию того письма Н. К. Крупской к Вашей матери, о котором Вы упоминаете? Кстати, то, что в нем говорится, по Вашему изложению, имеет прямое отношение к теме нашего разговора, — в нем, этом разговоре, также есть опасность впасть в болтовню.

Благодарю Вас за Ваши добрые чувства к советской литературе и моей работе, в частности. Жму Вашу руку.

21 марта 1963 г.

В. И. М-ну

Дорогой тов. М-н!

Рассказ Ваш я прочел, но говорить о нем «за все редакции», отвергнувшие его, не буду. Скажу только за свою редакцию. Рассказ очень слабый, беспомощный — и оттого фальшивый.

Инспектор райжилуправления с казенным равнодушием объясняет слепому офицеру в отставке, бывшему летчику, что очередь его на получение квартиры такая-то, следовательно, ждать нужно два-три года. Это же самое, конечно, можно было сказать другими словами, но так или иначе, приходится говорить, находясь на такой работе. Но у Вас дело оборачивается таким образом, что этот

работник не кто иной, как тот самый полицай, предатель родины, который в годы войны допрашивал нашего офицера-летчика, сбитого над вражеской территорией. В этом летчик теперь убеждается по характерному скрипу сапог предателя и его манере говорить «так-так-так...».

Критиковать этот рассказ невозможно, даже пересказывать неловко.

О письме, о стиле и языке тоже лучше не говорить, — все штампы самого низшего разряда: хорошая женщина говорит, — «низким грудным голосом», предатель-полицай обладает непременно «красно-сизым носом» и т. п. и т. д.

Глагол «оклеветать» в первом лице единственного числа будущего времени у Вас получает форму «оклеветаю» вместо «оклевещу».

О чем еще говорить?

Ничего удивительного в том, что Вам возвращают рукопись различные редакции. Но Вы их уже обзываете бездушными бюрократами.

Это совсем в духе Вашего рассказа, не можешь дать комнату, так ты уже не советский человек, затаившийся предатель.

Нельзя так, тов. М-н!

25 марта 1963 г.

Н. Г. Р-вой

Уважаемая Н. Г.!

Вы настоятельно просите меня «просмотреть прилагаемые повести» и «хотя бы в двух словах» сообщить Вам свое мнение о них. Я не просмотрел, а прочел их, но быть подробным в их оценке не имею физической возможности и сообщаю Вам свое мнение, если не буквально «в двух словах», то все же в немногих и, к сожалению моему, огорчительных для Вас словах.

Написанное Вами — это еще не литература, а некоторое подобие ее, создавать которое вполне доступно почти каждому интеллигентному, начитанному в беллетристике человеку.

Вы ссылаетесь на успех у читателей Вашей повести «Шестая палата», напечатанной в заводской многотиражке. Но, если бы я не знал из Вашего письма, что речь в повести идет о Вашем единственном сыне, отнятом у Вас неизлечимой болезнью, и если бы Вы не просили меня

прочесть ее, я бы, откровенно скажу, не читал бы ее дальше первого абзаца.

«Уходящий июльский день сменил зной на прохладу. Радужные волны света уступали место густеющим теням. Изнуренные зноем цветы распрямлялись в ожидании живительной прохлады ночи...» и т. д. Это все настолько «готовые», тысячи и тысячи раз повторенные слова и предложения, чужие, пустые, не Ваши и ничьи уже, что они могут служить образчиком застарелого беллетристического штампа,— вот как нельзя, не нужно писать. А до тех пор, покамест Вы не начнете испытывать отвращение к такой «художественности» описаний, Ваши претензии к редакциям и издательствам, отклоняющим Ваши рукописи, будут несостоятельны.

Точно так же, прочитав первую страничку повести «В горах», где новоприбывший директор рудника обменивается с шофером («возницей», этим древнейшим беллетристическим штампом) пояснительными для читателя замечаниями, я уже знал все дальнейшее содержание повести и, прочитав ее до конца, вполне убедился в этом. Новый директор, конечно же, находит положение на руднике катастрофическим и за короткий срок выправляет дело настолько, что к концу повести появляется переходящее знамя министерства и премиальные суммы и предстоит выдвижение молодца-директора на новую должность. Конечно, так бывает и в жизни, но сложнее, труднее, интереснее и значительнее. А в повести все это не внушает доверия и совсем неинтересно. Чувствуя это, Вы, как и полагается в беллетристике известного уровня, переплетаете «производственную» тему с темой любовно-бытового и душевного «устройства» своих персонажей.

Мне очень не хочется быть жестоким, но обратите внимание хотя бы на подчеркнутые мной (я не все, конечно, подчеркнул) места, где даются описания природы или портреты героев, которые выглядят как пародии и не новые («Весеннее солнце щедро разбрасывало золотые блики... Склоны гор изумрудным ковром покрывала молодая трава»... «Перед ним стояла стройная, чуть полная женщина с тонкими, правильными чертами лица. Она выглядела не старше тридцати лет, но в темные волосы над высоким лбом время или переживания вплели первые серебряные нити»).

Простите меня, но эта «художественность» на уровне самой этой героини, секретарши директора, которая у Вас,

кстати, становится писательницей просто в силу разочарований в любви, отсутствия законченного среднего образования и неумения «найти свое место в жизни».

Может быть, эти мои замечания будут для Вас огорчительнее передачи Ваших повестей кому-нибудь из работников редакции, но Вы настаивали, чтобы я непременно сам ответил Вам.

1 апреля 1963 г.

М. В. К-вой

Уважаемая М. В.!

Второе Ваше письмо тоже хорошее и правильное письмо человека, по праву и по долгу берущего на себя ответственность за все и вся перед лицом людей, с которыми работает и живет, человека, которому и нелегко подчас, но он сам избрал эту нелегкость.

Может быть, только не нужно противопоставлять «письма» «живым людям», ибо и я, например, имею дело не с одними письмами, а, кроме того, письма пишутся живыми людьми, такими, как, скажем, Вы, и это обязывает не меньше.

Сообщите, пожалуйста, публиковалось ли, передавалось ли Вами куда-нибудь письмо Н. К. к Вашей матери. Если нет и если Вы не против, письмо это можно было бы опубликовать в печати с сопроводительным письмом от Вас.

Желаю всего доброго.

24 апреля 1963 г.

Л. Т. К-ву

Дорогой Л. Т.!

Получил Ваше обширное письмо в ответ на мое небольшое, в котором я говорил о Ваших стихах (в нем, между прочим, ничего особо «праздничного», как Вы пишете, для Вас не было). В этом своем письме Вы рассказываете о Ваших послевоенных злоключениях, тяжбах с директором областного издательства и Вашей активной (не от хорошей жизни, конечно) переписке с «инстанциями». Замечу сразу, что Вы не должны увлекаться такого рода перепиской. («Я снова написал **на него»)** — это дело не солдатское и не литераторское, и, не дай бог — втяне-

тесь, и будет казаться, что это самое главное в жизни, а самое главное-то и останется в стороне и будет все недоступнее для Вас.

От Вашего письма у меня осталось, скажу прямо, невеселое впечатление. Особая сложность Вашей судьбы: в 12 лет войсковой разведчик, затем демобилизованный по несовершеннолетию, а затем заключенный «по бытовой статье», как глухо указываете Вы, и досрочно освобожденный, по-видимому, амнистированный. Словом, учиться по-школьному Вам было некогда, да, может быть, и неинтересно, поскольку «школа жизни» была хоть жестокая, но куда более увлекательная и насыщенная «острыми ощущениями». Одно дело ходить подростком за линию фронта «с козой», другое сидеть за партой или заниматься чем-то будничным, пресным. Три года войны в отрочестве да три года тюрьмы в юности, что говорить — нагрузка для одной молодой жизни немалая, и даром такое не проходит. И не всегда так бывает, что суровые «университеты» жизни делают человека мудрее, взрослее. Простите меня, но если в 12 лет Вы были, в сущности, взрослым человеком (в смысле той ранней, трагической взрослости, которая положена в основу рассказа В. Богомолова о юном разведчике «Иванова детства» и одноименного фильма. Вам они известны),— то сейчас, когда Вам, должно быть, за 30, Вы — подросток в литературном смысле. Вам кажется, что все Ваши нынешние беды, огорчения и муки только в том, что Вас невзлюбил директор областного издательства. Допустим, что он действительно скотина и самодур и т. д., но дело-то все-таки не в нем, а в Вас. Ведь могло же так случиться, что талант разведчика, бесстрашие и сметка в этом деле у Вас были, а таланта, по крайней мере — необходимых знаний, общей культуры, уменья у Вас не оказалось, да и откуда им было взяться. Вы — человек не только, судя по Вашим письмам и стихам, малообразованный, но попросту — даже не начитанный. Я говорю не о начитанности какой-либо,— можно прочесть целые библиотеки приключенческих книг или так называемых детективов и ничуть не подняться в своем общем развитии. Я имею в виду ту начитанность, которая пробуждает в человеке сознание, способность самостоятельно мыслить, постигать, оценивать явления жизни и искусства.

Вам необходимо всерьез задуматься над сегодняшней своей литературной тропой. Вы ездите и пишете в Москву,

добиваетесь московских рекомендаций на издание Ваших стихов в Белгороде (а почему бы не в Москве?), где Вас опять и опять ждут неприятности, ущемления и оскорбления, вплоть до попыток поместить Вас в психиатрическую больницу, — все это ужасно, и ни о какой нормальной работе тут нечего и говорить. Но ведь если даже выявить всех Ваших недоброжелателей и устранить их с дороги (а это все не так просто), то Вы как таковой остаетесь опять же при своих, т. е. остаетесь человеком без образования, без больших художественных, эстетических интересов, словом, без того, что при прочих условиях делает человека литератором. И тут уж Вам никто, кроме Вас самого, помочь в решающем смысле не может.

Подумайте, как бы Вам засесть за книгу, может быть, поступить в вечернюю школу или на заочное отделение какого-нибудь института, — возраст еще позволяет, было бы желание, воля. Без этого рано или поздно Вам придется признать себя побежденным собственной своей биографией.

Мне кажется, что важнее писания более или менее подходящих для «белгородского уровня» стихов для Вас была бы попытка написать автобиографическую вещь в прозе. Это заставило бы Вас многое передумать, переоценить, «оседлать» свою нелегкую биографию. Для такой работы, конечно, понадобится, может быть, не один год, понадобится многое прочесть и усвоить из необозримых богатств литературы, подняться на высоту, с которой нынешние горечи и радости Вашей литературной жизни предстанут Вам в истинном их объеме. Выпуск еще одной книжечки стихов в местном издательстве для Вас не будет сейчас такой значительной ступенью, какой может оказаться некоторый срок для серьезного чтения, раздумья, развития способности думать по-взрослому.

Боюсь, что все эти мои соображения и советы не произведут на Вас должного действия, — слишком Вы увязли в своих белгородских тяжбах. Не спешите объясняться со мною в письмах, не спешите присылать стихи, — я очень занятой человек, мне пишут очень много, и не смогу на все Вам отвечать.

Желаю всего доброго.

Книжки и письма, адресованные Вам, возвращаю.

4 ноября 1963 г.

Н. И. Р-кой

Уважаемая Н. И.!

Вы очень хорошо сделали, что сами прислали мне стихи Вашей ученицы, так как мне легче Вам, чем непосредственно автору, сказать о них то, что я единственно могу сказать.

Эти стихи еще не означают сколько-нибудь определившегося призвания, наличия поэтического таланта, — они целиком еще бессознательное увлечение способной девочки, целиком принадлежат ее возрасту. Здесь ничего указать нельзя наперед, но скорее всего можно предположить, что они пройдут с возрастом, и очень хорошо, что сама Наташа не связывает с этими своими стихотворными упражнениями на заданную тему (не имеющими покамест ничего общего с поэзией) серьезных жизненных намерений в смысле выбора профессии и т. п. Пусть идет не на медицинский, так на филологический, на какой угодно — все хорошо, но не следует этой успевающей ученице, завтрашней студентке, внушать какие-либо надежды на ее уменье быстро и, как Вы сообщаете, без помарок излагать тему сочинения в стихах. Именно эта легкость — прямое свидетельство несерьезности этих опытов в смысле собственно литературном.

Я надеюсь, что Вы найдете наилучшую форму тактичного разъяснения этих моих слов Наташе о ее стихах и поддержите ее на том серьезном пути, который она избирает. По-английски я не знаю, но не думаю, чтобы ее английские стихи были лучше русских — вообще это может лишь засчитываться как успешное овладение английским языком.

Благодарю Вас за добрые Ваши слова о моих писаниях.

Желаю всяческих успехов.

4 декабря 1963 г.

И. И. С-ну

Уважаемый И. И.!

Ваше письмо с вырезкой из райгазеты получил, спасибо. Статья Ваша кажется мне вполне профессиональной, а Ваши наблюдения относительно внутренней идейной связи моих книг просто могут представить определенный интерес. О «Доме у дороги» писали вообще мало сравни-

тельно с «Теркиным» и «Далями», и уже одно это указывает на самостоятельность Вашего выбора и определенных пристрастий в литературе.

Еще раз — благодарю, поздравляю Вас с наступающим Новым годом и желаю всяческого благополучия.

23 декабря 1963 г.

В. А. Х-чу

Дорогой В. А.!

Стихи ваши произвели впечатление в общем приятное своей свежестью в описательных строчках, присутствием в них живой души, как говорится. Правда, Пастернак бродит возле Вас неподалеку. Дело не в том, что сам по себе этот поэтический образец был бы запретным, но нужно смелее вырываться из ритмико-словесной системы, добытой и развитой до Вас.

Нужно избегать повторения в мотивах, не прикрепляя музу свою к ограниченному кругу явлений, — снег, дождь и т. п.

Два стихотворения «Последнего тумана клочья» и «Сосны» напечатаем в «Новом мире», если они уже не напечатаны Вами где-нибудь.

Новое присылайте.

Желаю всего доброго.

26 декабря 1963 г.

А. И. Ш-ко

Уважаемый А. И.!

Вы просите «довести до ума» Ваше стихотворение «Ветер с юга», предполагая, что из него могло бы получиться нечто вроде послереволюционного «Буревестника». Далее Вы, великодушно уступая авторство этого предполагаемого Вами «гимна Революции», говорите, что «задача «довести до ума» это стихотворение становится общественным делом».

Простите меня, но все это очень наивно и нескромно. С «Буревестником» Горького Ваше стихотворение имеет лишь то общее, что оно попросту подражает ему ритмически, а в целом представляет собою набор беспредметно-восторженных слов, не имеющих ровно никакой литературной ценности.

Предлагаемая далее в Вашем письме разработка темы «параллельного сельского хозяйства», опять же мыслимая Вами в соавторстве с кем-нибудь из опытных литераторов, на мой взгляд, не представляет интереса, по крайней мере — для журнала «Новый мир».

Не думайте, чтобы такие писатели, как Л. Иванов или В. Овечкин, работающие над проблемами развития сельского хозяйства и являющиеся серьезными знатоками этого материала, нуждались в помощи человека, который, как Вы сами сообщаете, в молодости работал один год в сельском хозяйстве, а теперь интересуется этими вопросами как «любитель-болельщик», не имеющий к тому же «времени для чтения беллетристики» и даже не знающий, «кто из сотрудников журнала пишет сейчас о сельском хозяйстве».

Вот, к сожалению, все, что могу Вам сказать по поводу ~~Ваших «конструктивных»~~ предложений.

25 августа 1964 г.

А. В. М-ву

Дорогой А. В.!

К сожалению, из присланных Вами стихов ничего для «Нового мира» отобрать не удалось. Нет ощущения необходимости появления этих вещей на свет божий. Нужно иметь нечто неотложное, что хочется сообщить читателю, а потом уж прибегать к стиху как средству выражения этого неотложного. А Вы, мне кажется, начинаете с конца: Вам хочется написать стихи, а о чем бы? — подыскиваете и хватаетесь за что попало. Такое впечатление производят стихи о «крабе», «женских губах» и др.

Прошу не сетовать. Пять лет назад мы поддержали Вас, увидев серьезность содержания, оплаченного жизненным опытом. А дальше пошло все хуже.

6 октября 1964 г.

В. А. Х-чу

Дорогой товарищ Х-ч!

Прочел Ваш сборник подряд. Должен Вас огорчить: мне было бы затруднительно настаивать на издании его. Бывает, что собранные в книжке стихи выигрывают (помните: «Стихи Некрасова, собранные вместе, — жгутся»), а бывает наоборот. Боюсь, что именно так обстоит дело в

Вашем случае. Когда знаешь одно-два стихотворения — ничего, мило, — ждешь чего-то, а тут, глядишь, десять — двадцать и т. д. стихотворений — и ничего не происходит, нет «удара» какой-то вещи, которая бы сразу все поставила на другую ступень.

Основная беда — невзрослость мировосприятия, мышления, отрешенность от «реалии» жизни, какою живут все вокруг, от того, что всех серьезно и глубоко занимает, волнует, требует выражения. Есть набитость руки, есть даже некоторое изящество в выражении, увы, несущественных, «проходных», моментов бытия (времена года, снега, дожди, полуусловные томления любовного чувства) — меня ничто ни разу не «полоснуло» по сердцу. Одним словом, может быть, Вам не выпускать эту книжку, если нет крайней материальной нужды (да и в таком случае — это не решение вопроса). Что-то нужно разлюбить в этих своих «экзерсисах», чего-то выждать в себе, угадать, что было бы поглубже, посерьезнее. Так мне, по крайней мере, показалось. Если бы не Ваша просьба, если бы мне попалась эта книжка другим путем, я бы не прочел ее до конца — от нее отдает многим слышанным, читанным, бывшим в употреблении. И, повторяю, все это при наличии данных, обещающих нечто большее.

Рукопись возвращаю.

Желаю Вам всего доброго.

1 февраля 1965 г.

П. Т. С-ву

Уважаемый П. Т.!

Вы ставите меня в крайне затруднительное положение, прислав мне стихи тяжело больной, прикованной к постели Доры З.

Я надеюсь, что Вы это сделали без ее ведома, но если она знает об этом, то положение осложняется. Стихи-то слабенькие, о напечатании их в «Новом мире» не может быть речи, а рекомендовать их, как Вы просите, «куда-нибудь», поймите, это получается нехорошо: сам не печатает, а другим рекомендует. Солгать же автору, похвалить эти стихи — это не только не в моих правилах, но, думаю, что это недопустимая вещь со всех точек зрения.

Словом, ставлю Вас в известность, что писать автору не буду.

25 июня 1965 г.

О. Б. М-ву

Уважаемый Олег Борисович!

Внимательно прочел Ваше пространное, убежденное и искреннее письмо. Уже по одному тому, что это письмо содержит в себе существенные критические замечания по статье «О Бунине», оно заслуживает особого внимания. К сожалению, не имею физической возможности входить в подробности, ограничусь двумя самыми необходимыми возражениями Вам.

1. При всей моей любви к Бунину, которого обожал в моей литературной юности и от которого позднее получил восторженный отзыв о моем «Теркине», я не принадлежу к «секте бунинистов», безоговорочно, апологетически оценивающих каждую его строку. Мне не трудно понять, откуда у Вас и Ваших сверстников такое молитвенное, «культовое» отношение к этому художнику, но разделить это отношение я не могу.

2. «Спор» идет в неравных условиях. Моя статья напечатана в журнале, пользующемся пристальным вниманием всех, и понимающих и не понимающих, обращена к «граду и миру», а Ваше письмо к одному мне — без обязательств, без той ответственности, которая была бы, если бы Вы свои возражения высказали мне в печати. Конечно, это не лишает письмо его ценности собственно эпистолярного документа, и я благодарю Вас за этот нелицеприятный читательский отзыв. Вы наверняка могли бы написать что-нибудь для печати. Может, попробуете?

Желаю Вам всего доброго.

20 сентября 1965 г.

А. С. Т-ву

Уважаемый А. С.!

Ваше стихотворение слишком ученически подражает известному стихотворению М. В. Исаковского «Враги сожгли родную хату» — интонационно, по словарю и даже имеются совпадения почти целых строк, например:

У Вас: «К Берлину шел четыре года».

У М. Исаковского: «Я шел к тебе четыре года».

Мне очень жаль, но что же я могу Вам «посоветовать». Вы еще не обрели своего голоса, всецело зависите от известных образцов поэзии, — это покамест говорит лишь о Вашей любви к стихам, — не более того.

Ваши читательские пожелания «Новому миру» приняты во внимание. Спасибо. Будьте здоровы.

17 января 1966 г.

В. Ш-ву

Дорогой тов. Ш-ов!

Говоря о неудаче своей попытки поступить в Литературный институт, Вы с горечью замечаете, что Вам «не понятно, как могли одни и те же люди и по поводу одних и тех же стихов, только в разное время, так разойтись в оценке». Увы, это совершенно понятно и естественно: поступили стихи других авторов, появилась требовательность в отношении качества и т. п.

Что же касается самих присланных Вами стихов, то, к сожалению, их можно было бы не читать далее, прочитав лишь начальную строку:

Поезд рельсы губою лижет...

Но я прочел и должен сказать, что они архиплохи: ни чувства слова, ни отчетливого смысла, бог весть для чего рассеченные на отдельные слова строчки — до смешного:

Больше всего
На счету битых
У, казалось бы,
Слабого быта...

Для чего Вы выделяете в особую строку это «У, казалось бы»,— догадаться невозможно.

Словом, сетовать Вам по поводу отклонения таких стихов не приходится. Это не только не поэзия, но даже не образец элементарно правильной родной речи.

Но хочу еще добавить, что даже будь у Вас стихи получше, я не рекомендовал бы Вам стремиться непременно в Литинститут. Поэты не рождаются в литинститутах, а вообще поучиться бы Вам не мешало,— возраст еще позволяет.

Вот все, что могу сказать по поводу Вашего «крика души».

Желаю всего доброго.

15 февраля 1966 г.

Ю. М. Чернову

Дорогой Ю. М.!

Вынужден Вас огорчить.

В стихотворении «Неудача» Ваше содержание заслоняется чуждой ему интонацией.

Неудача моя, неудача,
Никуда не уйти от тебя,—

вслушайтесь:

Голова ль ты моя удалая,
Долго ль буду тебя я носить.

И когда в концовке Вы утверждаете:

Неудача моя, неудача,—
Ты ступенька к удаче моей,—

то «музыка» этого двустишия находится в резком несоответствии с этим утверждением, — тут энергия и решимость к труду и преодолению неудачи только в «словах», а «музыка» другая — вялая, унылая.

Это один из самых трудных «секретов» поэзии — соответствие музыки содержанию. Он Вам здесь явно не дается.

«Записная книжка», также мертвенная ритмически, напоминает множество каких-то сходных стихотворных мотивов.

«Белые стихи» рассудочны, описательны и не глубоки. Может быть, только одна строчка о желуде:

Могучий дуб до срока дремлет в нем —

обладает каким-то поэтическим зарядом.

Белые стихи не должны легче писаться, чем рифмованные, наоборот, в них отбор и постановка каждого слова требует куда большей строгости, выверенности. Но главное, главное — значительность, **необходимость** содержания, — без этого — просто проза, расположенная не сплошным честным текстом, а в порядке стихотворных строчек. Простите, не имею возможности быть более подробным.

Желаю вам всего доброго.

15 февраля 1966 г.

Ф. П. Б-ку

Уважаемый Ф. П.!

Первое: при всех обстоятельствах и независимо от степени Вашей литературной опытности, Вы хорошо сделали, что написали свои записки. Это не только Вам дало

известное удовлетворение выполнением своего долга, но так или иначе войдет в число тех «человеческих документов» эпохи, какие написаны или пишутся сейчас многими людьми незаурядных биографий.

Второе: решительно нет необходимости выезжать Вам лично в Москву для вручения мне рукописи, тем более что я не могу Вам гарантировать, что Вы застанете меня в Москве, и уж во всяком случае, не смогу, бросив все дела, приняться за Вашу рукопись, она будет ждать своей очереди среди себе подобных, а их всегда избыток. Судя по тому, что письмо Ваше машинописное, Вы располагаете возможностью представить рукопись в машинописном виде, а следовательно, на всякий крайний случай (таких случаев вообще не бывает) Вы будете иметь второй экземпляр.

Присылайте по адресу редакции, что гарантирует большую сохранность во всех смыслах.

Собственно, Вы должны были сделать это, как делают все наши авторы, не испрашивая специального разрешения.

4 марта 1966 г.

Н. Ф. А-ну

Уважаемый Н. Ф.!

Стихи прочел все подряд — к сожалению, характеристика их, данная в приложенном Вами письме рецензента, в основном и главном правильна.

Главная их беда, по-моему, в отсутствии темы, серьезного повода для выступления в стихах. А еще Пушкин говорил, что на воспоминаниях об ушедшей молодости далеко не уедешь.

Напрасно Вы ищете причину своих неудач вовне, а не в себе самом и с недопустимой безапелляционностью судите о людях, критически отозвавшихся о Ваших стихах.

Конечно, поскольку Вам известно, что я «весьма легко вошел в литературу», Вам и мое заключение может показаться «холодным, бездушным и черствым». Но тут уж ничего не поделаешь.

26 сентября 1966 г.

Е. Ф. О-ку

Дорогой тов. О-к!

Рассказец Ваш прочел. Пожалуй, Вы имеете данные, чтобы писать, есть чувство языка, природы, известная зор-

кость на детали и т. д., но все это еще в зачаточном только, ученическом смысле. Вас выдает наивное стремление произвести эффект неожиданностью, заготовленной для читателя. А читатель, например, с той же минуты, как Вы назвались журналистом, приехавшим описывать героиню, и сели в сани с дедом и девушкой, уже знает что к чему, и ему неинтересно.

Вы мало читали, Вы еще не оперлись на опыт великого мастерства прозы, в первую очередь русской. Для выучки хорошо бы Вам вчитаться в Бунина, Чехова. Словом, выступать в большой печати еще рановато.

2 ноября 1966 г.

А. И. Б-му

Уважаемый А. И.!

Я согласен с Вами в том, что жертвы первой мировой войны не заслуживают забвения и что в той войне, хотя она не была народной, были, конечно, многие примеры героизма русского солдата и были образцы искусства русских военачальников (например, Брусиловский прорыв и наступление). Эти примеры и образцы, разумеется, могут быть по праву отнесены в истории к страницам нашей воинской славы.

Но столько прошло уже времени и столько есть примеров — образцов народного героизма в гражданской, Великой Отечественной войнах, и столько еще есть незаслуженно забытых имен эпохи революции, сколько «неизвестных солдат», отдавших за нее жизнь. И — не удивительно, что память подвигов и жертв той войны уже заслонена ближайшей по времени и значению памятью подвига и жертв народа, и, повторяю, памятью неполной, не всеобъемлющей. Живые больше думают про живое, — таков уж закон жизни. Но история, конечно, ничего не забывает, и в ее книге рано или поздно всему находится свое место. Между прочим, несколько лет назад была издана книга воспоминаний генерала Брусилова,— в городской библиотеке Вы ее сможете найти и прочтете с интересом.

Вот, примерно, все, что могу сказать по поводу Вашего письма.

Желаю Вам всего доброго.

20 декабря 1966 г.

Г. К-ку

Дорогой тов. К-к!

Вы сетуете на невнимательность к Вашим стихам редакций и «маститых», наверно, и я попаду в число последних. Что делать — стихи у Вас плохие. Трудно даже понять, то ли они у Вас сознательно «вольные», т. е. не соблюдающие размера и рифмованные лишь от случая к случаю, то ли просто так получается, и Вам кажется, что это хорошо, вроде Маяковского.

Но что это:

Пусть мчатся машины все,
Не задевая ноздрю мою гарью —
Я все равно не их духом дышу.
Пусть сторонятся отдельною кучкой,
Подвластные, как авторучка,
Которой стихи я вот эти пишу.

Авторучка Вам подвластна, но вот слова и строки с заключенным в них смыслом неподвластны. А претензий — хоть отбавляй.

13 февраля 1967 г.

Б. В. Шинкубе

Дорогой Баграт Васильевич!

Простите меня великодушно: давно уже прочел «Скалу» [1], но, день за днем собираясь написать Вам обстоятельное письмо, все откладывал, а теперь пишу в предотъездной суете — завтра вылетаю в Рим,— и уже где там обстоятельность, — хотя бы вкратце,

(...)

Так вот о поэме. Я прочел внимательно — строка за строкой — всю рукопись — и для «Нового мира» выбрал было «Вступление» и главу «Кольчуга». От предложенных Софьей Григорьевной [2] глав я должен был отказаться. Дело вот в чем — в самых кратких чертах.

Я считаю слабой стороной поэмы ее сюжетную усложненность, иногда приобретающую авантюрно-романтический характер, как, например, в главе «Кабардинский князь». Такой сюжет, вообще говоря, более под силу прозе. Стих, вынужденный служить целям повествовательно-

---

[1] «Песня о скале».

[2] С. Г. Караганова — редактор отдела поэзии.

го изложения столь сложных ситуаций, теряет в весе, становится амузыкальным, местами перегружен словами служебного значения. Конечно, я не знаю, что тут от оригинала, что от перевода, но вряд ли только от перевода, — однако дело сделано, я не считаю возможным переделывать вещь в основе. Кроме того, печатать отрывки, извлеченные из переплетения различных сюжетных ходов, может быть, и оправданных в целом, не представляется мне выгодным.

Но, к сожалению, оказалось, что и «Вступление», которое мне особенно понравилось, печатается в «Дружбе». Придется ограничиться «Кольчугой», с указанием в сноске, что поэма печатается в «Дружбе».

Говоря о переводе, не могу не отметить некоторые странности. Например, глава называется «Слесарь Яков», но в тексте и набор инструментов, и все, что Яков делает, решительно показывает, что он столяр или плотник, но отнюдь не слесарь. Это нужно будет исправить для отдельного издания. И еще, несколько раз упоминается «наган», а потом — вдруг «два пистолета» из-под монашеской рясы. Но ведь это 1905 год, какие же «два пистолета», — т. е. оружие давних времен?

Это все я указываю мельком и наскоро, но не могу не удержаться, не отметив неловкостей, каких, может быть, не одна и не две найдется. И они тем более досадны, что вещь во многом обладает большими поэтическими достоинствами — природа, народнопоэтические элементы и т. п.

Простите, дорогой Баграт Васильевич, кончаю. Моя просьба: сразу уведомите нас о согласии на публикацию названных отрывков, и тогда они поспели бы в майскую книжку.

Обнимаю Вас. Поклон мой Тамаре Константиновне.

16 марта 1967 г.

тт. Г. Ш-вой, А. Б-ку, Е. В-му

Дорогие друзья!

Ничего не имею против Вашего замысла «Написать героико-романтическую музыкальную комедию «Василий Теркин». Соответственно, никакого разрешения у меня запрашивать не нужно: «Теркин» давно уже не принадлежит мне.

Никаких ограничений и условий Вам не ставлю, но, во-первых, прошу не рассчитывать на мою помощь и, во-вторых, оставляю за собой право, в случае искажения духа и смысла моей книги в вашей специфической интерпретации, решительно помешать Вам в ее осуществлении.

Буду рад Вашей удаче, победителей не судят, но полагаю, что задуманное вами дело не так просто и не вдруг сулит успех.

Однако не буду охлаждать Ваш порыв.

Желаю всего самого доброго.

3 апреля 1967 г.

С. Н. Х-ву

Дорогой С. Н.!

Нерифмованный стих обычных размеров хорея, ямба должен отличаться особой выразительностью и емкостью поэтической речи, не связанной рамками обязательных созвучий в конце строк. Этого, по-моему, не случилось. Впечатление крайней растянутости, мелочной детализации и прозаичности трудно «осмыслить» при чтении Вашей поэмы. Поэтому пользуюсь Вашим разрешением вернуть Вам рукопись без подробного ее анализа.

Не сетуйте за краткость — только что приехал из заграничной командировки, — рукописей — штабеля.

3 апреля 1967 г.

А. А. Б-к

Уважаемая А. А.!

Отвечая на первое Ваше и Ваших коллег письмо по поводу музыкальной комедии «Василий Теркин», я писал, что не обещаю участия в осуществлении этого доброго намерения.

Могу лишь подтвердить эти мои слова и ничего не скажу относительно Вашей рукописи, где строфы и строки «Теркина» перемежаются репликами в прозе, и вообще все это уже должны рассматривать люди, компетентные в этой специфике. А я таковым себя не считаю.

По-прежнему желаю Вам успеха.

6 июля 1967 г.

М. П. А-ву

Уважаемый М. П.!

Вы жалуетесь на сотрудника «Нового мира» Л-го, которому ничего из Ваших стихов выбрать не удалось, и при этом сообщаете, что Вы «не новичок в поэзии», печатались «в толстых и тонких журналах» и т. д.

Должен Вас огорчить: мне тоже ничего не удалось выбрать из представленных Вами стихов. Мне кажется, что стих Ваш еще плохо Вас слушается и что нередко Вы даже сбиваетесь в размере, хотя, наверно, будете возражать, говоря, что это у Вас сознательные отступления от «канонической» метрики.

А по части содержания у Вас, помимо Вашей воли, нередко получается нечто в духе Козьмы Пруткова, например:

Все смешалось: снег, луна.
~~Ямбы~~ и ~~хореи~~.
Пляшут пляску у окна
Черные бореи.

Между прочим, борей — ветер, и во множественном числе слово приобретает специфический смысл, какого Вы не имели в виду.

Или такое «открытие» относительно поговорки «С лица не воду пить».

«С лица воду не пить». Ах, сказал кто-то точно!
Кто-то был, кто сказал это первый.
«Пить!» — просил он.— «Попить...» Он бы выпил всю бочку,
Но и ковшик не выпил, наверно.

Это уж ни с чем не схожее «плетение словес».

Вы пишете: «все мои институты — это чтение стихов поэтов. Что (чего?) мне удалось достичь, идя таким путем, судите сами». Покамест скажу прямо, результаты неважнецкие. А читать только стихи — это все равно, что питаться одними ягодами, отказываясь даже от яблок, не говоря уже о хлебе. Плохо!

24 октября 1967 г.

Л. Г-лю

Дорогой тов. Г-ль!

Прочел Вашего «Николая Ивановича» и дал прочесть добрым людям в редакции. Несомненно, что Вы, как гово-

рится, владеете пером на том уровне, который позволяет рассматривать Вашу вещь не в порядке «литконсультации», а вполне по-деловому.

Крайне неправдоподобные допущения относительно действий Вашего героя в условиях нашего времени и крайняя «неотчетливость» самой «идеи», руководящей его поступками, лишают нас возможности вести речь об опубликовании вещи.

Думаю, что «исправлениями» или «купюрами» здесь не помочь.

Если же у Вас будет что-нибудь новое, охотно ознакомимся.

Будьте здоровы, извините за промедление с ответом.

20 ноября 1967 г.

А. М. Н-ву

Дорогой тов. Н-в!

«Стоит ли мне писать?» — это вопрос, подобный вопросу «Стоит ли мне жениться?», и если он ставится на чье-то, помимо собственного, решение, то дело плохо.

Присланные стихи не представляли интереса для журнала «Новый мир», но я не беру на себя решать вопрос о том, стоит ли Вам вообще писать. Слишком легко было бы жить в искусстве, если б ответ на такой вопрос стоил бы одной четырехкопеечной марки. Ответить на него можете только Вы сами.

22 декабря 1967 г.

В. Г-ву

Дорогой тов. Г-в!

Очень часто бывает так, что люди свою любовь к поэзии, в частности к стихам, свое уменье понимать их, как говорится, душой и сердцем, принимают за способность создавать поэзию, способность писать. Но это далеко не одно и то же, хотя, конечно, без любви к поэзии не может быть творчества в этой области духовной деятельности человека.

Вы просите меня прямо, без обиняков оценить Ваши стихи. По-моему, они не дают оснований предполагать у Вас, кроме способности понимать и чувствовать поэзию, еще и способность создавать ее. Конечно, я могу ошибаться, но таков мой прямой ответ на Ваш прямой вопрос.

Желаю Вам всего доброго.
Рукопись возвращаю.

22 апреля 1969 г.

В. И. С-ву

Уважаемый В. И.!

Принимая на просмотр либретто к сценарию «Василий Теркин», я предупредил Вас, что мало понимаю в этих вещах. Но должен сказать теперь, по ознакомлении с рукописью, что, пожалуй, и Вы не более моего разбираетесь в этом специфическом жанре. Во всяком случае, мне ясно одно, что если **в книге** «Василий Теркин» должно быть что читать, то **в фильме** должно быть, прежде всего, что смотреть. И не всякий эпизод поэмы может быть эпизодом фильма. А ваша работа — лишь свидетельство внимательного чтения поэмы и симпатии к ней. Сценарием это, по-моему, не может стать. Я не говорю уже о совершенно недопустимом использовании стихов поэмы в «разобранном» виде, т. е. с нарушением ритмики, строфики и т. п.

Коротко: я не могу рекомендовать это либретто в качестве основы сценария (оно таковым не является) для фильма «Теркин».

Рукопись возвращаю. Не сетуйте на меня — я не первому Вам говорю такие слова по сходному поводу.

3 октября 1969 г.

В. Ф. Т-ну

Дорогой В. Ф.!

Я получил и просмотрел вкупе все Ваши стихи, среди которых были и те, что я видел ранее. Вот что я Вам должен сказать теперь, по необходимости кратко, без построчного разбора. В предыдущем письме я сказал, что Вы уже достигли известного литературно-технического уровня, но беда в том, что выше этого уровня не поднимается ни одно из присланных стихотворений. Таких стихов можно писать очень много, вообще говоря, это дело совсем нетрудное для мало-мальски способного, грамотного, начитанного в стихах человека. Но поэзией это назвать нельзя. К примеру, много есть людей недурно поющих или играющих на каком-нибудь инструменте в семейном кругу и даже выступающих на самодеятельной сцене, но

очень редки случаи, когда это самодеятельное искусство становится явлением искусства в большом смысле. Вы сейчас в стадии этого самодеятельного искусства: пишете стихи, похожие на стихи, их даже можно напечатать или прочесть с эстрады, — все это очень хорошо. Но Вы должны решить для себя сами: достаточно ли с меня этого? Может быть, так же достаточно,— ничего зазорного в этой приверженности к писанью стихов нет, наоборот, это всячески поощряется, как проявление возросшей культуры и т. п. Все дело в том, что, покамест, это нельзя считать поэзией. Новые Ваши стихи ничего не добавляют к тому, что Вы дали в первом засыле мне, и я, покамест, ничего не могу добавить к тому, что уже сказал Вам. Количество здесь не имеет значения. Более того, можно сказать, что чем больше одинаковых по качеству стихов, тем сомнительнее переход к иному качеству.

Я советую Вам не спешить присылать новые стихи до тех пор, покамест Вы не почувствуете, что пишете решительно по-иному и что прежние Ваши вещи, т. е. теперешние, самого Вас уже не удовлетворяют. Сказанное не мешает Вам быть тем, чем Вы являетесь в обиходе своей жизни личной, и культурно-общественной, т. е. писать для хора, стихи для местной печати и т. д. Дело само покажет, сможете ли Вы подняться над «самодеятельным» стихотворчеством,— этого решить никто не может.

Рукопись стихов возвращаю.

22 ноября 1969 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СМОЛЕНЩИНА

С ВОЕННЫХ ПОЛЕЙ

РОДИНА И ЧУЖБИНА. (Страницы записной книжки)

ПОСЛЕВОЕННЫЕ РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

СТАТЬИ

Александр Трифонович ТВАРДОВСКИЙ

ПРОЗА. СТАТЬИ. ПИСЬМА

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1974, 784 стр. с илл.

Редактор приложений **Е. Усыскина**

Оформление «Библиотеки» **А. Гаранина**

Редактор **Л. Цуранова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **Е. Патина**

Сдано в набор 26/IV 1974 г. А05774. Подписано в печать 19/IX 1974 г. Формат 84 × 108¹/₃₂. Бум. печ. № 1. Печ. л. 24,5 + 0,5 печ. л. накидок. Усл. печ. л. 41,16. Уч.-изд. л. 41,36. Заказ 3477. Тираж 250 000 (1—150 000) экз.

Цена 1 руб. 66 коп.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.

В 1974 году

издается 15 книг

библиотеки

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Г. Аббасзаде — Стук в дверь. Повести. Перевод с азербайджанского.

Айбек — Великий путь. Роман. Перевод с узбекского.

А. Битов, И. Зиедонис, В. Коротич — Не считай шаги, путник!

Н. Бичуя — Чистотел. Повести. Рассказы. Перевод с украинского.

Л. Гурунц — Наш милый Шушикенд. Повесть. Рассказы.

И. Есенберлин — Отчаяние. Роман. Перевод с казахского.

П. Загребельный — С точки зрения вечности. Роман. Перевод с украинского.

К. Зарян — Корабль на горе. Роман. Перевод с армянского.

Эд. Кипиани — Красные облака. Шапка, закинутая в небо. Романы. Перевод с грузинского.

Ф. Кнорре — Одна жизнь. Повести. Рассказы.

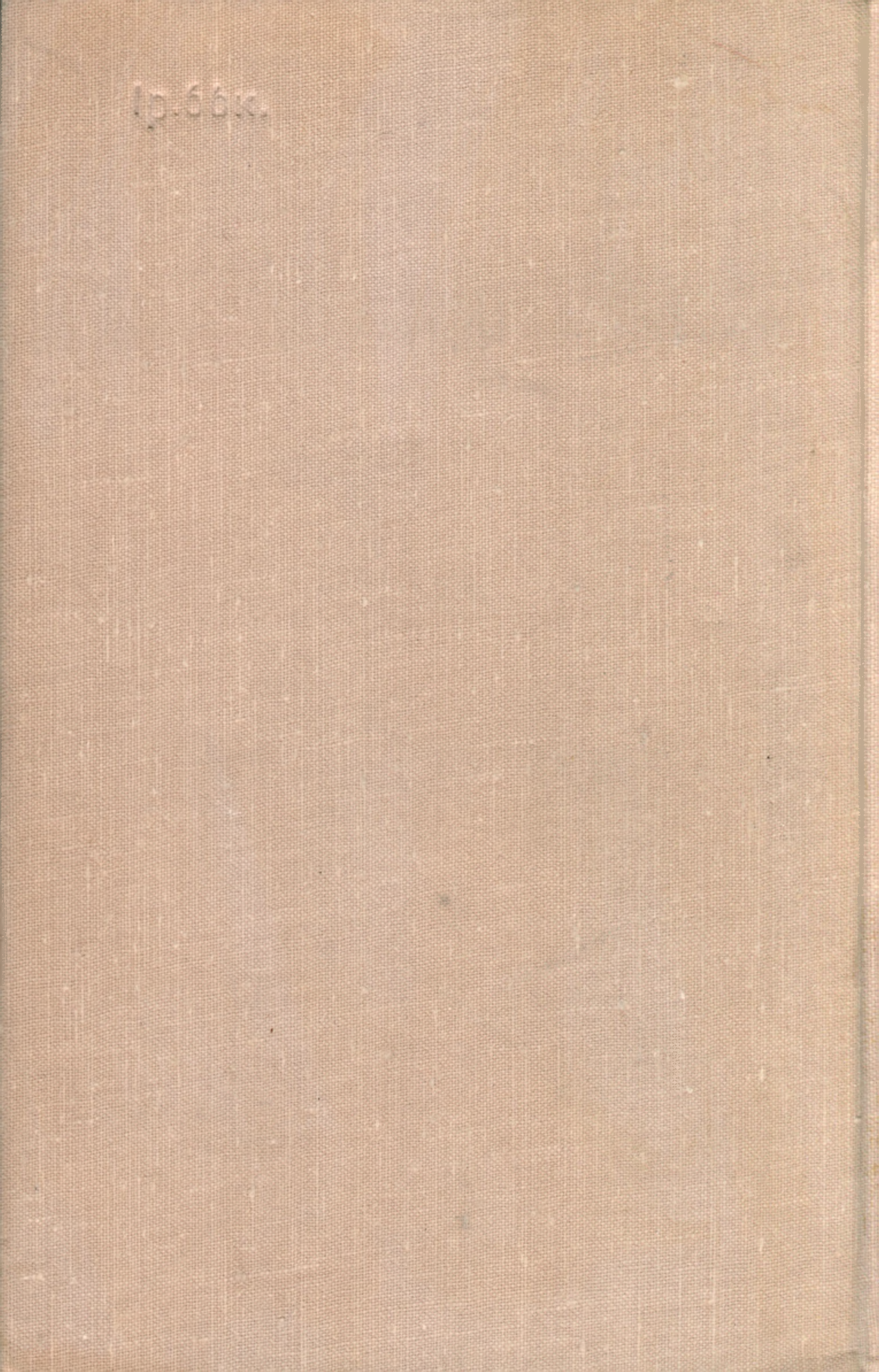
Р. Мустафин — По следам оборванной песни. Книга-поиск.

Т. Семушкин — Алитет уходит в горы. Роман.

К. Симонов — Последнее лето. Роман.

М. Слуцкис — Чужие страсти. Жажда. Адамово яблоко. Романы. Перевод с литовского.

А. Твардовский — Проза. Письма.


1р. 66к.